Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Scan Kreyder - 30.09.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
исторической
ПРОЗЫ

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Собрание сочинений

в четырнадцати томах

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

Собрание сочинений

Том третий

МОСКВА
«ТЕРРА» —«TERRA»
1995

ББК 84Р1
М79

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Мордовцев Д. Л.
М79 Собрание сочинений: В 14 т. Т. 3. — М.: ТЕРРА, 1995. — 575 с. — (Библиотека исторической прозы).

ISBN 5-300-00204-6 (т. 3)
ISBN 5-300-00170-8

В третий том Собрания сочинений включены исторический роман «Двенадцатый год» и роман из жизни Древнего Египта «Замурованная царица».

М 4702010100-246 Подписное
А30(03)-95

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00204-6 (т. 3)
ISBN 5-300-00170-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

Двенадцатый год

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Часть первая

I

Полный месяц, ярко вырезываясь на темной, глубокой синеве неба, серебрит темную зелень сада и заливает серебряным светом широкую аллею, усыпанную пожелтевшими листьями. Тихо, беззвучно в саду, так тихо, как бывает только тогда, когда подходит осень и ни птицы, ни насекомые не нарушают мертвенной тишины умирающей природы. Только слышен шелест засохших листьев: кто-то идет по аллее...

Месяц серебрит белое женское платье и непокрытую женскую, глубоко наклоненную головку.

— Первый раз в жизни она приласкала меня... Неужели же и в последний?.. Ах, мама, мама! За что ты не любила меня?.. За то, что я не похожа на девочку, что я дикарка?.. Бедный папа! Ты один любил меня — и от твоего доброго сердца я должна оторвать себя... Папочка, папочка милый! Прости свою Надечку, прости, голубчик...

Не то это шепот, не то шорох белого платьица, не то шелест сухих листьев, усыпавших аллею... Нет, это шепот.

В конце аллеи виднеется небольшой деревянный домик с мезонином — туда направляется белое платьице. В двух крайних окнах домика светится огонек.

— В последний раз я вхожу в мое девическое гнездышко...

Стоящая на столе свеча освещает лицо вошедшей. Это высокая, стройненькая девочка лет пятнадцати, с бледным продолговатым личиком. Белизна молодого личика почти совсем не оттеняется светло-русыми волосами, которые, почти совсем незаплетенные, длинными прядями падают на плечи и на спину. Личико кроткое, задумчивое и как будто бы робкое. Только черные добрые глаза под совершенно черными бровями составляют резкий контраст с матовою белизною лица и волос. Плечи у девочки и грудь хорошо развиты.

— Надо проститься с папочкой не в белом платье, а в черном капоте — он его любит, — говорит девочка и, закрывшись пологом стоящей тут же кровати, наскоро переодевается.

Глаза ее останавливаются на сабле, висящей на стене. Сабля старая, видимо, бывавшая в боях. Девочка снимает ее со стены, задумчиво смотрит на нее, вынимает из ножен и целует блестящий клинок.

— Милая моя, — шепчет странная девочка, — а холодная, как мама... Теперь ты будешь моею мамою. Я играла с тобою маленькою... у меня не было кукол, а ты была у меня... Уйдем же с тобою вместе... ты будешь моим другом, моим братом, моею славою... С тобою я найду свободу... Мама говорит, что женщина — раба, жалкое существо, игрушка мужчины... Нет, я не хочу этого — с тобой я буду свободна... Что ж, когда ничем другим женщина не может добыть себе свободы, кроме сабли?.. Да и мужчины тоже — не они правят миром, а сабля да пушка... Папа часто говорит это... Ах, папа мой! Бедный папа!..

Она прислушивается. В саду слышен шелест сухих листьев.

— Это он идет — мой папочка... Ох, как сердце упало... Папа! Папа! Это твоя кровь говорит во мне, ты вложил в меня беспокойную душу... Папа мой! Папа!

Она торопливо вешает саблю на стену. Шаги уже не в аллее, а в сенях. Отворяется дверь. На пороге показывается мужчина в военном платье. Лысая голова с остатками седых волос и седые усы странным образом придают какую-то моложавость открытому лицу с живыми черными глазами. Он ласково кладет руку на голову девочки и с любовью смотрит ей в лицо.

— Ты что такая бледная, девочка моя? Здорова ли? — говорит он с участием.

— Здорова, папочка.

А сама дрожит, и голос дрожит — в молодой груди что-то словно рвется. Она не поднимает глаз. Он берет ее за руки, привлекает к себе.

— Что с тобой, дитя мое? У тебя руки — как лед, сама дрожишь... Ты больна?

— Нет, папа... Я устала, озябла...

Он опускается в кресло, а девочка припадает головой к его коленям и ласкает его... Он тихо гладит ее голову.

— Ах ты, моя старушка, — говорит он с любовью, — шутка ли? Сегодня семнадцатый год пошел... совсем боль-

шая, — чего большая! — старуха уж... Ишь отмахала — шестнадцать лет!.. А сегодня скакала верхом на своем Алкиде?

— Нет, папочка, ведь гости были.

— Да, да... Ну, завтра наскачешься...

Девочка невольно вздрагивает... «Завтра... где-то я буду завтра?» — щемит у нее на сердце.

— Теперь ты совсем молодцом ездишь, — продолжает отец. — И посадка гусарская, и усест кавалерийский — хоть на царский смотр... Эх, стар я, а то бы взял тебя с собой против этого выскочки-корсиканца, против Бонапарта... Он что-то недоброе затевает — того и гляди, пойдет на Россию...

Девочка молчит и еще крепче прижимается к коленям отца.

— Эх, ты, гусар! А сама дрожит, как осиновый лист, — говорит последний, и ласково приподнимает голову дочери. — Иди-ка сюда, на руки ко мне, на колени... Я буду твоим Алкидом... Вот так-то лучше... Дай я тебя согрею...

И он сажает ее на колени к себе, обнимает. Девочка обвивается вокруг отца, шепчет только:

— Папочка мой, дорогой мой, папа добрый...

— То-то, добрый... Ишь, дрянь какая... И плечишки дрожат... Ах ты моя милая, крошечка моя золотая, Надечка моя... Что-то мне тебя жалко сегодня, мою девочку. С мамой прощалась на ночь?

— Прощалась, папа.

— Ну, и что ж?

— Она сегодня такая добрая — поцеловала меня...

— Ну, и слава Богу... А теперь раздевайся да ложись спать... Тепло ли тебе под одеяльцем?

— Тепло, папочка...

«Под одеяльцем... А сегодня моим одеяльцем будет ночка темная, небо голубое, — прощай, моя постелька... не сидеть уж мне на папиных коленях», — снова щемит сердце.

Он встает и крестит голову дочери.

— Ну, прощай, покойной ночи, спи хорошенько, — говорит он, нежно взяв ее за подбородок. — Прощай, пучеглазая...

И он уходит... Пучеглазая бросается на колени и целует пол — то место, где стояли ноги отца. Слезы так и полились из переполненных глаз... «О, мой папа! Мой добрый, мой друг!.. Один ты у меня был на свете — и тебя я покидаю...»

Шаги отца слышатся на лестнице, ведущей в мезонин. Вот он наверху — шаги слышатся над головою... Шаги дорогого существа, шорох платья милой — это тот же шепот любви, шепот признания... «Дорогой мой папочка... не буду уже больше никогда я прислушиваться к шагам твоим, к голосу твоему милому, ласковому...»

Девочка встает с полу и подходит к зеркалу, висящему на стене рядом с отцовскою саблей. В зеркале отражается бледное заплаканное личико.

«Прощай, мой милый капот, — я его папе оставлю на память...»

Девочка снимает с себя капот и остается в одной беленькой сорочке. Так она кажется еще моложе — совсем ребенок. Потом берет со стола ножницы, подносит их к своей белокурой, совсем растрепавшейся косе... «Вот и пострижение мое... прощай, коса девичья, прощай, краса рабыни, — историческая крепостная запись женщины на вечное рабство... Ах, мама, мама! Теперь я не раба...»

Скрипят ножницы, с трудом перерезывая белокурые пряди косы одну за другою...

Великий шаг для женщины — исторический шаг! Обрезать косу в 1806 году, когда и теперь стриженная женщина считается чуть не чудовищем, решиться на такое дело в 1806 году, когда даже непокрытая женская голова позорила эту голову в глазах большинства — это был исторический подвиг. И этот исторический подвиг в 1806 году совершает пятнадцатилетняя девочка.

Обрезав косу вкружало, по-казацки, она кладет отрезанные пряди в стол... «Папочке на память — он любил мои волосы, любил «льняную головку...»

— Теперь я совсем казачонок, — шепчет она, глядя на себя в зеркало, — совсем выросток казачий — и лицо у меня другое, — никто не узнает, что я девка, барышня...

Но вдруг румянец заливает ее бледные щеки: сорочка спустилась с плеч и открыла ее белые девические груди, небольшие, но круглые, упругие...

«Ах, противные... вот где я женщина... Но я вас затяну в чекмень — никто не увидит, никто не догадается, что там под чекменем... И женскую сорочку долой — у меня припасена мужская...»

Странная девочка уходит за полог постели и через несколько времени выходит оттуда совсем преобразившеюся. Это действительно казачонок, «выросток» — такой стройненький, с «черкесскою тальей». На голове — высокий кур-

пейчатый кивер с красным верхом... кивер сидит набок, молодцевато. Синий чекмень перетянут кушаком. На широких шароварах ярко вырезывается красный, широкий лампас... Плечи широкие, грудь высокая, словно у сокола — никто и не заподозрит, что она, грудь эта, не форменная, не мужская...

Она привязывает с боку отцовскую саблю — звякает сабля, словно кандалы... «Ох, папочка услышит... Нет, он спит уж — не слыхать его шагов милых...»

Она осматривает стены своей комнаты, окна, свой стол, долго глядит на постель и, наклонившись над изголовьем, целует подушку... «Прощай, мой друг, мой немой собеседник... Даже и ты не знала, что думала голова, которая на тебе покоилась...»

— А! Ты не узнал меня, милый Бонапарт, пятишься от меня... Глупый, глупый, это я, Надя, у которой ты всегда спал на ногах и которая сливочками тебя кормила... Прощай, Бонапартушка.

Последние слова относились к черному большому коту, который, не узнав своей госпожи в новом виде, ежился и пятился от нее.

— Прощай, Бонапартушка... Я иду воевать с твоим тезкой... А кто-то тебе будет сливочек давать?

И она гладила Бонапартушку. Бонапартушка, поняв, в чем дело, самодовольно мурлыкал и выгибал свою бархатную спинку. Потом она достала из комода две небольшие кожаные переметные сумки, заранее ею приготовленные, и, взяв свой черный капот с другими принадлежностями женского туалета, тихо задула свечу, снова поцеловала то место пола, где в последний раз стояли ноги ее отца, и вышла в сад. Услышав шаги, собаки бросились за ней и залаяли, но она тотчас же остановила их, назвав по именам. Собаки стали ласкаться к ней и лизать ее руки.

— Прощай, Робеспьер, — сказала она огромному псу, большому охотнику до чужих цыплят. — Узнаешь ли ты меня, как я ворочусь лет через десять?

Робеспьер неистово махал хвостом и подпрыгивал, желая облапить барышню.

— Прощай и ты, Вольтер.

Вольтер — это была косматая дворняжка, непримиримый враг всякой свиньи, будь она чужая или своя: Вольтер оборвал хвосты почти у всех свиней, какие только были по соседству, но зато он очень любил свою барышню и спал у нее на крыльце.

Девушка, провожаемая собаками, дошла до калитки сада, выходившей к реке. Это была Кама река. Собакам она не велела идти дальше, а сама, выйдя из калитки, заперла ее. Бросив на берегу реки свой женский туалет, чтоб заставить всех думать, что она утонула, девушка пошла на гору, возвышавшуюся над городом. Что задумала эта странная девочка? Куда тянет ее молодое, нетерпеливое сердце?

Осенняя ночь с полною луною была необыкновенно светла. Мертвая тишина, царствовавшая кругом, придавала ей что-то строгое, внушительное. Не видно нигде людей, не видно их вечной суеты, не видать ни тайных дел их, ни тайных дум, прикрытых пеленою ночи и запечатанных печатью молчания: но почему-то чудится, что это великое око ночи видит все — заглядывает и в темную гущину леса, и в мрачные пропасти, видит и то, что прячут люди от людей...

Возвышающий душу страх охватывает бесстрашную девочку при виде этой строгой картины ночи. Вдали за Камой тянется бесконечная темень лесов, и там, где вершины их не серебрятся луною, они кажутся не лесом, а бездонными пропастями, в которых ничего нет, кроме смерти. Кое-где между пропастями блестит поверхность лесных озер — холодною сталью кажется эта поверхность, и от воды, как и от пропастей, веет холодом смерти... У ног, под горою, ютится спящий город, где проведено детство и отрочество странной девушки, и как ни охотно покидает она этот город, как ни бесстрашно меняет свою жизнь на что-то неведомое, хотя желательное, — жалость и тоска сжимают сердце, бередят заснувшие воспоминания беззаботного отрочества...

«Папа мой! Ты не чувствуешь, что твоя девочка в последний раз глядит на кровлю твоего дома... Милый ты мой!.. А мама?.. Ах, мама, мама! Зачем ты оттолкнула меня от себя? Зачем поставила холодную, ледяную стену между твоим и моим сердцем?.. Дикарка я, разбойник, Емелька Пугачев, выродок женский... Ах, мама, мама! Лучше выродок, лучше Пугачев, чем раба...»

На горе, освещенная луною, вырисовывается человеческая фигура, а около нее — оседланный конь, нетерпеливо бьющий копытом о землю.

— Спасибо, Артем, — говорит девушка, подходя к человеку, держащему коня под уздцы. — Ты его хорошо накормил сегодня?

— Хорошо, барышня: и сена давал, и овса вволю.

Конь узнает свою наездницу и радостно ржет.

— Здравствуй, Алкид, — говорит девушка. — А я принесла тебе именинного пирога: я сегодня была именинница.

И она, достав из сумки кусок сладкого пирога, кормит им своего Алкида и любовно гладит его шею. Алкид — умный конь: он бережно берет куски пирога из беленькой маленькой ручки наездницы и глотает как пилюли. Ему не привыкать-стать к сластям и ко всяким кушаньям: когда его барышня-наездница была еще маленькой девочкой, она кормила его и сахаром, и яблоками, и пряниками, и даже вареньем. Но более всего Алкид любил соль, и барышня после каждого обеда таскала ему по целой солонице. И умный конь удивительно привязался к этой странной девочке. Он ходил за нею, как прикормленная овца. Он радостно ржал, где бы ни увидел ее. Для нее он пренебрегал всякими лошадиными обычаями: так, иногда он, словно собака, взбирался на крыльцо, желая проникнуть в дом, но его, конечно, гнали, ибо он своими копытами портил ступеньки крыльца; чаще же он просовывал голову в окно и ржал на весь дом, когда не видел своей любимицы. За это его, разумеется, били, но ему это было нипочем и он все оставался таким же конем вольнодумцем, для которого между конюшней и барским домом не существовало никакой разницы.

— Ну, теперь в путь, Алкидушка! — сказала девушка, быстро вскочив на седло и гладя шею коня своею маленькою ручкой. — Давай теперь пику, Артем.

Артем, старый денщик ее отца, простоватый малый, более боявшийся барского коня, чем самого барина (потому что Алкид сразу узнавал, когда Артем был хоть немного под хмельком, и в это время Алкид в грош не ставил Артема, часто выгонял из конюшни и даже драл за волосы), — Артем подал своей молоденькой госпоже казацкую пику.

— Теперича вы, барышня, в аккурат казак, — сказал он, ухмыляясь.

— Да, Артемушка? — радостно спросила девочка.

— Лопни глаза-утроба... Сам Анапарт испужается.

— Ну, прощай, добрый Артем... никому не говори, что видел меня здесь.

Она сунула ему что-то в руку, тронула коня и скоро скрылась из глаз своего добродушного оруженосца, который изумленно качал головой: «Уж и Пилат-девка! Вот разбойник — сущий Пилат... а добрая...»

Несколько времени девушка скакала быстро, как бы чувствуя за собою погоню — погоню прошлого, погоню своего детства, погоню женщины-рабы, от которой она отрекалась, убегала... Чем лихорадочнее она скакала, тем мучительнее отзывалась в ней эта боязнь возврата и тем явственнее слышалось ей, будто ветер свистит в уши: «Не уйдешь от себя... не уйдешь от женщины, не ускачешь от рабства... Судьба женщины найдет тебя и в поле, и в море... Под грохот ядер, в пылу битвы — скажется в тебе женщина...»

Месяц между тем скрылся. Ночь становилась все мрачней и мрачней. Дорога пошла темным сосновым лесом, где и закаленному в бедах и опасностях мужчине стало бы страшно... При едва заметном просвете так и кажется, будто от гигантских сосен протягиваются косматые руки, косматое чудовище трясет длинною бородою и грозится охватить невидимыми руками... «Злой Кереметь... косматый Кереметь...» — вспоминаются девочке рассказы о лесном духе.

И она гонит от себя эти воспоминания... «Я на воле... я свободна... мне принадлежит весь мир... Я сама взяла свободу, драгоценнейший дар неба, сама завоевала ее — и сохраню до могилы, до последнего издыхания... Папа мой милый, добрый, слышишь, как кричит к тебе мое сердце? Как оно голубем, ласточкой вьется у тебя под окном?.. Прощай, мой незабвенный учитель... Я ворочусь к тебе, мой папа, но не раньше, как стану лицом к лицу с гордым корсиканцем и когда буду иметь право сказать тебе: и я билась против Бонапарта.

II

На другой день отец и мать девушки, ночной путешественницы, собрались к утреннему чаю вместе с другими членами семьи.

— Что ж Надежды нет? Она вечно пропадает! — резко говорит смуглая, сухая женщина средних лет с серыми, тоже какими-то словно сухими глазами и сероватыми от серебра седины волосами. — Позовите ее.

— Да ее нет в комнате, — тихо отвечает отец девушки. — Она, верно, гуляет.

— Гуляет! Ты ее избаловал так, что девчонка совсем от рук отбилась. Ты ее видела, Наталья? — обратилась она к горничной, стоявшей у порога.

— Нету, матушка барыня, не видала... Когда я пришла к ним в комнату сегодня, чтоб убрать, так и постелька их не смята, знать, не ложились совсем, — робко отвечала горничная Наталья, теребя передник.

— Что ты врешь? Я сам ее вчера на ночь благословил, — заметил отец девушки.

— Прекрасно, прекрасно — нечего сказать, хорошо себя ведет девка, — ворчала мать. — Ну, ступайте с Артемкой — ищите ее по горам да по долам.

Горничная вышла.

— Отлично воспитали вы свою дочку, — обратилась она к мужу. — Уж, поди, сбежала с кем-нибудь... пора уж — вчера семнадцатый год пошел... Да такой батюшка чему не научит...

— Не батюшка, а матушка, скажи, — возразил отец.

— Как матушка? Разве я девку избаловала?

— Да, ты избалуешь! Поедом ешь бедного ребенка.

В это время в комнату вошла Наталья, дрожа всем телом.

— Ох, Господи! Ох, Казанская! — стонала она.

— Что с тобой? Что это такое? — с испугом спросил отец девушки.

— Капотик барышнин, и рубашечка ихняя, и штаники ихнии...

— Ну, что ж? Говори — не мучь.

— Бабы принесли, у Камы, у самой воды подняли...

— Господи!

Как помешанный, он выбежал на двор, крича растерянно:

— Вестовые! Рассыльные! Скорее давайте невод... сети тащите... она утонула! Надя моя! Надечка!

И он бросился через сад к Каме. Собаки, поняв, что случилось что-то необыкновенное, может быть, даже что-нибудь очень веселое, с визгом и лаем кинулись за барином, опережая его и бросаясь на все — и на воробьев, и на голубей, и лая даже на воздух, на небо.

Вестовые также поняли, в чем дело, и мигом притащили к реке сети, достали лодки.

— Закидывай ниже! Завози глубже! — кричит несчастный отец, бегая по берегу и поминутно бросаясь в реку.

Волокут сеть... вытаскивают на берег... скоро вся вытащится...

— Ох, живей, живей, батюшки!

Страшно... А если ее нет там?.. А если она там мертвая — мертвая, холодная, бездыханная?

— Нету их там, барин, — робко говорит Артем, приближаясь к своему господину. — Не ищите.

— Что ты?

— Не там барышня, они не утонули.

— Что? Что ты говоришь?

— Оне кататься уехали... И Лакиту взяли...

— Ты сам видел?

— Сам... я был вчера выпимши за здоровье барышни и уснул... Так они Лакиту-то сами изволили взять.

Страшный камень свалился с сердца... Она жива... она не утонула... Она поехала кататься — ах, разбойник девчонка, как напугала... Но зачем тут этот капот? Новое сомнение закрадывается в душу. Зачем платье и белье брошено у воды?

Он велит продолжать закидывать сети, а сам идет в комнаты дочери... Да, действительно, постелька не тронута, не помята. Кот Бонапарт жалобно мяучит — опять становится страшно... Она так дрожала вчера, так нежно ласкалась к отцу... Она что-нибудь задумала. На стене нет сабли: новое предположение, что она что-то задумала и, может быть, уж исполнила. На столе брошены ножницы.

Нет ли записки?

Нет, на столе ничего не видать. Разве в столе?..

«Боже мой! Это ее волосы, ее локоны! Все обрезаны!.. Надя! Надя! Девочка моя! Что с тобой? Где ты?»

И, целуя волосы дочери, он залился горькими слезами. Казалось, то он целует локоны мертвой, похороненной.

«Дитя мое! Где ты? Где ты, моя радость, мое сокровище?»

А сокровище это уже пятьдесят верст отмахало. Она нагнала казачий полк на дневке — туда-то и стремилось ее необузданное воображение. Полк шел на Дон, к домам, на побывку, и имел дневку в небольшом селении на Каме.

Встретив казаков, которые вели коней на водопой, девушка приосанилась на седле и, подъехав к донцам, приветствовала их своим детским голосом:

— Здравствуйте, атаманы-молодцы! Бог в помощь!

Странно прозвучал в утреннем воздухе этот металлический голосок, так странно, что казаки невольно остановились и удивленно посмотрели на этого диковинного мальчика. Что это такое? С виду, по одеже — казачонок, малолеток, барчонок, и конь добрый, горской породы, черкесский конь, дорогой — казаки знают толк в своих боевых товарищах — одним словом, «душа добрый конь»... И чекмень казацкий

добрый, хорошего сукна, и пика добрая, и посадка добрая, казацкая, атаманская... А собой — как есть девочка: груди высокие, перетяжка — в рюмочку, голосок — словно птичка звенит... Фу ты пропасть! Откуда оно выскочило? Тут кони ржут — пить хотят, а тут птичка щебечет, личишко беленькое, словно сейчас из яичной скорлупы вылупилось, глазенки черненькие. Ах, чтоб тебя разорвало! Вот штучка невиданная!

Казаки отдают честь. Переглядываются:

— Здравия желаем!

А «оно» опять щебечет:

— Скажите, как мне найти вашего полковника?

— Это Миколай Михайлыча?

— Да, Каменнова.

— Вон тамо-тка, где часовой стоит — зеленые ставни.

— Спасибо, братцы.

И «оно» поехало дальше, а казаки, разинув рты, глядят ему вслед.

— А и бесенок же какой! Кубыть и большой ездит.

— А поди еще кашку с ложечки учится исть.

— Вылитая девочка.

— А посадка не наша, не казацкая.

— Да, это гусарская посадка... Ишь и дьяволенок же!

Когда «дьяволенок» подъезжал к зеленым ставням, указанным ему казаками, из ворот вышли офицеры и остановились при виде молоденького всадника. Этот последний, ловко осадив коня, отдал честь офицерам совершенно по-военному.

— Я желаю говорить с полковником Каменновым, — молодцевато прощебетал он и зарделся, как девочка.

— Я к вашим услугам, — отвечал полный брюнет, с черными, ласкающими глазами.

Офицеров не менее, как и казаков, поразил голос и вся наружность приезжего. Но он так ловко соскочил с седла, бросил поводья на луку седла так умело и изящно и так дружески сказал коню: «Смирно, Алкид», который и стал как вкопанный, что все это разом расположило их в пользу таинственного гостя.

— Что вам угодно? — спросил полковник ласково.

— Я приехал просить вас, полковник, чтобы вы взяли меня в ваш полк.

— Вас? В полк?.. Да вы ребенок, извините пожалуйста.

— Нет, господин полковник, я уже не ребенок... я могу владеть оружием...

— Но, простите, я не знаю, кто вы...

— Я дворянин, полковник... Моя фамилия — Дуров... Я хочу служить царю...

— Но для этого есть законный путь.

— Для меня он закрыт, господин полковник: отец запрещает мне служить, а я желаю.

— Но вы не из казачьего роду?

— Нет, мой отец русский дворянин, служил в гусарах.

— В таком случае, вы не можете быть казаком: против вас закон.

Девушка побледнела и зашаталась. Тревоги нескольких дней, почти две ночи, проведенные без сна, последняя ночь, полная потрясающих впечатлений, пятьдесят верст на седле без роздыха, без сна, без пищи, страстность, с которою все это делалось, чтобы исковеркать всю свою жизнь как женщины, боязнь и мука за отца, грозное и неведомое будущее, наконец, просто усталость, разбитость нежного тела и нервов, — все это заставило зашататься необыкновенную девушку. Офицеры заметили это и подскочили к ней. Сам полковник поддержал ее.

— Простите... успокойтесь... вам дурно...

— Нет, благодарю... я устала... — девушка спохватилась на окончании женского рода, и слабая краска опять залила ее бледные щеки, — я не спал две ночи...

Полковник ласково держал ее за руку.

— Ручонки-то какие — совсем детские... Да, вам надо отдохнуть, а там мы потолкуем, — говорил он нежно. — Господа, пойдемте ко мне... милости прошу и вас, господин Дуров.

Девушка сделала знак Алкиду — он пошел за нею.

— Ах, какой дивный конь! — заметил полковник.

— Да его хоть в гостиную, — засмеялся молоденький офицер. — Пожалуйте, господин Алкид, как вас по батюшке....

Все засмеялись. Алкид чинно выступал за офицерами, словно и в самом деле собирался в гостиную.

— Ах, какой милый конь! Какая умница!.. Лузин, выводи его да задай ему овса, — распорядился полковник, обращаясь к вестовому.

— Позвольте, господин полковник, я прикажу Алкиду слушаться, а то он никого к себе не подпустит, — заметила девушка, обращаясь в сторону своего коня.

И действительно, когда Лузин подошел не нему, чтобы взять его, Алкид поднял голову и сделал угрожающий вид.

— Ишь ты, строгий какой, недотрога, — засмеялся вестовой. — Фу-ты ну-ты...

Девушка подошла к нему и, погладив шею коня, поправив чуб, падавший на глаза упрямцу, сказала:

— Ну, Алкид, слушайся вот его — это Артем.

Конь радостно заржал. Слово «Артем» напомнило ему, вероятно, конюшню, овес и всякие сласти в лошадином вкусе. Он позволил взять себя под уздцы.

— Вот так-то лучше, — улыбнулся вестовой казак, — а то на́ — черт ему не брат.

Юного гостя ввели в дом, занимаемый полковником, — это был дом сельского попа, — усадили, ухаживали за ним, как за найденышем, полковым найденышем. Вошла матушка-попадья, заинтересованная необыкновенным шумом, да так и всплеснула руками:

— Ах, святители! Да какой же молоденький! Да и какая это мать-злодейка отпустила дитю такую!

— А вы, матушка, живей самоварчик велите подать да закусить чего-нибудь нашему птенчику, — распоряжался добряк полковник.

— Да где это вы раздобыли младенца такого? Ах, святители! И жалости в них нет! — убивалась попадья.

— Это нашему полку Бог послал радость, — смеялся полковник. — Да не морите же его, матушка! Он совсем ослаб.

— Сейчас, сейчас...

Юный воин действительно изнемог. Необыкновенная бледность щек выдавала это изнеможение, а внутренняя тревога добивала окончательно. Да и кого хватило бы на такой подвиг, на такие труды, когда на карту ставилась вся жизнь, и позади даже не было примера, на который бы можно было опереться? Кто ж бы не поддался тревоге в таком положении? И на какие щеки не сойдет бледность в минуты, когда вынимается жребий жизни? А ведь это ребенок, девочка, еще не выросшая из коротенького платьица, но уже отважившаяся на небывалый, исторический подвиг... Тысячи трудностей, мелочей, но в ее положении — роковых мелочей опутывают ее как паутиной. Ее может выдать голос, походка, всякое движение, ненужный блеск глаз и стыдливость там, где у мужчин не блеснут глаза, не вспыхнет румянец стыдливости или нечаянности... И во сне она должна помнить, что она должна быть *он*. А эти противные женские окончания на *а* — *была*, *спала*, *ела* — так и сверлят память, путают, мешают говорить, бросают в краску и в холод.

— Вы, кажется, озябли, — я бы вам советовал выпить рюмку рому, для вас это было бы хорошо, — суетился добряк полковник.

А молоденький офицер уж тащит фляжку и рюмку — наливает.

— Нет, благодарю вас, я не пью, — уклоняется гость.

— Помилуйте! В походе да не пить, это святотатство! — горячился полковник.

Но гость все-таки отказывается.

— Мне не холодно, а скорей жарко, — щебечет детский голосок.

— Ну, так расстегните чекмень, оставайтесь в одной рубашке: мы свои люди.

Шутка сказать — расстегните чекмень! А что под чекменем-то? Рубашка?.. То-то и есть, что противная рубашка выдаст тайну... заметно будет.

— Расстегнитесь...

— Нет, ничего... благодарю вас, мне и так ловко.

В это время в комнату опять явилась попадья, вся запыхавшаяся, с двумя банками варенья и блюдечками. За ней — стряпуха с самоваром. За стряпухой — девочка с подносом и шипящей на сковороде глазастой яичницей.

— Вот вам яичница — свеженькая, из самых лучших яиц, — сама за курами смотрю, сама их щупаю и до разврата с чужим петухом не допущаю... Чистые яички... Кушай, мой голубчик, на здоровье... Поди, еще и не кушал сегодня? — с ног сбившись, хлопотала попадья около юного гостя.

— Благодарю вас.

— А много за ночь проехали? — любопытствовал полковник.

— Пятьдесят верст.

— Батюшки мои! Святители! Пятьдесят верст! — ужасается попадья. — Да мой поп, когда за ругой ездит, пятьдесят-то верст в пять недель не объедет... Ах, Боже мой! Гурий казанский! Пятьдесят верст в одну ночь... Слыхано ли! Ах, голубчик мой, ах, дитятко сердечное!.. Ну, кушай же, кушай, а после вареньица, — сама варила, и вишенное, и земляничное, — кушай, родной... А батюшка с матушкой есть у тебя?

— Есть.

— И как же они отпустили тебя одного, ах, Господи! Ах, Гурий казанский!

— Ну, матушка, — заметил смеясь полковник, — вы совсем отняли у нас нашего товарища.

— Ах, Господи, Гурий казанский! Какой он вам товарищ? Прости, Господи, черти с младенцем связались... Не

людоеды мы, чай... Знамо, дитю покормить надо... Вон и у меня сынок в бурсе — как голодает, бедный.

И попадья насильно усадила юного воина за стол, дала ему в руки ложку, хлеб и заставила есть яичницу.

— Кушай, матушка, кушай — не гляди на них... Они рады ребенка замучить.

Офицеры добродушно смеялись, смотря, как гость их, краснея от причитаний попадьи, с видимым наслаждением ел яичницу.

— Из законнорожденных яиц яичница, — шутя заметил молодой офицер, — должно быть, очень вкусная.

— А разве, матушка, от распутной курицы яйца не вкусны? — спросил другой офицер.

— Тьфу! Вам бы все смеяться, озорники, — ворчала попадья.

Молодой воин, видимо, насытился. Усталость как рукой сняло.

— Ну, теперь и о деле можно потолковать, — сказал полковник. — Так вы твердо решились остаться при вашем намерении, господин Дуров?

— Твердо, полковник.

— Ну, делать нечего — я беру вас с собой: вы будете моим походным сыном, а когда мы пойдем на границу, в Польшу, я сдам вас на руки какому-нибудь кавалерийскому полковнику... А в казаки вас принять нельзя.

— Мне все равно, полковник. Я только хочу быть кавалеристом.

— Ну, и отлично... А если ваш батюшка узнает, где вы — ведь он имеет право вытребовать вас, как несовершеннолетнего.

— О! Тогда я готова пулю себе в лоб пустить...

И она опять спохватилась на этом противном женском окончании — «готова»... Она вся вспыхнула... Офицеры заметили это и переглянулись. Надо было найти в себе страшную энергию, чтобы не выдать себя — и девушка нашлась.

— Ах, противная привычка! — сказала она, вся красная как рак. — Я говорю иногда точно девочка, а это оттого, что я с сестрой всегда шалил: я говорил женскими окончаниями, а она мужскими — ну, и привыкли.

— Но отчего, скажите, батюшка ваш не хотел, чтобы вы служили в военной службе?

Девушка замялась. Она, по-видимому, не на все вопросы могла отвечать, не на все приготовилась. А этих вопросов

впереди еще было так много, да и какие еще могли быть впереди!.. Она молчала.

— Вероятно, по молодости, — заметил другой офицер.

Девушка все еще не знала, что сказать, но наконец решилась.

— Мне тяжело отвечать на некоторые вопросы, — сказала она. — Ради Бога, господа, простите меня, если я не всегда буду отвечать вам... Есть такие обстоятельства в моей жизни, которых я никому не смею открыть. Но верьте — моя тайна не прикрывает преступления.

— Ну, простите, простите... мы из участия только.

В то же утро часам к двенадцати назначено было выступление. Со всего села казаки небольшими партиями съезжались к сборному пункту — к квартире полкового командира. К этому же пункту со всего села бежали бабы, девки, ребятишки, чтобы взглянуть на невиданных гостей. Казаки чувствовали это и рисовались: бодрили своих заморенных лошаденок, заламывали свои кивера набекрень так, что они держались на голове каким-то чудом, а иной с гиком проносился мимо испуганной толпы, выделывая на седле такие штуки, какие и на земле невозможно бы было, казалось, выделать.

Выехал, наконец, со двора и полковник, сопровождаемый офицерами. Выехала и юная героиня на своем Алкиде.

Казаки, завидев ее, пришли в изумление — не все знали о появлении этого нечаянного гостя.

— Что это, братцы, на седле там? Кубыть пряник? — шутили казаки.

— Да это попадья испекла полковнику на дорогу.

— Нет, казаченьки, я знаю, что это.

— А что, брат?

— Это наш хорунжий Прохор Микитич за ночь ощенился...

Хохот... Раздается команда:

— Строй! Равняйся! Справа заезжай!

Казаки построились, продолжая отпускать шуточки то насчет других, то насчет себя.

— Песельники вперед! Марш!

Полк двигается. Покачиваются в воздухе тонкие линии пик, словно приросшие к казацкому телу. Да и это тело не отделишь от коня — это нечто цельное, неделимое... Песельники затягивают протяжную, заунывную походную литию:

Душа добрый конь!
Эх и душа до-доб-рый конь!

Плачет казацкая песня — это плач и утеха казака на чужбине... Ничего у него не остается вдали от родины, кроме его друга неразлучного, меринка-товарища, и оттого к нему обращается он в своем грустном раздумье:

Ух и душа до-о-о-доб-рый конь!..

Нет, не вынесешь этого напева... Клубком к горлу подступают рыдания...

Не вытерпела бедная девочка... Она перегнулась через седло, прижалась грудью к гриве коня, обхватила его шею. И у нее никого не осталось, кроме этого коня, кроме доброго Алкида... это подарок отца — его память... Папа! Папа мой! О, мой родной, незабвенный мой!..

— Господин Дуров! А господин Дуров! — слышится ласковый голос офицера.

Она приходит в себя и выпрямляется на седле... Около нее тот молоденький офицер — Греков.

— Вам тяжело? — говорит он еще ласковее. — Еще есть время воротиться...

— О! Никогда! Никогда!.. Я не возвращусь домой, пока не встречусь лицом к лицу с Наполеоном.

— Ну, будь по-вашему.

А песня все плачет:

Ох и душа добрый конь!..

III

Вот уже несколько недель юный Дуров следует с полком и все более и более сживается с своею новою жизненною обстановкою. Казаки не только привыкают к нему, но даже начинают сосредоточивать на нем всю свою нежность, как на любимом детище. Да и кого любить бродяге-казаку вдали от родины, кроме коня? Да что конь? Конь само собой! — «душа добрый конь», друг и приятель, а все сердце еще ищет чего-то. Заведись в полку собачка — и она становится общею любимицею: каждый казак зовет ее спать с собою, ее носят на руках, с нею делят лучший кусок, из-за нее ссорятся. А тут завелось у них «дитё», «сынок полковой», такой тихий да скромный, словно девица красная. Ну, и лег у сердца он каждому казаку. А офицеры и подавно полюбили своего найденыша. Более всех подружился с ним молоденький Греков, черноглазый и горбоносый, с восточным профилем, юноша лет за двадцать, большой фантазер, тоже мечтавший взять в плен

Наполеона. «Как только придем на Дон, тотчас же попрошусь под команду Платова — и тогда держись, корсиканская лиса», — часто говаривал мечтательный юноша и тем очень располагал в свою пользу такого же мечтательного «камского найденыша», как казаки называли иногда Дурова. Этот последний, как ни старался держать себя в стороне от всех, однако с Грековым менее дичился и был более неразлучен, чем с другими офицерами

Вот и теперь, когда полк уже перешел границы земли Войска Донского и проводил последнюю дневку в слободе Даниловке, на Медведице, Греков и Дуров, пользуясь ярким и теплым октябрьским днем, бродят вместе по лесу и стреляют уток. И день, и местность великолепные. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в бесконечно разнообразные цвета сильно желтеющую и краснеющую зелень леса, словно цветами унизаны деревья сверху донизу желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-красными листьями — это цветы осени, румянец, зловещий, как на щеках чахоточного, румянец леса перед смертью... Тихо, так тихо кругом, что слышно, как желтый листок, отделившись от стебля, уже не питающего его своими соками, падая, задевает другие листья, еще не упавшие, но уже мертвенно-бледные, пожелтевшие. Листок за листком падают они на землю, словно бабочки, словно бы в умирающей зелени еще остаются движения жизни. Движения жизни — нет, это смерть, это разложение. От времени до времени слышится в желтой листве резкий шелест и звук падения — это выпадает из своей чашечки перезревший желудь, как и желтые листья ищущий своей могилы. Ни птичьего говора, ни гудения насекомых. Куда все это девалось?

Набродившись до устали, Дуров и Греков раскинулись на зеленой полянке и молча глядят в голубую высь.

Куда все это девалось? Куда девались птицы, распевавшие от зари до зари, от утра до ночи? Куда девались тьмы других жизней и голосов, участвовавших в несмолкаемом хоре природы? А куда девались молодые грезы, золотые сны наяву? Прошли, — все прошло, замерло, как замирает этот шорох от падающего листа. Высоко-высоко в голубом небе летят птицы... Длинной, ломаной линией растянулись они — и летят. Куда? Откуда? И они уходят туда, куда все ушло — и птицы, и весь весенний говор природы, и грезы, и сны золотые наяву — уходят в невозвратное прошлое. Нет, птицы воротятся опять, воротится и весенний говор природы, но это будет не тот говор, не те птицы, а грезы не воротятся...

«Это лебеди летят... счастливые, — думается Дуровой. — Как бы я с ними полетела».

И она летит-летит... Так легко стало ее тело, так легко рассекает она воздух в стае летящих по небу лебедей... И видится ей земная поверхность на необъятные пространства — от одного края Европы до другого, от северных морей до южных, словно на обширной ландкарте. Голубыми лентами извиваются реки, в виде голубых зеркал раскинуты там и там озера, окаймляемые то кудрявою, желтеющею зеленью лесов, то зубчатыми или всхолмленными ожерельями гор, то желтыми лоскутами песков. Темными пятнами разбросаны по этому необозримому, неровному и неровноцветному полотну тысячи городов, сел, отдаленных, едва заметных утесов.

«Это папа ходит по саду, думает о чем-то, может быть, обо мне... какой грустный... Папа, папа мой!» Но голос не долетает до него. Голова папы все наклонена к земле, не поднимается к небу, чтоб взглянуть на летящих лебедей. Это Кама виднеется — словно змея, брошенная между зеленью и неподвижно застывшая.

«А это что за голоса доносятся от земли — такие горестные, точно вопли?»

«Это плачут люди», — отвечает один лебедь, тот, который был вождем всей стаи.

«Какие люди и о чем плачут?»

«Это плачут матери и жены, дети и сестры, отцы и братья тех, которых Наполеон положил в безвременную могилу под Аустерлицом... Много тысяч погибло там».

«О, бедные, бедные! Как много несчастных на земле...»

«Их больше, чем люди видят и знают, больше даже, чем могут предполагать они».

«А ты почему знаешь это?»

«Я все знаю — я Сатурн: я летал в пространстве, когда еще земли не было и ничего не было, кроме меня и пространства, моего брата, да нашей матери — бесконечности, которая не рождала нас никогда, потому что и мы, оба брата, и мать наша существовали *всегда*».

«Господи! Как страшно... Когда же это будет, и будет ли, что люди меньше станут плакать?»

«Будет... Но не скоро, так не скоро, что для твоего ума это будет непостижимо».

Едкою, режущею болью отзываются эти слова в сердце девушки. А этот бесконечный плач и стон! И все это несется от земли к небу, и небо не разорвется, как гнилое полотно,

от этих стонов и воплей. Небо... пустое, холодное, бесконечное пространство, такое же вечное, как и эта крылатая птица, этот вожатый лебедь-Сатурн, время...

«А это еще что за стоны и плач на земле — на всей земле?»

«А это люди... видишь, сколько их наплодилось с того времени, как образовался этот атом вселенной — земля, наплодилось до тысячи миллионов этих двуногих паразитов земли, и вот они мрут, а то бы им негде было жить на этой ореховой скорлупе, что зовут землей... А всякий паразит, умирая и страдая, кричит, и этот крик земных паразитов доносится до тебя... Их так много, этих паразитов, что в каждый момент умирает из них один или два и больше... Нет во времени ни одного момента, чтоб ни умирал какой-либо паразит, а вместо него не нарождался бы другой — и тоже с криком, с плачем... И я все это слушаю тысячи, миллионы, миллиарды лет, и опротивела мне вселенная с ее паразитами, с их глупыми страданиями, с их еще более глупыми радостями и гордым сознанием, что они — высшие существа, высшие паразиты между низшими, инфузорными паразитами... Вон на Корсике одна баба-корсиканка выкинула маленького паразита, не доносила во чреве, потому что и во чреве ее он был слишком беспокоен, — и вот этот паразитик вырос и, благодаря людской глупости, стал сначала ездить на людях, а потом, видя их бесконечную глупость, стал бить их, а они за это вознесли его до небес, сделали его своим идолом и теперь приносят ему человеческие гекатомбы при Ульме, при Аустерлице, при Иене, Ауэрштедте... Глупые, подлые, ничтожно-падшие паразиты...»

«Не говори этого, это неправда».

«Правда, вечная правда! Если бы они были не подлое ничтожество, они не позволили бы подлости торжествовать над ними, они не страдали бы так, как теперь страдают, они создали бы на земле рай, а они сделали из земли хуже ада, и сами же плачутся... Придет время — и ты будешь плакаться...»

«На кого?»

«На себя».

«Как на себя?»

«Так, на себя. Никто не должен плакаться на другого — каждый сам себе создает и рай, и ад... Ты теперь что задумала? Зачем надела на себя эту ливрею смерти?»

«Какую ливрею смерти?»

«Мундир-саван... Ведь эта ливрея для того надевается, чтоб другого уложить в саван или самому саваном прикрыться... Разве ножом счастье приобретается?..»

«Я ножом хочу завоевать себе свободу, которой лишена всякая женщина».

«Ножом завоевать свободу!.. О, жалкие паразиты! Что ножом завоевывается, то ножом и отвоевывается. Пока люди будут считать убийство подвигом, до тех пор они будут оставаться рабами и будут вечно страдать и плакать, как вон плачут теперь... Будешь и ты плакать и, умирая, пожалеешь о своем молодом увлечении».

«Ты — дух зла, сгинь от меня!

«Нет, я дух добра, потому что я — знание: во мне спасение человека и всего мира... Я, время, дам жалкому паразиту-человеку знание, но только не скоро он догадается взять его знамя в руки вместо ножа...»

И летят они все дальше и дальше, неслышно рассекая воздух, опережая белые, тонко-прозрачные тучки. И земные предметы кажутся с высоты такими ничтожными, мелкими, жалкими, как ничтожна и жалка вся земля в страшной, непостижимой цепи мироздания. Да, действительно, все это жалкие паразиты, и притом безумные. Вон на обширной равнине копошатся они, двигаются рядами, останавливаются, что-то выкрикивают своими жалкими голосами... Это войска какие-то: виднеется вооружение, блестят стволы ружей, шишаки, кирасы, гладко отполированные пушки. Да, это — войска, это — ничтожные мошки, собравшиеся уничтожать друг друга, словно бы им надоела их жалкая жизнь, словно бы этой жизни отпущено им на сотни, тысячи лет. Шум особенно усиливается, когда к этим рядам мошек приближается какая-то серенькая, самая маленькая мошка в треугольной шляпе, верхом на коне.

«Что это такое там?»

«Это бешеные мошки, они совсем обезумели и хотят сами умереть или закусать всякого, кто попадется».

«Зачем?»

«А затем, что, по глупости своей, они не могут видеть этой серенькой мошки, чтоб не прийти в бешенство от восторга, и тогда идут на смерть, как на пир, забывая себя, своих жен, детей».

«Кто ж эта серенькая мошка? Кто он?»

«Да тот, о котором ты постоянно думаешь, который и тебя сделал безумною... Это тот маленький человечек, которого, на зло глупому человечеству, не доносила какая-то корсиканская баба и выкинула».

«Так это Наполеон?»

«Да. Он тебя свел с ума. Ты была умненькая девочка, пока не начиталась и не наслышалась об нем от отца. А теперь

и ты обезумела — хочешь быть героиней, убивать бешеных мошек...»

«Неправда! Неправда! Я ищу свободы...»

И кажется ей, что это говорит не лебедь, называющий себя Сатурном, «временем» и «знанием», а тот странный, умный старичок, которого она видывала в Малороссии и которого называли «философом».

«Неужели это он говорит? Разве он умер и я умерла? Нет, мы сейчас охотились с Грековым и говорили о Наполеоне, о войне... Мы идем на Дон... Зачем же я лечу? Разве я птица? Или это сон?.. Нет, это не сон, — я сознаю, что я лечу над землей, выше лесов, выше гор, выше облаков... Да и что такое летать? Мысль моя всегда парила над землей — она такая же крылатая, как Сатурн... Но только она не всеведущая... Это и старичок философ говорил... Я не забуду его слов, его песен...

Добре було нашим батькам на Украини жити,
А тепера досталося панщину робити.
Наступила чорна хмара, наступила й сива —
Не одбуде сын за батька, а батька за сына...

Да, хорошо на Украине — и мне было там хорошо... А что *он*, которого я любила... Любила?.. А разве я и теперь не люблю его? Разве не для *него* покинула свой дом, надела этот саван?.. Для свободы покинула? Для *него* покинула, чтоб свободною найти *его*... А он, Сатурн, говорит, что я от Наполеона обезумела... И Сатурн не *все* знает... Но где же земля? Надо мною только небо, а подо мною — вода, вода вода без границ, без очертаний... Где мы? Где земля?»

«Земля под нами».

«А это что за вода?»

«Это океан — эта вода... Если этой водой всплеснуть вверх да по бокам, так весь род людской с его городами, храмами, дворцами и хижинами так же смоется с лица земли, как смывается водою пыль с запыленного лица».

И на поверхности этой безбрежной воды носится что-то маленькое, жалкое, едва видимое... Боже мой! Это лодочка, это ничтожная щепка в океане... Как бросает ее с одного гребня валов на другой — так и зализывает водяными языками... На этой щепке кто-то сидит — несчастный!..

«Кто это в лодке, бедный?»

«Это ты, безумная. Это ты пустилась в океан жизни на щепке...»

Валы между тем становятся все сердитее и сердитее. Это какие-то страшные звери, чудовища с длинными белыми гри-

вами. Они попеременно набрасываются на утлую лодочку — поднимут ее на гриву, потом сбросят в мутно-зеленую бездну, снова подхватывают на гребень и снова сбрасывают... Не устоять против них бедной ладье — их миллионы, и каждый стремится догнать бедную щепку, вскинуть на белую вершину свою, и опять столкнуть вниз...

Но вот и щепки не видно — пропала бедная щепка!

«Утонула, безумная!» — слышится голос в ропоте морских волн.

Нет, «безумная» не утонула еще — она летит над океаном вместе с стаей лебедей. Все ниже и ниже к воде спускаются птицы... «Безумная» чувствует уже на своем лице холод — это брызги волн долетают до нее... Все ниже и ниже — ноги касаются воды... Ох, страшно!.. Она погружается в океан... Лебеди плывут по волнам, плывут дальше, дальше, а она — тонет...

Она начинает кричать, но голос ее замирает в диком шуме волн.

— Папа! Папа! Спаси меня...

Этот странный крик разбудил Грекова, который, лежа на траве и глядя на голубое небо, вздремнул. Приподнявшись на локте, он видит, что это стонет Дуров.

— Дуров! Что с вами? — окликает он товарища.

— Спаси! Спаси, папа! Я упала в море...

— Да вы бредите что ли, Дуров?

Нет ответа. Слышится только невнятный стон. Греков встает и тихонько подходит к товарищу. Тот лежит на спине, голова закинута назад. Шевелятся только губы у сонного да грудь высоко подымается... Что за чудо! Греков себе не верит... Ему и прежде казалось, что у этого стройненького, перетянутого в рюмочку, женоподобного Дурова, при всей его тонине и жидковатости, грудь казалась очень высокою, соколиною, но теперь он положительно видел, что под чекменем вздымаются и опускаются женские груди. Форма груди совсем женская и овал у талии, закругления к бедрам — совсем не мужские. Нет, это не Геркулес, а скорее Омфала, Венера...

Греков нагибается и тихонько дотрагивается до груди спящей и тотчас же отдергивает назад руку в величайшем смущении... «Это женщина...» Необъяснимое, смешанное чувство овладело молодым человеком — и чувство стыда, и чувство нежности, и глубокая радость... «Бедная!..»

— Дуров! А Дуров!

Он трогает спящую за плечо. Та с испугом открывает глаза и сначала никак не может прийти в себя.

— Что это? Что случилось?

— Ничего... Но вы очень стонали во сне, я испугался за вас и разбудил, — говорил Греков, чувствуя, что он краснеет, и не смея взглянуть в глаза товарищу-девушке.

Покраснела и она, но тотчас же быстро вскочила на ноги и оправилась.

— Мне страшный сон привиделся — я тонула... — И она покраснела еще больше... Проклятая привычка!

— Да, вы очень стонали... Вы уснули слишком навзничь — это вредно... прилив крови...

— Ах, какой сон!.. Сначала мне казалось — я летаю, что я лебедь... Тут и Сатурн какой-то в виде лебедя, и вся земля под ногами, и Наполеон...

— Да это оттого, что мы все об нем говорили.

— А потом страшный океан, лодочка на нем, потом я падаю, тону... Какой тяжелый сон!.. Вероятно, я очень стонал?

— Да, очень.

— Как это глупо... Во сне человек — точно ребенок, ничего не соображает и часто болтает вздор...

— Да. Но иногда и проговаривается — тайну выдает.

Дурова подозрительно, исподлобья взглянула на своего собеседника. Тот заметил это и постарался поправиться, все более и более убеждаясь, что перед ним женщина.

— Часто во сне произносят имя любимой особы, — сказал он.

— Так, может, и я во сне называл имя какой-нибудь барышни — да? — принужденно, видимо, насильственно смеялась Дурова.

— Нет, не барышни, а мужчины, — отвечал Греков, улыбаясь.

Дурова еще больше смешалась.

— А! Вот как! Вероятно, имя школьного товарища, а может быть — конюха Артема? — отшучивалась она.

— Нет, вы говорили, кажется, «папа, папа...»

— Очень может быть!.. Однако нам пора в слободу, я проголодался как волк.

— И я тоже... хоть я и не тонул, как вы, а все-таки доходился до собачьего аппетиту.

Они взяли свои ружья, сумки с настрелянной дичью и направились к слободе, раскинувшейся на полугоре, над большим озером, с одной стороны окаймленным густым лесом. Дорога шла ровным, как скатерть, лугом. Дойдя до конца луга, охотники невольно остановились. На широкой, гладко

укатанной дороге, растянувшись во всю длину, грелась на солнышке серая, аршина в полтора длиною змея.

— А! Мудрец спит на дороге, — заметила Дурова.

— Какой мудрец?

— Да вот — серый, длинный... Будьте мудры яко змеи, а он, дурак, на самой дороге уснул.

— Правда... А ну-ка я попотчую мудреца.

И Греков, приложившись к ружью, собирался выстрелить в неосторожного гада. Но Дурова остановила его.

— Нет, не трогайте, я его в плен живым возьму.

— Как? Ведь он укусит.

— Не укусит — он глуп, как Ева... только такую дуру, как наша прабабушка, он и мог соблазнить.

Греков как-то странно засмеялся, а Дурова, вынув из своего ружья шомпол, тихо приблизилась к змее. Последняя, заслышав шаги, быстро поползла с дороги, торопясь укрыться в траве, но Дурова предупредила ее, забежав вперед. Змея, свившись спиралью, подняла свою тонкую, черную, красиво блестящую на солнце головку. Маленькие глазки ее заискрились, копьевидный раздвоенный язык-жало, словно черная стальная булавка, быстро высовывался и прятался.

— А! Трусишь?

— Она злится... она бросится...

— Нет, трусит... А, мудрец! А бабушку зачем соблазнил? Мы б и теперь в раю жили, если б не ты, да и Наполеона бы не было...

— Антихриста-то? Апалиона?

Когда змея, видя опасность, юркнула было в сторону от Дуровой, эта последняя, быстро нагнувшись, ловко прижала головку гада шомполом к земле, а другою рукою схватила его у самой головки и подняла на воздух. Змей, ущепленный пальцами девушки у самой головы, не мог укусить своей победительницы и отчаянно извивался всем своим длинным серым телом: то он обвивался несколькими браслетами вокруг кисти девушки, то разматывался, как кнут, во всю длину и извивался в воздухе.

Грекова так поразила эта смелость девушки, что он, хотя за несколько минут до этого сильно было заподозрил ее пол и даже совсем убеждался, что перед ним женщина, теперь снова поколебался в своей уверенности: ни на что подобное никогда не решится женщина. А эта... что это? Она поднесла змею к своей шее, и та ожерельем обвилась вокруг воротника девушки. Это уж черт знает что такое!

— Ох, матинко! Ох, лышечко! У козака на шии гадюка! Жива гадюка! — закричали дивчаты, шедшие навстречу охотникам, и бросились врассыпную.

Дурова, освободив шею от живого холодного ожерелья, быстро швырнула извивающегося гада наземь и прижала его ногой.

— Вот так мы и Наполеона раздавим, как я давлю этого библейского мудреца! — торжественно сказала странная девушка.

Греков онемел от изумления. «Это бес какой-то, — смущенно думалось ему. — Вот дьявол!»

IV

Человечество живет порывами.

Хотя природа, как и история, не делают, говорят, скачков, а если последняя и допускает иногда, по-видимому, отступления от этого общего закона природы, в виде насильственных и массовых переворотов, как бы выступая из берегов, то снова потом входит в старое, естественное русло, по которому и течет медленно фарватером поступательного движения вперед, — однако само человечество, творец этой истории, живет порывами. Иначе оно и жить не может: без порывов и массовых увлечений оно оставалось бы стоячим болотом, в котором и поросли не растут, и рака не заводится, и живая рыба не плеснет мертвою водою.

Исторические скачки — это такие явления, для совершения коих еще не приспело время, не подготовлены умы, не выросли люди. Но и скачки эти — это историческая «проба пера и чернил»: не дозрели люди, так поймут, что надо дозревать, не доросли старые умы — так дорастут молодые, благо старыми умами им солнце указано, свет зажжен — к свету-то и потянутся молодые поросли. Но уже самые скачки показывают, что явление назревает.

А порывы человечества — это его естественное творческое напряжение, без которого немыслима жизнь, немыслимо развитие. Только напряженное состояние факторов творчества — всякого творчества, и физического, и духовного, потенциальность не только материи, но и духа — плодотворны: потенциальность и напряжение мускулов в физическом труде, потенциальность и напряжение мысли и фантазии в художественном творчестве, потенциальность и напряжение материи в процессе органической жизни — вот чем созидается мир и

все в нем видимое и действующее. Потенциальность и напряжение гоняет светила небесные, эти неисчислимые миры, всю вселенную, по указанным им этою самою потенциею путям, словно лошадей на корде. Сравнение кавалерийское — правда, но что ж делать, когда без напряжения и лошадь разучилась бы ходить?

Вся история человечества представляет ряд более или менее напряженных порывов.

— Все это, мой друг, казацкие наезды — история-то ваша... Мир только нами, казаками, и держится...

— Едва ли, генерал... Вон посмотрите теперь на этого Наполеона...

— Да ты что мне все в глаза суешься с своим Наполеоном, словно оса!.. Я еще не чихнул, а ты уж здравствуешь...

— Да вот вы, генерал, все своих казаков возносите — они-де всему свету голова. А вот Наполеон не казак, а какую вселенскую кашу заварил...

— Не казак!.. Нет, братец, Наполеон-то и есть казак, только воровской. А ты выслушай прежде, а там и спорь... Молод еще!

— Слушаю-с.

— То-то... Я говорю казак — не все казак, что с красным лампасом... Вот ты и не казачьего роду — немец какой-то, а все-таки казак.

— Что ж такое по вашему казак?

— А вот что, брат: я тебе примером, притчей этак, из вашей же истории объясню... Читал ты о Прометее? Прометей был первый казак на земле.

— Это потому, что он небесный огонь скрал?

— А хоть бы и потому! Говорят, что казак — вор. Ну, и Прометей вор. Да дело-то, братец ты мой, не в том, дело не в словах, а в сути. Вот видишь ли: греческие боги, вот как и мы грешные, обленились, заспались, заразвратничались, Юпитер-то себе подагру да почечуй нажил, ну, и раскис совсем старик, а бабы его там разные, Юнонки да Венерки, за нос водят, — совсем старик забыл о земле, о людях. Ну, а коли боги обабились, так за ними люди и подавно: только и знают, что Афродите молятся, да Фаллоса чествуют — одним словом, кабак на земле. Вот и проявись донской казак Прометейка. Ходит это он по Олимпу с трубочкой, посвистывает. Ночь. Все боги храпят вокруг костра. А костер-то горит небесным огнем — да и потухать начинает. Вот Прометейка подойди к костру да тихим манером и сгреб в свою носогрейку уголек небесного огонька да на своего меринка, да

и марш на Дон, то бишь на Кавказ... С тех пор этот огонек и ходит по земле: у кого в душе есть этот огонек, тот не спит, тот казак, тот дело делает и мир завоевывает... Так ли я говорю? А?

— Да пожалуй, что это правда, генерал.

— Еще бы не правда! Казак и всю-то вашу историю построил... Вот хоть бы другой казак — Магометка. Этот вон с своими халифами полмира скрал...

— И солоно от него пришлось, генерал.

— Солоно — что говорить! Да и куда не глянешь — все казаки миром заправляют... А там Америку кто открыл? Казак Колумб! Это верно!.. Ну, после него и поднялись все в поход — открывать новые земли да завоевывать их: эти Кортецы да Пизары, эти Васьки Гамовы — все по нашему, по-казацки! Как взбудоражутся люди, как гикнут «марш-марш!» — только тогда и сделают что-нибудь... Так и Наполеон: идите, говорит, французы, завоюем свет... И пошли разбойники...

— Только, кажется, они наткнутся на коренных казаков.

— Наткнутся — это верно, только не при таких командирах, как у нас эта баба Бенигсен.

— Но ведь он болен, генерал.

— И я болен, брат, и мне проклятый почечуй покою не дает, с седла гонит, а я все-таки не поддаюсь.

Разговор этот ведут между собой два офицера — один лет за пятьдесят, другой, который называет старшего генералом, еще молодой человек. Лицо старшего представляет смесь доброты и какой-то детской ясности взгляда, хотя строго очерченные черты, резко проведенные линии там, где прежде всего складываются морщины, и какая-то черствость, так сказать, лицевых мускулов свидетельствуют о присутствии большого запаса воли и внутренней порывистости. Это — Платов, знаменитый атаман донского войска, казачий идол, полубог, полумиф. Казакам хорошо знакома эта детская ясность взгляда... «Хуть ты против него самого черта поставь, да сотню пушак, да целую вармию выстав, и у нево хуть одна лядащая сотня казаков — и все ему, батюшке, нипочем: играет это нагаечкой своей, глядит на вражью силу несметную, как дите на игрушки, и улыбается: ничего, говорит, ребята, чесанем их поджарых — по крайности весело, есть кого бить... Ну, и бьет...» — так отзываются о нем казаки. Он полулежит на небольшом возвышении под деревом на разостланной бурке и по временам следит за движением, происходящим перед его глазами в раскинувшемся по косогорью реки Алле казацком

бивуаке. Один ус у него несколько обожжен порохом, платье в беспорядке, — видно, что спал эту ночь не раздеваясь, а может быть, и совсем не спал.

Лицо молодого собеседника его представляет собою тип совершенно иного рода. Это олицетворение мягкости, какой-то кошачьей и внешней гладкости: сам невеличек, кругленькое, как у кошечки, и такое же приятное, как у нее, личико, серые, светленькие, никогда, кажется, не блиставшие стыдом или раскаянием глазки, круглый, несколько вздернутый детский носик, белокурые волосы — совсем немчик с ангельским взглядом, немчик, кушавший белые булочки с свежим маслом, и оттого сам такой беленький, почтительный к папаше и мамаше, ласковый с сестрами, услужливый перед наставниками и начальством. На нем артиллерийский на меху шпенцер и меховой картуз. Говорит мягко, мелодично, вкрадчиво.

Кошечка эта — не менее знаменитый, чем Платов, партизан Фигнер. Если солдаты и не боготворят его, как казаки боготворят Платова, зато глубоко верят, что эти ясные глаза не моргнут, эта белая, мягкая, словно крупитчатая рука не дрогнет — перестрелять из пистолета разом до сотни беззащитных пленных, одного после другого. Солдаты глубоко уверились, что под этой крупитчатой наружностью кроется дьявольская сила характера, отвага невиданная, хладнокровие в битвах непостижимое и неслыханная жестокость — и все это с внешней мягкостью, с улыбкой на розовых губах, с невинностью во взгляде!

Славный партизан 12-го года и товарищ Фигнера, поэт Денис Васильевич Давыдов, так характеризовал впоследствии своего соратника в письме к Загоскину, автору бессмертного романа «Юрий Милославский»:

«Когда Фигнер входил в чувства, — а чувства его состояли единственно в честолюбии и самолюбии, — тогда в нем открывалось что-то сатаническое, так, как и в средствах, употребляемых им для достижения определенной им цели, ибо сие сатаническое столько же оказывалось в его подлой унизительности пред людьми ему нужными, сколько в надменности его против тех, от коих он ничего не ожидал, и в варварствах его, когда, ставя рядом до ста человек пленных, он своей рукой убивал их из пистолета одного после другого... Быв сам партизаном, я знаю, что можно находиться в обстоятельствах, не позволяющих забирать в плен, но тогда горестный сей подвиг совершается во время битвы, и не хладнокровно и после уже того опасного обстоятельства,

которое миновалось, что делал Фигнер. Лицемерство его доходило до того, что, будучи безбожником во всем смысле слова, он, по занятии Москвы, другой книги не имел и не читал, кроме Библии. Что же касается до коварства его, то вот два случая: был взят в плен один французский офицер, Фигнер с ним обошелся ласково, потом вошел с ним в дружескую связь, и когда, через несколько дней, все из него выведал, тогда подошел к нему сзади, когда сей несчастный обедал с офицерами отряда, и убил его своею рукою из духового ружья своего. С другим пленным офицером он также вошел в дружескую связь и, выведав у него все, что нужно ему было, призвал в отряде его находившегося ахтырского гусарского полка поручика Шувалова и спросил его: «Знаете ли, что ваша обязанность исполнять волю начальника?» «Знаю», — отвечал тот. «Так подите сейчас и задавите веревкою сонного французского офицера или застрелите его». Шувалов отвечал, как благородный офицер, и Фигнер нарядил на этот подвиг ахтырского гусарского полка унтер-офицера Шиапова, известного храбреца, но человека тупого ума, непросвещенного и уверенного, что истребление французов каким бы то способом ни было доставляет убийце царство небесное. Он исполнил приказание.

Ко всем сим отвратительным порокам, — продолжает Давыдов, — Фигнер соединял быстрый, тонкий, проницательный и лукавый ум. Был мало сведущ в науках, даже относительных к военному делу, хотя служил в артиллерии. Но зато обладал духом непоколебимым в опасностях и, что всего важнее для военного человека, — отважностью и предприимчивостью беспредельными, средствами всегда готовыми, глазом точным, сметливостию сверхъестественною; личная храбрость его была замечательна, но не равнялась с сими качествами — могу сказать — с сими добродетелями военными: в них он был единствен! Зато безнравственность, бессовестность, плутни самые низкие, варварство самое ужасное — превышали все сии качества военного человека».

Называя Фигнера «Улиссом хитроумным и лукавым», а третьего славного партизана, Сеславина, «благородным Ахиллом», который был выше Фигнера «и как воин, и как человек», Давыдов так заключает характеристику «коварного Улисса»: «Он мне говаривал во время перемирия, что намерение его, когда можно будет от успехов союзных армий пробраться чрез Швейцарию в Италию, — явиться туда с своим италианским легионом, взбунтовать Италию и объявить себя

вице-королем Италии на место Евгения. Я уверен, что точно эта мысль бродила в голове, так как подобная бродила в головах Фернанда Кортеса, Пизарра и Ермака, но одним удалось, а другим воспрепятствовала смерть и, может быть, воспрепятствовали бы и другие обстоятельства — вот разница. Все-таки я той мысли, что Фигнер вылит был в одной форме с сими знаменитыми искателями приключений: та же бесчувственность к горю ближнего, та же бессовестность, лицемерие, коварство, отважность, предприимчивость, уверенность в звезде своего счастья!»

Такова-то ласковая кошечка, сидящая рядом с Платовым под деревом. Поэтому понятно, что на слова Платова, что человечество живет порывами и что мир управляется казаками, начиная от Моисея атамана и Христа и кончая атаманом Наполеоном, кошечка, мечтавшая о короне, отвечала:

— Я думаю, генерал, что мир управляется казаками и партизанами.

— Во-во — верно... Ах, проклятый почечуй!.. Вот еще кто правит миром — почечуй...

В эту минуту что-то звякнуло, стукнуло — и перед Платовым очутился казак, словно он с неба сорвался: сам красный как рак, кивер на сторону, конь весь в мыле... Платов вопросительно глянул на него.

— Бакет, вашество, скрали, — отвечал тот.

— У кого?

— У *ево*, вашество.

— Кто?

— Атаманского полка хорунжий Греков с казаками, вашество.

— Ну?

— *Он* недалече, вашество... Наши ребята тотчас по грибы пошли.

Платов улыбнулся.

— По грибы?

— Точно так, вашество, из полка Каменнова охотнички.

— А бекет что?

— Сначала все молчали, а как пытать стали через дуло — ко лбу приставили, — так показали, что сам *он* недалече, а супротив нашего крыла — ихних три корпуса: Ланов корпус, да Сультов, да Муратов...

— Знаю... Я сам скоро буду... Ступай.

Казак повернулся и ускакал как бешеный... Вдали послышались выстрелы и в то же время что-то словно упало тяжелое, так что воздух дрогнул...

— Проснулся — откашливается, — заметил Платов, прислушиваясь.

— Вероятно, думает возобновить вчерашнюю игру, — отвечал Фигнер, вставая с травы, на которой сидел около Платова.

— Да, вчера у него карты были не козырные... Однако нам пора к своим местам...

— Вы, генерал, везде на месте, — вкрадчиво сказал Фигнер.

— Ну, не совсем... Нам бы надо было гнать Наполеона, а не ему нас.

Платов свистнул, и из кустов выехал казак, держа в поводу лошадь атамана. Там же была и лошадь Фигнера. И тот и другой вскочили на седла и поехали по тому направлению, куда ускакал вестовой казак.

Битва, видимо, началась. То там, то сям учащенные ружейные выстрелы, словно хлопушки, как-то глухо замирали в воздухе, между тем как более внушительные звуки, не частые и не гулкие, но какие-то тупые, точно разрывали этот воздух и колебали его. Белые клубы дыма, как огромные клочья взбитой ваты, взвивались то с правой, то с левой стороны неглубокой речки, извивавшейся в пологих берегах, иногда дымные клочья вылетали из-за кустарников или из-за опушки леса, а им отвечали такими же дымчатыми шарами из-за зеленых, густою щетиною проросших нив. Дымные круги все более и более сближаются, выстрелы становятся учащеннее, окрики орудий становятся все непрерывнее, и словно нервная дрожь пробегает в дымном воздухе — все дрожит и стонет. Птицы, нечаянно попавшие в это дымное пространство, испуганно мечутся и быстро отлетают в сторону...

Из-за дыма показываются двигающиеся колонны — и странный вид представляют они издали: это какие-то громадные чудовища, которые то извиваются, то спрямляются, блестя щетиною трехгранных штыков или изрыгая клубы дыма с каким-то словно бы захлебывающимся лопотанием... А пушечные окрики все энергичнее и энергичнее — бум! бумм! бумм!

В дело бросается конница. Французские драгуны сшибаются с русскими уланами. Эскадроны несутся стройно, ровно, словно на параде, пока в эти ранжированные по нитке ряды не ворвется смерть... Земля стонет от конского топота...

С самым первым эскадроном конно-польского полка, в первой линии, рядом с седоусым хмурым вахмистром несется

что-то юное, стройное, бледнолицее — совсем дитя, и так бешено мчится в объятия смерти, где свистящие пули и грохочущие ядра пушек... Это она — Дурова, в глазах не то благоговейный ужас, не то благоговейный восторг...

— Да провались ты отселе, щенок! — рычит на нее седоусый вахтер, видя, что она скачет не в своем эскадроне, не по праву: она еще не заслужила права на смерть, их эскадрон еще не снялся с места, а она, по незнанию, кинулась вперед — прежде отца в петлю! — Да сгинь ты, молокосос! — снова огрызается вахтер.

— Да что тебе, дедушка? — удивленно спрашивает девушка, захлебываясь от скачки.

— Это не твой эскадрон...

А уж смерть тут — сшиблись! Послышались крики, стоны, удары, ругательства... «Ох... О!.. Боже!.. Смерть моя!.. Смертушка, братцы!..»

Уже то там, то здесь бешеный конь несется без седока, высоко закинув голову... Иной несет на седле мертвое тело, пока оно не свалилось на землю... Нет порядка, нет ранжиру — смерть командует...

А ружейное лопотание так и захлебывается в переливчатом огне, перебегая с места на место, словно это что-то живое лопочет несвязно, нервно... А горластые пушки так и задыхаются, кажется, торопясь изрыгнуть больше и больше огней и смертей...

Отбившись от общей свалки, окруженный французскими драгунами, какой-то русский офицер отчаянно защищается. Но он один, а над ним сверкают до пяти-шести сабельных клинков... Он уже шатается на седле, готов упасть, сабельные удары скользят по нем, по его седлу, по лошади... Погибает, бедный!..

Это видит Дурова — и не выносит такого мучительного зрелища. Как безумная, с пикой наперевес, она несется на помощь погибающему, гикая по-казацки своим детским голосом, и — странно, непостижимо! — старые драгуны Наполеона робеют этого детского гикания и разлетаются в стороны.

— Кто вы? — спрашивает девушка, подскакивая к офицеру, который уже лежал на земле раненый.

— Панин, — отвечает тот.

А раненый конь его, освободившись от седока, бешено скачет за убегающими драгунами, в ряды неприятеля, словно хочет отмстить им за своего хозяина.

Девушка нагибается к офицеру и поддерживает его.

— Вы в состоянии сесть на лошадь? — спрашивает она, и у самой голос дрожит от волнения и счастья.

— Да мой конь убежал, — отвечает тот.

— Садитесь на моего.

— А вы сами?

— Я здоров, а вы ранены.

Раненый, взглянув в лицо своему спасителю, невольно восклицает:

— Да вы ребенок! Как вы попали в этот ад?

Девушка, ничего не отвечая, помогает ему сесть на седло.

— По крайней мере, скажите — кто вы? Я хочу знать имя моего спасителя, — настаивает раненый.

— Я — Дуров, конно-польского уланского полка... Спешите в обоз перевязать вашу рану... Алкид! Будь умен, вези хорошенько, — обратилась она к коню и потрепала его шею. — До свиданья, господин Панин.

Панину казалось, что все это сон. Сном казалась и необыкновенной девушке первая битва, в которой она участвовала и — спасла человека. Она сама не понимала величия своего подвига — она только радовалась, что сделала доброе дело.

— А он еще щенком меня назвал, этот сердитый вахмистр... Но Боже мой! Наши, кажется, отступают... Я ничего не понимаю... Я только благоговею перед величием боя... О, мой папа! Мой папа!

V

Да, это было отступление — и не первое... Русские уже не в первый раз отступают, привыкли — Наполеон научил их отступать. О! Это хороший учитель, он научил отступать всю Европу, весь мир — и русские отступают. Отступали после Ульма, отступали после Аустерлица, отступали после Прейсиш-Эйлау. Отступал Кутузов, отступал Багратион, отступали Каменский, Барклай-де-Толли, Буксгевден. Отступают и теперь Бенигсен, Платов, Фигнер.

И она, жалкая снежинка этой великой русской армии, тающей от взгляда корсиканца, — и она несется в общем вихре отступления. Стыдом пылают ее бледные щеки, глаза не глядели бы на это бегство — первое в ее жизни. А как они бегут — эти маститые, закаленные в боях! И им не стыдно!

«Что скажет папа, когда узнает о нашем отступлении? Бедный! А он так любил слушать, когда я декламировала ему оду Поспеловой на разбитие маршала Массены Суворовым:

Как буря облака — грядою
Он гонит галлов пред собою...

А теперь галлы гонят нас, потому что у нас нет больше Суворова. Как изменилось все со вчерашнего дня: какое хмурое небо, какая угрюмая зелень леса! А вчера такое голубое было небо, и еще голубее казалось оно из-за порохового дыма... А теперь мне видится и на зелени кровь, и в шуме леса мне слышатся стоны раненых, — не тех, что там стонали, в битве, стонали и умирали под копытами лошадей, а тех, что я видела в обозе, на перевязочном пункте... Это они стонут... Какое лицо у казака, что умирал от страшных ран и все стонал: «Не снимайте с меня гайтана — там земля родная, с Дону... Палага на прощании на гайтан навязала и на шею привесила...» Какой ужасный бред!.. Бедная Палага — не жди вестей от своего друга... А Панин — как он жал мне руку, как благодарил: не на гайтане, говорит, «а в глубине сердца буду носить ваш образ и умру с ним»... Зато и Алкид же был рад, когда увидал меня в обозе, как собака терся своей головой о мое плечо.

Ты что жалобно чирикаешь, бедненькая птичка? Боишься за свое гнездышко?.. Да, наши кони растопчут его, как топтали вчера людей... Странно! Вчера, на перевязочном пункте, содрогаясь от стона раненых, я еще более содрогалась оттого, что слышала, как где-то неподалеку в кустах заливался глупый соловей, словно бы это был наш сад на Каме, где я играла с собаками, а не смертный пункт...»

Впереди какое-то препятствие — и ряды конницы, двигающейся большею частью гуськом, останавливаются. Это плотина на дороге, гать, да такая узкая, что может пропустить только по три всадника в ряд. Передние отряды переправляются, а задние выжидают. Солдаты перекидываются замечаниям.

— Да ты прежде накорми солдата, да тады и веди в дело.

— Знамо, голодному какая война?

— Это точно, какая храбрость у голодного?

— На голодное брюхо и пуля идет, а от сытого брюха отскакивает.

Смеются. Настоящие дети!

— А все провиянтские.. Пусто б им было!

— Знамо, провиянтские... Не француз нас бьет, а свой брат чиновник.

В стороне от дороги спешились гусары и кучкой уселись около чего-то, рассматривают что-то с большим вниманием. Дурова подъезжает к ним. В средине кружка сидит старый гусар и держит на коленях что-то такое, к чему и приковано внимание всего кружка. Это что-то — черненькая собачонка. Бок у нее перевязан окровавленной тряпкой. Суровые, загорелые лица гусар с нежной любовью и жалостью смотрят на раненое животное.

— Что это, братцы? — спрашивает девушка, тоже спешиваясь.

— Да вот Жучка наша эскадронная отходит.

— Ах, бедненькая! Ранена разве?

— Да, ранил вчера проклятый француз... Семь раз с нами в атаку ходила — целехонька была... Уж мы ее и отгоняли, так нет — вон дядю Пилипенка она на шаг от себя не отпускала, любит ево шибко, ну, и зашибли ее, — говорил словоохотливый гусарик.

А дядя Пилипенко глаз не спускает с своего дорогого, раненого друга. Руки, загрубелые в битве, никогда не дрожавшие, когда тяжелым палашом мозжили и турецкие, и французские головы, или когда в Италии сплетали этим палашом кровавые лавры Суворову, — эти руки теперь дрожат, бережно поддерживая умирающую Жучку. И углы губ дрожат у старого гусара, под седыми бровями блестят слезы на опущенных ресницах.

— А давно она в вашем полку? — спрашивает девушка, у которой при виде слез старого гусара тоже готовы брызнуть слезы.

— Давно уж — с самого как есть с походу. Она нам всем как родная была... Дядя Пилипенко за пазухой ее у себя маленькую выняньчил... Уж и любила ж она его!.. Да и мы любили ее — так эскадронной крестницей и звали... Да и отплатила она нам — под Пултуском наш полк спасла.

— Кто? Она?

— Да, Жучка эта самая.

— Каким образом?

— Ночью раз французы совсем было в мешок нас убрали, так Жучка увидала их и сделала тревогу, ну, и спаслись да еще и их погладили маленько... Коли бы не грех, мы бы выпросили ей егорьевский крест — она заслужила его... Когда на дядю Пилипенка надели тады этого Ягорья, так он так и сказал: не я, говорит, это заслужил, а Жучка.

— А! Здравствуйте, Дуров! — раздался вдруг голос за спиною девушки.

Она невольно вздрогнула. Она грустно думала о старом гусаре, который, может быть, в этой Жучке терял единственное дорогое существо — привязанность, которая одна осталась ему в его небогатой теплыми воспоминаниями жизни.

Оглянувшись, Дурова увидела перед собою Грекова и тотчас же почему-то вспомнила, как они с ним когда-то охотились, когда входили с их полком в землю Донского Войска, как она видела тогда странный и тяжелый сон, как убила змею... Наполеона, — и что-то вроде краски показалось на ее загорелых щеках, на которых и следа не осталось прежней девической белизны и нежности.

— Что вы тут делаете?

— Да вот бедная собачка умирает от ран — смотрю.

— Эскадронная Жучка, ваше благородие, — пояснил словоохотливый гусар. — Вчера семь раз с нами в атаку ходила, ваше благородие, хорошая собака.

— Зачем же вы ее пускали?

— Никого не слушалась, ваше благородие... Да она и под Устерлицом в деле была, и под Пултуском, да Бог спас. А теперь — на вот.

Послышалась команда, и спешившиеся гусары должны были садиться на коней. Старый Пилипенко бережно передал собаку на руки другого гусара и, вскочив на седло, снова взял ее к себе. Взвод их двинулся к гати. Девушка стояла задумчивая такая, грустная, провожая глазами отъезжавших гусар, увозивших с собою Жучку... Бедные большие дети!

— Ну, что, как ваши дела? — спросил Греков, всматриваясь в своего бывшего спутника, на лице которого, казалось, написано было что-то такое, чего не было прежде, но что такое — этого молодой казак прочесть не мог.

Она молчала, тихо гладя шею своему коню.

— Были вчера в деле? — снова спросил Греков.

— Был.

— Ну, и что ж?

— Ничего... занятно... а вот сегодня об Жучке плачу...

И могилу в поле ратном
Не лопатой — палашами
Жучке вырыли герои...

Напишу такую «Оду на смерть Жучки» и пошлю к Державину либо к Карамзину в «Вестник Европы»...

Девушка говорила это как-то нервно, не то с грустью, не то с досадой.

— Дуров, да что с вами? — приставал Греков. — Вчера, говорят, очертя голову лез на верную смерть, вытаскивал дру-

гих из пекла, а сегодня — то ли он смеется, то ли в самом деле плачет над Жучкой.

— Конечно, плачу над Жучкой.

Греков засмеялся.

— Чудак же вы, я вижу.

— Не чудак я, а я серьезно говорю, что Жучка — герой! Она достойнее наших нынешних полководцев... Жучка целый полк спасла под Пултуском... Никогда еще этого не было, чтоб русских били, а теперь бьют, как собак!

И девушка, вынув из кармана тетрадку и показывая ее своему собеседнику, спросила:

— Вы читали это?

— Что такое?

— «Мысли вслух на Красном крыльце», из Москвы прислали.... Ростопчин сочинил.

— Нет, не читал. А что?

— Да все врет — досадно даже!.. Говорит, будто бы мы бьем Бонапарта в ус и в рыло... Вот что он пишет о Наполеоне: «Италию разграбил, двух королей на острова отправил, цесарцев обдул, прусаков донага раздел и разул, а все мало! Весь мир захотел покорить: что за Александр Македонский!»

— А! То-то же... а не вы ли сами то же говорили? Помните змею, что вы растоптали?

— Помню... Да это что! Я и не говорю, что теперь мы бьем Бонапарта или прежде били, а он вон что плетет о нем: «Мужичишка в рекруты не годится: ни кожи ни рожи, ни видения; раз ударишь, так и след простынет и дух вон, а он таки лезет вперед на русских. Ну, милости просим!.. Лишь перешел за Вислу, и стали бубнового короля катать: под Пултуском по щеке — стал покашливать, под Эйлау по другой — и свету Божью не взвидел...» А вон мне солдаты говорили, что там нас бубновый король катал...

— Ну, не совсем.

— Как не совсем! Ведь мы же отступили, как и сегодня отступаем.

— Экой вы какой горячий... Недаром о вас все говорят...

— Что говорят?

— Да что вы вчера целый отряд французских драгун обратили в бегство.

— Вздор какой! — Но девушка не могла скрыть чего-то, не то краски, не то бледности, набегавших на ее щеки, — и стыд, и радость вместе. — Их было всего три или четыре человека...

— Полно скромничать... А кто свою лошадь отдал офицеру в самом пылу сшибки?

— Да ведь он ранен был, а я здоров.

— Ну, вестимо! Зато теперь везде слышно: проявился, говорят, какой-то отчаянный мальчишка, не то девчонка, да так и лезет на смерть, очертя голову...

— Это не обо мне, это о Жучке говорят... Непременно сочиню оду Жучке...

В поле ратном, в поле чести
Жучке вырыли могилу,
А копали палашами,
Оросили всю слезами,
И как Жучку погребали —
«Мысли вслух» над ней читали.

— Однако, Дуров, вы не только злой рубака, но и злой стихотворец.

— Поневоле будешь злым, когда все злит, на что ни взглянешь... Мне теперь стыдно вспомнить, как я вместе с офицерами нашего полка, когда еще не столкнулись лицом к лицу с Бонапартом, декламировал из «Димитрия Донского» Озерова:

И чувство пылкое, творящее героя,
Покажем скоро мы среди кровава боя!

Вот и показали!.. А один офицер все носился с этим стихом:

Поди и возвести Мамаю,
Что я его как черта изломаю!

А сегодня, когда я его спросил: «Ну, что — изломали Мамая?» — так он отвечал, что солдаты потому плохо дрались, что были голодны, что провиантские чиновники совсем заморили нашу армию.

— Это правда, — подтвердил Греков. — Вчера французы отрезали было у нас обоз с провиантом, а наши гаврилычи напали на них и отбили. Так провиантский чиновник, который заведывал этим обозом, подбегает к нашему урядннку, что обоз отбил, и падает ему в ноги — так и валяется. Урядник думает, что тот его благодарит за спасение обоза, да и говорит, что не за что-де благодарить, а тот валяется в ногах и просит, чтоб отдали обоз французам опять. «Как! — говорит урядник. — Французам отдать?» «Да там, — говорит чиновник, — вместо крупы и муки, по ошибке — каково! — по ошибке, говорит, — приемщика, оказался песок да опилки»...

— Ну, и что ж? — спросила Дурова.

— Да подвернулся в это время сам атаман и как узнал, в чем дело, так сначала накормил провиантского чиновника

нагайкой, а потом велел его кормить той мукой и крупой из песку и опилков, что он для солдат приготовил.

Дурова и руками всплеснула.

— Вот злодеи, а еще русские!

На сердце у нее становилось все тяжелее и мрачнее. Все те детские грезы, те грандиозные представления войны и ее поэзии не то чтобы разбились о холодную, подавляющую стену действительности, но как будто бы притупились сразу и упали камнем на сердце. Вместо грозного, кровавого, величественного бога перед нею вставало отвратительное чудовище — кровавое, но грязное, пресмыкающееся... Это был не тот поэтический гром орудий, не тот свист пуль, не те стоны раненых и умирающих, которые представлялись когда-то в летучих грезах, — нет, тут было что-то мертвящее, давящее, унижающее... Эти не кормленные солдаты, этот мусор вместо хлеба — и бегство, постыдное бегство!

Зато тем величественнее, страшнее и непостижимее представлялся ей образ Наполеона. Она никак не могла думать, что он не великан. Только великан может бросать от себя такую гигантскую тень — тень на полвселенной... Египетские пирамиды при закате солнца не могут бросать от себя тени на полмира, а он — он бросает... «Мужичишка в рекруты не годится — ни кожи ни рожи, ни видения...» «Эх, Ростопчин, Ростопчин!.. Растопчет и тебя он когда-нибудь с твоею кичливою похвальбою»...

Войска двигаются в беспорядке, какими-то табунами, все части войск спутаны — кавалерия, пехота... Там идут вброд через ручьи и речки, там вязнут в болотах, путаются в лесах.

— Куда мы идем? Куда бежим? — спрашивает она с тоскою в сердце.

— Не знаю, а кажется — к Фридланду или к Кенигсбергу, — отвечает Греков наобум.

— Что ж, разве нас гонят?

— Да похоже на то, что не мы гоним.

— Боже мой! Да как не сгорит со стыда вся армия, вся Россия!..

— Уж и со стыда! Подождите, и мы его накроем мокрым рядном.

Влево, у опушки леса, заметно какое-то особенное движение. Несколько кавалеристов окружили развесистую иву и размахивают руками, указывая на ее вершину.

— А! Верно кого-нибудь поймал, — заметил Греков.

— Кто — кого поймал?

— Фигнер кого-то.

— А! Фигнер? Это тот храбрец, что в Греции и в Италии бывал, а теперь чудеса делает?

— Да, он самый — большой проказник.

— Покажите мне его.

Они подъехали к лесу. Фигнер, окруженный несколькими драгунами, направил дуло пистолета на вершину ивы и сердито кричал: «Слезай, чертово отродье, а то как белок перестреляю!»

На ветвях ивы, в густой зелени листьев, копошились две темные фигуры.

— Прыгай, пархатый! — и Фигнер выстрелил.

На дереве что-то вскрикнуло и словно мешок свалилось на траву. За ним с дерева карабкалось что-то другое.

На траве валялся и стонал еврей, по-видимому, раненый. Рыжие пейсы болтались беспорядочно, как растрепанные пасмы льна.

— Ой-вей! Ой-вей! — стонал и бился оземь раненый.

— Говори, пархатый, откуда ты? — спрашивал Фигнер.

— Ой-вей, из Прейсиш-Эйлау, господин пан.

— А зачем ты сюда попал?

— Ах, мейн гнедиге гер! Мы же шли у Фридлянду.

— Зачем?

— Гандель робиць, пане добродзею... Ой-ой!

— Зачем же ты реку перешел, когда Фридланд на той стороне Алле?

— Мы, пане, французен боялись, там французен мародирен.

С дерева слез другой еврей, бледный, дрожащий.

— А много там французов?

— Много, ай много, пане.

— А куда они идут?

— Не вем, пане, далибуг не вем.

— Врешь, пархатый! Ты послан шпионом... Говори ты!

И он обратился к другому еврею, слезшему с дерева:

— Говори! Шпионы вы?

Еврей отчаянно тряс головой и только бормотал:

— Не вем, пане, ниц не вем...

— Говори! Признавайся! — и нагайка повторила этот допрос на спине вопрошаемого.

Тот отчаянно вился и упорно повторял: «Не вем — ох, не вем, не вем!»

— Повесить их! Это французские лазутчики... От них мы ничего не добьемся... На сук их! — скомандовал Фигнер. — Они не стоят заряда.

Раненый приподнялся на коленях и с отчаянием поднял руки к небу. Другой ухватился за стремя Фигнера и с плачем целовал его ногу.

— Вешай их живей! — командовал Фигнер, и серые, стоячие глаза его заискрились. — Вешай собак!

— Веревки нету, ваше благородие, а казенной жаль, — апатично отозвался рябой курносый драгун, словно бы речь шла о том, какою веревкою перевязать пук сена.

— Ну, захлестните их за тонкие ветви ивы, все равно подохнут, — отозвался Фигнер. — Да живей, мне некогда ждать.

И он поскакал вперед. Оба еврея отчаянно бились на земле, ползая у лошадиных копыт драгун. Последние пригнули к земле одну толстую, упругую и развесистую ветку ивы и, приподняв с земли обезумевших от ужаса евреев, быстро обмотали гибкими ветвями их шеи, делая это так хладнокровно, как бы они плели плетень из хворосту. Мертвые ожерелья были скоро готовы. Несчастные жертвы почти уже не кричали и не стонали, а только бились конвульсивно в безжалостных руках своих палачей...

— Ладно... Пущай, — скомандовал рябой драгун.

— Жиды на вербе...

— На верби груши! — сострил какой-то хохол драгун.

Дурова, закрыв лицо руками, отвернулась от этой страшной картины и сказала, не оглядываясь, бессмысленно бормоча: «О война!.. Проклятие Божие... братоубийство... Каины, Каины проклятые!..»

VI

Фридланд, Смоленск, Бородино... Страшно и скверно звучат эти имена и в русской памяти, и в русской истории... Страшно и скверно звучат они на человеческом языке... Славою гремят — на языке войны.

Две великие армии сошлись на берегах маленькой, жалкенькой речонки Алле, впадающей в такую же жалкенькую речонку Прегель у Фридланда. Одною армиею, большею, командует великан мира, апокалипсический страшный зверь, — ведет он ее на борьбу со всем миром. Другую армию, меньшую, ведет против апокалипсического зверя полумертвец, полуразвалина — это русский полководец Бенигсен. В предыдущей битве он трупом лежал под деревом, в обмороке, а когда приходил в сознание, то командовал шепотом...

Шепот — перед ревом пушек! Полководец в обмороке — против Наполеона!

И теперь, накануне 2 июня 1807 года, у Фридланда, с глазу на глаз с страшным Наполеоном, русский полководец, больной, изнемогающий, ищет себе ночлега! Но на этом, на правом берегу «паршивой речонки» Алле, как назвали ее солдаты, нет ночлега — ни одной лачужки. А там, по ту сторону, Фридланд — там можно найти покойную постель русскому стратегу, противнику Наполеона, — Наполеона, которому седло служит постелью.

— Здесь наши позиции сильнее, чем на том берегу, — докладывает Багратион.

— Что ж, батюшка, околевать мне здесь прикажете? — сердито отвечает Бенигсен.

Нечего было делать, надо было покоряться воле главнокомандующего, которому не доставало постели. Только Платов не вытерпел и с свойственным ему народным юмором заметил:

— Да мои атаманцы, ваше превосходительство, из-под самого Бонапарта достанут вам постельку, тепленькую, только прикажите, мигом выкрадут.

Бенигсен раздражительно махнул рукой, и войска получили приказ двигаться за Алле.

Как ни тяжела эта адская переправа после усиленной гонки, после бессонных ночей и дождя, хлеставшего двое суток, но солдатик выносит все, как он стоически выносит и саму жизнь свою. Да и что была бы его жизнь без шутки? Хлеба нет, сухарей нет — зато есть шутка; сапог нет на ногах — зато во рту присказка. Шутка — это солдатский приварок.

Речку большею частью приходилось переходить вброд.

— Эй, Заступенко, скидай портки! — кричит статный фланговый товарищу, который, засучив штаны, осторожно шагал по воде, выискивая, где помельче было. — Скидывай скорей!

— На що их скидать, коли я сегодня ще не ив? — отвечает хладнокровно Заступенко.

Солдатики хохочут. И они ведь ничего не ели — ну, и смешно... До портков ли тут.

— Как на что? Портками карася либо рака поймаешь — ну, и сварим ушицу, поужинаем.

— Овва! Зараз сама юшка зробиться.

— Как? Как, из твоих штанов разве?

— Та так. *Вин* нам такого жару задасть, що сама оця гаспидська ричка закипит и сама юшка из рыбы зро-

биться: тоди бери ложку та прямо из рички и ишь... От побачите.

— Ай да хохол!

— То-то хохол! Тоди вси без штанов будемо...

Товарищи хохочут дружно, залпом.

— Молодцы, ребята! — раздается знакомый солдатикам голос. — Перебрались уж...

Солдатики встряхиваются — перед ними Багратион, любимец их, тоже шутник большой.

— Ты что, Лазарев, без сапог? — обращается он к статному фланговому, который острил над хохлом, над Заступенком. — Куда девал сапоги?

— Да мы все без сапог, вашество.

— Как без сапог?

— Точно так, вашество. Были у нас сапоги, да только все казенные.

— Так что ж?

— Без подошов, значит.

— Как без подошов?

— Точно так, вашество, без подошов... Как обули мы их да пошли в дело — подошвы и отвалились совсем да и сапоги развалились... Так мы их, вашество, и побросали: так-то, босиком, и драться способнее, ногам вольготнее.

— А на голодни зуби, ваше проходительство, ще лучче дратысь, — вставил свое слово Заступенко.

— Что такое? — удивляется Багратион, попросту болтавший с солдатиками.

— Да хохол, вашество, говорит, что голодный солдат храбрее сытого, — поясняет Лазарев.

— Потому вин храбриший, що исти хоче...

Солдатики опять смеются. Смеется и Багратион.

— А вы, верно, очень проголодались? — говорит он.

— Очень, ваше проходительство.

— Ну, значит, хорошо драться будете.

— Будемо, ваше проходительство.

Но в это время где-то грянула пушка, за ней другая, третья, четвертая...

— Ну, дьяволы! И поговорить не дали! — огрызнулся храбрый Лазарев, видя, как Багратион понесся по рядам только что перебравшегося через реку войска.

Канонада все разгоралась более и более, охватывая полукругом оба крыла нашей армии. Точно с неба или из-под земли раздается этот грохот, а самих французов не видать, да и ружейных залпов не слышно.

— Да где они, черти? — слышится в рядах солдат. — И стрелять не в кого.

— Береги пулю, будет в кого, — утешает старый солдат.

— Та се вин нас так лякае, бисив сын, — поясняет Заступенко.

— Он теперь себе кашу варит, так вот и пужает, чтоб мы ему не мешали, — замечает Лазарев.

— А, димонив сын! Чорти б зъили его батька с квасом!

— Ударимте на него, ребятушки, отымем у него кашу, — предлагает смельчак.

— Нельзя, не приказано.

А канонада не умолкает. Заступенко прав был, говоря, что француз только «так лякает». Наполеон действительно открыл канонаду под Фридландом на рассвете для того, чтоб под ее пугающим прикрытием дать время своим войскам занять выгодные позиции и успеть отдохнуть до формальной битвы.

Если б Заступенко имел хорошую зрительную трубу, то он увидел бы в едва мигающей дали, на небольшом холме, кучку людей на конях, а среди этой кучки маленького, немножко пузатенького человечка с нахлобученною на лоб треугольною шляпою, на которую не походила ни одна шляпа в мире. Заступенко увидал бы, что этот человечек, поднося к глазам зрительную трубу, показывал рукою то по тому, то по другому направлению: то он показывал иногда на него, на самого Заступенка, то на его соседа Лазарева, и особенно вон на ту ворону, испуганно каркающую над русскими пушками, взвозимыми на возвышение. Ух, как каркает проклятая ворона, не к добру!.. Если б Заступенко, наконец, мог слушать и понимать французскую речь, то он услыхал бы, как этот маленький человечек в треугольной шляпе, показывая рукою на Заступенка и обращаясь к окружающим его маршалам, говорит:

— Заступенко (то-бишь: «неприятель», да это все равно), Заступенко хочет, кажется, дать битву... Сегодня счастливый день, годовщина Маренго. А знаешь, Заступенко, что за Маренго? Вот сегодня узнаешь.

Маленький человечек, окруженный свитою, состоящею из маршалов и генералов — Сульта, Ланна, Мюрата, Леграна и других, объезжает свои войска и осматривает как свои, так и русские позиции. А русский главнокомандующий давно нашел свою позицию, покойную постель в Фридланде, и покоит на ней свое разбитое болезнями тело. Дурной, роковой при-

знак!.. Бенигсен на знает даже, что он очутился лицом к лицу с главными силами Наполеона, да и никто этого не знает. Знает все только один Наполеон, потому что он везде сам, везде носится его маленькое тело с большою головою, прикрытою треугольною, небывалого фасона шляпою, всюду заглядывает его зоркий глаз, и силы, и движения неприятеля ему так же ясны всегда, как движения шашек на шахматной доске. Это действительно бог, или, вернее, демон войны.

— Счастливый день, годовщина Маренго!

И эти слова императора-полководца вместе с громом пушек облетают всю великую армию, и великая армия наэлектризована, она дышит отвагой и уверенностью в победе.

Стойка и бессапожная, голодная русская армия. Все равно умирать: приказало начальство — ну, и баста. А может, коли кто уцелеет, и хлебца достанет, сухарика погрызет, щец похлебает... Куда щец! Да из-за щей русский солдатик с голыми руками на пушку пойдет, без рукавиц черта задавит...

А там все бумм да бумм! А стрелять не в кого... Животы подвело...

Но вот заговорили и ближние пригорки, кусты, высокая зеленая рожь. Есть в кого стрелять, есть на кого идти... Словно огненным кольцом обвились французы вокруг левого русского крыла, это их стрелки сыплют свинцовым горохом, чтобы дать возможность развернуться коннице и пехоте... Развернулись, налегли всею массою, давят, в русских рядах то там, то здесь у солдатиков подкашиваются резвы ноженьки, закатываются ясны оченьки. Места упавших заступают их товарищи, смыкаются плотнее, идут лавою... Взять бы эти проклятые горластые пушки, которые выкашивают целые ряды босоногих и обутых героев, заставить бы их замолчать, и тогда на штыки, в рукопашную, как на кулачки, улица на улицу, лава на лаву... Так нет! Шибко, смертно бьют проклятые... «Ох, смертушка!» — слышится страшный возглас. «Умираю, братцы!»... «Стой! Не выдавай, ребята! Понатужься!..»

И отчаянно натуживается мужицкая грудь, как натуживалась она и над сохой в поле, и над цепом на току, и с серпом и косой на барщине, — не привыкать ей натуживаться... Так нет! Не обхватишь всей *его* силищи, — несосметная она, дьяволова!

— За мной, ребятушки! — кричит Багратион с саблею наголо. — Заткнем глотку вон той проклятой старухе... Вперед!

Ему хочется завладеть одной из самых губительных неприятельских батарей, действия которой производят страшные

опустошения во всем левом крыле армии, и он ведет своих молодцов в атаку, прямо в адскую пасть этой батареи.

— За мной!

— Вперед, братцы! Дружнее! Не выдавай! — вторят ему офицеры команд, и также сверкают жаркими клинками сабель.

Идут нога в ногу, штыки наперевес, — лавой прут вперед босые и обутые ноги... С криком «ура» бросаются на «чертову старуху», но, подкашиваемые словно серпом, не выносят адского огня, оставляя впереди и позади себя сотни трупов, распластанных, разметанных, иногда труп на трупе...

— Нет, братцы, невмоготу... ох, смертно бьет!

И снова расстроенные ряды смыкаются, а пока они переводят дух, вперед несется кавалерия, стонет земля под конскими копытами, как лес веют в воздухе разноцветные значки, храпят лошади, что-то стонет и разрывается в воздухе — и небо разрывается, и земля разверзается... А оттуда все напирают и напирают новые силы... Ад, чистый ад!

Огненное и дымное кольцо охватывает уже и правое крыло русской армии... Вот-вот отрежут самый Фридланд, возьмут Бенигсена вместе с его ночлегом и постелью...

Он только теперь узнает, что против него вся армия Наполеона.

«Погиб! Все погибло! — стучит у него в мозгу, в сердце, во всем теле... Он падает головой на стол, на карту, на которой плохо изображена топография местности, где теперь идет битва, — и стонет не то от боли, не то от отчаяния. — Пропала слава Прейсиш-Эйлау... пропала моя слава... Андрей Первозванный...» Ему вспоминается этот орден, пожалованный ему за Прейсиш-Эйлау... Непостижим человеческий ум: вспоминается ему и то, что он сегодня во сне ел гречневую кашу... Он стонет...

— Велите отступать! — хрипло говорит он стоящим около него адъютантам. — Нас отрежут...

Но и отступать уже нельзя, некуда: одно отступление — в могилу.

На правом русском крыле едва ли еще не страшнее, чем на левом и в центре... Кавалерийские полки так и тают от адского огня неприятельских батарей... Наполеон знает хорошо тактику смерти: чугунными ядрами он разрешетит сначала все полки врага, смешает конницу и пехоту, насуматошит во всех частях армии и тогда пускает своих цепных собак, своих гренадер, свою старую армию, и эти псы страшные окончательно догрызают обезумевшего врага.

— Счастливый день! — то и дело повторяет он. — Годовщина Маренго! Браво, моя старая гвардия!

И несутся по армии эти ядовитые слова, и зверем становится армия...

— Vive l'empereur! — то там то здесь воют эти бешеные псы в косматых шапках, и резня идет неумолимая, неудержимая.

Бессильно стучит об стол жалкая голова Бенигсена... «Отступать — спасаться...»

— Бейте отступление! — кричит адъютант Бенигсена, подскакивая к Горчакову, который командует правым крылом.

— Кто приказал? — сердито раздается охриплый голос последнего.

— Главнокомандующий!

— Скажите главнокомандующему, что для меня нет отступления... Я не хочу отступать в могилу... Я продержусь здесь до сумерек: пусть лучше останется в живых хоть один солдат, но пусть он умрет лицом к врагу, а не затылком... Доложите это главнокомандующему!

Отправив назад адъютанта, Горчаков пускает в атаку кавалерию... Ужасен вид этих скачущих масс: топот копыт, лошадиное ржание, невообразимое звяканье оружия и всего, что только есть у кавалерии металлического, звенящего, бряцающего — все это заставляет трепетать невольно врага самого смелого... Но и это бессильно заставить умолкнуть горластые пушки, рев которых еще страшнее кажется тогда, когда ядра их падают в живые массы людей, вырывают целые ряды их, мозжат головы и кости у людей, у лошадей, ломают деревья, взрывают землю и засыпают ею и живых, и убитых

И Дурова несется в этой массе бушующего моря... Вот ее истомленное бледное личико с пылающими от бессонницы и внутреннего пламени очами... Ты куда несешься, бедное, безумное дитя!

До половины выкашивают адские пушки из этой массы скачущих людей. Поля, пригорки, ложбины устилаются убитыми и искалеченными лошадьми, размозженными и расплюснутыми людьми... Вон стонет недобитый... Вон плачет искалеченная лошадь... лошадь плачет от боли! Бедное животное, погибающее во имя человеческого безумия и человеческого зверства! Тебе-то какая радость из того, что победят твои палачи? Да и тебе, бедный солдатик, какая радость и польза от того же? О, великая польза!..

Из конно-польского уланского полка, в котором находилась Дурова, легло более половины. Перебиты начальники, перебиты офицеры, полегли лучшие головы солдатские... Почти уничтоженный полк выводят из-под огня, отдохнуть,

оглядеться, промочить окровавленною водою Алле пересохшие глотки.

— Красновата вода-то, — говорит Лазарев, нагибаясь к речке, чтобы напиться. Удивительно, как сам он остался цел, находясь под самым адским огнем и ходя в штыки несколько раз, чтобы одолеть «чертову старуху» — батарею: он весь в пороховой саже, в грязи, в крови.

— Та се ж юшка, — лаконически замечает Заступенко, которого и тут не покидает шутка.

— Не уха, а клюквенный морс, братец.

Дурова посмотрела на воду и в ужасе всплеснула руками: вода действительно окрашена была «клюквенным морсом» — солдатскою кровью! И они ее пьют, несчастные!

В это время она видит, что по полю, на котором только что происходила битва и которое теперь оставлено было живыми в пользу мертвых, валявшихся в том положении, в каком их застала смерть, — что среди этих мертвецов, по незасыпанному кладбищу, скачет какой-то одинокий улан, но скачет как-то странно, без толку, то взад, то вперед. Лошадь его постоянно перескакивает через трупы, не задевая их копытами, или осторожно объезжает мертвецов. Улан кружится, словно слепой или пьяный, то на секунду остановится, то поедет шагом, то поскачет...

Девушка подъезжает к нему, окликает издали.

— Улан! А, улан!

Молчит улан, продолжая кружиться. Она подъезжает еще ближе.

— Любезный! Земляк! Ты что без толку скачешь?

Молчит, но как будто вздрагивает. Она к нему, но лошадь спасает своего седока, несется через трупы в открытое поле, к французам... Девушка дает шпоры своему Алкиду и перехватывает бродячего улана. Он шатается, как пьяный, но сидит устойчиво.

— Ты что здесь делаешь, земляк?

Молчит. Глаза глядят безумно, лицо какое-то странное, на лбу кровь.

— Да говори же, что с тобой?

Улан бормочет как во сне:

— Стройся! Справа по три — марш!.. — Это бред безумного...

Тут только поняла девушка, что он ранен в голову и обезумел, но с коня не падает, словно прирос к седлу...

«Коли ты называешься улан, так тебе с коня падать не полагается, хуть ты жив, хуть ты убит, а сиди на коне... Улан

падать с лошади не должон — ни-ни-ни Боже мой! Падай вместе с конем — таков уланский закон... А с коня — ни-ни! Не роди мать на свет!» — вспоминаются девушке слова старого улана, ее дядьки Пуда Пудыча.

— Что у тебя голова? — спрашивает она несчастного.

— Это не голова, а ядро... Мою голову унесло, — бормочет раненый.

Морозом продирает по коже от этих слов... Его нельзя здесь бросить, он пропадет.

— Поедем со мной, — говорит она.

— Куда? Голову мою искать?.. Она укатилась, вот так: у-у-у!

— Мы найдем ее — поедем.

— Катится... катится... у-у-у-у...

Взяв за повод его лошадь, она тихо поехала к обозу, постоянно вздрагивая при безумном бормотанье своего спутника.

— Ядро пить хочет... ядро кружится... ядро разорвет — берегись... у-у-у!

А там-то назади — Боже мой! Страшно и оглядываться...

Кровавый день подходит к концу... Целый день битва, целый день гудят орудия, целый день умирают люди и все не могут все перемереть... Из «непобедимого» батальона измайловского полка, из 500 человек, в четверть часа убито 400!

— Братцы мои! Родные мои! Детки мои! — словно рыдает Багратион, в последний раз обнажая свою шпагу. — Смотрите — это подарок отца вашего Суворова... Он смотрит на вас с высокого неба, смотрит на деток своих и плачет...

Он останавливается, утирает пот с усталого лица... Солдаты плачут, а иные крестятся...

— Братцы мои! Детки мои! Порадуем его, отца нашего, не дадим на позор нашу славу... Ура!

Грянуло последнее, хриплое, но тем более страшное «ура»... Последние силы понесены были в жертву страшному богу, но и они не спасли.

Кровавый день наконец кончился. На страницах истории кровью написалось новое слово: Фридланд.

VII

Прошло десять дней после рокового Фридланда. Русские войска, гонимые страшным сереньким человеком в необычайной шляпе, поспешно ушли за Неман, в Россию, махнув рукою и на Пруссию, которую они не смогли защитить от

страшного серенького человека, и на свою славу, лавры которой, завядшие и полинявшие, по лепестку оборвал этот страшный серенький человек и бросил на произвол историческим ветрам.

— Буди проклято чрево, носившее тя, и сосцы, яже еси сосал! — бормотал как бы про себя, стоя на русском берегу Немана, старенький полковой священник, отец Матвей, которому вспомнилось, как он под Фридландом, в виду напиравшего на русских врага, не успел даже помолиться над телами воинов, кучами лежавших по обеим сторонам замутившейся кровью речки Алле.

День только начинается. Солнце, каждый день видевшее всё битвы да битвы, освещавшее всё кровь да кровь, сегодня выглянуло из-за лесу как будто приветливее... Не слышно пушечного грому... Дым от пороха не застилает очи солнышку; оно во все глаза глянуло на реку — это скромный Неман, на расположенный по береговому склону ее городок — это город Тильзит. По обоим берегам Неман усыпан народом, войсками всех национальностей, оружий и типов, и стонет тысячами голосов. Что это за сборище? И почему все эти массы толпятся у берега, посматривая на реку, на середине которой, на поверхности воды, держится что-то невиданное, необычайное? Это на воде обширный плот, а на плоту — два красивых, затейливо изукрашенных флагами здания: одно из них большее, более затейливое и более изукрашенное, другое — меньшее, меньше и изукрашенное. Над большим высятся два фронтона, и на одном из этих фронтонов красуется гигантская буква «N», на другом — такое же гигантское «А». Далеко видны эти буквы. На верхушке последнего фронтона, над самою буквою «А» сидит ворона и громко, беспутно как-то каркает, обратившись клювом к русскому берегу реки.

— Ишь проклятая! — ворчит на нее знакомый уже нам гусарик, тот самый, что распространялся об эскадронной Жучке, толкаясь на берегу Немана вместе с другими солдатиками.

— Ты что огрызаешься? — спрашивает его старый гусар Пилипенко, тот, который плакал над раненой Жучкой.

— Да вон, дядя, ворона в нашу стороны каркает, на нас, значит.

— На свою голову, не на нас.

— А що воно таке там написано? — любопытствует Заступенко. — Якого биса вин там надряпав?

— Какого беса! Эх, ты, хохол безмозглый! Надряпал! — строго замечает гусарик. — Эко слово сказал!

— А що ж? То *вин* писав, а *вин* ще ничего доброго не робив.

— То-то не робил! Это знаешь, что написано там?

— Та кажу ж тоби, чортив москаль, що не знаю — я не письменный, — сердится Заступенко.

— А вот что написано: это *иже*, а вот это — *аз*.

— Так що ж, коли *иже* та *аз*? А що воно таке се бисове *иже* та сей чортив *аз*?

— Ну, хохол, так хохол и есть! Безмозглый — мозги с галушками съел.

— Та ты не лайся, а кажи дило.

— Дело я и говорю: *иже* — значит *инператор*, а *аз* — *Александр*. И выходит — *инператору Александру*.

— Те-те-те! От вигадав, бисив сын.

В разговор вмешивается донской казак, который предлагает новое толкование буквам, написанным на фронтонах павильона.

— Ты говоришь, *иже* — *инператор*, а я думаю — не *инператор*, — обращается он к гусарику.

— А что ж по-твоему?

— А вот что, брат. Кто строил эти палаты-то?

— Он, француз, знамо.

— Так как же, по-твоему, себя-то он и обидит? Не таковский он человек, чтоб обижать себя. А он вот какую штуку придумал: одна-де каланча пущай будет ваша, к примеру, русская, на ней *аз* будет стоять — Александра, значит, Павлович; а на другой-де каланче я сам себя напишу... И написал *иже*... А знаешь, что такое *иже*? А?

— *Иже* и есть!

— То-то! Не совсем с того хвоста... Слыхал ты об антихристе?

— Ну что ж! Слыхал.

— А кто антихрист?

— Он — Апалион, это всякий знает.

— Ну, так вот и знай: в священном писании *иже* и есть антихрист... «*иже*, — говорит, — приидет соблазнять людей и покорити их под нозе ног»... Вот что!

И гусарик, и Заступенко объявили протест против этого толкования и за разрешением своего спора обратились к батюшке, который тоже стоял на берегу и задумчиво глядел на Тильзит, в котором виднелось необыкновенное движение. Гусарик подошел к батюшке под благословение и спросил:

— Скажите, батюшка, зачем это он написал там *иже*?

— Какое *иже*? Это не *иже*, любезный, а французское *наш* — «Наполеон», значит, а это *аз* — «Александр».

— Об *аз*-то, батюшка, я и сам догадался, а вот *иже*-то меня сбило... Покорнейше благодарим, батюшка.

И гусар, почесав в затылке, отошел к товарищам, чувствуя свое посрамление.

В другой группе солдатиков шли не менее оживленные толки о том, зачем *он*, Наполеон то есть, назначил свидание с царем русским непременно на воде, а не на земле.

— Зачем! Знамо зачем — от гордости... Он теперь думает о себе, что ему черт не брат, ну и ломается, как свинья на веревке, — говорит солдатик с Георгием.

— Это точно, что ломается, — вторит другой.

— Затесавшись эта ворона в чужие хоромы и говорит нашему царю: жди, говорит, русский царь, меня в гости.

— Ишь ты! А вот чего не хочешь ли? — И солдатик рукой показал нечто, чего, по его мнению, Наполеон не хочет. — Ну, а царь-от и говорит: «Сунься-ко».

— Значит, рыло в крови будет...

— Знамо. А он и говорит: досюдою, говорит, до Немана, я дошел — досюдою, значит, моя земля, а дотудою, говорит, за Неманом — твоя, дескать, земля, русская, значит, русского царя батюшки. А вода, дескать, не земля, она ничья — она Божья; так приходи, говорит русскому царю, либо ты ко мне в гости на Божью воду, либо я к тебе — оно-де и не обидно никому.

— Ишь шельма! Ловко придумал.

— А я, дядя, не то слыхал, — вмешивается третий солдатик.

— А что?

— Да сказывают: *он* для того хочет с *нашим*-то на воде встретиться, что как они вдвоем с нашим владеют всем светом, *он* — этой половиной, а *наш* — этой, так ежели теперича они, примером сказать, сойдутся вместе, так земля, значит, не сдержит их... Такая у них у обоих силища!

— Сила не маленькая, что говорить! Поди и впрямь земля не выдержит.

— Говорю тебе — не выдержит...

— Где выдержать!

— Да и потому им нельзя встретиться на земле, что за нас опасаются, — пояснял солдатик с Георгием.

— А для чего им за нас опасаться, дядя?

— Как для чего! Мы задеремся с ими, с французами: как бы сошлись маленько, так и драка.

— Это точно, что драка.

— Да еще какая драка, братец ты мой! Потому мы будем опасаться за *своево*, а они за *своево* — ну, и пошла писать...

— Где не пошла! Такую бы ердань заварили, что ой-ой-ой!

— Верно... А тут бы наши казачки скрасть *ево* захотели...

— Как не захотеть! Лакомый кусочек... А казаки на это молодцы, живой рукой скрадут.

— Скрадут беспременно... Вон не дале как под Фридландом французский бекет скрали... Велели, это, Каменнов да Греков — уж и ловкие ж шельмецы! — велели это своей сотне раздеться, да нагишом, в чем мать родила, аки младенцы из купели, и переплыли через реку, да и скрали бекет, а опосля как кинутся на самый их стан, а те как увидали голых чертей, ну и опешили...

— Да, ловкие шельмы эти казаки.

— Где не ловкие! Поискать таких, так не найдешь.

— Где найти! Продувной народец.

Как бы в подтверждение этого в толпе показался верховой казак, который, перегибаясь то на ту, то на другую сторону, словно вьюн, и делая разные эволюции своею пикою, покрикивал:

— Эй, сторонись, братцы! Подайся маленько! Конвой идет, конвою дайте место.

Толпа несколько отхлынула и оттеснила в сторону пейсатого еврейчика, который, толкаясь средь народа с лотком, наполненным булками, огурцами, колбасами и всякой уличной снедью, выкрикивал нараспев и в нос:

— Келбаски свежи... огуречки зелены... булечки бялы... Ай-вей! Ай-вей!

В одно мгновение казак так ловко нанизал на свою пику огурец, потом колбасу, затем булку и все это пихал себе за пазуху, что еврейчик положительно не мог опомниться...

— Ай да казак! Ай да хват!

— Ай-вей! Ай-вей! Мои булечки! Мои огуречки! Ай келбаски!

В толпе хохот.

— Сторонись, братцы! Подайся маленько! Конвой идет! — покрикивал этот «хват», как ни в чем не бывало.

К берегу Немана действительно двигался конвой стройными рядами, блестя на солнце оружием и красивыми мундирами. Конвой составляли полуэскадрон кавалергардов, чинно и гордо восседавших на холенных конях, и эскадрон прусской конной гвардии, которой еще более, чем русскому

воинству, тяжко досталось от немилостивой руки нового Атиллы. Конвой, оттеснив толпу, выстроился в линию, которая правым флангом упиралась в берег Немана, а левым касалась какого-то полуразрушенного здания, осеняемого, однако, двумя огромными флагами — русским и прусским.

То же самое движение замечалось и на противоположном берегу Немана, особенно же в той улице Тильзита, которая вела к реке: старая наполеоновская гвардия становилась шпалерами вдоль улицы, эффектно покачивая в воздухе своими высокими меховыми шапками. О, как их знал и ненавидел весь мир, эти страшные шапки, и как при виде их трепетали короли и народы!.. И итальянское, и африканское, и сирийское солнце жгло своими лучами эти ужасные шапки!.. Оставалось только, чтоб русское суровое небо посыпало их своим инеем... И оно — о! — оно скоро не только посыплет, но и совсем засыплет их...

Эти назойливые острые и жгучие мысли винтили мозг юной Дуровой, которая урвалась из своего эскадрона, прошедшего мимо Тильзита в Россию, и очутилась вместе с другими зрителями на берегу Немана, сгорая нетерпением хоть издали увидеть того, которого она — она сама не могла уже дать себе отчета — не то ненавидела еще больше чем прежде, не то... Нет, нет! Она только чувствовала, что он, этот в одно и то же время и страшный и обаятельный, демон войны, поражал ее, давил своим величием... Она страдала за русскую славу, за себя лично, за отца, за всех погибших в боях товарищей своих, и в то же время душа ее как-то падала ниц перед страшным гением, падала от удивления, смешанного с ужасом...

— Об чем вы думаете, Дуров? — раздался сзади нее тихий, ласковый голос.

Она невольно вздрогнула. У самого ее плеча светились теплым блеском калмыковатые глаза Грекова.

— О чем или о ком? — еще тише повторил Греков. — О недавнем нашем враге, а теперь союзнике?

— Ах, Греков, Греков! — отвечала с страстным порывом девушка. — Я не знаю, что со мной делается... *Он* — это какой-то демон, я только о нем и думаю... После наших поражений я много, много думал... Ведь не может же быть, чтоб это делалось так, случайно, одним счастьем... Да Боже ж ты мой! — и в Тулоне счастье, и на Аркольском мосту счастье, и под пирамидами счастье... Господи! Куда ни ступит эта нога, везде она попирает все усилия людей, их ум, их волю, все, все падает перед ним... Ведь весь Запад, до этой

жалкой речонки, все он взял, все искромсал... Остается перешагнуть сюда, на этот берег, — и весь мир его... Господи! Да что ж это будет!..

Ласковые глаза Грекова с любовью глядели на раскрасневшееся лицо его юного собеседника. Но при последних словах Дуровой он горячо возразил:

— Нет! Этого-то не будет, сюда он не перешагнет...

— Эй, односум! Цари скоро приидуть? — закричал Заступенко, продолжавший толкаться в толпе.

Возглас его относился к хвату казаку, который теперь, отъехав в сторону, наслаждался булкой с колбасой, закусывая огурцом.

— Односум! Чуй-бо! Цари скоро приидуть?

— Какой я тебе односум, «хохли — все подохли!» — спокойно отвечал казак, глотая свою добычу. — Разве ты казак донской?

— Казак, тильки чуб не так... Та ты скажи, скоро приидуть?

— Нет, не скоро, когда хохлы поумнеют.

— Овва! Та се ж тоди буде, як вы красти перестанете.

Но толпа усиленно задвигалась и зашумела — явный признак, что что-то приближается.

Действительно, приближался блестящий поезд. Вдали, между рядами войск, показались трепещущие в воздухе султаны и перья, конские гордо поднятые головы и головы сидящих на них генералов. Посреди них катилась коляска на четыре места. Коляска катится ближе и ближе... В коляске сидят трое, но лица всей толпы и войск преимущественно обращены к одному. Это — белокурый, с рыжеватыми бакенбардами мужчина лет около тридцати; он одет в генеральский мундир преображенского полка, но без эполет, а только с жгутами; через правое плечо к груди перекинуты аксельбанты; на голове высокая треугольная шляпа с черным султаном на гребне и белым плюмажем по краям; на ногах белые лосины и короткие ботфорты, шарф и шпага блестят так красиво, а андреевская лента через плечо видна за версту.

— Царь! Царь! — слышится в толпе.

— А с ним кто?

— Цесаревич Костантин.

— Знаю я... А другой-то?

— Прутский король, пардону, значит, у нашего просит — помощи.

Царский поезд остановился у полуразрушенного здания. При выходе из коляски, царь беглым взглядом окинул вид-

невшиеся сквозь шпалеры гвардии плавучие на реке павильоны и скользнул взором по громадным, красовавшимся на фронтонах буквам «N» и «А».

Он вошел в уцелевшую комнату полуразрушенного здания, вошел с болью в сердце, отразившеюся на лице.

За Александром, молча и хмуро, входят прусский король, цесаревич Константин и обширная свита. Все молчат и все ждут... Минута, две, три — конца нет минутам!.. Исторические минуты... А *его* все нет — *он* не торопится... Багратион нервно поправляет кресты на широкой груди и хмурится, Бенигсен уставился в землю, словно ему в очи лезут Пултуск, Эйлау, Фридланд с мягкою, проклятою постелью. У Платова как будто на лице написано: «У, дьявол корсиканский! Его и почечуй не берет...» Тягостное, невыносимо тягостное ожидание! «Это демон какой-то... Что ж он не едет?..»

Из-за спины Багратиона выглядывают два черных глаза, упорно наведенных на императора. Юное лицо, курчавые, спадающие на белый лоб волосы, добрые какие-то складки губ, доброе выражение глаз — ничто, по-видимому, не изобличает, что это уже закаленное исчадие войны, хотя еще слишком юное, но кипучее, беззаветно дерзкое. Это Денис Давыдов — поэт и в душе, и на деле, гусар по традициям и по темпераменту.

Прошло полчаса ожидания, точно жизнь вселенной остановилась на полчаса! Из-за чего? Из-за того, что один маленький человечек не успел еще выпить обычную чашку своего утреннего кофе.

— Ваше величество! *Там* уже ждут вас, — говорит Мюрат этому маленькому человечку.

— Ждут?.. Кто встал до солнца, должен ждать его, — отрывисто отвечает маленький человечек, доканчивая свой кофе.

— Но Иисус Навин может приказать солнцу поторопиться, как он приказал ему когда-то помедлить, — с улыбкой замечает Талейран.

— О, вы всегда находчивы, — говорит маленький человечек, ласково кивая Талейрану. — Солнце встает...

И он направился к выходу.

И земля, и воздух задрожали, когда маленький человечек, окруженный блестящею свитою из сановников — Мюратом, Бертье, Дюроком и Коленкуром, показался среди своей гвардии, в своей исторической, известной всему миру шляпе.

Голоса из-за Немана донеслись и в полуразрушенное здание, где ждали того, кому теперь кричат. Александр судо-

рожно сжал перчатку, которую машинально вертел в руке... Ноздри его расширились, как будто бы в груди оказалось мало воздуха и надо было его побольше вдохнуть в себя. Да, мало воздуху, тесно стало, душно...

— Едет, ваше величество! — провозгласил дежурный флигель-адьютант, отворяя дверь.

Прусский король вздрогнул и испуганно заглянул в глаза Александру. Он заметил в них какой-то новый огонек...

Вскоре от того и другого берега Немана отъехали барки с развевающимися штандартами России и Франции, они отъехали в один момент по сигналу, который известен был только капитанам барок.

И удивительно! Все головы и с того, и с другого берега реки обратились в одну сторону, все тысячи глаз устремились на одну маленькую точку, видневшуюся на барке, которая двигалась от тильзитского берега. И не удивительно! Это он, тот маленький и необыкновенно великий человек, которого не рождение, не богатства и не исторические предрассудки вознесли на недосягаемую высоту, а его собственный, небывалый в истории всего мира гений, и какая высота! — высота, до которой не досягал ни один человек, рожденный женщиною.

— Яке ж воно маленьке! — невольно вырывается наивное до трагизма восклицание добродушного Заступенки. — Мати Божа, яке малесеньке!

А это «малесеньке», в своей мировой шляпе, в позе, тоже знакомой всему миру, стоит впереди своих генералов, скрестивши на груди руки, и глядит — нет, он как будто никуда не глядит, ни на кого, а вглубь самого себя, вглубь своей великой души, этой страшной пропасти, до половины залитой кровью... Что ж это за чудовище? Что это за великан? Где печать его гения? Ничего не бывало!.. Что-то маленькое, толстенькое, пузатенькое, кругленькое... Гладко, плотно лежащие, далеко не густые волоски... Матовая белизна лица, лица какого-то каменно-неподвижного, какое-то отсутствие выражения в глазах, скорее кротких и ласковых, чем холодных, и — удивительно! — кроткая, детски кроткая улыбка.

Но вот эти кроткие глаза скользнули по двум буквам на фронтонах и задумались... И рисуется перед ними, как рука истории, невидимая, всесильная рука стирает другую букву, букву «А», и горит над миром одна единая буква, словно всевидящее око Творца... Это — буква «N»... око всевидящее мира.

«Едино стадо и един пастырь», — думается ему.

И Александр глядит на роковые буквы на фронтонах. «Да, "N" больше, положительно больше "А"... неужели это апокалипсическое существо?»

Вот близко-близко плот с павильонами, фронтонами и буквами...

Наполеон сделал какое-то едва заметное движение, и его барка полусекундой раньше стукнулась о край плотов. Полусекундой раньше, чем Александр, он ступил ногой на паром и сделал два шага навстречу Александру.

Ворона, все время сидевшая на одном из фронтонов, над буквою «А», снялась и полетела.

— Полетила, полетила! — как-то радостно крикнул Заступенко.

— Кто полетел?

— Ворона...

— Ну, что ж! А ты, хохол, видно, все ворон считаешь? — сострил казак.

— Ни, вона полетила о́н куда, до их... Буде им лихо... У Хранцию полетила...

— А тебе жаль, хохол, что она тебе не в рот влетела?

— Молчи, гостропузый! Вона боялась, що ты ии вкрадешь...

И Наполеон и Александр вошли в павильон разом, нога в ногу, боясь, чтоб кто-нибудь ни на пол-линии, ни на полноздри, как лошади на скачках, не опередил один другого... Но что они говорили между собой в павильоне, говорили с глазу на глаз, в течение двух часов, этого ни историки, ни романисты не знают.

VIII

Оставим на время поля битвы и кровавые картины смерти, при виде которых болью и горечью закипает сердце, смущается разум, падает, словно барометр перед бурей, вера в прогресс человечества, в грядущее торжество добра и правды над злом и ложью, творческой силы духа над силою разрушительною. Дальше от этого дыму ужасного, от злого хохота пушек, безжалостно смеющихся над глупостью людскою! Дальше от этого стона умирающих, которые взывают к будущим поколениям, к поколениям мира и братской любви! Дальше! Дальше!..

С полей битв, от убивающих друг друга людей, хочется перенестись... к детям. Они еще не научились убивать.

Перед нами живой цветник. Это и есть дети, в теплый июньский вечер высыпавшие на гладкую, усыпанную песком площадку Елагина острова, на той его оконечности, которая обращена ко взморью и называется аристократическим пуэнтом. Чем-то оживлены эти смеющиеся, раскрасневшиеся, миловидные личики мальчиков и девочек от пяти до десяти и более лет. Музыкально звучат в воздухе веселые возгласы, звонкий смех, задушевное лепетание... Да, здесь еще нет веяния смерти — дети играют.

Кудрявый черноголовый мальчик лет восьми, с типом арапчонка, взобравшись на скамейку, декламирует:

— Стрекочущу кузнецу
В зеленем блате сущу,
Ядовиту червецу
По злакам ползущу...

Дружный взрыв детского хохота покрывает эту декламацию. Иные хлопают в ладоши и кричат:

— Браво! Браво, Пушкин!

Арапчонок, поклонившись публике, продолжает:

— Журавель летящ во грахе,
Скачущ через ногу,
Забываючи все страхи,
Урчит хвалу Богу.

— Браво! Браво! Брависсимо! Бис! — звенят детские голоса.

Арапчонок с комическим пафосом продолжает:

— Элефанты и леонты,
И лесные сраки,
И орлы, оставя монты,
Учиняют браки...

— Ах, бесстыдник, барин! Вот я ужо мамашеньке скажу, — протестует нянюшка арапчонка, бросившая вязать чулок и подошедшая к шалуну. — Что это вы неподобное говорите, барин!

— Молчи, няня, не мешай! Это Тредьяковский, наш великий пиита, — защищается арапчонок и продолжает декламировать:

— О, колико се любезно,
Превыспренно взрачно,
Нарочито преполезно
И сугубо смачно!

И, соскочив со скамейки, он обхватывает сзади негодующую нянюшку, преспокойно усевшуюся под деревом, перегибается через ее плечо и целует ворчунью.

— Вот так сугубо смачно! — хохочет шалун.

Нянюшка размягчается, но все еще не может простить озорнику.

— Посмотри, — говорит она, — как умненько держит себя Вигельмушка...

— Ай! Ай! Вигельмушка! Вигельмушка! Да такого, няня, и имени нет...

— Да как же по-вашему-то? Я и не выговорю... Вигельмушка Кухинбеков.

Арапчонок еще пуще смеется. Смеется и тот, которого старушка называет Кухинбековым.

— Кюхельбекер моя фамилия, нянюшка, — говорит он, мальчик лет Пушкина или немного старше, такой беленький и примазанный немчик в синей курточке.

— Эх, няня! Да Кюхельбекер и шалить не умеет! — смеется неугомонный арапчонок. — Он немчура, ливерная колбаска.

— А ты — арап, — возражает обиженный Вильгельмушка Кюхельбекер.

— Ну, перестаньте ссориться, дети, — останавливает их нянюшка. — Перестаньте, барин.

— Да разве он смеет со мной ссориться? Ведь я — сам Наполеон... я всех расколочу, — буянит арапчонок, становясь в вызывающую позу.

— А я сам Суворов, — отзывается на это мальчик лет одиннадцати-двенадцати, в зеленой курточке с светлыми пуговицами. — Я тебя, французский петух, в пух разобью.

— Ну-ка, попробуй, Грибоед! — горячится арапчонок, подступая к большому мальчику. — Попробуй, и съешь гриб.

Задетый за живое Грибоедов — так звали двенадцатилетнего мальчика — хочет схватить Пушкина за курточку, но тот ловко увертывается, словно угорь, и когда противник погнался за ним, он сделал отчаянный прыжок, потом, показывая вид, что поддается своему преследователю, неожиданно подставил ему ногу, и Грибоедов растянулся.

Последовал дружный хохот. Больше всех смеялись девочки, которые играли несколько в стороне, порхая словно бабочки.

— Ах, какой разбойник этот Саша Пушкин! — заметила одна из них, белокуренькая девочка почти одних лет с Пушкиным, в белом платьице с голубыми лентами.

— Еще бы, Лизута, — отвечала другая девочка, кругленькая, завитая барашком брюнеточка, по-видимому, ее при-

ятельница, не отходившая от Лизуты ни на шаг. — Он совсем дикий мальчик — ведь у него папа был негр.

— Не папа, а дедушка...

Первая из этих девочек была Лиза, дочь Сперанского, входившего в то время в великую милость у императора Александра Павловича. Курчавая брюнеточка была ее воспитанница, Сонюшка Вейкардт, мать которой пользовалась большим расположением Сперанского и была как бы второй матерью Лизы, в раннем детстве лишившейся родной матери — англичанки, урожденной мисс Стивенс.

Маленький Пушкин, догадавшись по глазам девочек, что они не одобряют его проказ, тотчас же сделал им гримасу и, повернувшись на одной ножке, запел речитативом:

— Хоть папа Сперанской
И любимец царской,
Все же у Сперанской,
Одетой по-барски,
Облик семинарской...

Будущий поэт уже и в детстве часто прибегал к сатире — к бичу, которого впоследствии не выносил ни один из его противников...

Этот злой экспромт услыхали другие девочки и засмеялись... «У любимицы царской — облик семинарской», — не без злорадства повторяла одна из них, маленькая княжна Полина Щербатова. Все это были дети петербургской и отчасти московской аристократии — княжны Щербатова, Гагарина, Долгорукая, Лопухина, будущие красавицы и львицы.

— Ах, как смешно! «У Лизы Сперанской — облик семинарской...»

Все эти дети аристократов слыхали часто от своих родителей, что Сперанский всем им перешел дорогу, у всех отбил царя, и потому привыкли к эпитетам насчет Сперанского — «семинарист», «попович», «звонарь», «кутейник», «выскочка», «сорвался с колокольни» и т. п.

Лиза не могла вынести насмешки и заплакала, хотя старалась скрыть и слезы, и смущение. Зато Сонюшка, вспыхнув вся, подбежала к озорнику Пушкину и дрожащим от волнения голосом сказала:

— Вы гадкий мальчишка... Я не знаю, как с вами играют благородные мальчики... Вы негр, сын раба, у вас рабская кровь... фуй!

Девочка вся раскраснелась от негодования. Пушкин, как ни был дерзок и находчив, не нашелся сразу, что отвечать, особенно когда другие девочки начали шептаться между со-

бою, но так, что Пушкину слышно было: «Негр... негр... рабская кровь...»

— Все же я не сын звонаря, — защищался он. — Я не с колокольни.

— Хуже, — заметил ему обиженный им Грибоедов, — ты из зверинца... твой дедушка съел твою бабушку...

— Молчи, Грибоед!

— Молчи, людоед!

— Саша Вельтман приехал! — кричит маленькая княжна Щербатова. — Он у нас будет водовозом...

— А вон и Вася Каратыгин идет с своей мамой, — лепечут другие дети...

Пушкин, Грибоедов, Кюхельбекер, Вельтман, Каратыгин — все это дети, играющие в Наполеона, ловящие бабочек на Елагином острову, дети, которых имена впоследствии прогремят по всей России... А теперь они играют, заводят детские ссоры, декламируют «стрекочуща кузнеца» и «ядовита червеца...» Но и до их детского слуха часто доносится имя Наполеона, оно в воздухе носится, им насыщена атмосфера...

Лиза, огорченная выходкой дерзкого арапчонка, отделяется от группы играющих детей и подходит к большим.

На скамейке, к которой она подошла, сидят двое мужчин: ветхий старик с седыми волосами и отвисшей нижней губой, и молодой, тридцати пяти-тридцати четырех лет, человек с добрым худым лицом и кроткими, задумчивыми глазами. Некогда массивное тело старика казалось ныне осунувшимся, дряблым, как и все лицо его, изборожденное морщинами, представляло развалины чего-то сильного, энергического. Огонь глаз потух и только по временам вспыхивал из-за слезящихся старческою слезою век. Седые пряди как-то безжизненно, словно волосы с мертвой головы, падали на шею с затылка и на виски. Губы старика двигались, словно беззубый рот его постоянно жевал.

Эта развалина — бессмертный «певец Фелицы», сварливый и завистливый старик Державин, министр юстиции императора Александра I. И он выполз на пуэнт погреться на холодном петербургском солнце, посмотреть на его закат в море, закат, которого, кажется, никто из смертных не видывал с этого знаменитого пуэнта. Старик не замечал, что и его солнце давно, очень давно закатилось, хотя и в полдень его жизни оно не особенно было жарко.

Сосед его, кроткий и задумчивый, был Сперанский. Этого солнце только поднималось к зениту, и что это было за яркое солнце! Сколько света, хотя без особого тепла, бросало оно вокруг себя, как ярко горело оно на всю Россию, хотя сколь-

зило только по верхам, не проникая в мрачные, кромешные трущобины темного царства!..

Усталым смотрит это кроткое, задумчивое лицо. Заработалась эта умная, рабочая голова, не в меру много и о многом думающая. Устали эти молодые плечи, навалившие на себя слишком великую тяжесть. Рука устала, устала держать перо, водить им по бумаге. И глаза устали, им бы теперь отдохнуть на зелени, на играх детей, на гладкой поверхности взморья, на закате солнца, которого, кажется, никогда не будет. А этот старик так надоедливо шамкает...

— Я хочу, ваше превосходительство, так это выразить — повозвышеннее:

Унизя Рима и Германьи
Так дух, что, ими въявь и втай
Господствуя, несыты длани
Простер и на полночный край.
И зрел ли он себе препону,
Коль мог бы веру колебнуть,
Любовь к отечеству и к трону?
Но он ударил в русску грудь...

С видимой скукой Сперанский слушал эти спотыкающиеся вирши выдохшегося от времени, полинявшего от старости и окончательно терявшего поэтическое чутье ветхого пиита; грустное чувство возбуждала в нем эта человеческая развалина, перед которой все еще издали благоговела Россия, развалина, не сознающая, что в душе ее и в сердце завелась уже паутина смерти, что творчество ее высохло, как ключ в пустыне; грустно ему было заглядывать и в свое будущее — и там паутина смерти, забвение, мрак... Но при слове «веру колебнуть» улыбка сожаления невольно скользнула по его лицу, пробежав огоньком по опущенным глазам. Однако он не сделал возражения — бесполезно! Поздно перед могилой!..

А старик продолжал шамкать, силясь, хотя напрасно, овладеть своими непокорными губами и коснеющим языком, который, по старой привычке, искал зубов во рту, обо что бы опереться, и не находил.

— Я нарочито напираю, ваше превосходительство, на «русску грудь»:

О, русска грудь неколебима!
Твердейшая горы стена,
Скорей ты ляжешь трупом эрима,
Чем будешь кем побеждена.
Не раз в огнях, в громах, средь бою,
В крови тонувши ты своей,
Примеры подала собою,
Что россов в свете нет храбрей.

И опять по глазам Сперанского скользнула улыбка сожаления, а надо слушать... эти кочки вместо стихов — старик ведь так самолюбив... Да и недолго, вероятно, придется слушать это предмогильное шамкание... Скучно на свете!

— Как вы находите сие, ваше превосходительство? — спросил старик, закашлявшись и стараясь передохнуть.

— Превосходно, превосходно, как все, что выходит из-под пера вашего высокопревосходительства.

В это время подошла Лиза и застенчиво остановилась около отца.

— Это дочка ваша? — спросил Державин, ласково глядя на девочку.

— Дочка... единственное сокровище, которое осталось у меня на земле, — тихо сказал Сперанский и положил руку на плечо девочки.

— А Россия, ваше превосходительство? Она дорога вам...

— Да, но она не моя... а это — мое...

— Прелестное дитя, прелестное... Вся в папашу, и умом, верно, в папашеньку будет.

— О, она у меня умница, умнее папаши... Больше меня языков иностранных знает. Да ты что не играешь с детьми? А? Соскучилась?

— Соскучилась, папа.

— А где же твоя Сонюшка — козочка?

— А там, играет.

— А мама где? — «Мамой» Сперанский называл г-жу Вейкардт.

— Мама вон на той скамейке, с дядей Магницким разговаривает. Вон, где Крылов стоит да Жуковский с Гречем.

— Девочка-то всех знает... экая милая крошка, — заметил Державин.

— А вас она почти всего наизусть знает, — обронил Сперанский.

Старик как-то по-детски, но невесело улыбнулся и опустил голову.

— Да... да... правда... И в могиле когда я буду, будут *меня* читать... да я-то не услышу *себя*...

И старик еще более осунулся и сгорбился. Губы его что-то беззвучно шептали, а голова тихо дрожала. «Не услышу... не услышу...» По какому-то неисповедимому капризу мысли старческая память сразу перенесла его с Елагина острова на Волгу, в Саратов, в светлую и счастливую молодость, когда он, в чине молодого гвардейского офицера, гонялся за страш-

ным Пугачевым и улепетывал (в чем он, впрочем, никому не сознавался) от его «страховитых очей», как полемизировал с комендантом Бошняком насчет защиты Саратова. Эта хорошенькая девочка Юнгер, с большущими, смелыми глазами — больше глаза, чем у Лизы Сперанской. Арбузы камышинские... А там слава, льстивые похвалы, лавры на голове... а под лаврами — седые волосы... беззубый рот... Могила скоро... и на могиле будут лавры, и на гробу... Вот отчего дрожит голова у старика — от лавров...

«А потом и меня забудут — перестанут читать меня... других читать будут... может быть, вон того арапчонка...»

— Да ты, Лизута, кажется, плакала? Что у тебя глазки? — спрашивает Сперанский, гладя голову девочки. — Плакала? О чем?

Девочка молчит, не смеет сказать правду, а неправду еще никогда не говорила.

— Верно, с Сашей Грибоедовым опять не поладили? Или с Сашей Пушкиным?.. Преострый мальчик!

Девочка обхватила руками шею отца и ласково шептала:

— Ничего, папочка... это так... немножко...

— Да как же так? И немножко не надо плакать этим глазкам.

— Ничего, ничего, папуля.

В это время подскочила к ним Соня Вейкардт, такая веселая, оживленная.

— Ну, Сашу Пушкина совсем арестовали, — щебетала она. — Его няня рассердилась на него и насильно увела.

— Да что он, обидел кого-нибудь? — спросил Сперанский.

— Да, он всех обидел.

Сперанский невольно засмеялся при этом наивном ответе девочки.

— О, это на него похоже... Так всех обидел?

— Всех... А его обидел Саша Грибоедов.

— Так он и Лизуту обидел?

— И Лизуту.

— Как же? Чем?

Девочка замялась и поглядела на Лизу. Обе вспыхнули.

— Ну, чем же? А? Говори, моя козочка.

— Стихами обидел, — решилась наконец сказать Соня.

— Какими стихами?

— Об Лизе.

— Вот как! Стихами о моей Лизе? Что ж это за стихи?

Девочка опять засмеялась. Ее выручила сама Лиза, которая, наконец, решилась все сказать.

— Он говорит, папа, что ты любимец царский, а у меня облик семинарский.

По лицу Сперанского пробежала тень. Он понял, что устами мальчика, устами резвого ребенка говорит весь Петербург, его завистливая, ничему не учившаяся, ничего, кроме французского языка, не знающая и ни на что, кроме интриг, неспособная аристократия. Он вновь убеждался, что против него ведется тайная война, роются подкопы под каждый его смелый шаг, чернится каждое его лучшее дело... В нем заговорила гордость борца, чувствующего свою мощь среди пигмеев и бездарностей...

— Что ж, милая, в этом нет для меня и для тебя ничего обидного, что я был семинаристом... Я горжусь своим семинарским происхождением...

— А Ломоносов, великий Ломоносов был крестьянин, простой рыбак, — прибавил очнувшийся Державин. — А твой папа советник и любимец государя императора... Сам Пушкин, может быть, так и умрет каким-нибудь прапорщиком или корнетом, а то и копиистом безграмотным, а Лиза Сперанская, Бог даст, по милости великодушного монарха, скоро будет графиней Сперанской, а то и княжной... И это не за горами... И Лизу будет знать вся Россия, а Пушкина никто.

— Я, дедушка, — заторопилась Соня, подбегая к Державину, — еще хуже обидела Пушкина.

— Чем же, моя птичка?

— Да я ему, дедушка, сказала, что у него папа был негр...

— Ай да молодец, девочка! Люблю за находчивость... А ты б сказала ему, что его предок был куплен за бутылку рома.

Девочки так и покатились со смеху при этих словах.

— Ай-ай! За бутылку рома... Как смешно!

— А ром идет на пудинг, — пояснила Лиза.

— Только вы, дети, не попрекайте его происхождением, это нехорошо, — серьезно сказал Сперанский.

— А! Наш славный историограф... Николай Михайлович Карамзин... отшельник, — быстро заговорил Державин.

— Где он? — спросил Сперанский.

— Вон идет с кем-то... не разберу.

— Да, с тех пор как он постригся в историки, его нигде не видать... Точно схиму принял архивную.

Карамзин заметил Державина и Сперанского, повернул к ним, издали приветливо кланяясь.

IX

Хотя Карамзину в это время было с небольшим сорок лет, но он казался много старше своего возраста. Усиленные литературные занятия в течение более двадцати лет, беспокойное, утомительное и трудное дело по изданию «Вестника Европы», в то время, когда журнальное дело у нас было еще так мало налажено и когда, кроме литературного, исключительно художественного и ученого элемента, Карамзину приходилось вводить в литературу элемент политический, наконец, лихорадочная работа над «Историей российского государства», работа, поглотившая всего его, все силы его духа, мысли и фантазии, работа трижды египетская, когда не существовало еще никаких изданий старинных памятников, которых после смерти Карамзина издано по наше время и правительственными, и частными усилиями буквально целые горы, и когда эти горы приходилось раскапывать в архивах, в пыли веков и среди могильной затхлости, и из целых гор выкапывать две-три исторических жемчужины-факта, когда не существовало ни описей библиотек, ни каталогов и когда, чтобы добыть и проверить то или другое историческое свидетельство, нужно было буквально открывать новый мир архивный и слепнуть, и задыхаться в архивных склепах, — все это не могло не отразиться на всем его существе, не могло не лечь преждевременными складками и тонкими, но неизгладимыми морщинками на его молодом, открытом и ясном лице, не могло не унести в архивный мрак и часть огня его глаз, и некоторую долю его живости, веселости, общительности. Чаще и чаще воображение автора «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы» отрешалось от действительности, от живой жизни, от светлого солнца, от живой зелени, от живых людей и уходило в могильную тишину исторического прошлого, к мертвым бумагам, к мертвым, давно забытым интересам, к мертвым, истлевшим, всеми забытым людям с их, как и они сами, истлевшими интересами, желаниями, горями и радостями. Вместо Наполеона в его душу стучался какой-нибудь неразгаданный «Якуп слепой», вместо «Бедной Лизы» — гордая Рогнеда или истлевший череп с неистлевшею золотою косою Верхуславы, вместо Державина пел его слуху «Боян вещий»... В концертах на музыке он слышал, как чьи-то мертвые, костлявые персты из-за могилы на «живых струнах рокотаху»... В блестящих кавалергардах он видел «курян, конец копия вскормленных»... Устали глаза, устала память, устало воображение, а впереди еще так много

работы — целые пирамиды бумаги, архивных дел, свитков... Можно высохнуть от этого, зачерстветь, душу превратить в пергамент...

— Вы совсем отреклись от мира, почтеннейший Николай Михайлович, с тех пор как постриглись в историки, и вас нигде не видать, — сказал Сперанский после первых приветствий, когда пришедшие тоже уселись на скамейку.

Карамзин улыбнулся, но ничего не отвечал.

— Да что от мира, ваше превосходительство! Наш почтенный историограф скоро, сдается мне, и от пищи совсем откажется, — весело сказал его спутник. — Сегодня, в этакую-то дивную погоду, я нашел его в академическом архиве, где, кроме него и архивного кота, ни души не было... Да он, кажется, только с котом и может теперь объясняться, совсем разучился говорить с людьми... Прихожу сегодня я в этот склеп могильный, в архив, и вижу — Николай Михайлович ползает по полу и распускает какой-то ужасный свиток, на котором написаны разные неизобразимые каракули, и вижу — человек совсем помешался: глаза горят от восторга, а сам что-то бормочет... А на другом конце сидит маститый академик Васька, кот архивный, и тоже лицо его сияет восторгом: он тоже, кажется, сделал ученое открытие в подполье — целую семью молодых мышат...

Все рассмеялись, не исключая старика Державина и девочек. Соня даже в ладоши захлопала.

— Ах, Лиза, молодые мышата!

Этот веселый собеседник был Тургенев, Александр Иванович, еще довольно молодой человек, но уже выдвигавшийся из толпы петербургской знати, благодаря своим блестящим способностям и познаниям. Обращение его было мягкое, разговор легкий и игривый, а изящные манеры и костюм изобличали, что он не был скучен и в обществе хорошеньких женщин, и как находчив был по службе, в деле, в ученом разговоре, так не менее находчив и в салонной болтовне.

— А, говорю, здравствуйте, Николай Михайлович! Здравствуйте, Василий Васильевич!

— Кто ж этот Василий Васильевич? — спросил Державин.

— Да Миофагов, ваше высокопревосходительство.

— Какой Миофагов? Я не знаю такого.

— Да новейший подпольный историограф и академик, архивный кот Василий Васильевич Миофагов... Под этой фамилией ему и суточные рационы отпускают по службе в академическом архиве.

Девочкам это очень понравилось.

— Слышишь, Лиза, в академии есть академик Васькакот... Назовем и мы своего Ваську академиком Миофаговым.

— Нет, Соня, нашему Васе надо дать другую фамилию. Ведь наш Вася еще не академик...

— Так будет он умный.

— Как же вам удалось вытащить из архива добрейшего Николая Михайловича? — спросил Сперанский.

— Да совершенно неожиданно... Знаете, говорю, какое тяжелое впечатление произвело на всех известие о поражении наших войск под Фридландом? А он мне на это: да, это, говорит, печально, только меня, признаюсь, говорит, больше печалит, что нет другого списка «Слова о полку Игореве».

— Ну, уж вы сочиняете, — кротко возразил Карамзин, — я совсем не так выразился...

— Помилуйте! А не вы ли, когда я заговорил о свидании государя с Наполеоном в Тильзите, не вы ли сказали: меня, говорит, теперь больше занимает свидание Святослава с Цимисхием... А?

Опять все засмеялись.

— Видите? Совсем от миру отведенным человеком стал... Вижу, что чем-то он доволен, весело гладит Ваську, и говорю: чему это вы радуетесь? Что открыли в этой могиле? Якуна слепого какого-то, говорит, нашел, да еще и с «златотканной лудой», и не понимаю, что это за «златотканная луда», да и того не могу, говорит, понять, как это слепой Якун мог предводительствовать войском... А я и говорю: пойдемте, говорю, к адмиралу Шишкову, он насчет этого старья собаку съел... Может он, говорю, сам жил при Якуне и видывал его... Ну, и вытащил из архива.

— В самом деле, — серьезно сказал Карамзин, ни к кому не обращаясь, — меня смущает это место летописей наших: как слепой Якун мог начальствовать войском, а главное — лично участвовать в битве?

— А как же у чешских таборитов был предводителем слепой Жижка? — возразил Державин. — Он тоже лично участвовал в битвах.

— Так-то так, да все это меня не успокаивает, — спокойно говорил Карамзин.

— Может быть, впоследствии историки и откроют, что Якун был не слепой, — заметил Сперанский.

— Да, может быть.

— Область знания бесконечна... Бесконечно пространство и время, это так... Но и пытливость духа человеческого также

бесконечна... Теперь вы в недоумении от слепоты Якуна, а может быть, лет через пятьдесят найдут наши дети и внуки, что он был вовсе не слепой, найдут, быть может, и то, кто такие были эти варяги... Вон теперь мы долго ждали сведений о свидании государя с Наполеоном, а через пятьдесят лет, через сто, может быть, за тысячи верст можно будет слушать, что говорят отсутствующие... Могущество мысли человеческой безгранично, — задумчиво говорил Сперанский, гладя головку Лизы, которая стояла тихо, прижавшись к его коленям.

Старик Державин заснул, пригретый солнышком. Седая голова его как-то беспомощно опустилась на грудь, и ветерок играл его седыми волосами. И это — «певец Фелицы»! Грустно... Так могуществен ум человеческий, и так бессильно его тело... Грустно, грустно!

— Это дочка ваша? — спросил Карамзин после общего раздумчивого молчания.

— Да, моя Лиза, названная так в память вашей «Бедной Лизы».

Карамзин грустно улыбнулся, любуясь обеими девочками. Он вспомнил, когда писалась эта «Бедная Лиза». Как давно это было!

— А сегодня моя Лиза совсем «Бедная Лиза», — шутя заметил Сперанский.

— Почему же? — спросил Карамзин.

— Огорчил ее один мальчик-озорник... попрекнул происхождением.

— Тем, что она произошла от Адама и Евы?

— Да, только от семинариста.

— А тот мальчик разве не от этой пары прародителей производит себя?

— Должно быть.

— У него папа был негр, — удачно пояснила Соня.

Всем это очень понравилось, но Сперанский погрозил ей пальцем.

— А как ваша работа подвигается? — обратился он к Карамзину.

— Медленно, Михайло Михайлович, кропотливая это работа... Каждое пустое известие надо подкрепить, цитатой подковать.

— Да, этих гвоздей у вас много, так и пестрят страницы цитатами.

— Да чуть ли эти гвозди не больше весят, чем самые сапоги, — иронически заметил Тургенев.

— Что ж, и правда, — отвечал Карамзин скромно.

— Но какой язык у вас богатый! — говорил Сперанский. — Вы положительно творец нашего литературного стиля.

Карамзин предостерегательно показал на спящего Державина.

— Ничего, — успокаивал его Сперанский. — Ведь он не прозаик, — поэт.

— А какие вести из армии и от государя? — спросил Карамзин, видимо, желая переменить разговор.

— Да вести не совсем утешительные... Уже одно то ново, что русских бьют, чуть ли не первый раз с начала нашей истории... так кажется?

— Нет, бивали не раз и прежде, — заметил Карамзин.

— В древнее время, может быть?

— Нет, и в последние два века: и поляки бивали, и шведы.

— Да... Но теперь говорят, что не так бьет Наполеон, как свои же...

— Неужели? Кто же это?

— Казнокрады, интенданты да подрядчики... Ну, и бездарные вожди.

— Да, с таким чадушком, как Наполеон, не легко бороться.

— Пигмеям, — пояснил Сперанский.

— А государь что?

— Он, кажется, очарован новым цезарем после личного свидания... Да и неудивительно — великий гений.

— Ох, сдается мне — плачущий крокодил, — заметил Карамзин.

— Да, но в слезах этих блестят перлы западной цивилизации, а не булыжник обскурантизма.

— Оно так, но цивилизация-то у него стоит на запятках, а не заместо кучера, — возражал Карамзин.

— Лучше, Николай Михайлович, если цивилизация даже на запятках, чем вместо кучера — капитан-исправник... Верьте мне, вы хорошо, лучше меня знаете русскую историю: когда-нибудь нам придется поплатиться за этого капитан-исправника перед всей Европой... Только тогда Россия будет безопасна от нового крестового на нее похода Европы, когда примет и усвоит себе формы жизни, которые рекомендует всему миру наука... Я скажу вам: не noblesse oblige, а civilisation oblige...

Сперанский говорил горячо, хотя тихо и ровно. Спокойное лицо его оживилось, глаза сделались добрее и красивее. Он много думал над тем, что говорил.

— России многого не достает, — продолжал он, — да по правде сказать, она еще и не начинала идти этой обязательной для всего человечества дорогой... Даже и Петр на этом пути ничего не сделал, он больше думал о себе.

— Какой же это путь? — спросил Карамзин.

— Кажется, на этом пути с помощью Лагарпа и Сперанского Александр хотел попробовать сделать первый шаг, — сказал как бы про себя Тургенев, глядя на возморье.

— Нет, — возразил спокойно Сперанский, — я только мечтаю об этом со своею подушкою... с Иеремией Бентамом...

— Это тот, что вы издали?

— Да. Бентам ищет такую форму человеческих отношении, которая дала бы «величайшее возможное счастье для величайшего возможного числа людей». А я мечтаю о немножко большем, чем это...

— Ах, папочка! Ты точно стихи говоришь! — наивно воскликнула Лиза.

— Да, стихи, моя дурочка! Это — поэзия директора департамента.

— Какие стихи? Кто стихи сочинил? — очнулся старик Державин. — Директор департамента?

Одно слово «стихи» будило старого поэта, как труба боевого коня.

— Да вы же сегодня декламировали мне вашу новую оду, — спокойно отвечал Сперанский.

— Да, но я вам конец не сказал... А конец этот пророческий...

— Что же пророчит ваша ода, ваше высокопревосходительство? — любезно, но со скрытой иронией спросил Тургенев, придвигаясь к старику. — Надеюсь, мой вопрос не нескромен.

— О нет! — отвечал старик, довольный, что его сажали на его коня. — Я думаю так окончить свою оду:

Падет Европа на колени
Пред тем, борьбу кто прекратит
И ток прольет в ней дней блаженных,
Се уж *его* орел парит!

— Прекрасно! Великолепно! Сейчас чуешь орлиный полет «Певца Фелицы», — заговорил Тургенев опять-таки не без скрытой иронии. — Но вот что скверно, ваше высокопревосходительство: галльский-то петух шибко поклевал, сказывают, нашего орла...

— А орел после совсем заклюет петуха! — горячился старик.

— Ну, это конечно... А что касается Европы, то сначала, когда наш орел заклюет петуха, это точно, она падет перед орлом на колени, а как оклемается маленько, то и закричит на него: «Кш-кш!»

— Как это, государь мой?

— Да коленкой нас.

— Нет, государь мой, этому не бывать.

Старик волновался. Частое повторение «государь мой» — явный признак этого волнения.

— Не спорю, не спорю, ваше высокопревосходительство, — оправдывался Тургенев, очень хорошо знавший упрямство самолюбивого старика. — Что касается наших воинов, то они готовы в супе съесть галльского петуха. Я получил сегодня из Тильзита письмо... знаете от кого? — обратился он к Карамзину.

— Не знаю. От кого?

— От вашего... то бишь от нашего земляка — симбирца. Ведь знаете, милостивые государи мои, кому Россия обязана Карамзиным? Изволите знать, государи мои?

— Что это вы нас сегодня все экзаменуете, Александр Иванович? — спросил Карамзин.

— Да, точно, экзаменую. Когда впоследствии на экзаменах будут вопрошать российское юношество: «Кому Россия обязана тем, что у нее оказался свой Тацит — Карамзин?» — российское юношество должно будет ответствовать: «Россия сим обязана родителю Александра Ивановича Тургенева, бригадиру Ивану Петровичу Тургеневу, который в Симбирске открыл Карамзина, как Колумб открыл Америку, и вытащил его из захолустья в Москву, где юный симбирский дворянин, будущий творец «Бедной Лизы» и будущий, а ныне на лицо сущий историограф и проявил свой гений». Правда это? — обратился он к Карамзину.

— Правда, — отвечал тот, — вашему батюшке я обязан тем, что я не заглох в провинции в качестве степняка и любителя псовой охоты.

— Помните это, дети, — комично обратился Тургенев к девочкам.

— Я не забуду, что дядю Карамзина открыл в Симбирске ваш папа, — серьезно сказала Лиза.

— И я не забуду, — повторила за ней Соня, — Америку открыл Колумб, а дядю Карамзина ваш папа... А дедушку Державина кто открыл? — наивно спросила она.

Все засмеялись, но Державин торжественно прибавил:

— Меня открыла великая Екатерина!

— Да, это счастливое открытие действительно принадлежит гению Екатерины, — сказал Карамзин.

— А тебя, папа, кто открыл? — неожиданно спросила Лиза отца.

Это было выше всякого ожидания. Даже старик Державин не выдержал:

— Ах, умница! Ах, крошечка! — говорил он, кашляя. — Иди я тебя расцелую... Твоего папу открыл сам император Александр Павлович... Он нашел сие жемчужное зерно...

— В куче навоза... в семинарии, — пояснил Сперанский.

— Так кто же этот наш земляк и что он вам пишет из Тильзита? — обратился Карамзин к Тургеневу.

— Это Давыдов Денис Васильевич, адъютант Багратиона, сызранец... Между прочим он пишет, — и Тургенев достал из кармана письмо: — «Если Наполеону и удалось обворожить государя, то офицерам французским обворожить нас не удастся, как они ни стараются делать нам глазки, точно барышням: мы остаемся медведями. По тайному наказу Наполеона, они хотят нас, видимо, влюбить в себя всякими приветливостями и вежливостями, и мы им отвечаем тем же, но дальше этого — ни-ни! Подобно деревенским девкам: «Языком болтай, а рукам волю не давай». И мы, и они, все мы чувствуем, что меж нами уже встал дорогой труп, который говорит: «Я жду венка на мой гроб: а венок сей — штык в крови по дуло, нож в крови по локоть».

— О! Это ужасно! — невольно вырвалось у Сперанского.

— А вот тут он приписывает: «Общее возбуждение таково, что нам даже от детей нет отбою — все просятся в войско: своим примером Наполеон заразил весь мир. Ходит даже слух, что во всех наших последних кровавых битвах принимала участие — кто бы вы думали? кто бросался в огненные сечи? — девочка!..»

— Девочка! — с восторгом воскликнули в один голос Лиза и Соня.

— Да, медам, девочка — вот такая как вы, с такими же глазками, и стреляла этими глазками, и убивала наповал...

— Ах, Лиза! Пойдем и мы.

— Пойдем, только с папой и мамой.

— Вот это умно! — засмеялся Тургенев.

— Имени этой девушки не называют? — спросил заинтересованный Карамзин.

— Нет, хотя догадываются.

— Вот находка для будущего историка — российская Иоанна д'Арк, — сказал Карамзин.

— Какое Иоанна! Просто Анюта или Лиза, — засмеялся Тургенев.

— А может быть, Соня, — вступилась эта последняя за свое имя.

— Ну, будь по вашему! Она — Лиза-Соня, как Петры-Павлы. Только Давыдов пишет немало интересного и насчет наших солдатиков — это настоящие герои! «При осмотре наших войск, — пишет он вот тут дальше, — Наполеон пожелал видеть храбрейшего из наших богатырей. Вызывают первого по ранжиру — Лазарева: детина ражий, рослый, плечи в косую сажень, на груди хоть горох молоти, а рыло доброе, младенческое и в глазах детская доброта и ясность. Наполеон даже отступил в удивлении. «О! C'est un Mars!» — невольно воскликнул он, не веря, что с такими детски-добрыми глазами этот великан пронизывал ветеранов его старой гвардии штыком по дуло. А Лазарев стоит, руки по швам, и то на Наполеона посмотрит с удивлением, сверху, словно с горы на ребенка — Наполеон ему чуть не по пояс, — то с любовью и благоговением покосится на государя, у которого на лице все время играла ангельская, радостная улыбка. Наполеон снимает с себя крест почетного легиона и собственноручно — увы! привстав на цыпочки, — вешает его на грудь великану, который при этом нагибается к великому Бонапарту, словно девочка к кукле...»

И Лиза, и Соня при этом даже в ладоши захлопали от радости.

— Но слушайте! Слушайте! — продолжал Тургенев. — «А великан и говорит: «Заступенке, ваше превосходительство?» Наполеона он не хочет, как видно, признавать императором — не говорит: «ваше величество», а просто — «ваше превосходительство». «Заступенке, — говорит, — ваше превосходительство? Что ж, он храбрее меня». Наполеон не понимает. «Какому Заступенке?» — с удивлением спрашивает государь. «Однокашнику моему, ваше императорское величество, — Охремий Заступенко, локоть в локоть стоим завсегда и деремся локоть в локоть: коли я не заколол француза, он заколет, коли он не доколол, я доколю...» Император милостиво смеется невинности этого наивного младенца и говорит, чтоб он не беспокоился о своем друге, что и его не обойдет царская награда...»

— Да, это истинное геройство, — задумчиво говорит Карамзин.

— Больше чем геройство, Николай Михайлович: это — высочайшая человечность, — замечает Сперанский. — Она только и живет в младенце-народе.

— Давыдов еще выше это понимает. Он пишет, что, узнав русского солдата, он находит, что на него «молиться надо»: это боги, говорит, а не люди, — прибавил Тургенев.

— И этих богов мы истребляем безжалостно! — с горечью заметил Сперанский, которому вспомнилось при этом его собственное детство, беганье босиком среди того самого народа, из которого вышли эти боги... И все они остаются бедными, жалкими, беспомощными; а вот он, попович, звонарское семя, отбившийся от народа, он, поросль от племени Левита, стоит уже на миллионах этих божественных голов... высоко, высоко стоит, так что и не видать ему этого народа, не видать серой массы с серыми лицами... Ах, если б эти младенческие головы, эти брызги серого моря народного не пропадали... А они пропадают на чужих полях, далеко от родной сохи...

А под чтение письма и тихий разговор старик Державин мирно всхрапывает.

— «Потом, — продолжает читать Тургенев, — дан был общий обед батальону старой французской армии и батальону наших преображенцев. И вообразите: сидят сии дети-великаны за столами вперемежку с французскими усачами-гренадерами, кушают с серебряной посуды, дружески чокаются стаканами, не понимая друг дружку, меняются своими шапками — то наш богатырь наденет на французского усача свой кивер, то француз-усач наденет на нашего великана свою меховую шапку. А дале уж и обнимаются, и целуются — друзья закадычные стали. А дальше... и под стол валились, обнявшись, да так друг на дружке и засыпали, словно на поле битвы, мертвые, в объятиях друг у друга...»

— Это ужасно, ужасно! — шепчет Сперанский. — И этакие люди погибают!

А Державин продолжает тихо похрапывать... Грезятся старику его молодые годы, его ясные оченьки, русые кудерюшки, резвы ноженьки... А теперь эти ноженьки едва бродят и все зябнут... Вон и теперь, на летнем солнышке, он дремлет в теплых бархатных сапогах, словно старая салопница... И грезится ему широкое поле, а на этом поле движутся массы народа, несут кресты, церковные хоругви, венки, перевитые цветами и лентами... И гробовую крышку несут, а на крышке огромный лавровый венок с надписью... Что это? «Певцу Фелицы»!.. На подушках ордена несут, звезды... И поют так величественно, внушительно: «Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав...» Кто же

в гробу лежит?.. Да это он сам, только с мертвым ликом — это Державин поэт... А над полем неумолчно звучит какой-то неведомый голос, покрывающий погребальную канту хора:

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества...

А другой голос еще громче, громче трубы архистратига, кто ее слышал, возглашает:

Ты бог, ты царь, ты раб, ты червь!..

Старик вздрогнул и проснулся.

X

В это время по шоссе, ведущему от Крестовского острова к Елагинскому пуэнту, показалась большая желтая четвероместная коляска, которая, подъехав к прочим экипажам, стоявшим у пуэнта, остановилась, а из нее вышли две дамы, сопровождаемые ливрейным лакеем. Обе дамы были уже не молодых лет и обе в трауре: белые, нашитые на черные платья полоски, выражающие человеческое горе, бросаются в глаза очень издалека. Белые полоски, плерезы, слезные обшивки выражают не простое горе, но горе специальное, горе, причиненное смертью близкого лица... Горей человеческих так много, и качества их так разнообразны, что если б и к ним принято было применять особую форму внешнего выражения, особый значок, то ни значков, ни цветов, ни красок для этого в природе не достало бы... Одной смерти дана привилегия кричать издали белой нашивкой на черном платье... Всяким остальным горям человеческим оставлено одно место для своего выражения и обнаружения, одна страничка для траурной рекламы — поверхность лица человеческого, на котором печатают в траурных каемках свои объявления и голод, наводящий худобу и бледность на лицо, и разбитые надежды, и безысходное отчаяние, и беспросветная тоска...

Но эти белые полоски на платьях, привезенные на пуэнт, кричат о чьей-то смерти... Хотя в то время тяжелая рука Наполеона успела рассеять этих белых полосок по лицу всей Европы тысячи и десятки тысяч, хотя та же рука начала обшивать тысячами полосок и русские платья, и обшивает их вот уже несколько лет, так что белые полоски начинают уже рябить в глазах по всей России, однако зачем им появляться

в местах общественных гуляний? Их место по церквам, да по кладбищам, а не на аристократическом пуэнте...

Оттого все глаза гуляющего и отдыхающего пуэнта и обращены на вышедших из коляски дам с белыми полосками. Что это? Нищий на званом обеде? Звуки балалайки в церкви? Гроб не на своем месте?..

Одна из дам — высокая, смуглая брюнетка, о возрасте которой громко кричат те же белые полоски, которые не на платье, а в волосах, — эти серебряные бичи, эти плерезы, которыми время и горе, и думы, и страсти обшивают голову человеческую, белыми змейками перевивают волосы, — это седина, плерезы молодости, траур жизни... Все волосы этой дамы перевиты серебряными полосками — это сплетаются жизнь со смертью, старость с молодостью. Как много в волосах этой дамы серебряных нитей! Словно куколь, словно сорные травы времени, скоро заполонят всю голову, вытеснят с нее последний черный волос, напоминающий молодость, как засохший и выдохшийся цветок в книге напоминает весну... Но она, эта высокая седая дама, ступает бодро...

Другая — меньше ее ростом, и хотя время еще не осыпало ее голову серебром и снегом, зато провело по лицу какие-то черты и резы, говорящие о прошлом, как египетские иероглифы говорят о прошлом Нильской равнины... Да, и это живой саркофаг, которому место не здесь, не на пуэнте...

Не глядя ни на кого, дамы эти прямо направляются к той скамейке, на которой сидят Сперанский, Карамзин, Тургенев и где за минуту перед этим дремал Державин. Эти последние, при приближении дам, заметив странность их появления и что-то особенное в выражениях лиц, невольно встают со скамейки и сторонятся.

Высокая седая дама подходит к скамейке и становится перед нею на колени. Затем она нагибается к земле и что-то ищет на песке. Что она потеряла?.. Осмотрев следы ног на земле, оставленные сидевшими там, в том числе и неуклюжие следы бархатных сапог Державина, странная незнакомка с горьким, скорбным упреком посмотрела на Державина.

— Это вы затоптали следы его ног, безжалостные! — тихо сказала она.

— Чьи следы, сударыня? — с удивлением спросил Державин.

— Его, моего Сержа... Он еще вчера сидел здесь со мною... О, Боже мой!

— Здесь, сударыня, и другие сидели... Наконец, всякие следы сметает сторож, как и время, — оправдывался Державин.

— Да, время... время все сметает, и его смело раньше меня, а меня оставило... Но его не время смело, а пуля... злодейская рука изверга.

И она снова нагнулась к земле, снова искала следов.

— Нет их, нет... где же они, о, мой Бог! Мой Бог!

Подходят и другие посетители пуэнта к тому месту, где происходит эта непонятная сцена, спрашивают друг друга, что это такое? Кто эта дама? Что она ищет, что говорит? Дети смотрят с боязнью и жалостью.

— Папа, — шепчет Лиза Сперанскому, — зачем она ищет следы? Чьи следы?

— Не знаю, милая, должно быть, следы любимого сына.

— А где он?

— Судя по ее словам, убит.

— А кто он?

— Не знаю, мой дружок... Видно, несчастная потеряла рассудок с горя. Пойдем отсюда.

Сумасшедшая поднялась с колен, бессознательно глянула по сторонам, как бы ища кого-то, и приблизилась к спуску, уложенному камнями и ведущему к Невке. За ней неотступно следовала другая дама и лакей.

— Ты куда, Надина? — спросила последняя.

Сумасшедшая остановилась у спуска и глядела на воду.

— Вот здесь он бросал камушки в воду, когда был маленький еще и играл здесь... Это было так недавно... вчера, кажется... Да, недавно... на воде еще следы в тех местах, где падали камушки... я вижу их... А ты видишь?

— Нет, милая Надина, не вижу.

— А я вижу... На воде еще есть его следы, а на земле уже нет и следа... О, проклятая земля! Проклятая! Зачем создана ты, могила ненасытная! Тебя называют прекрасною землею, а ты мрачная могила, кладбище, кладбище ненасытное! Как жадный обжора, ты вскармливаешь людей не для их счастья и довольства, а для своей прожорливой пасти... О, проклятая, безжалостная!

Она замолчала и внимательно смотрела на воду, над поверхностью которой скользили ласточки, гоняясь за невидимыми для глаза мошками. Толпы гуляющих, опечаленные видом чужого страдания, заметно редели.

Вдали послышался веселый детский смех и знакомый уже нам голос маленького Саши Пушкина:

— Слышишь? Это его смех! — говорила несчастная, радостно встрепенувшись. — Нет, не его... Он теперь не смеется — оттуда не слышно было и стонов, а где же слышать смех?

Увидев на зеленой опушке спуска лиловый колокольчик, она сорвала его и стала рассматривать.

— Он тогда нарвал их целый букет... Это те самые цветы — в эти чашечки смотрели его глаза... А теперь эти глаза навеки закрыты... Это он закрыл их, он, безжалостный людоед... А у него есть сын?

— Есть, маленький.

— О! Так Бог покарает его в его сыне... Его проклянут матери, у которых отнял детей его отец-людоед... Своими проклятиями они заразят воздух, воду, землю, ветер, свет солнца, его собственную кровь... В каждом луче солнца на него будет изливаться зараза. Где ступит его нога, из земли будут выползать мохнатые тарантулы, шипящие змеи и ядовитые жабы и будут кусать его ноги...

— Перестань, Надина, грешно это...

— О, нет, не грешно... Дай мне извергнуть из себя этот яд, который мешает моей печали, моим слезам... Да, да, проклятие ему, проклятие матерей!.. В каждой капле воды он будет пить яд — слезы несчастных матерей. В каждом куске хлеба будет сидеть его отрава... Поцелуй отца нашлет на него проказу, как он сам проказа земли... Для его дыхания нет другого воздуха, кроме смрада трупов... В глазах у него день и ночь будут стоять тени убитых им, и он вечно будет слышать стон и плач... А когда он сам захочет плакать, у него не будет слез, и вместо слез будет сочиться кровь... О! самая мучительная жажда — жажда слез, когда они выплаканы и глаза засохли, как земля без дождя... Я выплакала свои слезы, и мои глаза пересохли, как земля в бездождие...

В группе гуляющих, недалеко от того места, где причитала безумная, послышался плач ребенка. Он давно уже, выдвинувшись вперед, напряженно следил за всеми движениями и словами несчастной женщины. Это был довольно рослый и здоровый мальчик, хотя ему было всего около пяти лет, и он смотрел не по-детски серьезно. При последнем безумном монологе сумасшедшей он подошел к ней еще ближе, силясь заглянуть ей в лицо, в глаза, и когда та с тихим стоном проговорила, что ее слезы все выплаканы и глаза пересохли, мальчик громко заплакал.

— Ах, бедный Вася Каратыгин испугался, — заговорили дети.

Мать бросилась к нему, обхватила его.

— Ты чего? Не бойся, дружок, — шептала она.

— Я не боюсь... Мне жалко ее... Она все слезы выплакала...

И ребенок снова заплакал. Безумная, услыхав его плач и слова, быстро обернулась к нему, и по лицу ее пробежало что-то вроде сознательной мысли, какой-то свет, сгонявший тени с смуглого, словно застывшего лица... Она рванулась вперед, раскрыв руки, словно для объятия, и прежде чем Каратыгина успела отвести ребенка, безумная страстно обхватила его курчавую головку.

— Тебе жаль меня, мой ангел... О, добрый, милый!.. И у него такая же кудрявая головка была... о, Боже мой! — бормотала безумная, целуя голову ребенка.

Мальчик стоял смирно, продолжая всхлипывать.

— Вот и ты плачешь? — сказал он, поднимая с удивлением глаза на безумную. — Слезы воротились?

— Да, мой ангел, воротились, мне легче, — отвечала она.

Несчастная действительно плакала, слезы не все были выплаканы. Со слезами к ней воротился и рассудок. Она взглянула на мать Каратыгина и сквозь слезы проговорила:

— Ради Бога, простите меня... Я испугала вас... Горе помутило мой рассудок...

— Нет, нет, — отвечала Каратыгина, — я глубоко сочувствую вашему несчастью... Бог да поможет вам.

— Он в лице вашего ребенка облегчил мою душу... Я благословляю ваше милое дитя...

И плачущая женщина, перекрестив маленького Каратыгина, молча пошла к своей коляске, сопровождаемая своею спутницею и лакеем. Скоро коляска скрылась из глаз.

Маленький Каратыгин разом сделался центром общего внимания. Его окружили, ласкали, спрашивали, кто такая была эта странная женщина в трауре, но никто на это не мог отвечать.

— Сейчас видать будущего Гаррика: разом овладел общим вниманием, — сказал подошедший к Каратыгиной Крылов, Иван Андреевич, баснописец, гладя мальчика по голове и здороваясь с его матерью.

Крылову в это время было лет под сорок, но он уже глядел довольно грузным мужчиной и подавал большие надежды на ожирение. Жирные губы, жирные щеки, пухлые руки, медленная походка и медленная речь — все это изо-

бличало в нем медвежью мешковатость. Философское равнодушие к внешности сказывалось в небрежности костюма, который был потерт и засален. Волосы его были напудрены по тогдашнему обычаю, но так неискусно, что Тургенев утверждал, будто Крылова причесывает и пудрит повар в трактире Палкина мукою, остающеюся от вареников, до которых баснописец был большой охотник. Вообще это была олицетворенная лень, небрежность и рассеянность, и Тургенев уверял, что Иван Андреевич, по рассеянности, мог обедать в день три и четыре раза, и за столом сыпал соль в чужую тарелку, а вместо себя утирал салфеткою соседа или у него же чесал ногу, как чесалась своя. Но глаза Крылова смотрели живо, весело и лукаво, и когда ему замечали относительно лукавства этих глаз, он отвечал: «Да это не мои глаза, а воровские: их мне один интендант подкинул».

Мать Каратыгина была молоденькая, белокуренькая, застенчивая барынька, с лицом необыкновенной белизны; эта необыкновенная белизна была причиною того, что, по воле патриарха тогдашнего театра, знаменитого Дмитревского, Каратыгина на сцене называлась Перловой. Пятилетний Вася, будущий трагик Каратыгин, был ее вторым сыном. С детства он любил слушать, как его отец и мать разучивали и репетировали свои роли, и когда Вася после какой-нибудь трагической или злодейской роли начинал бояться своего отца, буквально понимая его роль, то родители очень смеялись над ребенком и называли его «простодушным райком».

— Гаррик, Гаррик, — продолжал Крылов, теребя мальчика за пухлый подбородок.

— Нет, Иван Андреевич, он у нас «простодушный раёк», — отвечала смеясь Каратыгина.

— Как «простодушный раек»?

— Да вот, недавно шла на сцене драма покойной императрицы Екатерины Алексеевны — «Олегово правление». Я играла Прекрасу, а Вальберг — Игоря, моего жениха. Вася был на репетиции, видел игру, понял все буквально, как в райке понимают пьесы, да так приревновал ко мне Вальберга, что во время самого патетического нашего объяснения закричал на весь театр: «Мама, мама! Не выходи за него: он женат».

Рассказ этот вызвал общий смех, который таким резким контрастом звучал после горьких причитаний несчастной женщины. Особенно Крылову понравился рассказ Каратыгиной о маленьком Васе.

— Ай да Вася! Вот так критик сценический! — смеялся он. — Но как он ловко усмирил эту таинственную незнакомку! Он принял ее проклятия за монолог на сцене.

— Я сама видела, что он ее чрезвычайно внимательно слушал, и думала то же, — сказала Каратыгина.

— А ты, Вася, как думаешь? Актриса она? — спрашивал Крылов.

— Кто? — спросил ребенок.

— Та дама, в черном.

— Актриса.

— А почему ты так думаешь? — допрашивал он, едва удерживаясь от смеху.

— Она на Дмитревского похожа, — отвечал мальчик.

— Как на Дмитревского?

— Да, на Дмитревского, на «Эдипа-царя». Мне и его было жаль.

Опять общий смех. Не смеялся только один юноша, молодой, очень молодой человек, на вид не более восемнадцати-девятнадцати лет, но не по летам молчаливый и сосредоточенный. В лице его есть что-то южное, даже более — что-то цыганское, но только смягченное какою-то словно бы девическою застенчивостью и глубокою вдумчивостью, робко выглядывающею из черных, вплотную черных глаз, точно в них был один зрачок без роговой оболочки. Он стоял с кем-то несколько поодаль и задумчиво глядел на маленького Каратыгина. При последних словах мальчика, когда все засмеялись, этот цыгановатый юноша заметил как бы про себя:

— А какой глубокий ответ, хоть бы и не для ребенка.

— Вы что говорите? — спросил его сосед, молодой человек почти одних лет с цыгановатым юношей, с черными бегающими глазами и большими негритянскими губами.

Цыгановатый юноша был Жуковский, Василий Андреевич, начинающий поэтик, которого товарищи за робость и скромность, а также за меланхолическое настроение его поэзии называли «нимфой Эгерией». Сосед его был Греч, Николинька, юркий и смелый молодой человек, слывший в своем кружке под именем «Николаки Грекондраки».

— О чем говорит нимфа Эгерия с Нумой Помпилием? — повторил Греч, трогая Жуковского за руку.

— Да вот вы слышали, что сказал этот мальчик? — отвечал он.

— Слышал. А что?

— Он сказал величайшую похвалу Дмитревскому и глубокую истину, какой никто еще не сказал о нашем маститом

артисте. Этот ребенок сказал, что та обезумевшая от горя женщина похожа на Дмитревского в «Эдипе». Я смотрел на эту женщину внимательно: на лице ее застыло мрачное отчаяние, она не играла роли. А мальчик своим детским чутьем — это чутье или гения, или будущего трагика, — он чутьем уловил сходство между этой безумной и Дмитревским, он этим доказал, что Дмитревский, *играя* «Эдипа», страдающего от мести Эвменид, велик в игре, как велико отчаяние той женщины, что мы здесь видели.

— Да, ваша правда, — согласился Греч.

А Крылов приставал к мальчику, допрашивал его:

— Ты чем хочешь быть, Вася? Хочешь быть актером — Дмитревским?

— Нет, не хочу.

— Отчего?

— Я не хочу быть слепым.

— Как слепым?

— Слепым Эдипом.

— А чем же ты будешь?

— Наполеоном.

— Вот тебе на!

— У меня и сабля есть, и ружье папа купил...

— Ну, пропал Божий свет! Наполеон всех сделает солдатами и, нарядив шар земной в мундир старой гвардии, опоясав его шарфом по экватору, посадит землю на Пегаса с ослиными ушами и пошлет ее воевать с солнцем. А победит солнце, завоюет свет — вот мраку-то напустит на вселенную! Ах он, проклятый корсиканец! Да этак хоть ложись и умирай, капустным листом прикрывшись, — говорил Крылов уже серьезно.

А в это время Сперанский, возвращаясь с пуэнта вместе с Карамзиным и Тургеневым, был остановлен одной молоденькой дамой, которая все время находилась в обществе каких-то иностранцев, по костюму — французских эмигрантов, и вела с ними оживленную, на французском языке, беседу. Постоянно слышались слова: «янсенизм», «католицизм», «святой отец», «богословская критика», «ортодоксальность», «восточная церковь». Цитировались богословские книги, слышались имена: Вольтер, Флери, шевалье д'Огар, граф де-Местр.

Дамочке было лет двадцать пять. Она смотрела очень бойко, говорила увлекательно, с примесью наивного педантизма. Маленькие, под длинными ресницами голубые глаза постоянно, кажется, что-то обещали сказать или выдать еще что-то, но не договаривали, не выдавали всего.

Это была Софи Свечина, жена старого генерала, который смотрел старым колпаком, надетым на женину туфлю. Он слушал жену, разиня рот, и постоянно кивал головой в знак согласия и одобрения: казалось, он слушал Евангелие, и каждое слово, вылетавшее из хорошеньких уст жены, он глотал не жевавши, словно бы это были кусочки от тех пяти хлебов, которыми Христос накормил пять тысяч своих слушателей. Софи Свечина, на жадное самолюбие которой действовали ловкие католические патеры и разные шевалье, эмигрировавшие от французской революции в гостеприимную Россию, и в особенности знаменитый фанатик-шарлатан и ханжа граф Жозеф де-Местр, в это время быстро скользила по наклонной плоскости своего самолюбия в пропасть католицизма, подталкиваемая сладкоречивыми аббатиками и пустомелями эмигрантами, а муж, глядя на нее, млел и благоговел, как благоговел бы, если б его хорошенькая Софи не только скатилась в широкую пазуху святого отца, но и попала, при помощи Магометовой кобылицы, в рай пророка, лишь бы захватила с собой и своего старого колпака.

Свечина подвела к Сперанскому какого-то черномазого еврея, который и своими еврейскими глазами, и халдейскими манерами, и ханаанским языком так и забирался в душу и в карман всякого, на кого смотрел и с кем говорил. Еврей этот выдавал себя за итальянца, по профессии доктора.

— Позвольте, мой добрый и великодушный Михаил Михайлович, представить вам доктора Сальватори, из Москвы, — сказала Свечина, подводя к Сперанскому еврея-итальянца. — Услыхав здесь ваше имя, мосье Сальватори пришел в большое волнение.

— Ваше славное имя стало достоянием Европы, — засластил еврей. — Меня привело к вам глубокое удивление и благоговение к вашей деятельности.

Но слащавый поток этот был остановлен неожиданным обстоятельством. Курчавый арапчонок, Саша Пушкин, заметив, что няня его, усевшись на дерн около дорожки, по которой проходил Сперанский и был остановлен Свечиной, совершенно углубилась в вязание своего бесконечного чулка, быстро разбежался и, на бегу декламируя из «Димитрия Донского» Озерова (он тогда был у всех на устах) —

Спокойся, о княжна! победа совершенна!
Разбитый хан бежит, Россия свобожденна, —

перескочил через голову старухи, сбил с этой головы повязку и растянулся у ног озадаченного Сальватори.

Лиза и Соня захлопали в ладоши, а ошеломленная старуха, схватив маленького разбойника за ухо, приговаривала:

— Вот тебе княжна! Вот тебе княжна!

XI

— Уж и Бог его знает, что выйдет из этого ребенка, матыньки мои, я и ума не приложу! — жаловалась няня Пушкина другим нянькам, собравшимся с Каменного и Крестовского островов на Елагин, чтобы наблюдать за играми своих барчат, а главнее, затем, чтобы посудачить насчет своих господ. — Уж такой выдался озористый да несутерпчивый, что и сказать нельзя — моченьки с им нет! Минутки-то он не посидит смирнехонько да тихохонько, как другие, а все бы он властвовал да короводил в мертву голову, да выдумывал бы непостижимое... И ничего не скажи ему, все зараз подавай — вынь да положь, хучь бы это была тебе жар-птица. Скажешь ему это сказку — а сказки страх любит, сказкой только и смиряю его, — скажешь сказку, а он ее и примет вправду, да и ну над душой нудить: покажь, няня, жар-птицу, найди, няня, цвет папоротника, купи мне, няня, шапку-невидимку, — и пошел, и пошел ныть... И сна-то, и угомону нет ему... Лежит это ночью в постельке, — ну, думаешь, слава Богу, чадо-то умаялось, уснуло, — ан нет! Лежит и болтает: а ты, няня, говорит, была у лукоморья — видала тот дуб зеленый да кота ученого, что мне сказывала? Так вот меня варом и обдаст... А то покажи ему Черномора, вынь ему да положь все, что в сказке сказывается... А то заберет себе в голову сам искать да доискиваться: где, вишь-то, конец свету? Кто, расскажи ему, звезды ночью зажигает? Как это, вишь, облака бегают по небу?.. А раз возьми да и поди ночью в лес — мы в ту пору в деревне жили, — и поди он в лес искать русалок да так и уснул там у реки, и уж утром рыбаки нашли его там и привели к барыне, а я со страху-то, когда спохватилась утром, чуть руки на себя не наложила — долго ли до греха! Вить мне, холопке, и в Сибири бы, поди, места мало было...

— Что и говорить! — подтверждали другие няни. — Шутка ли! Господское дите тоже, барчонок, — за это нашу сестру не похвалят.

— Уж такой-то озорник, что, кажись, другого и на свете такого нет... Так вот и думается, что не сносить ему своей головы — сущий Палион! Да и быть ему Палионом... Как выросту, говорит, да достану, говорит, коня богатырского за

двенадцатеры запорами, да добуду, говорит, меч-кладенец из-под мертвой головы богатырской — и пойду, говорит, на Палиона один на один, как Илья, слышь, Муромец на Соловья-разбойника... Ну, и быть ему гвардейцем — и сложит он там свою головушку буйную... А не скажу, чтоб зол был, али бы не любил меня — нет! Души во мне, старой, нечает: что бы это у него ни завелось — деньги там, либо сладкое что, — зараз ко мне тащит: на, говорит, нянюля, тебе, возьми это, кушай, моя старенькая... Уж такое-то ласковое да приветливое дите... А задурил — ну, и полком его, кажись, целым не покоришь, и везде-то он набольший... Вон и теперь там командует всеми, и большими, и маленькими, что твой Суворов.

И кудрявый арапчонок действительно командовал. Весь детский хор покрывала его декламация из Тредьяковского, которого он, кажется, знал наизусть. Слышно, как он напыщенно скандирует:

— С одной стороны гром,
С другой стороны гром!
Страшно в воздухе!
Ужасно в ухе!

— А теперь вот, как побольше стал, пришла ему блажь книжки читать — все книжки у барина перетаскал. Готов всю ночь напролет читать! Уж мы ему и свечей не даем на ночь, — так ухитрился: говорит, что без огня боится спать, чертей, слышь, видит и с чертями разговаривает, — ну и зажигаем лампадку. А ему это и на руку: скукожится под лампадкой и читает. Уж и Бог ведает, что это за дите!

— Порченое, поди, — замечает одна няня.

— Нету, в горячей воде маленького купали — от того, — глубокомысленно объясняет другая.

— Что ты, мать моя, клеплешь на меня! — ощетинилась няня Пушкина. — Али я молоденькая! Сама его купывала: знаю, чать, какая вода полагается.

— А какая?

— Знаю какая... поди такая, в какой вы своего немчуру купывали.

— Какого немчуру? — огрызается та нянька, что сказала, будто Сашу Пушкина купали в горячей воде.

— Да вашего Сашу — Ведьмина, что ли...

— Наши господа не Ведьмины, а Вельтманы, — защищается нянька Вельтмана.

— Ну, не все ли едино! Ведьмины — Ведьмины и есть! Вон он у вас какой...

— А какой?

— Ни кровинки в ем нет, словно он пеклеванный — дигиль как есть! А наш-ат кровь с молоком.

Няньки чуть было окончательно не перессорились из-за своих барчат. Действительно, няня Пушкина была права: маленький Вельтман смотрел совсем пеклеванным, бескровным мальчиком, постоянно задумывался, был рассеян и не обладал живостью в играх, так что в сравнении с ним Саша Пушкин был орел перед белым голубем. Кюхельбекер тоже уступал в живости и огненности Пушкину, и только Грибоедов, который, впрочем, был старше Пушкина года на четыре, побеждал иногда и словом, и делом беспокойного и находчивого арапчонка.

Как неожиданно вспыхнула было война между няньками, так неожиданно и прекратилась она, — и все по вине неугомонного Саши Пушкина. Он, оставив других детей, которыми все время верховодил, влетел в сонмище нянек, словно ошпаренный, и накинулся на свою старуху.

— Что ж ты мне, нянька гадкая, не показала Державина? — вдруг озадачил он ее.

— Какого, батюшка, Державина?

— Да Державина! Он тут, говорят, был.

— Да я никакого такого Державина не знаю: знать не знаю, ведать не ведаю.

— Да он же, говорят тебе, сидел рядом с папой Лизы Сперанской.

— Что ж из этого, батюшка, что сидел?

— Как же ты мне не показала его!

— Ох, Владычица! И что я буду делать с этим ребенком! — взмолилась старуха. — То ему подай жар-птицу, то шапку-невидимку, а теперь — на-поди! — подай ему какого-то Державина, прости Господи!

— Да шапка-невидимка, няня, в сказке, а Державин не шапка в сказке — он живой, он тут был.

— Мало ли кто тут был! Не знать же мне всех.

— Ах, няня, няня! Бог с тобой! Ничего ты не знаешь. И Крылов, говорит Саша Грибоедов, был здесь, а ты и его мне не показала... А он басни сочиняет...

— Да что ты, прости Господи, белены что ли объелся! — отчаянно защищалась старуха. — На-ко чего выдумал! И сказки ему сказывай, и сочинителей подавай — жирно будет... Да пора и домой — молоко кушать... Вон Лиза Сперанская с Соней и с папой давно ушли.

Но арапчонок не унимался и продолжал капризничать:

— Ешь сама молоко... целуйся с своим Сперанским...

— Да на что вам, батюшка барич, эта старая карга — Державин? — вступилась та нянька, что ходила за Сашей Вельтманом. — Я жила у них — пресварливый старикашка, ничем на него не угодишь... А теперь уж он и мышей не давит — какой он сочинитель!

Арапчонок так и покатился со смеху:

— Мышей не давит! Вот выдумала! А прежде он разве давил мышей? Разве он кот?

— Ну, пойдем же, пойдем, — настаивала няня, — а то как мамашенька увидют, что Сперанские-то уж пришедчи с гуляния, а нас нет, так мне же, старой, и достанется за вас.

А Сперанские действительно воротились на свою дачу, на Каменный остров. Сальватори, представленный Сперанскому генеральшею Свечиной в качестве московского гостя и человека бывалого и наговоривший любимцу императора так много любезностей, что они от излишнего изобилия не могли не терять своей ценности, просил позволения представиться «великому человеку в особой аудиенции» и, получив согласие, остался с Свечиной. Старые кости Державина увезены были с пуэнта еще раньше, а Карамзин с Тургеневым отправились искать адмирала Мордвинова, чтоб потолковать с ним о слепом Якуне, не дававшем спать историографу. По дороге к Сперанскому присоединились мать Сони Вейкардт и Магницкий, Михайло Леонтьевич, молодой человек — неудачная креатура Сперанского.

Магницкому, имя которого впоследствии заслужило такую постыдную известность в истории русского просвещения, было в то время около двадцати восьми-двадцати девяти лет. Это была личность, по-видимому, ничем не выдававшаяся, представлявшая что-то вроде гладко отполированной плоскости и по внешности, и по характеру, тем не менее она обладала необыкновенным талантом — талантом подлаживаться под всякое положение, под всякую личность, и подлаживаться так мастерски, что подлаживание это не казалось ни холопством, ни заискиванием. Сперанский не терпел холопства, как и заискивания; еще презрительнее казалось для него подлаживание, как бы оно ни было искусно. «Заискивание — это кража чужой совести, — говорил он, — а подлаживание — это нравственный подлог», — и между тем Магницкому до некоторой степени удалось совершить этот подлог: так глубоко коренились в нем эти нравственно воровские инстинкты и так искусно умел он делать фальшивые подписи — не рукой, а языком, голосом, выражением глаз, удачным вопросом, же-

лательным ответом. И Сперанский не только терпел его, но и приблизил к себе — в доме Сперанского Магницкий был своим человеком. Таким же своим человеком была и г-жа Вейкардт, «титулярная мама» Лизы, как называл ее Сперанский. «Титулярная мама» была добрейшее, вполне обрусевшее немецкое существо, и хотя родитель ее, герр Амбургер, был банкир по плоти и крови, и деньги были его стихией, вне которой он задыхался и бился как рыба на льду, однако «титулярная мама», может быть, вследствие этого самого, чувствовала отвращение к деньгам, которые, как выражался Сперанский, с детства «отравили ее золотым ядом». Это была женщина средних лет, более клонившаяся на сторону молодости, чем на сторону ей противоположную, и средней полноты; ходила же она немножко с перевалочкой, словно уточка, и эта утиная грация очень шла к ней.

Дача Сперанского фасадом выходила на Малую Невку к стороне Новой Деревни. С балкона сквозь зелень шоссейной аллеи видна была гладкая поверхность Невки, по которой скользили разукрашенные ялики с высоко поднятыми, точно петушиные хвосты, кормами. Иногда слышно было пение катающихся.

Вечер выдался тихий и теплый, и Сперанский, воротившись с гуляния, пожелал пить чай на балконе, что он позволял себе очень редко, утверждая, что петербургское лето создано специально в пользу зубных врачей, и что Петр, перенеся столицу России в Петербург, привил своему царству хронический государственный флюс.

— Но ведь флюс, ваше превосходительство, есть признак гнилого зуба, — заметил Магницкий.

— Да. И этот гнилой зуб России есть Петербург, — серьезно отвечал Сперанский.

— И этот зуб, по вашему мнению, следует вырвать?

— Вырвать... как столицу, а не как порт.

— И перенести столицу в Москву?

— О нет, меньше всего в Москву... Вы, кажется, знаете, что я не сторонник квасных московских патриотов вроде Ростопчина и Глинки, и меньше всего мои мнения сходятся с мнениями противников Петра... «Матушка Москва» и «белокаменная Москва» еще долго будет оставаться Меккой русского народа, то есть государственной квашней, в которой вечно будет всходить опара обскурантизма.

— А где бы вы лучше желали видеть русскую столицу?

— В Киеве или в Одессе... А еще лучше — знаете где?

И Сперанский остановился. Магницкий недоумевал.

— У нас в деревне, папочка, в Великополье, — вмешалась Лиза.

Сперанский рассмеялся и погладил Лизу по головке.

— Почти, почти что в Великополье... В Константинополе была бы когда-нибудь русская столица, если б... если б... — И он не договорил.

— Что — если б... ваше превосходительство? — с любопытством спрашивал Магницкий.

— Если б не... если б... — как-то задумчиво сказал Сперанский, — если б... если б не московская опара...

Он замолчал и, обратившись к Лизе, которая вместе с Соней освобождала муху, попавшуюся в паутину между балясинами балкона, сказал:

— Поди, Лизута, и ты, Соня, порадуйте маму: я сегодня хочу на балконе пить чай.

— Ах, как весело! Ах, папуля! — заболтали девочки и бросились искать «титулярную маму».

В это время на балконе словно из земли выросла казенная фигура. То был стереотипный образец министерского курьера, привезшего из города вечернюю почту. В руках у него был портфель.

— Здравствуй, Кавунец! — ласково сказал Сперанский.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — отрубил Кавунец и кашлянул.

— Что нового в городе?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— Душно, должно быть?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— А как тебе нравится сегодняшний вечер? — с сдержанной улыбкой спросил Сперанский.

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— Спасибо. Дай портфель. Ступай и вели дать себе стакан водки.

— Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!

Курьер торжественно удалился, с скромным сознанием, что он хорошо исполнил свой долг.

— Превосходнейший курьер, — исполнителен и точен, как хронометр, сметлив, расторопен и стереотипен, как машина, — заметил Сперанский по его уходе. — Только на нашем бюрократическом заводе выделываются такие машины-люди, как этот Кавунец. А он далеко не глуп, ни разу он не перепутал ничего и не переврал даже ни одного словесного приказания. Зато — лаконичнее спартанца: он отвечает только на служебные вопросы, а на все остальное у него один от-

вет — «не могу знать», то есть не курьерское это дело и курьеру об этом говорить неприлично: знай, дескать, службу и не в свое дело не суйся.

Говоря это, он вынимал из портфеля пакеты, быстро, почти не глядя, пробегал надписи их, так же быстро привычными к делу пальцами оборачивал пакеты кверху печатями, взглядывал на печать и откладывал в сторону. Два пакета он рассматривал долее других.

— Это частные... и оба «в собственные руки», — тихо говорил он. — Ну, эти можно и здесь прочитать, а заклание сих жертв, казенных, отложу до после чаю, на алтаре чиновничьего бога — гусиного пера...

И он распечатал одно из частных писем. Глаза искали подписи.

— Ба! Легок на помине... «совершенно конфиденциально...» Что это с Силой Богатыревым? То у него даже «мысли вслух на Красном крыльце», то совершенно конфиденциальные письма, как будто могут быть полуконфиденциальные... Странное стечение обстоятельств: сегодня генеральша Свечина подкинула мне на гулянье этого макарони Сальватори, а теперь Ростопчин пишет о нем же...

— Конфиденциально? — равнодушно спросил Магницкий, поглядывая на свои башмаки с пряжками.

— Совершенно конфиденциально... предостерегает... Сила Богатырев не на шутку, кажется, собирается вступить в единоборство с Наполеоном, принимая его за Редедю...

— Но ведь это «совершенно конфиденциально», вероятно, для одного Сальватори только? — еще равнодушнее спросил Магницкий.

— И для Наполеона еще, — прибавил Сперанский. — Он пишет, что «имеет основательные причины утверждать, что именующий себя доктором Сальватори состоит на негласной службе у Наполеона», то есть шпион будто бы, и что «с поездкой его в Петербург соединена тайная миссия — исследовать состояние умов в столице и выпытать то, что должна знать только русская грудь да подоплека...»

— Да, слог совершенно Силы Богатырева, — заметил Магницкий. — Да что он там — разве ему поручено управление Москвою?

— Нет. Но после того, как его «Мысли вслух на Красном крыльце» сделали в Москве его имя таким же популярным, как популярны царь-пушка и царь-колокол, и московская квашня окончательно вспучилась, он забрал себе в голову, что от него зависит спасение России.

— Но согласитесь, Михаил Михайлович, в его «Мыслях» есть места несравненные по остроте... Вот хоть бы то место, где он, осуждая наше французолюбие, говорит, что мы все переделали на французский лад, что у нас теперь «Бог помочь — bon jour, отец — monsieur, холоп — mon ami, Москва — ridicule, Россия — fi donc!» Это очень остро.

— Остро, но бесполезно, как царь-пушка, которая не стреляет, и как царь-колокол, который не звонит... Не французы, мой друг, нам опасны, а московская квашня с московскими дрожжами и московскою опарой... Французы, мой друг, и древние греки — вот два народа величайших в мире, которые проливали свет во все концы вселенной. Уже около полустолетия, как Франция изображает собою того мифического Элиоса, которого стрелы живительные плодотворны и живительны для одних и смертельно ядовиты для других. Около полустолетия взоры всех народов как заколдованные устремлены в сторону Франции, одни — с мольбою и ожиданием какого-то неведомого блаженства, другие — с смертельным ужасом. Никогда еще ни одно человеческое имя не гремело во всем мире такою славою, как имена Вольтера, Дидерота, Даламберта, Жан-Жака Руссо, а потом и Бонапарта, — имена не царственных, не коронованных особ, а простых мыслителей. Такие славные царственные личности, как блаженныя памяти Великая Екатерина и Великий Фридрих прусский, считали за честь для себя дружбу сих философов и гордились перепискою с ними. Да и неудивительно, друг мой: философы сии давали законы царям и народам, правили рукою и мыслию властителей земных, изменяли лицо земного шара. Кто потушил костры, озарявшие Европу страшным светом зарева, на которых инквизиция сожигала тысячами свои жертвы, принося сии ужасные человеческие гекатомбы в течение стостолетий — кому же? — доброму Богу! Кто потушил костры сии дуновением своего великого духа? Француз Вольтер... Теперь, друг мой, точно из «горушного зерна» вышло другое, что-то великое-великое в своих замыслах и исполнении, хотя страшное своею разрушительностью. Сие великое — сын простой корсиканки, который, кажется, в состоянии теперь, топнув ногою об землю, опрокинуть эту землю, расплескать океаны... вот как «титулярная мама» расплескала мой стакан с чаем...

«Титулярная мама» кротко улыбнулась, с любовью глядя на своего «Espérance de Russie», как она его называла: заслушавшись его, она действительно пролила его чай и по-

краснела. Зато девочки набросились на нее так, что едва не опрокинули самовар:

— Ах, мама расплескала океаны!

— Ах, мамуля Неву выплеснула!

— Кто ж станет оспаривать у него это величие! — пробормотал Магницкий и, как бы зондируя душу Сперанского, прибавил: — Да по отношению-то к России — Ростопчин чуть ли не прав.

— Россия, друг мой, это канцелярский бланк на огромнейшем, еще невиданном в мире листе бумаги, бланк, на котором столетиями слабые руки силятся что-то написать; пишут безграмотно подчас, подчас жестоко, разными почерками и разными стилями, но такими скверными чернилами, что они от света не только линяют, бледнеют, но и совсем пропадают, и пропадает написанное и нацарапанное на бланке. Писал на этом бланке и Мономах, и Ярослав, и Батый, и Грозный, и Петр Великий... Пишет теперь и Ростопчин, и Карамзин, Глинка даже пишет, просто уставом с киноварью выводит патриотические ирмосы да кондаки, а бланк все остается бланком... Что напишет на сем бланке всесильная рука Господня, не знаю, но провижу хорошее, хотя не скоро... Теперь Москва нахлобучила себе на глаза шапку Мономаха, надела на ноги лапти стопудовые, вздернула на себя рубаху и порты сермяжные, подпоясалась мочалкой и, опираясь на дубинку, кричит: «Долой французов и все французское! Долой книгу, ум, знание! Будем верны своим лаптям и сермяге! От французов исходит все злое, и книги их злы, и знания злы, и просвещение растлевающее, и потому все чужое долой!» Но не надо, друг мой, смешивать шапку с головой и Наполеона с Францией и просвещением. Вы знаете, что когда в девяностых годах французы раздавили вереД, сидевший на теле Франции, материя, попросту гной от этого вереда брызнул так далеко, что попал в Россию... Простите, мамочка, что я так гнойно выражаюсь, — обратился он к г-же Вейкард, — но я не могу подобрать более верного сравнения.

— Прости его, мамуля! Прости, мамчич! — забормотали девочки, кушая, как котята, молочко с французской булкою.

— Продолжайте, mon Espérance, — весело сказала «титулярная мама», — я вас внимательную слушаю.

— Гноем чирья я называю французских эмигрантов, которые в течение пятнадцати лет словно мухи, засиживающие зеркало, засиживали русское высшее общество, засиживали его своими бурбоническими, аристократическими, католическими и иными засиживаниями... Это была действительно

гнойная материя для России... А эту материю Ростопчин и Глинка приняли за то, что есть лучшего во Франции и в мире, и объявили от имени московской квашни войну западному просвещению. Оно, говорят, само по себе, а мы сами по себе: наш-де Вассиан Рыло выше Монтескье, все эти Вольтеры, Дидероты и Декарты в подметки не годятся нашему Симеону Полоцкому и Лазарю Барановичу, а Григорий-де Сковорода за пояс заткнет их Шекспира... Вот до чего они договорились, и все это потому, что, между нами, наши военачальники пигмеями перед Наполеоном оказались... Он действительно топнул ногой... — Сперанский улыбнулся, — и... и перемешал полюсы земли.

— И расплескал океаны? — коварно заметила Лиза, которая, кушая молочко, не проронила ни одного слова из того, что говорил отец.

— Нет, папин стакан расплескал, — возразила Соня.

— Стакан само собой, моя кошечка, но он такой господин, что может и молочко у вас отнять, — отвечал Сперанский, которого на все хватало — и говорить о деле, и болтать с детьми.

— А мы будем тогда простоквашу кушать, папуля, простокваша очень вкусная, — возразила Лиза.

— А простокваша из чего делается?

— Из коровы, — торжественно отвечала Соня.

В это время из-за дачной ограды послышались детские возгласы, и знакомый всем голосок выкрикивал:

— О, лето, лето горяче!
Обильно мухами паче!

— Ох, Господи! Что за ребенок! Вот наказание! — плакалась нянька.

— Это Саша Пушкин, — пояснила Лиза, — он все из Тредьяковского, всего его наизусть знает.

— Преострый мальчишка! Что-то из него выйдет? — говорил Сперанский, прислушиваясь, как арапчонок продолжал выкрикивать:

«Замерзают быстры реки,
Лезут в шубы человеки...»

— Однако вы, кажется, не дочли до конца письма Ростопчина? — заметил Магницкий вопросительно. — Мы вам помешали.

— Нет, любезнейший Михайло Леонтьевич, это я сам себе помешал... Ростопчин пишет, что так как, дескать, вы близки к особе государя императора, то Сальватори будет

стараться проникнуть ваши, то есть мои мысли по отношению к Бонапарту, чтобы знать, с которой стороны подъезжать... Что ж им до моих мыслей о Наполеоне! Я не поклонник этого господина, я вообще не поклонник этого сорта господ — они разрушают то, что созидает разум, но, по моему мнению, России безопаснее быть в ладу с умным и сильным человеком, а то, чего доброго...

— Отнимет простоквашу? — засмеялась «титулярная мама», вытирая салфеткой губы у своей Сони, — простоквашу, которая делается из коровы.

— Да, простоквашу, — подтвердил Сперанский.

Взяв со стола другое письмо и взглянув на подпись, он с недоумением сказал:

— Дуров... какой это Дуров?.. Писано из Сарапула... Ничего не понимаю. «Ваше высокопревосходительство, милостивейший государь мой! — читал он вслух. — Осмеливаюсь прибегнуть к вам не как к сановнику, у престола правления монаршею милостию поставленному, а как к человеку и отцу. В бытность мою, два года сему назад, в Санкт-Петербурге по делам службы, я, будучи милостиво принят и обласкан вашим высокопревосходительством, имел счастие получить прощальную аудиенцию для выслушания словесных приказаний ваших и, быв на тот раз допущен в кабинет вашего высокопревосходительства, я видел у вас на коленях прелестного ребенка...»

— Постой, папа! Это обо мне! — перебила его Лиза, по-видимому, не слушавшая чтения и укладывавшая в постельку свою любимую куклу, «Графиню Тантанскую». — Обо мне?

— Нет, это, верно, об чужой девочке, — улыбаясь сказал Сперанский.

— Нет, нет, папочка! Обо мне...

— Ну, хорошо... Посмотрим, что дальше... Вот чудак! Когда же это я принимал его с Лизой на руках?..

— Вероятно, ваше превосходительство были нездоровы и не выходили из кабинета, — пояснил Магницкий.

— А, может быть... Ну, что там еще? Зачем ему понадобился «прелестный ребенок»? «Это была, как я узнал, ваша дочка, и я видел, с какою нежною родительскою любовью вы на нее глядели»...

— Еще бы! — под нос себе заметила Лиза, по-видимому, вся поглощенная укладыванием в постель «Графини Тантанской».

— «Ваше высокопревосходительство! У меня тоже была девочка, и вы поймете, как тяжело мне было ее лишиться. Я

бы покорился воле Божьей, если б моя дочь умерла, но меня постигло другое несчастие. Едва лишь моей дочери минуло пятнадцать лет, как она, не сказав никому ни слова, ночью оставила родительский дом, взяв из конюшни лошадь, которую я же подарил ей для катания, и в казацком одеянии пустилась в неведомый путь...»

— Ах, папочка! Вот храбрая какая! — встрепенулась Лиза и даже позабыла о своей «графине».

— А что, разве и ты хочешь бежать от меня? — улыбнулся Сперанский.

— Нет, папа, я боюсь мышей...

— Вот тебе на! Причем же тут мыши?

— Да мы вчера с Лизой смотрели, как Кавунец давал своей лошади овса из ведра, и оттуда выскочила мышь — мы с Лизой и испугались, — пояснила Соня.

— А! Понимаю... глубокое, хотя отдаленное сопоставление... «Это было 17 сентября прошлого года, и до сей поры я не имею о своей дочери никаких известии. Все поиски мои оказались тщетны. Теперь слухи до меня дошли, что в одном из уланских полков действующей армии находится молоденький улан, на коего падает подозрение, якобы он есть переодетая девушка. Родительское сердце мое подсказывает мне, что это — дочь моя Надежда. С просьбами моими по сему предмету я неоднократно обращался к господину главнокомандующему действующей армией и к господину военному министру, а также утруждал прошением и графа Аракчеева, но на просьбы мои не получил никакого ответа. Ваше высокопревосходительство! К вашему родительскому сердцу осмеливаюсь я прибегнуть ныне. Именем дочери вашей умоляю вас: примите участие в глубокой горести старика-отца, который просит об одном только осведомлении и наведении справок о его погибшем детище...»

Сперанский остановился. Лиза и Соня напряженно ждали, не спуская глаз с задумчивого лица его. На глазах девочек искрились слезы.

— Папа! Найди ее! — шептала Лиза, ласкаясь к отцу.

— Да, это, должно быть, она, — сказал Сперанский в раздумье. — Сегодня Тургенев читал нам письмо к нему Дениса Давыдова, адъютанта генерала Багратиона, и Давыдов положительно говорит, что в войске упорно держится слух, что в последних битвах принимала участие переодетая девушка.

— Ах, это она, папа, она! — заволновались девочки.

— Ну, дети, пора спать... Вы уж и так сегодня заболтались, — сказала г-жа Вейкард. — Вон уж сон давно ходит по острову и спрашивает — у кого не спят дети...

Сон действительно ходил по острову и закрывал людям усталые глаза.

XII

Ходит сон по улици
В билесенькій кошулонци.

Так рисуется сон в украинской колыбельной песне. Сон — в белой рубашке, но он же и с белой как иней бородой. Сон очень стар. Он так же стар, как и мир Божий. Вечно ходит он по миру, невидимый и неосязаемый, и часто является там, где его не просят, и уходит оттуда, где ждут его, как доброго гения. Сколько сон принес утешения людям — этого люди и выразить не в состояния... Когда Адам и Ева изгнаны были из рая и очутились в неведомой пустыне, сон первый принес им успокоение: он неслышно ни для кого перенес их обратно в потерянный рай и подкрепил их усталые, разбитые страданием члены... Как добр был сон, когда, после ужасного дня, закрыл усталые и распухшие от слез вежды Гекубы и снова показал ей все, что было уже навеки потеряно. Живым встает в моем воображении этот седобородый старик, который бродит во тьме южной ночи по «стану Атрида» и своею доброю рукою закрывает глаза героев от тех ужасов, которые совершились или должны были совершиться. Бродит он и по стогнам священного Илиона в последнюю ночь перед его падением, грустно бродит, зная, что в следующую ночь ему придется бродить по грудам развалин и по кучам пепла... И у Цезаря он гостил в последнюю ночь перед «идами марта» и навевал ему грезы о прошлом, сулил светлое будущее, закрыв собою ножи, которые в ту ночь уже точились на лысую, прикрытую лаврами голову даровитого автора «Комментариев»...

Ходит сон и по Петербургу, и по островам его, бродит и по Каменному острову, и по Черной речке... но упрямый и капризный старик не ко всем заходит. Охотнее идет он в бедные, жалкие, грязные лачуги и дает успокоение усталым, опечаленным, бедным, голодным... Вон, как ни гонит его от себя усталый часовой, а старик так и лезет на него, так и валит его с ног... А вон мечется на роскошной постели изнеженное тело, горит огнем от бессонницы, а сон нейдет — не любо ему в богатых палатах, на мягких ложах...

Пришел сон и к Лизе, и к Соне. Спят они в своих постельках, задернутые белыми, как борода у старого сна, прозрачными занавесками. И видится Лизе, что она, в казацком платье, в кивере и с пикой, едет по Елагину острову верхом на кони. Это конь курьера Кавунца... Далеко, далеко едет Лиза от папы... Бедный папа! Как он будет плакать о своей Лизе — будет искать ее, как тот Дуров ищет Надю... А Лиза возьмет в плен Наполеона и привезет к маме... А то он, говорят, отнимет у всех молоко и простоквашу... Прощай, папа, прощай, Соня... Едет Лиза, едет... и вдруг из ведра с овсом выскакивает мышь в виде Саши Пушкина и кричит: «Стрекочущу кузнецу!..» И Лиза от испугу просыпается...

Старый сон и на Соню навевает грезы, только странные такие: на Лизиной постельке спит не Лиза, а дедушка Державин в бархатных сапогах, а у него в руках Лизина кукла, «Графиня Тантанская»... А тут стоит курьер Кавунец, и что у него ни спросит Соня, на все он отвечает: «Не могу знать! Не могу знать!..» И дядя Магницкий спрашивает Кавунца: «Кто расплескал океаны?» А Кавунец отвечает: «Не могу знать».

Бродит старый сон из конца в конец земли, бродит неугомонный, на клюку опираючись, на людей дрему насылаючи. Одолел сон-дрема и Магницкого... Поручил ему Сперанский составить экстракт из обширной записки Румовского Степана Яковлевича, попечителя казанского округа, о новых мерах казанского университета — для доклада государю... Далеко за полночь сидел Магницкий над этой запиской, ему в голову все лез Наполеон, топающий ногою в шар земной... И видится Магницкому, что Наполеон дает ногою пинка земному шару, и земной шар вертится, как кубарь в пространстве, а на высокой скале стоит Сперанский, в ореоле славы и блеска, и говорит Наполеону: «Не доплеснешь до меня океанами, не замочишь морями ног моих — высоко стою я»... И хочется Магницкому столкнуть Сперанского с высоты — и он сталкивает его... Ух! Погиб Сперанский, а на его месте стоит Магницкий в ореоле величия... И гордый Наполеон протягивает ему, Магницкому, руку, а Магницкий отворачивается от него и видит государя... «Ваше величество! — робко шепчет он. — Ваше величество!» «Не могу знать!» — отвечает государь... И Магницкий видит, что это не государь, а Кавунец... Ух!.. И Магницкий просыпается — записка Румовского не дочитана... Зло иногда шутит старый сон, ох как зло!

Только Сперанского не одолеет старый сон... Далеко за полночь шуршат бумаги в кабинете Сперанского, и по време-

нам скрипит перо, да скрипит так неровно, нервно... Груды бумаг наметаны на огромном письменном столе с ящиками. На столе, на конторке и на полу разбросаны книги, брошюры, рукописи... Беккарий, Монтескье, Бентам, Делольм, «Конституция Англии», «Вестник Европы»; иные книги раскрыты, другие переложены закладками, исчерчены и испещрены пометами... У стола сидит Сперанский и перелистывает толстую, увесистую, четко и красиво переписанную тетрадь и, по временам заглядывая в книгу — «Конституцию Англии», делает карандашом отметки то в книге, то в рукописи... Иногда голова его откидывается на спинку высокого изогнутого стула, и он несколько минут остается так, с закрытыми глазами... Можно подумать, что он спит и бредит... «Уже *он* начинает склоняться к мысли о возможности представительства, — шепчет он, — начало уже сделано в учреждении министерств; остается определить круг деятельности совета и возложить на него ответственность... Надо ожидать и дальнейшего согласия»... И нагнувшись к рукописи, он на поле приписывает карандашом: «Представительство страны и ответственность министров: есть меры, кои одно лицо, даже и всемогущее, не может или не должно принимать на свою ответственность. Таковы суть подати и налоги. Несвойственно и неприлично верховной власти представляться в виде непрерывной нужды и умножать народные тягости. Пусть рассчитывают их министры, присуждает совет, и государь должен только прилагать к ним печать своего необходимого утверждения[1]. Министры же должны быть ответственны пред представителями страны»... Затем он встал и в волнении заходил по кабинету, по временам нервно встряхивая головой, как бы отгоняя от себя рой волнующих его мыслей... «*Он* сам сказал недавно: «Я на пути к реформе — и рад этому, ибо могу дать моим верным подданным то, чего не могли и не умели дать мои предки», — шептал он, с любовью останавливаясь пред портретом юноши с короною на голове... Ночь уже близится к исходу, а сон все не смеет постучаться в кабинет, заваленный бумагами и книгами... Где-то ударил церковный колокол — раз... два; медленно, ровно, глухо гудит колокол... Сперанский подходит к окну и задумывается...

«У Данилы у попа —
В большой колокол звонят,
В большой колокол звонят —
Знать, Параню хоронят», —

---

[1] Из отчета, представленного Сперанским императору Александру I. («Сборн. импер. истор. общества», т. XXI, стр. 449).

звучит у него в голове, вместе со звоном колокола, эта странная, детская песенка, которая и его самого переносит в детство... Никогда он не может слышать церковного звона, чтоб у него в мозгу и в сердце не зазвучал горький для него, грустный, много напоминающий мотив:

«У Данилы у попа —
В большой колокол звонят...»

О! Как давно это было и как далеко!.. Мише Сперанскому не больше восемнадцати-девятнадцати лет, а Паране, дочери соседа, попа Данилы, не больше шестнадцати... Миша учится во владимирской духовной семинарии и уже дошел до философии. На вакат Миша из Владимира приходит домой в родное село, приходит пешком!.. Эх! Да и куда бы тогда не занесли его молодые ноги! — и в ад, и в рай, в Иерусалим и в преисподняя земли... Ходит Миша в лес за ягодами, за грибами, и Параня ходит с подружками... Эти встречи в лесу, беседы наедине... Забили тревогу молодые сердца, и Параня слышала, как под философским подрясничком сильно колотится философское сердце Миши, и Миша слышал, как под белою сорочкою трепыхается девическое сердце Паранино... И Паранины розовые губы испытали, как горячи губы, с которых иногда срывались непонятные для Парани философские тонкости, и губы философа Миши познали вкус Параниных губ — «слаще меда и вина...» И порешил Миша-философ скорее пройти богословие и, получив сан иерея в родном селе, жениться на Паране... Но не к тому готовила Мишу судьба: когда Миша собирался идти во Владимир уже на богословский класс, Параня захворала оспой и в несколько дней умерла... Миша думал, что с ума сойдет, как в церкви у попа Данилы, у отца Парани, гудел колокол по Параниной чистой душеньке и как день и ночь в безумной голове его звучал напев:

У Данилы у попа —
В большой колокол звонят...
Знать, Параню хоронят...

И похоронили Параню, а Миша не сошел с ума... Но он дал себе безумный зарок: в память Парани никого не любить и никогда не жениться, а завоевать себе знанием и трудами другую невесту — церковь: пройти все богословские мудрости, надеть на себя черную рясу и клобук и идти дальше — до епископской шапки, до архиепископской и, наконец, до белой шапки митрополита... И Миша, было, сдержал слово: какие силы гиганта проявил в пятьдесят лет!

И куда девался тот маленький Миша — еще не Сперанский, а просто попович, Михайлин сынишка, который, соскочив с печки, где он зарывался во ржи, сохшей на печи, выбегал босиком на двор и бегал по снегу, желая убедиться, может ли он, когда вырастет большой, выдерживать трудные подвиги аскета — голодать, ходить босиком и в веригах?.. И куда девался тот Миша, уже не просто Миша, а Сперанский, s p e r a n s — «надежды подающий», как прозвал его отец ректор, Миша быстроглазый и звонкоголосый, так бойко переводивший из Корнелия Непота? Куда девался философ Миша, собирающий грибы вместе с Паранею?.. Миша — богослов уже, звезда семинарии, а там он уже в Петербурге, в лавре, работает как вол и весел, остроумен... Память у него — бездонная прорва, в которую все валится без разбору, и все там остается, систематизируется и бьет ключом знаний... «Ты что, Сперанский, носишь тулуп на одно плечо?» — спрашивают его товарищи бурсаки. «Приучаю себя к собольей шубе...» И вот у него теперь уж и соболья шуба — он первое лицо в государстве после царя...

— К заутрени звонят, — шепчет он, задумчиво стоя у окна и глядя на просыпающуюся реку, — пора и мне спать... Эх!.. «У Данилы у попа — в большой колокол звонят...» Звоните, звоните! Да будет благословенна память прошлого.

И Кавунцу старый сон навевает грезы, воспоминания молодости... Спит Кавунец на крыльце, прикрывшись шинелью, и грезится ему, что он парубок, что еще его не брали в «москали»... Косит он зеленую траву и поет:

Ой, любив я дивчинку Кулину,
Та носив я до Кулины калину...

Только во сне Кавунцу и вспоминается его родная Украина, а наяву он не позволяет себе и думать о ней — «сказано — служба...» Если б его даже спросило начальство: «Хочешь ли ты, Кавунец, домой, на побывку?» — он наверное отвечал бы: «Не могу знать! Про то начальство знае». И Кулину свою он не смеет днем вспоминать, и только во сне приходит к нему его первая любовь, его «товстокоса Кулина», которой он носил калину и свое казацкое сердце... Зачерствело теперь это сердце: вместо Кулины в нем приютились только казенные пакеты и вытеснили из сердца и родину, и первую любовь... Но это только кажется... Да, Кавунец, кажется? — «Не могу знать!»

Спит и Саша Пушкин. И его неугомонную курчавую головку угомонил старый сон. И грезится ему, что он — старый-старый старичок, такой, как дедушка Державин — «уж

и мышей не давит», — смешная нянька! Какие глупости говорит. И подходит к Саше другой старичок, в парике и в красных чулках, и говорит: «Как ты смеешь насмехаться надо мной, клоп этакой! Знаешь — кто я? Я — автор «Телемахиды». Я бессмертный Тредьяковский! А ты — ничтожество: ты умрешь — и никто об тебе не вспомнит, а мое прелестное произведение «Стрекочущу кузнецу» Россия вечно будет помнить». И Тредьяковский исчезает, а вместо него приходит Черномор, о котором няня рассказывала, и говорит так хорошо, лучше даже, чем дедушка Державин:

«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...»

— Няня! Няня! — кричит Саша, вскакивая с постели.

— Что ты? Что с тобой? — испуганно спрашивает няня.

— Ко мне Черномор приходил...

— Господь с тобой... Спи, спи, неугомонный...

— Ах, няня! да я даже помню, что он мне говорил.

И мальчик, воображение которого воспалено сказками старой няньки, повторяет стихи, навеянные ему тревожною, сонною грезою:

— У лукоморья дуб зеленый...

— Ох, Господи! — стонет нянька. — И сна-то ему нет. Ох, Заступница!

Но мальчик скоро опять засыпает.

А сон все бродит, опираясь на свою клюку, и словно дождем посыпает грезами сонных людей. Целый мир видений в распоряжении седовласого старика — есть и светлые видения, есть и мрачные, мучительные.

Старику Державину грезится, что он лежит в мрачном могильном склепе. Душит его могильная затхлость, а в мрачном воздухе, словно летучие мыши, носятся тени тех, кого он пережил в своей долголетней жизни, и холодными крыльями задевают его похолодевшее лицо. Только в одном уголку склепа светится огонек, но такой зловещий, словно глаз нечистого, и этот огонек освещает гробовую крышку, а на крышке — корону. Тихо-тихо поднимается крышка на этом гробе, а из гроба поднимается мертвое лицо с остеклевшими глазами. Ужас и трепет! — это лицо «Фелицы». «А, Гаврило Романович! — говорит Фелица, — ты забыл меня... Ты теперь другим подслуживаешься?.. Так помни, что у меня был Шешковский». И гробовая крышка опять захлопнулась за

нею. Но вслед затем открываются двери склепа, и входит Шешковский. Старик в ужасе просыпается.

— Ох, — стонет он, — куда девались мои молодые сны? Теперь или бессонница тебя мучит, или страсти лезут в очи, лишь только закроешь их... Ох, старость, старость!

А Карамзину грезится, что он сидит в темном архиве и перебирает свитки рукописей. И кажется ему, что он сам живет в удельный период, и то он целует крест киевскому князю, то черниговскому, а кругом «котора», «розратье». Мысль, постоянно вращающаяся в древности, и сны приносит ему из далекого прошлого: то встанет перед ним Василько в кровавой рубашке и с выдолбленными глазами, то слепой Якун в виде Тургенева. «Зачем ты ослепил меня? — плачет он. — Я вовсе не был слеп». Это историческое сомнение приходит к историку в образе сонной грезы и наводит его на вопрос: действительно ли Якун был слеп?.. То грезится архивный кот в образе старого академика-немца, но только в бархатных сапогах Державина, и говорит: «Я не Василий Миофагов, а тот кот, который пришел с Рюриком из-за моря, чтобы есть новгородских мышей». То грезится бедная Лиза в образе Ярославны, которая, омочив «бебрян рукав» в Неве-реке, плачется на него, «аркучи тако»: «Ох, забыл ты меня, забыл свою бедную Лизу ради Рогнеды... все забыл ты ради твоей истории... О, противная лгунья! Противная история! Никто столько не лгал и не лжет, как она, и я удивляюсь, как еще могут заниматься ею умные люди. О, лгунья старая! Лгунья, низкопоклонница, салопница-ветошница!..»

— А Тургенев прав, что я заработался, — бормочет Карамзин, просыпаясь и весь обливаясь потом. — У меня уж воображение расстроено, мысль путается. Мне верзится во сне Бог знает что такое...

И он силится отогнать от себя могильные признаки, хочется ему погрузиться в интересы текущей жизни, но странное дело: они стали ему менее близки, чем интересы мертвецов!

«Лгунья история!.. А ведь это не созданье сонной грезы, а продукт моих сомнении... Разве мало лгала история, начиная от Гомера и Тацита и кончая Шлецером и Татищевым? Правда, она лгала неумышленно, она ошибалась, но все же историческая истина — это храмина, построенная на песке. В истории нет ничего прочного: открыт новый документ, выкопана какая-нибудь могильная надпись — и все здание, построенное на песке, рухнуло... Сколько российских историков явится после меня, и осудят меня за ошибки. Эти судьи мои, может быть, еще не народились, но они народятся, и мой

труд будет поставлен на последнюю, на заднюю полку российских книгохранилищ... Но я надеюсь, что судьи мои не упрекнут меня в пристрастии... Но кто знает!.. Бедная, бедная история!»

И он снова засыпает, и снова седобородый сон навевает на его усталую голову тревожные грезы, грезы сомнений и как бы исторических предвидении. «Лгунья история! Слепая, льстивая старуха...»

С Каменного острова старый сон перебрался через Невку и на Черную речку. Бредет он по берегу этой речки, повевая своею седой бородой и навевая на людей дрему и грезы. Пробирается старый сон на дачу Шрейбера, что против Строгонова парка, и входит в небольшой деревянный домик, утонувший в зелени. На дверях домика на медной дощечке написано: «Иван Андреевич Крылов». Неслышными шагами вошел сон в этот домик; темно, тихо в передних комнатках. Сон дальше, к кабинету, где светится огонек и слышится шепот и сдержанный смех...

— Ах ты моя прелестница, цыпочка моя! — шепчет кто-то тихо, сдержанно — это Ивана Андреевича голос. — Как ты давно не была у меня...

— Тише, тише! — шепчет женский голос. — Там кто-то ходит...

А это ходит сон. Заглядывает он в кабинет и видит: вся комната завалена бумагами и книгами: книги на столе, на окнах, на полу, на кушетке; на полу же и синий фрак с золотыми пуговицами, и шляпа, и подтяжки. На письменном столе беспорядок ужасный: бумаги, книги, платки, все это разбросано хаотически, а на самом видном месте лист бумаги, на котором на скорую руку набросано:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
. . . . . .
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка...

Что дальше — не видать, ибо на этом самом месте на исписанном листе стоят рядом крохотные женские ботинки с розовыми бантами, а вправо от них — женская соломенная шляпка «пастушка», тоже с розовыми бантами, и высокий черепаховый гребень из женской косы...

— Прелестница моя! Прелесть моя милая! — доносился шепот из-за ширм.

— Ох, больно, Ваня... ты задушишь меня, — протестует женский голосок.

— Услада моя!

Сон махнул рукой и побрел далее, бормоча: «Тут мне нечего делать...»

И побрел сон на запад, далеко-далеко, туда, где еще недавно лились реки человеческой крови.

Бродит сон у западных границ русской земли, бродит по Тильзиту, по полям, по деревням. Везде войска, пушки, обозы, табуны лошадей... С востока повевает уже предрассветный ветерок и перебирает белые пряди волос старого бродяги-сна... Заглядывает сон в бедную, об двух окошечках, черную избушку, и белеющее с востока небо заглядывает туда же, в малые оконца. На дощатых нарах, устланных соломой, из-под уланской солдатской шинели выглядывает бледное, хотя сильно обветрившее и загорелое лицо молоденького уланика. Совсем ребенок! Лицо знакомое. Это лицо той девочки, что когда-то резвилась на берегу Камы и носилась иногда по полю на лихом коне. Да, это ее лицо, сильно изменившееся: детские очертания сменились более определенными линиями и изломами, выражение стало более характерно, но и во сне это молодое лицо не покидает какая-то сдержанность и сосредоточенность. Губы что-то шепчут. Видно, старый сон баюкает спящую грезами, видениями, картинами... Да, она видит себя в битве — как врезался в нервы этот свист пул противных! И пули свистят. Но что до них! Вот гибнет раненый кто-то... Это, должно быть, Панин... Нет, не он: это тот молоденький, калмыковатый, симпатичный казацкий хорунжий, с которым она ехала от самой Камы. Это Греков. Она бросается к нему и поднимает его с земли. Она с трудом выводит его из-под пуль в небольшой лесок и кладет его голову к себе на колени... Какая-то дрожь пробегает по ее телу, не холодная, но жаркая дрожь, такая дрожь, какой она прежде никогда не испытывала. Раненый открывает глаза и, уткнувшись головой в ее колени, целует их, обнимает слабеющими руками ее стан, ноги и что-то шепчет ей такое жаркое, захватывающее дух... «Надя! Надя! Я люблю тебя, давно люблю! Я знаю — кто ты... Я полюбил тебя еще тогда, когда, помнишь, во время похода с Камы на Дон, мы охотились в Даниловке и ты уснула на траве... Я люблю тебя, Надя! Жизнь моя, счастье мое!» Ох, что это с нею! Голова кружится, сердце перестает биться, в ушах и в сердце что-то ноет, ноет, плачет — о! Да это страшнее, чем в пылу битвы...

И она мечется на своем соломенном ложе. Шинель сбилась к ногам. Руки бессознательно расстегивают ворот рубашки, обнажают грудь... не грудь, а груди... Ей душно, она задыхается, хочет вскрикнуть — и просыпается.

Краска так и залила лицо, когда она взглянула себе на грудь — на открытую грудь.

«Фу, какой сон! — А на сердце так хорошо — трепетно, жарко, а признаться не хочется. — Вот был бы срам, если б кто взошел, — но я заперла дверь... Какой сон!»

Не такие грезы сыплет старый сон на спящую голову того, который искромсал Европу на куски, как тыкву для каши, и варит эту кровавую кашу с человеческими телами десятки лет, — того, который повыгонял королей и королев из их дворцов и владений, для которого земля становится тесною. Вот он лежит, скукожившись, такой маленький, тихенький, словно ребенок. Постель проста и вся бела, как колыбель ребенка. На белых подушках рельефно оттеняется маленькое тело великого императора. Он лежит на левом боку, скорчившись, как спят дети. Круглая, гладко остриженная, точно точеная, голова положена на подушку так, что античный профиль горбоносого императора ясно обрисовывается на белом полотне. Глаза закрыты, как у мертвеца, так спокойно все лицо спящего и высокий лоб его. Ноги согнуты и поджаты так высоко, что вся фигура императора представляет фигуру младенца в том положении, в каком каждый младенец находится в утробе матери. Странное дело, глубокая тайна природы: до могилы, до последнего и вечного сна своего сонный человек бессознательно принимает то положение, в каком он в первые месяцы своей утробной жизни находился во чреве матери. Таким утробным младенцем кажется теперь и Наполеон на своем простом императорском ложе: обе руки — эти страшные, загребистые руки, захватившие короны и скипетры у десятка владетельных особ и перекраивающие шар земной, словно не по мерке сшитый кафтан, эти маленькие, пухленькие, беленькие ручки засунуты между поджатых колен, а из-под сбившейся простыни видны голые подошвы маленьких ног — ну совершенно спящий ребенок, прикорнувший после игры в мяч!

И многое, многое грезится этой спящей голове, брошенной на белую подушку. Видится ему первое свидание с императором Александром в Тильзите, на середине Немана, в плавучем павильоне. Они рядом входят в павильон, нога в ногу... но дверь узка, разом не войти им: узка дверь для двоих, словно мир им узок, надо прижаться друг к другу — и они

прижимаются: Наполеон прижимает к себе Александра; в обоих телах чувствуется дрожь — это сотрясение России и Франции. А король прусский, как пойманный школьник, ждет своей участи на берегу Немана — такой бледный, трепещущий; не терпится ему — он тянется вперед, в воду, лошадь его бредет по воде, вода хватает до стремени.

Спящая фигура еще более скукоживается на подушках, и ей грезится, что на всем земном шаре ей тесно, вдвоем нельзя оставаться, надо и *его* столкнуть, того высокого, под которым так много земли, воды и людей. Мир должен принадлежать одному, подобно тому, как он создан одною высочайшею силою.

Но чей это голос раздается над спящею головою? «Ничтожество! Ничтожество! Ничтожество! — гремит голос невидимого существа. — Ты думаешь покорить весь мир? Зачем? Счастливее ли будет человек от этого? Да тебе какое дело до его счастья, презренное ничтожество, червь, грызущий шар земной, словно орех! Для кого ты льешь кровь человеческую? Для Франции? О! Франции так же нужна эта кровь, как повешенному веревка! О, великий паразит вселенной! Нет ни одного человека во всей этой вселенной, которого ты не был бы ниже, недостойнее и презреннее... Ты презреннее мусорщика, который собирает для дела последние отбросы. Ты презреннее этих самых отбросков, потому что они идут в дело, а ты всякое дело разрушаешь. Ты презреннее крысы, которая очищает землю от вредной падали и гнили. Ты презреннее блохи, которая тебя кусает, ибо она высасывает из тебя подкожную негодную кровь. Ты что сделал, что создал в жизни? Сделал ли ты хоть иглу, гвоздь ничтожный? Нет, ты только все разрушаешь! Придумал ли твой чумной мозг что-нибудь полезное, созидающее? Нет, эта чумная голова выдумывала только все разрушающее... Ты бесполезнее для мира подошвы твоего сапога, ничтожнее последнего шва в твоих кальсонах, малоценнее твоей слюны, твоих экскрементов, которые удобряют землю... Если хочешь принести пользу земле — умри! Кроме личного удобрения ты ничего не можешь дать миру! О, величайший земной паразит!»

— Брысь... Брысь... — бормочет Наполеон, беспокойно ворочаясь на подушках. — Выбросьте эту кошку. Это она, мадам Сталь... негодная!

— Что угодно вашему величеству? — говорит, входя к Наполеону, Талейран.

Он уже встал и работал в соседней комнате, округляя статьи тильзитского договора и почерком своего карандаша, словно паутиной, опутывая и спутывая всю Европу.

— А... это вы! — отвечал Наполеон, протирая заспанные глаза. — Меня во сне мучила своим мяуканием эта кошка в синих чулках — мадам Сталь.

— О, ваше величество! У нее не все в порядке, оттого она и злится.

— Правда, правда, у нее не в порядке ни там, ни тут. — Наполеон показал на голову. — А желал бы я знать, какие сны видит мой новый друг, император Александр.

— Почему, ваше величество, это так интересует вас? Разве и у него есть своя кошка?

— Без сомнения. У кого же нет своей кошки! Вот Александрову-то кошку я и желал бы узнать, чтоб подослать ей мышонка. А что это у вас в руках?

— Тенета для Европы, ваше величество, — отвечал тот.

— А! — улыбнулся Наполеон, с полуслова поняв хитрого министра. — Посмотрим, прочны ли.

Уже утро заглядывает в тот маленький двухэтажный домик, в котором остановился русский император в Тильзите; за окнами уже начинают чирикать воробьи, проголодавшиеся за ночь, а в уютной спальной русского императора еще не помята постель. Старый сон и не заглядывал сюда, как ни звал его истомленный своими думами и сомнениями всемогущий повелитель великой державы. Все повинуется мановению державной руки, в которой, как в руце Божией, и сердце, и благосостояние, и жизнь миллионов подданных; все преклоняется перед этой красивой, «аполлоновой», как назвал ее Наполеон, русой, с небольшою лысинкой головой, — не повинуется и не преклоняется один упрямый старикашка, который толкается по грязным и жалким лачугам, самовластно входит и в царские дворцы, где его принимают с распростертыми объятиями, который, когда захочет, и великого Наполеона повергает в то младенчески-утробное положение, в каком застал его этим утром Талейран, — не повинуется этот капризный старикашка русскому императору, не идет на его зов, не заглядывает в его приветливую опочивальню...

— Из лоскутьев польского кунтуша, снятого с плеч прусского короля, образуется герцогство Варшавское... Бедный Фриц! Бедненькая Луиза!.. Я приобретаю Белостокскую область — новый лоскут к моей обширной порфире... А новые короли — Иосиф, король Неаполя, Людовик, король Голландии, Иероним, король Вестфалии, — это братцы его, братцы трехипостасного бога войны, нет, четырехипостасного! Наполеон разменял себя на мелочь — на трех королей, а сам остался таким же, как и был, неразмененным червонцем-им-

ператором... Необыкновенный человек! «Мы, — говорит, — разделим владычество над миром — вам восток, мне запад... Когда ваши подданные будут ложиться спать, мои будут вставать, а когда мы будем спать под сенью ночи, вы будете бодрствовать под солнцем... Мы разрежем земной шар надвое, как лимон...» Неужели это перст Божий?..

Так говорил сам с собой император Александр, ходя в одном белье по своей спальной и напрасно призывая сон. Последние дни сильно истомили государя. Военные неудачи последней кампании, обнаружившаяся неспособность полководца, потеря лучшей части армии, обнаружение целой системы злоупотреблений по продовольствию войска, неслыханное воровство во всех частях и, наконец, это роковое свидание с человеком, который сказал ему, что «если я стану на один полюс земли, а ваше величество не станете на другой, то я опрокину землю», с человеком, который иногда казался ему удавом, готовым проглотить его как кролика, — все это, разбило нервы императора до такой степени, что он лишился сна и все думал, думал, думал...

— О, бедная страна моя, бедный народ мой! Когда же я могу уснуть спокойно, не боясь обманов, продажности, повального воровства вокруг меня? О! Они способны похитить мою корону, как похитили мой сон... о, казнокрады! Отдайте мой сон, отдайте покой мой! Вы украли мой сон... Сон, сон, где ты?..

— Я здесь, ваше императорское величество! — рявкнул вдруг Заступенко, показываясь в дверях, за которыми он стоял с ружьем в качестве ординарца и немножко вздремнул. — Мы тут с Лазаревым, ваше императорское величество.

Государь невольно рассмеялся... «Вот невинные дети!» — подумал он.

— Спасибо. Я знал, что вы оба молодцы.

— Рады стараться, ваше императорское величество!

Но никому в эту ночь не грезилось так хорошо, как старому гусару Пилипенке. Ему грезилось, что Жучка, которую солдатикам удалось спасти от смерти, сидит с Пилипенком у котла и кушает казенный сухарь, который ей дали. И что всего удивительнее — сухарь не гнилой...

XIII

Утром Петербург узнал о заключении тильзитского мира. Впечатление, произведенное этим известием, было более чем неблагоприятно для большинства населения: как ни были для

всех чувствительны тягости войны, как ни удручающе отзывался далекий, не слышимый ни в Петербурге, ни в Москве гул орудий на душе и на кармане каждого, — потому вследствие падения денежного курса втридорога вздорожала жизнь, поднялся в цене каждый фунт хлеба в лавочке, каждая осьмуха водки в кабаке и даже не пойманный еще сиг в Неве, — как ни страшно было каждому за своих родных воинов, которых, аки лев рыкаяй, пожирал ненасытный корсиканец, однако весть о том, что война кончилась и корсиканец не сломил шею, а еще, кажется, сел на шею русской чести, досадой и стыдом сверлила мысль почти каждого русского. Да, нельзя не сказать с поэтом: «Чудни, чудни люди!»

Едва ли не один Сперанский, узнав о мире, сказал как бы про себя: «Это умно... Я, впрочем, ожидал этого...»

— Ты чему, папа, рад? — спросила его Лиза, увидав, что отец в хорошем расположении духа.

— А тому, что мои Лизы скоро опять начнут учиться.

— Лизы, папа? А разве у тебя много Лиз?

— Нет, только две.

— Я да Соня, папочка?

— Нет, ты да Россия...

Лиза сделала большие глаза.

— Вот видишь ли, моя умная дура, — сказал Сперанский весело, — *обе* мои Лизы, *обе* умные дуры, воевали с одним озорником, с Сашей Пушкиным...

— А разве, папа, и Россия воевала с Сашей Пушкиным?

— Да, но только у нее свой Саша Пушкин, такой же озорник, как и твой, — Наполеон... Теперь Россия с ним помирилась и станет учиться, умнеть, развиваться...

— А разве Россия, папа, не учена?

— Ни на медный грош... Перед ней ты, моя дурочка, всезнайка.

— Ах, как смешно! Так меня называет и Кавунец-курьер, которому я рассказала, какие в России моря есть и реки.

— Ну, так я тебе скажу, что вся Россия — это Кавунец, который на все отвечает: «Не могу знать», хоть и исполняет все исправно, что ни прикажут ему.

— Ах, смешно! Ах, смешно! Россия — Кавунец... Пойду скажу это Соне и маме.

Не то говорили в городе.

В трактире Палкина, в том, что и ныне красуется на углу Невского и Садовой, сидят приятели-купчики и распивают чаи. День душный, и потому на пойло тянет здорово. Купчики, видимо, народ шибко кормленный, тельный, сырой и груз-

ный, а такой народ в жаркое время шибко теряет вес на потенье и вследствие того шибко пьет для пополнения убыли в теле.

— Я велю, господа, еще подать кипяточку, — говорит купчина с седою бородою и седыми вкружало волосами, среди которых красное, толстое, лоснящееся лицо с раздавленными черниками вместо глаз напоминает вареного рака в чепце. — Как ты думаешь, Левонтий Захарыч?

— А по мне, так надо полагать, и довольно, — отвечает Левонтий Захарыч, скопческому, безбородому лицу которого не достает только кокошника, чтоб превратиться в лицо кормилицы.

— Довольно, говоришь? А который пот спущаешь?

— Да, поди, четвертый будет.

— Ну, ноне такая жарынь, что мене как до седьмого поту пить нельзя... Эй, малый! Подай кипяточку.

«Малый», словно обваренный кипятком, бросился к собеседникам, с ужимками необычайной ловкости не взял, а сорвал со стола чайник и так тряхнул волосами, что казалось, будто его пчела укусила в затылок, и он от нее отмахнулся.

— А! Политик! Добро пожаловать! — заговорил вдруг первый купчина, напоминавший вареного рака в чепчике. — Откудова Бог несет?

Приветствие это относилось к длиннополому, сухопарому существу, с редкою седоватою бородкою и очками в толстой серебряной оправе, из-за которой черные, видимо, слабые глаза глядели как из-за забора.

— Откудова, господин политик?

— Из собора, Авксентий Кузьмич, — отвечал «политик», здороваясь с собеседниками.

— Что там? Садись, нутры сполосни.

— Добре, испиемы пития сего... В соборе «мир» объявляли с корсиканцем с этим, с Наполеонтием.

— Да что ты его в Наполеонтия окрестил, братец? — спросил первый, раковидный купчина.

— Наполеонтий и есть, — серьезно ответил «политик».

— Как же так, братец, по-ученому, что ли? А вон везде так печатывают — Наполеон Бонапарт.

— То-то и есть, что *печатают*... Пропечатает он нам...

На слове «печатают» «политик» сделал особое ударение. Говорил он как-то таинственно.

— Да что так страшно говоришь? Что пужаешь нас? — допытывался первый купчина.

— Не я пужаю, а Наполеонтий пужает...

— Опять Наполеонтий, заладил!

— Наполеонтий и есть... Как тебя зовут? — вдруг нечаянно обратился «политик» к другому купчине, со скопческим лицом.

Тот удивился.

— Меня? Али ты забыл?

— Нет, не забыл.

— Ну, Левонтий.

— У нас, видишь ты, Левонтий, Леонтий, а у французов — Леон, вот что!.. Тебя как зовут? — также неожиданно и серьезно обратился «политик» и к первому купчине.

— Ну, Авксентий, — сказал тот, смеясь.

— А у них, значит, Авксён... Терентий, к примеру, у них Терён... Они, значит, одним словом, не любят этого *ий*, как у нас оно везде: у нас, видишь ты, Василий, а у них вон Базиль. Вот в чем штука-то!.. Так вот и Наполеонтий у них, у французов-то, стал Наполеон.

— Что ж из этого?

— Как что, братец? Да тут не приведи Бог что! Читал ты «Апокалипсис»?

— Читывал когда-то. Так что ж?

— А что сказано там о конце света? Кто должон придти на землю?

— Ну, антихрист — «икона зверина», что ли.

— Так. А что он будет делать с людьми?

— Ну, пригонять в свою веру... Да что ты пристал с расспросами, али ты судья, али поп на духу?

— Нет, а ты скажи, какой он знак будет класть на людей? Какое число зверино?

— Ну, знамо! Какое я в пьяном виде не выговорю.

— Так, верно. Число сие шестьсот шестьдесят шесть.

Сказав это, «политик» таинственно оглянулся и подозвал к себе «малого». «Малый» опять метнулся как ошпаренный, опять тряхонул волосами, как жеребец гривой, и проговорил:

— Кипяточку-с?

— Нет, любезный, подай мне счеты...

— Счет-с? Да вы что изволили заказывать-с? — недоумевал «малый», детина четырнадцати вершков.

— Не счет, а счеты, на чем считают.

«Малый» метнулся за счетами, словно на пожар, и через минуту принес требуемое. «Политик» передал счеты купчине, с лицом вареного рака в чепчике.

— Клади за мной, — сказал он. — Какое первое слово в Наполеонтие? *Наш*?

— *Наш*, — отвечал раковидный купчина.
— А в *наш* сколько считается? Пятьдесят?
— Пятьдесят.
— Клади пятьдесят.
— Положил.
— Какое второе слово в Наполеонтие? *Аз*?
— Точно *аз*.
— А сколько в *азе*? *Аз* — един.
— Един.
— Клади един.
— Есть пятьдесят один.
— Какое третье слово в Наполеонтие? *Покой*?
— Ну, *покой*.
— А в *покое* сколько? Восемьдесят?
— Восемьдесят.
— На кости восемьдесят.
— На костях... Сто тридцать один есть.
— Ладно. А какое четвертое слово в Наполеонтие? *Он*?
— Вестимо *он*.
— А в *оне* сколько?
— В *оне* семьдесят.
— На кости семьдесят.
— И это есть.
— Ну, братец ты мой, какое пятое слово в Наполеонтие? *Люди*?
— *Люди*... Смекаю... Значит, еще тридцать на кости?
— Так, тридцать на кости... Ну-с... За *людями* идет *есть*?
— *Есть*, это еще пять на кости.
— Верно. А за *естем* что идет в Наполеонтие?
— За *естем* опять *он*... И его на кости?
— На кости...
— Так... Ну, всего-то покелева у нас вышло на костях триста шесть... Ишь ты штука! — дивился купчина с лицом печеного рака в чепчике. — А уж одна шестерочка-то, вправду, есть... Ну, а откудова ты еще две выудишь?

Всех, видимо, занял таинственный счет. Даже «малый» что-то считал по пальцам, по временам встряхивая гривой.

— Выудим, выудим, — самоуверенно, с торжественной важностью говорил «политик». — На чем, бишь, мы остановились?
— На *он*, *он* на костях.
— Добре. За *оном* кто идет в Наполеонтие?
— Опять *наш*.

— Клади *наш* на кости...

— Пятьдесят положил.

— За *нашем* кто идет? Помни Наполеонтий...

— Ну, так за *нашем* таперича идет *твердо*... Это триста... Ишь ты, дьявол! Разом навалило сколько... Ай-ай-ай! Вот штука! *шестсот шесть*... Ах ты, лядина! Одного *шести* еще не достает... Ну, лядина!

— Найдем и еще шесть, — говорит «политик». — Что за *твердой* идет в Наполеонтие?

— Ну, тут за *твердой*, братец ты мой, идет, кажись, *иже*.

— Не *иже*, а і десятиричное...

— Ну, все едино!

— Не все едино! Поп али дьякон, Петр али Яков. Не *иже*, а і... клади его на кости.

— Это десять-то?

— Да, десятиночку.

— Ну, на... Ах ты, лядина! А? Ай-ай-ай! И точно шестьсот шестьдесят шесть... очко в очко... фу ты, пропасть! Инда пот прошиб. Вот история — поди на! Ах ты, дьявол! А?

Купцы ошеломлены — и раковидное, и скопческое лицо так и вытянулись. «Малый» так глядел на счеты, точно ожидал, что вот оттуда что-нибудь выскочит, вот-вот выскочит... А «политик», посматривая на них через забор своих очков, словно хотел сказать: «Что, проняло? Понимаете, чем пахнет? Вот оно что значит наука! Поди, раскуси ее... Овому талант, овому два, а кому шиш! Так-то, люди добрые».

— Ну, и впрямь «политик»! — сказал, наконец, первый купчина. — Где это ты, Егор Фокич, эку лядину вычитал? Али сам дошел?

— Дошел телок до коровьего вымя! — загадочно отвечал «политик». — Дойдешь до огня, на дым идучи.

— Точно, точно. Али плохи дела?

— Чего плоше! К нам подбирается, а мы сами ему в рот пальцы кладем. У нас коли француз, так садись на шею и поезжай. Коли что французское, так уж и ох! Лучше быть не может.

— Это точно, — процедил другой купчина, с скопческой физиономией, — и французская болезнь и та в моде.

— Да, к нам в лавки и не заглядывают — фи, русское-де! А все к французам.

«Политик» полез в карман и вынул оттуда какую-то книжку.

— Вот книжка из Москвы пришла, умная книжка: «Мысли вслух на Красном крыльце» называется. Так тут вот что пишут: «Прости Господи! Уж ли Бог Русь на то создал, чтоб она кормила и богатила всю дрянь заморскую, а ей, кормилице, и спасибо никто не скажет. Ее ж бранят все не на живот, а на смерть. Приедет француз с виселицы, все его наперехват, а он еще ломается, говорит: либо принц, либо богач, за верность и веру пострадал. Таких каторжников и невежественных еми... еми... гран... емигран... тов, емигрантов с радостью у нас берут в воспитатели и учители». Вот оно что! А это все его слуги и аггелы его, все это рать Наполеонтия.

— Да вить он теперь замирение взял, — возразил первый купец.

— Что его замирение, Авксентий Кузьмич! Одна пагуба.

— А что, разве глаза отвести хочет?

— Хуже того. Волк подошел к овчарне да и говорит собакам: «Вот вам мясца кусочек, подружимтесь». Собаки мясцо съели, да и заснули.

— А волк и тово — в овчарню?

— А мы на что? — не вытерпел «малый», который внимательно слушал разговор купцов, стоя у двери.

Все засмеялись

— Молодец! — сказал первый купец и полез в карман. — На, выпей за здравие Расеи... А онамедни в театре давали «Димитрия Донского», так там приходит посол от Мамая, ломается, грозит русским, вот как этот самый Наполеон... А Каратыгин, Андрей Васильич, как гаркнет на него:

«Поди и возвести Мамаю,
Что я его как черта изломаю!» —

так раек, я вам доложу, в такой дебош пришел, что хотели после театра избить того актера, что Мамая играл.

— Мы и избили бы, да нам полиция не дала его, — вмешался «малый».

— Вот так! За что ж его бить? Он русский.

— А он что грозит! Мы б ему помяли бока... Ишь ломается: дань, говорит, давайте!

Опять общий хохот. Патриот «малый» был шибко простоват, но до театра был большой охотник и все, что ни видел на сцене, понимал в прямом смысле, как маленький Вася Каратыгин. Так, раз, увидев, что актриса Перлова, она же Каратыгина, по смыслу пьесы должна была поцеловаться с своим возлюбленным за спиной мужа, «малый» не вытерпел и испуганно, на весь театр, заорал: «Смотри, смотри! Она,

стерва, целуется», — за что и был выведен из райка прямо на улицу. Теперь, слушая разговор о Наполеоне, он тоже, как и тогда в театре, чувствовал потребность кого-нибудь помять, так уж своеобразно прилажены были у него руки и голова. И всякий раз, когда он слышал шум на улице или где бы то ни было, он всегда торопился туда словно на пожар и непременно спрашивал: «Кого бить?» А между тем в сущности был добрый и смирный малый и любил нянчить детей, чьи бы они ни были.

— Так ты думаешь, Егор Фокич, он нам напакостит, Наполеонтий-то твой? — спросил, немного погодя, первый купчина.

— На то похоже, — отвечал «политик».

— Да чем же? Войной на нас пойдет? — спросил другой купец, с бабьим лицом.

— Не знаю, а уж чем-нибудь да доедет: не мытьем, так катанием.

— А вот чего — не хочет ли? — снова вмешался «малый» и показал кулак. — Скулы сворочу.

— Молодец, молодец, Гриша! — засмеялся первый купчина. — Вон у нас какие калачи ему припасены.

— Горяченьки, — промычал «малый», — с маслом... Намедни, этта, мы одного французина в Мойке кстили.

— Ой ли? И утоп?

— Нет, не утоп пес — выволокли.

— А за что топили?

— За кукиш.

— Как за кукиш?

— Да так, за самый за этот за кукиш... Кукиш нам показал. Образ несли по прешпехту, а он, французин, идет, это, и шапки не сымает... Ему и сбили шапку, а он — кукиш... ну, ево и в Мойку... Кипяточку прикажете-с?

— Нет, будет, малый, восьмой пот спущаю.

— Что ж, ваша милость, это немного... Намедни, этта, у нас купцы со Щукина по дюжине поту спущали — оно для здоровья хорошо.

— Оно точно, и нутры, и кровь перемывает... Потом-то всякая болесть выходит.

— Только не французская — не Наполеонтий вон его, — заметило скопческое лицо.

— Ну, для Наполеонтия мы сулемы припасем, — отвечал «политик».

В трактир вошли два новых посетителя. Это были Крылов Иван Андреич и доктор Сальватори. «Малый» метнулся к

ним и осклабился, увидав Крылова, который был постоянным посетителем Палкина.

— Дай нам, братец, водочки да закажи селяночку, да позабористее, — сказал Крылов, занимая свободный стол.

— Селяночку какую прикажете? — мотнул парень волосами.

— Московскую — самую что ни есть первопрестольную, для московского гостя. — И он указал на Сальватори.

— А водочку какую? — снова мотнулась голова «малого».

— Французскую. Теперь мир с Наполеоном, значит, давай французскую водку.

— Слушаю-с.

И «малый» стремглав ринулся в буфет, словно искал кого бить или кого из воды вытаскивать.

— Так вы полагаете, что у Наполеона задние мысли? — спросил Сальватори с еврейским заискиванием в голосе и в глазах.

— Да у него никогда и не было передних, — отвечал Крылов равнодушно. — Талейран это с него научился сказать: «Язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли».

По лицу Сальватори скользнула едва заметная тень, которую он старался выдать за улыбку.

— Но какие же могут быть у него тайные планы? — снова спросил он.

— В мире-то с нами?

— Да, в этом.

— Ему англичан хочется допечь. Ведь он сказал, когда в лоск положил Пруссию: «Я завоюю у Англии море посредством суши и отберу у нее Индию и Пондишери — на Одере и Висле». Да и как ему не беситься на англичан! Они с ним как с мазуриком обходятся, костят его в мертвую голову. Да от одних их карикатур можно взбеситься и не такому человеку, как Наполеон.

— Да, это правда. Англичане одни преследуют его сарказмом.

— Мало того — презрением. Так теперь ему хочется завоевать Англию — через Петербург... Он ищет Калькутту и Пондишери на Гороховой.

— Слышишь, Авксентий Кузьмич? — многознаменательно заметил «политик» своему соседу. — И господа тоже говорят.

— Ишь ты — на Гороховой... А поди, и впрямь до Гороховой дойдет... и-и-и!

— Помни шестьсот шестьдесят шесть...

— Помилуй Бог... не забуду.

— А вот я сегодня был у Сперанского — свидетельствовать ему свое почитание, так он доволен миром, — сказал Сальватори, умильно глядя в глаза Крылову.

— Сперанский — гениальный человек, но он мечтатель: он думает вырастить ананасы там, где растет репа да крапива.

— Как? Я вас не понимаю, почтеннейший Иван Андреевич.

— Да Сперанский, видите ли, хочет сделать из России Европу.

— Что ж, разве это вещь невозможная?

— Почти... Нас приходится как сухую дичь салом шпиговать Европой, а все мы остаемся дичью и пахнем дичью... Нас не скоро вываришь в Европу — в десяти водах не вываришь.

— Почему же? Я вижу, напротив, просвещение очень прививается в России.

— Как к вербе груши... А верба все вербой и остается... Вот, посмотрите.

И Крылов указал из окна на Невский. Сальватори глянул в окно. Глянули и купцы. Среди Невского стояла коляска, запряженная парою вороных, а в коляске сидел какой-то генерал, несколько сутуловатый, с сухим, точно деревянным лицом. Около коляски стоял солдатик, бледный, дрожащий, готовый упасть от ужаса.

— Что это? — спросил Сальватори.

— Это Аракчеев, граф из солдат.

— О! Кто же не знает графа Аракчеева, любимца государя!

— Так видите: вероятно, солдатик не успел отдать ему честь или у солдатика одной пуговицы не оказалось, так Аракчеев, наверно, грозит прогнать его сквозь строй — и прогонит.

— Не может быть!

— Все может... У него в имении бабы по ранжиру маршируют, и он их сечет по-солдатски... Он всю Россию хочет превратить в пахотного солдата... Вот вам и Европа Сперанского.

— Но, может быть, влияние Сперанского осилит, — заметил Сальватори.

— Вряд ли. Разве Наполеона черти с квасом съедят.

Купчики осклабились от удовольствия.

— Подавятся и черти, — процедил сквозь зубы «политик».

— Ну, вот и селянка! Такой, наверно, и Наполеон не едал, — сказал Крылов, увидев «малого» с шипящей кастрюлькой.

— Куда Наполеону! — осклабился «малый». — С суконным рылом-с...

— А может, и сунется в калашный ряд, — процедил опять «политик».

— А вот! — на-кось!

И «малый» показал свой кулак — с голову Наполеона.

XIV

Москва еще больше чем Петербург ворчала на тильзитский мир и в особенности на Наполеона. Он иначе и не назывался там, как «исчадие ада», «геенна», «корсиканский волк», «внук сатаны», «кум асмодея», «бешеная собака», «французская болезнь» и иное неудоборекомое. Москва давно считала себя сердцем России, и это сердце распалялось, и Москва засучивала рукава всякий раз, как только ей казалось, что кто-нибудь задевал честь России, наступал на ее мозоль, не здравствовался на ее чихание. «Мы-ста им покажем», «мы-ста утрем ему нос», «нет, шалишь», «рылом не вышел», «сунься-ко», «узнаешь Кузькину мать», «как Сидорову козу» — и тому подобные бесчисленные аргументы сыплются с уст Москвы в доказательство ее величия и в предупреждение того, что всякому дерзкому она покажет и себя, и те места, где «козам рога правят», и «куда Макар телят не гоняет», и «куда ворон костей не заносит», и так далее, и так далее.

Когда в Москве получены были известия о битве при Фридланде и об отступлениях русской армии на всех пунктах, никто не хотел верить, что это были не победы наши, а поражения, и все были убеждены, что русские «заманивают» корсиканского волка, чтоб он сам попал в капкан. Победы Суворова так избаловали московское мнение, что оно не позволяло никому говорить о поражениях: «в бараний рог корсиканца — и баста». К тому же эту патриотическую уверенность сильно подкрепил граф Ростопчин своими «Мыслями вслух на Красном крыльце» — «Мыслями», которые сделались московским евангелием. «Раз его, корсиканца, ударить — и мокренько стало!» И вдруг получается весть, что корсиканец не в капкане, а напротив — на свободе, да еще и мир с ним заключен. Читают в соборе эту весть, никто верить не хочет. У всех на лицах недоумение и смущение. Вон и сам

граф Ростопчин стоит: как ни гордо глядят его глаза из-под высокого лба, несколько драпированного напудренным париком, однако стоящий недалеко от него бакалавр Мерзляков Алексей Федорыч видит в них некое смущение.

— Что, граф, виноват — Сила Андреич, как вам сие нравится? — шепчет Мерзляков.

— Что, господин бакалавр и песнотворец? — отвечает Ростопчин вопросом.

— Да мир-то с «мужичишкой корсиканским, что в рекруты не годится», как говорит почтенный Сила Андреич?

— Мир-то? Да! Царю Петру Первому правнучек на мозоль наступил — через девяносто восемь лет на мозоль наступили.

— Как, граф?

— Да знаете, которого числа мир подписан?

— Не знаю.

— Июня 27-го... Ох, повернулся Петр Алексеич в гробе!

— А! Догадался, догадался... Это день Полтавской победы — да, да! Неловко, очень неловко... И для Силы Андреича обидно, — прибавил Мерзляков, лукаво улыбаясь.

— Обидно-то обидно ему, а бакалавру Мерзлякову, должно быть, еще и того обиднее, — также лукаво отвечал Ростопчин.

— Почему, граф, мне-то обидно?

— Да все же за царя Петра Великого.

— Не понимаю вас, государь мой.

— А кто сию кантату сочинил на восшествие на престол Александра — сию:

Лучами феба оживленный,
Счастливый север пред тобой
Свергает днесь одежды снежны,
И в новой радости святой,
Блистая ранними цветами,
Гласит и сердцем и устами,
Что ты — отец его, покров.
И *дух, Петром в него вложенный,*
Минервой сердце просвещенно
Слились в одно — к тебе в любовь!

А? — продолжал тихо Ростопчии. — И за этот «дух Петра» да Петру же и на мозоль!

Мерзляков, видимо, был озадачен неожиданным поворотом.

— Однако, ваше сиятельство, какая у вас память — можно сказать, лестная для сочинителей, — говорил он сконфуженно. — Я и сам это забыл, а вы изволите помнить.

— А вы думали, небось, почтеннейший, что я только и помню вашу канту:

Среди долины ровныя, на гладкой высоте...

— Ну, ваше сиятельство, вы совсем меня разбили, как Наполеон прусаков...

— Однако пора по домам: служба кончилась, все расходятся... До свидания, почтеннейший Алексей Федорыч, заходите как-нибудь вечерком, всегда рад — и Глинка будет, и еще кое-кто из вашей братия, сочинителей... Споем «Среди долины ровныя...»

И они вышли из собора. Но в церкви еще оставалось довольно народу. Это были те, которые пришли отслужить, — кто благодарственный молебен, кто панихиду по усопшим, по убиенным. Последних было больше, чем первых. Тоскливые, убитые, иногда плачущие лица и черные платья с белыми, режущими глаз обшивками говорили сами за себя. Особенно же резали глаз эти белые обшивки на двух крошках, на мальчике и девочке, беззаботно игравших около старой, тоже в черном няни и пренаивно отвечавших на вопросы соболезновавших женщин в то время, как мать их, припав головой к холодному полу, исходила, по-видимому, тоской и слезами.

— По ком это, матушка, панихида? — спрашивают няню сердобольные бабы.

— По папе панихида, — весело отвечает девочка-крошка.

— Да, по родителе по ихнем, милая.

— Что ж, помре волею Божиею или убит?

— Папа пал на поле брани, — бойко, как по заученному отвечает мальчик — слышал от кого-то.

— Ох, Господи! Крошечки-то какие остались... Убит, стало быть...

— Нет, папа пал на поле чести, — бессознательно лепечет девочка. Тоже слышала эту ужасную фразу.

Сердобольные бабы утирают слезы. А там, от аналоя, несется возглашение: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, на брани убиенного болярина Александра, и сохрани ему вечную память...»

— Папа скоро приедет, — лепечет мальчик.

— «Вечная память — вечная память — ве-е-ечная...» — плачет хриплый голос церковника.

— За что же, Господи! О! — это раздается напрасный стон с полу, напрасный протест.

Сердобольная баба махает рукой и, уткнувшись носом в платок, тоже напрасно надрывается.

А на другой стороне церкви идет благодарственный молебен. На коленях стоит девушка, тоже в черном, но без ужасных белых обшивок, этой безвременной седины сердца, седины, выступающей мгновенно, как она иногда выступает на волосах в минуты страшного, потрясающего горя. Девушка тихо молится. Серые большие, крепкие глаза ее не отрываются от образа, изображающего женщин, молящихся при кресте. Из-под шляпки выбиваются золотисто-каштановые волосы, одна прядь которых неровно обрезана. Это она, молящаяся, в порыве тоски, провожая *его* на эту ужасную войну, не заметила за слезами, как отхватила для *него* ножницами, на память, целую пасму волос. Особенно страстно молилась она за обедней в то время, когда возглашали: «страждущих, плененных и о спасении их...»

— Плененных... плененных, Господи! — шептала девушка.

Тот, для которого она обрезала прядь волос, в плену... *Он* был взят в битве при Гутштадте, на глазах у друга своего, Панина, который тоже едва не попал в плен и только благодаря какому-то храброму юноше Дурову избежал смерти. А *его* взяли раненого — под *ним* была лошадь убита. А прядь волос с *ним*, у *него* на груди.

— Плененных, Господи, помилуй, — шепчут уста, которые *он* поцеловал тогда в первый и последний раз, — но как поцеловал!

— «И той бе самарянин», — слышится дрожащий голос священника

— Господи, спаси его, — шепчет молящаяся, а лукавая память вносит сюда, в церковь, тот душный вечер, когда в тени сиреней и акации *он*, накануне выступления их эскадрона, в первый раз сказал, что любит ее, и целовал, так жарко целовал ее руки, только руки, а она не отнимала эти руки, похолодевшие от его жарких поцелуев...

— А теперь мир... *он* воротится... Господи! Господи!

«Благодарение яко раби недостойнии приносим», — возглашается «благодарение» рядом с «вечною памятью» и стонами вдовы.

— Благодарю, благодарю Тебя, Господи.

Это благодарит девушка, боясь оглянуться туда, где не благодарят, а только рыдают.

Кончились панихиды с «вечною памятью». Кончились и благодарения. На паперти нищие грызутся из-за подачек вдов и сирот. Церковь опустела. Причетники считают вырученные пятаки, гривны, полтинники. Стоит ли жить после этого!.. О,

как хороша жизнь человеческая и как жалка и прискорбна она!..

Девушка, служившая благодарственный молебен, выйдя из Архангельского собора, остановилась в раздумье среди Кремлевской площади и, по-видимому, не знала, что ей предпринять. Глаза ее невольно остановились на Замоскворечье, и грандиозная картина города, всегда чаровавшая ее, не произвела теперь на нее никакого впечатления. Видно было, что другие образы теснились в ее душу, наполняли ее и не давали места для восприятия внешних впечатлений: в том состоянии, в каком находилась девушка, целый мир кажется пустыней. Недостает чего-то одного, а кажется, что весь мир отсутствует, солнце не светит, небо перестает быть голубым, близкие становятся чужими...

Девушка опомнилась, видимо, на что-то решилась и пошла из Кремля.

— Неужели и теперь ничего не будет? — машинально шептала она.

По улицам беспорядочно толкался народ, бестолково сновали экипажи, слышался говор, смех, пьяное пение. Целое море звуков, слов, но все это кажется таким пустым, мелким, ничтожным. Когда человек несет в своей душе что-то большое, тяжелое — или громадное горе, или страшную тоску, то под влиянием этого субъективного чувства весь мир и его интересы умаляются до ничтожества... Но были слова в целом море гама, которые невольно били по сердцу: на одном перекрестке, у кабака, толкались солдатики и говорили:

— Али *он* осилил?

— Где осилить! Куда ему!

— Куда нашего осилить! Ишь, на мировую пошел, аспид...

— Пардону просит, дьявол! Солоно, чай...

— А наши пленные небось... поди, на размен?

— То-то, пленные! А ты еще спроси, кто уцелел?.. А то пленные! Может он их всех — во!

И солдатик показал рукой это «во» так страшно, сделал такой ужасный жест, что у девушки ноги подкосились. «Господи! Господи...» Она не знала, о чем просить... Может быть, это ужасное «во» уже совершилось — поздно и просить...

Она идет все дальше и дальше по бесконечным улицам, ноги путаются, в ушах шумит, в сердце отдается церковная служба: «благодарение яко раби непотребнии приносим...», «со святыми упокой...»

От ходьбы и волнения волосы еще больше растрепались. Этот обрезанный локон — зачем *он* взял его? Кто берет во-

лосы на память, того уж никогда не увидишь; оттого и у мертвых отрезывают волосы на память. Зачем он взял!.. И опять это страшное «во».

Ей вспоминается, как *он* самоуверенно говорил, что кампания скоро кончится, что Наполеон будет разбит, и они нынешним же летом воротятся домой. Да, кампания окончена, но Наполеон не разбит и они не воротились по домам... Иные там и остались на веки... а может, и *он* тоже... может быть, рана была смертельная... А этот ужасный солдат, это страшное «во» — ух, как страшно, Боже мой!

Через несколько минут девушка подошла к почтамтскому дому и дрожащими от волнения ногами поднялась в отделение выдачи писем «до востребования». Там сидел старенький чиновник и вслух читал какую-то старую засаленную газету: «Наполеон потерял в сем жарком бою множество убитыми и ранеными, наши же потери...»

Увидев смущенную девушку, он остановился как раз на «наших потерях».

— Что вам угодно, государыня моя? — спросил он вежливо и ласково, потому что лицо девушки расположило его в свою пользу.

— Нет ли в получении письма «до востребования?» — заговорила девушка дрожащим голосом.

— На чье имя, сударыня?

— На имя Ирины Владимировны Мерзляковой... из-за границы...

— Заграничное отделение, государыня моя, вон там, левее, а здесь внутренняя почта.

В заграничном отделении сидели два молоденьких чиновника и громко смеялись, читая подпись под какою-то лубочною картиной:

«Подошел француз к Пултуску
И, увидевши там силу русску,
Ну храбритца, петушитца
И с русскими накулачки битца.
Коли видит — дело плохо:
Больно, говорит, кусаются русски блохи.
А как подошел Бенигсен,
Дак он со страху совсем присел,
А как увидал, что идет Багратион,
Так он и ну кричать пардон!»

Увидав девушку, молодые люди покраснели; покраснела и она, но тотчас же спросила о письме на имя Ирины Мерзляковой.

— Из-за границы письмо?

— Из-за границы.

— Из какого государства ждете?

Девушка знала это менее всего. Она не знала, что отвечать.

— Вы ждете письмо от пленного?

— Да, — чуть слышно последовал ответ.

Чиновники усердно перерыли все ящики, но ничего не нашли. Краска сошла с лица несчастной, и она стояла бледная, потерянная, убитая.

— Вот, государыня моя, письмо на имя Ирины Владимировны Мерзляковой, — зашамкал старый чиновник из отделения внутренней корреспонденции, показывая издали пакет.

Девушка бросилась туда. Дорогое письмо в ее руках... В глазах мутится, ноги подкашиваются, сердце замерло. «Он не за границей... он в плену»... Эта мысль так и ожгла ее всю.

Схватив пакет, она бросилась вон из жаркого, душного почтамта, боясь, что упадет, закричит. Рука так и закоченела с письмом, прижатым к сердцу.

Выйдя из почтамтского двора, она почувствовала, что не может дольше стоять на ногах, и опустилась на приворотную скамейку у будки. Она взглянула на конверт — рука незнакомая. Да и *его* рука не знакома ей: они не переписывались прежде. Есть у нее несколько букв *его* руки, но по ним почерка нельзя изучить. Эти дорогие буквы *он* вырезал у них в саду, за сиренью, на стволе старой березы. Там вырезаны две буквы: «К» и «И», а над ними — горящее сердце, а в сердце — буква «И». Это она — Ирина, в сердце, а те две буквы — его дорогое имя и фамилия.

Она вглядывается в почерк на конверте. Почерк смелый, твердый, но только немножко женский. Особенно жадно впились красивые глаза девушки в слово «Ирине»... «Это мне... Как писала это слово *его* рука?.. Дрожала?.. Да, немножко дрожала... на букве «р» дрогнула, а «И» — такое милое, ласковое...

Осторожно, как какая-нибудь драгоценность, вскрывается конверт. На печати буквы «А» и «С». «Не его печать». Опять в сердце холод, и руки не слушаются. Вскрыто письмо!.. «Милостивая государыня»... — «Это не он!..» В глазах темно, она не видит подписи, хватается за сердце, боится взглянуть на подпись, точно там мертвец стоит — его милое, мертвое лицо... Но надо же узнать!.. «Александр Сеславин» подписано — «это его друг школьный», вспоминается девушке, что *он* это говорил...

«Милостивейшая государыня, Ирина Владимировна! Пишу вам по поручению моего друга Константина Николаевича Истомина»... Глаза бегут за сердцем вперед, через слова, через строки... Нашли! Нашли... «*Он жив... поправляется...*»

Глаза машинально ищут церкви... Но церкви не видать, хоть их так много в Москве, и взор поднимается в голубую высь, к небу, к той невидимой церкви, на которую молится весь мир, и крупные слезы, выкатившись из отуманенных глаз, звонко ударились о бумагу.

Разом стало светло кругом: дома, мостовая, небо, воздух, лица прохожих, зелень и даже прыгающий у ног воробей — все окрасилось иначе, теплом и приветом окрасилось, ожило... «*Он* жив!» Чего же еще? Он жив — и весь мир жив.

«Ах, эти слезы! Все замочили... чернила растекутся, и я ничего не разберу»... Уж эти слезы!

Успокоенная в глубине души, она читала, бережно отирая бумагу от слез: «Пишу вам по поручению моего друга Константина Николаевича Истомина...»

«Милый! И имя милое, и фамилия». (Это в скобках.)

«Он жив и поправляется от болезни. Я поторопился написать вам эту первую фразу, чтоб успокоить вас, ибо я уверен, что она-то для вас и дорога и ее именно вы искали бы прежде всего в моем письме».

«Ах, какой он милый, этот Сеславин, как угадал! Должно быть, он сам любит». (Это тоже в скобках.)

«А теперь сообщу вам все по порядку. Истомин мой школьный товарищ, старый друг и однополчанин. Настоящую кампанию мы были с ним неразлучны. Перед несчастной битвой при Гутштадте я и Истомин, как это водится между боевыми товарищами, ввиду весьма возможной смерти или плена, взаимно сообщили друг другу каждый свою последнюю волю, с тем, чтобы, если меня убьют, он бы выполнил мою волю, а если его не станет, то я его душеприказчик. Его последняя воля заключалась в том, чтобы, если его не станет, я написал вам, что, идя в битву, он шептал ваше имя и благословлял вас...»

Слезы опять закапали на письмо, да крупные, крупные, словно пули. «Ах, бедный! Господи!» (Это опять скобки.)

«Он говорил, что если его убьют, то он умрет с вашим именем на устах, и если есть загробная жизнь, то с этим же дорогим именем он переступит за порог вечности...»

«О, Боже мой! Боже мой! Стою ли я этого!.. И имя такое у меня нехорошее — Ирина, Ириша, точно у горничной».

«В начале сражения мы держались вместе, стремя к стремени. Битва была жаркая, злая. Нам несколько раз приходилось бросаться в атаку, но все-таки сломить французов мы не могли. Под конец части войск окончательно смешались и я потерял Истомина из виду. К вечеру сражение было проиграно нами. Я плакал как ребенок, когда увидал, что Багратион, под которым убили коня, а сабля его разлетелась вдребезги о штык французского гренадера, Багратион, видя бегущих солдат своих и решившись скорее умереть, чем видеть бегство русских, скрестив на груди руки, пошел прямо под пули, и только силою солдаты могли увести его от верной смерти. Тогда я бросился искать Истомина. Никто ни из офицеров, ни из солдат не могли сказать мне ничего верного о нем. Некоторые видели его в первых рядах сражавшихся, но потом он как в воду канул. Только на другой день я узнал о нем, но то, что передали мне, было неутешительно. В самом пылу битвы Истомин и другой офицер, Панин, увлекаемые безумной отвагой, бросились в самые ряды отступавшего на одном пункте неприятеля, желая отбить знамя, потерянное одним из наших полков. Удальцы были отрезаны. Панин, спасшийся чудом...»

— Да, это мне говорили, — грустно шептала девушка, — Панина спас этот молоденький мальчик Дуров, а моего бедненького Костю некому было спасти.

«...Панин, спасшийся чудом, рассказал мне, что когда их окружили, то он видел, как Истомин, который был уже почти у самого знамени, упал с лошади и был подхвачен французами, а за ним тотчас же пала и лошадь его. Панин полагал, что Истомин пал замертво и больше не вставал. Его же самого спас ребенок-герой, некто Дуров, это какое-то необыкновенное существо, о котором у нас рассказывают невероятные вещи. Но для вас, я полагаю, более интересно знать, что сталось с Константином. И посему я продолжаю мое повествование. Получив такие нерадостные вести о моем и вашем друге и помня его последнюю волю, я тотчас же хотел было писать вам. Но что я мог сказать вам? И не разбил ли бы я ваше сердце и, может быть, жизнь, сказав, что он погиб, что кончил он, как герой? Для вас это не было бы утехою. Я сказал себе, что всегда успею поразить ваше сердце страшною вестью, так не лучше ли повременить убивать вас?»

— Добрый!.. А милый!.. только у *него* и может быть *такой* друг. (Это опять в скобках.)

«И я благодарю Бога, что не написал вам сгоряча — я бы убил вас, а теперь я могу сообщить вам радостную вес-

точку. Вчера явился к нам один улан, чудом спасшийся из плена. Он бежал из Фридланда, где французы устроили госпитали как для своих раненых, так и для наших. Улан этот, эскадронный дядька того самого Дурова-мальчика, что спас Панина, рассказал нам, что он лежал в одном госпитале, в Фридланде, с нашим Константином, что Константин ранен пулею в правую руку, но не опасно, хотя и тяжко, и руку не потерял, хотя до сих пор не владеет ею...»

Девушке чувствуется, что эта рана у нее в сердце, так остро, остро заныло оно, что она готова вскрикнуть от боли.

«Что с ним было дальше, он не помнит, но когда пришел в себя, рассказывает улан, то увидал, что спасением своей жизни он обязан образочку, висевшему у него на груди, а в этом образочке, говорит улан, положены у него чьи-то волосы, русенькие такие, с краснецой, должно полагать, материнское благословение, по мнению улана. Вам, сударыня, лучше знать, чьи это «русенькие, с краснецой волосы...»

Девушка вся вспыхнула... «Это мои волосы...»

«Медальон, в котором Константин хранил на груди ваш локон (перед сражением он, как я упомянул выше, исповедывался мне, равно и я ему), улан принял за образок. Этот медальон и спас его. Когда его раздевали, то за сорочкой нашли сплюснутую в мятную лепешку пулю: она расплющилась о медальон и причинила ему только контузию, но не убила его. Итак, спасением своей жизни мой друг обязан вашим прекрасным волосам, сударыня...»

Девушка страстно прижала к губам полуобрезанную прядь своей косы и долго смотрела на нее... «Да, русенькая, с краснецой... как смешно... Вот и верь поверьям...»

«Теперь он поправляется и, вероятно, в скором времени, по окончании размена пленных, мы обнимем нашего воскресшего друга. Вот все, что я могу сообщить вам, сударыня, и считаю это за счастье для себя».

Девушка опять подняла глаза к небу и тут только заметила, что около нее стоит нищенка, а со стороны с удивлением смотрят на нее ребятишки и привратник почтового двора.

Сунув в руку нищей какую-то монетку, она быстро пошла домой, чувствуя, что как будто вся Москва повеселела, а у нее в сердце — душистая сирень, его шепот ласковый и милые буквы на стволе старой березы. «Русенькая с краснецой... материнское благословение... нет, это мое благословение...»

Всю дорогу она держала руку приложенною к лифу, за который она засунула письмо, и ей казалось, что письмо это ласкает ее, шепчет слова, от которых она трепетала там, за кустом сирени...

— Та-та-та! Ты где это пропадал, Ириней блаженный?

Таким восклицанием встретил ее дядя, Мерзляков, бакалавр и профессор, который уже успел после обедни разоблачиться и, шурша и шмыгая туфлями около письменного стола, что-то искал между бумагами.

— Где пропадал, разбойник иринейский? — ворчал он ласково.

— Да я, дядя милый, с вами же была в Архангельском, а вы ушли с кем-то раньше и забыли обо мне, — отвечала девушка, красная как рак.

— Какова злодейка... забыл! Да знаешь ли ты, воробей иринейский, с кем я ушел?

— Не знаю, дядя.

— А! Скажите пожалуйста! Она не знает графа Ростопчина, вельможу и сочинителя, Силу Андреича Богатырева... А! Сверчок ты иринейский!

— Так это он, дядя?

— Он, Ириней ты этакий Иринеич! А что ж ты, Емелька ты эдакий Пугачев, делал до сих пор в церкви, Наполеон ты этакий!

— Службу, дядя, слушала.

— Службу, слышь! Ах ты, Бонапарт Иринеич, а мы не службу слушали?

— Я благодарственный молебен слушала, дядя.

— Скажите! Благодарственный молебен! А за что это благодарить-то, Ириней ты Бонапартыч?

— За мир, дядя.

— Хорош мир! Нечего сказать!

И, расставив руки, бакалавр полуласково, полусердито смотрел ей в глаза.

— А! Скажите пожалуйста! А ведь рожица в самом деле пресчастливая и глазенки превеселые! Точно она Наполеона победила... Ах, молодость, молодость! Сколько-то в вас глупости — непочатой край глупости и непочатой край счастья...

И бакалавр, грустно поникнув головой, задумался... А у молодости действительно оказался непочатой угол счастья... Мерзляков понял это, и ему стало грустно: как поэт и мечтатель, он боялся, что у него этот угол заполнился уже жизненным опытом и всяким ненужным мусором, который

обыкновенно сваливается на задний двор нашей жизни, хотя творцу знаменитой канты «Среди долины ровныя» было в это время не более тридцати лет.

— Так благодарственный молебен, говоришь... «яко раби недостойнии», — бормотал он задумчиво.

— Да, дядя милый.

— Ах, Ириней, Ириней ты мой маленький, — ласково шептал он, тихо гладя голову девушки.

А она припала губами к сухой руке его и расплакалась.

XV

В это время в комнату вошла баба, сильно изъеденная оспой, и молча подала Мерзлякову записку.

— От кого это?

— От Хомутовых... Яшка принес.

Баба говорила сурово, нетерпеливо двигая локтями.

— Ты что, Мавра, мрачная такая? — спрашивает Мерзляков.

Баба молчит, но еще энергичнее двигает локтями, не смея, по-видимому, взглянуть в лицо барышне, которая, видя мрачное расположение бабы, как нарочно улыбается.

— Что, верно, пирог не удался? — допрашивает бакалавр. — А? Не удался?

— Да у вас разве что удастся! — гневно отрезала баба.

— Что так? Чем я виноват в твоем пироге? А?

Опять молчит баба.

— Ну, говори, чем я помешал твоему пирогу?

— Чем! А все у вас воняет! И пирогом воняет, и кухней воняет, и луком воняет... Ну!

— Ну, что ж, пирог тут при чем?

— А при том! И платок, Мавра, подай, и туфли сыщи — ну...

— Ну?

— Ну и подгорел...

Барышня не удержалась, так и покатилась со смеху. Рассмеялся и Мерзляков.

— Ну, Мавруша, так я лакея себе найму, чтоб не отвлекать тебя от кухни, — сказал он, улыбаясь.

— Ни в жисть не хочу лакея! — протестовала баба. — Коли на вас не угожу, так отпустите меня.

— Да Бог с тобой!

— Не хочу лакея! Охальники они все.

— Да полно, Мавруша, дядя шутит, — ласково заговорила барышня. — А вы, дядя, читайте, не держите ее. Ступай, Мавруша, пускай лакей подождет.

Мавра ушла, сердито хлопнув дверью. Мерзляков развернул записку и, увидав почерк, покраснел как-то неловко. Девушка заметила это, но не показала виду.

— Это от моей ученицы... от Хомутовой барышни, — пробормотал он точно школьник, краснея еще более.

«А, плутишка дядька! — подумала про себя девушка. — Верно, там что-нибудь есть, а каким философом притворяется!»

Бакалавр наконец овладел собой и снова весело зашагал по кабинету.

— Ну, Ириней Иринеич, сегодня я в большом свете, — сказал он, держа в руках записку и как бы любуясь ею. — Кучу, брат Ириней.

— У кого, дядя? У Хомутовых?

— Да, у сенатора Хомутова... Вон моя ученица пишет, что она сегодня не будет со мной учиться, но не от лени: с вами, пишет разбойница, с вами, говорит, я готова день и ночь учиться, а сегодня, говорит, у нас будут гости — Ростопчин граф, князь Иван Михайлович Долгорукой, Глинка Сергей Николаевич, Козлов — ну, этот повеса всегда у них торчит...

— Это все сочинители, дядя? — спросила девушка.

— Сочинители, а то и вельможи. Да еще, говорит, мы вам покажем редкость невиданную — героиню...

— Какую, дядя, героиню?

— А и Бог ее ведает, не пишет моя вострухa... Да и еще, говорит, одного господина, который приехал прямо с войны и Наполеона видал нос к носу...

— Ну уж, Наполеон! Злодей он! — вспыхнула девушка, вспомнив, что по милости Наполеона разбито ее счастье и страдает дорогое ей существо.

На крыльце послышался чей-то разговор и старческий голос проговорил:

— Милости просим, матушка, отдохнешь и пообедаешь с нами.

— Это бабушка с кем-то, — проговорила в свою очередь девушка, прислушиваясь. — С кем это она?

— Да с кем же больше быть маменьке, как не с святыми людьми? — отвечал Мерзляков, улыбаясь. Надо полагать, поймали еще какую-нибудь юродивую или странницу, которая и плетет им мрежи словесные — врет не запинаясь, а маменька век готова этакое все слушать.

Действительно, в комнату вошла старушка, седенькая, благообразная, с детским, добродушным выражением сморщенного лица при совершенно белых волосах. Это была мать Мерзлякова, до сих пор смотревшая на него как на маленького и называвшая его не иначе как Алешенька. За ней выступала чумазая, загорелая, краснощекая, с умильными глазами, набожно смотревшими из-под черного платка, баба-странница. Вздернутый кверху нос, приподнятые брови и осунувшиеся углы губ как будто силились показать, что жирное лицо это постоянно пребывает в молитвенном умилении.

— Ну, Алешенька, мой друг, вот Бог послал нам богомолицу и молитвенницу нашу. Святой человек, я тебе скажу, Алешенька, — и-и-и святой! — затараторила старушка.

Баба мотнула спиной и головой, желая изобразить глубокий поклон хозяину, после того как она мотнулась таким же образом перед висевшею в переднем углу иконою.

— Святой, святой жизни человек!

— Грешная я, матушка, сор и прах я перед святыми людьми, — скромничала баба.

— Уж и рад же ты будешь, Алешенька, что я привела ее, знаю, рад-радешенек будешь послушать ее, да и ты, Аришенька, — лепетала старушка, усаживая свою гостью. — Ох, устала я.

— Да вы сами-то, бабушка, садитесь, вздохните хотя, — уговаривала старушку Ириша, целуя ее руки.

— А то чаю, маменька, не выкушаете ли? — предлагал бакалавр, осматривая странницу. — У обедни были?

— У обедни, Алешенька... Ух, как дьякон забирал евангелие, я тебе скажу, — так забирал высоко, что я думала окна полопаются... Ах, матушки мои! Как ударит, как ударит! А певчи-то за ним — как подхватят, да как понесут в гору, под самое, кажись, небо хватают... Да и дьячок Парфен с апостолом дал себя знать, аж в животе у меня точно что оборвалось, как он дернул под конец... Славная служба была, Алешенька, тебе бы понравилось... А ты чтой-то не был у обеденки?

— Я, маменька, был с Аришей в Архангельском.

— Бонапарта, поди, поминали тоже?

— Читали, маменька.

— А! Пес-от безбожный! Замирился-таки... Да его бы как Стеньку Разина да Гришку Отрепкина с Ивашкой Мазепкой на всех соборах проанафемить, злодея... А! Бунт затеял против белого царя, измену учинил... Это другой Емелька Пугачев, что царем назвался.

— И хуже того, матушка, сказывают, — вставила свое слово странница. — Верные люди сказывают, нечистый он, вантихрист — от него следов, матушка, не бывает...

— Следов не бывает?

— Не бывает: это по снегу ли идет он, по песце ли — нету от него следов, матушка.

— Бесследный! Ах, Боже мой, Боже мой!

— И тени от ево, матушка, нету.

— И тени нету?

— Нет, потому дух нечистый, пар, одним словом: какая от ево, от духа, тень быть может?

Странница начинала и бакалавра уж заинтересовывать: такой невообразимой чепухи он ни от кого еще не слыхивал. Он уселся у стола, на который Ириша поставила чайный прибор и в ожидании самовара слушала интересную посетительницу, и тоже слушал.

— И еще третья, матушка, в ем, в Бонапартие, примета есть, — продолжала странница, видимо, польщенная тем, что ее все слушали, — ево, матушка, в зеркале не видать.

— Как в зеркале не видать?

— Не видать да и на-поди... Глядит он это в зеркало ли, в колодец ли, в реку ли — нету ево образа там, не видать ничево...

— Ничево! Скажите!

— Ровнехонько ничево, потому тоже дух видь он единый, пар — ну, и не видать духа-то в зеркале... Оттого его, матушка, и пуля не берет.

— Ах он окаянный!

— Не берет, потому дух... Вдарит, это, ево пуля — и наскрозь, вдарит — и наскрозь, потому — пустое место, аки бы дыры в воздухе.

Вошла Мавра с самоваром, все такая же угрюмая, как ночь: тут Бог гостей посылает, странничков, там пирог пригорел — срам!

— Здравствуй, Мавруша! — ласково обратилась к ней старушка.

— Здравствуйте, матушка барыня.

— Послушай-ка, Мавруша, какие чудобушки рассказывает святой человек, такие чудобушки, волос дыбом становится!

— Недосуг мне, матушка барыня, слушать-то, и лба-то толком перекрестить не успею...

И Мавра бурей вышла из комнаты, возбудив улыбку бакалавра и веселый смех Ириши: у них на уме было несчастье с пирогом.

— Да ты, матушка, сними с себя котомку-то, — снова заговорила старушка к своей гостье, — помеха она тебе большая.

— Нету, матушка, от нее мне никакой помехи, потому святые вещии в ней все, святые вещии, матушка.

— Святые? Ах, Господи! — И старушка перекрестилась. — Что же у тебя тамотка, матушка, есть?

— Всякие святые вещии, родная моя: и водица ерданская, в которой водице сам Христос крещение примал; есть и камушек мал от того места, на коем месте ножки святого Ивана Предтечи стояли, как он, батюшка, Спасителя кстил, ерданскою святою водицей обливал. Есть, матушка, и листочек сухонькой от той смоковницы неплодной, что кою смоковницу Христос, батюшка, проклял... Так-то теперь цветет она, так-то цветет! Сама, грешная, своими грешными глазыньками видела...

Мерзляков молчал и только улыбался, но Ириша не выдержала и вся вспыхнула.

— Как же она цветет теперь, вы говорите, когда ее Христос проклял и она тогда же засохла? — сказала она, гремя чашками и торопясь наливать чай.

— Усохла, барышенька-красавица, точно усохла, а теперь цветет: когда Спаситель воскрес, то и велел своим ученикам полить ту смоковницу ерданскою водою — коли я-де воскрес, пущай и она воскреснет, я всех-де приходил спасти и ее спасу. Так она с той поры и цветет, матушка-барышенька, — невозмутимо отвечала странница, с умилением глядя в потолок, к мысленному небу.

— Что, Ириней, срезали тебя? — шутя заметил бакалавр.

— Где тебе, Аришенька, с нею тягаться, — заметила внушительно бабушка, — она, поди, и отца Савву загоняет святостию-то да всем божеским. А что, матушка, — обратилась она робко и просительно к страннице, — можно посмотреть водицу-то эту иорданскую, да камушек тот, да листочек сухонькой? А?

— Можно, родимая, коли с верою...

— С верою, с верою, уж это как Господь видит.

Странница сняла котомку и стала в ней рыться, набожно бормоча: «Господи Исусе, Господи Исусе, открой очи наши грешные, открой слепоту нашу»... Порывшись немного, она вынула бумажку и развернула ее; в бумажке оказался небольшой огарочек желтой восковой свечечки.

— Это, матушка, свечечка от самого гробика Господня, у самого гробика теплилась... А это нагарец на фителечке на эфтом — это, матушка, от небесного огня.

— От небесного! Ах, Господи!

— От небесного... Сама видела, как с неба сходил... Таково страшно! Стоим это мы, матушка моя, у заутрени, у гроба Господня, в ночь-то на Светлое Воскресенье, стоим это, слушаем службу божественскую... Коли, мать моя, как запоют, словно бы анделы на небесах, «Христос воскресе», как запоют — смотрим, а с неба-то с самого, через кумпол это, огоньки-огоньки-огоньки, словно бабочки, — и летят, и летят с неба язычками да так к свечечкам-то, к фитилькам, к светильням самым и прилепились. И востеплились свечечки! У меня, матушка, от такого от чуда чудного ажно под коленками задрожало.

— Еще бы! А! Свечечка-то какая святая! Ах ты Господи! Вот сподобил! Ну а водицу-то иорданскую покажь, матушка.

Баба опять роется и вынимает пузырек, тоже завернутый в бумажке и заткнутый воском.

— Вот, матушка, и водица ерданская. Сама набирала, целый туезок набрала да раздала добрым людям.

— А! Водица-то какая! Как слеза...

— Чище, маменька, чем в Мытищах? — с улыбкою спросил бакалавр.

— Чище, Алешенька, чище.

— Чиста, уж и так чиста, что и сказать нельзя... Мы, матушка, страннички, купались в Ердань-реке, так такая, матушка, чистая вода, что наскрость человека в ей видно... Стоишь в воде — как стекло: скрость тебя все видно...

— Как сквозь Наполеона? — не без лукавства ввернула словцо Ириша, улыбаясь дяде.

— Точно, барышня, точно как скрозь Наполеона... потому — святая вода чудо творит. И в той во ерданской воде утонуть нельзя — не примает грешного тела, и на-поди.

Между тем священные разговоры не мешали страннице попивать грешный чаек. Чашечку за чашечкой она пропускала тепленькое питие в свою окаянную утробу, и пот градом лил с ее благочестивого, заплывшего грешным жирком лица. Ириша все подливала ей и бабушке, все подливала. Странница пила, звонко откусывая маленькие кусочки сахару и отряхивая их бережно в блюдечко, пила вприкусу, и после каждой чашки кланялась и благодарила хозяев, а недогрызенный кусочек клала на донышко чашки, опрокинутой на блюдечко.

— Много довольны вашим угощением, кажись бы и многонько этого будет, — говорилось после каждой чашки. —

«Странного напои, нищего накорми, нагого одень, слепенького проводи», — глаголет Господь.

— А листочек, матушка, от смоковницы-то? — не отставала любопытная старушка. — Покажь, родимая.

Вынимался и листочек, может быть, и это всего вероятнее, сорванный не с смоковницы, а на Тверском бульваре.

— Господи! Господи! А какой листочек-то... словно от вишенки, — бормотала неугомонная старушка.

— Так, так, кормилица... А поди, ему сколько тысяч лет будет! — поясняет странница.

— А много разве?

— Много. С того годика с самого цветет, как Христос, батюшка, воскрес.

— И листочки не опадают?

— Не опадают, матушка... потому — святое дерево, да и зимы там нету.

— Как же? — опять не утерпела Ириша. — Ведь в тысячу восемьсот семь лет уж давно бы все листочки богомольцы оборвали с этой бедной смоковницы — сколько их там бывает!

— Точно, оборвали бы, матушка-барышня, да оно, я говорю, святое-то древо, чудесное: ты с ево это, примером, срываешь листочек-от, а во место ево — тут же, матушка, новенький вырастает, так вот на глазыньках у тебя пупырушек этакой зелененькой и лезеть-лезет, да листочком-то перед тобою и разверзится — таково чудесно!

— Что, Ириней, опять срезался? — лукаво заметил дядя. — Тут с критикой не суйся — сразу оборвут фактом.

— Оборвут, Алешенька, это точно, что оборвут, — подтверждает старушка. — А ты, Аришенька, не суйся туда, где не понимаешь, твое дело детское, молоденькое.

— Что, Ириней? А? Наскочила с критикой?

— Ах, дядя! Ну уш-ш! — и Ириша надула губки.

Тем временем Мавра, грозною тучей врываясь из кухни в столовую, собрала обедать, убравши предварительно чайные принадлежности. Обедали Мерзляковы по старине, очень рано, вскоре после обеден. За столом пили квас, который так искусно умела готовить на все дотошная Мавра, не любившая лакеев. Барин был немножко капризен, постоянно жаловался, что воняет то кухней, то чадом, то луком, то Мавриными руками, но на это всегда получал соответственные, весьма резонные возражения от матери.

— Мавриными руками воняет, а что ж ты, целовал, что ли, Маврины-то руки, Алешенька?

— Фуй, маменька! Так слышно, что воняют луком.

— Это, друг мой, все от носу — такой нехороший нос у тебя.

— Точно, матушка, от носу, — подтверждает странница. — Вот тоже и у мощей святых угодничков — иной нос-от слышит райское благоухание, а иной — нету, ни за что не услышит, потому — все от Бога, кому как положено... Вот я, грешная, всегда слышу... Тоже вот и насчет видениев этих: иному дает Господь эти самые видения видеть, а иному не дает.

— Так ты, матушка, и видения видела? — снова заинтересовалась старушка.

— Видала, матушка, видала — сподобил Господь.

— А что ж ты видала, мать моя?

— Разное, матушка, — все разное.

— И ангелов видела?

— Нету, матушка, анделов не привел Господь видеть, не сподобил, а херувимов видала.

— Какие же они, матушка?

— Так махоньки, словно робяточки малы... Только у их и всего-то естества — головка да крылышки, а больше ничего нетути.

— Ни ножек, ни ручек?

— Ни ножек, ни ручек, только крылышки; крылышками это бесплотными помавают и гласы херувимски испущают...

— Ну, матушка, еще пирожка скушай.

— Довольно, кажись, матушка, будет — оченно сыты.

— Нету, скушай, родная.

— Спасибо, спасибо... Не сквернит во уста...

— Ну, Мавра, пирог на славу удался, — одобрительно кивает Мавре бакалавр, — хоть бы и Наполеону.

— Тьфу-тьфу-тьфу! С нами кресная сила! — зачурала Мавра. — Чур ево, окаянного.

— И совсем не подгорел, Мавруша, так только, немножко подрумянился, — успокаивала ее барышня.

— А все-таки кухней воняет, — дразнил бакалавр.

— Ну, батюшка барин, Лексей Федорыч, отпустите вы меня, не слуга я вам, не угожу на вас ничем — это не жизнь, а каторга! — заголосила огорченная Мавра.

— Полно, полно, Мавруша! Он шутит, — успокаивала ее старушка. — Ах, Алешенька! Как тебе не стыдно, да еще при гостях!

После обеда бакалавр, поцеловав руку у матери, удалился в свой кабинет. Старушка и странница отправились в

спальню, чтобы отдохнуть маленько — о божественском поговорить, а Ириша вышла в сад, находившийся при домике, в котором жил Мерзляков. В этом-то саду, обнесенном высоким деревянным забором, находились и акации, и сирень, и аллея, и береза с буквами на стволе — одним словом, все, что напоминало девушке прошлогодние вечера, и особенно один душный, незабвенный вечер, когда... Ну, да об этом Ирише лучше знать, чем нам... Но в саду она оставалась недолго, тревожимая какими-то мыслями, и воротилась назад. Так как кабинет дяди не был закрыт, то она и прошла туда. Мерзляков сидел у письменного стола и, по-видимому, мечтал над полученной от Хомутовых запиской. Девушка, заметив это, улыбнулась. «У, дядька гадкий, — подумала она, — и у него письмецо, и у меня — ишь тихоня!»

— Я вам, дядя милый, не помешала? Вы читаете?

— А! Это ты, Ириней... Я вот читаю... смотрю, в котором часу у Хомутовых надо быть, — заговорил бакалавр торопливо, пряча записку.

— А вот я никогда не видала вашу ученицу, дядя, Хомутову... Молоденькая она?

— Лет двадцати или с малюсеньким хвостом, вот как твой нос.

— А хорошенькая она, дядя?

— Вот тебе на! Уж и ты стала разбирать хорошеньких... барышень или мужчин?

Ириша покраснела.

— Нет, дядечка, я так, из любопытства.

— То-то, плутовка, Ириней эдакой Бонапартыч!.. А не хочешь ли почитать вот новую книжку — недавно вышла, книжка хорошая... И знаешь кто сочинитель?

— Не знаю, дядя. Кто?

— Такая вот как ты, барышня.

— Это Поспелова, дядя? «Муза речки Клязьмы», как ее назвал князь Долгорукий?

— Нет, да ведь Поспелова, ты знаешь, умерла больше года тому назад.

— Как же, знаю. Еще мы с вами и на могилу к ней ходили. Помните ее эпитафию — такая чувствительная:

«Любовь и дружество, рыдая в сих местах,
Поспеловой сокрыли прах».

— Помню. А это недавно вышла, «Неопытная муза» — Буниной.

— Буниной, дядя, я не знаю.

— Ну, мы ее с тобой, если хочешь, и начнем теперь же.

— Ах, как я рада, дядечка... Только сегодня у меня голова болит...

— Ну, в другой раз... А хорошо, сильно пишет... О ней уж вон как говорит поэт:

«Я вижу Бунину — и Сафо наших дней
Я вижу в ней».

— Да у нас уж много этих Саф было, дядя... Еще, помните, тот, Тургенев, веселый такой, что приезжал из Петербурга, дразнил вас этими Сафами. Российские Сафы — как смешно!

— Тургенев — это друг Карамзина и Сперанского... А тебе, глупый Ириней, все смешно.

— Да, конечно, дядя, смешно, — «российские Сафы», «российские Платоны, «российские Невтоны»... «российские Наполеоны» еще будут.

— Ну, этому не бывать, Ириней.

— А что, дядечка, пленных скоро будут менять? — вдруг оборвала Ириша.

— Вот тебе раз! Каких пленных?.. Ты кого пленила?

— Ну уж, дядя, с вами и говорить-то нельзя! — обиделась барышня.

— Ну, не сердись, Ириней... Что это тебе за охота пришла о пленных вспомнить?

— Да так, дядечка, о Наполеоне заговорили, ну и вспомнила... Вон в церкви как рыдала одна молоденькая барыня. Должно быть, у нее кого-нибудь или убили, или в плен взяли — так жалко было ее, так жалко! И многие плакали на панихиде, и я плакала, оттого и голова разболелась у меня.

— Ну так ступай в сад — и пройдет. А Мавре скажи — ишь как гремит посудой, точно Наполеон, — скажи, дружочек, Мавре, чтоб принесла мне квасу, да холодного, со льду... Я тут поваляюсь и почитаю...

— Хорошо, дядечка, сейчас.

— А маменька все о божественном, поди, с этой выжигой разглагольствует?

— Да, они теперь о каком-то «беспятом бесе» говорят... Ну, прощайте, дядя, я пришлю Маврушу.

И Ириша, нагнувшись к бакалавру, поцеловала его сзади в плечо, а он, обхватив ее за шею, притянул к себе и поцеловал в лоб.

— Ну, смотри у меня, чтоб голова не болела...

— Не будет, дядечка. — И девушка весело упорхнула.

XVI

Оставшись один и выпив залпом принесенного кухаркой со льду игривого квасу, Мерзляков взял со стола небольшую, напечатанную на довольно грубой синеватой бумаге «Неопытную музу» и, улегшись на диване, который служил ему и постелью, стал читать.

Мерзлякову около тридцати лет, но лицо у него такого покроя, что показывает его значительно старее этого возраста. Гладко выбритое, сухощавое, с тонким, хотя приятным и как будто несколько плаксивым разрезом губ, с высокими навесами над глазами, которые как бы искали уединения в тени бровей и выглядывали оттуда всегда задумчиво, — лицо это выдавало мечтателя и меланхолика, с смелою мыслью и робким, нежным сердцем. Прическа, сообразно вкусу того времени, направляла вьющиеся от природы, мелкие каштановые, как у Ириши, волосы более к стороне лица, чем затылка, и потому голова казалась нечесаною, как голова Байрона. В то время у всех головы казались нечесаными, если не были напудрены.

По временам Мерзляков, закрыв глаза, повторял наизусть какое-нибудь двустишие или четверостишие, как бы смакуя; иногда бормотал одобрительно: «С огоньком, с огоньком девица»; то книга опускалась вместе с рукою на диван, и глаза смотрели куда-то вдаль, через эту стену, принимая выражение не то тоски, не то надежды.

«Анюта... Анюточка... Пленира моя... хоть бы раз в жизни назвать тебя в глаза этим именем, Пленира моя, Анюточка... День и ночь, говорит, готова со мной учиться... только учиться... Нет, высоко ее ножки стоят над моею головой, не досягнуть мне до них... Что я? Бакалавр, профессор из деревенских мальчишек!..»

И видится ему гладкая, пустынная степь — это жизнь его. «Ни кустика зеленого, ни деревца высокого. Один-один бедняжечка, как рекрут на часах. Да это ж моя любимая песня — «Среди долины ровныя...» Этот дуб зеленый — я сам. А Москва этого не знает, хоть и поет мою песню».

А за стеной, в спальне старушки-матери, слышится: «И как пришли мы, матушка, к Арарат-горе, а на той Арарат-горе ковчег стоит; и видим мы, идет к нам навстречу старичок седенький, идет и Евангелие читает, а позади ево идет бес и горько плачет...»

Ириша между тем, ничего не узнав от дяди о размене пленных, снова пробралась в сад, зашла в самое тенистое ме-

сто, вынула из-за лифа письмо, гладенько его расправила на коленях и стала медленно перечитывать. «*Он* жив и поправляется...» Жив! Как страшно звучит это слово, потому что до него стояло — «убит», «умер...» Костя мой! Милый!.. «В виду весьма возможной смерти, — ух! ужасно, ужасно! — сообщили друг другу последнюю волю... Идя в битву, он шептал ваше имя и благословлял вас... он умрет с вашим именем на устах... с этим дорогим именем переступит за порог вечности...»

«Гм... дорогое имя... А как он называет меня — Ириша или Ариша, или Ириночка? Не знаю... А может быть — Ириней, как дядя?»

И девушка сама рассмеялась над этой мыслью... «Ириней... нет, лучше Ириночка... Истомин упал с лошади... пал замертво... Нет, нет! Костя жив — Панин ошибся... А кто этот ребенок-герой, этот Дуров? Бедный мальчик! Герой... А вот таких девочек не бывает...»

«Спасением своей жизни он обязан образочку... а в образочке чьи-то волосы, русенькие такие, с краснецой... Русенькие с краснецой — смешно...» И Ириша, отделив от головы прядь волос, стала их рассматривать. «Русенькие... а у него черные, как вороново крыло, и брови колесом... а глаза!.. Господи! Когда же размен пленных! А если он не выздоровеет? Если б он не был опасно болен, он бы сам написал...» За минуту перед тем розовое лицо побледнело, слезы дрожали на ресницах. Девушка упала на колени и что-то жарко шептала — конечно, молитву, точно Богу только и дела, что слушать влюбленных. Встав с колен, девушка пошла за сиреневые кусты к березе и долго рассматривала вырезанные на ней буквы. Потом снова припала на колени и в порыве умилительной глупости поцеловала землю, «где стояли его ноги». Бедная барышня не знала, что она целовала следы ног не его, а Маврины следы: не далее как сегодня Мавра, срывая сиреневые ветки для выгребания золы из печки, останавливалась около этой самой березы и, увидев буквы на дереве, решила, что это «заворожено недобрым человеком», и трижды отчуралась от недоброго слова и трижды отплевалась на землю. А эту землю теперь целовали губы девушки, губы, до которых еще ни разу не касались губы взрослого мужчины, кроме дяди Алеши. Так-то всегда бывает с влюбленными.

— Эх ты, мужик необразованный! Музлан — так музлан и есть!.. Антихрист! Какой он антихрист?!

— Вестимо, антихрист, так люди говорят и в писании писано.

— Писано! Мелом в трубе писано!

Ириша прислушивается — голоса знакомые. «Да это Яков, лакей Хомутовых, с лавочником спорит... О чем это они? Кажется, тоже о Наполеоне».

— Как там ни писано, а писано... Умные люди сказывают, — настаивает лавочник.

— Умные люди! Что ты, умных людей с огурцами что ли на рынке купил? — осаживает его Яшка.

— А кто ж он по-вашему, по-лакейскому? Скажи.

— Он выдра — вот кто.

— Какая выдра?

— Ну, выдра — одно слово, и понимай как знаешь.

— Выдра — зверь, дело знамое.

— Знамое, да не совсем... А господа вот что читали в книжках: у них, у французов, была такая царица, Ривалюцыей звали. Ну, и царствовала она у них долго, и царица она, сказывают, была прежестокая: всем господам головы поснимала, как вон у нас был Емелька Пугачев, а которые господа ушли от казни, и те теперь живут у нас, под защитой, значит, нашего государя.

— Ну, а при чем же тут Наполеон-от? — возражает лавочник, видя, что собравшиеся около его лавки слушатели держат, кажется, больше сторону Яшки, чем его.

— А ты слушай, не перебивай! — авторитетно осаживает его Яшка. — Ну, так, значит, была у них эдаким манером царица Ривалюцыя, а у нее, значит, был сын, да не простой, а выдра стоголовая.

— Как выдра стоголовая?

— Так — выдра, значит, а у этой у самой выдры сто голов.

Слушатели даже ахнули и ближе сдвинулись к Яшке.

— Так эту выдру и называли, значит, исчадие Ривалюцыи, то есть по нашему, по-русски, — чадо, сын, значит. А как эта стоголовая выдра выросла, она возьми и задуши свою родную мать — Ривалюцыю...

— Ах она подлая! — послышался возглас бабы.

— А ты не лайся, дай слушать, — осаживали бабу.

— Что ж, подлая и ест! Родную мать задушить! — стояла на своем баба.

Только теперь начинала догадываться Ириша, в чем дело. Яшка, наслушавшись у господ толков о революции, о том, что во Франции долго «царствовала революция», понял все это буквально и вообразил, что у французов действительно была «царица Ривалюцыя» и что была она прежестокая ца-

рица, рубившая головы господам. Наполеон — «исчадие революции». Ясно, с Яшкиной точки зрения, что у «царицы Ривалюцыи» был сын, а как революцию и самого Наполеона, «задавившего революцию», называли господа «гидрой стоголовой», то понятно, что у Яшки «гидра» превратилась в «выдру».

— Ну, так задушимши таким манером мать свою, он, Наполеон, и пошел войной на нашего государя, значит, по злобе: зачем-де он укрыл у себя тех господ из французов, что бежали к нам от жестокости его матери и теперича у нас в Расеи проживают — кто гувернером, кто гувернанкой, а кто на скрипке играет, али волосы завивает, как, к примеру, вот тот француз Како: он нашу барышню завивает да когти у нашей обезьяны обрезывает, — продолжал ораторствовать Яшка. — Так вот кто Наполеон, а то — антихрист! Антихрист после придет, при конце света, когда все звезды с неба упадут, а теперь вон их еще видимо-невидимо — в кои годы одна упадет, да и то плевая, махонькая...

Лавочник был окончательно поражен. Яшка торжествовал.

— Так ты говоришь, милый человек, у ево сто голов? — робко спрашивала баба.

— Сто, тетка.

— А как же на Кузнецком я видела в окне образину сво — там об одной голове.

— Врет, глаза отводит.

— Вот и стражайся с им, коли у его, у проклятого, сто голов, — рассуждала баба.

— Так что ж, что сто! — выступил лавочник, желая восстановить свой авторитет, который Яшка сильно поколебал. — А у нас, знаешь, супротив ево ста голов что найдется?

— А что, родимый?

— Царской орел — вот что!

— А какой это, батюшка, царской орел?

— Али не видала? Ево везде пишут.

— Не видала, родимый.

— А об двух головах, матка.

— Видала, видала... Вон какой... Ишь ты...

— Этот, матка, постоит за себя. — И лавочник внушительно окинул глазами слушателей.

— А рази он живой? — недоумевающе вопрошала баба.

— А то как бы ты думала! Зачем бы ево тады и писать, коли б ево не было? Я служил в Питере в дворниках, так это дело подлинно знаю: солдат сказывал, что во дворце на

карауле стоял. Этот самый орел, говорит, завсягды блюдет и царя, и Расею — при ем царю и часовых не нужно. Орел этот самый, первое дело, никады не спит.

— Не спит? Как же это, милый человек?

— А сказано тебе по-русски: у ево две головы; коли, это, одна голова спит, тады другая не спит: стережет, значит, блюдет царя и Расею.

— Так, так... А живет он где, родимый?

— Знамо, во дворце, и кормют ево енаралы с царского стола.

— А летает он по Питеру?

— Что ты! Как можно! Он над престолом сидеть должон, — начал снова удерживать свою позицию Яшка. — А ты видал, как ево пишут?

— Видал... Ну так что ж?

— А как же ему сидеть, коли у ево ноги заняты: в одной ноге он держит ядро золотое с крестом, а в другой — архирейский жезл... Как же ему, значит, сидеть?

Но в это время послышался вдали женский голос: «Яша! Яков Ильич! Идите к барышне, беспременно требует...» И Яков Ильич должен был прекратить ученый и политический диспут, столь заинтересовавший Иришу. Долго потом она бродила по тенистому садику, переживая впечатления сегодняшнего утра, которые связывались с воспоминаниями впечатлений более глубоких, — когда она в первый раз испытывала то, что оставило неизгладимый след в ее жизни.

Когда затем в садик вышел сам бакалавр, держа в руках «Неопытную музу», Ириша встретила его весело и рассказала о невольно подслушанном диспуте Хомутовского Яшки с лавочником. Добродушный бакалавр очень смеялся остроумным толкованиям первого насчет «царицы Ривалюцыи» и задушившего ее сына, «стоглавой выдры» и патриотической находчивости последнего относительно двуглавого орла. Но Ириша опять заметила, что упоминание Хомутовых всякий раз приводило в какое-то смущение дядю, и она женским чутьем угадала, что не она одна скрывает нечто за своим лифом и целует землю, но что этим делом занимаются и ученые мужи, философы и бакалавры. Сев с племянницей на скамейку, под тень сирени, Мерзляков стал читать ей «Неопытную музу» и объяснять красоты поэзии в том или другом стихотворении. Все это были, согласно характеру того времени, большею частью слащавые сентиментальничания, вроде «вздохов сердца», «стенаний при гробе друга» или «капища сердечных воспоминаний», «цветы на могилах», «погребенные сердца» и тому

подобные чувствительности. Как они ни кажутся для нас детски наивными и смешными, но в свое время над ними разливались слезами чувствительные сердца, и эти слезы были искренни, как и те, какие извлекали из глаз читательниц «Бедная Лиза» или «Страдания Вертера», ибо человеческие общества чувствуют, любят и страдают всегда эпидемически. Не будь этого эпидемического увлечения, фанатизации духа и порывов человеческих обществ, человечество не создало бы ничего великого. «Стенания сердца» Буниной заставляли усиленнее биться или сжиматься болью сердца Ириши и ее ученого дяди бакалавра: у каждого было или свое «капище сердца», или «аллея вздохов», или «павильон стенаний». Декламируя с пафосом «стенания сердца», Мерзляков мысленно относил их к своей Пленире, по-видимому, жестокосердой Анютушке, а для Ириши «аллея вздохов» и «павильон стенаний» были налицо, в этом же саду, около старой, меченой любовными буквами березы.

У Ириши растрепались волосы, и тут только дядя заметил, что у нее один локон обрезан.

— Кто это у тебя обрезал косу, Ириней? — спросил он не без удивления.

Девушка смешалась, раскраснелась до корней волос и не знала, что отвечать.

— А, мудрец Иринейский, кто обкарнал тебя? — приставал дядя.

— Я, дядечка, нечаянно обрезала, — бормотала смущенная девочка.

— Как нечаянно? Это все равно, что нечаянно обрить себя — надо, чтоб была бритва...

— Да я, дядя милый, нечаянно обожгла косу, а потом и обрезала ее.

И, говоря это, Ириша расплакалась, да так неудержимо плакала, что дядя начал ласкать и утешать ее, говоря, что пошутил, что все это вздор, что коса вырастет. Девушка продолжала рыдать, закрывшись руками, а слезы так и брызгали сквозь пальцы.

— Вот глупенькая девочка, — ласкал ее дядя, — это от чувствительного чтения... ты взволновалась поэзиею... Это все «Неопытная муза», что делает честь юной сочинительнице... Полно же, дружок!

Девушка вырвалась и убежала в свою комнату. Там, упав на колени перед образом, она продолжала всхлипывать и тихонько причитать: «Господи! Я никогда не лгала, никого не обманывала, а сегодня три раза солгала дяде... О, какая

гадкая, грешная!.. О благодарственном молебне не сказала, не сказала, что получила письмо, была на почте... Об обмене раненых солгала, а теперь о косе... Боже мой! прости меня!.. Прости меня, дядя дорогой... Если б я тебе сказала о молебне, тогда и все надо было бы сказать: и о *нем*, и о сирени, и о березе, и что руки целовал *он* мне... Нет, никогда! Никогда!.. Да и сам дядя сегодня неправду сказал о письме от Хомутовых, и у него есть тайна... Ах, Господи! Как же это? Кто любит, тот уж имеет тайну — скрывает, лжет... Ах, Боже мой! Да ведь этого же всем говорить нельзя — стыдно, нельзя, нельзя! Разве можно, чтоб кто-нибудь видел, как *он* мне руки целовал и что шептал мне! Нет, нельзя... Это не грех... это не ложь... Ведь и Бог не открывает нам тайн природы, многих тайн, и это — тайна... любовь — тайна».

И девушка успокоилась на этих размышлениях. Между тем приближался вечер. К предстоящему у Хомутовых раут Мерзляков оделся особенно тщательно и щеголевато, прибегнув даже относительно прически к искусству парикмахера мосье Коко, который, впрочем, не сам занялся головой ученого мужа: по недосугу и по причине более серьезных занятий самого мосье Коко, к голове ученого мужа был командирован «мальшик Петрушка», который и исполнил свое дело, как уверял мосье Коко, très bien. Сам мосье Коко в разговорах с ученым профессором иначе не отзывался о себе как «nous les artistes et les savants». С Мерзляковым, профессором пиитики и риторики, он, профессор от волос, считал себя человеком одной профессии: «Nous les artistes et les savants» или «mon ami profesesur de Merslakoff» — эти фразы постоянно сыпались из его уст, когда он брил или пудрил сенатора Хомутова и убирал хорошенькую головку его дочери Анеты, «mademoiselle la gènerale».

Мерзляков облекся в новенький горохового цвета фрак с золотыми пуговицами, на свои тонкие, сухие икры натянул шелковые чулки, которые придавали ему вид робкого, неудачного акробата в трико; большие башмаки с блестящими стальными пряжками делали его похожим на волохатого голубя, а пышными манжетами он напоминал маркиза, но только с семинарскими манерами. Родственник Хомутовых, поэт Козлов, впоследствии знаменитый «слепец-поэт», большой шутник и повеса, за глаза не иначе называл бакалавра как «marquis de Merslakoff», за что на него очень сердилась его кузина Аннет Хомутова, и все-таки очень много смеялась.

Ириша улыбалась, глядя на принарядившегося дядю и догадываясь, что там у него с Хомутовыми что-то не ладно и что шлем и латы Минервы не всегда защищают сердца и головы ученых мужей от тонких стрел «плута Купидо». «Ох уж этот плут Купидушка, — думалось ей, — не пощадил и моего дядечку... То-то, плутишка дядя, а надо мной как бы стал трунить!»

Дом Хомутовых был не очень далеко от домика, занимаемого Мерзляковым, и потому бакалавр отправился к ним пешком. Дорогой, под влиянием чтения «Неопытной музы» и вследствие личного меланхолического настроения, он чувствовал себя как-то нерадостно, одиноко, вдали от этой шумной, пустой, но для влюбленного — обаятельной жизни, в сферу которой он теперь входил чужим, только как профессор и сочинитель, и в душу его неотвязно просился монотонный, плачущий напев — «Среди долины ровныя, на гладкой высоте»... У него на сердце давно накипело признание, а рассудок шептал слова сомнения, разочарования, гордого и холодного отказа. «Прощай — и был таков!.. Хоть она и добра как ангел, но и недосягаема, как ангел на небесах... А этот свищ — Козлов как вьюн вьется: «кузина» да «кузина», а сам, знаю, на цыганок, на Матреш да на Параш, тратит и сердце свое, и поэтический жар. А она, чистая, ничего этого не понимает».

Богатый подъезд барского дома отрезвил мечтательного бакалавра. Он бодро, развязно, хотя и с напускной семинарской развязностью и с робостью сомнения в сердце, вступил в обширную переднюю, где вдоль стен, на оконниках сидело несколько лакеев, и сдал на руки Яшке свою трость и плащ. Все лакеи дома Хомутовых его знали и довольно фамильярно, хотя искренно приветствовали его.

— Так во Франции царствовала царица Революция? — с улыбкой обратился он к Яшке.

Яшка был захвачен врасплох и оторопел, но быстро оправился.

— Царица Ривалюцыя-с, сударь, — отвечал он улыбаясь.

— А у нее сын — стоглавая выдра?

— Точно так-с, сударь, — выдра-с.

Пройдя через пустую залу и войдя в гостиную, из которой дверь вела на террасу и в сад, Мерзляков, не встретив никого и в гостиной, вышел прямо на террасу. Было еще рано, гости не собрались, и Мерзляков, знакомый с привычками обитателей дома, в который он вступил, знал, что на террасе он кого-нибудь найдет. Действительно, едва он

показался в дверях, как навстречу ему поспешила молодая девушка, среднего роста, стройная, подвижная, хорошо развитая физически и, по-видимому, очень живого характера. Лицо ее, необыкновенно белое, как это часто бывает у красноволосых, и немножко веснушчатое, выражало смелость, резкость которой очень сглаживалась большими серыми исчерна глазами, смотревшими необыкновенно добро и ласково. Красноватые волосы напоминали следы в этом молодом существе англосаксонской крови. Да и в самом деле, предки девушки были Гамильтоны, выехавшие из Англии и под давлением лубочной, неподатливой, слишком резкой фонетики русского человека превратившиеся сначала в Гаментовых, потом Мамонтовых и потом, по закону изгнания из русской фонетики ринезмов, носовых звуков, по закону, обратившему носовой *юс* в простое *у*, ставшие Хомутовыми, каковыми остаются и доселе.

— Здравствуйте, Алексей Федорович, — приветливо сказала девушка, протягивая гостю руку, которую бакалавр поцеловал с ловкостью почти маркиза и с развязностью робеющего семинариста. — Позвольте вас представить моему другу, Софье Андреевне Давыдовой... Алексей Федорович Мерзляков — профессор... профессор университета вообще и мой в особенности.

— Очень приятно...

— Очень рад...

Профессор должен был говорить банальные фразы, но они, эти фразы, — велики и могучи, как обычай, на котором держатся царства, мир, вселенная... Не будь этих «очень приятно», «очень рад», как будь у Клеопатры нос подлиннее, а у Цезаря не будь плеши на голове — может быть, мир бы иной был.

Давыдова была круглощекая и круглоглазая брюнеточка с сильно развитым бюстом. При первом взгляде на нее сейчас составлялось само собой представление о ее какой-то, если можно так выразиться, нравственной юркости: казалось сразу, что это привлекательное существо никак не уловишь, не схватишь, не удержишь, — а хотелось бы, так и тянет...

— А с этим повесой вас нечего знакомить, — прибавила хозяйка, указывая на тонкого, стройного молодого человека в очках.

Это был поэт Козлов, подававший большие надежды, но, как выражались его друзья, неумеренно прожигавший и жизнь свою, и свой талант.

— Может быть, милая кузина, вы потому называете меня повесой, что я от вашей холодности нос повесил, — сказал Козлов с неподдельным комизмом.

— Иногда вы сто́ите, чтобы вас самого повесили, — смеясь сказала кузина.

— На шею хорошенькой барышне?

— Нет, на осину...

— Господи! И такие ужасные слова говорит это нежное существо! — трагически восклицает Козлов, подходя к кузине и глядя на ее раскрасневшиеся щеки. — Взгляните вы на себя в зеркало и увидите, что у вас:

Суть на щечках ямки две, да и те отве́рсты,
Плут Купидо в них сидит, нежно сло́жа пе́рсты...

Обе барышни засмеялись. Улыбнулся и Мерзляков, хотя эти «отверсты ямки» на щеках его ученицы часто заставляли путаться его красноречивый язык и вместо «синекдохи» сводить урок на «тропы» или «иперболы».

— Это вы сочинили? — смеясь спросила хозяйка.

— Я, кузина, — вам в альбом.

На дворе у подъезда послышался стук экипажа, затем другого, в передней засуетились лакеи — знак, что гости начали съезжаться, а из внутренних покоев вышел сам почтенный хозяин дома, сенатор и кавалер Григорий Аполлонович Хомутов.

Хомутов был уже не молод, высок, полон, с красноватым, гладко выбритым лицом, двойным подбородком и в огромном напудренном парике, в создание которого мосье Коко положил все свое искусство и свою душу, «как артист и ученый». Хотя таким образом мосье Коко и старался окончательно обезличить и лицо, и голову Хомутова, как он своим шевелюрным искусством обезличивал всех своих клиентов, однако можно было догадаться, что, кроме красноватости лица, Хомутов отличался и красноватостью волос, изобличавшею в нем отдаленное родство с королем Лиром по мужескому колену и с леди Макбет по женской линии.

— Король Лир, король Лир вышел, — шептал Козлов, делая шутовскую гримасу.

— А вы кто же? — лукаво спросила его девушка, улыбаясь Мерзлякову, с которым они недавно читали «Короля Лира» во французском переводе.

— Я? Я — шут, прекрасная Корделия, — отвечал находчивый поэт. — Я свое место знаю.

XVII

Дом Хомутовых был очень богат и обширен по поместительности и считался одним из гостеприимных и хлебосольных домов в Москве. Хомутов, кроме высокого положения в свете, имел репутацию человека просвещенного, который, как тогда принято было выражаться сентиментально-аллегорически, не только был жрецом храма Фемиды, заседая в сенате и наблюдая за законным равновесием Фемидиной стрелки, но имел сношения и с музами, а служители Аполлона, его нареченного патрона, принимались Хомутовым с меценатственною любезностью. В его доме не одни козырные тузы, короли и дамы занимали внимание гостей не танцующих, но и Горации, Пиндары, Омиры с их отечественными преемниками — Державиным, Мерзляковым, Херасковым и иными. Вот и теперь в числе почетных гостей, титулованных старичков и старушек, в числе знати именной, кровной, столбовой и служебной попадаются фигуры сочинителей, или, по тогдашнему, авторов, не украшенных никакими знаками отличия, но отличаемых хозяином дома даже перед знатью, несмотря на негромкость их фамилий; это — Подшиваловы, Мерзляковы и им подобные.

В числе гостей последнего, то есть сочинительского сорта, особенно выдается литературная знаменитость дня, герой литературного сезона, вмещающий в себе и столбовую знатность, и литературную — это граф Ростопчин, прославившийся под именем Силы Богатырева. Чопорно одетый и напудренный, с энергически очерченными надбровными линиями и широкими ноздрями, полумаркиз и полубоярин, он стоит около хозяина и, указывая на Мерзлякова, разговаривающего с дочерью хозяина, своею ученицею, объясняет свою литературную с ним пикировку сегодня в соборе.

— Простой русский человек, Сила Богатырев, заставил прикусить язычок ученого профессора, — сказал он не без довольства.

— А как вы думаете, почтеннейший Сила Андреич, наш мир с Наполеоном и особливо, как слышно, впечатление, какое произвел на государя императора при свидании этот Бонапарт, не отразятся на судьбе достойного ветерана? — спросил любезно хозяин, ловко впадая в литературный тон.

— Думаю, что не миновать маленькой опалы ни графу Ростопчину, ни его другу Силе Богатыреву.

— Это очень жаль, поистине жаль, граф. А чем это может выразиться?

— Боюсь, как бы «Мысли» Богатырева не исчезли из обращения.

— Но это невозможно, граф! Они теперь стали мыслями всей матушки России.

— А через несколько лет, уверяю ваше превосходительство, они станут мыслями и нашего обожаемого монарха, — с жаром сказал Ростопчин.

— Вы думаете, граф?

— Я убежден в этом. Корсиканца разлакомили дешевые победы, и он, рано ли, поздно ли, захочет шеломом Дону испити и... захлебнется. И тогда-то государь оценить Силу Богатырева, ибо его устами говорит весь русский народ.

— Дай-то Бог.

Мерзляков в это время, стоя около своей ученицы, допрашивал ее о том, кто такая эта таинственная «героиня», о которой она упомянула в записке к нему и которую Хомутовы ждут на вечер.

— Это женщина, имя которой прогремело по всей Европе, — уклончиво отвечала девушка.

— Молодая?

— О летах женщин не спрашивают, знайте это, мой ментор.

— Виноват, мой... Телемак...

Мерзляков хотел, как видно, сказать какой-то любезный эпитет, но не посмел, заикнулся и покраснел, как школьник.

— Может быть, это госпожа Сталь? — спросил он, несколько оправившись.

— Нет, не угадали.

— Русская? Нет, не может быть! В России, кроме Марфы-посадницы, не было героинь... Кто же она, скажите, пожалуйста.

— Женщина, подобной которой еще не было в России.

— Вы шутите...

В это время Хомутов быстро, почти бегом поспешил к входной двери и через несколько секунд вошел в залу, почтительно сопровождая ветхую, согнувшуюся старушку, от которой веяло чем-то отжившим, историческим, скорее — археологически-могильным. На голове у старушки — что-то вроде колпака, из-под которого виднеются жидкие пряди седых, пожелтевших от времени волос, которые видишь, кажется, не на живом человеческом лице, а на сухом, желтом костяке мертвеца. Губы у старушки не держатся, а как-то странно шевелятся, словно жуют одна другую или силятся удержать язык, который вот-вот вывалится из беззубого рта.

Ноги ее не идут, не ступают, а словно как и язык мнутся и шамкают по полу. Все на ней старомодно — отжитое, забытое. Это бредет прошлый век, давно похороненный. На сухой груди у старушки блестит и искрится огнями бриллиантовая звезда.

— Вот она — героиня, великая женщина, — тихо сказала Хомутова.

Мерзляков пришел в недоумение. Ему казалось, что над ним шутят.

— Что вы, Анна Григорьевна! Помилуйте!

— Я не шучу...

— Кто же она? Из могилы вышла?

— Это княгиня Дашкова, бывший президент Академии наук, друг Вольтера, Екатерины...

— А! Так вот она! Боже! Что делает время с великими людьми! — сказал Мерзляков с неподдельной грустью. — О, жестокое время! И это — красавица Дашкова!

К старушке быстро подошел граф Ростопчин и почтительно поцеловал дрожащую сухую руку.

— Имею честь целовать руку, которая... — начал он было.

— Которая только дрожит, — прошамкала старушка с какою-то горькою усмешкою.

— Нет, которая, ваше сиятельство, заставляла усиленно биться старое сердце такого великого поклонника вашего, как фернейский пустынник.

— О, вы точно этот льстец говорите, граф... Да и он, Вольтер, давно уж умер... никому уж больше не льстит...

И старушка закашлялась так беспомощно, что у Хомутовой, которая приветствовала ее, навернулись слезы.

— Здравствуй, милая Анета... ты все хорошеешь, — обратилась к ней старушка.

— Благодарю вас, княгиня, — сказала девушка застенчиво.

— Благодари, мой друг, природу и молодость.

Потом, оглядев ее с головы до ног, старушка как-то безнадежно, бессильно махнула рукой.

— Не переживай, мой друг, своей красоты, как мы пережили свою славу, — сказала она с горечью.

— О, нет, нет, княгиня! Вы не пережили вашей славы! — горячо заговорила девушка. — Ваша слава так ярка...

— Да, может быть — в прошлом веке... Теперь нас забыли, совсем забыли, — говорила старушка, поникнув головой. — Тогда на устах всей Европы были другие имена —

Вольтер, Руссо, Екатерина Великая, Фридрих Великий, Потемкин, Суворов и... жалкая ныне старушка княгиня Дашкова. А теперь у всех на устах один Наполеон...

— Да Сила Богатырев, ваше сиятельство, — подсказал Козлов, тоже прикладываясь к историческим мощам.

— А это ты, повеса, верно сказал: Наполеон и... Сила Богатырев.

И историческая женщина опять беспомощно закашлялась, выставляя то тому, то другому свою сухую дрожащую руку для прикладывания.

— Но мы надеемся, ваше сиятельство, в скором времени насладиться чтением ваших личных признаний и воспоминаний из вашей славной и богатой событиями жизни, — заискивающе сказал Хомутов.

— Нет, не надейтесь, любезный генерал, — резко отрезала старушка.

— Почему же так, княгиня?

— А потому, что я сама не буду читать их в печати — в гробу не читают.

— А разве вы намерены, подобно Руссо, познакомить нас с вашею прекрасною душою только после вашей смерти?

— А хоть бы и так.

— О, так я желаю никогда лучше не читать ваших признаний...

— Любезно, любезно, граф... хоть бы и не Силе Богатыреву...

И старушка разом впала в забытье.

А подвижная фигура Козлова уже вертелась среди молодежи, рассыпая на все стороны остроты и вызывая дружный, хотя прилично сдержанный смех.

— Вы замечаете у старой мумии прошлого века румянец на исторических ланитах? — говорил он, показывая на княгиню Дашкову, голова которой тряслась от волнения.

— Да, это старческий румянец, — отвечала Хомутова.

— Нет, кузина, это не румянец, а кровь.

— Как кровь? Что вы говорите глупости?

— Не глупости, милая кузина, а кровь, и притом кровь свиная, кровь невинных свиней...

— Перестаньте же говорить вздор!

— Не вздор, кузина, а историческую правду. Если б здесь был Карамзин, он бы подтвердил мои слова архивными актами... Да что нам далеко ходить! У меня архивные акты в кармане.

И он вынул из кармана записную книжку.

— Вот документ... я привез его из Петербурга. Он ходит там по рукам.

— Что это? — спросил Мерзляков, как ученый интересующийся всем писаным и печатным.

— А вот что, почтеннейший Алексей Федорыч. Это — извлечение из «дела» софийского нижнего земского суда «о зарублении на даче ее сиятельства, двора ее императорского величества штатс-дамы, Академии наук директора, императорской Российской академии президента и кавалера, княгини Екатерины Романовны Дашковой, принадлежавших его высокопревосходительству, ее императорского величества обершенку, сенатору, действительному камергеру и кавалеру Александру Александровичу Нарышкину голландских борова и свиньи...»

— Помилуйте! Это вы сочинили, — смеялся Мерзляков.

— Нет, честное слово — не сочинил. Эту выписку сделали в Петербурге из управы благочиния, — оправдывался Козлов.

— Когда же это было? — спросила Хомутова.

— Да когда, кузина, вы еще не родились — в 1788 году.

— О, тогда мне было уж четыре года...

— Не может быть — вам нет двадцати лет! — воскликнул было Мерзляков и опять смешался, покраснел.

— Ну, чем же дело кончилось? — спросила Хомутова, с грустью взглянув на старушку, о которой шла речь.

— Вот чем-с, кузина, извольте прослушать. «Из оного дела явствует, — продолжал читать Козлов, — ее сиятельство княгиня Екатерина Романовна Дашкова зашедших на дачу ее, принадлежавших его высокопревосходительству Александру Александровичу Нарышкину двух свиней, усмотренных якоб на потраве, приказала людям своим, загнав в конюшню, убить, которые и убиты были топорами; и за те убитые свиньи взыскать с ее сиятельства княгини Екатерины Романовны Дашковой против учиненной оценки 80 рублей, и по взыскании отдать его высокопревосходительства Александра Александровича Нарышкина поверенному служителю с распискою. А что принадлежит до показаний садовников, якоб означенными свиньями на даче ее сиятельства потравлены посаженные в шести горшках разные цветы, стоющие шести рублей, то сия потрава не только в то время чрез посторонних людей не засвидетельствована, но и когда был для следствия на месте господин земский исправник Панаев, и по свидетельству его в саду и в ранжереях никакой потравы не оказалось. По отзыву ж ее сиятельства, учиненному гос-

подину исправнику, в бою свиней незнанием закона, и что впредь зашедших коров и свиней також убить прикажет и отошлет в гошпиталь, то в предупреждение и отвращение такового предприятого законам противного намерения, выписав приличные узаконения, благопристойным образом объявить ее сиятельству, дабы впредь в подобных случаях от управления собою изволила воздержаться и незнанием закона не отзывалась, в чем ее сиятельство обязать подпискою».

— Ах, бедная! Это все, конечно, Нарышкин устроил по злобе, — сказала Аннет, с жалостью глядя на старушку, которая, видимо, дремала.

— Да, ее многие не любили при дворе за ее гордость, а многие просто завидовали, — пояснил Мерзляков.

— Не любила ее сама императрица: ей было неприятно то, что в Европе говорили о Дашковой.

— Ну, мои дамы и мои господа! — французская речь изгнана ведь Силой Богатыревым, — итак, мои дамы и мои господа, вы пустились в скучную материю — в историю и политику, — остановил Мерзлякова и свою кузину вечно веселый и болтливый Козлов. — А мы лучше о свиньях — доведем о них речь до конца. Вы, кузина, восстали и вознегодовали на меня, когда я сказал, что у сей великой женщины, ныне старой карги — свиная кровь вместо румянца...

— И опять негодую! — шутя сказала девушка.

— Ну так вы необразованная женщина: вы не признаете истории...

— Только не такой, как ваша.

— А моя — это и есть настоящая история.

— Это правда, Анна Григорьевна: анекдот о свиной крови на щеках княгини Дашковой напечатан одним французом, — сказал Мерзляков серьезно. — Он говорит, что Нарышкин, после истории с его свиньями, увидав княгиню во дворце, громко сказал, обращаясь к другим придворным: «Смотрите! У нее на щеках кровь моих свиней...»

— Это ужасно! Бедная княгиня! Вот человеческая слава и величие!..

Мерзляков с глубокой любовью взглянул на девушку. Он все больше и больше убеждался, что под светским лоском, под этим блестящим наростом, который он теперь глубоко ненавидел своею кроткою душою, что под непроницаемым лифом великосветской барышни теплится светоч любви и нежности, и это приносило ему еще большие страдания. Ненавидя этот лоск, эту блестящую кору, он в глубине души плакал, зачем он лишен этой ненавистной коры, зачем воспитание да-

ло ему внешность и иглы дикобраза-семинариста, а не дало той пустоты, той противной бойкости, которая делала Козлова и ловким пусто-остроумным, и, по-видимому, глупо, мелко, но находчивым, приятным, а его, ученого, серьезного, глубоко, мучительно глубоко чувствующего, оставляли в тени, незамеченным, бесцветным, как будто и чувствовать не умеющим... Не ловок, не ловок и не ловок!.. А! Хоть бы черт побрал эту ученость, эти знания, эту солидность!.. Пустоты, легкости больше!

Бедный бакалавр! К сожалению, почти всегда бакалавры больше и глубже чувствуют, чем небакалавры, а получают меньше, чем эти хлыщи. Вот она как украдкой глянула на Козлова — холодной льдиной кто-то дотронулся до горячего сердца бакалавра.

— Вы, кажется, что-то грустны, Алексей Федорович? — не голосом, а теплом и светом входят в душу слова девушки.

— Я сам не знаю, Анна Григорьевна.

— Она, историческая старушка, вероятно, навела вас на грустные размышления?

— Нет... да...

Ох, не историческая старушка, а олицетворенная молодость и жизнь, не развалина, а ты — ты — ты! Бакалавр это страстно чувствовал, но робость сковывала ему язык.

— А! Вот и Дени, наконец, пожаловал, — сказала радостно приятельница Хомутовой, Софи Давыдова.

К ним подходил, словно из земли выросший, невысокого роста молодой человек в адъютантском мундире. Лицо это — с черными, блестящими мягкостью глазами, с какими-то мягкими, добрыми очертаниями губ и с курчавыми, спадающими на белый лоб волосами — нам уже знакомо. Мы видели его в Тильзите, в свите государя, выглядывавшим из-за спины Багратиона в нетерпеливом ожидании — когда же приедет Наполеон! Это — Денис Давыдов. Нагнувшись немножко вперед, как бы расталкивая невидимую толпу, он быстро подошел к Аннет Хомутовой и показал, вместе с какой-то неуловимой, не то робкой, не то насмешливой улыбкой, два ряда белых зубов.

При виде этих зубов Мерзлякову ни с того ни с сего пришло на мысль: «Зубы под добрыми губами, а должно быть кусаются...» И эти зубы, действительно, кусались больно.

— Что так поздно? — спросила Аннет.

— Любовь виновата, Анна Григорьевна, — отвечал он или, скорее, процедил сквозь белые зубы.

— Вы влюблены?

— Нет, я не о своей любви говорю: я должен был удовлетворить законному любопытству пятнадцати любящих бабушек, ста пятидесяти любящих маменек и тысячи пятисот любящих жен, сестриц, кузин, племянниц, свояченицы, приятельниц, невест и всяких иных барышень о том, живы ли и здоровы ли в армии внучки, сынки, мужья, братцы, кузены, дяди, деверья, приятели, женихи, просто вздыхатели и иные кавалеры, словно бы я так же знал наизусть всю армию, как Наполеон знает в лицо и поименно всю свою старую гвардию.

— Что ж тут трудного! — заметил, здороваясь с ним, как с старым знакомым, Козлов. — Вот я знаю в лицо всех московских барышень, а их больше, чем у Наполеона старой гвардии.

— Не знакомы? — и Аннет подвела Давыдова к Мерзлякову. — Денис Васильевич Давыдов, любимый адъютант Багратиона и рубака.

— Пока еще кроме капусты никого не зарубил, — перебил ее Давыдов.

— Алексей Федорович Мерзляков, профессор и мой Ментор.

— У которого Телемак совсем от рук отбился, — подсказал Козлов, комически подмигивая Давыдову.

— Какой Телемак? — спросила Аннет в то время, когда Мерзляков и Давыдов обменялись рукопожатиями и ходячими приветствиями.

— Телемак в юбке с робронами, — отвечал Козлов с ужимкою.

— О, неправда! Теперь роброны не носят, а Телемак очень внимателен к своему Ментору, — заметила Аннет. — Ну, что новенького? — обратилась она к Давыдову.

— Да я не знаю, что вам сказать... Кажется, земля опрокидывается...

— Как? Отчего?

— Да все от женщин...

— Что ж тут удивительного! — заметил Козлов. — Все говорили, что Наполеон поставит шар земной к себе на стол вместо глобуса и будет вертеть им, а я говорил, что нет, что Наполеону свернет шею женщина... Разве такая уж нашлась?

— Не знаю, такая ли, — отвечал Давыдов, посверкивая своими белыми зубами и черными глазами, — но что какая-то женщина наделала переполоху во всей армии — это несом-

ненно... Я ведь недавно из армии, из Тильзита, а сегодня я получил письмо от Сеславина, где он пишет, что у нас явилась новая Иоанна д'Арк...

— Да, пора бы, пора женщине явиться на помощь мужчине, а то у вас мужчины оказались что-то очень смирными, — откуда ни возьмись, заговорил Ростопчин, потрясая своим париком.

Давыдов не особенно дружелюбно блеснул на него глазами, но сдержался.

— Вы что разумеете, ваше сиятельство, под нашим смирением? — спросил он с холодным почтением.

— Я разумею, молодой человек, наш смиренный мир с Бонапартом.

— Такова, граф, воля государя... Мы же все, офицеры, да и солдаты, того мнения, что рано или поздно мы должны быть в гостях у Наполеона, а то иначе он сам пожалует к нам, чтобы шеломом Яузы испити...

— Треуголкой, — вставил Козлов.

— Мы этой треуголкой трубу заткнем в последней пекарне, — резко сказал Ростопчин. — А что вы изволили заговорить об Иоанне д'Арк? — любезно обратился он к Давыдову.

— Подозревают, ваше сиятельство, что у нас в армии находится молоденькая девушка из хорошей фамилии и, в качестве охотника, несет все трудности войны... Но кто она — этого никто не знает... Теперь о ней рассказывают невероятные вещи: она бросается в самую жаркую сечу спасать своих раненых — и таким чудом спасен офицер Панин, которому спасительница, как раненому, отдала и своего коня, а сама пошла пешком под градом пуль и картечи. Да и конь у нее удивительный: говорят, раз французы нечаянно напали на их отряд, когда отряд спешился и отдыхал, а кони паслись в стороне, охраняемые часовыми. Все побросались к коням, а она только крикнула своим детским голоском: «Алкид!» — это имя ее коня — и конь, заржав бешено, во весь опор примчался к ней.

— Да, правда, удивительная девушка, — сказал Ростопчин, — недаром я всегда верил в необычайные доблести русского народа.

— Ах! Да как же не могут узнать, кто она, как ее фамилия, откуда! — волновалась Аннет. — Ведь с кем-нибудь же она дружна, откровенна...

— Ни с кем... Есть у нее старый дядька, улан Пуд Пудыч, ворчун и резонер большой, который отзывается о ней,

как о дворянчике, у которого на губах материнское молоко не обсохло, а под сердитую руку называет ее щенком белогубым.

— А из офицеров она ни с кем не дружна?

— С Грековым немножко, с молодым донским офицером, но и этот ничего не знает, а только подозревает. Он говорит, что какой-то мальчик пристал к их полку, когда они шли с Урала, где-то за Казанью...

— Да это, вероятно, воскресшая татарская княжна Сююмбека, — заметил Козлов.

— О ком это вы так горячо рассказываете, молодые люди, что даже нам, старикам, завидно стало? — зашамкало вдруг что-то позади кружка, столпившегося вокруг Давыдова.

Все оглянулись. Перед ними, поддерживаемая хозяином дома, стояла согбенная старушка. Это подползла к ним княгиня Дашкова, с летами не утратившая любознательности и внутренней пытливости. Много думавшая на своем веку седая голова старушки дрожала. А когда-то эту, трясущуюся ныне старую голову, а тогда молоденькую, красивую головку, гладила, буквально гладила костлявая рука Вольтера, рука, гладившая весь мир против шерсти, рука, игравшая сердцем и совестью всей Европы как мячиком, рука, залившая одною чернильницей костры инквизиции. Эта костлявая рука гладила эту голову, которая так бессильно трясется теперь.

— Кто это, молодые государи мои, так интересует вас? — повторила она, опускаясь в кресло рядом с Софи Давыдовой.

— Господин Давыдов, ваше сиятельство, рассказывает о необыкновенной девушке, которая, прикрыв свой нежный пол одеждою воина, делала чудеса в последнюю кампанию, — нагибаясь к старушке, отвечал Ростопчин.

— А кто она такая? — любопытствовала старушка.

— Имени ее никто не знает, ваше сиятельство.

— Любопытно, любопытно... Это напоминает мне мою молодость... И я когда-то в гвардейском мундире скакала впереди блестящих войск... — Старушка закашлялась.

— Вообразите эту каргу старую в мундире... вот картина! — шептал Козлов на ухо Софи Давыдовой. — Да еще верхом на коне!

— Да, и обо мне когда-то говорили... вся Европа говорила, — продолжала старушка грустно, тихо качая и без того трясущеюся головой. — А теперь мой гробовщик уже дни считает, когда он увидит, как повезут на кладбище сделанный

им гроб, а в том гробу — вот это старое, покрытое пергаментом тело... А по этому пергаменту много писала рука времени!..

Все почтительно молчали, с грустью глядя на это изгрызанное временем жалкое существо.

— Зачем, княгиня, предаваться мрачным мыслям? Вы сделали бы нам большую, несказанно большую честь и доставили бы величайшее удовольствие, если бы вы припомнили то время, когда и вас Россия видела на коне, — сказал хозяин дома. — Воспоминание светлых дней вашей жизни оживит вас.

— О, мой друг! Nessun magior dolore... Знаете?

И старушка грустно махнула рукой. Все молчали, даже Козлов присмирел. Дашкова, опираясь на руку хозяина, приблизилась к дивану и тихо опустилась на него.

— Впрочем, государи мои, отчего не отвернуться на несколько минут от могилы, чтобы, сорвав несколько цветов воспоминаний, бросить их в оную, — сказала она раздумчиво.

— Сорвите, ваше сиятельство, сорвите, — настаивал хозяин.

— Ин будь по-вашему... вызову светлые призраки моего прошлого... отслужу по ним панихиды...

Все тихо заняли места около дивана и по сторонам. Дашкова, обведя собрание своими старческими, выцветшими от времени и горя глазами, начала свой рассказ.

XVIII

— Это было, государи мои, ровно сорок пять лет назад — полстолетия, почитай... Давно-давно было, тогда еще не родился этот Бонапарт, что ныне всем миром как ящиком с марионетками играет... Давно было, ох, давно, а кажется, точно вчера... Как время-то летит! Какие крылья-то у него широкие — широко машут, быстро несут мир от жизни к могиле... все, все к могиле несут крылья времени... Да, давно было... а будто вчера только... Будто я уснула вчера — и видела сон молодости, видела всю жизнь мою долгую, а сегодня опять проснулась старушкой... Да и была ли это жизнь в самом деле? Не сон ли это был, и сладкий, и горестный, а пробуждение — на краю могилы...

Старушка остановилась и грустно поникла головой. Все благоговейно молчали, так благоговейно, как только умеют молчать люди в присутствии смерти.

— Нет, не сон... Как теперь вижу я — сидим это мы, я да граф Никита Иванович Панин, обои молоды, а мечты-то, мечты-то, Господи! — так и обнимают крыльями вселенную, весь мир душат в горячих объятиях... Как теперь вижу эти старческие, теперь уже исторические лица — Дидерота и Вольтера... Ох, и их уже давно нет, и под их умными черепами осталось только по горсти — нету, государи мои, — где по горсти! — по щепоти могильного праха... Сидит это у меня Дидерот старик, слушает с нежностию отца мое молодое щебетание, и слезы умиления на глазах у старика... А я-то, Боже! — мир целый в его глазах обнимаю моими молодыми крыльями — крыльями мечты моей, вселенную согреваю в своих объятиях... А он только головой качает, да так-то любовно... «И я-то, — говорит, — княгиня, молодею с вами, и мои старые ноги, что стоят уже на краю могилы, за вами бредут»... А теперь уж и они не бродят... И Вольтерово злое лицо так вот и стоит передо мной — да злое ли, полно? Нет, не злое, не злое! Доброе это лицо, улыбающееся только так, что будто бы он всю вашу душу выисповедал и улыбается ее слабостям... А и его нет... одна я осталась, как забытая на земле... Да, забытая, забытая всеми...

Снова молчит и думает о чем-то. Губы шепчут беззвучно, словно жуют мысль. Говорит про себя:

— Запамятовала, запамятовала... Ах, жизнь, жизнь! Кто-то носится в воздухе, какой-то всемирный хищник, и выкрадывает у нас молодые грезы, молодые сны... выкрадывает из нас сердце, его теплоту и вместо жаркой крови вливает холодную... свет и блеск у глаз выкрадывает... волос по волосу выкрадывает, а не выкраденные подменяет белыми, мертвыми... и память выкрадывает... О, хищник, великий хищник!.. А на чем это я остановилась? — спрашивает, опомнившись и оглядываясь на слушателей.

— Вы о Вольтере говорили, княгиня, — подсказывает хозяин...

— Да, да... о Вольтере, точно... Стар уж он был, вот как я, — очень, очень стар и не выходил из своего халата: так и принимал меня в своем халате да в своих креслах — в «вольтеровских креслах», которые, кажется, бессмертнее и популярнее его бессмертных творений!.. Да-да, бессмертны кресла и мысли, а он — мертв, он сгнил... А то, бывало, придет к нему Губерт, «Птицелов» — так называли его: уж очень любил он соколиную охоту... Вольтер любил и боялся его... да, государи мои, боялся: это был единственный человек в мире, которого Вольтер побаивался... Да и разбойник же был этот

Губерт, скажу я вам: бывало, в одну минуту набросает карандашом такую злую карикатуру на Вольтера, что тот сразу присмиреет, лишь бы Губерт не пустил ее в свет. Любил с ним Вольтер, государи мои, в шахматы играть и всегда проигрывал... И Боже мой! Как же он злился при этом, какие делал гримасы, какие едкие стрелы сарказма бросал в своего победителя! А тот возьми да и научи свою собачонку делать совершенно такие же гримасы, какие делал Вольтер, когда проигрывал... Все узнают в этих гримасах гримасы великого человека и смеются... И я, государи мои, смеялась, потому — молоденькая была. А теперь вот я развалина, и над моими гримасами смеются, поди, молодые повесы, как я смеялась над Вольтером... А давно, ох, как давно это было!..

И снова эта давность как бы давит рассказчицу, гнет к земле, к могиле. Старая голова склоняется, руки непроизвольно шевелят пальцами. Глаза закрыты, глубоко, глубоко ушли уставшие глядеть глаза.

— Бай-бай, бабуся — вот так рассказ! — шепчет Козлов, нагибаясь к уху кузины.

— Перестаньте! Она не спит.

Действительно не спит. Глаза открываются и осмысленно смотрят на слушателей.

— Да, да, государи мои, Вольтеры в земле, их забывают, а по земле ходят вместо них какие-то Бонапарты, и земля дрожит под их ногами — чудное дело, — продолжала она говорит как бы сама с собою.

— Да Наполеон, княгиня, — родное чадо вашего Вольтера, — вмешался Ростопчин.

Княгиня встрепенулась. Подбородок ее, словно отпавший от верхней челюсти, вдруг подобрался, задрожал, и седая голова старушки ходенем заходила от правого плеча к левому.

— Кто тебе сказал, что этот капрал чадо Вольтера? — спросила она с особенным блеском в давно потухших глазах. — Кто? Сила Богатырев?

— Да, княгиня, пожалуй, и он...

— А ты прежде прочти Вольтера да тогда и говори, — продолжала сердиться старушка.

— Я читал...

— Читал, государь мой, да верно с указкой Силы Богатырева.

Ростопчин тоже начинал сердиться, но старался сдержать себя.

— Помилуйте, княгиня, — начал было он.

— Не помилую... за глупость не помилую... глупость — великое преступление... Это, государь мой, ты слышал, должно быть, от какого-нибудь политика из Охотного ряду.

— А хоть бы и из Охотного ряду, — настаивал Ростопчин, — там настоящий русский ум...

— А что ж по-твоему, государь мой, русский-то ум из другой материи сшит, чем нерусский?

— Да пожалуй, что так...

Старушка окончательно заволновалась. Обеспокоенный этим хозяин незаметно дал понять Ростопчину, что лучше было бы не сердить отживающий XVIII век, и сам вмешался в разговор.

— Признаюсь вам, княгиня моя почтеннейшая, — ласково заговорил он, — всем прискучили толки об этом белом бычке... То ли дело — славное старое время, которое стало уже историею. Вот если б вы вспомнили это время...

— Что уж! Умерла я, заживо умерла и похоронена...

— Да что об этом думать, княгиня! Успеем еще все туда явиться, — успокаивал ее хозяин.

— Да, мой друг, успеем — не опоздаем, никто не опоздает: один раньше, другой позже, а все там будем... Там никогда не поздно, дверь открыта для всех настежь, и для желающих, и для нежелающих...

— И для корсиканца, княгиня? — улыбнулся Ростопчин.

— И для него, государь мой.

— Скорей бы его туда! Как это его еще земля терпит?

— Да, терпит, — терпелива она...

— Напрасно!

— Напрасно-то, поди, и на самом деле, — соглашалась старушка. — А вон меня-то уж и земля не терпит, и настоящее не терпит.

Старушка остановилась и безнадежным жестом выразила, что она не желала бы ни вспоминать, ни говорить: что-то горькое прошло по ее памяти...

— Что жизнь, что слава, что радость молодого сердца! Сон, греза, призрак, обман... Да что! Молода я была тогда — верила, ох как много верила! — и она, положив руку на стол, задумалась.

Все время, как говорила старушка, то останавливаясь и, по-видимому, теряя нить воспоминаний, то слабо кашляя, Софи Давыдова глаз с нее не спускала. В глазах этих светилось и глубокое сочувствие, и горечь, и стыд, так что казалось — вот-вот она расплачется.

— Да, да, прав был Вольтер, ох как прав, — продолжала как бы про себя бормотать старушка, — чувство благодарности, память сделанного нам добра — это камень на сердце... да, камень, истинно камень, да какой еще горючий!.. Тяжеле неоплаченного долга это чувство благодарности: это вексель вечный, на какую угодно сумму, и сколько по нем ни плати, все долг останется непогашенным... Да, прав он был, прав, а я, молоденькая, не верила ему, — я верила в дружбу, в родство сердец и... осталась сиротою, горькою сиротою, словно безродная на земле... За дружбу мою, за жар сердца молодого мне платили — ох! я сразу поняла это, — мне платили деньгами, как по векселю сердца... В сердце вексель! Странно подумать, а оно так... да-да, истинно так... Печально мне стало, ох как печально!.. И я понесла мою печаль мыкать по свету, я побывала везде, где думала найти терновник острый, чтобы на иглах его лепесточками малыми растрепалась печаль моя... Так нет! Не растрепалась она, не размыкалась: куда я, туда и она со мной, как бы я ни веселилась, а на душе, в глубине где-то там, все болело и саднило... Все это вокруг меня ухаживает, отовсюду почтение да аттенция, эти ученые да философы, принцы да герцоги — все это трубит обо мне, у всех на языке мое имя, и льстит это молодой суетности моей... да, да, льстит, только льстит, а не утешает: в сердце-то, я чувствую это, паутина завелась, да такая цепкая, что ко всякому лепестку моего счастья, ко всякой моей радости так вот и липнет, так вот и тянется эта тонкая ниточка паутины... Да, паутина, кругом паутина... Да так эта ниточка цепкая и до гроба моего протянется...

Она опустила голову и закрыла глаза. Можно было подумать, что она спит, если б сухие, тонкие, втянутые беззубым ртом губы не шевелились.

— О, жестокое время! — невольно вырвалось у кого-то тихое восклицание.

Все оглянулись. Софи Давыдова, у которой, словно у маленького ребенка, собирающегося плакать, дрожали губы, стыдливо прятала лицо за спину своей приятельницы, Аннет Хомутовой.

— Да, мой дружок, день и ночь я живу прошлым, мертвым, и сама я живой мертвец стала... Ночью, чуть забудусь — я переношусь в прошлое, я живу с моими милыми, которых уж давно нет... А просыпаюсь — меня охватывает ужас сознания, что я во сне бредила счастьем... И так-то весь день: гляну на солнце — я не его вижу, а прошлое: так-то оно светило тогда, когда мы в Фернее бродили с

ним, с Вольтером, по его любимой аллее... А теперь и он умер, и солнце умерло... В каждом звуке жизни я слышу звуки прошлого, в каждом встречном лице я ищу следов тех лиц, которых уже нет... И небо не то, не мое, и птицы не те, и песни их иные... Так-то, государи мои... Человек изображает свое собственное кладбище: воспоминания его — это кресты над могилами усопших... А на моем-то кладбище сколько крестов — Боже, Боже! Словно на Ваганьковом кладбище.

Старуха поникла головой и замолчала. Никто не смел нарушить этого молчания. Послышались чьи-то сдержанные всхлипывания. Это плакала Софи Давыдова, уткнувшись носом в платок — только плечи вздрагивают.

— Что с тобой, голубушка моя, Соня дорогая? — нагибается к ней встревоженная Аннет...

— Ничего, ничего, милая... Мне... мне жаль княгиню... бедная, бедная она. — И девушка еще пуще заплакала.

К ней подошли Денис и Козлов.

— Софи! О чем ты?.. Что с ней? — спрашивает Денис.

— Не вынесла рассказа, бедненькая, — о княгине плачет.

— Ах, Софи! Как не стыдно...

— Как вам не стыдно останавливать эти святые слезы! — неожиданно вспылил Козлов. — Оставьте ее, мы с вами так не заплачем — у нас слезы будут грязные.

Все с удивлением посмотрели на Козлова, даже плачущая отняла платок от глаз и робко взглянула на него. Он был неузнаваем: бледное лицо вспыхнуло, губы дрожали...

— Оставьте ее! Не мешайте ей!.. — и нетерпеливо махнув рукой, он вышел из комнаты.

— Вот он всегда так — такой сумасшедший! Сам же дурачился, издевался над старушкой, а теперь на нас же накинулся, — объяснила огорченная Аннет.

— Ничего, милая, я уж не плачу, — успокаивала ее Софи.

— То-то не плачу... А он на нас же вспылит — зачем не плачет, зачем помешали плакать! Я уж его знаю... Теперь он, наверное, в саду безумствует, бегает и цветники портит.

Когда вслед затем Аннет, Софи и Мерзляков с Денисом вышли на террасу, то позади цветников, за кустом рябины, они услыхали голоса Козлова и Яшки.

— И тебе никогда не хотелось удавиться или утопиться? — сердито говорил первый голос.

— Помилуйте, барин, как же это можно! — нерешительно отвечал Яшка.

— Врешь, дурак! Разве тебе никогда не было скверно, так чтобы в петлю, значит?

— Как не бывать — бывало... А что поделаешь, барин, — жить надо.

— Да ты просто философ, черт побери! А ты вот что, Яша, поди да вынеси мне тихонько мой плащ, шляпу и трость. Я хочу улепетнуть.

— Так вам и позволили! — раздался вдруг голос Аннет.

Застигнутый врасплох, Козлов вышел из-за рябины. Яшка скромно удалился через калитку, бормоча про себя: «Вот чудной барин... завсегда такой... должно с жиру бесится, да не с чего: худ как щепка... а добрый барин...»

— Вы что, сударь, хандрить вздумали? — продолжала Аннет.

— Нет, кузина, так...

— Знаю, я вас — так!

— Да вот те Христос так! Лопни глаза-утроба! С места не сойти...

— Знаю, знаю... Чем вам хуже, тем вы больше дурачитесь.

— Да я, милая кузина, и не дурачусь... Я вот сочиняю оду московскому небу — Глинке обещал в «Русский Вестник», да Карамзин в «Вестник Европы» перебивает... Вот начало:

Небо белобрысое
В Москве оказалося,
Урания лысая
Намо-тка досталася,
Что с седою крысою —
С Нордом обвенчалася...

Гости засмеялись. Смеялась и Софи, хотя глаза ее были еще заплаканы.

— Чем хуже какой-нибудь державинской оды? И у него непременно Норд, и у меня Норд, только у него Норд «сиповатый», должно быть сам Борей, а у меня он «седой», ибо покрыт снегами. Да у меня и «лысая Урания» обретается.

— Только у вас «зефиров крылатых» нет да «нимф», — заметил Денис Давыдов.

— Что ж, и зефиры будут, и нимфы...

И Козлов, расставив ноги и уткнув в лоб указательный палец, торжественно продекламировал:

— Зефиры без штаников.
Но с вяземским пряником,
А нимфы без юбочек,
Но... но...

Вот, канальство, рифмы и не подберу... Алексей Федорыч! Профессор пиитики! Помогите, — обратился он к Мерзлякову.

— А ведь ваша шутка больше серьезна, чем вы ей придаете значения, — спокойно сказал Мерзляков. — Я вижу и предчувствую, что в русской поэзии должен скоро совершиться перелом и... крутой... По вашей шутке я сужу, что «норды», «зефиры», «нимфы» и вся эта греческая мифика в поэзии начинает возбуждать смех. Державин умирает, умирает и его поэзия с мификой... Вместо Державина на Руси должен народиться новый поэт — народный, без мифики...

— А с лаптями на ногах... Да такой уж народился.

— Кто же он?

— Да я, Козлов — к вашим услугам, господин профессор.

— Дай-то Бог.

— А скажите пожалуйста, — перебила его Аннет, — какое впечатление произвела на вас княгиня Дашкова?

Мерзляков, помолчав в каком-то нерешительном раздумье, отвечал с грустью:

— Признаюсь вам, Анна Григорьевна, если б я увидел теперь вот здесь, у меня под ногами, череп Цезаря — это зрелище едва ли бы произвело на меня впечатление более горькое, чем вид Дашковой и ее рассказ. Это череп Цезаря, которым играют дети... Вы, кажется, глубже всех нас прочувствовали это, — ласково обратился он к Софи.

— Да, я не могла слушать, — застенчиво отвечала девушка. — Я другое думала...

— Что же вы думали?

— Мое сердце обливалось кровью при мысли, что она сама не сознает, как жалка она, как отжила... Мне кажется — я об этом думала прежде совсем по другому поводу, — что люди не сознают своего падения или несчастия, и вид этого со стороны невыносим.

— Это глубокую мысль сказали вы, сударыня, глубокую, — повторил Мерзляков задумчиво. — Это так же справедливо, как и то, что мы сами не чувствуем нашего движения вместе с землею вокруг ее оси.

— Одни пьяные это чувствуют, — заметил философски Денис, которому в кругу боевых товарищей, и особливо в обществе закадычного друга Бурцева, не раз приходилось испытывать это вращательное движение с землею около ее оси.

Только Козлов, против своего обыкновения, стоял молчаливый, задумчивый и грустный, скорее как бы злой. По временам он взглядывал на Софи, и по лицу его пробегала какая-то добрая, смягчающая это лицо тень. Аннет видела это и почувствовала что-то на сердце нехорошее, точно ссадина какая-то, боль тупая.

Когда они воротились из саду, княгини Дашковой уже не было.

Часть вторая

I

На другой день Мерзляков проснулся поздно. Сон его был тревожен: то грезилась ему «Урания» в образе княгини Дашковой, то «Норд сиповатый» в виде графа Ростопчина, то Анюта Хомутова в подвенечном платье, а сам бакалавр — в роли жениха, только вместо свадебного пения доносилась откуда-то грустная мелодия его собственной песни — «Среди долины ровныя».

Проснулся он, впрочем, свежим и бодрым. Но едва успел умыться и облечься в халат, как Мавра сурово доложила, что в кухне дожидается его «Ярыжка, что называет себя Кузькою Цицерою».

— Говорит, беспременно повидать должен, большое, говорит, за им дело есть.

— Ну, пошли его сюда, — торопливо сказал Мерзляков.

Он знал, что Кузька Цицеро даром не придет. Это был действительно ярыжка, писец полиции, но когда-то он состоял наборщиком в типографии Дружеского типографического общества, основанного знаменитым Николаем Ивановичем Новиковым, издателем «Древней российской вивлиофики», а потом арендатором московской университетской типографии, университетской книжной лавки и «Московских Ведомостей». Когда в 1792 году Дружеское типографическое общество было закрыто, Кузьма Цицеро перестал быть наборщиком, а чтобы кормиться, поступил писцом в полицию. В полиции он стал пить, сделался положительно ярыжкой, но ни о Новикове, ни о его типографии не мог вспоминать без слез. В типографии этой судьба столкнула его с Мерзляковым, тогда еще четырнадцатилетним юношей, приносившим иногда от Новикова корректуры. Кузьма Цицеро был просто Кузька-наборщик, но товарищи прозвали его Кузькой Цицеро за то, что в начале своей наборщицкой деятельности он постоянно смешивал шрифт «цицеро» с «петитом» и больше любил набирать первым, чем последним. Оплакивая Новикова и его типографию, как свою первую по-

гибшую любовь, Кузька Цицеро старался хотя окольными путями служить «старцу Божию», как он называл Новикова, в память своей первой любви — «матушки типографушки», с закрытием которой он, с горя, и начал пить «забвения ради». Вследствие этого, когда по полиции возникала какая-нибудь переписка о мартинистах, к которым принадлежал Новиков, Кузька Цицеро, узнав об этом, тотчас спешил предуведомить о грозящей опасности или самого Новикова, или друзей его, и прежде всего забегал к Мерзлякову, которого знал лично.

Цицеро вошел в кабинет Мерзлякова и помолился на образ. Он был в старом, затасканном кафтанишке казенного покроя. Лицо было красновато, с припухшими щеками и мутными глазами, как это часто можно видеть у людей, придерживающихся рюмочки. Редкие, поседелые, но только местами, волосы казались какими-то пегими. Особенно пегою казалась голова с правой стороны, выше правого уха: это происходило оттого, что Цицеро всегда вытирал перо о свои волосы, о правый висок, и на седых волосах чернила были очень заметны. Рукава кафтана у Цицеро, от обшлагов до локтевых загибов, с нижней стороны были обшиты синей сахарной бумагой — с целью предохранить их от протирания при беспрестанном ерзание по столу во время канцелярского строчения. Лицо пришедшего выражало доброту, мягкость и полное безволие. Вся голова, и особенно лицо, казались сделанными из размякшего воску и подкрашены, скорее подпачканы. Видно было, что Цицеро уже выпил.

— Здравствуй, Кузьма, садись... Что хорошенького скажешь? — приветливо обратился к нему хозяин.

— Здравия желаем, батюшка Алексей Федорыч... Вы знаете, я ворон — все каркаю у вас, — отвечал Цицеро загадочно.

— Что же случилось?

— Да вот насчет Николая Ивановича. Выжига тут есть у нас в Москве, Сальватори зовут, так он на Николая Ивановича наябедничал, будто-де тот с французами в сношениях состоит... Ну, вот и начнется дело. А где он теперича обретается — в вотчине?

— В вотчине, в Авдотьине селе. А скоро будет дело?

— Да как напишут, да перепишут, да подпишут, да в исходящую запишут, да запечатают, да пошлют, да повезут, да привезут, да принесут, да запишут в дежурную, да подадут, да распечатают, да прочтут, да запишут во входящую, да опять принесут, да доложут, да резолюцию положут, да предписание напишут, да перепишут, да подпишут, да скрепят, да в исходящую запишут...

— Да будет тебе! — со смехом сказал Мерзляков. — Вот наладил.

— Да я дело, батюшка Алексей Федорыч, говорю: это дело канцелярское, вы его не знаете... Вот как сорок-сороков раз бумагу напишут, да скрепят, да подпишут, да опять напишут, да опять скрепят, да доложут, да передоложут, да заслушают, да прикажут — так вы, батюшка, и успеете в Авдотьине пообедать, а в Москве поужинать.

— Твоя правда, Кузьма, ты хороший, и умный человек, — сказал Мерзляков, пожимая руку своему бедному другу.

— Да, был и я когда-то человек! Поживи я у Николая Иваныча, поработай годок-другой, гляди, и метранпажем сделал бы, а то и фактором, да и жалование бы какое положил — княжеское! Вот какое жалование! Он миллионами ворочал... А что книг-то мы печатовали — горы! С Воробьевы горы вороха! Одной бумаги шло — Москву-реку запрудить мы могли этой самой бумагой... А шрифтов что — пудами! Эти самые петиты, да цицеры, да египетские — лопатами сгребали...

— Вот что, друг Кузьма, я велю подать водочки да закусочки: выпьем и закусим.

— Дело хорошее, батюшка Алексей Федорыч, а в Авдотьино еще поспеете.

— Поспею, разумеется.

Мерзляков встал, отворил дверь в залу и крикнул:

— Ариша! Ириночка!

— Что, дядя? — послышался молодой мелодический голосок, уже знакомый нам.

Ириша выбежала в залу в белой блузочке. День был необыкновенно душный, и девушка была одета совсем легко, по-спальному.

— Здравствуй, дядечка, — сказала она, подбегая к двери кабинета и целуя у бакалавра щеку. — Мы еще не видались.

— Здравствуй, Ириней! Вот что, дружок: попроси у маменьки водки да закусить чего-нибудь, да только сама принеси в кабинет — не трогай Мавру, а то она опять ворчать станет, что у нее или пирог подгорел, или каша из печи ушла.

— Хорошо, дядечка, она и не узнает ничего... А у тебя Кузьма?

— Кузьма, матушка барышня, Кузька Цицеро, красавица, — радостно отозвался Кузьма, показываясь в дверях. — Ишь ангелочек какой, истинно ангелочек — в ризках беленьких.

— Здравствуй, Кузьма...

И девушка убежала со смехом.

— Подлинно херувимчик — дитя Божье, безгрешное, — повторял про себя Цицеро.

Скоро и водка, и закуска были готовы. Ириша внесла все это на подносе, поставила на стол, и едва Цицеро успел прикоснуться губами к подолу ее капота, исчезла за дверью.

Выпили по рюмочке. Мерзляков налил для Цицеро другую. Тот выпил. Но пил он как-то странно: лицо его при процессе питья не делало тех сладострастных гримас, какие замечаются у настоящих пьяниц, он не присмакивал губами, не кряхтел от удовольствия, а напротив — доброе лицо его при этом морщилось; он смотрел на рюмку с отвращением и злостью, насколько злость была родственна его незлобивой душе; он выпивал рюмку залпом, торопливо, как что-то противное, жгучее, но неизбежное, и при этом как-то горестно качая головой, словно собираясь плакать, произносил: «Подлая... подлая...»

После выпивки Цицеро размяк и раскис еще больше и предался своим обычным воспоминаниям о Дружеской типографии и о «старце божьем Николай Иваныче».

— То-то времячко было, то-то золотое, как вспомнишь!.. Соберемся мы это, бывало, в типографию раненько, чем свет да заря, разберем это свои уроки, какой кому урок положен: кто гранки пригоняет, кто текст гонит, кто титул, кто шмуцтитул — и пошло щелканье, пошли погромыхивать у каждой кассы... Тут я стою, Цицеро, тут это Петит — махонькой такой наборщичек, так Петитом звали, там Абзац — верзила такой был, Сидор с Замоскворечья, так Абзацем звали, — и ну катать, громыхаем да громыхаем... А тут из университета прибегут студенты, начнут это об кураторе своем рассказывать, об Михаил Матвеиче Хераскове, да из его «Россиады» учнут катать наизусть, али из «Бахарианы» — смеху-то, смеху что было! А особливо с «Бахарианой»: рассказали нам это студенты, что Херасков новую поэму наворотил, «Бахариану», — так тяжела, говорят, страсть. Слух и пошел везде по типографиям да по книжным лавкам — тяжела да тяжела... Вот и приносит он раз рукопись свою в лавку купца Подмордина, чтобы тот издал. А Подмордин на весы ее — весит, головой качает... «Ты что это делаешь?» — спрашивает его Херасков. «Да тяжела, — говорит, — сударь, поэма ваша — не могим взять...» Так тот плюнул и ушел... Да уж после сам, тихонько от жены, и издал себе в убыток... Эх, времячко было! Так бы и умер в типографии!

— Да что ж ты после в другую типографию не поступил, а в полицию пошел?

— Не судил Бог.

— А отчего так? Кто мешал?

— Да с горя-то у меня руки трястись стали, ну, и не гожусь в наборщики, шрифты только путаю да роняю... не судьба...

— А не с водочки ли?

— С этой, с подлой-то? Нет, не с нее!

И он еще выпил этой «подлой» и опять горестно покачал головой.

— Как будете, батюшка, в Авдотьине, скажите от меня старцу Божию, Николай Иванычу, что Кузька-де Цицеро земно ему, отцу и благодетелю, кланяется, стопы-де его лобызает... Он знал меня, Кузьку Цицеру... Как это, бывало, придет в типографию, глянет это на нас, улыбнется, а у нас и ушки на макушке, а рты от радости до ушей: работайте, говорит, работайте, детки, да только воздух чаще, говорит, освежайте, чтобы окна были летом настежь, а то, говорит, эта свинцовая пыль вредна для здоровья... И чтоб вы думали, батюшка Алексей Федорыч, — воздух этот от литер такой делается, что ни одна тварь в типографии не жила: ни крысы, ни мыши, ни клопы, ни тараканы — ничто не держалось, даже, я вам скажу, кошка дурела, как, бывало, полежит на наборе, али бо в кассу заберется... Не выносит это никакая твария этого духу...

Мерзляков, слушая полупьяную болтовню, задумчиво улыбался. Он сам вспомнил, как юношей бегал в типографию, удивлялся быстрой работе Кузьки Цицеро, который, бывало, взглянув в оригинал, закрывал глаза и так с закрытыми глазами набирал, причем его руки необыкновенно быстро бегали по кассе и никогда не ошибались в выборе той или другой буквы. Юношу Мерзлякова изумляли горы бумаги и книг, выходивших из Дружеской типографии Новикова.

— Ну, пора мне и в свою постылую — строчить лепорты да пачпорты... Счастливо оставаться, батюшка Алексей Федорыч... Спасибо на угощении, на привете, на ласковом слове... Не забудьте же старцу Божию поклониться от горькой пьяницы, от Цицеры...

Он торопливо поклонился, как бы стыдясь дружеского пожатия руки бакалавра, и так же торопливо вышел.

— Ишь, шляется ярыга! — послышалась в передней воркотня Мавры, когда Цицеро уже вышел на двор. — Утопил уж зенки бесстыжие! Шишига этакая!

Вслед за выходом Цицеры в кабинет вошла Ириша, которая, по-видимому, сгорала нетерпением узнать, в каком расположении духа воротился дядя с раута. Она не без основания угадала вчера, что и у дяди ее «не достает одной пряди волос», или, скорее всего, сердца, которое потеряно бакалавром чуть ли не в доме Хомутовых. Любя сама, девушка поняла, что и ее сердце с некоторых пор стало глазастее и чего не видело прежде, то начинало усматривать теперь. И странное дело, — ей показалось, она даже это сознавала, что с того момента, как она догадалась, что и у дяди «не достает пряди волос», она становилась с ним на одну доску: дядя из философа превращался для нее в такого же человека «с обрезанным локоном», как и она сама, — и девочка стала смелее... «У! Тихоня дядька!» — говорило в ней какое-то товарищеское чувство.

— Что, дядечка, весело было вам вчера у Хомутовых? — смело защебетала она.

— Нет, очень невесело, Ириней, — отвечал бакалавр, не глядя на нее.

«Бедный дядечка! — разом подумала она. — Верно *та* огорчила его...» И ей стало жаль дядю.

— Отчего невесело, дядечка милый?

— Да пришлось самому убедиться, брат Ириней, что слава мира сего — лист на древе... Подул ветер — и опал лист.

Девушка не могла понять, на что намекает дядя — на личное ли какое горе, или на что-либо иное.

— Что же такое случилось, дядечка? — спросила она нерешительно.

— Да была там княгиня Дашкова, помнишь, я тебе много говорил о ней.

— Ах, да! Это та, что была начальником над мужчинами?

Мерзляков улыбнулся наивному вопросу.

— Да, начальником над мужчинами — президентом академии российской.

— Помню, помню, еще портрет ее видела в мундире и со звездой. Что ж она?

— Она была вчера там... это развалина какая-то жалкая. Вспоминала о том, как когда-то Вольтер у нее ручки целовал, а теперь ее почти все забыли.

— Бедная!

Но ее не то интересовало. Повертевшись около дяди и заглядывая ему в глаза, она стала ласкаться к нему, как маленькая.

— А *она*, дядечка?

Несмотря на то, что не было сказано, кто *она*, Мерзляков догадался, о ком спрашивают, и смущением выдал себя... Ириша почувствовала в этот момент, что она с дядей не только на одной доске, но что, напротив, они поменялись ролями: она стала дядей, а он — смущенным Иринеем.

— Кто *она*? — спросил бакалавр, стараясь быть равнодушным, хотя и у него *она* прозвучала как-то особенно, подчеркнуто, крупно.

— Да ваша ученица, дядечка?

— Ничего... что ж ей...

— А с вами, дядя, она ласкова?

— Ласкова.

— И любит вас?

Бакалавр опять смутился.

— Да что ты пристал ко мне, гадкий Ириней! Как да как! Ну, как обыкновенно любят учителя, — говорил он, стараясь спрятать глаза.

— Учителя... А она хорошенькая?

— На Мавру похожа!

Ириша расхохоталась. Она увидела, что дядя овладел собой.

— А вы ее, дядечка, любите? — ластилась она словно кошечка.

— Люблю.

— А как? Много? Очень?

— Конечно, больше, чем тебя.

— Вот еще!

Но в душе она сознавала, что иначе и быть не может, что и сама она любит *его* больше, чем дядю.

— Однако, Ириней, нам сегодня надо будет пораньше пообедать, — сказал бакалавр деловым тоном. — Что маменька?

— Да она все с этой богомолкой, дядя.

— А разве она и ночевала у нас?

— Да. Бабушка в восторге... Та ей иорданской водой глаза мазала, и бабушка говорит, что глазам лучше стало.

— Ну, теперь маменька будет с ней целую неделю носиться — и пускай! Меньше будет жаловаться на поясницу да на глаза... А я после обеда сейчас еду.

— Куда, дядечка?

— В Авдотьино, к Новикову.

— Это к тому старичку, что мы в прошлом году с вами ездили?

— Да, к нему.

— Ах, дядечка милый, возьмите и меня с собой!

— Нет, Ириней, нельзя... Я по делу, ненадолго — на день, не больше, и сейчас же ворочусь.

— Ах, дядя! — и девушка сделала печальное лицо. Ей вспомнилось, мак хорошо в прошлом году было в Авдотьине, как ей понравился старичок, его птицы, звери, рыбы, лес — все там так хорошо! Там просто рай. Мельница с шумящими колесами, с этой жемчужной водой, с ее неустанной стукотней... А этот пчельник у опушки леса, этот пчелинец с ситом на лице и с головою в мешке... эти рои пчел...

Девушка вспомнила вечер в Авдотьине. Что за вечер волшебный! Этот добрый старичок Новиков сказал ей, что назавтра пчелинец ожидает, что некоторые ульи будут роиться, что в них «молодые матки плачут». «Как плачут? — спрашивает Ирина. — О чем?» — «А вот о чем, милая, — говорит дедушка Новиков. — Каждое лето старые пчелиные ульи роятся, то есть пчелы выводят детей. Дети эти не остаются в старых ульях, у родителей, потому что в доме родителей им было бы тесно, и потому молодые пчелы, как скоро возмужают, должны покинуть дом родительский и искать себе нового жилья... В каждом улье есть своя матка, которой все остальные пчелы ее улья служат. Матка очень добра, у нее даже нет жала, как у остальных пчел, и потому она не кусается. Все пчелы ее кормят медом и берегут с детскою почтительностью, и хотя говорят, якобы она не работает, не собирает мед со цветов, но это ошибочное мнение: у матки есть свое дело, очень важное. Но не в том вопрос, милая. Я хочу тебе только рассказать и объяснить, почему перед роением молодого роя молодая матка плачет. Я сказал, что каждый улей имеет свою матку. Такую же матку, молодую, имеет и каждый молодой рой, долженствующий роиться, то есть оставить улей родителей своих и идти искать себе нового убежища. Эта-то молодая матка, говорят, расставаясь с домом родительским, и плачет, стонет тихо перед разлукою с родителями. Молодые матки, пчелинец подслушал, плачут, и, значит, назавтра надо ожидать новых роев...» И Ирише захотелось подслушать, как плачет матка. И вот вечером дедушка Новиков повел ее на пчельник. Была уже ночь — тихая, благоуханная... В роще щелкал соловей, по временам замолкая и снова заводя свое беззаботное мелодическое пощелкивание своим маленьким музыкальным горлышком... Подходят они к одному улью, на который указал пчелинец. Сначала прикладывает к нему ухо пчелинец, старичок в белом толстом колпаке, и слушает... «Плачет», —

шепчет он. Прикладывается к тому же улью ухом и дедушка Новиков, слушает долго. «Плачет», — шепчет и он. Со страхом, с замиранием сердца и Ириша прикладывает свое розовенькое ушко к дереву улья. Бьется, бьется ее сердце... за этим биением она ничего не слышит — слышит только, как ее же сердце стучит. Но в то же время она слышит и в улье какую-то глухую, но тихую-тихую возню, что-то неясное, но среди этого она еще что-то слышит... Да, она явственно слышит, как там, в дереве, что-то стонет, не то плачет... «Аа-аа-аа», — точно ребенок, да так тихо, так тихо, что становится даже страшно. И Ирине стало страшно. Там живое существо, оно стонет сознательно, в нем есть боязнь, опасение, жалость... И это — в пчеле, в насекомом... Ириша отошла от улья, вся трепетная, молчаливая, бледная. «Что?» — ласково спрашивает дедушка Новиков. «Да, стонет, что-то... плачет... я боюсь...» — «Чего, барышня, бояться? — говорит пчелинец. — Пчелка — Божья работница, на Бога работает, на церковь, чего ее бояться?» И ночью потом слышалось Ирише, когда она старалась заснуть, что словно у нее в подушке что-то тихо стонет и плачет: «аа-аа-аа». Так она на этом и заснула.

А наутро, вспоминается ей, дедушка Новиков повел ее на пчельник, чтобы она сама видела, как роятся молодые рои и как пчелинец снимает их. И приходят они на пчельник и видят, что пчелинец ходит между ульями и поглядывает на деревья. А одет он как-то особенно: все на нем из грубого белого холста, рукава широкой рубашки обвязаны веревочкой у самой кисти, рубаха у старика уже не навыпуск, а заправлена в штаны, и штанины у самых ступней тоже перевязаны веревочками. «Это затем, — поясняет дедушка Новиков, — чтобы пчелы не забирались за рубаху и не кусали. Да они его, — говорит, — почти никогда и не кусают — привыкли, а только молодые иногда кусаются». В воздухе стоит невообразимый пчелиный гул, пчелы тучами кружатся над деревьями, а другие одна за другой вылетают из ульев и присоединяются к тем, что над деревьями. «Это молодые играют, — говорит дедушка Новиков, — ищут, где им привиться, к какому дереву... Вон-вон, к той липе прививается один рой...» И Ириша действительно видит, что у этой липы к одной ветке все гуще и гуще слетаются пчелы, на ветке виднеется уже темное пятно из пчел; пятно это все растет, растет, растет и превращается в огромный черный ком; это все пчелы, одна на другой — словно черная шапка висит на ветке... Как они не задохнутся? А около липы уже почти нет

летающих. «Привился», — говорит дедушка Новиков... Тогда дед Зосима, пчелинец, с помощью мальчика, у которого совсем белые волосы, целая белая копна на голове, — с помощью этого белоголового «мальца», которого зовут Микитейкою, — подставляет к липе лестницу, потом берет «роевницу» — лукошко, у которого дно обтянуто ситом, а к верхнему ободку пришито нечто вроде мешка, вместе с тем он берет деревянный ковш с длинной, в аршин длиною, ручкой. «Этим ковшом он будет собирать пчел на ветке», — поясняет дедушка Новиков. Надев на себя «роевницу» через плечо при помощи привязанной к ней веревки, дед Зосима надевает на голову маленькое овальное сито, которое в виде плоской маски или вуаля из сита, вделанного в лукошко такой величины, что в него может пройти только лицо, защищает его глаза, нос и щеки от пчел, а такой же пришитый к лукошку, как и к роевнице, мешок обхватывает всю голову деда и шею и на шее же завязывается. «Это называется наличником», — поясняет дедушка Новиков. В этом костюме дед Зосима кажется не только странным, но даже страшным: лица не видать, а вместо лица и головы — лукошко с мешком. Вот он крестится на восток, подходит к лестнице и взбирается на нее своими старыми ногами. «Не упади, Зосима, — предостерегает его дедушка Новиков, — пора бы и Микитейке снимать вместо тебя». — «Нету, барин, не упаду, Бог поддержать должон, коли я с молитвой да на святое дело. А Микитейка-то еще рылом не вышел для экого-то великого дела». — «Ну, ладно». И вот дед Зосима подбирается к самому комку пчел и, тихонько подхватывая их ложкой, ссыпает в роевницу. Пчелы словно в обмороке — так и валятся в лукошко небольшими черненькими комьями. Все, кажется, снято... Тогда дед Зосима берет рукой ветку, на которой висел рой, и встряхивает в лукошко остальных пчел, которые еще цеплялись к ветке. Рой снят. Дед Зосима осторожно спускается с лестницы с закрытою мешком роевницею и молча передает ее в руки дедушки Новикова. «Весит хорошо», — говорит дедушка Новиков. «Поди, фунтиков десять будет — ветка так и гнулась, мало-мало не сломалась», — с смиренной гордостью говорит в свою очередь дед Зосима. Микитейка стремглав бежит в шалаш и выносит оттуда безмен. «Знает свое дело сопляк», — одобрительно осклабляется дед Зосима. Взвешивают на безмене роевницу с пчелами — лицо у деда светится. «Десять фунтиков с походцем», — говорит он с едва сдерживаемою радостью. «Чистой пчелы?» — спрашивает дедушка Новиков. «Чистой, батюшка барин: в роевнице три

фунта с походцем. Такова роечка Микитейке и не поднять». «Ан подниму!» — протестует белая всклоченная голова. «Куда тебе, пащенок!»

— Ты о чем это, Ириней, так крепко задумался? — спрашивает Мерэляков, роясь в бумагах.

Ирина точно от сна прокидывается.

— Это я, дядечка, вспомнила, как в Авдотьине дедушка Новиков показывал мне, как рой пчел снимают с деревьев.

И она, глядя в окно, снова переносится мыслью в Авдотьино... Вот они сажают в новый улей молодой рой. Сначала дед Зосима обкуривает внутренность борти ладаном. «Что улей свяченый да святой водой кропленый, что дом с образами — Божья вот чина», — говорит дед и кропит улей святой водой, открыв нижнюю затворку. Потом он вставляет в эту затворку желобок, длинненький, пологий, которым пчелы должны войти в улей, в свое новоселье. Затем дает дедушке Новикову и Ирише по зажженной гнилушке — это «курушки», дым которых отгоняет пчел и предохраняет от их укусов. Затем раскрывает роевницу и ставит ее боком, чтобы по малому ковшику выкладывать из роевницы пчел на желобок. Предварительно дед Зосим положил в новый улей кусок сотового меду: «хлеб да соль на новоселье молодым...» Пчелы, высыпанные в желобок, сами сразу догадываются, что им надо делать: они не летят, но стадом ползут по желобу в улей, стараясь перегнать одна другую... «Ишь, словно дети малые бегут, спотыкаются, — бормочет дед Зосим. — Бегите с Богом, бегите, детушки, работнички Божьи...» И он любовно крестит их, а сам зорко-зорко, уже без наличника следит за каждою пчелою, хоть их там сотни разом спешат по желобу... Наличник надет на Иришу — ах, как она должна быть смешна в наличнике, с лукошком на голове! — точь-в-точь дед Зосима... даже Микитейка ухмыляется, глядя на нее. А дед все не спускает глаз с ползущих кучами в улей пчел. «Где-то ты, матушка, застряла, — шепчет он, ища глазами матку этого молодого роя... — А! Вот она! Вот она, красавица, матушка!..» Это он увидал матку, которую так комком и облепили другие пчелы. И как только он угадал ее! Ничем она от других пчел не отличается. «А, матушка! Пожалуйте в свою горенку...» И он осторожно-осторожно берет ее двумя пальцами и сажает в «маточник» — это род фонарика маленького на рукоятке, с деревянными клетчатыми, пропускающими свет стенками. «Сиди тут — хозяйничай, а детки уж без тебя не уйдут, кормить и беречь тебя будут»... Ах, как там хорошо в Авдотьине!..

— Дядечка! Голубчик! Возьмите меня с собой! С собой! — с жаром обращается она к дяде.

— Да что ты, Ириней, с ума сошел!

— Нет, дядюленька, нет!..

— Да на кого мы бабушку оставим?

— С ней богомолка останется да Мавруша... С богомолкой она рада весь век говорить... Дядюленька! Красавчик! Возьмите... ведь всего на день...

И она по-старому, как маленькая, бросилась ему на шею. Бакалавр уступил:

— Ну, нечего с тобой делать, разбойник этакий, собирайся. Да чтоб обед был скорее готов, после обеда сейчас и в дорогу.

Ириша неудержимо бросилась целовать дядю.

— Постой! Постой, душегуб! Ты мне зубы вышибла совсем!

В одно мгновение Ириша исчезла из комнаты как ураган, так что испугала даже Мавру, торопившуюся на кухню... «Ах, Господи! Это сущая каторга», — ворчала баба, не понимая, что сделалось с барышней.

II

— Вот мы теперича, матушка, едим карасиков в сметанке — скусная рыбка, нечего сказать, скусная. А я, мать моя, кушала в Ерусалиме-граде однобокую рыбку. И называют эту рыбку камбалой, и глазок у нее один-одинешенек, и живет она в море...

Так за обедом при общем молчании разглагольствовала странница Авдеевна, кушая карася в сметане. Бакалавр молчал, думая о вчерашнем вечере и о предстоящей поездке. Ириша молчала, потому что мысли ее также витали далеко — то в неведомом Фридланде, у постели раненного Истомина, то в Авдотьине... Ей чудилось даже, что она слышит, как в улье стонет молодая матка пчелиная, и теперь ей слышится не плач пчелы, а стоны раненого, *его* стоны...

И бабушка молчит, вся поглощенная рассказом богомолки.

А у крыльца уже стоит кибитка, обтянутая черной клееною парусиной. Тройка обывательских, кусаемая мухами, нетерпеливо бьется на месте и глухо звенит колокольцем, подтянутым к дуге, потому что в городе вольной почте колоколец не полагается, а дозволяется ему голосить только за городом.

— Ну, съели тебя, окаянного! Стой! — доносится голос ямщика, успокаивающего коней. — Кнутом дьявола ленивого не проймешь, а то на вон! — муха забидела, нежный какой!

Обед кончен. Мавра укладывает в кибитку ковер и две подушки.

— Узелок вынести? — спрашивает она мрачно, ни к кому не обращаясь.

— Вынеси, Мавруша, — задумчиво отвечает барышня. Все задумчивы, как подобает при проводах. Странница даже глубоко вздыхает. По знаку старушки все садятся, нагибают головы, как бы обдумывая, не забыто ли что, в порядке ли все... Теперь этот обычай уже вывелся, а тогда это сидение и думание было законом. Шутка ли! Человек в путь собирается. В дороге все может случиться — и хлеба не достанет, и ось сломается, и разбойники нападут. Едешь за пятьдесят верст, молебен служи напутственный...

Посидели с минуту, повздыхали. Даже Ириша смотрит серьезно, сосредоточенно — может быть, оно так и следует...

Встали. Крестятся все на образа. Шепчут что-то...

«Луце и Клеопе путешествовати хотящу»... — шепчет вслух Авдеевна.

«Лука — это дядя, — думает про себя Ириша, — а Клеопа — это я».

«И рече каженик: се вода — что возбраняет мне креститися?» — шепчет далее Авдеевна.

«Зачем вода? — думает Ириша. — А! Каженик... помню евангелие... это кого-то провожали на войну...»

Целуются. Дядя целует бабушку, та крестит его. И Ириша целует бабушку, бабушка и Иришу крестит. А Мавра стоит у двери мрачнее ночи.

Вышли. Ямщик уже на козлах — встряхивается, подбирает вожжи, ровняет лошадей.

— Эй ты! Мухова кума! — за что-то корит он коренную, рыжую, с густою гривою кобылу.

Ириша вскочила первая. Из кибитки выглядывает ее веселое, розовое личико. Кланяется.

— Прощайте, бабуленька.

— Прощай, тарара.

И Мерзляков, облаченный в парусинное пальто, тоже влез в кибитку, тоже кланяется, прощается. Старушка крестит путников... «Лука и Клеопа, — думается Ирише. — Какой у Луки смешной картуз...»

— Трогать, барин?

— Трогай.

— С Богом! Эй ты! Мухова кума!

Тронулись. «Мухова кума... какой смешной!.. Мухова кума...» И Ириша засмеялась. И ямщик, и дядя невольно на нее оглянулись.

— Ты чему радуешься, дурак Ириней? — спрашивает дядя.

— Я ничего... Вон он лошадь называет муховой кумой...

И ямщик улыбается. Тройка двинулась не особенно шибко. Да и невозможна в такой зной быстрая езда, особенно когда предстоит сделать до пятидесяти верст. Московские улицы накалились. Раскаленные мостовые словно каменка в бане: плеснуть на них, так пар пойдет. Ветру нет почти совсем и пыль, поднимаемая колесами и копытами лошадей, клубится в воздухе и почти не опускается наземь. Духота в воздухе невыносимая. Галки сидят в тени с распущенными, ослабевшими от жару крыльями и разинутыми ртами; дышать нечем ни человеку, ни зверю, ни птице. Только воробьи да куры особенно деятельно кулбятся — купаются в песке и в пыли за неимением воды. Над всею Москвою стоит какая-то горячая душная мгла; по-видимому, она бессильна подняться туда, вверх, к небу, которое смотрится словно бы закопченным, запыленным... И деревья запылены, и им дышать нечем...

Когда тройка проезжала мимо одного дома, на террасе которого, увитой плющом и другою зеленью, сидел в кресле очень ветхий старик, а босоногая девочка зеленой веткой отмахивала от него мух, Мерзляков снял картуз и приветливо поклонился старику.

— Что это за старичок, дядя? — спросила Ириша,

— А тот, которого «Россиаду» ты почти всю знала наизусть.

— А! Херасков, дядя? Ах, бедненький, какой старенький!.. Даже мух не может от себя отгонять.

— Да, Ириней... Вот и стал «муховой кумой», а был славен... С прошлого года с мухами только воюет...

— И будет всегда... ах, бедный... «Мухова кума» — вот выдумал.

Ямщик опять обернулся и осклабился.

— Но-но! Боговы, погромыхивай! — поощрял он лошадей; но погромыхивать было совершенно невозможно, впору бы только кое-как плестись.

Но вот и Москва осталась назади, так, кажется, и утонула, и задохлась под громадной пыльной шапкой, опрокинутой над нею. Жилье все редеет и редеет. В воздухе хотя все

так же душно, но дышится легче, и легкие свободнее забирают менее пыльный и менее испорченный воздух. От огородов и садов тянет более влажным воздухом, а все еще тяготит духота.

— Но-но, боговы, пофыркивай!

Но говорится это так лениво, по привычке... И лошади понимают это: так же лениво пофыркивают, постукивают трусцой копытцами, а то и шажком, как бы нечаянно, как бы не понимая, что им шагу прибавить велят.

— Ишь ты теплынь какая... ажно полдники бегают, — говорит ямщик, оглядываясь на седоков.

— Какие полдники? — спрашивает Мерзляков, не слыхавший этого слова.

— А вон, барин, бегают, — отвечает он, показывая кнутовищем вдоль дороги.

Мерзляков и Ириша выглядывают из кибитки, перевешиваются, смотрят и ничего не видят.

— Да где ты их видишь? — удивляется бакалавр.

— Вона, вона... махоньки, так и бегут один за другим.

— Да кто же они такие? Я ничего не вижу.

— А Бог их ведает, кто они, — полдники, значит, бают.

— Да люди что ли, или звери?

— А Господь их! Може звери, а може люди такие... Это по здешним местам редко бывает, а у нас, на Волге, как это жарынь наступит, так они, значит, и бегают.

Диву дается бакалавр, ничего не понимает и ничего не видит. Ириша — так та все глаза проглядела, стараясь увидать эти таинственные существа, что в жарынь по полю бегают. Но ничего нет, ничего не видит живого, кроме ворона, мерно расхаживающего по черной ниве или по зеленой щетинистой озими, или ястреба, тихо плывущего в воздухе.

— Да растолкуй ты мне, милый человек, что это за полдники такие и где ты их видишь тут?

Ямщик даже оборачивается к седокам и показывает им свое улыбающееся, недоумевающее лицо, загорелое, словно дубленый полушубок, и почти без профиля.

— Да вон, барин, приглядись ты к земле-то — так на четверть, на две от земли, — так вон там, кубыть, что перебегает, двигаютца — дух не дух, дымок не дымок, вода не вода...

И бакалавр увидел наконец «полдники» — явление слишком хорошо известное всем, кто жил на юге, особенно в степных местах: это — движение раскаленного, разреженного

воздуха, замечаемое над трубой самовара, сильно накаленной углями, не дающими дыма.

— А что, барин, — заговорил вдруг ямщик, снова обращая к седокам свое беспрофильное, добродушное лицо, — сказывают, француз замирился?

— Да, замирился.

— Так... А где же он таперь жить будет? В море?

— Как в море?

— Да в воде, сказать бы, в море.

— Да разве он рыба?

— Не то рыба, не то, сказать бы, человек... Фараон, сказывают.

— Какой фараон?

— Да тот, что по морю по Черному гнался за казаками за донскими, а у казаков, значит, была на корабле Иверска Богородица... Как махнут, это, казаки Иверской — он, фараон-от, и стал потопать... А Бог и говорит: будь ты, грит, фараон, человек-рыба и живи ты, грит, в море... С той поры и живет он в море... А как буре быть, так он, это, выскакивает из воды, выскочит да в ладоши заплощет, да закричит — «фараон! фараон!» — да опять в море... Ну, буря и подымется...

— Уж это тебе не странница ли рассказывала? — спрашивает, переглядываясь с Иришей, бакалавр.

— Нет, барин, не странница, а солдат оттудова с офицером, с Денис Васильичем Давыдовым, приехал — это барин наш... Так этот солдат сам сказывал, что видал ево.

— Кого видал?

— Самово фараона, что французом назвался.

— Ну где ж он его видал? Любопытно.

— А в воде... как он к царю нашему из воды выходил.

— И солдат говорит, что видал его в воде?

— В воде, точно... Это царь наш на корабле едет с енералами, выехал на середину моря, заигрэл в трубу золотую, а он и вышел из моря и дал замирение.

— Какой же он из себя?

— Махонький, говорит, — не то чтобы как человек, а до пояса человек, а там рыба, сказать бы... Вот с им и воюй!

— Да, точно... трудно с таким воевать.

— Чево не трудно! Ты к ему, а он в воду — и поминай, как звали.

— Удивительно!

— Чево не удивительно!.. Но-но, боговы!

Мерзляков взглянул на Иришу. Та сидела вся раскрасневшаяся от жару и, видимо, сдерживавшаяся, чтоб не расхохотаться. Но при взгляде на дядю, который как-то отчаянно развел руками, она, наконец, покатилась со смеху. Ямщик, не зная, чему смеется барышня, только осклабился и передвинул свой гречушник справа налево, чтоб почесать в затылке.

— Вот и толкуй с ними! — разводя руками, говорил бакалавр: там француз беспятый и без тени, и в зеркале его не видать, а тут фараоны в море да «мухова кума».

— Ах, дядечка! Да вот и мы верим в купидонов да в амуров...

— Да это, мой друг, другое дело — мы знаем, что это такое...

В это время в стороне от дороги, на безоблачной синеве горизонта, вырисовалось одинокое развесистое дерево. Кругом — голая, немножко возвышенная равнина.

— А вон, дядя, ваш дуб, — сказала Ириша, показывая на одинокое дерево.

— Да, да, точно он... Он мне дал мысль написать «Среди долины ровныя»...

— Ах, дядечка, какой вы умный!.. — И девушка тихо запела:

— Однн-один, бедняжечка, как рекрут на часах...

— А скоро, барин, некрутов будут брать? — отозвался ямщик, услыхав слово «рекрут».

— Не знаю, брат.

— А поди, скоро... на ево, на фараонтия на проклятого... Вот я те, мухова кума!

Ириша не вытерпела и спросила:

— Да кого это ты муховой кумой называешь? А?

— Я-то?

— Да, кого?

— Да это у меня, барышня, поговорочка такая — мухова кума да мухова кума...

Жар не спадал, хотя солнце начало уже склоняться к западу, все косвеннее и косвеннее становились его лучи и длиннее становилась тень от кибитки, от ямщика, от лошадей, и в особенности от дуги. Лошади притомились. Ириша, глядя на тень от своей колесницы и перебегая мыслью от предмета к предмету, погрузилась в какое-то полудремотное состояние. И там, в глубине молодой памяти, одни перебегающие тени, то светлее, то менее светлые — и тут тени, бегущие рядом с

ними по левую сторону дороги: вместо колес — какие-то длинные вертящиеся фигуры, которые словно плывут по траве, по зеленой ржи, по кустам... Вместо лошадиных ног — множество длинных, неправильно движущихся палок. Тень от дуги перебегает с пригорка на пригорок... Колокольчик звякает тоже как-то странно: точно и он задумывается, забывается, а потом вскрикнет, проснувшись, и опять звякает полусонно, вяло, неровно... Бакалавр дремлет, покачиваясь то взад, то вперед... Ямщик затянул было:

— Что ты тра... что ты тра... что ты, тра-а-вынька!
Ох, и что ты, травынька-мура... ты мура... ты мураа...

Но-но, боговы!

Ты мура... ты мура... ты мурааа-вынька...

А что, барин, нам пора бы покормить...

— Что?.. Ты что говоришь? — изумляется бакалавр.

— Покормить бы, говорю... Полпутины сделали. А тамотко вон и пойло есть, холодок под елками.

— Ладно.

— Ах, дядечка, как это хорошо! И по траве бегать можно, и цветов нарвать, — обрадовалась Ириша.

— Ну, и закусить бы, Ириней, не мешало: в дороге оно естся.

— Хорошо, дядечка, и закусим... И я проголодалась.

Ямщик свернул с дороги к зеленевшему у небольшой ложбины леску. Лошади прибодрились, подняли головы — и они поняли, что их ждет что-то хорошее.

Подъехали к леску, остановились. Ириша первая выскочила из кибитки и подбежала к лошадям.

— Ах, бедненькие, как вы измучились... Ну, вот теперь отдохнете, напьетесь, покушаете, — говорила она, ласково обращаясь к лошадям.

— Ну! Мухова кума! Стой — воду увидала.

А из-под корня старой ели действительно журчала вода. Ириша бросилась к роднику и припала на колени. Расстегнув рукава ситцевого серенького платья, она опустила руки в холодную родниковую воду. Ах, как хорошо! Какая холодная, чистая вода! Потом, зачерпывая в ладони эту воду, она начала пить, похваливая:

— Ах, дядечка! Какая вкусная вода... такой и в Москве нет... — Затем начала обливать водой лицо, голову... — Ну вот, теперь совсем не жарко.

Мерзляков тоже вылез из кибитки и, разминая усталые от сидения члены, радостно осматривался. Эта картина разом

перенесла его в детство, в то золотое времечко, когда он «на долгих» ездил из училища домой на вакации. Так же останавливались у ручьев, родников и речек, так же кормили лошадей, лежали на траве, купались в речках, собирали птичьи яички, ловили ящериц... О, золотое детство, окрашивающее своими чудными красками всю последующую, часто горькую, беспросветную жизнь человека!

— Да это рай, просто рай!

— Да, дядечка, в Москве ничего нет такого.

И бакалавр тоже присел на корточки перед родником — куда девалась его профессорская важность! Он тоже начал пить первобытным способом — пригоршнею... А вода точно сознательно красовалась перед ним своею прелестью: живая струя, пробиваясь между корней ели, скатывалась маленьким водопадцем в ложбину, сверкая бриллиантами... Бакалавр еще ниже припал к роднику, окачивает голову алмазными струями... «Вот бы *она* увидала меня здесь... Что-то *она* делает теперь?» — мелькнуло в голове бакалавра... «Ах, — в свою очередь промелькнуло в уме Ириши, — если бы не противный Наполеон — фараон этот, — то и *он*, может быть, поехал бы с нами...

Мокрые волосы Ириши распустились и обнаружили отрезанную прядь.

— Ишь, Иринеич, откарнал сколько! — заметил бакалавр, любуясь косой племянницы.

— Опалила, дядечка, нечаянно... — И нечаянно же вспыхнула как маков цвет.

Ямщик распряг лошадей и тихонько вываживал их, а они все тянулись к воде.

— Нет, брат, дудки, мухова кума... не дам — обопьетесь, — уговаривал их ямщик, — а ты прежь остынь, да пожри маленько, тады дам испить.

Бакалавр между тем вынул из кибитки ковер и разложил его в тени под кустами неклена. На ковер положил подушки. Ириша вытащила узелок, а из узелка кулек с съестными припасами. И дядя и племянница уселись на ковре, и последняя начала выуживать из кулька все, что там было. Сначала вынула белые булки и положила их рядышком, за булками выползли из кулька свежие огурцы. За огурцами — каленые яйца, так хорошо накаленные, что бока их даже зарумянились; после яиц — холодная говядина, завернутая в бумагу; за говядиной — кокурки, с запеченными в них яйцами; за кокурками — цыпленок, наконец — соль в бумажке.

— О! Да мы по-римски, точно Лукуллы какие, — заметил бакалавр.

— Ах, Мавра! Она завернула соль в «Кадма и Гармонию!» — воскликнула Ириша. — Это оттуда листок.

— Что ж! «Кадму и Гармонии» недоставало соли... А в чем завернута курица?

Ириша развернула и стала рассматривать бумагу, а потом засмеялась.

— Что? — спросил Мерзляков.

— Это, дядечка, «Лейнард и Термилия, или злосчастная судьба двух любовников», что мы с вами читали.

— А! Макарова попалась Мавре под руку. Вот досталось бы нам за нее от Державина: она его ученица.

Начали трапезовать. Не забыли и ямщика, которому отделили хорошую часть своего запаса, а он, вынув из своего буфета, из-под сидения, каравай черного хлеба, сначала съел огурцы, потом яйца, потом говядину — все с черным хлебом, а затем скушал пару кокурок и закусил белой булкой. Покушав и помолившись на восток краткою, но выразительною, им самим сочиненною молитвою — «за хлеб-за-соль Богородицу-троерушницу, за хлеб-за-соль Миколу-угодника, за хлеб-за-соль Ягорья», — он припал к роднику прямо ртом, как овца, и удовлетворил свою жажду тем простым способом, каким пили его далекие предки, не знавшие еще ни ковша, ни ложки, как подобало дреговичам.

— Господи! Как хорошо здесь! — вздохнула Ириша.

— Да, хорошо на лоне матери-природы... В городах-то мы отвыкаем от нее, черствеем... А здесь — к Богу ближе... и сам лучше становишься...

— А вот они, — указала Ириша на ямщика, — они вон какие...

— Что ж! Они лучше нас... бедны только да непросвещенны...

В это время вдали, за лесом, что-то застучало, но так глухо и неясно, что как будто что-то громоздкое и тяжелое проехало по чему-то твердому и гулкому или что-то огромное где-то далеко упало и разбилось.

И Мерзляков и Ириша в недоумении взглянули друг на друга. Ямщик посмотрел по тому направлению, откуда слышался удар и гул, и глянул на небо.

— Ишь, Илья... а рано бы, — произнес он неопределенно.

— Что Илья? — спросил бакалавр.

— Колесы, сказать бы, подмазывает... рано бы, говорю.

— Да какой Илья?

— Богов...

— А! Илья пророк?

— Он самый будет.

Удар повторился ближе и явственнее. Мужик снял гречушник и перекрестился. Голубое небо еще больше поголубело, а с запада, из-за лесу, на него что-то наползало с неопределенным глухим гулом: это надвигалась туча, но какая-то сплошная, бесформенная, ленивая. В ней не было ничего грозного, резкого, но это-то и было самое грозное. На сером, грязно-сизом пологе кое-где выделялись беловатые полосы, нити разорванные... Воздух словно чего испугался, дрогнул и кое-где заметался ветерком... Кони навострили уши — фыркают... То там, то здесь в воздухе заметались испуганные птицы, словно думая улететь от чего-то машущего на них, гонящегося за ними...

Опять стук, но уже не стук, а глухая, далекая стукотня и гул...

— Ну, подвигается... быть грозе, — надо прятаться...

И бакалавр, поднявшись с ковра, стал оглядываться кругом. Ириша тоже вскочила торопливо и заметалась: она, видимо, струсила; за минуту оживленное, раскрасневшееся личико потускнело, как-то застыло в испуге и стало совсем детским, с испуганными, широко раскрытыми глазами...

— А Ириней! Струсил... заячий дух напал? — улыбается бакалавр.

— Ах, дядечка... ковер... подушки... гром...

— Ну, в кибитку их...

Ямщик перевернул кибитку задком к тому месту, откуда надвигалась туча, и крепче привязал лошадей к оглоблям.

Гулко ударились о верхушку кибитки первые крупные капли... Грянул настоящий гром; что-то как бы треснуло, обломилось, разорвалось... Ириша так и присела, а потом, дрожа и крестясь, юркнула в кибитку, словно зайчик, блеснув в глаза ямщика белыми чулочками. «Ишь ножки... и глядеть-то не на что... с огурец... по вершку, поди, — словно у робенка», — подумалось ему.

Бакалавр тоже взобрался в кибитку.

— Ах, Ириней... тебя тут и не найдешь... Да ты бы лучше в бутылку влезла...

Ириша не отвечала. Она шибко трусила и с ужасом шептала: «Свят-свят-свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля...»

А грохот и пальба и какое-то разламывание пополам земли, воздуха и небес не умолкали. Дождь словно обухами колотил в кузов кибитки, и что-то лилось, шумело, гудело, обламывалось, и снова разом грохало, и снова грохотало, перекатывалось, сталкивалось, словно шла какая-то свалка не-

видимых, могучих сил, словно небо шло войной на землю, небесные океаны против земли, разрушительные силы неба против демонов-чертей, надземных и подземных.

Что-то страшно треснуло над самой кибиткой, последовал ослепительный блеск молнии, снова грохнуло, еще страшнее... Ириша в ужасе вскрикнула... Да и было отчего: кибитка покатилась...

— Тпрру! Тпрру! Черти! Мухова кума!.. Стой! Стой!

Это рванулись кони, привязанные к кибитке, и увлекли ее за собой. Ямщик с трудом остановил их.

К счастью, это был последний удар, но удар почти в упор. Туча проносилась к востоку, а за ней как бы вдогонку рассвирепевшее небо посылало удар за ударом, но уже слабее — не резкие, не отрывистые, а словно бы усталые. Дождь также перестал разом, как бы по приказу, и из кибитки высунулось спокойное лицо бакалавра.

— Ну, Ириней, ты жив?

— Ах, дядя! Дядя!

— Каков Илья? — спросил бакалавр, обращаясь к ямщику, который стряхивал воду с своего гречушника и сам встряхивался, мокрый до последней нитки. — Каков Илья?

— Уу-уу! Сердит, больно сердит.

Скоро показалось и солнышко, словно омытое дождем. Вечер близился. В воздухе стояла живительная свежесть, дышалось так легко, широко, привольно.

Ямщик налаживал колесницу в путь, мазал оси, запрягал. Лошади весело фыркали, накормленные и освеженные.

— Ах, как хорошо теперь, — радостно вздохнула Ириша.

— Да, хорошо, потому что было худо, — философски отвечал бакалавр.

Двинулись. Лошади бежали ровно, бодро. Наступил совсем вечер, но летний, светлый, теплый.

Бакалавр, покачиваясь из стороны в сторону, подремывал. Ириша, высунувшись из кибитки, глядела на запад, где, по ее мнению, был Фридланд, а в Фридланде французский госпиталь, а в госпитале...

Ямщик затянул было:

— Волга-матушка бурлива, говорят,
Под Самарою разбойнички шалят,
А в Саратове девицы хороши,
Хоро-шиши-шиши-шиши-шиши-ши... —
Что в Саратове, слышь, девки хороши... —

А потом снова перешел на свою любимую:

— Ох, и что ты тра... что ты тра... что ты трааа-вынька...
Ты мура... ты мура... ты мура... ты мурааа-вынька...
Ох, и что, ох, и что, ох, и чтоооо... это за тра...

И Мерзляков, и Ириша крепко спали. Спал и ямщик, изредка во сне повторяя машинально: «Но-но, боговы...» Спали и «боговы», только по привычке передвигая ногами...

III

Мерзляков проснулся первый. Он немало удивился тому, что проспал напролет целую ночь и очутился уже в виду Авдотьина. Утро было роскошное. Солнце, поднявшись из-за всхолменного горизонта, лило свой красновато-золотистый свет на ярчайшую, какую он когда-либо видал, зелень, но еще не пекло, а только ласкало и согревало. Над небольшой извилистой речонкой, перепруженной плотиной, и над небольшим же лесным, поросшим с одной стороны лопухами и водяными лилиями озерцом, подымался, точно сизый дымок, прозрачный туман, который тут же, на высоте аршина над поверхностью воды и съедали солнечные лучи. По иловатому берегу озерца сновали и пищали маленькие длинноногие и длинноносые кулики. В воздухе было столько ласки, неги и обаяния, что бакалавр, которого когда-то пеленала и убаюкивала сама природа и который после втянулся в омут городской, бесприроднoй жизни, чувствовал, что его охватывает умиление, граничащее с желанием глупо, против всякой логики, но сладко и искренно захныкать. Он не мог допустить, чтобы и Ириша проспала такое чарующее утро. А она спала, сладко спала, скукожившись, свернувшись клубочком и уткнув нос в подушку, точь-в-точь как спал Наполеон в Тильзите.

— Ириней! Мухова кума тебя спрашивает, — говорил он, трогая девушку за плечо.

Ямщик, который тоже всю ночь прокунял на козлах, повернул к бакалавру свое беспрофильное лицо и добродушно ухмыльнулся шутливому барину.

— Но-но, боговы!

— Мухова кума спрашивает...

Ириша открыла глаза и сразу не могла понять, где она и что с ней...

— А, мухова кума... Ах, дядечка! Уж и утро...

— А вон и Авдотьино, — пояснил ямщик.

К озерцу от стоявшей на отшибе от села помещичьей усадьбы шли две человеческие фигуры, присматривавшиеся к

нашим путникам. То были старик, опиравшийся на палку, и совершенно белоголовый мальчик, несший корзинку.

— Знаете, дядя, кто это? — радостно сказала Ириша. — Это сам дедушка Новиков и Микитейка.

— Да, пожалуй, что они, у тебя глаза лучше моих.

— Они, они, дядечка.

Дорога, по которой ехали путники, поворачивала с плотины к озерцу, и потому кибитка должна была встретиться с Новиковым и Микитейкой, шедшими к озеру особою тропинкою. Остановив кибитку, Мерзляков и Ириша вышли навстречу тому, к кому ехали в гости.

— Здравствуйте, дорогой учитель! — приветливо и почтительно сказал Мерзляков, снимая картуз.

— Здравствуйте, дедушка! — почти в один голос приветствовала Ириша.

— Здравствуйте, здравствуйте, други мои милые! — крепко обнимая бакалавра и Иришу, отвечал старик, к которому относились приветствия первых. — Спасибо, большое спасибо вам, что навестили анахорета, старого отшельника.

— Авдотьинского отшельника, дедушка, — поправила Ириша, — у французов был фернейский отшельник, а вы, дедушка, наш, российский — авдотьинский.

— Ах ты, козочка моя, ах ты, сладкая, ты всегда сумеешь сказать старику нечто похвальное, лестное... Да только куда нам в российские лезть! Нас Россия не знает... Ну, авдотьинские мы — авдотьинскими и останемся, — улыбаясь сказал старик.

— Не говорите этого, дорогой наставник, ваше имя живет в сердцах россиян, и слава оного перейдет к отдаленнейшему потомству, — серьезно заметил Мерзляков.

Старик грустно махнул рукой...

Старик этот был — Новиков, одна из крупных личностей в новейшей истории русской земли, громадная деятельность которого в пользу поднятия русской мысли не имеет себе равной. Новиков действительно сделал для России почти столько же, сколько Вольтер для Европы, и его по справедливости Ириша могла назвать авдотьинским отшельником в сопоставлении фернейскому. Ириша знала историю жизни «дедушки Новикова» отчасти из рассказов дяди, частью же из признаний самого старика, насколько он мог познакомить с своей жизнью шестнадцати-семнадцатилетнюю девочку.

Поздоровавшись с приезжими, Новиков велел ямщику ехать прямо к усадьбе, которая находилась недалеко от того места, где он встретил приезжих.

— А мы пойдем пешочком, — обратился он к гостям.

— Но мы вам, кажется, помешали, добрейший Николай Иванович, — сказал Мерзляков. — Вы куда-то шли.

— О, это я к своим нахлебникам и ученикам, — отвечал он с какою-то добродушной иронией в голосе.

При этом белоголовый мальчик, что нес за ним корзинку, улыбнулся во весь рот, наполненный белыми, словно из фарфора, зубами. Это был Микитейка, двенадцатилетний внук и помощник деда Зосима, пчелинца, и «правая рука Новикова», как выражался сам старик.

— К каким ученикам, дедушка? — спросила Ириша.

— Да вот, сладкая моя, они в этом озере живут, — с ласковой улыбкой отвечал старик.

— В воде?

— Да, мой друг, в воде.

— Что ж это, дедушка, рыбы?

— Рыбки, мой друг... Прежде, говорят, я был учителем и наставником людей, а теперь стал учителем зверей, птиц и рыб. Велика премудрость Божия! Прежде я находил ум и честность в людях, теперь ищу того же в бессловесных тварях...

— И находите, дедушка?

— Нахожу, мой друг.

Во время этого разговора Мерзляков молчал, изредка взглядывая на старика. За внешней иронией речи он видел серьезную мысль.

Подойдя к берегу озера, Новиков и Микитейка с корзинкой взошли на маленький плот, сделанный из нескольких досок, как бы для полоскания белья. Взглянув в воду, Микитейка засмеялся.

— Ты что? — спросил старик.

— Да уж *он*, Микалай Иваныч, здеся, — отвечал мальчик.

— Кто *он*?

— Да енарал.

— А! Здесь уж?

— Вот он — глыбко, у самова дна.

— Ну, твои глаза молоденькие — лучше видят, а я *его* не вижу.

Ириша, любопытство которой возбуждено было странным разговором до крайней степени, взглянула с плота в воду и в прозрачной глубине ее увидала большую, тонкую, с острою головой рыбу.

— Это щука?

— Щука, — пояснил Микитейка.

Мерзляков, видимо, ждал объяснения всему тому, что он видел.

— Вон и ученики, Микалай Иваныч, стали приходить... вон, вон, — радостно говорил Микитейка.

И Ириша, и Мерзляков ясно уже видели, что к плоту стала собираться рыба и выигрывать на поверхность озера: плотва, красноперы, окуни, гольцы — все это поблескивало на солнце своими серебристыми чешуйками и, видимо, теснилось к плоту.

— Вот мои ученички, — сказал добродушный старик, указывая на воду. — С прошлого года я их учу, и уже кой-чему научил. Каждое утро я хожу сюда с кормом и бросаю его в воду. Рыба скоро поняла мои лекции и аккуратно в назначенный час является в мою аудиторию. Но что удивительно, так это то, что эти окуни да гольцы узнают меня в лицо: когда я прихожу в неурочный час на плот, они тоже выплывают и заглядывают на меня...

— А к деду, Микалай Иваныч, они не йдут, — неожиданно пояснил Микитейка.

— Не йдут, не йдут, а ко мне идут... Вот вы и посудите: у окуня ум, у гольца соображение, у плотвы, видите ли, тоже ум — она сильна в физиогномике...

— Ах, дедушка!.. — Ириша весело смеялась.

Рыбы между тем показывали нетерпение, плескались как угорелые.

— А! Не терпится? Проголодались?

И старик, взяв из рук Микитейки корзинку, стал бросать в воду крошки хлеба, кашу, мух, тараканов. Рыбки наперехват ловили бросаемое, иногда старались отбить одна у другой лакомый кусок, перегнать друг дружку...

— А! Вот и ссорятся из-за куска... значит, голодны... а как сыты — не ссорятся, — говорил старик, стараясь равномерно оделить своих питомцев.

В это время рыбы шарахнулись в разные стороны, а иные даже выскочили со страху на плот: у плота показалась щука.

— А! Это он! Старик! Ах он, варвар! — говорил старик, покачивая головой... — А я заметил, что и рыбки стали у меня умней, осторожнее — не всегда даются разбойнику.

— Однако, соловья баснями не кормят, — спохватился старик. — Рыб-то я накормил, а дорогих гостей морю с голоду... Вот что значит старость-то... Идемте же ко мне в палаты — добро пожаловать... А ты, Микитейка, мигом лети

к деду и вели вырезать лучший соток медку из того улья, что сама барышня воспринимала о купели...

— Это, дедушка, у которого матка ночью плакала? — спросила Ириша.

— Да, сладкая моя.

Микитейка полетел стрелой на пчельник, расположенный по ту сторону озера, а Новиков и его гости направились к усадьбе.

IV

Усадьба Новикова стояла при въезде в село Авдотьино, несколько на отшибе и в стороне от проезжей дороги. Это был обыкновенный, средней руки помещичий дом — деревянный, одноэтажный с высокою сосновою, почерневшею от времени крышею и с широким крыльцом-балконом, обращенным к северу. Некоторые окна дома были закрыты ставнями, большая половина обширного двора поросла травой, через которую были протоптаны дорожки к кухне, к скотному и птичьему двору, к конюшне и леднику, находившимся под одною крышею. Двор представлял некоторую запустелость, запущенность, а когда-то, во времена детства Новикова, в половине XVIII столетия, на этом дворе и в этом обветшалом теперь доме бойким ключом била жизнь среднепоместного дворянина. Барство сказывалось когда-то здесь и в псарне, и в псарях, и в доезжачих, и в сворах собак. Дворовые девки кружева плели, Акульки да Малашки иногда наряжаемы были Венерами да Психеями.

А с тех пор как вырос молодой барин, Николинька, да поступил в гвардию, а потом, скинув с себя гвардейский мундир, зарылся там где-то в Петербурге или в Москве в грудах книг да старых бумаг, опустела как-то барская усадьба Новиковых, и двор ее травою зарос... А там еще хуже пошло: приехал сам барин, и обратил усадьбу в какой-то монастырь... Бумаги да книги, бумаги да книги — только и было всего добра... За то до мужичков, до своих — у-у, как добёр был барин Микалай Иваныч! — пальцем никого не трогал... И жаль было мужикам своего барина, все он смутный такой да невеселый, ни пиров у него, ни забав — все по-монастырскому.

Когда Новиков и его спутники пришли на двор, ямщик уже давно отпряг лошадей, поставил их в конюшню, засыпал им корму, а сам, усевшись с кучером Новикова на крылечке людской,

рассказывал ему о французе-фараоне, о том, как француз-фараон из воды вышел, из самова Черного моря, и замирение дал...

Так как Ириша пожелала остаться на балконе, то хозяин приказал кухарке, полнотелой, с толстейшими руками бабе Сиклитинье, матери Микитейки, собрать самовар тут же, на воздухе, и на завтрак приготовить яичницу глазастую, которую очень любила Ириша, да зажарить грибков в сметане, до которых Мерзляков был большой охотник.

— А Микитейка каких грибков набрал — и-и, Заступница! — пояснила словоохотливая Сиклитинья.

Новиков сел у стола, стоявшего на балконе-галерее, снял с себя картуз, расправил руками волосы и бороду и о чем-то как будто задумался.

— Какой вы хорошенький, дедушка, — сказала Ириша, подходя к нему, — точно апостол.

Старик с любовью взглянул на нее.

— Ах ты, яичница глазастая!.. а глаза-то все больше у тебя делаются... А! Какова! Всегда дедушке какой-нибудь комплимент скажет, — говорил старик, любуясь девушкой.

— Да это не комплимент, дедушка, а правда.

— А вот и я тебе скажу правду, глазастая: ты очень похорошела и возмужала... И уж думаю, что этими буркалами ты наверное прострелила сердце какому-нибудь герою... А? Признайся — прободила еси?

Ириша вспыхнула. А старику почему-то вспомнился тот вечер, когда он, летом 1767 года, накануне отъезда из Петербурга в Москву, в качестве делопроизводителя в комиссии депутатов, прощался тоже с Иришей — но только не с этой... а такие же глаза при черных волосах... Что за ночь то была в Царском в саду!.. «Не забывай меня, милый, милый! Не забывай ни на момент!» — шепчут жаркие от поцелуев губы, а холодеющие руки так и замирают, обнимая и лаская... «Не забуду, жизнь моя! Рай мой! Не забуду и на краю могилы...» Да, правда, — и край могилы уже виднеется, и вспомнилась *та* Ириша, вспомнилась при виде *этой*... Первое всегда остается первым и не вытравляется никакими вторыми и последними...

Но старик тотчас опять овладел собой.

— А вот я заболтался с вами, да и не спрошу доселе: что нового у вас в Москве? Что новенького у вас в России? — сказал он, обращаясь к Мерзлякову.

— Да что новенького, почтеннейший Николай Иванович!.. О мире с Бонапартом вы, конечно, слышали уже?

— Слыхал — и радуюсь этому... Все же меньше крови будет пролито.

— Так и многие думают, но Москва недовольна.

— Ростопчин, конечно, Сила Богатырев?

— Он первый, да он же и с голосом, а за ним и все «русские», не галломаны... А есть новость, лично вас касающаяся, Николай Иванович: вас подозревают в сношениях с французами.

— Я с разбойниками никогда не вступал в сношения, — брезгливо сказал старик. — А кто это считает меня способным надеть на себя дурацкий колпак?

Тут Новиков пустился в оценку «лиц и событий» и незаметно перешел к изложению своих философских взглядов на природу и человека.

— Но ведь согласитесь сами, Николай Иванович, что хищничество — общее явление в природе, — говорил Мерзляков.

— И воробей, дедушка, вор, — добавила Ириша.

— И всякое животное — вор и хищник, — пояснил Мерзляков.

— Нет, други мои, — задумчиво отвечал старик, — по вашему толкованию, и сия лилия — вор: она ворует влагу из земли, она ворует тепло у солнца.

— Да, все это воровство, говоря в строгом смысле слова.

— А ваше дыхание, дети мои, воровство? — неожиданно спросил старик.

И Мерзляков, и Ириша сразу не могли ответить на последний вопрос.

— По вашему толкованию, — продолжал Новиков, — весь процесс жизни природы — повальное воровство, вся природа только и делает, что ворует: человек ворует зерно у земли, шерсть у овцы, шелк у червя, воздух у природы, воду у реки; овца ворует траву; трава — тоже воровка: она ворует влагу у земли. А сама земля — так уж всесветная воровка: она и людей ворует, и зверей, и растения, и свет, и тепло — все! все! Нет, други мои, в этом воровском мешке следует разобраться!..

В это время Сиклитинья поставила на стол шипящую сковороду с яичницей.

— У кого ты, Сиклитиньюшка, эти яйца украла? — с улыбкой спросил Новиков.

— Ах, батюшка барин! Что вы! Господь с вами! Это яйца наши — сама и курочек щупала, сама и яйца собирала из-под их! — затараторила Сиклитинья.

— А куры тебе позволили их яйца брать? — снова спросил старик.

— Ах, Заступница! Да что ж это такое! Куры — знамо, куры: на то они и куры...

— Вот это — умный ответ! — заметил Мерзляков.

— Вестимо — на то они куры, барин, чтоб яйца господам нести...

Новиков махнул рукой. Ириша хохотала. Сиклитинья с недоумением разводила руками.

— Вот всегда он такой, барин-от наш, — объясняла она барышне, — скажет такое, что и-и, Заступница!

— Точно — и-и! — сам повторял старик, улыбаясь.

— А как же, барин? Всегда, бывало, говорите: поди, Сиклитиньюшка, украдь у коровы молочка, али бо украдь у мужиков хлебца... Наш-от, барский хлеб, а ты украдь! Что выдумают...

И Сиклитинья, махнув рукой, — что не стоит-де на его чудные речи обращать внимания, что он-де завсегда чудит, а барин все-таки добрый, — побежала к кухне, как бы подзадоривая себя: «А уж каки грибки в сметане выдут... и-и, Заступница!»

Яичница оказалась отличная. Ириша кушала прямо с сковороды, а бакалавр наложил себе полну тарелку.

— А ну, Ириней, украдь мне сольцы немножко, — сказал он, пробуя яичницу.

— Воруйте, дядечка, — отвечала Ириша, подвигая к нему солоницу.

— Смейтесь-смейтесь, други мои, — продолжал Новиков, накладывая и себе глазастой. — А я вам скажу: нам история и самая жизнь так сплюснули мозги, что многое нам кажется смешным, когда оно прискорбно, и над хорошим мы скорбим, не понимая, что оно хорошее... Человечество изолгалось дальше пределов возможного, запуталось в своем неведении — и не может распутаться. Везде ложь и воровство, когда эти слова не должны существовать. Посмотрите — что может быть естественнее и законнее чувства любви? А мы и из нее сделали ложь. Чистая девочка, никогда, положительно *никогда* ни одним словом не солгавшая и не умевшая лгать, как невинный младенец, как только полюбила — начинает лгать... Она лжет, скрывает свое святое чувство, потому что или стыдится, или боится его обнаружить, потому, в свою очередь, что ей не позволяют любить или велят любить другого...

Ириша чувствовала, как краска стыда заливала ее щеки. И она лгала уже, мало того, что скрывала — лгала дяде. Она низко нагнулась над яичницей.

— Какая ты красная, Ириней, — заметил дядя.

— Это от яичницы...

От яичницы! Да — во всем виновата яичница. Девушка чувствовала, что она скоро заплачет. Она жестоко лжет!..

— История сделала из человека... просто фальшивую монету, подделку под человека, — продолжал старик. — Я помню, раз, еще в Москве, вздумал проследить за собой и за всем, с чем я сталкивался в продолжение целого дня, и к вечеру пришел в ужас и отчаяние от мысли, что как могло до такой степени испортить себя человечество — так испортило, что на заказ, кажется, так испортить нельзя... Едва я вышел из дому, как сразу почувствовал, что я очутился между волками и что я сам волк...

— Homo homini lupus, — процедил сквозь зубы бакалавр, смакуя яичницу.

— Точно, lupus, — ответил Новиков.

— Что это значит, дедушка? — спросила Ириша, несколько оправившаяся.

— А то, что каждый человек для другого человека — волк, мой дружок.

— И я для вас волк и для дяди волк?

— Волк, овечка моя невинная.

— Как же это, дедушка?

— А вот как, друг мой. Лишь только я вышел на улицу — передо мною нищий. По его глазам я тотчас видел, что я для него — добыча, что он ждет от меня чего-то... Я дал ему... Иду дальше — лавка с товаром: из нее выглядывают волки, заманивают меня для добычи... Прохожу, мастерская гробовщика — и сам гробовщик у двери — волк, волк! Он, видимо, считает мои годы, взвешивает мое здоровье — скоро ли де для меня закажут у него гроб... Дальше — лавка свечная и восковая: и там волки глядят на меня, ждут, не куплю ли венчальных свечь или кому на погребение... Еще дальше сапожник... волк! Смотрит мне на ноги, скоро ли де износит сапоги этот барин... Дальше — моя прачка... Смотрит лисой и волком: какой-де скупой барин, ходит в поношенном белье, редко отдает мыть... Прохожу мимо портного — крыльцо, я цепляюсь плащом за что-то... оказывается, гвоздик не прибитый... ну, плащ с дырой, а портной волком смотрит: скоро-де новый плащ понадобится... И видел я вокруг себя стаи волков, а пока дошел до типографии — и счет им потерял.

А Сиклитинья еще издали, торопясь с сковородой в руках, громко заявляла: «Ну уж и грибки! Уж и грибки! И-и, Заступница!»

— Да и яичница у тебя, Сиклитиньюшка, просто прелесть, объедение, — похвалила барышня.

— На здоровье, матушка, на здоровье.

— А грибки молоденькие? — спросил Новиков.

— Молодехоньки, барин, молодехоньки, вот как сами барышенька.

— Так и ты, Ириней, в грибы попал? — заметил дядя.

— Да, други мои, так-то люди себе жизнь устроили, — продолжал Новиков, глядя куда-то в пространство. — Птицы и звери одинаковых пород живут между собою дружнее, чем люди. А все потому, что миром правит неведение. Греки, хотя тоже по неведению, но создали самое гениальное представление о том, кто правит миром.

— Вы кого, Николай Иванович, разумеете? — спросил Мерзляков, наслаждаясь грибами в сметане.

— Слепых.

— Кого же именно?

— А правосудие! Разве Фемида не слепая?

— Но это для того, чтобы она не была пристрастна к внешности.

— А Мойра? А Фортуна? Разве они не слепые?

— Да — счастие слепое.

— Но оно не должно быть слепым. Оно и не было бы слепым, если б на земле господствовала справедливость: счастье являлось бы тогда как награда добродетели. А теперь счастье раздается людям каким-то слепым и безумным существом. Это слепое существо — самодур, идиот: оно и есть само человечество.

В это время неожиданно у крыльца показалась белая голова Микитейки. Мальчик смело подошел к перилам и остановился.

— Микалай Иваныч! А Микалай Иваныч! — сказал как-то таинственно маленький друг философа.

— Ты что, Микитейка? — спросил старик.

— Она выползла и спит, — тихо, почти шепотом сказал мальчик.

— Где? — оживился старик.

— Тамотка, на плотине.

— И ты ее не спугнул, не разбудил?

— Нету... как можно!

— Молодец, Микитейка! Молодец, моя правая рука... Ну, так я сейчас иду, извините, други мои.

И старик заторопился, взял свою палку, надел картуз.

— Куда вы, дедушка? — заинтересовалась Ириша, бросая грибы. — Мне можно с вами?

— Можно, мой друг, можно, только ни гу-гу — не шуметь...

Ириша вскочила и накинула на голову платочек, потому что летнее солнце начинало уже печь порядочно. Мерзляков тоже оставил не доеденною тарелку с грибами и желал присоединиться к неведомой для него экспедиции.

— Так и мне можно с вами? — спросил он. — Ваш адъюнкт Микитейка заинтересовал меня таинственностью, с которою он докладывал вам, что *она* спит... Кто *она*?

— А вот увидите, — с улыбкой сказал старик, торопясь через двор к выходу. — Вы помните то место в летописи Нестора, где он говорит о смерти Олега?

— Это когда кудесник говорит ему, что он умрет от своего любимого коня?

— Да.

— И я это знаю, дедушка, — заговорила Ириша. — Олег, боясь исполнения предвещания кудесника, — начала она по-школьному, словно отвечала урок, — приказал взять от себя любимого коня, дабы его не видеть. По прошествии же нескольких лет, князь вспомнил о нем и спросил приближенных: «Что мой конь любимый и жив ли он?» Ему отвечали, что конь умер. «Так покажите мне хоть кости его», — говорит князь. Когда привели его на место, где валялись кости коня, князю стало жаль его и он, приблизясь к голове его, лежавшей на земле, тронул ногою кости и сказал: «Бедный конь мой! Если б я не поверил кудеснику, то, может быть, доселе ездил бы на тебе... Не буду же я верить кудесникам». Но в эту минуту из черепа коня выползла змея и укусила его за ногу. От той раны и скончался Олег.

— Ай да сладкая! Как она хорошо рассказала... Так вот в этом-то *укусила* и весь вопрос, — говорил Новиков, продолжая следовать за Микитейкой. — Когда Август Шлецер издавал своего «Нестора», он, как потом признавался мне, долго мучился над этим местом. Он говорит, что во всех списках летописи явственно написано, что змея «уклюну», просто уклюнула князя в ногу. А Шишков оспаривал, говорил, что это описка, что змея не клюет, а кусает, что клюет только птица...

— А рыба, Микалай Иваныч? — неожиданно поразил всех Микитейка, оглядываясь на господ.

— Каков! — засмеялся Мерзляков. — Да он у вас и натуралист, и филолог.

— Да, да... Он у меня на все руки, — сказал Новиков. — Именно, Микитейка, ты прав, и рыба клюет, как птица. Теперь нам надо узнать, клюет ли змея.

— Так мы к змее идем, дедушка? — испуганно спросила Ириша.

— Да, к змее, мой друг.

Девушка остановилась как вкопанная. Испуг сковал ей язык.

— А, Ириней! Струсила? — улыбнулся дядя.

— Да... она укусит...

— Да она не кусается, а клюется...

— Ах, дядя! Господи!

— Не бойся, дружок, мы тебя не дадим, — сказал Новиков, улыбаясь.

— Она вас укусит...

— И себя не дадим.

Микитейка обернулся и сделал знак, чтоб замолчали. Они подходили к плотине, переброшенной через небольшую, в виде ручья, речку, на которой вниз по течению поставлена была небольшая наливная мукомольная мельница, однообразно шумевшая своим рабочим колесом. Солнце, стоявшее уже высоко, обдавало плотину жаркими лучами. Этот-то магнит и выманил змею из ее логовища — понежиться на солнышке.

Микитейка молча указал на одно место плотины. Там, растянувшись во всю длину на пересохшей и утоптанной соломе, лежала серая более аршина длиною змея. Чешуйчатая кожа ее блестела на солнце, словно бы она покрыта была множеством миниатюрных рефлекторов.

Новиков, взяв тихонько две длинные, тонкие как хворост слеги, лежавшие на плотине, одну оставил у себя, а другую дал Микитейке и шепнул:

— Не бей ее, а только не давай уйти.

Только тогда, когда они уже, так сказать, отрезали отступление змее под плотину, она увидала их и бросилась было уходить. Но Новиков искусно преградил ей путь слегою, а Микитейка угрожал с другой стороны. Пресмыкающееся, видя опасность, свернулось кольцом и выставило немного вверх свою тонкую, плоскую и продолговатую головку. Оно наблюдало и выжидало. Едва Новиков приблизил к ней слегу, змея спрятала головку.

— Да, по-библейски — блюдет главу свою, — улыбаясь и не спуская с нее глаз, сказал старик.

Потом он начал приближать слегу, как бы дразня пресмыкающееся. Змея не шевелилась, а только высовывала

черный в виде стрелочки язычок, который словно дрожал. Новиков еще приблизил слегу, еще, еще... Вдруг головка змеи отделилась от кольца и щелкнула палку... раз... два... три...

— Клюет, действительно клюет, — радостно сказал старик. — Шлецер прав, в рукописи не было описки. Теперь я напишу об этом и ему, и Шишкову. Я долго искал случая проверить летописца, но в этой местности редко показываются змеи. Вот только теперь, благодаря моему адъюнкту Микитейке, опыт сделан, и вполне удачно... Ну, уходи же, прячься, — сказал он, тронув змею и отступая в сторону.

— Ах, Микалай Иваныч, она уйдет! — спохватился Микитейка.

— Пускай уходит — она нам больше не нужна.

В это время вдали, по московской дороге, послышалось что-то похожее на звякание колокольчика. Все стали прислушиваться. Звуки колокольчика становились явственнее. Можно было даже различить, что приближались две тройки.

V

Тотчас по заключении тильзитского мира русские войска от границ отодвинулись в глубь России. Но так как прочности этого мира никто не верил и в народе ходили толки вроде того, как уверял Мерзлякова ямщик, что фараоны того и гляди вынырнут из моря и заплещут руками, главные наши силы были расквартированы вдоль западных окраин, по пути, по которому коварный французский кот мог бы ближе всего попытаться идти или на Москву, или на Петербург. Главная квартира находилась в Витебске, а по линии Западной Двины расквартированы были другие части армии.

В этот западно-двинский край обстоятельства дела переносят и нас из села Авдотьина.

Ранним утром по дороге от Витебска к Полоцку спорой рысью несется всадник о-дву-конь, как обыкновенно ездят казаки, когда предстоит продолжительный и спешный переезд. Это и есть казак, потому что одеяние на нем казацкое, и притом донского атаманского полка. Одна лошадь под всадником, другая бежит за ним на поводе. Или дорога, по которой едет всадник, как и вся окружающая ее местность прискучили ему своим однообразием, или мысли едущего сосредоточены на чем-нибудь, что заслоняет для него весь

внешний мир, только взоры его не останавливаются ни на одном предмете по сторонам пути, ни на щетинистой зелени елей, сомкнувшихся стройной шеренгой вдоль небольшой речки, робко скрывающейся в этой же щетинистой темной чаще, ни на голубых просветах, открывающих по временам далекий горизонт или ютящуюся среди болот деревеньку... Да и на что смотреть! Кругом — невеселая, однообразная, постоянно втиснутая в зеленые рамки картина... Ни простора, чтобы казацкий привычный глаз мог окинуть равнину далеко-далеко и уловить на ней или серебристые султаны кавыль-травы, или горькое, но все же вольное перекати-поле... То ли дело на Дону, на Волге! Там коли и охватывает казацкую душу тоска, так тоска широкая и необъятная, как степь... А здесь — трясина да болотина, да угрюмый однообразный лес, из которого нет выхода, как нет выхода для тоски, охватывающей душу при виде этой бесконечной, проросшей темными борами болотины.

И тоскливо смотрит всадник о-дву-конь. Смуглое, немножко калмыковатое, молодое лицо грустно-задумчиво...

Вдруг на повороте дороги, из-за чащи придорожного ельника, послышался топот конских копыт и из-за зелени показались два конные улана. При виде их, лицо казака немного оживилось.

— Здравствуйте, ребята, — сказал он, когда уланы приблизились к нему.

— Здравия желаем, ваше благородие! — отвечали уланы, из которых один был уже старый служака.

— Коннопольцы еще в Полоцке? — спросил казак. — Это был казацкий офицер.

— Точно так, ваше благородие.

— Вы куда?

— С бумагами в штаб, ваше благородие.

— Не знаете — юнкер Дуров не в отпуску?

— Это безусый-то, ваше благородие, что от няньки бежал? — спросил, улыбаясь, старый улан.

— А ты его знаешь? — торопливо спросил казак.

— Как же, ваше благородие, он у меня на выучке был... Я ему дядькой, значит, прихожусь — сродни.

— Так он не в отпуску?

— Никак нет, ваше благородие, — у нас в полку.

— Спасибо, братец... Прощайте, ребята.

— Счастливой пути, ваше благородие.

И путники расстались. Старый улан узнал донского офицера о-дву-конь: это был Греков. Но Греков не узнал улана,

ворчливого Пуда Пудыча, который, когда юный Дуров был у него на выучке, постоянно твердил: «Коли ты называешься улан, так тебе, брат, с коня падать не полагается: хуть ты жив, хуть ты убит, а сиди на коне... Улан падать с лошади не должон — ни-ни-ни Боже мой! Падай вместе с конем — таков уланской закон, а с коня — ни ни! не роди мать на свет!» Это тот самый Пудыч, который был в плену у французов вместе с Истоминым и бежал из фридландского госпиталя с известием, что Истомин жив, что его спас от пули образок на груди «с матерним волосом — русенькой такой волос, с краснецой...» Это Иришины-то волосы, Мерзляковой, он назвал «матерним волосом». Пудыч в плену и после раны сильно изменился, оттого Греков и не узнал его; а Пудыч признал Грекова, «потому — часто видал вместе с моим молокососом, с Дурашкой юнкарем...»

— Что ж, из ево, сказывают, уланик вышел бойкий, заправский, — заметил младший спутник Пудыча.

— Ничево — шустер-таки, да только в атаке ранжиру не держится, словно блоха вперед скачет, а это, брат, непорядки, — отрезал серьезный Пудыч.

Простившись с встречными уланами, Греков пришпорил своего коня и понесся усиленной рысью, несмотря на свою усталость. Он ехал от Витебска до Полоцка, не отдыхая ни на час, ехал день и ночь. Что-то беспокойное светилось и в его черных, узеньких, с калмыцким разрезом глазах, хотя обыкновенно эти глаза смотрели с спокойной ровностью, с симпатичной задумчивостью.

«А если Коньков прав? Если *ее* прямо вытребовали в Петербург?.. Государь ждать не станет», — проговорил он про себя, как бы продолжая разговор, начатый с уланами.

Лицо его побледнело, губы дрогнули. Он крепко сжал коленками лошадь, и привычное животное угадало нетерпение хозяина: рысь превратилась в полный бег, а топот восьми копыт звучал по звонкой дороге словно барабанная дробь.

«Как же государь узнал, что *она* — не мужчина?.. Недаром и мое сердце сказывало мне тоже... А теперь, эти месяцы, я просто истосковался по ней — еды нету, сна нету, Бога забыл!..»

А между тем та, о которой думал юный казак, только что проснулась. Конно-польский полк, в котором она все еще оставалась, после кампании расквартирован был в Полоцке и его окрестностях. Дурова поместилась в бедном еврейском семействе на краю города, и ей отведена была маленькая, об

одном окошечке, комната. Евреи полюбили этого юного застенчивого уланика, а меленькие евреята, которых она ласкала, вспоминая свое далекое, покинутое ею родное семейство, просто души в ней не чаяли. Они водили на водопой ее Алкида, кормили его огурцами и капустой... Особенно они полюбили коня с той поры, когда однажды, вбежав нечаянно в сарай, они увидали, что «русский панич», обняв за шею Алкида, горько плачет. Хотя причины слез евреята и не узнали, но чутким сердцем догадались, что у молоденького панича нет здесь ни одной родной души и что только с конем он может поплакать... А она сама не знала, о чем плакала... вспомнила отца... Да кстати в этот же день выступал из Полоцка атаманский казачий полк... Уходил с ним и Греков, а Грекова она видела еще там, далеко, на Каме, тотчас после бегства из родительского дома... Ну, и грустно стало, и заплакалось, а евреята увидали...

Сегодня она проснулась довольно поздно, так как день был свободный — учения утреннего на этот раз не назначалось. Солнце уже поднялось из-за соседнего огорода и ласково смотрелось в ее маленькое, зеленоватое окошечко. На дворе слышались голоса играющих евреят.

Приподнявшись на своем жестком ложе, состоявшем из нескольких досок, устланных сеном и покрытых грубым дерюжным рядном, девушка обхватила руками колена и задумалась. Она была в одном белье; но так как оно имело вполне мужской покрой, то только высота груди, не совсем по-мужски выпяченной вперед, и могла возбудить подозрение насчет странных форм молоденького уланика. Тут же лежали уланские рейтузы с кожаными нашивками на внутренних частях ляжек, чтоб о седло не терлись; тут же лежала и вся уланская амуниция, а на полу стояли казенные солдатские сапоги со шпорами. Что было мучением всей боевой жизни нашей юной героини, так это казенные сапоги. Это были страшные, словно из железа выкованные сапожищи, которые приковывали ее нежные, привыкшие к мягким ботинкам ноги к земле точно десятипудовыми гирями. Они издают невообразимый стук. В них ноги — словно заключенные в двух отдельных башнях, и эти башни надо волочить за собою, и волочить стройно, бойко, «чтобы, — говорил тиран Пудыч, — нога у тебя словно на гитаре играла». Но это не гитара, не ее звук, шпоры на этих сапожищах бряцают так, словно бьют молотом по наковальне... «Улан должон гулко ходить, чтобы за версту улана слышно было... А коли улан на бекете, ночью в разъезде, чтобы ево француз не

слыхал, как ему улан с конем за пазуху въедет...» Вот афоризмы Пудыча, и юнкер Дурашка должен был исполнять их...

Сидя на кровати, она что-то вспомнила и потянулась за саблей.

— Я уж и не помню, когда видала себя в зеркале, — прошептала она.

Вынув саблю из ножен, она стала глядеться в блестящий, гладко отполированный клинок ее.

— Вот мое девическое зеркало... — Это сказалась женщина в улане. — Какая дурнушка...

Вложив саблю в ножны, она встала с кровати и начала одеваться. Если бы Пудыч видел, как она неловко надевала на себя рейтузы, как не по-уланski подымала ноги, с каким трудом натягивала узкие штанины, он непременно сказал бы с негодованием: «Ишь, вон как у юнкарей дворянчиков бедры-то от манной каши распучило — рейтузы не лезут...»

Только уже надев солдатский мундир и застегнув его на верхние пуговицы, девушка вышла в сени, чтобы умыться. Евреята окружили ее и стали рассказывать, как сегодня они давали Алкиду моркови и репы и как он у маленького Сруля сам вырвал кусок хлеба с маслом и съел.

Умывшись из висевшего на крыльце глиняного рукомойника с горлышком и утершись полотенцем, — это полотенце так памятно ей... оно вышито горничной Натальей и подарено ей на именины, в приданое... «этим полотенцем, барышня, вы тогда утритесь в первый раз, когда к венцу вас будут одевать... муж любить будет...» — девушка прямо направилась в сарай, где стоял ее Алкид. При виде хозяйки, лошадь радостно заржала и умными веселыми глазами смотрела на свою повелительницу.

— Здравствуй, Алкидушка.

Лошадь опять отвечает тихим ржанием. Девушка гладит ее шею, ласково треплет за уши, поправляет чуб, свесившийся на лоб между ушами. Алкид, увидев на плече улана непривычное украшение — шитое цветными нитками полотенце, — сдергивает его зубами.

— Ах ты, разбойник! Зачем сорвал полотенце?.. Отдай его...

Алкид не отдает, крепко держит в зубах — шалит. В сарай вбегают евреята с деревянной миской, в которой дымится только что сваренный картофель. Алкиду захотелось картофелю и он выпускает изо рта полотенце. Но этот кар-

тофель не для Алкида, а для самого панича — на завтрак ему мама прислала.

— Ты уж завтракал... репу и хлеб с маслом, — говорит обиженный Срулик.

Панич тут же в сарае садится на опрокинутую кадку и ест картофель в «мундире», очищая его руками, а маленький Срулик держит солонку, куда панич и макает картофелем. Алкид, перебалованный конь, подходит к миске, нюхает картофель и фыркает.

— А! Горячо — не суйся...

На дворе послышался топот конских копыт и бряцание сабли. Алкид насторожил уши и вытянул свою гибкую шею, чтобы рассмотреть, каких ему товарищей Бог послал.

У Дуровой почему-то стукнуло сердце. Мысль ее разом и заодно с сердцем мгновенно успела сообразить, что это посещение неординарное: не так стучат копыта, не так стучит ее сердце... А оно отгадчивое, чуткое... Она выглянула из сарая, и в одно мгновение лицо ее залила краска: она узнала Грекова и при этом разом и обрадовалась его приезду и испугалась, шибко испугалась. Но увидав лицо приезжего, усталое и грустное, она уже окончательно почувствовала, что ею овладел бесконечный страх.

Зато у Грекова при виде ее по лицу пробежало радостное, но такое мимолетное выражение, что только глаза матери или глаза любящей женщины могли уловить это что-то неуловимое.

— Здравствуйте, Дуров, — сказал он, протягивая ей руку.

— Здравствуйте, — застенчиво отвечала девушка, которая чувствовала, что Греков в первый раз как-то особенно пожал ей руку, а она в первый раз почувствовала при виде его девическую стыдливость и смущение.

— Я к *вам* по делу... — Греков сделал ударение на *вам*.

— Ко мне? А не по службе?

— Нет, только к вам... и по важному делу.

«Он знает *кто* я», — промелькнуло в уме девушки: по его лицу, по глазам она это узнала, она ощутила это, между тем как прежде не ощущала...

Евреята окружили их и заглядывали в глаза то тому, то другому. Избалованный Алкид тоже старался было выбраться из сарая — к дорогим гостям, да недоуздок придерживал, а хотелось бы обнюхать земляков...

Греков хотел что-то сказать, но посмотрел на евреят и остановился. Дуровой женское сердце подсказало, что евреята тут лишние.

— Дети, — сказала она, — позовите сейчас же Салазкина взять лошадей у офицера.

Евреята побежали, оставив Дурову и приезжего вдвоем. Девушка испуганно ждала...

— Нам надо поговорить по секрету — не здесь, где-нибудь в другом месте... Дело очень важное, — скороговоркою проговорил Греков. — Куда бы?

— Можно в рощу, к реке...

В это время в воротах показался улан с вязанкой сена.

— Возьми, братец, хорошенько выводи коней... С Витебска они не отдыхали и не ели, — ты кавалерист, знаешь, что надо, — сказал Греков пришедшему улану.

— Слушаю, ваше благородие, — отвечал улан.

— Да смотри не напои...

— Как можно! Али впервой!

Забежав к себе в избенку, чтобы взять фуражку и подвязать саблю, Дурова растерянно упала на колени, но не знала, о чем молиться... «Папа! Папа! Помолись ты обо мне».

Через минуту она вышла — бледная, но старалась казаться покойною. Греков нетерпеливо ждал ее.

— Пойдемте, — сказал он, — время не терпит... Для вас оно особенно дорого.

— Ради Бога. А что же такое? Скажите!

Они уже были на улице, где беспрестанно попадались солдаты — кто вел лошадь на водопой или с водопоя, кто нес сено, кто просто почесывался на солнце от нечего делать. Там играли в свайку, и один ловкий игрок вызывал всеобщие восторги солдатиков: всякий раз свайка попадала в кольцо и уходила в землю по самую головку.

Тут и гусар Пилипенко с своей неразлучной Жучкой. Собачонка, совсем оправившаяся от раны, стоит перед Пилипенком на задних лапках с кусочком булки на носу. Много бедной Жучке нужно усилий и ловкости, чтоб держаться прямо и не уронить драгоценного куска. Она не сводит глаз с своего повелителя, а у Пилипенка на лице восторг и нежность.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро... есть! — говорит он быстро, и кусок искусно переходит в рот Жучке.

Собачка опять поднимается на лапки. Пилипенко опять кладет ей на нос кусочек хлеба.

— Слушать команды!, Аз, буки, веди, глаголь, добро, живети, земля, иже, и, како, люди, мыслете...

А бедная собачонка ждет, дрожит — когда же будет это проклятое «есть», когда можно сглотнуть кусочек... куда оно

запропастилось... не пропустила ли она его, не обслушалась ли... А Пилипенко продолжает:

— Наш, он, покой, рцы, слово, твердо...

— Говорите же, не мучьте меня! — умоляет Дурова, когда они отошли на порядочное расстояние от солдат...

— В штабе главнокомандующего получена бумага насчет вас, — отвечал Греков тихо.

— Насчет меня?.. От кого же?.. От отца?

— Нет, по высочайшему повелению — от государя...

— Государь...

Девушка остановилась. Она не могла продолжать, не могла и идти дальше: у нее дрожали ноги.

— Государь требует вас в Петербург... желает видеть вас...

— Меня видеть... как же это?.. За что? Я...

— Это неслыханная честь... Юнкера требуют на глаза государя... Разве мало юнкеров?

Греков замялся. Он хотел видеть глаза своего собеседника, но они упорно глядели в землю.

— Послушайте... Дуров... простите меня... я не из простого любопытства... Вы скрываете какую-то тайну... Вы не то, за что себя выдаете... Еще в прошлом году, когда вы только пристали к нашему полку, мне что-то подсказало, что вы... что в вас кроется что-то особенное... Потом, в дороге, — там, на Медведице, в Даниловке, когда вы, после охоты, уснули на траве и во сне бредили — я тогда разбудил вас, — вы еще змею после того брали руками... А тут, во время кампании... Я все время следил за вами... Но ради Христа, не подумайте, что это было пошлое, грубое любопытство... Нет, я... я боялся за вас... Мне казалось, что если с вами что случится, как это — как вам сказать? — я не знаю, не умею сказать... я простой казак, не умею говорить... но мне казалось, что если бы что с вами случилось, то это было бы святотатство... ну, понимаете, грех, большой грех всем нам...

Он остановился, Дурова взяла его за руку.

— Благодарю вас, Греков, — сказала она чуть слышно, — я сам видел, что вы благородный человек.

— Но в вас была не одна тайна, а — как вам сказать? — точно две тайны... Их вам тяжело было носить в себе...

— Нет...

— Не говорите, Дуров! Вы были слишком одиноки... вы чуждались и общества офицеров, и общества солдат... Вы постоянно что-то прятали в себе и себя прятали... А это тяжело — это какие-то кандалы на душе...

— Нет, нет! Я не был одинок...

— Что ж! Старый Пудыч, который ворчал на вас?.. Алкид?

— Да, Алкид... Это мой друг, друг моего детства, подарок отца...

— Но, Боже мой! Не говорите этого... Конь — друг, собака — друг... А люди?

— Да вот вы всегда были добры ко мне... как брат...

Она остановилась и почувствовала, что краснеет... но в то время ей почему-то стало страшно и холодно... «Петербург... государь... они узнали...»

— А теперь вы уедете... может быть, не воротитесь... мы никогда больше не увидимся, — говорил как-то растерянно молодой казак, чувствуя, что его что-то душит за горло — голос обрывается...

— Не говорите этого... Разве государь... Что ж я сделал! — И она чувствовала, что голос ее обрывается.

Оглянувшись, она увидала, что Греков, припав головой к стволу сосны, как будто плакал. Плечи его вздрагивали. Девушке стало жаль его.

— Ради Бога! Что с вами?

Он не отвечал: он действительно плакал.

— Греков... друг мой... — Она положила руку на его плечо — плечо билось под ее рукою. — О чем вы плачете?

Молодой казак поднял голову, сдерживая слезы, и взял девушку за руку.

— Простите меня, ради Христа... вы назвали меня другом... Я буду говорить с вами откровенно... Вы видите — я плачу... Скажите мне, *кто* вы?.. Я потому спрашиваю вас, что... я не знаю, как вам объяснить... но без вас я — пропащий человек... С тех пор как нас перевели отсюда, без вас, не видя вас — я Бога забыл, мать забыл... Теперь, когда вас совсем берут отсюда, навеки отнимают у меня, я хочу знать — только имя ваше... Скажите — кто вы... имя скажите, чтоб я мог упоминать его на молитвах... Все равно — ведь государю вы скажете... я знаю, что вы женщина... Клянусь вам всем святым, я не выдам вашей тайны, о которой уже догадываются... Скажите, откройтесь мне!

Девушка молчала. Рука ее дрожала в руке казака.

— Я умоляю вас, Богом заклинаю, оставьте мне хоть это утешение на память — ваше имя... Я больше ничего не прошу... Кто вы?

— Надежда, — чуть слышно проговорила девушка, и снова краска залила ее лицо.

Греков тихо, бережно как-то поднес ее руку к губам и прошептал:

— Благодарю, благодарю вас... Я знал, я догадывался об этой тайне...

Он чувствовал, что рука девушки, загрубелая в суровой жизни, дрожала.

— Расскажите же все о себе, умоляю вас.

Дурова взглянула ему в лицо. Оно было бледно и грустно. Ей стало жаль его.

— Хорошо, — сказала она. — Вам я все открою. Я — Дурова, Надежда. Я бежала из дому родительского — и вот вы видите меня здесь. Мой отец — гусар, теперь в отставке. Я родилась на походе и, вероятно, умру на походе... Ну да что об этом!.. Судьба моя — горькая какая-то, странная. Когда я еще не родилась, моя матушка, начитавшись романических историй, бредила «Вадимом Новгородским». Ей хотелось родить мальчика, Вадима. Но вместо него на несчастье родилась я. Когда, после родов, матушка пришла в себя и потребовала, чтобы ей показали ребенка, к ней поднесли меня. Вместо Вадима она увидела девочку и с великою злостью оттолкнула ее от себя... С той минуты она возненавидела меня. Это было и ее и мое несчастье... Я должна была расти на марше, нелюбимая матушкой. Походная жизнь, постоянные неудобства, а тут еще нелюбимый ребенок — и матушка окончательно ожесточилась против меня... Я так некстати родилась — вся жизнь моя оказалась некстати... Однажды я, как больной ребенок, сильно раскричалась, не давала матушке спать, а это было как раз на марше... Матушка, выведенная из терпения, выбросила меня из окна кареты прямо под копыта гусарских коней...

— Ах, Боже мой! — невольно воскликнул Греков, жадно слушавший удивительные признания девушки.

— Да... но добрые гусары спасли меня, — продолжала она. — В ужасе увидали они под копытами коней беспомощное существо, взяли его, думали, что я нечаянно вывалилась из кареты, и поднесли к дверцам, чтоб передать матушке... Но в это время подскакал мой отец — он все знал, он догадался, что я была выброшена... Он плакал надо мной, но матушке не отдал... Он положил меня к себе на седло... Вот где была моя первая колыбель...

Она остановилась. Перед нею встал образ ее доброго, тихого, несколько грустного отца. Греков тоже молчал. Никогда еще молодой казак не переживал того, что переживал теперь.

— Милый, милый папа! Как он был всегда добр ко мне, как я помню его кроткое, ласковое-ласковое лицо, его любящие глаза, — задумчиво продолжала девушка. — Да и я же любила его!

— Любили? Разве его нет уж на свете? — участливо спросил Греков.

— Не знаю... Я покинула его... Я ничего не знаю... Может быть, я убила его, бедный папа!.. Да, — продолжала она, — отец, занятый службою, отдал меня на воспитание и попечение флангового гусара Астахова... Добрый Асташа! Он по целым дням носил меня на руках, да так нежно, так любовно, как не сумела бы лелеять меня ни одна няня... Он ходил со мною в эскадронные конюшни, сажал меня на спину лошади, давал в руки пистолет, махал передо мною саблею, и я привыкала ко всему этому... Я была счастлива: я хлопала ручонками и заливалась смехом при виде блестящей стали... Со спины лошади я карабкалась на шею Астахову, от Астахова переходила на седло... Вечером он носил меня к полковым музыкантам; там играли зорю, и под эту музыку я засыпала на руках у моего пестуна... Да, странная, странная моя матушка; я боялась ее с тех пор, как стала понимать себя; увидав ее, я с ужасом закрывала лицо и обвивала ручонками грубую шею моего доброго Астахова... Но скоро не стало у меня и Астахова, моей незабвенной няни... Когда мне исполнилось пять лет, отец мой вышел в отставку, и тут начинается во мне борьба против моего собственного пола, борьба против женского призвания. Я поступила на попечение матушки... Взросшая в конюшне, с ухватками Астахова, которому я, как моему идеалу, во всем подражала, я могла только возбуждать ужас в моей матушке. Вместо того, чтобы играть в куклы или приучаться к женским рукодельям, я требовала себе пистолета, с плачем прося позволения «пощелкать» им. По дому только и слышалась моя команда: «Эскадрон направо!.. Заезжай!.. С места марш-марш!» Я страстно любила лошадей, и мою книжку я несла к моим любимцам, чтобы учиться поближе к лошадям, к конюшне... Но Боже мой! Разве же я была виновата в этом изуродовании моей природы, моих наклонностей! Когда матушка заметила во мне эти дикие инстинкты, она слишком круто повернула дело и окончательно изломала мою природу: она не отпускала меня от себя ни на шаг — ни погулять, ни порезвиться. По целым дням я должна была сидеть в горнице и плести кружева. Матушка сама учила меня вязать, шить, и все это с раздражением. Видя, что я не имею охоты

да и способностей к этим скучным упражнениям, что все в руках моих рвется и ломается, матушка сердилась, выходила из себя и била меня по рукам, била больно, безжалостно... При мне, бывало, она говорила отцу, что не выносит огня моих глаз, боится меня — ребенка-то!.. Что лучше желала бы видеть меня в гробу, чем такою дикою, какою я росла... И я все это слышала, и во мне умирала женщина, умирал человек... Меня стали держать взаперти... Только в добрых глазах отца да в ласке, которую он тайком давал мне, я видела сочувствие, жалость ко мне... О! Зато как же я и полюбила его! Эта любовь превратилась в страсть, когда я начала подрастать и более понимать то, что окружало меня. Я могла бы задохнуться в неволе, но в мою тюрьму мой добрый отец бросил луч света: он поселил во мне любовь к знанию, к учению. Он давал мне читать книги, в которых я нашла неведомый для меня мир. Я жила с людьми, которых никогда не видала, но я жила с героями, с высокими человеческими идеалами... В этом заколдованном мире я и росла... Перед матерью я молчала и покорялась, но угнетение дало зрелость моему уму. Я приняла намерение свергнуть с себя тягостное иго, и, подрастая, стала обдумывать план, как мне успеть в этом. Для меня оставался один выход — выступить в жизнь в роли мужчины, ибо только для мужчины этот необъятный мир открыт, как свой дом. Куда же я могла направить свою мысль? Туда, куда стремились мысли всего мира... Передо мною восстал образ Наполеона! Я имела дерзость думать идти против него... Но эта дерзость и спасла меня: я положила перестать быть женщиной, и вот вы видите меня... Я не женщина!

Греков взял ее руки и крепко пожал.

— Вы... вы... я не знаю, кто вы... Вы больше чем человек... вы... — но он не докончил.

— Да, я не человек, а урод...

— Нет! Ради Бога, не говорите этого... Вы — великая!

— Нет, я мелкая птица, отбившаяся от своей стаи и приставшая к чужой... Но меня могут узнать и заклевать... Все же я счастлива: я завоевала себе свободу мужчины... Как только я решилась похоронить себя как женщину, я старалась приучить себя к мужским занятиям: ездить верхом, стрелять из ружья. Для этого я не упускала ни одной минуты, когда могла урваться из-под надзора матушки и отдаться своим занятиям. У матушки гости, она занята ими, а я уже в саду, в своем арсенале: это уютный уголок в кустах, где хранились мои стрелы, лук, сабля и негодное

ружье... Я забывала весь свет, я забывала матушку, и только отчаянные крики горничных давали мне знать, что меня ищут, и я со страхом возвращалась к матери... Брань, укоры, наказания — я все выносила; я обтерпелась, потому что впереди светило мое солнце — свобода! О, вы, мужчины, не знаете, что такое свобода для женщины!.. Мой милый папа и тут был моим союзником: он купил мне черкасского жеребца.

— Это Алкида? — спросил Греков, с благоговением глядя на девушку.

— Да, Алкида... На нем сосредоточилась тогда вся моя нежность: я кормила его хлебом, сахаром, солью, и дикий конь привязался ко мне, к двенадцатилетней девочке: он ходил за мной как овца... За то каждый день я скакала на нем как бешеная. В то же время с каждым днем я становилась смелее и предприимчивее. Кроме матушки, я никого и ничего не боялась. Мне казалось странным, что мои сверстницы девочки боялись оставаться одни в комнате; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Когда все спали, я скакала по полю на моем Алкиде, и в семействе считали меня лунатиком, видя, как я в ночное время пробиралась к своему любимцу... Вот почему я так люблю этого коня.

— Да, Алкид — редкая лошадь, да и вас он любит...

— Это оттого, что мы с ним — сироты круглые...

Греков порывисто вскочил было, схватил свою собеседницу за руку, хотел что-то сказать, но не решился и снова опустился на свое сидение.

— Нет, говорите о себе лучше... Я точно во сне, — тихо сказал он, — говорите...

— Да я все сказала, кажется... Впрочем, может быть, матушка сделала для меня больше, чем я думаю... Да, быть может, я вышла бы из моего заколдованного круга, бросила бы все мои гусарские замашки и сделалась бы обыкновенною девушкой, как все, если б матушка не представляла мне в самом безотрадном положении участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола. Женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве... Вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы. Женщина исполнена слабостей, лишена всяких совершенств и ни к чему не способна. Женщина, одним словом, самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этой картины участи жен-

щины — и я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, который находится, как мне казалось, под проклятием Божиим... Мой пол был моею нравственной каторгой. Даже мой добрый папа говорил иногда, что вместо Надежды он желал бы иметь сына под старость... А ведь я так любила его!.. И вот я рвалась из каторги... и вырвалась... Правда, когда мне было четырнадцать лет и я гостила в Малороссии у своей бабушки, у Александрович, я немножко вздохнула там: у бабушки меня хоть не зашнуровывали и не морили над кружевом... Там я много читала, рисовала, гуляла... В Малороссии я...

Она разом остановилась и почувствовала, что краска разлилась по ее бледным щекам. Греков ждал, недоумевая над тем, что остановило ее. А ее остановил образ юноши, выглянувший из ее прошлого. «Кирьяк, Кирьяк!» — это далекое воспоминание, это имя, как бы кем-то произнесенное в ее сердце, остановили ее рассказ. Если б *его* не отняли у нее, может быть, она была бы не тем, чем стала она теперь.

— Я слушаю вас, — робко подсказал Греков.

Она опомнилась и тихо сказала:

— Я кончила, остальное вы все знаете.

Они замолчали оба. Чувствовалось, что что-то осталось недосказанным и с той, и с другой стороны. Наступила какая-то мучительная тишина: хоть бы ветер, хоть бы шум деревьев, шелест листьев! Нет, тихо, невыносимо тихо... Все точно ждет чего-то: и лес ждет, и небо ждет, и воздух ждет...

— Я... вы... А если вас оставят... отошлют домой... — старается сказать молодой казак, хочет что-то высказать, но не может — слов нет.

Еще тише стало... Фу! Да так с ума сойти можно от такой тишины проклятой.

— Вы оставите нас... забудете... — выдавливает из себя слова бедный Греков, этот храбрый казак, — вы не воротитесь к нам...

— Нет!.. Нет!..

И храбрый улан заплакал. Она припала лицом к ладоням. Странно было видеть эту круглую стриженую женскую голову на туловище улана.

И храбрый казак растерялся. Он стал отнимать ладони улана от плачущего лица.

— Ради Господа!.. Что ж это такое будет!.. Дуров!.. Надежда! — казак совсем сбился с толку: и Дуров, и Надежда, а по батюшке как — не знает. Поневоле растеряешься.

— Надежда!.. Надя!

Так-то лучше. И казак обнял улана, целовал его руки, рейтузы... Руки улана потянулись и обвились вокруг шеи казака. И казацкие, и уланские губы соединились.

Ну, а дальше как следует, это всякий знает.

VI

— Ну, братец ты мой, и сунул же ноне меня нечистый в лес — ай-ай! — рассказывал в тот же вечер словоохотливый гусарик, которого мы уже видели под Фридландом и который рассказывал Дуровой, как их эскадронная Жучка с ними в атаку ходила и как ее француз ранил. — Вот угораздил.

— А что? — спрашивали товарищи.

— Да такое, братец ты мой, что не приведи Бог.

— Ноли леший?

— Где леший! Хуже того.

— Али русалка?

— Да ты, черт, слушай!

— Что лаешься, пес?

— Не лаюсь — дело говорю.

— Ну и говори!

— И говорю... Вот, братец ты мой, — обращается рассказчик к другому, — иду это я лесом, к речке этак, коли слышу впереди этак — не то стонет, не то плачет... Глядь — ан черти.

— Что ты! В образе?

— Да ты не пербивай.

— Я не пербиваю... ну, черти?

— Каки черти. Казак улана...

— Что ты! Бьет? Убил?

— Не бьет... Цалует, братец ты мой!

— Ой ли! Как цалует?

— Да так... Посадил этак ево к себе на колени...

— На колени! Ах, дьявол!

— На колени, да и облапил... словно бабу.

— Ай-ай-ай! Вот срам! А улан что?

— Знамо — улан раскис да казака обнимает...

— Эге-ге-ге! Так ее, бач, казак з уланом женихается? — не утерпел Заступенко, приятель Лазарева, тот самый, что Александра Павловича насмешил в Тильзите. — От бисовы москали!

— Ну, и что ж? — любопытствовали товарищи.

— Что! Я как воззрил на эту вещию — да назад!

— Как назад! Что ж ты их не накрыл?

— А поди сунься, ожгись.

— Что двое-то? Эка невидаль!

— Не двое... А уголовщина, братец ты мой. В свидетели притянули бы — как да что... Затаскают!

— Это точно что затаскают.

— За что затаскать?

— Как за что? Да это дело, братец ты мой, Сибирью пахнет.

— Пахнет, верно.

— Ну-ну! уж и казаки, Бога на них нету.

— Вестимо, нету. Не даром сказано: казака кобыла родила.

— А народ храбрый... Что грешить — ловкий народ, заносистый.

Так-то солдатики своим непосредственным умом и своим непосредственным отношением к явлениям жизни отнеслись к той простой идиллической сцене в лесу, на берегу Двины, действующими лицами в которой были застенчивый, растерявшийся Греков и пораженная неожиданною вестью Надя Дурова.

День и ночь она провела в каком-то полубреду. То бродила она по лесу, когда Греков, торопившийся возвратом в Витебск, оставил ее, надеясь увидеть в штаб-квартире, садилась на то место, где они сидели вдвоем, искала следы его ног на песке, и нашла даже следы его колен... безумие! — возвращалась в свою квартиру, молча, ничего не понимая, слушала болтовню суетившихся около нее евреят; то брала свой дневник, впоследствии, в 1836 году, напечатанный Пушкиным в «Современнике», куда она вносила наиболее выдающиеся и памятные впечатления своей жизни, а теперь, держа перо в руке, никак не решалась и не умела внести в него то, чем переполнена была ее душа — не находила слов, звуков, потому что то, что она чувствовала теперь, кричало в ее душе, пело и ныло и радостным чем-то и чем-то похоронным, прощальным... То выходила она ночью к Алкиду, и припав к нему на шею, плакала, то прощалась с ним, то здоровалась, охватываемая какою-то блаженною радостью... Безумие, блаженное безумие!..

Но зато как часто она вынимала из ножен свою саблю и смотрелась, как в зеркало, — да и где было ей взять зеркало? — в ее блестящий клинок... «Дурнушка... дурнушка... рябая... и глаза!.. А у него какие милые глаза... милый, милый!..»

— Пожалуйте к генералу! — раздается вдруг голос.

Это уже утро. На пороге стоит вестовой... Дрогнуло сердце, да так и замерло... «Так это правда... Боже!»

— Сейчас буду, — никак не совладает она с своим голосом.

— Счастливо оставаться.

— Прощай...

«Нет, это не мой голос, — думается, — куда мой девался? В лесу, там, где следы колен?..» Вестовой уходит, бряцая шпорами. Она одевается. Руки холодные, дрожат. Сердце сжато. Торопливо вычищен мундир, застегнут... Трудно на груди застегивается... А он... его рука тут... Боже мой!.. Надеваются белые шерстяные эполеты, подвязывается сабля, и эта бряцает, словно живая... Через плечо белая перевязь с подсумком и патронами... Талия перетянута... Вышла, надев каску с султаном.

На дворе обступают евреята, ахают...

— Ах, какой панич! Ах, как хорошо!

На улице, кажется, все глядят на нее. У всех на лицах что-то особенное, а это «особенное» у нее в душе, в ее нервах, а не у них на лицах...

— Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть!..

Это голос Пилипенка, муштрующего свою Жучку.

— В кольцо! В кольцо! Эх, в самое сердце угодит...

Это голоса солдат, играющих в свайку. Все это как-то странно звучит, особенно...

«А вдруг государь скажет: «Я назначаю тебя своим адъютантом»... А там — после... Наполеон в плену... я отбираю у него шпагу... везу его... А он... Греков... как же без него?..»

«Жоры-дачка тан-ка,
Речи-ка глыба-ка —
Жордачка танка,
Речка глыбака...»

Это кто-то на балалайке выщипывает, весело кому-то, беззаботно... ей не весело — все как-то спуталось в душе, перебилось, разброд идет...

«Неужели Каховский ничего не увидит у меня на губах?.. Я сама чувствую, что есть что-то, следы чего-то отпечатались... Он узнает — стыдно, стыдно... И по глазам узнает... И государь узнает — этого скрыть нельзя... Разве спрячешь солнце?..»

Как-то машинально, автоматически вступила она в квартиру Каховского. Это был уже немолодой генерал, с сильною проседью в белокурых волосах, особенно на висках, и с голубыми, все еще ясными и говорливыми глазами. Он сидел у стола, на котором стояла большая хрустальная чернильница с

этажерочкой, уложенной гусиными перьями. На столе разбросаны были бумаги — ордера, приказы, рапорты эскадронных начальников, письма. Тут же сидел какой-то пожилой господин, которого Дурова видела в первый раз.

Едва девушка явилась пред лицом начальства, как трезвость мысли сразу воротилась к ней. Она помнила одно, что она солдат, что ее вытребовали по делам службы.

Вытянувшись в струнку, она ждала приказаний. Но в то же время она сразу увидела, что и здесь на нее смотрят как-то особенно, а неизвестный господин — так тот положительно воззрился на нее, хотя старался не дать этого заметить.

— Здравствуйте, господин Дуров! — ласково, хотя начальнически сказал Каховский.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — отвечала девушка тоже служебным тоном, звякнув шпорами и выпятив и без того выпяченную природою грудь.

— Скажите, пожалуйста, — продолжал генерал, — согласны ли были ваши родители, чтобы вы служили в военной службе, и не против ли их воли вы поступили?

— Против их воли, генерал.

— Вы дворянин? — снова спросил Каховский.

— Да, генерал, наш род дворянский.

— Что же побудило вас идти против воли родителей?

— Моя непреодолимая наклонность к оружию. Я с детства мечтал о военном деле... Но так как родители не хотели меня отпустить, то я тайно ушел от них с казачьим полком.

— Странно, очень странно все это, — говорил генерал как бы сам с собою. — А теперь родители ваши знают, где вы и что с вами?

— Не знаю, генерал. В мае, перед походом нашим за границу, я писал отцу, извещал его, где я и что со мной, просил его прощения... Но, вероятно, письмо не дошло до него.

— Хорошо, молодой человек. Я вас призвал затем, чтоб объявить вам приказ главнокомандующего: вы сейчас же должны ехать в Витебск и явиться к графу Буксгевдену. Полковник Нейдгардт, — он указал на незнакомого господина, — адъютант графа, сам проводит вас в Витебск.

Девушка не могла не удивиться, когда увидела, что Нейдгардт встал и поклонился ей — это полковник-то, адъютант главнокомандующего, кланяется юнкеру!

— Но вы должны оставить ваше оружие здесь, — добавил Каховский.

Девушка сделала движение испуга.

— Не бойтесь, господин Дуров...

— Ваше превосходительство! — жалобно заговорила странная девушка.

— Повторяю вам — не пугайтесь: я не арестую вас, я только соблюдаю форму, — с улыбкой сказал Каховский.

— Генерал... я не заслужил, чтоб...

Она не могла говорить от волнения.

— Успокойтесь, успокойтесь, молодой человек... Вы большего заслужили, чем это... Я лично был свидетелем вашей храбрости и могу сказать — не в обиду вам, — безумной. Я тогда же, помните, намылил вам голову. — Потом, обратясь к Нейдгардту, прибавил: — Вообразите, полковник, этот юноша, — на «этом юноше» генерал сделал очень подозрительное ударение, — этот юноша, в битве при Гудштадте, во время жарчайшей схватки бросается на кучу французов и отбивает у них пленного почти, раненого русского офицера. Эта безумная дерзость юноши до того поразила французов, что они растерялись и ускакали. А этот молодец отдает свою лошадь раненому. А потом еще лучше: перехватывает где-то, под самым огнем неприятеля, раненого улана и возится с ним, как нянька... Так, сударь, могут поступать только дети, — закончил он, обращаясь уже к Дуровой. — А теперь — счастливого пути.

— Но мое оружие, генерал...

— Об оружии — после, а теперь исполняйте приказание начальства.

Нейдгардт встал и простился с генералом.

— Так вы со мной? — обратился он к недоумевающей девушке.

— Как прикажете... я сейчас...

Она никак не могла отстегнуть саблю — руки ходенем ходили.

— Я помогу вам, — сказал Нейдгардт, нагибаясь, чтоб отстегнуть крючок.

«Полковник помогает юнкеру... солдату... Да, Греков прав — там что-то знают... догадываются», — мелькнуло в голове странного юнкера.

Они вышли. С обеих сторон чувствовалась неловкость.

— Вы, вероятно, желаете приготовиться к дороге? — сказал Нейдгардт нерешительно. — Мы сейчас едем.

— Да, полковник, я должен зайти к себе — распорядиться насчет коня...

— О коне не беспокойтесь — его будут беречь впредь до распоряжения. А вы о себе подумайте.

— Разве меня навсегда увозят отсюда? — с испугом спросила девушка.

— Не знаю... Мне не дано на этот счет приказаний... Но лучше приготовьтесь... к дороге, конечно.

— К дальней, полковник?

— Может быть... на всякий случай... Через четверть часа мой экипаж будет у ворот вашей квартиры... До свидания.

Он ушел. Она стояла в нерешительности, точно забыла, где ее квартира. Словно весь свет перевернулся. Это все тот же Полоцк — да не тот: не то освещение, не те дома, не те выражения на лицах у людей... Что это? Чувство разлуки?.. Точно разом все это становится чужим — и так скоро, мгновенно! Это словно так, как смотришь на мертвого: вчера он смотрел, разговаривал, понимал, а сегодня — он точно чужой всем и все ему чужие... Он точно ушел куда-то, ушел навеки, хоть он лежит тут... Так и Полоцк разом ушел — и та роща ушла, что вчера была так зелена и тиха, что вынудила *его* говорить... И то местечко ушло, где сидели они... Ушли и следы *его* колен на песке... и *он* ушел...

— Ах, панич, где ваша сабля? — пищит Срулик.

Тут только она опомнилась — увидела, что она уже на квартире у себя. Быстро дрожащими руками уложив свой немудреный походный багаж, девушка вынесла его на крыльцо и бросилась в сарай к своему Алкиду. Конь, не видавший ее с утра, радостно заржал и как собака стал тереться головой о ее плечо. А она, обхватив его шею, крепко сжала.

— Прощай, Алкидушка, прощай, мой милый! — шептала она. Евреята окружили эту группу и стояли с разинутыми ртами... Умные глаза коня говорили, что он что-то понимает...

У ворот послышался стук экипажа, и во двор вошел Нейдгардт... Из сарая вышла Дурова, окруженная евреятами, а за ними вышел и Алкид — он оборвал недоуздок и следовал за своей госпожой... Дурова как-то отчаянно махнула ему рукой...

— Ради Бога, Салазкин, возьми его, береги, корми его получше... давай ему соли чаще, — быстро говорила она, обращаясь к подошедшему улану.

Нейдгардт, видимо, был тронут этой трогательной привязанностью к коню.

— О нем не беспокойтесь: его сберегут вам, — успокаивал он.

Но Алкид был не промах, — он сразу понял, в чем суть: не давшись в руки Салазкину, он все лез к своей госпоже,

так что та не устояла: она снова бросилась к нему и обняла его шею.

— Прощай, прощай, мой милый!

Но едва она вместе с Нейдгардтом вошла в коляску и тройка тронулась, как Алкид, повалив Салазкина, бросился за экипажем, твердо, по-видимому, решившись поставить на своем. Пришлось остановить коляску и прибегнуть к насилию. Нейдгардт очень смеялся, а Дурова чуть не плакала. Но делать было нечего: сошлось несколько улан, притащили крепкий аркан с петлею, и избалованный конь только тогда всунул голову в эту петлю, когда она преподнесена ему была руками его любимицы... Уланы с трудом удержали его, когда коляска двинулась в путь.

Проезжая мимо рощи, Дурова силилась вспомнить последние слова, сказанные ей Грековым там, на откосе берега, но не могла: она только чувствовала их...

Курьерская тройка мчалась вихрем, колокольчик захлебывался под дугой, рощи, боры, болота, поля и человеческое жилье мелькали, как в передвижной волшебной панораме... Ямщик то и дело выкрикивал: «Соколики, грабют! Не выдай!» — и соколики мчались от станции до станции, словно бы за ними в самом деле по пятам гнались разбойники.

Дурова сидела задумчивая, грустная... Ей самой казалась загадочною ее судьба: оглянуться назад — страшно как-то, сердце щемит от этого оглядывания, там порваны какие-то нити, а концы этих нитей все еще висят у сердца, как змеи, и сосут его... Вперед заглянуть — еще страшнее: ведь это туда, вперед, и мчит бешеная тройка, торопится... А что там?.. Но что бы там ни было — вперед, вперед! Молодое воображение тянет вдаль — хочется разом распахнуть завесу будущего, разом охватить все, разом выпить чашу жизни... Вот-вот, кажется, разверзаются небеса... Да они вчера разверзались уже на момент — и опять закрылись... А *он*?.. Неужели все это уже кануло в пропасть и не вынырнет оттуда?.. Но ведь это был только сон...

— Вас пугает, кажется, неизвестность того, что ожидает вас? — ласково спрашивает Нейдгардт.

— Да, полковник, — отвечает она неопределенно.

— Напрасно... Конечно, я не могу сказать вам верного, но могу предсказать только хорошее... Вам который год?

— Вот уж семнадцать минуло недавно.

— Уж семнадцать! Эки ужасные лета! — добродушно засмеялся полковник. — Уж семнадцать... А давно вы оставили ваш дом?

— Ровно год.

— И это все вы проделали шестнадцати лет!.. Ну, удивляюсь вам, решительно удивляюсь... А я в ваши годы чуть ли не в лошадки играл в корпусе... А вы где воспитание получили?

— Дома, под руководством отца.

— А ваш батюшка военный?

— Да, он был гусаром.

— И фамилия его Дуров?

— Дуров.

Добряк полковник еще что-то хотел спросить, но не решился: он чувствовал, что это уже будет нескромность, нечто вроде выпытывания. Поэтому на серьезные вопросы он и не отваживался.

— Да, да... Уж и конь у вас — вот умница! Умнее иного солдата... Он давно у вас?

— С двенадцати лет.

— А избалован, шельма, — ух, как избалован... А вас слушается?

— Слушается.

— Удивительный конь!

Опять молчание. Опять — «соколики, грабют!..» Полковник чувствует свою неловкость.

— А у меня дочка ваших лет, — заговаривает он и вдруг конфузится, почувствовав, что сказал будто бы что-то лишнее. — Она у меня в Смольном...

Молчание.

— Видели Наполеона? — попытка поправить промах.

— Видел, полковник.

— Где изволили видеть?

— И под Фридландом — издали, и в Тильзите близко.

— Необыкновенный гений!

— Я, полковник, удивляюсь ему, но не люблю его.

— Так, так, он и не стоит... честолюбец, и прежестокий.

Бедный полковник не знал, как скоротать скучную дорогу. Это поручение, выпавшее ему на долю, поручение — доставить таинственного юношу, под которым — передают за величайший секрет — скрывается девушка, — да, это поручение — труднейшее и щекотливейшее из всех, какие он исполнял в своей жизни... И притом — «по высочайшему повелению», это вот чем пахнет... Вот тут и вертись словно на иголках; того и гляди бухнешь невпопад, скажешь лишнее... А болваном сидеть тоже совестно... девчонка, может, в самом деле... и усов не видать, и голос тонковат для семнадцатилетнего молодца, да и мундир-то как будто бы неладно сидит на

груди, расползается как-то; ну, и рейтузы на бедрах тоже мое почтение — расперло-таки... Черт знает что такое!.. Вот тут и вертись, чтоб в дураках не остаться... А! Пропадай ты совсем!.. Приходится хоть на коне выезжать, всего безопаснее...

— Что-то он, голубчик, поделывает? — закидывает полковник.

— Кто, полковник?

— Да конь ваш.

— А! Алкид...

— Так его Алкидом зовут?

— Алкидом, полковник.

— Хорошее имя — романтическое.

И опять материал для дипломатического разговора истощается.

— Вот у меня кобыла Клеопатра — тоже имя романтическое... Хорошая кобылка...

Но словом «кобылка» бедный полковник опять давится — поперхнулся... А черт ее знает — может, и в самом деле барышня, а я, болван, о кобыле брякнул... Эх! скорей бы Витебск — с плеч эту гору... Только ямщик немножко и выручает...

— Эх, но! Соколики, грабют!.. С горки на горку, даст барин на водку.

— Хорошие ямщики здесь — русские... это уж мы развели их, с войной... а то здешние... ездить не умеют, — поддерживает разговор из сил выбившийся полковник.

А с другой стороны молчание. Мысль работает усиленно, но ни на чем она не может сосредоточиться. Теперь меньше чем когда либо можно найти точку опоры для мысли, словно бег Меркурия совершает она, только вместо Меркуриева шара под ногою — шар земной... Есть какая-то светлая точка, но и она, кажется, назади, там, на берегу Двины, за рощей... это следы колен да шепот, да какие-то слова...

А бедного полковника уж в жар бросает... «Вот комиссия! И о чем я стану говорить?.. Все выйдет щекотливо, неловко... А главнокомандующий прямо приказал, что, дескать, деликатнее надо, не показывать виду, да чтоб оно выходило не щекотливо... А вот сам бы попробовал влезть в мою шкуру — и вышло бы щекотливо... Ведь дьявол его знает, что *оно* такое — сидит-то около тебя... Ведь «по высочайшему повелению» — тут так влопаешься, что и не вылезешь... Может *оно* сделается таким, что нам, полковникам, головы будет свертывать, недаром *оно* заинтересовало государя...» Бедный полковник совсем растерялся: он и мысленно не знал, как от-

носиться к своему спутнику — «ни *он*, ни *она* — черт знает что такое!.. *оно* и больше ничего...

— А я все думаю о вашем коне, — делает последние, отчаянные усилия полковник. — Удивительный конь! Как бишь его зовут?

— Алкид, полковник.

— Да, да, — Алкид... преромантическое имя...

Но — слава Богу! — вот и Витебск... Ямщик гикает как-то нечеловечески, лошади забирают вмертвую, коляску бьет лихорадка — не до разговоров больше... Через несколько секунд тройка остановилась у квартиры главнокомандующего.

Приезжие прямо из экипажа вошли в приемную графа Буксгевдена. Они не успели даже стряхнуть с себя дорожной пыли — так торопливо исполнялось требование из Петербурга...

Дежурные офицеры и все бывшие в приемной с недоумением смотрели на привезенного юношу. Все полагали, что это государственный преступник, тем более что при нем не было оружия, но он был не под караулом: это вызывало новые недоумения...

Полковник Нейдгардт был введен в кабинет главнокомандующего, и через минуту вышел оттуда.

Ввели Дурову. Граф Буксгевден был один. Он стоял по одну сторону стола, заваленного бумагами и ландкартами с натыканными в них булавками. При входе девушки, маленькие, прищуренные, видимо, усталые от чтения рапортов и всякой деловой переписки глаза графа быстро окинули ее всю с макушки до носков казенных сапог. Впечатление, по-видимому, было благоприятное.

— Вы Дуров? — спросил он скороговоркой.

— Точно так, ваше сиятельство, — был ответ, в котором слышалось дрожание молодого голоса.

Граф вышел из-за стола и, подойдя к девушке, положил руку на ее плечо.

— Я много слышал о вашей храбрости, — сказал он, желая заглянуть в глаза, которые были опущены, — и мне очень приятно, что все ваши начальники отозвались о вас самым лучшим образом.

Он остановился и отнял руку от плеча, которое, как ему казалось, немножко дрожало.

— Вы не пугайтесь того, что я скажу вам, — продолжал главнокомандующий, — я должен отослать вас к государю... Он желает видеть вас. Но повторяю — не пугайтесь этого: государь наш исполнен милости и великодушие, вы узнаете это на опыте.

Страх все-таки не был осилен этим предупреждением. Сердце, в свою очередь, предъявило сильные права: прощание с полком, с полною тревог и поэзии боевою жизнью, с товарищами... А этот шепот за рощей, эти слова чарующие, ласки — самая сосна, кажется, под которою они прощались, нагибалась, чтобы подслушать этот шепот... Прости! Всему надо сказать — прости!.. Она задрожала...

— Ваше сиятельство! Государь отошлет меня домой, и я умру с печали!

Это было выкрикнуто так по-детски, с такою искренностью, что тяжелая рука главнокомандующего опять легла на дрожащее плечо. Она подняла на него глаза, полные мольбы и страха — такие детские глаза!

— Не опасайтесь этого, молодой человек! — мягко сказал старик. — В награду вашей неустрашимости и отличного поведения государь не откажет вам ни в чем. А как мне велено сделать о вас выправки, то я к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского приложу еще и свое донесение. Поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести.

Щеки девушки розовели, сердце распускалось... Она уже живет надеждой, возвратом, свиданием... соловьи просыпаются в сердце...

— Будьте же готовы к отъезду немедленно... Вас доставит к государю флигель-адъютант Засс, который проедет с вами через Москву для исполнения другого поручения его величества. Прощайте. Желаю скорее увидеть вас в числе моих офицеров.

Выйдя из кабинета в дежурную, девушка остановилась как вкопанная: задом к ней стоял какой-то генерал в штабной форме и строгим голосом говорил что-то стоявшему против него навытяжку молодому донскому офицеру... это был Греков! Девушка из слов генерала успела расслышать:

— За самовольную отлучку в Полоцк вы должны высидеть на гауптвахте неделю...

— Слушаю-с, ваше превосходительство, — был ответ Грекова.

В это время глаза его встретились с испуганными глазами девушки, но в этой испуганности было что-то такое, что заставило калмыковатые добрые глаза Грекова отвечать, что за эту испуганность он с радостью готов высидеть на гауптвахте месяц, полгода, год!.. И у нее отлегло на сердце.

VII

Опять идет служба в Архангельском соборе в Москве. Восковые свечи — и толстые, купеческие, как купеческие карманы, и тоненькие, словно одни фитильки, мужицкие свечечки — тысячами огней теплятся и оплывают, и чадят, теплятся и чадят в душном, тяжелом, насыщенном дымом ладана, свечным чадом и чадом дыхания молящихся воздухе церковном. Глухие, словно выходящие из пивной бочки возглашения любимого купцами и купчихами рыжего дьякона, скрипучие попискивания старого, испостившегося на осетринке от благодетелей протоиерея, октавы, басы, тенора и дисканты проголодавшихся певчих, шепот и по временам стоны молящихся, стукание кулаками в сокрушенные перси, сокрушенными лбами в помост церковный, звякание о ктиторово блюдо лобанчиков, рублей, пятаков и всего громче кричащих к небу грошей бедняков, — все это так величественно, внушительно, как внушительно движение волны морской, шум говора народного, говор дремучего бора в ветер...

Вон, у самого клироса, стоит знакомая уже нам фигура, с высоким, гордым, но опущенным книзу белым лбом; на лице, в опущенных глазах, в задумчивом склонении головы отражается эта внушительность места и обстановки. Это граф Ростопчин.

«На этих склоненных головах, на этих согбенных спинах, на этой детской вере, что заливает церковь огнями копеечных свечечек, а церковный помост слезами, — на этом фундаменте я сумею построить величавое здание, храм народного духа, и имя мое, как имя архитектора, записано будет на скрижалях бессмертия... Вот где наша сила — в восковой копеечной свечке; и я еще когда-нибудь зажгу ее — и будет она вечно теплиться в истории вместе с моим именем...»

Так мечтала прикрытая французским париком, длинная, честолюбивая голова Ростопчина, которому не давал спать патриотический успех его «Мыслей вслух на Красном крыльце».

Несколько в стороне от Ростопчина стоит Мерзляков. И его доброе лицо задумчиво. Ему вспоминается старик Новиков, заживо схоронивший себя в своем Авдотьине и воспитывающий карасей в своем вотчинном озере. Молитва его мешается с этими воспоминаниями,

«Да, караси, караси... молящиеся караси — все больше караси... Есть и щуки — вон купцы с Мясницкой, из Охотного ряду — это щуки зубастые... Вон еще щуки молящиеся...

Мечтатель — Николай Иванович, старый мечтатель... Эх, невесело житье человеческое!..»

Рядом с дядей стоит и Ириша. Тепла ее молитва, и молодое лицо ее теплится радостью и благодарностью, вон как та свечечка восковая, что поставила девочка с радостным личиком и новым платочком на голове... За этот платочек-обновку она и свечечку ставит: Бог послал обновочку, крестный подарил... А у Ириши своя обновочка: пленных разменяли... Эх, всемогущая молодость! Ты все творишь из ничего...

А вот, как видно, тот отставной военный, что стоит у стенки и глядит на Спасителя, не умеет создать себе счастье из ничего. С мольбою смотрит он на образ — и нет-нет да и скатится по лицу его одинокая слеза и стукнет о пол... Он еще не очень стар, но, видно, горе его старо...

А это чье молодое лицо смотрит на него с такою любовью и тоскою? Чьи это молодые губы шепчут: «Господи! Пошли ему успокоение и радость... Папа! Папа! Это я дала тебе горе, бедный мой!» Да, это те губы шепчут так, которые недавно целовались с другими, калмыковато толстыми губами за рощею, у Двины, под Полоцком. Это она — Дурова, в своем уланском мундире стоит в соборе и молится. Флигель-адъютант Засс, взяв ее из Витебска, заехал по делам службы в Москву, и она в то время, когда Засс отправился с каким-то поручением к московскому главнокомандующему и сказал, что воротится не раньше двух часов, пошла взглянуть на Кремль и зашла в Архангельский собор, где обедня еще не кончилась... Стоя в церкви и разглядывая ее, она вдруг издали узнает знакомый затылок и лысину... Сердце так и запрыгало у нее, не то оборвалось и заныло при виде этого широкого затылка и этой светящейся лысины... «Это папин милый затылок, папина лысина, которую я целовала когда-то...» Подходит ближе и видит, что это молится и плачет ее отец... о ней, дуре, плачет, о бессердечной, о недостойной дочери молится... Так бы она и бросилась перед ними на колени, так бы и выцеловала с холодного пола все слезинки, которые упали из его добрых глаз на этот пол и разбились, да не смеет она этого сделать, не может... *теперь* не смеет, потому что ее везут к государю и никто не должен знать, кто она.

Между тем служба кончается. Молящиеся расходятся. Но к старенькому попику, выглянувшему из боковых врат, суется кучка мужчин и в особенности женщин и баб, желающих служить молебны. Дурова стоит сзади и видит все это. Впереди всех — ее папа.

— Вам, государь мой, панихиду или о здравии? — спрашивает, тряся головкой, попик папу.

— Я и сам не знаю, батюшка, — отвечает папа, утирая слезы.

— Как, государь мой, не знаете? — удивляется попик.

— Не знаю, батюшка.

— О ком же вы молиться желаете, государь мой?

— О дочери.

— Что ж она — умерла, помре?.. Скончалась?

— Не знаю, батюшка.

— Больна, может? Немоществует?

— И того не знаю... Может быть, умерла, может, жива... Но думаю, что ее нет уже на свете.

— Так глухую вам, государь мой, молитву можно, — соображает попик.

— Хоть глухую, батюшка, — отвечает тоскливо папа.

В это мгновение над ухом его раздаются слова:

— Дочь ваша жива и здорова... не печальтесь...

Как громом пораженный, он задрожал и чуть не упал.

— Надя! Надя!.. Это ее голос!

Но когда он обернулся, он не увидел той, голос которой слышал: она быстро скрылась в толпе.

— Солдатик какой-то, — шептали пораженные бабы.

— Уланик молоденький, — подтверждал попик.

Дуров бросился искать уланика в церкви, на паперти, на площади — уланика и след простыл.

Через два дня уланик был уже в Петербурге. Весь этот путь от Полоцка и Витебска до Петербурга, эта бешеная фельдъегерская скачка, Москва, никогда ею не виданная, подавляющая своей бестолковой громадностью и сутолокой всякого, кто жил только в глуши, потом эта потрясающая сцена в Архангельском соборе, а тут Петербург, словно гриб необычайного вида, выросший на трясине и не проваливающийся в болотную глубь, эти гранитные, каменные и бронзовые чудища ввиде дворцов, храмов, палат и памятников, торчащие над водою, этот блеск, и стук, и гам, и хрест оголтелых, торопящихся и суетящихся десятков тысяч людей, эти тысячи колес, стучащих и дребезжащих по всем улицам, — все это слишком ново, слишком разом, слишком много для девочки, по нервам которой хотя и перекатилось такое тяжелое колесо, как Фридланд с громом сотен орудий, с пальбою сотен тысяч ружей и тысячами стонущих и умирающих людей, однако все же этого слишком много, слишком разом: впечатлений и переходов, крутых и невероятных, слишком много образов, сцен,

потрясений тоже много — и не ее бы нервам вынести это, а они вынесли... Да, чего не вынесет молодость с крыльями Меркурия на ногах и в сердце!

А тут надо вынести еще нечто...

В день приезда в Петербург юный уланик, сопровождаемый Зассом, едет во дворец... Все эти переходы по громадному зданию, этот лабиринт, блестящий золотом убранства и золотым шитьем на людях — все это мелькает в глазах, как сон, как волшебство, и исчезает, мгновенно вылетает из памяти, оставляя следы только на нервах...

Юный уланик машинально, но стройно, как восковая свечка, входит в императорский кабинет, ничего не видя вокруг себя... Она видит только, что к ней тихо, ровно, как-то монументально приближается очень высокий, очень стройный, с немигающими глазами человек... Где она видела такие же совсем не мигающие глаза?.. Да, в Тильзите, у маленького кругленького человека в странной треугольной шляпе... Да еще она видела немигающие глаза у одной большой птицы в Малороссии, когда она гостила там... Это был орел. И тут глаза не мигают...

Задумчивое лицо, разом, так сказать окатив с головы до сапог вошедшую своим немигающим взглядом, подходит к ней и, взяв за руку, которая, холодная, дрожала как осиновый лист осенью, подводит ее к столу, опирается другою рукою на стол с богатыми инкрустациями и, продолжая держать трепетную холодную руку, говорит тихо, словно на исповеди:

— Я слышал, что вы — не мужчина... Правда ли это?

Она стоит с потупленною головой. Голова гладко стрижена — такая круглая, словно точеная... Немигающие глаза все это осматривают — и эту круглую наклоненную голову, и эту выдавшуюся, приподнятую и подымающуюся как у взволнованной женщины грудь... Минута молчания... Наклоненная голова поднимается, и в немигающие глаза смотрят робкие, смущенные женские глаза...

— Да, ваше величество, правда, — шепчут губы бесстыдницы, несколько дней тому назад целовавшиеся с толстыми, калмыковатыми губами мужчины.

Немигающее лицо краснеет мало-помалу. Краска заливает и лицо той, которая сейчас отвечала, что она не мужчина... Ее глаза — не из немигающих, не орлиные, они не выносят немигающих глаз и опускаются долу, да так уж больше и не поднимаются.

— Что было причиною, побудившею вас отказаться от своего пола? — спрашивает ее государь.

— Ваше величество! С самого детства я получила наклонности, которые привели меня к этому решению, — отвечает наклоненная голова.

— Ваш отец военный?

— Отставной гусар, ваше величество.

— Как же вы пришли к такому решению, небывалому в России? В прошедшем вы не могли найти примеров для себя.

— Я нашла их в моем сердце, государь, в моей природе. Я родилась на походе. Я имела несчастье родиться вопреки надеждам моей матушки и потеряла ее любовь. Гусарское седло было моею колыбелью, эскадронный фланговый — моей няней и воспитателем, эскадронная конюшня — моею первою школою. Оружие заменяло мне детские игрушки. С детства матушка моя внушала мне, что женщина — жалкое, презренное существо, на котором тяготеет проклятие Божие...

— Напрасно она так говорила. Это — хула на Духа Святого... Как же вы привели в исполнение ваше намерение?

— Когда мне исполнилось шестнадцать лет, государь, я тайно ушла от родителей и пристала к казачьему полку, следовавшему на Дон.

— Когда это было?

— Ровно год, государь.

— В каких делах вы участвовали?

— При Гутштадте и под Фридландом, государь.

— И вас не испугало то, что вы там видели?

— Нет, государь.

— Да, верю... Все ваши начальники отозвались с великими похвалами о вашей храбрости, называя ее беспримерною... Мне очень приятно этому верить, и я желаю сообразно этому наградить вас и возвратить с честью в дом отцовский, дав...

Государь был прерван — слово недосказалось. Вскрикнув от ужаса, точеная голова упала к ногам императора.

— Не отсылайте меня домой, ваше величество! Не отсылайте! Я умру там, умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию. Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотела ей пожертвовать для вас...

Точеная голова билась о сапоги императора, руки ее обнимали его колена... Голос дрогнул, когда император, поднимая ее, сказал:

— Чего ж вы хотите?

— Быть воином, носить мундир, оружие... Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь. Дру-

гой нет для меня. Я родилась в лагере. Трубный звук был колыбельною песнью для меня. Со дня рождения люблю я военное звание. С десяти лет обдумывала средства вступить в него, в шестнадцать достигла цели своей, одна, без всякой помощи. На славном посту своем поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие, а теперь ваше величество хотите отослать меня домой. Если б я предвидела такой конец, то ничто не помешало б мне найти славную смерть в рядах воинов ваших.

Государь был, видимо, растроган. В его глазах затеплилась доброта и жалость. Он задумался.

— А закон? — сказал он как бы про себя.

— Закон — ваше слово, государь.

— Но женщина по закону не может быть воином.

— Я останусь мужчиной, ваше величество.

— Хорошо. Ваша тайна и должна оставаться тайной.

— Клянусь, государь, — эта тайна умрет в груди моей.

Но перед нею разом встало калмыковатое, дорогое ей лицо... Сердце бросило кровь к щекам — они запылали...

— Если вы полагаете, — сказал государь, — что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее и будете называться по моему имени — Александровым... Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков. Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем.

Новый Александров упал на колени, чтобы благодарить.

— Встаньте. Я определяю вас в мариупольский гусарский полк — офицером.

«А где он стоит, мариупольский полк — далеко от атаманского казачьего? — промелькнуло в голове нового Александрова. — Бедненький Греков — он и теперь на гауптвахте... думает обо мне...»

— Мне сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне об этом, — говорит государь. Где это было?

— При Гутштадте, ваше величество.

— В самом бою?

— В бою, государь.

— Как же это было?

— Во время одной из атак я увидела, что несколько человек неприятельских драгун, окружив русского офицера, выби-

ли его выстрелами из седла. Раненый офицер упал и драгуны хотели рубить его, лежащего... Тогда я быстро понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, ваше величество, что моя сумасбродная смелость озадачила их и испугала нечаянностью, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врозь. Я подняла раненого, посадила на свою лошадь и отправила в обоз, а сама оставалась в битве пешею. Офицер, которому я подала помощь, был Панин.

— Это известная фамилия, — заметил государь, — и неустрашимость ваша в этом одном случае сделала вам более чести, нежели в продолжение всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей — сострадание. Хотя поступок ваш служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтоб вы получили и ту, которая вам следует по статуту: за спасение жизни офицера дается Георгиевский крест.

Государь обернулся к столу. Взглянула на стол и девушка: там, на бумаге, она увидела беленький крестик на полосатой черно-желтой ленточке.

— Вот ваш кавалерский знак — вы заслужили его.

И государь, взяв крестик, собственноручно стал вдевать его в петлицу героя. Петлица приходилась как раз на самом возвышении груди героя. Грудь эта поднималась от волнения — крестик не попадал в петлицу. Герой, новый кавалер, пунцовел как маков цвет.

Наконец, крестик вдет, болтается, бьется вместе с грудью. Не успел государь отнять руку от груди нового кавалера, как в кабинете, без доклада, неожиданно появилось новое лицо — словно из земли выросло. Лицо это было не из привлекательных — длинное, сухое, жесткое, словно деревянное и с маленькими мутными, словно оловянными глазами под высоко вскинутыми круглыми бровями. Фигура — несколько сутуловатая, словно бы у вновь пришедшего субъекта так был устроен хребет, что не позволял ему глядеть на небо, а дозволял только подглядывать, подслушивать, копаться и разнюхивать.

— А! Это ты, граф, — сказал государь, взглянув на вошедшего, — рекомендую тебе нового офицера и георгиевского кавалера. Это — Александров.

На последнем слове государь сделал особенное ударение. Вошедший пытливо и недружелюбно оглядел с ног — и непременно с ног до головы, а не наоборот — представленного ему молодого человека.

— Если б я встретил его не в кабинете вашего величества, я бы посадил его на гауптвахту, — быстро, несколько гнусливо сказал пришедший.

Девушка растерялась — она догадалась, кто был пришедший. А государь с удивлением спросил:

— За что же?

— За то, ваше величество, что он осмелился явиться не в форме.

— Но, ваше сиятельство, у меня отобрали саблю, — смело отвечала девушка.

— Это не резон.

— Но, граф, ты слишком строг... тебе не все известно, — заметил государь.

— Государь! Что касается службы и особы вашего величества — мне все должно быть известно, — отвечал упрямец.

— О, я уверен в твоей ревности, — ласково сказал император. — Но тут тебе не все известно.

— Все, ваше величество, — настаивал упрямец.

Это был Аракчеев. Ему действительно все было известно: он знал, кто стоит перед ним, и в его сердце уже заползла змея подозрительности. Как! Эта девчонка в форме улана вошла в кабинет государя помимо него, графа Аракчеева, военного министра и правой руки государя! Эта рука, а не другая, должна была ввести ее... Так его, графа Аракчеева, могут оттереть и от кормила правления — и через кого же! Через девчонку, которая задумала играть роль Иоанны д'Арк! Нет, времена чудес прошли — и при Аракчееве они не повторятся: у него и чудеса должны ходить в мундире, держать руки по швам и отдавать честь начальству! И Иоанну д'Арк он посадит на хлеб и на воду за отступление от формы...

Потом, обратясь к безмолвно и неподвижно стоящей с опущенными глазами девушке, Аракчеев спросил не без ехидства:

— А где вы, молодой человек, получили военное воспитание?

— В доме родителей, граф, я получил воспитание.

— И военное?

— Нет, ваше сиятельство...

— Гм... так вам многому надо поучиться.

— Александров еще молод, граф, военная практика даст ему то, что не дано школою, — примирительно заметил государь.

— Дай Бог, ваше величество, дай Бог.

Когда девушка вышла из кабинета государя, и смущенная и радостная, ее окружили пажи, вертевшиеся в соседней с кабинетом зале.

— Что говорил с вами государь? — слышалось от одного.

— Произвел вас в офицеры? — перебивал другой.

— Пожаловал Георгия? — перебивал другого третий.

— Вы спасли Панина? — перебивал всех четвертый.

Девушка не знала, кому отвечать, и молчала, глядя на любопытных юношей, белые, розовые, упитанные лица которых в сравнении с ее загорелым лицом казались девическими. Но в это время из среды их отделился один юноша и, робко, но с привычной ловкостью, поклонившись, сказал:

— Я Панин, брат того Панина, которого вы спасли.

— Я очень рад. Что он, поправляется?

— Благодарю вас, поправляется... Но позвольте просить вас, господин Дуров...

— Извините, я уже не Дуров.

Юноша с удивлением посмотрел на нее. Остальные пажи и рты разинули.

— Как! Кто же вы?

— Я — Александров.

— Почему же?

— Эту фамилию пожаловал мне сам государь: это фамилия — имени его величества.

— Поздравляю вас, господин Александров, от души поздравляю.

— Поздравляем, поздравляем, — вторили другие.

— Моя maman и мой брат поручили мне передать вам их желание лично видеть вас и засвидетельствовать вам глубокую благодарность и удивление, внушаемые всем вашим геройским подвигом, — проговорил Панин как по заученному. — Maman поручила мне просить вас сделать нам честь своим посещением. Когда и куда я должен приехать за вами, если вы не откажете нам в этой чести?

Когда она отвечала, через залу проходил средних лет мужчина с толстой папкой под мышкой. Лицо его было несколько худо, казалось утомленным, а глаза — кротки и задумчивы. Пажи почтительно расступились перед ним и поклонились. Он прошел прямо в кабинет — тоже без доклада.

То был Сперанский.

VIII

И Надя Дурова, и юнкер Дуров перестали таким образом существовать: на месте их вырос Александров! Надя добилась своего: ей дозволено носить оружие, она — офицер, и притом гусарский! Но чего ей это стоило!

В гусарстве и уланстве Надя Дурова искала, в сущности, того, чего нынешние девушки наши ищут на фельдшерских и медицинских курсах, в гимназиях, на так называемых университетских курсах: она искала признания за женщиной человеческих прав. Она искала того, чего искали американские негры времен «дяди Тома». Действительно, если сравнить положение русской женщины, в особенности девушки, начала нынешнего столетия, времени Дуровой, с положением ее в наше время, то едва ли можно ошибиться, сказав, что эти два положения русской женщины равны положениям американского негра при «дяде Томе» и в настоящее время. Давно ли у нас еще травили девушку за отрезанную косу? Поэтому для современной русской девушки менее, чем для девушки начала этого столетия, будут понятны слова, вырвавшиеся из-под пера Дуровой в тот момент, когда она уланским кивером прикрыла свою погибшую девическую косу, а рейтузами — свое историческое рабство. Вот эти слова, записанные ею в своем дневнике, слова, обращенные к тогдашней русской девушке:

«Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно! *Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восклицание!* Одни только вы можете знать цену моего счастья! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения, которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечною защитою Бог знает от кого и от чего! (Конечно от мужчин). Вы, повторяю, одни только вы можете понять каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения. Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: «Ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться». Увы! Сколько прекрасных, ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плесть кружева...»

Дневник этот, сначала напечатанный Пушкиным в «Современнике» 1836 года, а потом изданный самою Дуровою в 1839 году, стал уже библиографической редкостью.

Так вот из-за чего билась эта необыкновенная Надя. Но что она вынесла потом, пока не сделалась тем, чем она стала

через год! Заглянем опять в ее дневник. Ее приняли в уланы, обмундировали на казенный счет. Но пусть она говорит сама:

«Мне дали мундир, саблю, пику, такую тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело... Надеюсь, однако ж, привыкнуть; но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам: они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую, нога моя была свободна и легка, а теперь! Ах, Боже! Я точно прикована к земле тяжестью моих ног и огромных бряцающих, шпор! С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все голодное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтоб наполнить им мою фуражку; тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке (полк стоит, в ожидании Наполеона, в Литве, на квартирах), чтобы она сварила ее. Суровая эта женщина всегда с ворчанием вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчанием высыпает в горшок, и когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу. Что за злая баба! А кажется, ей нечего жалеть картофелю: он весь уже снят и где-то у них запрятан; плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших».

Это — на квартирах. А что же на походе, в летучей войне, когда по пятам гонится косматая старая гвардия Наполеона и приходится идти, идти — беспрестанно идти!

«Есть, однако ж, границы, далее которых человек не может идти! — записывает она в своем дневнике в одну из остановок. — Я падала от сна и усталости, платье мое было мокро. Двое суток я не спала и не ела, беспрерывно на марше, а если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире (у нее шинель украли), беспрестанно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали час от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному; в таком случае четвертому взводу приходилось стоять по нескольку минут неподвижно на одном месте; я была в четвертом взводе, и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади,

ложилась на землю и в ту же секунду засыпала. Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и как сон, часто прерываемый, не может быть крепок, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на лошадь, на своего Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановке; я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей: все они сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади. «Ведь ты видишь, что мы дремлем, да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю, делай и ты так». Вахмистр ворчал вполголоса: «Зачем эти щенята лезут в службу! Сидели бы в гнезде своем». Остальное время я оставалась уже на лошади — дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида — и поднималась с испугом: мне казалось, что я падаю! Я как будто помешалась. Глаза открыты, но предметы изменяются, как во сне. Уланы кажутся мне лесом, лес — уланами! Голова моя горит, но сама дрожу, мне очень холодно. Все на мне мокро до тела».

Страшные испытания для девочки! И при этом — надо прятать свой пол, не выдать себя во сне, надо прятаться с такими деяниями, которые ее товарищи уланы делают открыто... Это жизнь между скорпиями.

А в сражениях!.. Вот хоть бы под Фридландом... «В этом жестоком и неудачном сражении, — заносит она в свой дневник, — храброго полка нашего легло более половины! Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля, и в свою очередь не один раз были прогнаны. Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня. О, я их терпеть не могу! Дело другое — ядро. Оно по крайней мере ревет так величественно и с ним везде короткая разделка...»

О, велико ты, безумие человеческое!

Так вот какими адами добралась девочка до права носить оружие.

На другой день после аудиенции у государя она неожиданно получила приглашение от Сперанского. В коротенькой записке, написанной в третьем лице, Сперанский просил господина Александрова сделать ему честь своим посещением и добавлял, что имеет сообщить ему нечто, лично его касающееся. Записку привез Кавунец, который никак не мог придти в себя от изумления, увидев перед собой такого молоденького офицерика и притом с Георгием на груди. У самого Кавунца на груди болтался Георгий, но он помнит, как нелегко он ему достался.

Дурова получила записку в тот момент, когда вместе с Зассом, в квартире которого она остановилась в Петербурге, она вышла в швейцарскую, намереваясь куда-то ехать. Она, сама недавно получившая Георгия, не могла не заинтересоваться этим орденом на груди старого солдата, и потому спросила Кавунца:

— За какую кампанию ты пожалован кавалером?

— Не могу знать, ваше благородие, — молодецки отвечал старый служака.

Девушка улыбнулась. Она догадалась, что не так спросила.

— В каком сражении ты отличился? — снова спросила она.

— Не могу знать, ваше благородие, — был ответ.

— Ну, так где?

— Не могу знать, ваше благородие, — стоял на своем Кавунец.

— Экой ты, братец! Я тебя спрашиваю — за что тебе дали Георгия?

— За черта, ваше благородие.

— За какого черта? — Она не могла не рассмеяться.

— Чертов мост, ваше благородие, с Багратионом брали.

— А! Это в италийскую кампанию?

— Не могу знать, ваше благородие.

— В Швейцарии?

— Не могу знать, ваше благородие.

— С Суворовым?

— Так точно, ваше благородие.

Она поняла, что с таким говоруном не много наговоришься, и потому коротко сказала:

— Доложи его превосходительству, что я непременно буду.

— Слушаю, ваше благородие.

Вечером она явилась к Сперанскому. Увидав в передней Кавунца, девушка невольно улыбнулась. Кавунец сделал руки по швам. Когда лакей услыхал фамилию приезжего молодого офицерика, то тотчас же сказал, что «его превосходительство просят пожаловать в кабинет», и провел ее через залу в большую, светлую, но словно траурную комнату: в ней, кроме массивных шкафов с книгами и ящиками да огромного письменного стола, не было никаких ни украшений, ни картин на стенах, ни кабинетных разных безделушек. Сперанский любил работать и предаваться своим деловым мечтам только в такой комнате, в которой ни один лишний предмет не привлекал бы его внимания и не заслонял бы собою, так сказать, тех обра-

зов его духовного творчества, которые зарождались в нем, развивались и воплощались в деле. «Когда человек наслаждается — целует, например, любимое существо, он непременно как-то инстинктивно закрывает глаза: это для того, чтобы наслаждение, вся его сила концентрировалась и всецело передавалась душе. Для меня работа — тоже наслаждение; за работой я как бы закрываю глаза на все остальное, концентрирую наслаждение в глубине моего ума... Вот почему я люблю, чтобы комната, в которой я работаю, была для меня как бы невидима». Так говорил он о своем кабинете. И какую же титаническую работу успевал он совершать в этом кабинете! Сколько он делал!

Когда Дурова вошла в этот кабинет, Сперанский сидел за письменным столом и что-то писал. Увидев входящего юного гусара, он тотчас же встал и, приветливо протягивая гостю руку, сказал:

— Простите меня, что я не исполнил по отношению к вам долга вежливости. Но я все объясню сейчас. Государь сообщил мне вчера разговор свой с вами и мне до некоторой степени известны главные обстоятельства вашей жизни. Ваша тайна останется неприкосновенною. Но я должен был сообщить вам одно обстоятельство и, в интересах вашей тайны, сообщить его без свидетелей. Вот почему я и осмелился пригласить вас к себе — против правил вежливости. А теперь — очень рад познакомиться. Прошу садиться.

Смущенный этой речью гусарик звякнул, как подобает гусару, саблей, шпорами и всеми металлическими штуками, какие на гусаре обретаются, сел, не зная, как открыть рот.

Сперанский, взяв со стула какую-то бумагу, подал ее гостю.

— Вам знаком этот почерк? — спросил он.

Гусарик, как только взял бумагу и увидел почерк, воскликнул с испугом:

— Это рука моего отца! Что с ним?

— Прочтите.

Гусарик торопился прочесть письмо, но руки так ходенем ходят, что глаза не попадут на строчки. А Сперанский молча и с видимым сочувствием на лице вглядывается в интересного гостя, в его молоденькое, бледное, но загорелое лицо, в это оригинальное очертание круглой точеной головы, в невысокий, но какой-то раздвинутый лоб. Ему кажется, что эта голова формировалась не по такому лекалу, чтобы быть разрублен-

ной саблею или стать глупою, безответною вехою для шальной пули — нет, это череп существа, способного мыслить не только прямолинейно, но всесторонне и кубически...

— Ах, бедный папа!

Из глаз гусарика брызнули слезы. А бумага все дрожит в руке, еще не вся дочитанная. А глаза Сперанского уже нежно смотрят на это плачущее лицо гусарика, ставшее совсем детским, с дрожащими губами и подбородком.

— Бедный, бедный папочка!.. Какая гадкая! — тихо говорила она, доканчивая письмо, а потом, как бы вспомнив, где она, быстро прибавила: — Простите меня, ваше превосходительство, за эту слабость...

— Простить?.. За что же?

— Что я плачу...

— Да за эти слезы я полюбил вас как мою дочь... Это хорошие слезы...

— А я так гадко поступила.

— Нет. Но разве вы ни разу не писали отцу?

— Писала, ваше превосходительство.

— Называйте меня Михайлом Михайловичем лучше. Мне уж и от курьеров надоело слышать свой титул.

— Я сначала боялась писать батюшке, чтоб он не вытребовал меня домой, но когда весной наш полк выступал за границу, я писала ему, просила у него прощения и благословения; но, вероятно, письмо не дошло до него. А теперь я видела его в Москве...

— Вашего батюшку?

— Да. Но он не видел меня.

— Каким образом?

— В проезд через Москву, когда флигель-адъютант Засс должен был отлучиться по делам на все утро, я зашла в Архангельский собор и там случайно увидела отца.

— Он, вероятно, сюда едет — все вас ищет.

— Мне тоже кажется. Он плакал, когда я увидела его в церкви. Мое сердце обливалось кровью, но я не смела подойти к нему.

— Отчего же?

— Он мог остановить меня, задержать... А меня требовал государь...

— Да, вы правы. Но по крайней мере теперь, если он будет здесь и я увижу его, я скажу ему, что вы живы, что я сам видел вас здоровою.

— Я ему сама это сказала в Москве.

— Сказали? Как же вы это сумели сделать?

— По окончании обедни он просил священника отслужить ему или панихиду, или молебен о здравии, и когда священник спрашивал, что же отслужить — панихиду или молебен, отвечал, что сам не знает, что служить — панихиду ли по умершей дочери, или о ее здравии. Тут-то я тихонько пробралась к нему и сказала: «Ваша дочь жива», а сама тотчас скрылась, но слышала его возглас: «Надя! Это ее голос!»

Сперанский с глубоким сочувствием слушал этот рассказ и хотел что-то сказать, как в кабинет неожиданно влетела Лиза, с раскрасневшимися от воздуха и гуляния щечками, и радостно воскликнула:

— Ах, папа! Мы помирились с Сашей Пушкиным...

Но, увидав незнакомого офицера, вдруг остановилась, сделала большущие глаза, с недоумением посмотрела на гостя и тотчас же, что-то сообразив, как благовоспитанная девочка присела... Она заметила в руках гостя письмо, узнала это письмо и ее головка быстро поняла, в чем дело: тайной, дескать, пахнет... Она взглянула на отца. Тот тоже хорошо понял ее и с улыбкой сказал:

— Очень рад, что вы помирились... Рекомендую вам, господин Александров, мою «бедную Лизу».

При слове «Александров» девочка опять сделала большие глаза и недоумевающе посмотрела и на отца, и на гостя. Но тотчас же опять сообразила, в чем дело, — в папашу пошла: под маленьким черепом мозг хорошо работал.

— А вы читали «Бедную Лизу»? — с улыбкой обратился к ней гость.

— Да, мы с мамой и с Соней читали, — отвечала девочка

— О! Она у меня большой начетчик, — ласково заметил Сперанский.

— А Саша Пушкин больше меня знает, — перебила девочка.

— Ну, Саша Пушкин и сам старше тебя.

— А через два года я буду старше его, — поторопилась девочка, да тотчас же спохватилась.

— Вот тебе раз! — засмеялся отец.

Девочка поняла, что попала впросак, и ей стало стыдно гостя, но гость постарался поправить ее ошибку...

— Да, через два года вы будете старше его умом и знаниями, — сказал он.

— Нет... У Саши Пушкина память лучше моей и Сониной, лучше даже, чем у Вили Кюхельбекера и у Саши Грибоедова.

— Это все ее приятели, — подсказал отец.

— А Саша Грибоедов уж большой — ему четырнадцатый год, — продолжала девочка, снова входя в свою роль. — Саша Пушкин знает наизусть всего Державина, почти всего Хераскова и Тредьяковского — ах, как он его смешно знает!

Стрекочущу кузнецу,
В зленем блате сушу...

Ах, какой он смешной, как передразнивает его!

Она снова остановилась. В кабинет входили новые гости. Один — мужчина лет за сорок, видимо, засидевшийся, заработавшийся, с бледным, уже изрезанным едва заметными резцами времени лицом и усталыми глазами. Тут же вошел и его спутник, с молодым веселым лицом и светскими манерами.

— А! Николай Михайлович, Александр Иванович... очень рад вас видеть, — сказал хозяин, вставая и подавая гостям руки.

Встал и гусарик, с которого Лиза не спускала глаз и, видимо, желая подружиться, уже терлась около него, потрагивая за саблю.

— Позвольте познакомить вас, господа, — продолжал хозяин, — господин Александров, юный герой, которому вчера государь лично и собственноручно возложил на грудь Георгиевский крест за необыкновенную храбрость и за чудесное спасение от смерти молодого Панина.

Юный герой поклонился, бряцая шпорами и другими своими металлическими частями.

— Николай Михайлович Карамзин — историограф, — продолжал хозяин в сторону рекомендуемого.

Юный герой быстро, ярко как-то взглянув в лицо Карамзина, сделал второй, самый глубокий, какой только можно было сделать, поклон... Щеки его покрылись румянцем радости и стыдливости...

— Я вами воспитан... я читал... я глубоко... — бормотал он бессвязно.

Карамзин протянул ему руку:

— Мне приятно...

— Александр Иванович Тургенев, — продолжал хозяин в сторону другого рекомендуемого.

— Повеса, — подсказал с улыбкой рекомендуемый, — историограф и... повеса...

— Но повеса умный, просвещенный, благородный, — добавил хозяин.

— Вездесущий, вседовольный, всеблаженный, — добавлял рекомендуемый.

Они обменялись поклонами и рукопожатиями.

— Опять насилу вытащил из архива, — сказал Тургенев, указывая на Карамзина.

— И хорошо сделали, — отвечал Сперанский.

— Но можете представить, чем я его выманил оттуда?

— Опять слепым Якуном?

— Нет, сказал, что адмирал Мордвинов где-то нашел и подарил вам знаменитые сапоги Редеди, чуб Святослава и зубочистку Феодосия Печерского.

И Сперанский, и Карамзин засмеялись. Улыбнулся и гусарик, переглянувшись с Лизой, которая им, кажется, окончательно завладела.

— А можете вообразить, что этот повеса наделал? — сказал Карамзин, указывая на Тургенева.

— Какой-нибудь манускрипт испортил? — улыбнулся Сперанский.

— Нет, нервы расстроил у моего архивного кота.

— Это у академика Василия Васильевича Миофагова, — пояснил Тургенев.

И Лиза, и ее новый друг охотно, как видно, слушали этот «серьезный» разговор ученых мужей.

— Чем же это? — спросил Сперанский.

— Я ему за ученые заслуги повесил мышь на шею.

И Лиза, и ее друг засмеялись. Ученый разговор становился очень занимательным.

— В самом деле, — сказал Карамзин, — повесил ему мышонка на шею, мышонок из папье-маше, искусно сделанный — настоящая мышь, и мой Васька совсем потерял спокойствие: живых мышей не ловит, а все возится с своим орденом, хочет поймать его, и не может.

— Однако, как двигается ваша история? — серьезно спросил Сперанский.

— Медленно... так много архивной работы, так много неразобранных, не очищенных критикой материалов, что голова идет кругом, — отвечал задумчиво Карамзин, — кажется, я так и положу свою усталую голову над этой историей, а все-таки не кончу ее.

— Зачем же? Вы еще молоды.

— Да, но силы падают... По возвращении государя, я читал его величеству одну главу из нового тома... Государь остался очень доволен, милостиво благодарил, но одно чтение так утомило меня, что я чуть было не лишился чувств.

— Да, государь говорил мне об этом, выражал сожаление...

— А прежде со мной ничего подобного не было, — продолжал Карамзин задумчиво, — я чувствую, что история будет мне гробом...

— И монументом бессмертия, — горячо добавил Сперанский.

— И бессмертия Василия Миофагова... На монументе надо будет изобразить и Ваську, оберегающего летописи, — с своей стороны прибавил неугомонный Тургенев.

А Лиза уж совсем завладела своим новым другом и, сидя чуть ли не на коленях у него, таинственно шептала:

— А я знаю, что вы — не вы.

— Как не я? — с удивлением спрашивал гусарик.

— Так — не вы.

— Кто же я?

Лиза нагнулась к самому уху нового друга и прошептала:

— Вы — девочка, а не мальчик...

— Кто вам сказал? Папа?

— Нет, не папа... я сама догадалась.

— Как же вы догадались, милая? — смущенно говорил попавшийся воин.

— А когда я взошла, вы читали письмо... А это письмо, я знаю, вашего папы.

— Почему же вы знаете?

— Когда папа получил его летом, как мы еще на даче жили, на Каменном, и там поссорились с Сашей Пушкиным... он сказал, что хоть папа Лизин и любимец царский, а все-таки у Лизы Сперанской облик семинарской...

— Ах, какой злой мальчишка!

— Нет, он не злой, а только шалун — шпилькой мы его называем... Так папа мой читал письмо вашего папы при мне и еще жалел вашего папу, а Соня говорила, что и мы, как вот вы, ушли бы в гусары, да мышей боимся...

Гусарик рассмеялся и погладил девочку:

— Какая храбрая...

— Ну, я и узнала у вас это письмо и вас узнала... Только я никому не скажу, что вы девочка...

— Хорошо, милая. Вы умница и честная девочка.

— А о чем вы там шушукаетесь, Елизавета Михайловна? — обратился вдруг к Лизе Тургенев.

Озадаченная неожиданностью, девочка не нашлась сразу и несколько растерялась.

— Мы... я говорила... я вам этого не скажу, — вдруг решительно оборвала Лиза.

— Ого! Секреты, государственные тайны! — шутил Тургенев.

— Да, мы говорили о каком-то Саше Пушкине, об очень живом мальчике, — выручал Лизу ее новый друг.

— О, я знаю этого арапчонка... Елизавета Михайловна к нему неравнодушна.

— Мы с ним помирились уж, — пояснила Лиза.

— Вот как! А вы давно из армии? — спросил Тургенев, обращаясь уже прямо к гусарику.

— Пять дней, как я из Полоцка и из главной квартиры.

— А не знакомы вы с Денисом Васильевичем Давыдовым? Адъютант у Багратиона?

— Да, я его знаю несколько.

— Он мой приятель... Скажите, пожалуйста: он мне писал, что там у вас появилась новая Иоанна д'Арк? Видали вы этот феномен? О нем много говорят.

Большие глаза Лизы так и застыли на лице ее нового друга. Она с волнением и страхом ждала. Волнение ее усилилось еще более, когда она заметила смущение на лице друга. Но девочка не выдала ни себя, ни своего друга.

— Да и там на этот счет держатся упорные слухи, — немного помолчав, отвечал гусарик довольно покойно. — Но удивительно — никто ее не видал, хоть все о ней говорят... Я думаю, что это басня.

— Не говорите — слух имеет основание... Признаюсь вам откровенно, глядя на вас и соображая собственноручное пожалование вам государем этого ордена, я бы мог подозревать, что...

Но он не докончил своей щекотливой фразы, которая и Лизу, и ее друга сильно смутила. В комнату вбежала Соня, за ней вошла госпожа Вейкардт и за нею — непременный друг дома Магницкий с последнею, только что полученною из Москвы новостью: умер Херасков.

— Ах, бедный! — жалобно сказала Лиза. — А мы только сегодня с Сашей Пушкиным читали наизусть его «Россиаду...» Бедненький!

— Очередь за Державиным, — сказал Тургенев.

— Что? Что? Какая очередь за Державиным? — зашамкал кто-то в дверях.

Все оглянулись — на пороге стоял сам Державин в своих бархатных на меху сапогах.

IX

Державин вошел сильно старческою походкой. Хотя он и бодрился, но и беззубый рот заметно шамкал, и бархатные ноги словно тоже шамкали.

Особенно вид его поразил Дурову. Читая его сильный стих, его напускной пафос и риторику, которые, казалось, дышали страстью, пылали огнем воодушевления, девушка, мечтательная и увлекающаяся по природе, воображала Державина каким-то титаном, полубогом, а если ей и говорили, что он уже старик, то он не иначе рисовался в ее воображении, как в образе «борея»:

С белыми борей власами
И с седою бородой,
Потрясая небесами,
Облака сжимал рукой...

А тут она видит шамкающего старца, который не только не потрясает небесами, но у которого собственная седая голова трясется, а глаза, которые ей представлялись орлиными, старчески моргают и слезятся... Господи! Как грустно это видеть... И нижняя губа отвисла — не держится... И под носом табак, и на манжетах табак, и на жилете табак... А ноги — точно в валенках, точно у их коровьего пастуха...

— Какая очередь за Державиным? — спрашивал старик, здороваясь с хозяином и гостями.

— Написать, ваше превосходительство, что-нибудь новенькое по поводу мира с Наполеоном, — извернулся Тургенев. — А то вон только и слышно, что о «Димитрие Донском» Озерова да о «Пожарском» Крюковского.

— Оба сии творения, государь мой, слабы, — отвечал старик.

— Вот потому-то и ждут от вашего превосходительства чего-нибудь сильненького, чего-нибудь «державинского» — так и говорят.

— Оно-то так... Я кое-что и скомпоновал, вот Михайло Михайлович знает.

— Что же это такое, ваше превосходительство? — спросил Карамзин.

— Гаврило Романович написал оду, — отвечал Сперанский.

— Пророческую, — добавил Державин.

— Это правда, — продолжал Сперанский. — И хотя государю она понравилась, однако, ввиду политических обстоятельств, он несколько стихов собственноручно подчеркнул.

— А подчеркнул-таки? — любопытствовал старик.

— Подчеркнул довольно мест таки...

— А какие все больше? Чай, сильненькие, с огоньком которые?

— Да, именно с огоньком.

— Я так и знал, так и писал с оглядкою... Я вот и Мерзлякову послал копию в Москву, так, для прочтения, да и пишу ему насчет мира-то и моей оды на оный: «Радоваться-то можно, как просто сказать, с оглядкою, а для того и не мог я предаться полному вдохновению, а как боец, сшедший с поля сражения, хотя показывался торжествующим, но, будучи глубоко ранен, изливал свою радость с некоторым унынием...»

— Это касается вас, юный боец, только что сшедший с поля сражения, — с улыбкой, отечески обратился Сперанский к Дуровой, которую Лиза успела и познакомить и даже подружить и с своей Соней, и с мамой, с г-жей Вейкардт. — Позвольте вам, ваше превосходительство, представить этого юного бойца...

Дурова встала и торопливо, смущенно подошла к Державину, почтительно кланяясь и звеня шпорами.

— Господин Александров, которому вчера государь собственноручно пожаловал Георгия, — рекомендовал хозяин.

— Очень, очень приятно, — прошамкал знаменитый старец. — Да какой же вы, государь мой, молоденький... А знаете, молодой человек, кого вы напоминаете?

Девушка смешалась и не знала, что отвечать.

— Княгиню Дашкову, Катерину Романовну, когда она была ваших лет.

«Юный боец» покраснел еще больше и взглянул на Сперанского.

— Что ж, это сходство приятное, — поддержал он смущенную девушку.

— Только, государь мой, не в пользу сравниваемой, — перебил Державин. — Княгиня Дашкова, признаюсь, никогда не нравилась мне... У нее всегда была склонность к велеречию и тщеславию, хвастовство, корыстолюбие... женщина эта, сказать правду, всегда отличалась вспыльчивым и сумасшедшим нравом.

— А теперь она совсем развалина... Я ее видел — она приезжала в Москву из своей деревни, — сказал Тургенев.

— Ну, наши с ней годы не молодые.

— Она годом старше вас, ваше превосходительство, — вставил Магницкий.

— Ну, вот!.. А вам как известны наши годы, молодой человек? — спросил старик.

— Годы вашего превосходительства известны всей России, — подольстился Магницкий.

— У! Льстец...

— Не льстец, ваше превосходительство: я говорю правду.

— А вот Мерзляков пишет мне еще об одном моем сверстничке, и это уже касается вас, Николай Михайлович, — обратился старик к Карамзину.

— О ком же, ваше превосходительство?

— О Новикове Николае Ивановиче. Ведь он вам сродни...

— По «Древней российской вивлиофике» разве?

— Да... но и теперь у него остается в мозгу некий исторический зуд — все не забывает истории.

— Да?

— Как же... Мерзляков пишет: был он у него, у мартиниста-то старого, в гостях, в его Авдотьине... Ну, и чем же старик занимается? Воспитывает, слышь, карасей... А потом на живой змее проверял одно место в летописи Нестора.

— Как же это на змее? — заинтересовался Карамзин.

— Да отыскал ту змею, что укусила Олега, — шутливо вставил Тургенев.

— Да почти что так. Он, видите ли, отыскал там у себя в деревне змею, да и рассердил ее, дразня палкою. Так оказалось, что змея не кусает и не жалит, а именно клюет, как и рыба. А в летописи будто бы сказано, — я не помню сам, — что змея Олега «уклюнула», а не «укусила».

— Да, это совершенно верно, — подтвердил Карамзин. — Так, значит, старик все еще интересуется историей?

— Интересуется, интересуется... неравнодушен к старушке Клио, — сострил старик.

— Да вообще я заметил, что за мамзель Клио ухаживают больше те, для которых женщина становится незрелым виноградом, — пояснил Тургенев.

— Это вы на мой счет? — спросил Карамзин.

— Нет, так, вообще.

— Удивительная судьба этого человека, — заметил Сперанский, после некоторой паузы, последовавшей за шуткою Тургенева. — Бесспорно, это даровитейшая личность, когда-либо стоявшая в ряду деятелей умственного развития России: как апостол нашего просвещения, Новиков стоит первый. Если можно сколько-нибудь наглядно представить результаты деятельности Новикова и других русских общественных ра-

ботников, то Новиков воздвиг себе пирамиду Хеопса, а прочие...

— Тротуарные тумбы, — перебил его Тургенев.

— Ну, не тротуарные тумбы, но все же и не пирамиды, — спокойно продолжал Сперанский. — И что же! Этот человек почти половину жизни провел в несчастии. Теперь вот он стал отшельником, воспитывает карасей и производит опыты над змеями... Если кого можно приравнять к Новикову — не по многоплодности, а по духу, — так это Радищева... Как Новикова, так и Радищева оценит только наше потомство, ибо природа произвела их на свет ошибочно: время не доносило ни Новикова, ни Радищева, и недоноскам этим следовало бы родиться столетием позже... Как вы об этом думаете, ваше превосходительство? — обратился он к Державину.

— Как? Что? Спать пора?

Старик вздремнул и не слышал последнего разговора. В последние годы вообще всякий разговор, где старец стоял не на первом плане, не сам говорил, а другие, и о предметах, лично его не касавшихся, он начинал дремать: так и тут — разговор о Новикове и Радищеве нагнал на него дремоту.

— Говорят, ваше превосходительство, — снова подольщался к старику-министру Магницкий, — будто у нас все умные люди кончают неблагополучно... Я думаю, Александр Иванович ошибается...

— Да, конечно, вы так не кончите, — вскользь бросил Тургенев.

Магницкий побледнел, но сдержался, пересилил свой гнев. Дурова заметила это и приняла к сведению.

— И притом, ваше превосходительство, — продолжал лисить Магницкий, — Михаил Михайлович изволил говорить о временах прошедших... Что было, то прошло и быльем поросло... А о благополучном ныне царствовании этого сказать никаким образом нельзя: это было бы грехом великим. Посмотрите на все, что ныне совершается, и сердце ваше возрадуется: у нас на престоле — ангел кротости. Вы были правы, ваше превосходительство, когда вдохновенно восклицали в бесподобной оде на восшествие на престол Александра:

Век новый! Царь младый, прекрасный
Пришел днесь к нам весны стезей!
Мои предвестья велегласны
Уже сбылись, сбылись судьбой.
Умолк рев норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд;

Зефиры вспорхнули крылаты,
На воздух веют аромат;
На лицах россов радость блещет,
Во всей Европе мир цветет.

— Так, истинно так, — самодовольно бормотал тщеславный старик. — Ныне настало златое время... Я же тогда и предсказывал сие в своей оде:

Уныла муза, в дни борея
Дерзавшая вслух песни петь,
Блаженству общему радея,
Уроки для владык греметь, —
Перед царем днесь благосклонным,
Взяв лиру, прах с нее стряси,
И сердцем радостным, свободным,
Вещай, греми, звучи, гласи
Того ты на престол вступленье,
Кого воспел я в пеленах.

Декламируя свои стихи, старик воодушевился, встал с кресла, в котором дремал, и ерзая по полу бархатными сапогами, воздевая к потолку руки и колотя себя в грудь, казался очень смешным и очень жалким. Дурова глядела на все это с грустью, а Тургенев иронически улыбался...

— Завели машину, — шепнул он Сперанскому, — конца не будет.

Но конец скоро последовал: старик закашлялся и в изнеможении опустился на кресло.

— Нет, не могу больше, — сказал он, тяжело дыша.

— Да, Гаврило Романович, — улыбнулся Карамзин своею задумчивою улыбкою, — вы крепче на бумаге, чем на ногах...

— Совсем плохи ноги... да и кашель... а с чего бы?

— А слышали вы проделку Вакселя? — спросил Тургенев Сперанского.

— Какого Вакселя?

— В конно-гвардейской артиллерии служит.

— Нет, ничего не слыхал.

— А вот что. Ведь военные да и вся наша аристократия, несмотря на мир, ужасно злы на Наполеона. Понятно, что и посланника его Савари не очень-то любезно приняли во многих домах. А сегодня Ваксель так совсем учинил скандал. Он нанял карету четверней и все катался по Невскому, выжидая, когда Савари будет ехать из дворца. Увидав, что карета Савари подъезжает к Полицейскому мосту, Ваксель направил на него, в перерез, свою четверню, так что кареты сцепились. Савари высовывается в окно и кричит: «Faites reculer votre

voiture». «C'est votre tour de reculer, — отвечает Ваксель, — en avant!» Ну, и Савари должен был выйти из кареты и велеть кучеру осадить своих лошадей.

— Ну, это глупая шалость, — заметил Сперанский, — надо было уметь осадить Наполеона в поле...

— Да, конечно, на Полицейском мосту оно легче, — с своей стороны добавил Карамзин.

— Каков историограф! Он острит, — не унимался Тургенев. — А знаете, откуда он теперь заимствует свои остроты? — спросил он Сперанского.

— А откуда?

— Больше все из поучений Вассиана Рыла да Луки Жидяты, да из «Вопросов Кирика», а самые новые из «Слова Даниила Заточника».

— Ну, Александр Иванович, почтеннейший, и ваши остроты насчет Николая Михайловича «Стоглавом» да «Номоканоном» пахнут, — заметил Сперанский.

А Карамзин сидел и добродушно улыбался. Его мысли действительно больше жили в прошедшем, чем в настоящем. На мозгу налегло слишком много прочитанного, архивного, чтоб можно было легко от него отрешиться. Зато мозг Державина возвращался уже, кажется, к младенческому состоянию: старик опять тихонько похрапывал в кресле.

— Видите, дедушка Державин дремлет, — шепчет Лиза своему новому другу.

— Он, верно, сегодня мало спал, бедненький, — отвечает Дурова.

— Нет, он всегда спит, когда не говорит... А вы долго останетесь в Петербурге?

— Нет, милая, мне надо ехать в полк.

— Ну уж! Зачем?

— На службу.

— А разве здесь нельзя служить? Вон папа здесь служит.

— Папа ваш не военный.

— А в Петербурге много военных.

— Но я, милая, служу в действующей армии.

— Ну уж! А то бы вы часто ходили к нам... так было бы весело.

Скоро г-жа Вейкардт пригласила гостей в столовую к чаю. Общество уютно расположилось за круглым столом, на котором шипел массивный серебряный самовар, располагая своим пением к продолжительному чаепитию, тем более что на дворе лил тот перемежающийся, противный дождь, над которым постоянно острил Тургенев.

— У петербургского неба катар пузыря, — сострил он и на этот раз, когда г-жа Вейкардт куда-то отлучилась из столовой.

— А у вас, мой друг, катар языка, — заметил на это Карамзин.

— Это из «Ипатьевской летописи?» — отпарировал Тургенев.

— Нет, из «Русской Правды».

После чаю, чтобы занять дремлющего Державина, Магницкий предложил его превосходительству сразиться в шахматы.

— А! С Наполеоном потягаться — извольте, извольте, молодой человек... Мы когда-то и с Суворовым игрывали, и я побеждал непобедимого.

Магницкий из усердия и из почтительности к министру постоянно проигрывал, а старик этим тешился как маленький, постоянно приговаривал: «Шах Наполеону», или: «А мы его по усам, по усам».

— А что вы, господин Александров, не поделитесь с нами вашими военными впечатлениями? — обратился Сперанский к своему юному гостю.

— Они для вас едва ли будут интересны, — отвечала девушка, чувствуя, что Лиза таинственно дергает ее за рукав.

— Отчего же? Напротив. Вон я вижу — даже Лиза ждет этого... Она от вас не отходит весь вечер.

— Ах, папа! Отчего я не мальчик! — вдруг отрезала Лиза.

— Вот тебе раз! Что это за фантазия?

— Я бы с ними, — она указала головой на Дурову, — уехала в полк.

— Да ведь ты мышей боишься, — подскочила к ней Соня, которая начала было уже ревновать свою приятельницу к неизвестному молоденькому офицеру и почти не отходила от матери, занимавшейся каким-то рукодельем, а теперь совсем испугалась, что Лиза уйдет от них. — Там мыши...

— С ними, — и опять кивок на Дурову, — я и мышей не буду бояться, — отрезала Лиза.

— Ну так прощайте Елисавета Михайловна, прощайте, — заговорил Тургенев. — А как же Саша Пушкин без вас останется?

— И он хочет идти в офицеры.

— Ну, пропал теперь бедный Наполеон, совсем пропал.

— А мы его по усам, по усам, — самодовольно бормочет старик Державин, делая шах Магницкому.

— А мы уклонимся, ваше превосходительство, — уклончиво отвечает этот последний.

Дурова, видя все то, что около нее происходило, и слушая то, что говорилось, ни глазам своим, ни ушам не верила: она никак не могла себе представить, что сидит в кругу первейших знаменитостей России и слушает их болтовню, перемешанную иногда серьезными замечаниями, которые она жадно ловила. Ничего подобного она не видела среди военных. Правда, здесь она попала в самый высший круг, который принял ее запросто, по-семейному, там же она большей частью толкалась в кругу субалтерных офицеров и солдат; к высшим же военным лицам она имела только служебное и самое косвенное отношение. Здесь ее необыкновенно поразил контраст между серьезностью беседы и самыми простыми шутками и остротами, которыми в особенности пробавлялся Тургенев: ученые мужи, светила государства болтают и дурачатся, как школьники! Но это именно и подкупало ее молодое сердце. Это-то отсутствие педантичности и очаровывало ее: и этот смешной, в бархатных сапогах, «великий Державин», норовящий кого-то все «по усам», да «по усам» и засыпающий при всяком удобном случае; этот тихий, как будто бы застенчивый Карамзин, «главный историограф» и автор «Бедный Лизы», над которою плакала Россия, скромно парирующий нападки Тургенева; знаменитый Сперанский, любимец царя и преобразователь правительственного механизма всего государства, такой ласковый, добрый, так деликатно умевший успокоить ее личное волнение и так неподражаемо обходительный, нежно-игривый с своею Лизою; этот болтун Тургенев, все видящий в смешном виде, и даже этот сладкоречивый Магницкий, ловко «уклоняющийся» от шаха, — все это глубоко и хорошо задело ее мысль, ее впечатлительность.

«Серьезные люди шутят», — думала она... Да разве это не то же, что ее товарищи уланы, иногда после самой кровавой схватки с врагом тотчас перестают о ней говорить или вспоминать ее подробности, эпизоды, вспоминать убитых, толкуют или о том, что гуся где-нибудь раздобыли, или играют с Жучкой, или рассказывают сказки, предаются воспоминаниям самого мирного свойства?.. Это для них отдохновение, отвлечение мысли от одного направления к другому — это освежение мысли...

«Сапоги Ределеди», «зубочистка Феодосия Печерского», «академик Васька» с мышью на шее — все это подкупало ее, и ей становилось и легко, и весело среди знаменитостей... Прежде она любила читать, чтение развило в ней природное

воображение, внутренняя кипучесть искала простора, свободы, деятельности, и она, очертя голову, бросилась в омут боевой жизни — другого исхода не было... А тут она начинает чувствовать, что для женщины могла бы быть и другая свободная, светлая, деятельная жизнь — не на коне, не с пикою в руке...

Этот вечер у Сперанского невидимо для нее самой забросил в ее молодую впечатлительную душу зерно будущего развития... Две самые крупные личности в истории русского просвещения — Новиков и Радищев, и она об них прежде ничего не слыхала, ничего не читала, хотя так много слышала и читала о Державине, Карамзине, Хераскове, Ломоносове...

— А на вас юбочки есть? — конфиденциально шепчет Лиза своему новому другу.

— Нет, милая.

И ей трудно не расхохотаться, тем более что Лиза ведет себя так таинственно и серьезно, как будто бы ей поручено было хранение важной государственной тайны.

А там опять заговорили о Новикове.

— Я не могу забыть, как он однажды накинулся на меня за дворян, — сказал Карамзин, улыбаясь своею мягкою улыбкой.

— За каких за дворян? — спросил Сперанский.

— За российских, которых я похвалил в своем «Вестнике Европы»... Я до сих пор не могу забыть этой несчастной страницы, за которую мне так досталось. У меня было напечатано: «Я люблю воображать себе российских дворян не только с мечом в руке, не только с весами Фемиды, но и с лаврами Аполлона, с жезлом бога искусств, с символами богини земледелия. Слава и счастие отечества должны быть им особенно драгоценны. Не все могут быть военными и судьями, но все могут служить отечеству. Герой разит неприятелей или хранит порядок внутренний, судья спасает невинность, отец образует детей, ученый распространяет круг сведений, богатый сооружает монументы благотворения, господин печется о своих подданных, владелец способствует успехам земледелия: все равно полезны государству»... Так вот за это он и взъелся на меня. А куда, говорит, девали вы, государь мой, мужика, поселянина? Все, говорит, по-вашему полезны, один он не полезен? А на ком, говорит, государство держится? А как, говорит, «господин печется о своих подданных»?

— Что ж, он прав, — заметил Сперанский, и с улыбкой прибавил: — Но не подумайте, что это говорит во мне российский попович, а не дворянин...

— Ну конечно, зависть, — шутя пояснил Тургенев.

— Что ж, вы помирились с ним после? — спросил Сперанский.

— Разумеется, я тотчас же написал ему, что я виноват — не договорил, и старик благословил меня как на журнальную деятельность, так и на дело историографии, но при этом в поучение прибавил: «Судите умерших беспристрастно, да не осуждены будете теми, которые еще не родились...»

— Да, это совет великого человека, — сказал задумчиво Сперанский. — Страшен суд тех, которые еще не родились.

— А я его не боюсь, — с своей неизменной веселостью заключил Тургенев.

— Почему? — спросил Сперанский.

— Меня не будут судить... Вас — это другое дело: вы — исторические деятели, и потянут вас, рабов божиих, к Иисусу... А я — что я? — симбирский помещик и дворянин... ничтожество...

Когда Дурова стала уходить, Сперанский, крепко пожал ей руку, отвел несколько в сторону и тихонько сказал:

— Заходите, пока в Петербурге, всегда рад вас видеть. — А потом прибавил: — А если ваш батюшка будет здесь и станет о вас спрашивать, что сказать ему?

Девушка не сразу могла отвечать на этот вопрос. Волнение ее было так заметно, что Сперанский чувствовал, как дрожит у нее рука.

— Скажите, что вы видели меня... что я здорова... что государь был милостив ко мне...

— Да, это его порадует... А если он пожелает видеть вас?

— Я боюсь... я не перенесу его просьб... его слез...

— Так сказать, что вы уехали к армии?

— Да... а я сама напишу ему.

Лиза тоже таинственно шепнула ей:

— Вы приходите еще — чаще, чаще... может быть, и я уеду с вами...

Державин на прощальный поклон ее отвечал:

— А вам, молодой человек, еще придется иметь дело с Бонапартом... Вы смирите его — так у меня и в оде значится.

— Желаю вам не смирить, а *пленить* Наполеона, — загадочно сказал Тургенев, особенно, как ей показалось, делая ударение на слове «пленить».

Она покраснела, но ничего не отвечала — она была озадачена.

Выходя от Сперанского, Дурова чувствовала, что в душе ее зарождается что-то новое, открывается какая-то новая, светлая полоса в будущем, которой она прежде не замечала.

X

Дурова снова в Полоцке. Но какая разница в том, что было здесь до ее отъезда в Петербург, и в том, что она нашла тут по своем возвращении!

И сама она явилась не тем, чем была. Ничто прежде не отличало ее от обыкновенного солдатика улана или много-много бедненького юнкерика из дворян: жила она в солдатской обстановке под жестоковатой ферулой своего ворчуна дядьки, старого Пуда Пудыча; сама чистила и седлала своего Алкида; жила на солдатском пайке; кормилась картофелем, который сама выкапывала из гряд; была большею частью в обществе солдат, а если офицеры и обходились с ней ласково, как с бедным, но храбрым юношей, однако сама она, боясь своего пола и разных случайностей, держала себя поодаль от офицерского кружка... Только Греков, по понятным нам комбинациям, старался сблизиться с нею. Но во всем остальном она была одинока, и только дневнику своему, к которому постоянно прибегала, она доверяла ту сторону своей жизни, ту область ощущений, дум и мечтании, о существовании которых никто и не подозревал в юном уланике.

Теперь она стала чем-то заметным, выдающимся. Она воротилась офицером, который, как прошла молва, был обласкан государем и которого государь сам пожелал видеть. Теперь у нее на груди блестел почетный крестик, который был повешен на эту грудь самим императором. Прежде у нее не было за душой ни копейки, теперь она ни в чем не нуждалась, потому что в случаях надобности государь позволил ей писать ему в собственные руки и высылал ей деньги через Аракчеева, через того самого, который с первой встречи с нею испугался ее соперничества... Мало того, молоденький уланик, ученик Пуда Пудыча, явился из Петербурга с другой даже фамилией, данной ему самим государем, — с «именною царскою фамилиею» Александрова... Все чувствовали, что в жизни бывшего уланика совершилось что-то крупное, но как, вследствие чего — это оставалось тайной...

Но не радостна была для нее эта перемена. Там, где она мечтала увидеть знакомые, дорогие лица, найти жизнь полную движения, изведать до конца то, что приснилось ей как бы во сне, — там она нашла пустыню... Почти все войска, стоявшие вдоль западной границы, исчезли из этих мест: они потянулись к северу, к Петербургу, к Финляндии... Везде слухи о войне с Швециею... Хоть и осталось несколько полков у западной границы и в Полоцке, но тех, *своих*, полков нет уже; нет и ее

полка-колыбели, ее милого конно-польского уланского полка... Каховский, Бенигсен, добрый Нейдгардт, так отлично занимавший ее в дороге, Фигнер, Платов, Денис Давыдов — все, кого она знала, все эти знакомые лица, к которым привык ее глаз и с которыми породнилось ее сердце, все они потянулись на север... Храбрейший и простодушнейший Лазарев, отмеченный самим Наполеоном, и его остряк-хохол и душевная простота Заступенко, и ворчун Пуд Пудыч, и старый Пилипенко — все они ушли на север... Жучка даже потянулась за войском — разве без Жучки возможна война с Швециею!..

И не видать больше этой милой, скуластой рожицы, этих добрых калмыковатых глаз Грекова — и он с своим полком ушел на север!

Пустыня, мертвая бесконечная пустыня! Это пустыня в ее душе: по ее сердцу, как по сожженной солнцем донской степи, перекатилось сухое перекати-поле и исчезло за горизонтом... Пусто, мертво кругом... Да, это был сон, перекати-поле...

Она сидит за своим дневником в новой, чистенькой офицерской квартире, но что-то не пишется... Да и о чем писать, когда жизнь прошла? Даже евреят маленьких нет здесь и они там остались, на той квартирке, где жилось с надеждами, и теперь пришлось жить с мертвецами — воспоминаниями... Сидит она, думает, все думает, а горькая голова так и валится на руки; так бы хотелось выплакаться, выстонать всю боль сердца, всю тяжесть души, выстонать эту тоску беспросветную — и не плачется, не стонется, застыло, закоченело все в душе... Ух, какая тоска смертная!

И то было сон, там, в Петербурге... Эти орлиные глаза, ласковый голос Сперанского, Державин в бархатных сапогах, Лиза, Карамзин... И это уже мертвецы для нее... Или она сама мертвец в этом тихом склепе могильном? Нет, вон за стеной слышится монотонное причитание денщика... Это он с хозяйским ребенком забавляется...

Ку-ка-реку!
На поветке сижу,
Лапотки плету,
Качадык потерял,
Денежку нашел,
Девушку купил,
Девушка добра,
Пирог испекла,
С куриными легкими...

«За денежку девушку купил... не велика же цена девушкам... Но какая тоска, Боже мой!»

А за перегородкой слышится солдатский разговор:

— Наши, сказывают, нагрели порядком шведа: самую что ни на есть неприступную укрепушку у их взяли.

— Кто сказывал?

— Пишут быдто оттудова.

— Ну и ладно: тут не взяли, так там свое возьмем — это не француз.

— Где до француза! Француз и нам бока помял.

— Ну да погоди — и наш черед придет, и мы ему взашей накладем.

«Да, — думается тут под этот разговор, — они там дерутся, а мы сидим, тоскуем... А что *он*? Целые века, кажется, прошли, как я и его не видела: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь... и конца нет месяцам... а теперь уж лето... А *он* хоть бы строчку написал... Да как *он* напишет? Кому? Куда? А и не знает, что я теперь Александров, а не Дуров, а если и знает, так куда писать? Да и жив ли *он*? Вон какие там жестокие дела, говорят, были, особенно под Улеаборгом, когда Тучкова разбили... Вон Кульнев писал к своим, что это просто «вандейская» война... А все лучше бы вместе с *ним*: и убили бы вместе...»

В сенях слышатся шаги, бряцание шпор. Дурова прячет дневник и берет в руки книгу.

— Дома, ваше благородие, — отвечает денщик.

В дверях показывается невысокого роста, коренастый, загорелый гусар и, остановившись на пороге, декламирует с самым комичным выражением в лице и голосе:

— Бурцев ера, забияка,
Собутыльник дорогой,
Ради рома и арака
Посети домишко мой...

Вот я и посетил, хоть ты и не звал меня... Здравствуй, Александруша!

— Здравствуй, Бурцев... Добро пожаловать.

— А ты все монахом — за святцами?

— Да, читаю Карамзина.

Вошедший был тип беззаботного кутилы-гусара в мире и отчаянного рубаки на войне. Все на нем сидело и глядело как-то небрежно-ухарски. Даже серые небольшие, разделенные красноватым носом, как ширмами, глаза как-то словно небрежно смеялись над всем, что бы ни видели — слезы, радость, горе, смерть, друга, врага, начальника или подчиненного... Это был Бурцев, друг Дениса Давыдова и наставник его «по части романической», то есть по части выпивки рому.

— Что нового? — спросила Дурова, пожимая руку пришедшему.

— Да много, Александруша, нового: от Дениски письмо получил — пребольшущее.

— Да? — с затаенным страхом спрашивает его. — Ну, и что ж?

— Пишет, как Свеаборг брали — сей северный Гибралтар... И знаешь, он пишет, кто вступил в союз со шведами?

— Англичане?

— Нет, Александруша, не угадаешь... Дениска пишет, что самыми сильными легионами шведскими оказались наши провиантские чиновники.

— Ну, это как и в войну с Наполеоном.

— Хуже, Александруша. Дениска пишет, что почти во всяком мешке вместо муки они находили либо мусор, либо опилки... Да еще какие подлецы: как стали их ловить на этом, так они, дьяволы, ухитрились вот как увертываться: как только куда назначут обоз с провиантом, так они, провиантские-то Геростраты наши, и подсылают к шведам своих лазутчиков предуведомить, что там-де и там пойдут обозы с провиантом — не зевайте-де... Ну, шведы и не зевают... А мы остаемся без хлеба, без сухаря. Дениска пишет, что только грибами и живет солдат, а вместо хлеба парят в котлах шведскую рожь да ячмень — ну, и кушают аки кашицу.

— А пишет, кто ранен из наших, кто убит? — чуть слышно спрашивает Дуров.

— Особого ничего не пишет... Хвалит Каменского да Кульнева — только на них, говорит, и выезжаем.

Дуровой еще хочется что-то спросить, но она молчит.

— А ведь я, Александруша, по делу к тебе, — продолжает Бурцев, которому не сидится на месте. — Я хочу тебя, брат, похитить.

— Куда? На охоту опять?

— Нет, брат... Да оно пожалуй, Александруша, на охоту, да только на красного зверя — на красную девицу... К Кульневым махнем.

— Мне что-то не хочется, — немножко тревожно отвечает Дурова.

— Э! Дудки, Александруша: тебе не хочется, а мне хочется...

— Ну и поезжай один.

— Нет, шалишь, Александруша, это не по-товарищески, не по-гусарски. Да без тебя мне и нельзя

— Отчего же?

— Да оттого, брат, что богиня эта, Диана прелестная, прошлый раз мне прямо сказала: «Без Александруши и глаз не кажите к нам».

Дурова заметно покраснела.

— Вот вздор какой! Все это ты сам сочиняешь, — сказала она смущенно.

— Убей меня Бог бутылкой рому! Чтобы мне на том свете водки не видать! — сама богиня так сказала.

Дурова знала, что он не лгал, но это тем больше приводило ее в смущение. Еще с зимы она стала замечать, что в семье Кульневых, которых поместье было верстах в пятнадцати от Полоцка и которые наезжали иногда в Полоцк, младшая дочь, молоденькая, прелестная шестнадцатилетняя девочка, принимая ее за мужчину, оказывала ей такое недвусмысленное, хотя наивное внимание, что положение гусара с женскими прелестями становилось час от часу щекотливее. Дурова видела, что девочка ищет взаимности, тоскует... Надо было бы положить конец этому — но как? Ни холодность, ни видимое желание избежать с нею встречи, ничто не помогало. Оставалось одно — или грубо оттолкнуть от себя доброе, милое, наивное существо, или открыть все...

Дурова решилась на последнее.

— А, брат, увлек девочку, а теперь и на попятный, — говорит между тем Бурцев, которому просто хотелось ехать к Кульневым самому, потому что он был неравнодушен к старшей сестре «богини». — Так, Александруша, хорошие гусары не делают... это свинство... Ну, коли грех вышел — пожалуй, немножко там утешь...

— Не говори этого, Бурцев... Как честный человек говорю, я постоянно избегал ее.

— А вот не избежал: бедная девочка сохнет, этакая цыпочка... а ты, Александруша, бессердечная скотина, вот что я тебе скажу.

— Ну, так и быть, едем, — решительно сказала Дурова.

Бурцев даже припрыгнул от радости и, бросившись к Дуровой, сжал ее в объятиях, как в тисках...

— Ой-ой! Медведь... задушишь, — защищалась она.

— Ай да Александруша! Ай да друг! — радостно повторял Бурцев. — Да зачем ты велишь портному столько ваты подкладывать себе на грудь? У тебя грудь точно бабья...

Дурова в это время отвернулась и что-то очень долго рылась в ящике стола... Просто смерть с этой высокой грудью!

— А наверно там будет этот маркиз из бурсы, — продолжал Бурцев, расхаживая по комнате и ероша себе волосы.

— Какой маркиз из бурсы? — засмеялась Дурова, но как-то насильственно.

— Да новый Сперанский.

— Ах, этот Талантов?

— Да. Вот пономарь во фраке! А косится он на тебя, Александруша.

— Талантов? За что?

— А за богиню... Как же! А ты, простота, и не заметил?

— Ей-богу не заметил.

— Э-эх! Какие он ей, богине-то, очеса запускает — вот очеса! Так, кажется, и пронизывают насквозь — от «блажен муж» до «вскую шаташася»... А все пока дальше первой кафизмы дело его с богиней нейдет — вот и косится на тебя.

— Ах, бедный! Мне жаль его. Да и зачем у него такая смешная фамилия — Талантов?

— А чтоб быть похожим на Сперанского... У них в семинарии всем теперь надавали подобных громких фамилий: Талантов, Прогрессов, Прудентов, Сапиентский, Пульхерримов, Омнипотентов...

— Что ты вздор болтаешь!

— Клянусь бутылкой, он мне сам рассказывал... Ну, так едем, Александруша?

— Едем.

— Ну, спасибо, друг. Собирайся же, а я побегу тоже принарядиться, чтоб и мою недотрогу как-нибудь пронять... Так прощай, через полчаса мы уж на пути в храм любви будем.

И он ушел, напевая: «Бурцев ера, забияка, собутыльник дорогой...»

Через полчаса приятели действительно были уже в дороге. День выдался ясный, теплый, тихий, один из лучших майских дней. Мягкое солнце грело, ласкало, но не пекло. После дождей поля и возвышенности зеленели изумрудом. Птица, молчавшая всю зиму, теперь распевала на разные голоса, словно торопясь выкричать все, что накопилось в груди за зиму, за все время молчания и скуки. Да и как не торопиться! И людям приходится петь недолго, а маленькой птичке и подавно... А за птичкой тянется всякая козявка, трещит и скрипит, да так смело, неумолчно, словно бы весь мир создан для того, чтобы слушать это весеннее торжество козявок...

— Эх, хороша природа, Александруша! — не вытерпел Бурцев. — А воздух! Дышишь им, словно коньяк попиваешь... Да нет, баста! Коли едешь к богиням, ни-ни! Пить не смей, Бурцев!

Дурова молчит, как бы прислушиваясь к гулкому постукиванию копыт о гладко укатанную дорогу. Эта чудесная весна, разлитая кругом, эта далекая синева неба, кажущаяся бирюзовою от яркости изумрудной зелени, теплый, ласкающий воздух — все это навевает тихое, грустное раздумье на того, кому не достает счастья...

— Да что это ты, Александруша, все нос вешаешь? — снова заговаривает Бурцев. — Счастье везет ему бешеное: мальчишка — и уж кавалер, лично известный государю... Все у него есть, богини сами готовы на шею ему повеситься, а он нос вешает!

— С чего ты взял, Бурцев? Вовсе нет... это у меня характер такой.

— Характер! Это точно мой денщик... вечно спит, разоспится так, что над сапогом со щеткой засыпает... А крикнешь на него: «Ты что спишь?» — так нет, говорит: «Я не сплю — у меня характер такой»... Вот и у тебя характер... Да тебя, верно, занозила там полька какая-нибудь, когда вы стояли в Польше.

— Ну вот вздор!

А между тем ей воспоминаются добрые калмыковатые глаза, а тут же рядом с ними мелькают другие глаза, добрые же, но немигающие... нечеловеческие какие-то глаза... А те, калмыковатые, черные, словно без зрачков — эти лучше, теплее...

— А ведь скоро, я думаю, как там порешат, так и здесь начнется работка, — рассуждает Бурцев, который не любит молчать.

— Что? Где порешат?

— Да со шведами... Сюда наши придут, и Дениска придет, и Кульнев, и «чертов генерал», и Гаврилычи все с Платовым... весело будет.

Теплом эти слова веют на сердце Дуровой.

— Да, скорей бы приходили, скучно без них, — говорит она, сама чувствуя, что не вполне искренно говорит.

— Придут... У Наполеона ведь нос — у-у, какой! Понюхал Немана, захочет понюхать и Москвы-реки, и Невы, и Фонтанки...

— Ну, этому не бывать! — горячо говорит Дурова.

— И я, брат Александруша, знаю, что не бывать, и все-таки Наполеошка захочет понюхать, чем Фонтанка пахнет... Ну а мы дадим ему пороху понюхать.

— Скорей бы! — не терпится Дуровой.

Дорога заворачивала влево к речке, и из-за редкого, полувырубленного березняка показалась деревня, расположенная вдоль речного берега, несколько всхолмленного. На одном из

плоских возвышений виднелся деревянный, с деревянными же колоннами, поддерживавшими балкон мезонина, и с зеленою крышею дом, а за ним лепились по берегу черные крестьянские избы с почерневшими от времени и непогоды крышами. Около барской усадьбы виднелась зелень и стояли купами деревья, изображавшие собою не то парк, не то сад: в деревне же и вокруг деревни, на задах, зелень была точно вытравлена, а виднелся только выветрившийся почернелый навоз да перегнившая солома. Зато у каждой избы торчало по несколько скворешен с воткнутыми в них хворостинами да чернелись кое-где гнезда аистов, устроенные на негодных, воткнутых на высокие колья колесах. Дорога шла тут по речному нагорью, которое справа окаймлялось расчищенною рощею.

— Ба, ба! А вон и сами богини шествуют, — весело сказал Бурцев. — Клянусь бутылкой, и Талантов с ними!

В роще действительно из-за деревьев мелькали светлые платья. Вскоре ясно можно было различить две женские и две мужские фигуры. Когда солнце в прогалинках падало на светлые женские платья, они ярко блестели, словно васильки и павилики в зелени. Мужчины — собственно, был один мужчина, а другой мальчик, — оба тоже в светлых коломенковых костюмах и с соломенными шляпами на головах. Барышни — это действительно были барышни Кульневы, «богини», несли в руках по зонтику, а мужчины — по небольшой корзинке.

Барышни заметили всадников и повернули к дороге. Всадники приостановили своих коней и сошли с них, когда увидели, что барышни идут к ним.

— Здравствуйте, прелестные лесные богини! — весело сказал Бурцев.

— Здравствуйте, господа, — отвечала одна из барышень, высокая, плотная, белая и румяная. — Какие мы богини!?

— Как же-с! Лесные нимфы, сопровождаемые Паном — виноват, сатиром...

Барышня положила палец на свои розовые губы, Бурцев догадался и замолчал... Подходил высокий мужчина в летнем пальто и в таком же пальто мальчик: это были Талантов и его ученик, девятилетний брат «богинь».

«Богини» были барышни в самом русском стиле, ныне исчезающем под давлением неблагоприятных условий: не высокие, как линейные англичанки, а высокенькие вплотную, наливные, как волжские белевые яблоки, полнотелые и упруготелые до неущипу, большекосые, с персиковыми щеками и ямочками на подбородках, немножко, словно бы по-де-

тски курносенькие и с серыми с поволокой глазами. При виде их, особенно старшей, у Бурцева являлось какое-то конвульсивное движение в руках, которые у него невольно тянулись погладить что-нибудь у «богини», как невольно хочется погладить бархатную шерстку у кошечки, хорошенькую мордочку собаки, курчавую головку ребенка. «Богини» были похожи одна на другую, как два персика, но только младшая была менее плотна телом и в лице часто замечалась почти детская смущенность.

Талантов был молодой человек лет за двадцать, видимо, занимавшийся своей особой и преимущественно своими волосами, которые у него были очень хороши — огненно-красные, густые, но сильно теряли от того, что Талантов, которому не нравилась их краснота, сильно смазывал их для придания им некоторой черноты помадой и завивал по моде — колбасками на висках и хохолком на лбу. Он думал, что этим, модным тогда, способом, он сделает себя похожим на Сперанского: ему почему-то казалось, что Сперанский брал хохолком. Тогда все семинаристы мечтали быть Сперанскими.

— Вы, кажется, по грибы ходили? — спросил Бурцев, глядя на корзинки.

— Да, но мы больше отдавали дань природе, ее красоте, — высокопарно заговорил Талантов.

— Как же вам не стыдно — без нас-то? — обратился Бурцев к старшей «богине». — И мы хотим с вами по грибы.

— Что ж! Мы после обеда опять пойдем, все — да?

— Отлично... А то вот мой Александруша все хандрит — влюблен в кого-нибудь.

И Дурова, и младшая Кульнева все это время как-то неловко молчали. Но при последних словах Бурцева они смущенно, украдкой взглянули друг на друга, но только взгляды эти сопровождались различными последствиями: Кульнева покраснела до корней волос, а Дурова почувствовала, как щеки ее бледнеют. Талантов, видимо, чувствовал себя в неловком положении.

— А как по-латыни «гусар», Иринарх Иванович? — неожиданно выручил его маленький Кульнев.

— «Гусар» по-латыни — «эквес», — отвечал тот наставительно.

— Да ведь «эквес» значит всадник?

— Ну, все равно — у римлян не было гусар.

— А уланы были? — спросил Бурцев, переглядываясь с своей «богиней».

— Нет, и улан не было.

— Вот дураки римляне! Самого красивого войска у них не было.

В это время Алкид, которому наскучило слушать, как господа болтают с барышнями, тоже подошел к беседующим и, просунув морду между плечом младшей Кульневой и Талантовым, стал обнюхивать лежавшие в корзинке грибы.

— Ах, милый Алкид! — обрадовалась барышня. — Хочешь грибка? — И она поднесла к морде коня большой красный гриб. Конь понюхал предлагаемое, но не взял.

— А, не хочешь! А жареный в сметане скушаешь?

— Скушает... Его Александруша избаловал — варением кормит, — продолжал шутить Бурцев.

— Однако, любезно с нашей стороны, — вспомнила старшая Кульнева, — держим усталых гостей на дороге, а к себе не приглашаем... Пожалуйте, господа, нас уж и мама давно ждет.

Общество двинулось к усадьбе. Бурцев шел под руку с своей «богиней», а в другой руке держал повод коня. Дурова предложила свою руку младшей Кульневой. Рука последней заметно дрожала. Талантов и маленький Кульнев с корзинками в руках составляли авангард. Сзади всех шел Алкид без всякого понуждения со стороны своей госпожи: он знал свое дело, да кроме того хорошо помнил, где у Кульневых конюшня.

И Дурова, и Кульнева молчали — они чувствовали, что объяснение неизбежно... Дольше тянуть было уже нельзя.

XI

Усадьба Кульневых состояла из деревянного, довольно поместительного одноэтажного дома с боковыми пристройками и мезонином. По правую руку главного дома, несколько в стороне, стоял отдельный флигель для ночлега заезжих гостей, по левую — постройки для дворни, а назади дома все прочие службы. К одной стороне дома примыкал небольшой цветник с беседкою, увитою хмелем. Но лучшим украшением усадьбы служили пирамидальные тополя, посаженные вдоль лицевого решетчатого забора.

Когда хозяева и гости вошли во двор, кучера тотчас же взяли гусарских коней, чтоб вести на конюшню. Но так как избалованный Алкид иногда капризничал и не слушался чужого кучера, то и в этом случае Дурова, желая заставить его повиноваться кучеру Кульневых, подошла к нему, погладила

его гибкую, упругую шею и, показывая на кучера, сказала: «Слушайся его, Алкид, — это Артем...» Умное животное до сих пор не забыло имени своего прежнего конюха Артема, и потому всякий, кто желал взять этого капризного коня, должен был на время стать Артемом. Уланы и гусары знали эти лошадиные капризы и стали самого Алкида величать Артемом.

По парадному крыльцу, на площадке которого стояли цветы в кадках и ящиках, гости и барышни вошли в дом. Там их встретила полная, розовая, средних лет дама с батистовым в оборках чепцом на голове, на которой не было ни одного седого волоса, хотя полное лицо начинало уже покрываться морщинами, этими таинственными, но для всех понятными иероглифами беспощадного времени. Серые глаза ее напоминали глаза «богинь» в такой степени, в какой засохшая и сплюснутая в книге незабудка напоминает себя в прошедшем, когда она выглядывала из зеленой травы и словно улыбалась, блестя не высохшею еще на ней утреннею росинкою. И полнота ее, более обстоятельная, чем полнота «богинь», напоминала этих последних, но так, что рука Бурцева не тянулась погладить полноту «богининой мамы». Это и была мама, сама хозяйка дома, Кульнева, повторившая свою молодость в своих дочках, только не в свою, а в их пользу... Да, все так на свете делается, все так предопределено таинственными законами жизни, даже бессмертие человеческое полагается не в пользу того, кто заслужил его, а в пользу... господ архивариусов...

— Как мило с вашей стороны, господа, что вы вспоминаете нас, а то уж мы об вас скучать стали, — сказала хозяйка в то время, когда гости целовали ее пухлую руку, а она своею пухлою щекою скользила по их щекам.

— Я бы давно к вам, добрейшая Анна Гавриловна, да вот этот монах, Александруша, сиднем сидит над своими книгами, — отвечал развязно Бурцев.

— Как вам это не стыдно, сударь? — обратилась хозяйка к Дуровой. — Вон уж и папочка, — «папочкой» она называла мужа, — постоянно твердит за обедом: что это, говорит, не видать Сивки-Бурки, ни Александруши? Не с кем и о политике потолковать.

Дурова бормотала извинения, говорила, что боится надоедать, да и дело мешало.

— Дело! Это у него дело — весь обложился книгами: там у него и «Свиток муз» какой-то, и «Моя лира», и «Журнал российской словесности»... И откуда всего этого он набрал? Точно в профессора готовится, — обличал ее Бурцев.

Дурова по возвращении из Петербурга действительно обложилась книгами. Она вывезла оттуда целый чемодан как новых журналов, так и книг наиболее замечательных. Это был результат ее знакомства с Сперанским, у которого она встречала представителей тогдашнего умственного движения. От себя лично Сперанский подарил ей книгу Пнина, автора, мало тогда известного в России, но о котором Сперанский выразился, что «Пнин останется учителем для россиян и через сто лет, тогда как на Карамзина россияне будут взирать как на школьника». И когда девушка в недоумении спросила: «Почему же это так должно быть», Сперанский отвечал, подавая ей книгу: «Прочтите, мой друг, эту книгу и тогда поймете меня». Книга эта была — «Опыт о просвещении относительно к России», изданная в 1804 году... Чтение, которому после того девушка отдалась со всею страстью, открыло для нее новый мир и новых богов, и некоторые из старых ее кумиров были разбиты...

Послышался стук колес, и во двор въехал сам хозяин на беговых дрожках. Он был в белом парусинном пальто и такой же фуражке с большим козырьком. Кульнев был бодрый, невысокого роста, хорошо выкормившийся старик, с двойным подбородком, с коротенькими руками и ногами.

— Вот и папочка приехал, — сказала хозяйка, — значит, и за стол сейчас.

Барышни между тем ушли к себе «оправиться»: нельзя же, гости приехали, молодые люди. Талантов с корзинкой также скрылся: ему также следовало «оправиться», взглянуть в зеркало на свои букли и коки, поправить на шее голубой галстучек, принять перед зеркалом мечтательное, а la «Бедная Лиза», выражение.

— Ба-ба-ба! Вот удружили — спасибо, спасибо, господа! — радостно и искренно приветливо говорил Кульнев, входя в дом и здороваясь с гостями. — Что новенького? Как наши воюют?

— Не наши, Григорий Петрович, а ваши... Кульневы, — перебил его Бурцев.

— Да, братец-то мой двоюродный... Молодец, молодец! Не ожидал я от него такой прыти.

— Как не ожидали?

— Да маленьким он был трус естественный, а вон теперь поди на!

— Дни и ночи на биваках всегда — и ест, и спит с солдатами, — подтверждал Бурцев.

— Что и говорить! Правая рука у Каменского.

— И оба его глаза, Григорий Петрович, — добавила скромно Дурова. — Я видел его в поле.

— Да, да, героем стал, что и говорит? А что вы, господа, о бесе-то полуденном думаете?

— О Наполеоне?

— Да...

Уж мы просо сеяли — сеяли,
А он просо вытопчет — вытопчет, —

запел вдруг старик как-то особенно комично. — Заварит он кашу из нашего проса, да кто-то ее расхлебает, — пояснил он.

— Да сам же и расхлебает, только не солоно, — пояснил с своей стороны Бурцев.

Вышли и барышни — такие свеженькие, розовенькие, словно из яйца вылупившиеся. Кажется, все на них осталось прежнее, и платья, и платочки, и бантики, а между тем то, да не то: тут приподнято, там опущено, здесь передернуто, еще где-нибудь выпущено, подправлено, заправлено, оправлено — и вид уже не тот: издание исправленное и пополненное. У Бурцева и глаза разгорелись на эти исправленные издания.

— Ну что, козочки, набрали грибов? — спросил отец, подходя к старшей.

— Набрали, папа, все рыжики больше.

— И то хорошо, моя Услада.

— То-то, Услада, папа, — все грибы да грибы, а амазонки мне и не купишь.

— Куплю, куплю... А тебе, царевна Неулыба, чего купить? — обратился он к младшей,

— Мне, папа, ничего не надо.

— Ну так ты, значит, дурочка, царевна Неулыба. Как-таки ничего не хотеть! А куколку?

— Ну уж, папа! Ты всегда...

— Надя, папа, в ученые записалась, — объяснила старшая сестра. — Помешалась на каком-то сочинителе, и фамилия-то смешная — Пнин, а она говорит, что он лучше Державина и Карамзина...

Дурова взглянула на младшую Кульневу. Та, чтобы скрыть свое смущение, нагнулась к цветам, стоявшим у открытого окна

— Что ж, Вера Григорьевна, я сам того же мнения, как и Надежда Григорьевна, — тоже несколько смущенно заговорила Дурова. — Да это и не мое только мнение — это мнение Сперанского, с которым я имел честь познакомиться... Вы помните, конечно, оду «Бог» Державина?

— Помню, потому что ее постоянно твердит господин Талантов, — отвечала барышня.

— Помните то место, где он говорит: «Я червь, я раб...»?

— Еще бы! Это и Митя постоянно твердит.

— Так Пнин в оде «Человек» вот что говорит об этом «черве»:

Какой ум слабый, униженный,
Тебе дать имя *червя* смел?
То раб несчастный, заключенный,
Который чувствий не имел:
В оковах тяжких пресмыкаясь,
И с червем подлинно сравняясь,
Давимый сильного рукой,
Сначала в горести признался,
Что человек — лишь червь земной,
Потом в сих мыслях век остался.

Дурова декламировала это с увлечением. Голос ее звучал силой, убеждением.

— Вот так и Надя теперь постоянно храбрится, — засмеялась старшая сестра.

— Что ж, разве это не возвышенно? Разве Пнин не прав? И разве он не сильнее Державина? — продолжала Дурова.

— Ну, пошел, теперь его не остановишь, — комически говорил Бурцев, обращаясь то к тому, то к другому. — Вот Господь насылает на меня друзей, которые все помешаны на стихах: там Денис Давыдов везде сует стихи, словно соль во щи, а тут и Александруша — словно бесноватый с своим Пниным.

Но в это время явился лакей и доложил, что кушать готово. В столовой ожидали уже господ лакеи и казачки — дворовые мальчики, одетые в нанковые казакинчики, которые назначались для мелких, совершенно ненужных услуг, как-то: стоять у дверей и лениво хлопать глазами, отгоняя от господ мух, чесать у барина спину, так как при коротких руках и тучности своей он сам не мог этого делать, да и не хотел — для этого-де Бог холуев создал. Лакеи были в белых сомнительной чистоты перчатках, и один, за неимением перчаток, которые находились в стирке, стянул где-то сушившиеся на веревке барышнины чулочки и напялил их себе на руки: издали все равно не видать, было бы бело.

Когда все уселись за стол, хозяин, сидя на почетном месте и что-то вспомнив, обратился к младшей дочери:

— Да ты что, царевна Неулыба? А?

— Что, папа? Я не знаю.

— Как не знаешь! Пнина какого-то наизусть выучила, а обязанности свои забыла.

— Какие обязанности, папа? — улыбалась она, видя, что отец шутит.

— А возложу на тя убрус бел.

— Ах, виновата, папа, забыла.

Она вскочила, подошла к отцу, взяла с его прибора салфетку и обвязала ее вокруг шеи отца. Подвязывать отцу во время стола салфетку на грудь — это была ее обязанность. Исполнив эту церемонию, она нагнулась и получила от родителя поцелуй в лоб и ласковый щипок за розовую щеку.

— То-то Пнин, червь ты этакий, — сострил отец.

К столу явился и господин Талантов с Митей. Талантов казался задумчивым и глубокомысленным, а Митя за супом порывался фыркнуть и смотрел на мать превеселыми и плутоватыми серыми глазами, как бы желая сказать что-то очень забавное и интересное.

— Ты что, Митя, не кушаешь суп? — спросила его мать.

— Так, мама, — загадочно отвечал мальчик.

— Почему же так? Дети всегда должны суп кушать... А ты, верно, успел у няни побывать — не голоден.

— Нет, мама, я голоден, — еще загадочнее отвечал мальчик.

— Ну так что ж не кушаешь?

— Я после скажу.

Всех насмешил этот лаконический ответ. Даже царевна Неулыба засмеялась.

— О! Он у меня продувной мальчишка — верно, в дядю пойдет, — заметил отец.

Талантов изредка бросал ядовитые взгляды на младшую «богиню», а Бурцев больше налегал на горячие, поджаренные пирожки, чем на любезничание с своей «богиней», которая тоже кушала с аппетитом. Одна Неулыба казалась не в своей тарелке, но эта позиция «в чужой тарелке», по-видимому, никем не была замечена кроме господина Талантова, который чувствовал, что и у него «тарелка как бы чужая».

— Все утро я рыскал по работам, по полям своим, — говорил между тем Кульнев. — Уж и бестии же эти мужики! Как Бог их сотворил хамами, так хамами и остались!.. Сам издали вижу, что не работают, проклажаются, а как заметят только моего гнедка да беговые дрожки, так словно прилипнут к работе... Ну, и постегаешь.

Суп между тем убрали. Переменили тарелки. Митя смотрел еще веселее — так и сиял.

— Ну, продувной мальчишка, говори, почему не ел супу? — спросил отец.

— Как же, папа, — мама боится тараканов, а в супе был таракан... Если б я раньше сказал, так мама испугалась бы и не кушала, — торжественно отвечал находчивый молодой человек.

Но эффект, который последовал за его ответом, был не тот, какого он ожидал. Лица у всех вытянулись. Хозяйка и дочери вспыхнули. Сам хозяин побагровел.

— Как! Таракан в супе! — закричал он, задыхаясь от гнева. — Позвать сюда каналью повара!.. Я его!..

Лакеи и казачки стремглав бросились исполнять приказание барина. Зазвенели тарелки.

— Стой, скоты! — кричит рассвирепевший господин. — Пускай идет сюда с кастрюлькой и с горячим супом... чтоб кипел суп... Я ему этот суп, каналье, на голову вылью... ошпарю... задеру.

Лакеи, дрожа от страху, снова бросились. Все онемели — не знали, что начать, что сказать... Все знали крутой нрав обезумевшего барина и ждали страшной развязки.

— А! Осрамил при гостях!.. Это по злобе... на волю захотели! Га! Хамы, я вас! — бесновался человек, которого история уполномочила превращаться иногда в зверя.

— Ой, батюшки! Господи! Ой, смерть моя! — слышались вопли на дворе.

Топот множества ног, бабий вой на дворе. Творится что-то возмутительное...

Лакеи, бледные, дрожащие, вводят под руки полумертвого от страху старика. Он уже сам не может стоять на ногах — они дрожат, руки дрожат, голова ходенем ходит, седые волосы прилипли к вискам — их прилепил холодный, как у мертвеца, пот несчастного. Один из лакеев держит кипящую кастрюлю... Все бледны — и лакеи, и казачки, и господа.

— Га! — снова задыхается барин. — Ты так и ядом окормишь нас! А, дьявольское семя!

Старик вырвался из рук лакеев и грохнулся об пол... Стукнула седая голова, да так глухо, страшно, словно раскололась.

— Лей на него кипяток! — хрипит барин.

— Ох! — вырывается крик из груди младшей дочери.

— Лей! А то и тебя запорю!

Лакей поднял кипящую кастрюлю. Кто-то еще вскрикнул... вскочили... что-то грянуло...

Митя припал к повару и обхватил его седую голову руками. Руки лакея, поднявшего кверху кастрюлю, остановились в воздухе. Все замерло — но тотчас же все изменилось.

Чистое сердце ребенка спасло отца от зверского преступления. Митя, невольный виновник этой ужасной сцены, очень любил старого повара Захариньку. Старик рассказывал барчонку сказки и всякие страшные истории, отыскивал ему в саду гнезда малиновок, яички ящерят, ловил ему зайчат и всяких редких насекомых, а вчера еще поймал ему двух ежат, маленьких, беленьких, кругленьких, которые еще не колются и пьют молоко с блюдечка.

Митя бросился к повару и громко заплакал. Барышни тоже ухватились за отца и плакали, прося за повара, гости просили также усердно, особенно Дурова.

— Эка беда! — смеясь говорил Бурцев. — Мало мы их, этих таракушек, переели в походе! Все же вкуснее щи с таракушей, чем солдатский сухарь с хрустом.

— Да и где он взялся, этот таракан, в поварской? — говорила едва пришедшая в себя от испуга хозяйка. — Там нет ни одного таракана — я знаю.

— Это я, мама, — всхлипывал Митя.

— Что ты?

— Я принес туда тараканов...

— Ты! Зачем?

— Целый таз принес...

— Для чего? Откуда? — спрашивали все в недоумении.

А голова повара все еще тряслась на полу. Лакей все еще держал кастрюлю в руках.

— Зачем? — спрашивал отец.

— У него, папа, у Захарыча, скворец там... он выучил его говорить... Он все говорит, папа, и «здравствуй, барин» говорит, и «француз собака», и «Господи, помилуй»... А мы с Иринарх Иванычем научили скворушку петь «На божественной страже».

Все расхохотались, а господин Талантов покраснел как рак. Даже у самого Кульнева сразу прошел гнев и он помирал со смеху...

— Ну, ну... так как же? Где ж тараканы?

— А он любит тараканов...

— Ну... и что ж?

— А я взял да у птичницы у Акулины в избе и наловил их целый таз.

— Ну? — Старику становилось совсем весело.

— А таз смазал маслом...

— Ну, так повар не виноват... Вставай же — счастлив твой бог, — сказал барин милостиво.

Повар поднялся и снова повалился на пол, желая поймать ноги своего повелителя.

— Ну, будет, будет... ступай.

Старый холоп ерзал по полу и целовал ноги барчонка, барыни.

— Ну, ступай, ступай... мы проголодались.

Обед прошел весело — веселее, чем кто-либо ожидал.

— Ну, господа, теперь и на боковую, часочка два соснем, — сказал хозяин, когда все встали из-за стола, а потом, обращаясь к одному из лакеев, отдал следующий приказ: — Ты, Епишка, вели ключнице приготовить господам офицерам флигель, да чтоб казачки выгнали оттуда всех мух до единой — слышишь? — до единой, а то если приду и найду хоть одну муху — запорю, шкуру всю спущу, так и знай... Да скажи ключнице, чтобы поставила господам для питья квасу холодного да меду, да чтоб прямо со льду, чтоб холодный был, такой, чтоб в кишках леденело, иней бы по животу стал, чтоб хоть на салазках в кишках катайся, такой холодный — слышишь? А то засеку до смерти, с конюшни не сойдешь... Да чтоб казачки все время над господами сиреневыми ветками махали, мух бы отгоняли, чтобы ни-ни, ни Боже мой, ни одной бы мухи... закатаю! Слышишь?

Лакей хотел уйти.

— Стой! — кричит барин. — А я, господа, люблю под дождичек спать, чтобы этак на дворе — у-у-у-у! шлеп, шлеп, шлеп... так-то любезно спится под ливень; а нынче, как назло, солнце так и печет; ну, так я себе искусственный дождик делаю — у меня на это девки да парни... Как жаркий день, так у меня и дождь... Так слушай, Епишка, скажи старосте, чтоб нарядил сейчас десять девок и десять парней на дождик, да чтоб живо... Ступай!

— Как же это вы дождь девками делаете? — спросил Бурцев, лениво улыбаясь.

— А вот как! Наряжает староста десять парней с ковшами да десять девок с ведрами, парни это взлезают на крышу, да там и становятся по коньку в ряд, парень к парню, с ковшами, а девки таскают из речки воду да и подают ее на крышу; для подачи наряжается два «подателя», которые стоят на лестницах, приставленных к крыше, и передают ведра «ливням» — так парни на крышах называются... Ну, парни, приняв ведра, ковшами и льют воду на крышу, да только в ту сторону, где моя спальная... Ну, вода-то и шумит по крыше — у-у-у-у, точно ливень... А мне так-то сладко спится... Прощайте, господа, пойду разденусь...

«Ну, барщина! — подумал Бурцев. — Такой я еще и не видывал»

И наши друзья, отдыхая в прохладном флигеле и попивая холодный квас да мед, все время слышали — не то чтобы ливень, а какое-то шлепание и журчание воды по соседству.

Когда они вышли, то увидели, что Митя и барышни все уже приготовили для экспедиции по грибы: к двум прежним корзинкам прибавилась еще третья.

Сборы были коротки — и экспедиция двинулась в путь. Впереди с корзинками в руках шли Митя и господин Талантов. Последний, под влиянием прочитанной им в слащаво-сентиментальном карамзинском вкусе повести «Келадон и Амелия», страсть которых была дружество, основанное на добродетели и невинности, вообразив себя Келадоном, а младшую Кульневу — Амелиею, теперь, после скандала со скворцом, чувствовал, что он окончательно упал во мнении своей Амелии и находился в самом мрачном настроении духа. Со времени скандала он ни разу не смел поднять на нее своих огорченных взоров.

Бурцев шел с старшею «богинею», Дурова — с младшей. Первая пара весело болтала; у второй же разговор совершенно не вязался.

Наконец они и в лесу... Пары разбрелись по разным направлениям... Дурова и Надя Кульнева остались вдвоем, долее молчать нельзя — тяжело, невыносимо... А тут как назло — ни одного гриба!

Лес становится все гуще и гуще... Одиночество абсолютное...

— Вы довольны книгами, которые я вам привез в последний раз? — решается наконец Дурова, но голос ее какой-то странный, точно чужой...

— Да... я так благодарна вам... С этими книгами я точно сама переродилась...

— Я понимаю вас — то же было и со мной, особенно после знакомства с Сперанским и нескольких бесед с ним... Что за возвышенная душа! Как бы я хотел всегда оставаться в Петербурге!

— А ваша служба? — робко спросила девушка, нагибаясь к земле, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.

— Служба? Бог с ней... Я избрал эту жизнь, как крайность.

— И вы б бросили полк? — еще робче и тише спрашивают.

— Да... Есть призвание благороднее войны.

— А товарищи? Друзья?

В этом вопросе слышатся уже слезы... Горло они заливают и сдавливают... вот-вот брызнут... Дурова слышит это, чувствует... Ей становится невыносимо жаль бедной девочки...

— Друзья... да...

— А знакомые?.. А мы?..

Это мука! Это пытка с обеих сторон... Дурова не выдерживает...

— Надежда Григорьевна... умоляю вас... выслушайте меня, — говорит она, взяв руку своей спутницы.

Девушка вся задрожала от этих слов...

— Я — низкое, недостойное создание! — страстно заговорила Дурова. — Простите меня...

— За что? — с страстным же, стыдливым восторгом воскликнула девушка. — Я люблю вас — разве вы не видите?

— О! Я низкое существо! Я не должен этого слушать...

— Нет! Нет! — повторила обезумевшая барышня. — Я люблю вас, я давно люблю вас... вот я вся ваша!

И она, широко раскрыв руки, обвилась ими вокруг шеи мнимого мужчины...

— Я люблю... я умру без вас... я твоя... — шептала она то, что обыкновенно шепчут безумные люди.

— Надя! Надечка! Друг мой! Девочка бедная, опомнись! — заговорила Дурова каким-то странным голосом... — Я не мужчина... Я такая же Надя, как и ты... Разве твоя грудь не чувствует этого?

И действительно, женская грудь ощутила, как-то инстинктивно ощутила не мужскую грудь...

Как ужаленная, с безумными глазами, в которых горел стыд, отвращение, ненависть, отскочила обманувшаяся женщина от другой...

Ночью она уже металась в бреду... Нравственное потрясение было так сильно, что нервная горячка едва не свела молодую жизнь в могилу... Все думали, что она простудилась в лесу. В бреду она бормотала несвязные речи, и можно было иногда расслышать: «женская грудь... Надя... она тоже Надя... женская грудь — лягушка, я не хочу ее... не надо — не надо... уведите ее — она всех обманывает... она жаба... я любила — фу, какую гадость...»

XII

После свидания императора Александра Павловича с Наполеоном в Эрфурте в воздухе чувствовалось приближение грозы. Гроза должна быть страшная, неслыханная. Накопленное в атмосфере электричество должно было разрешиться громами, от которых должна была пошатнуться земля. Это

чувствовалось народными нервами, ныло как невыносимый зуд в душе каждого.

«Щось велике в лиси сдохло» — говорят украинцы, когда совершается что либо необычайное, неожиданное. От этого «дохлого великого» запах носится в воздухе, далеко носится — из лесу даже слышен... Этот же запах носился в воздухе и перед *двенадцатым годом*. Что-то «великое» не «сдохло» еще, а должно было «сдохнуть».

Тильзитское свидание происходило 13 июня 1807 года, эрфуртское — 17 сентября 1808 года. Так скоро!.. Но в этот короткий промежуток времени многое совершилось: раздавленная Наполеоном Испания успела уязвить и в пяту и в сердце бессердечного исполина, зато вся остальная Европа стонала под этою железною пятою, Россия громила Швецию в Финляндии.

Наполеон безумел от сознания своей силы, которая бушевала в нем, несла его неведомо куда, как спертый в паровозном котле могучий пар несет по рельсам чудовище-локомотив... Этой силе тесно вдвоем на земном шаре, надо остаться одному... Одному на земном шаре, на всем земном шаре, где нет равного тебе, — какая эта должна быть адская тоска! — такая тоска, все равно что одному остаться на одной песчинке среди океана... на песчинке Святой Елены... Нет, он ищет этого одиночества, такой страшный зверь должен жить на необитаемом земном шаре, как лев в пустыне, где нет ему равных, смелых, а есть только слабые, трепещущие.

С этими целями он задумал эрфуртское свидание — очаровать последнего равного ему на земном шаре.

Очаровать, ослепить... обставить свидание небывалыми признаками величия, пышности, торжественности, богатства... Для караулов и почетной стражи в Эрфурт стянуты гвардейские гренадеры и лучшие полки. Навалила орава придворных, стада прислуги, с бронзой, фарфором, серебром, золотом, гобеленами и роскошной мебелью из Тюльери... Все лучшее и изящнейшее, что в течение столетий сработали миллионы рук французов, самое дорогое, надо чем трудился гений француза, — все это свезено в Эрфурт, и театр французский с знаменитыми Тальма, Жоржем Дюшенуа...

Двигается огромный кортеж Александра. В свите его — великий князь Константин Павлович, обер-гофмаршал граф Толстой, министр иностранных дел Румянцев, генерал-адъютант князь Волконский, Сперанский, которого задумчивые глаза смотрят грустно... Этот звон величия, звон золота почему-то напоминает ему церковный звон и это тоскливое:

У Данилы у попа
В большой колокол звонят,
В большой колокол звонят —
Знать, Параню хоронят...

И вспоминается ему Лиза, а там Дурова с детскими глазами, мертвое, в гробу, лицо Пнина... Не червь... перед людьми — не червь, но пред этим чудовищем, перед природой — червь...

А в Эрфурте уже ждут собранные со всей Германии германские короли: король саксонский, король баварский, король вюртембергский, король вестфальский и брат прусского короля Вильгельм... Тут же целая толпа других владетельных князей, у которых на головах — все же короны.

А вот и он, маленький человечек, — величайший меж людьми исполин зла... А за ним — орудия зла: Талейран, который и мать свою, кажется, обманывал в утробе, и Бертье, и Шампаньи, и Маре...

Наполеон на коне. Лицо его холодно и зло, хотя желает казаться любезным... И он вспоминает что-то неприятное, злое... да, злую кошку, что приходила к нему, когда он босиком, в одном белье, скукожившись, как ребенок в утробе матери, спал в Тильзите, и эта злая кошка говорила ему: «Ты что сделал, что создал в жизни? Сделал ли ты хоть иглу, гвоздь ничтожный? Нет, ты только все разрушаешь! Если хочешь принести пользу земле — умри!..»

Но вот они увидели друг друга... Маленький человечек первый раз в жизни торопится — торопится сойти с коня, чтоб обнять своего единственного на земном шаре противника... Они обнимаются...

И последовали торжество за торжеством. Короли ждут решения свой участи.

Тут же, в рядах, блестящих золотом и орденами, виднеется и юпитеровская голова великого германского поэта и философа. Это Гете. Но у него не юпитеровское выражение, а иное, за которое он получает из рук Наполеона орден Почетного легиона, и униженная Германия не смеет отвернуть от него своего заплаканного лица.

А это что такое? Театр. Идет представление «Эдипа». Наполеон и Александр сидят рядом на возвышении. Пониже — короли, князья, графы.

«Дружба великого человека есть благодеяние богов!» — громко декламирует актер на сцене.

Александр встает и обнимает «великого человека»... Зрители потрясены — театр дрожит... Наполеон бледнеет — не то от счастья, не то от злобы...

Кажется, от злобы... Быть буре! Что-то «великое» должно «сдохнуть»...

На эрфуртском свидании Наполеон предлагал Александру чудовищный план, план, который мог созреть только в мозгу чудовища, — разрезать земной шар, как апельсин, надвое, и одну половину этого все еще незрелого апельсина взять Александру, а другую — Наполеону. Александр ужаснулся этого плана — ужасен ему стал и сам Наполеон.

Ужас этот был предвестником грядущего, семенем великих событий: из этого семени вырос *двенадцатый год*...

По возвращении из Эрфурта, император Александр чаще и чаще начал испытывать какое-то тайное, глухое недоверие — к кому? к чему? — он сам этого не мог объяснить. Он чувствовал потребность советоваться с кем-нибудь, но с кем? Каждый из советников говорит что-нибудь противное тому, что говорил его предшественник. Как тут разобраться? На чем остановиться? Кто прав? Аракчеев, кажется, глубоко верен, глубоко предан... Да, предан, но не своекорыстно ли? Да и философия Аракчеева так суха, так деревянна и жестка, как он сам... А Сперанский? О, это большой ум, глубокий... Но и этот попович, как и Наполеон, из хищных птиц — у него полет орлиный... Недаром он так восхищен Наполеоном... Но он нужен — это государственная рабочая лошадь...

Часть третья

1

Год, который, по счету, принятому христианскою эрою, приходится двенадцатым в девятнадцатом столетии, бесспорно составляет необычное исключение в бесконечном ряду тысячелетий, прожитых коллективным человеком, ибо с тех пор как человечество начало себя помнить, не было ни одного, положительно ни одного года, который бы остался до такой степени памятным и единственным, чтобы люди всего земного шара, не условливаясь между собою, при одном упоминании о нем с эпитетом, или, скорее, когноменом, «двенадцатый», тотчас же понимали бы, что речь идет о двенадцатом годе не восемнадцатого столетия, не пятнадцатого и никакого другого, а именно девятнадцатого, и мало того — с именем этого года тотчас же в уме каждого возникает целый ряд известных, весьма сложных, весьма рельефных, то ярких и отрадных, то большею частью мрачных и обидных для человеческого ума, но для всех более или менее одинаковых, или же до известной степени сложных представлений. Такого другого года нет ни в одном из столетий и тысячелетий ни нашей эры, христианской, ни эры библейской, ветхозаветной. О каком бы годе ни зашла речь — о первом ли, о пятнадцатом, двадцатом и т. д., — всегда сам собою является вопрос: какой год? какого столетия или какой эры? Но никто не подумает спросить этого, услыхав о годе с эпитетом «двенадцатый». Всякий сразу поймет, о каком годе и о чем идет речь, как всякому сразу станет ясно, о ком говорят, когда скажут — «Цезарь», «Гораций», «Гуттенберг», «Наполеон», «Россия», «Петербург». *Двенадцатый год* — это единственный год в бесконечной шеренге тысячелетий своих собратьев-годов, как Архимед или Ньютон суть единственные личности среди миллионов и миллиардов себе подобных существ, бесследно и беззвучно прошедших по земле и забытых людьми, как забыты ими тысячи годов, не оставивших по себе такой громкой и горькой памяти, какую оставил *двенадцатый год*, ставший собственным име-

нем в истории. Это какой-то необычайный выродок, урод в бесчисленной семье старого Хроноса, давно потерявшего счет своим детям-годам, столетиям, тысячелетиям и т. д. до бесконечности и безначальности.

Вследствие каких причин или, вернее, вследствие каких несчастных отклонений в процессе многотысячелетней жизни земного шара ветхий Хронос произвел на свет Божий этого урода — историки и неисторики говорят различно. Одни полагают, что главною причиною родов страшного детища девятнадцатого века был другой такой же выродок в человеческой семье — «маленький корсиканец», который гениальным безумием своим успел довести до такого же, только слепого, безумия одну половину Европы и погнать ее, как стадо голодных шакалов, на другую половину — на Россию, отчего произошло страшное, небывалое столкновение западной половины нашего полушария с восточною. Другие сваливают вину временного безумия Европы скорее на Англию, чем на маленького корсиканца, который своею «континентальною системою» хотя и больно наступил на мозоль «царицы морей», однако «царица морей» могла бы, говорят, и не поморщиться от этого, а она поморщилась и вовлекла Россию в ужасную войну. Третьи находят, что виной столкновения западной половины Европы с восточною были «селедки» и «соль». Так по крайней мере объясняет источник великой народной войны графиня Шуазель-Гуфье, которая с свойственной ей милой наивностью говорит, что вследствие принятия Россиею континентальной системы, «со всех концов империи, среди действительного и мнимого богатства, раздавался голос нищеты, так как прекратился всякий отпуск за границу, все порты были заперты, и ощущался недостаток в необходимейшем народном для России продукте — в соли». Графиня поясняет, что «можно было обойтись без сахара, вина, но не без соли и сельдей, которые (будто бы) составляют ежедневную пищу в течение продолжительных русских постов», что «английский кабинет тайно работал над возбуждением всеобщего неудовольствия» и т. д. Наконец, глубоко талантливый, гениальный автор «Войны и мира» с неотразимой логикой и чарующей убедительностью доказывает, что маленький корсиканец столько же повинен в том, что в двенадцатом году случилось именно то, что случилось, как маленький воробей повинен в том, что земля вертится около своей оси, а Нева течет от Охты к Пряжке, а не от Пряжки к Охте.

Как бы то ни было, но случилось то, что, сообразно ходу всех дел человеческих, предшествовавших двенадцатому году, *должно было* случиться неизбежно.

«Россия увлечена роком. Идем вперед, перейдем Неман и внесем войну в самые владения противника».

Таковы были слова приказа, которым Наполеон повелевал своим войскам вступить в русские пределы.

«Россия увлечена роком». Наполеон был прав, говоря эти слова. Но он не подозревал, что этот рок увлекал его самого с большею страстностью, чем то можно было сказать о России.

В то самое время, когда Наполеоном отдан был войскам этот роковой приказ, из Петербурга, ночью с 17 на 18 марта, в московскую заставу выезжала почтовая тройка. Небольшой возок на зимних полозьях с отводами и с кожаным, еще не заиндевевшим от мороза кузовом был задернут до половины таким же кожаным с ремнями фартуком. У опущенного шлагбаума возок должен был остановиться, потому что полицейский порядок требовал прописки проезжающих. К возку, закутанный в овчинный тулуп и шаркая по земле массивными кеньгами, подошел часовой.

— Кто едет? — сделал он свой обычный оклик и, увидав из-за отдернувшегося фартука голову с признаками офицерского звания, приподнес варежку к лицу, показывая тем, что он делает честь проезжающим офицерам.

— Надворный советник Шипулинский, — отвечал один из проезжающих, которых в возке было двое.

В это время из караулки, в которой светился огонек, вышел кто-то с фонарем и подошел к возку. Свет от фонаря упал на лица проезжающих, которые невольно стали моргать и щуриться. Когда заставный смотритель — это он вышел с фонарем — увидал освещенное лицо одного из проезжающих, того, который сидел глубже, спрятав в меховой воротник до половины свои худые мертвенно-бледные щеки, то невольно отшатнулся назад и едва не уронил фонарь. Ему показалось, что он где-то видел это бледное лицо с ласковыми, как будто прозрачными глазами, и видел не в такой простой обстановке. Ему стало как-то боязно, неловко.

— Позвольте подорожную, — робко заговорил он, опуская фонарь и невольно прикладывая руку к козырьку.

Тот, кто назвал себя надворным советником Шипулинским, быстро достал из висевшей у него через плечо сумки бумагу, развернул ее и, поднеся к свету фонаря, молча ткнул пальцем на верхний правый угол бумаги.

— Видите, — лаконически пояснил он.

— «По высочай...» — начал было смотритель и еще более оробел. — Слушаю-с, — заторопился он, отступая от возка. — Под высь! Под высь!

Зазвенела шлагбаумная цепь, взвизгнул, повертываясь на петлях и поднимаясь одним концом, длинный, окрашенный белыми, черными и красными полосами заставный брус и остановился в воздухе в виде огромного указательного пальца, обращенного к небу. Ямщик, который тем временем успел отвязать колокольчик, похлопывая рукавицами и позевывая, взлез на козлы, перекрестился, тряхнул вожжами и проговорил свое обычное: «Но! С Богом!» Возок тронулся.

«А ведь это сам Сперанский... он, ей-Богу, он, — бормотал смотритель, с изумлением глядя на удаляющийся возок, которого темный кузов казался издали двигающеюся копною. — Я его тотчас узнал... Да и как его не узнать! Кто раз его видел, тот никогда не забудет... В последний раз я его видел, как он проезжал здесь в монастырь в одной коляске с государем... Вот судьба-то человеку — попович, а куда залетел!.. А я еще помню, как он в Невском, в стихаре, проповедь говорил... Уж и проповедь же на диво!.. Куда ж это он? По важному секрету, должно быть... И на подорожной — по высочайшему-де повелению. Разве к этому корсиканцу, к Бонапарту, зачем посылают? Да поди, больше не к кому... Эка штучка тоже, подумаешь, — почище Сперанского будет...»

Смотритель поглядел-поглядел вдоль расстилавшейся перед ним за заставой московской дороги, прислушался к звяканью колокольчика, который, казалось, что-то иное вызванивал в ночном морозном воздухе, чем вызванивают обыкновенные колокольчики проезжающих, поглядел на звездное небо, сообразил, по положению некоторых знакомых ему звезд — Ориона с Сириусом, которых он почему-то называл «заставным смотрителем с фонарем», — что недалеко уже утро, зевнул, перекрестил рот и тихо побрел в свой караульный домик.

Смотритель не ошибся. Таинственный возок действительно увозил Сперанского из Петербурга, на житье в Нижний.

Что случилось — Сперанский сам не мог понять, но случилось что-то очень важное для него. Одно он понял, что это дело его врагов, результат их давнишней зависти к нему, к поповичу. Много лет они копали под него, и чем он поднимался выше, чем большую область захватывали его законодательные работы, тем более увеличивались ряды «землекопов», как он называл своих недоброжелателей, копавших ему яму. Теперь оказалось, что яма выкопана и он столкнут в эту яму. Но чья рука столкнула — он мог только догадываться, и догадывался верно: это был Балашов... Ро-

ковой вечер прошел для него как-то смутно, точно на всем лежал туман. Кипы бумаг, записок, проектов, докладов, лежавшие на столе, на этажерках, на конторке, казались какими-то мертвыми телами, из которых только что вылетела душа... «Все это я должен забыть... а забыть не могу...» Только личико Лизы, которая особенно ласкалась к нему в этот вечер, каким-то отрадным, живительным огоньком светилось среди этих разбросанных мертвецов... «Завтра, папа, я тебе новые стихи прочту, которых и Саша Пушкин не знает, — таинственно болтала девочка; но взглянув ему в глаза, которые, казалось, высматривали что-то там, внутри где-то, она серьезно прибавила: — Ты, верно, опять какой-нибудь важный проект сочиняешь...» Проект... в голове у него проект новой жизни, темной, неведомой. Что же будет с ним? Кому достанутся эти груды бумаг, которые все как бы искраплены кровью его сердца, его заветными думами — там приписка, там помета карандашом, нотатки, вопросительные крючки!.. Кто прочтет в них его мысль, его душу? Балашов? Магницкий? А кто прочтет мысль на мертвом, строгом лице покойника?.. Только теперь он понял, что в этих работах, в этих кипах бумаг — его жизнь, его любовь, и другой жизни у него нет.

Когда тройка проезжала по Петербургу, на улицах было уже мало движения, потому что время перешло далеко за полночь. Город разом показался ему чужим, почти незнакомым: сидя в глубине возка, Сперанский испытывал такое чувство, как будто его везут в бурсу после каникул, а позади — мертвая Параня на столе, и у Данилы у попа опять в большой колокол звонят...

Если что казалось Сперанскому несомненным, так это то, что имя его враги связали каким-то непонятным образом с именем Наполеона. Но как? Конечно, только посредством намеков, сопоставлений и произвольных выводов из них; но что связь эту устроили — это несомненно... Странно все это ему кажется: и бурса, и Параня, и босой семинарист — и рядом с этим семинаристом Наполеон, величайший гений войны... Непостижимо! А между тем, все это так просто: и самое великое на земле, и самое малое, ничтожное уравниваются до ничтожества перед чем-то величайшим и непостижимым, которое разбросало в пространстве, в беспредельной дали, эти миры, эти светящиеся пылинки, которые перед ним, этим непостижимым, так же ничтожны, как Миша Сперанский, владимирский бурсак, и Наполеон, как жалкое звяканье этого почтового колокольчика и удары грома, потрясающего землю,

эту жалкую, холодную пылинку. А на этой пылинке так много жизни и счастья! А разве в капле воды не так же много жизни и таких же живых, счастливых существ, как и на всей земле? Да, все это — и величие, и ничтожество, — все это так только кажется, все это относительно — и все ничтожно! Нет, все велико и непостижимо! — оспаривает упрямая мысль.

Но особенно саднящая боль ощутилась в сердце, когда, уже за заставой, Сперанский не видел впереди себя ничего, кроме теряющейся в темной дали дороги, кое-где мелькающих дорожных столбов и этого непостижимого неба, смотревшего, казалось, на землю тысячами таких же непостижимых глаз. Все это — что-то далекое, таинственное, неведомое, как та жизнь, на порог которой теперь толкнула его какая-то, опять-таки неведомая, сила. А позади — все такое милое, светлое, дорогое: и кабинет, в котором так много думалось, и Лизино личико, и даже этот ее пальчик в чернилах, который он сейчас только видел, вот-вот, не далее, кажется, нескольких мгновений этого бесконечного, странного, таинственного времени, — а теперь ничего этого уже нет и нет! Только эта сутуловатая спина ямщика, подергивающего вожжами, да звяканье колокольчика, надрывающее душу. Как легко, казалось ему теперь, было подниматься от деревянной, некрашеной, изъерзанной скамейки в бурсе до кресла государственного секретаря, и как тяжело было теперь спускаться оттуда в этом темном возке, под однообразное позванивание колокольчика! Или то все было во сне? И бурса, и семинария, и Параня, и лавра, — все это сон? А эта странная девушка в уланском мундире и с робкими, детски моргающими глазами? Где она? Что с ней? Нашел ли ее отец?

Нет — напрасно он искал ее. В девушке жила еще та молодая энергия и та жажда сильных ощущений, которые постоянно толкают вперед, показывают там, впереди, что-то невиданное, обаятельное. Уже шестой год Дурова находилась в войске, которое после тильзитского мира оставалось у наших западных границ, тогда как другая его часть совершала турецкую кампанию. Некоторые из гусарских и уланских полков, в том числе и Литовский, в который в 1811 году перешла Дурова из Мариупольского гусарского полка, расположены были около Белостока, Гродно и Вильно. Дурова, которая по воле государя носила теперь фамилию Александров, считалась уже старым офицером, хотя, к соблазну товарищей и солдат, у этого «старика» не было и намеков на усы и бороду. Отсутствие растительности на лице — это был для нее тяжкий крест, особенно, когда, служа в гусарах, она постоянно дол-

жна была сталкиваться с кутилой и забиякой Бурцевым. Бурцев допекал ее шутками, доказывая, что она родом из менял, и оттого у нее не растет борода. «А все оттого, братуха Александров, — пояснял он, — что ты не умеешь пить по-гусарски, вот как мы с Дениской». Дениской он называл Давыдова и был его закадычным другом. Постоянно всклоченные волосы искрасна-рыжего цвета с торчащими из них стеблями сена или перьями из продранной подушки, фуражка каким-то чудом держащаяся на самом затылке, серые на выкате глаза с мешочками под ними, приятный, по-детски очерченный рот, кверху вздернутый нос, словно нюхающий, где пахнет ромом или старой водкой, красные, трясущиеся от смеха щеки, веселый, несколько сиповатый голос — все в Бурцеве дышало добротой и беспечностью. Но при всей необыкновенной доброте своей, при полном отсутствии всякой злопамятности, при щедрости, заставлявшей его горстями бросать деньги направо и налево, когда они у него заводились, а «на экваторе», как он выражался, при безденежье занимать на чай и на табак у своего денщика, который его же обирал бессовестно, когда барин был «в знаке водолея», то есть с деньгами, и лил вино как воду, — при всех своих добрых и мягких качествах Бурцев был необыкновенный задира и забияка. Никто, кажется, не любил так Дурову за ее скромность и нравственную чистоту, как Бурцев; ни перед кем он, даже перед женщинами, не останавливался в своих безумных дурачествах, не всегда приличных, особенно когда он потешался над евреями, чем либо не угодившими ему, и только под ласковым взглядом Дуровой этот Бурцев краснел как школьник; но тем не менее за то, что она не пьянствовала, в его сообществе или в кружке его приятеля Дениски, он и ее задирал, главным образом, нападением на ее безусость и безбородость. Эти задирки Бурцева, которого Дурова в свою очередь не могла не любить за доброту и беззаветную честность, а главное — постоянная необходимость увертываться от попоек, невозможность не быть свидетельницей разных не совсем скромных похождений разудалого гусарского кружка во главе с Бурцевым и Дениской, — были отчасти причиной, что Дурова снова надела на себя уланский мундир, который давал ей возможность чаще находиться в обществе более скромных, чем гусары, улан. И замечательно — когда Дурова перешла в уланы, Бурцев так затосковал по ней, что перестал было даже совсем пить и был неузнаваем. Он удалялся от товарищей, от кутежей, по целым дням бродил по лесу и по полям с ружьем, сам с собой разговаривал, похудел страшно и совсем осунулся. Гусары не уз-

навали его, а на вопросы их — что с ним поделалось, не болен ли он, о чем тоскует — Бурцев только отругивался: «Черти! Мерзавцы! Пьяницы! Ангела своего пропили...» И гусары никак не могли понять, какого ангела они пропили. Больше всех он возненавидел своего закадычного друга Дениску, особенно после того, как Дениска сочинил и послал ему стихотворное приглашение на кутеж, приглашение, которое впоследствии знала наизусть вся Россия:

Бурцев ера, забияка,
Собутыльник дорогой,
Ради рома и арака
Посети домишко мой.

Бурцев хотел было даже перейти в уланы, чтоб быть поближе к Алексаше, как многие из офицеров называли Дурову, решился наконец совсем остепениться, но только весть о том, что с весной этого года опять начнется война с Наполеоном, остановила его от исполнения доброго намерения. На радостях он шибко напился с Дениской, с которым окончательно помирился на четвертой бутылке рому, и тут же по-старому напроказил. В период своего уныния и временной трезвости он заметил, что еврей-шинкарь бессовестно обирал солдат как на водке, так в особенности на том, что давал им взаймы денег за огромные проценты и в то же время заставлял их работать на себя. Явившись вместе с подвыпившими офицерами в винный склад еврея, Бурцев грозился выпустить вино из всех его бочек, если еврей не покается перед ним и не примет крещение. Еврей валялся в ногах, каялся, просил прощения, но на крещение ни за что не мог решиться. Тогда Бурцев положил крестить его по своему, по-гусарски, — в сорокоуше с водкой. Бочку поставили стоймя, саблями выбили из нее верхнее днище и раздели еврея донага. Несчастный совсем обезумел от страха и только шептал какие-то молитвы. Его подняли на руки и опустили в бочку, полную до краев, так что вино полилось на землю. Бурцев, взяв у одного из офицеров пистолет, взвел курок.

— Крестись, пся крев! — крикнул он, наводя дуло пистолета на еврея и стараясь сделать свои добрые, пьяные глаза страшными. — Крестись, а то сейчас — раз... два... ну!

Еврей с головой окунулся в бочку, так что вино снова полилось через край. Последовал дружный хохот. Бурцев лукаво подмигнул товарищам.

Из бочки снова показалось бледное, исказившееся лицо еврея. Он тихо, жалобно визжал и фыркал. Намокшие волосы и распустившиеся пейсы болтались по голым костлявым плечам несчастного.

— А! Ты не хочешь креститься? — с трудом удерживая смех, снова закричал Бурцев. — Так теперь капут... Раз... два... и — ну!

Опять еврей юркнул в бочку. Последовал выстрел, конечно, в воздух, ради вящего испуга еврея. Но голова еврея уже не показывалась из-под водки, а только пузыри выскакивали на поверхность бочки.

— Да он задохнется, утонет, — сказал один из офицеров и бросился к бочке.

Запустив руку в сорокоушу, он за волосы приподнял голову еврея. Несчастный лишился чувств.

В этот момент в дверях склада показалась Дурова.

— Господа! Что это вы делаете? — с изумлением спросила она, не понимая, в чем дело.

Увидав ее, Бурцев задрожал и схватил себя за волосы.

— Подлец! Я подлец! Я пулю себе в лоб! — дико закричал он и бросился из склада.

Дурова и некоторые из офицеров бросились за ним, а прочие остались приводить в чувство еврея.

Так ознаменовали молодые повесы радостный день объявления войны Наполеону — войны двенадцатого года.

II

Но не одни молодые повесы праздновали радостный день объявления войны двенадцатого года. Когда к весне главные силы армии двинулись к Вильне и когда сам государь прибыл к войскам, решено было начало кампании отпраздновать грандиозным балом, которым должна была, так сказать, коллективно почтить русского императора вся Литва и та часть Польши, которая не была еще занята армиями Наполеона. В устройстве бала должны были принять участие и русские военачальники, весь императорский штаб, генерал и флигель-адъютанты, простые генералы и дипломаты. Хозяйкою и распорядительницею бала общее мнение называло генеральшу Бенигсен, которая, как местная помещица, предложила для этого торжества свою роскошную виллу в Закрете, недалеко от Вильны, прелестное здание, переделанное из старинного католического монастыря, с богатыми садами, оранжереями, богатейшими аллеями померанцевых деревьев, с лужайками и гротами, беседками и клумбами цветов.

Военная молодежь и немолодежь, желавшая пустить пыль в глаза виленским и всем литовским красавицам и потанцевать

на широкую ногу, привольно, не в душных залах, а на воздухе, среди живой зелени, среди аромата цветов и под гром оркестров, которые бы сливались с хорами лесных птиц, с соловьиными трелями и пугающим уканьем ночной птицы, филина и пущика, под оркестровое кваканье лягушек, — потанцевать и повеселиться так, чтобы вся природа принимала участие в пире воинства, идущего на бой, чтобы гремела и ликовала зелень, ликовало небо, — все равно-де, может быть, последний раз приходится ликовать, так уже повеселиться на виду у Бога и голубого неба, в виду которых, быть может, скоро где-нибудь, в лесу или в поле, придется помирать, — молодежь решила устроить на красивой лужайке сада танцевальный помост с сквозною галереею на колоннах, с клумбами и с целою рощею апельсинных деревьев.

Было начало мая. Погода стояла прекрасная, южная. Померанцевые и другие деревья были в полном цвету, изображая из себя гигантские букеты.

Работа галереи шла быстро, лихорадочно. Ведь того и гляди, более чем полумиллионная армия Наполеона перейдет Неман, и тогда будет не до танцев: придется затеять другой пир, более величественный, хотя тоже под открытым небом, при пении птиц, но только под иную оркестровую музыку.

Был в Вильне известный архитектор, польский патриот от подошв до маковки, хотя и с немецкою фамилиею — пан Шульц. Подобно всем немцам, да и вообще всем людям, потерявшим свою народность и всосавшим молоко и душу другой, их приютившей, пан Шульц был больше поляк, чем всякий другой прирожденный шляхтич. Он был такой же энтузиаст, каким некогда, во время расчленения Польши, был пан Рейтен, который на последнем польском сейме был одним и последним поляком, заявившим, что если все поляки оставят сейм, то он один будет изображать собою и сейм, и всю Польшу, и что пускай лучше выволокут из сеймовой залы его труп за ноги, как выволакивают за ноги из истории Европы труп старой, доплясавшейся до могилы Польши, чем он сам выйдет из сеймовой избы. Но будучи большим энтузиастом и патриотом, пан Шульц, как эту шутку часто позволяет себе капризная природа, был плохим архитектором. Его-то и пригласили устроить танцевальную галерею для предстоящего бала. Страстный мечтатель в душе, тихий, скромный и робкий по наружности, пан Шульц фантазировал о том, как он, с помощью ли Наполеона, или в союзе с русским императором — он еще не мог решить с кем именно, — но что он, пан Шульц, непременно восстановит свою дорогую отчизну,

матку Польску, во всей ее исторической широте и долготе от Балтийского моря до Балкан и от Эльбы до Днепра и чуть-чуть не до Дона, одним словом, в пределах старой Польши до «сасов» и при «сасах» и в полных границах великого княжества литовского — за Псков и Смоленск. Себя, пана Шульца, он уже видел крулем великой монархии и искренним другом двух таких же великих, как и он, пан Шульц, монархов — Наполеона и Александра, которых он любил искренно обоих и обоим одинаково удивлялся. Мечтая, таким образом, о будущей короне, он плохо наблюдал за рабочими, строившими галерею: то ему представлялось, что это он строит себе дворец королевский, то эстраду, на которой вся возвеличенная им Польша будет короновать его, скромного и честного спасителя отчизны, то казалось ему, что с этой эстрады он уже держит речь к народу...

— Цо, пане архитекторе, не надо ли глубже вкопать в землю эти бревна? — спрашивал его еврей подрядчик, встряхивая пейсами, словно засушенными колбасками.

— Цо-цо? Глубже? Зачем глубже?.. Я высоко буду стоять, — невпопад отвечал пан Шульц подрядчику.

— Да глубже, пане, надо бы вкопать устои колонн.

— Не надо глубже, так красивее — выше... Я все колонны украшу зелеными листьями да капителями и перевью все это гирляндами из каштановых цветов.

— Все же это, пане, не прочно.

— Прочно будет — я крышей соединю колонны... Какое очарование будет!

Но очарование скоро исчезло. Едва галерея была построена и обвита гирляндами цветов, как все здание рухнуло: колонны, не глубоко врытые в землю, не выдержали тяжести крыши, как ни легка была она, и галерея, где вечером должен быть собраться весь цвет Литвы и Польши, все красавицы края, все представители военной и дипломатической силы и власти, все придворные и сам государь с своими министрами, — галерея обвалилась! Вместе с галереею обвалилась, рухнула и величавая Польша, образ которой лелеял в душе своей бедный мечтатель, пан Шульц. Это случилось в то самое время, когда рабочие ушли обедать, а Шульц ходил один вокруг своего прелестного создания и любовался им, мечтая о короне... Наполеон, выйдя из солдат и своею солдатскою рукою добыв корону Франции и множество других корон, всех своих современников сделал мечтателями: все мечтали добыть по короне. Мечтал об этом и бедный Шульц. Так во время Колумба, и особенно вслед за ним, все мечтали об открытии новых

стран, чуть ли не третьего полушария — и иные открыли если не полушария, то целые части света. Одному Шульцу не удалось добыть себе корону великой Польши... Услышав какой-то странный шум и шуршание, которого сначала он не мог себе объяснить, а потом увидав, как разъезжались в стороны колонны галереи, как растягивались и разрывались померанцевые гирлянды и как потом, словно живое тело, затряслось и рухнуло все здание, издав болезненный, нестройный крик, треск и грохот, — Шульц и тут, казалось, не понял, что случилось. И только оглядевшись кругом дикими глазами, сообразив что-то, он схватился рукою за левый бок, слабо застонал и через клумбы цветов и невысокую загородь парка бросился к реке, протекавшей у подножия Закрета. Это была извилистая живописная Вилия, на гладкой поверхности которой плавали молодые утята с маткой; не останавливаясь ни на секунду, как бы боясь, чтобы его не схватил кто сзади, Шульц, вытянув вперед руки, как бы ловя убегавшую от него тень, — это была тень жизни, убегавшие от него золотые иллюзии, — стремительно кинулся с крутого берега в воду, головою вниз. Через несколько секунд из-под воды вынырнула соломенная шляпа, сильно испугавшая утят, которые было уже успокоились после падения в воду чего-то большущего, что потом более уже не вынырнуло из воды. Шляпу прибило к берегу далеко ниже того места, где утонул Шульц.

Этот трагический случай вызвал разнообразные толки в Вильне, в армии, при дворе, по всей Литве и Польше, а потом и в целой Европе. Герцогиня д'Абрантес, романами которой в одно время зачитывалась вся Европа, сделала пана Шульца даже героем одного из своих романов. Слепые приверженцы Наполеона, мечтавшие о восстановлении старой Польши, говорили, что Шульц хотел повторить трагическую роль Самсона, погребающего филистимлян под развалинами храма, и с умыслом установил колонны галереи так, чтобы во время разгара торжества галерея обрушилась и передавила бы собою всех русских военачальников, императорский штаб и самого государя; но что будто бы Шульц не рассчитал ни времени, ни веса крыши галереи, ни других случайностей — храм разрушился раньше, чем в него вступили филистимляне. Другие, напротив, утверждали, что Шульц дурно построил здание по своей рассеянности, что никого губить он не хотел, что с филистимлянами он, в таком случае, губил и своих соотечественников — иудеев, цвет литовского дворянства и всех прекраснейших в мире женщин — сероглазых и голубоглазых литвинок.

Как бы то ни было, трагический случай с строителем танцевальной галереи не заставил отложить задуманный бал до другого времени. Да и поздно бы было....

В самом разгаре бала случилось нечто более историческое, чем этот бал, который мы, конечно, не намерены описывать.

В самом разгаре бала, когда гром военной музыки разносил по окрестностям на десятки верст подмывающие мелодии музыки, по берегу Вилии к Закрету скакали два всадника.

— А слышишь, Алексаша, как там веселятся? — говорил один хриповатый голос, который и в темноте ночи давал возможность узнать того, кто говорил. — Ишь, огней-то, огней распустили!

— Да, веселятся... фейерверк на славу, — отвечал тихо другой голос.

— А Дениска, подлец, поди, как отхватывает — а?

— Да, и он...

— С бабами, чай, с поляками, подлец... Ух, лебезит, поди, ракалья... Слышишь, Алексаша, — мазура отхватывают.

— Да, пусть в последний раз повеселятся, — отвечал тот же, немного грустный голос.

Всадники, видимо, торопятся. Взмыленные кони дышат тяжело, и как ни приучены к осторожной езде, иногда устало фыркают.

— Вот сполоху зададим танцующим, канальство, — продолжал сиповатый голос, — а особливо дамочкам... Вот, канальство, струхнут.

— Да, но не польки: эти рады будут нашей роковой вести, — сказал грустный голос.

— Да что ты, Алексаша, точно не рад, что Наполеонишка, словно карась, сам в нашу вершу забирается? А?

— Да, Бурцев, теперь не рад... Я готов встретить десять смертей, но мне за всю Россию страшно — за матерей, сестер, отцов тех, которые скоро полягут, обнявшись с мертвым врагом.

— Эх, Алексаша, что делать! Надо же доконать этого разбойника.

Скакавшие к Закрету всадники были Бурцев и Дурова-Александров. Они, быв в ночных разъездах, первые увидали, что Наполеон с своими армиями переходит Неман, и частью уже перешел, и скакали с этой роковой вестью в главную квартиру.

— Вот хорошо бы было, если б он всех на бале захватил... Вот черт эдакий! Вот подкрался! — разводил руками Бурцев.

Дурова ничего не отвечала. В ней происходила тяжелая внутренняя работа. Уже с самой поездки в Петербург, в особенности же после знакомства с Сперанским, она начала переживать душой что-то новое, прежде ей неизвестное: это было какое-то медленное, но окончательное разложение ее прежних верований и симпатий; ее прежние идеалы шатались, падали, разбивались вдребезги, как глиняные статуэтки, а новые слагались неясно, не вполне очерченные. Ей казалось, что она ходит по дорогим обломкам, ищет чего-то еще более дорогого; но сомнение, недостаток прежней веры словно паутиной застилает перед нею и прошлое, то, что в нем казалось святым, и настоящее, тот путь, по которому она шла, подавленная сомнениями. И она завидовала той детской светлости, с которою другие смотрели на жизнь. Она завидовала Бурцеву, для которого не было неразрешенных вопросов жизни. Девочкой она жаждала свободы, она не хотела быть рабой условных приличий — и вот она свободна, но свобода эта опять какая-то условная, украденная... Кроме того, она и другим, глубоко затаенным чувством сознавала, что она женщина; она теперь только, когда Греков, после финляндской кампании ушел с своим полком на Дон, — теперь только поняла она, как слаба она, как ничтожна ее мнимая свобода и как ничтожно ее геройство перед простым человеческим чувством.

И вот теперь, в момент начала великого дела, в котором она, несмотря на свое личное ничтожество, невольно или вольно принимала участие, она чувствовала, что в душе ее не бодрость, не решимость, не отвага, не злобно-наивная радость, как у Бурцева, а гнет сомнения. В чем? Она и сама не могла бы на это отвечать. Давно ли, кажется, — не более как с месяц назад, она писала в своем дневнике: «Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены; с полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды, другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец Жуковского:

Близ Наревы дом мой тесной:
Только месяц поднебесной
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет,
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем...

«Это точь-в-точь мы, литовские уланы: всякую полночь седлаем, выезжаем, и домик, который занимаем, тесен, мал и

близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова — мыслей, планов, мечтаний, предположений; воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь. Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице (это там, где Бурцев жида крестил в бочке старой водки). Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу: о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни! Балы, танцы, волокитства, музыка... о, Боже, какие пошлости, какие скучные занятия!»

Когда она писала это, то писала искренно: она действительно чувствовала то, что срывалось у нее с пера. Пятилетняя мирная стоянка на литовских квартирах, однообразие и пустота этой жизни, которую, полную праздности и тунеядства, разнообразили такие же праздные и тунеядные занятия — утром ученье для формы, чтобы поразмять людей и лошадей, а там, весь день — или карты и попойка, или толканье по гостям, по знакомым польским домам: болтовня, еда, танцы, заигрыванья, не имевшие для нее, как для женщины, никакого значенья. Напротив, заигрыванья с нею женщин бесили ее, возбуждали в ней отвращение, просто даже физическую дрожь. В одном месте своего дневника она так говорит об этих заигрываньях с нею прекрасного пола и о том, как остро чувствовалось ей, что она сама женщина: «В танцах я всегда мысленно браню свою даму, если она говорит со мной вполголоса, взглядывает на меня чаще, нежели водится, особливо если дает глазам своим выражение, которое для мужчины имело бы свою цену, но для меня... Мне кажется тогда, что она передразнивает меня! Но ничто не бывает мне так досадно, как то, когда, устав от мучительного вальса, только успею сесть на стул, и вдруг кто-нибудь из моих товарищей подводит ко мне свою даму и говорит: «Уступи, брат, свое место... le rage au coeur!» Я встаю, забываю свой колет, шпоры, помню только свои права и хмурю брови, но стул все-таки отдаю».

Вырвавшись снова в поле, охваченная походною, предбоевою атмосферою, она приняла, и приняла искренно, простое движение вдали от надоевших карт, танцев и барышень — за жизнь: пикетная жизнь сторожевой собаки показалась ей полною прелести. Но это ей только казалось так: не пикетная жизнь возвышала ее душу, а перемена одного однообразного на другое однообразное. А главное — вся полнота новой жиз-

ни была в ее воображении; оно-то рисовало ей невиданные картины, образы, идеалы. Но едва она оглянулась вокруг себя, как опять увидела то же. Сегодня, пробираясь с Бурцевым по берегу Немана, она вдруг увидела, что армия Наполеона перебирается на эту сторону. Сердце ее забилось было радостно, так, как оно никогда, кажется, не билось, — и радостно, и тревожно... «Что-то великое начинается», — заколотилось у нее в сердце. И вслед за тем это же сердце подсказало ей: «А разве ты уже не видела это великое? А Фридланд? А Гутштадт? А речка Алле, превратившаяся в кровяной морс? А беспорядочное бегство войска, поражаемого картечью?» Она уже изведала это «великое» — и почувствовала, что оно снова начинается, но только чувствовала определеннее, сознательнее: тогда она сама не могла отвечать, что такое было это «великое»? Она к эпитету не могла подобрать слова, а теперь сразу, как только увидела в темноте какие-то движущиеся чудовищные массы, которые — она это знала — идут убивать наверняка и наверняка умирать, как услыхала плеск падающих в воду с наведенного моста несчастных, вольных и невольных убийц, — она мгновенно в нервах, в сердце, в мозгу подобрала к эпитету подходящее слово.

Но в тот же момент она заподозрила в себе недостаток мужества, храбрости. Неужели это правда? Да, она чувствовала, что это была правда, только какая-то особенная правда, не обидная. Тогда, в первую кампанию, в битве при Гутштадте и под Фридландом, она чувствовала в себе храбрость, какой-то возвышенный, безумный трепет. Но то была и храбрость, и трепет новизны, храбрость неведения, впервые испытываемое сильное ощущение. А теперь не то: это не трусость. Она теперь бестрепетнее, привычнее... Но — она стала умнее, опытнее, она умела теперь находить настоящую цену вещам, цену жизни. Самое ценное в этой жизни она нашла теперь: это — возможность думать, чувствовать, слышать это безумно-радостное кваканье лягушек, это задирающее щелканье ничего знать не хотящей, кроме жизни, ночной птички вон в том темном кусту на берегу Вилии, где утонул Шульц.

— А вот бы вышел кавардак из всего этого, Алексаша, коли бы теперь гаркнуть во все горло: «Французы идут! Французы перешли Неман!» — тихо сказал Бурцев, когда они подъехали к самой изгороди закретского сада, залитого огнями разноцветных фонариков и бесчисленного множества свеч, горевших прямо на воздухе, — ночь была так тиха, что свечи в саду горели, совсем не колыхаясь, и среди бальной

музыки слышно было, как в саду, среди цветов и зелени, официанты звенели посудой, накрывая столы к ужину. — А? Вот была бы картина, Алексаша, а?

— Все равно — завтра будет почти то же, — отвечала Дурова, думая о своем.

— Да, завтра, поди, другая музыка будет.

— Вероятно, Вильну защищать будем...

— А ну ее! Я бы вон там, на балу, лучше поел, жрать хочется — ажно шкура трещит... А боюсь — проклятый Наполеошка и поесть не даст.

Они скрылись в замковых воротах, сказав что-то часовым, стоявшим у входа.

Наполеон, действительно, многим не дал поесть...

III

На другой день после бала в Вильне происходила необыкновенная суматоха, скорее похожая на бестолковую сутолоку, чем на то, что дело идет о встрече великой армии и должном ее приеме другою великою армиею. Весь день через город шли войска, слышался барабанный грохот, звуки рожков, командные приказания и крики, брань и остроты солдат, особенно при виде переполоха, охватившего всех жителей города, как местных, так в особенности русских, которых в Вильне проживало немало. То и дело солдаты натыкались на фуры, телеги, коляски, запружавшие улицы, на суетящуюся прислугу, таскавшую на фуры пожитки своих господ и свою собственную рухлядь. Ясно было, что множество народу собралось бежать из города куда-нибудь дальше, вглубь Литвы или даже в Россию. Целые горы сундуков и ящиков, подушек и одеял, детские колыбельки с кричащими детьми и даже клетки с бьющеюся в отчаянии птицею — все это напоминало пожарную панику. Хряст ломаемой мебели, звон колотимой посуды, ругань русской прислуги с польскими бабами и собачий лай мешались с звяканьем оружия, с топотом кавалерии, с громыханьем тяжелых колес артиллерии и зарядных ящиков. На многих лицах, высовывавшихся из ворот, калиток и окон, отпечатывались то тупой страх неизвестности, то худо скрываемая усмешка злорадства. По городу летали разнообразные, иногда тревожные, иногда успокоительные, слухи: одни говорили, что русские дадут битву под самым городом, что будет резня на улицах, что дома все будут разрушены и сожжены пушечным огнем, что надо или бежать в горы, или

прятаться в погребах, в подвалах; другие говорили, что русские не примут сражения в Вильне, а отдадут город французам — и тогда настанет всеобщая вольность в дружбе с непобедимою французскою армиею.

Войска, проходившие через город бесконечными рядами и кучами, словно бы они из мешка вытряхались невидимою рукою, и жители, торопившиеся из города и не знавшие, где они будут ночевать следующую ночь, — все это двигалось к Зеленому мосту, который, скрипя и треща на устоях, едва выдерживал тяжесть двигавшихся по нем масс. День был жаркий, и потому, несмотря на суматоху, голые жиденята, словно рыба-веселка перед икрометанием, плескались в водах Вилии, поблескивая на солнце то белыми руками и спинами, то мокрыми черноволосыми головами: для них — что поляки, что русские, что французы — все едино. Казалось, конца не будет этой пылящей пехоте с лесом штыков, этой фыркающей и бряцающей железом коннице, этим громыхающим зеленым ящикам, этим фурам, коляскам, телегам.

Дурова, полк которой выходил из города едва ли не последним, ехала рядом с своим эскадроном по-видимому весело, бодро, хотя усталое и загорелое до черноты лицо обнаруживало особым блеском глаз, что глазам этим не удалось соснуть и они светятся глубокою внутреннею возбужденностью. Нынешнюю ночь она в первый раз видела Балашова, знаменитого министра полиции, и он не выходил у нее из головы, потому что с именем Балашова теперь связывалось для нее другое имя, давно ставшее ей дорогим по воспоминаниям и по многим другим причинам. Когда ночью, прямо с разъездов она с Бурцевым въехала на двор замка в Закрете, чтобы доложить немедленно своим подлежащим начальникам о том, что они видели, они попались на глаза Балашову, который отдавал приказания бывшим в замке ординарцам государя и посылал куда-то вестовых. Увидав Дурову и Бурцева, он приказал спросить, кто они, и когда те сказали, что приехали с важным известием и должны немедленно доложить о том по начальству, он тотчас же позвал их к себе и именем государя приказал доложить ему, как министру полиции, все, что они узнали. Услыхав, что французы уже перешли Неман, Балашов как-то стремительно качнулся назад, смерил глазами, в которых светилось не то подозрение какое-то, не то недоверие, не то просто лукавство, смерил глазами Бурцева и Дурову, снова переспросил их фамилии, как-то особенно поглядел в глаза Дуровой, приказал тотчас же явиться к своим начальникам, а от всех прочих хранить

привезенное известие в глубочайшей тайне — и тотчас же скрылся во внутренности замка. Так вот тут-то, при виде Балашова, она невольно вспомнила о Сперанском. С приездом двора к армии, в войсках распространился слух, что человек, в последние годы ближе всех стоявший к государю, удален чуть ли не в момент объявления войны Наполеону, и что удаление Сперанского связывали и с именем Наполеона, с одной стороны, и с именем Балашова — с другой. На Дурову, может быть, именно вследствие этого слуха, Балашов произвел неприятное, отталкивающее впечатление. И сегодня она не могла выгнать его у себя из головы и в то же время думала разом и о Наполеоне, и о Сперанском. Последний теперь представлялся ей еще более загадочным и более обаятельным. А Наполеон начал пугать ее каким-то суеверным страхом, и голова его, а особенно бледное, как старый мрамор, лицо, которое она хорошо рассмотрела тогда в Тильзите, стало рисоваться ей не человеческим лицом, а именно лицом древней мраморной статуи с глазами без бликов и лавровым венком на голове.

Когда эскадрон Дуровой стал подходить к мосту, то становилось ясным, что о скором переходе через этот Зеленый мост, который, казалось, сам живою стеною полз на ту сторону реки и там расползался еще шире, и думать было нечего. И тот, и этот берег запружены были войсками и какими-то невообразимо нестройными кучами народу и экипажей.

Влево от дороги эскадрон гусар, осыпаемый белою пылью, стоял смирно, ожидая очереди. Перед фронтом, подбоченясь на коне и заломив фуражку на затылок, Денис Давыдов, весь красный, видимо, не выспавшийся, осаживая коня, как-то плясавшего задом, пушил за что-то какого-то гусара. «Да я тебя, каналья!.. Я тебе фухтелей!.. Да я тебе, мерзавец, шенкель в морду!» — горячился он, а Бурцев, равнодушно сидя на своем коне и улыбаясь добрыми глазами, как бы говорил: «Да это все вздор — это Дениска напустил на себя». Увидав Дурову, он издали мигнул ей и, лукаво указывая на Давыдова, старался выразить на своем полнощеком лице: «Ишь, Дениска осерчал». Тут же, в первом ряду эскадрона, виднелась украшенная Георгием и сединами фигура Пилипенка с суровым лицом, которое кого-то предостерегало глазами и как ни желало нахмуриться сердито, все это ему как-то не удавалось. Это Пилипенко хотел нахмуриться на Жучку, которая, стоя на задних лапках почти у самых копыт лошади Дениса Васильича, глаз не спускала с своего пестуна. А пестун напрасно силился сердито показать глазами: прочь-де, глупая псица, не

суйся на глаза начальству, начальство-де сердится... Но Жучка не понимала этих предостережений и продолжала торчать перед эскадроном.

Дурова вспомнила, что в первый раз она увидела эту собачонку, раненую, жалкую такую, после битвы при Гутштадте, на руках вон у того седого и сурового гусара, что теперь сердито смотрит на нее из-под нависших седых бровей. Уже пять лет прошло с тех пор. Как давно все это было! Как постарело все с тех пор: и люди постарели, и на душе у нее постарело и полиняло многое, и сама она постарела...

Глухой барабанной дробью застучало что-то по мосту. Дурова опомнилась от минутного забытья. Это гусары переходили уже мост, стуча копытами и лязгая железом. Давыдов и Бурцев были уже на той стороне моста, и Бурцев, делая какие-то знаки руками, показывал Дуровой что-то завернутое в бумаге, и как бы приглашая к себе. Дурова догадалась, что это он показывал ей колбасу, несколько колец которой он успел прихватить на дорогу. Жучка так искусно маневрировала под ногами и тяжелыми копытами лошадей, что какой-то пехотинец, отстав от своей роты и выбравшись за перила моста, чтоб не быть подмятым под лошадей, только ахал от удивления: «Ах ты мразь! Ах ты сволочь! Ишь-ишь, аспидный псеныш!»

Не успел эскадрон Дуровой весь вступить на мост за гусарами Давыдова, как на том берегу, на взгорбке, показались два всадника и остановились как вкопанные, глядя в зрительные трубы на город. Один из них замахал Давыдову, и тот молодцом вскакал на взгорбок, держа руку у козырька, повернул лошадь и во весь опор бросился к мосту, наскакивая на гусар и на скаку крича резким металлическим голосом: «Уланы, зажигай мост! Бурцев, веди своих с палилом! Живей! Пали и руби мост, задние!»

Передние уланы наддали и вылетели на берег, а гусары Бурцева, спешившись и захватив бывшие у них витушки сухого сена, бросились на мост и как кошки по-за перилами полезли по мосту, к пригороднему концу. Уланы Дуровой, также спешившись на мосту и отдав коней товарищам, торопившимся к берегу, кинулись ломать мост, сталкивая в воду перила, расщепляя палашами половины моста и также спихивая их в реку. В разных местах вспыхнуло сено — прощай все!

С городского берега послышались отчаянные вопли женщин. Это кричали те из обывателей, которые собирались бежать из города, но не успели попасть на мост. Одна женщина,

неся впереди себя ребенка, бежала по взломанному и загоравшемуся уже местами мосту и вдруг с ужасом остановилась: перед нею зияло широкое провалье на середине моста, а края половиц уже вспыхнули. Она бросилась назад, нагнув голову и пряча ребенка, как будто бы на нее падало небо.

Мост все более и более охватывало огнем. Середина его была вся в пламени, которое словно живое пробиралось все дальше и дальше кривыми лижущими языками. В дыму метались голуби и галки, напрасно отыскивая свои гнезда, которые были свиты под мостом, между пазами, устоями и перекладинами... Не видать больше бедной птице своих гнезд и своих детенышей!

Вдруг с городской, охваченной пламенем половины моста послышался отчаянный вой собаки. «А вить это, братцы, Жучка воет, — заговорили гусары, палившие мост. — Она — она и есть: ее голос, Жучкин...» «Где Жучка?» — встрепенулся Пилипенко, который так усердно работал, отдирая и швыряя доски в воду, что не заметил собачьего воя. «Да вон там, чу, осталась — ишь, молится, бедная псина»...

Мускулы старого, сурового лица дрогнули у Пилипенка, и он растерянно посмотрел на ту сторону моста, объятого пламенем. За этим пламенем выла собачонка. Пилипенко как сумасшедший бросился вдоль уцелевшего моста к берегу, ничего не видя, наталкиваясь на товарищей и бессвязно бормоча что-то вроде молитвы или заклинанья. Сбежав с моста и остановившись у воды, он хриплым, надорванным голосом закричал: «Жуча! Жучушка! Ана-на-на! Ана! Жучка! Жучка!» Собака, как видно, узнала его голос и жалостно завизжала.

Пилипенко наскоро сбросил с себя сапоги, куртку, штаны, перекрестился, кинулся в воду и поплыл, силясь поднять выше седую голову и крича почти в слезы: «Жуча! Жучушка! Сюда! Сюда! А-на-на!»

Собачонка поняла, в чем дело, и бултыхнулась в воду. Вынырнув из воды и фыркая, она быстро начала молоть передними лапками по воде... На мосту послышался взрыв хохота.

Между тем в то время, когда уланы и гусары жгли Зеленый мост, Наполеон вступал в Вильну с противоположной стороны. Городские власти, большею частью те самые лица, которые в эту ночь танцевали в закретском замке на одном паркете с русскими офицерами, или которые по старости или по тучности своей не танцевали, а просто любовались танцующими и старались уверить русских в вечной дружбе, — эти самые лица, в национальных польских костюмах, с кокардами

из национальных польских цветов, на массивном золотом блюде подносили Наполеону массивные золотые ключи от города и приветствовали его как своего избавителя. Лицо счастливого победителя полумира выражало скорее добродушие, чем величие. Его собственное счастье, счастье бешеное, неслыханное в истории мира, а с другой стороны — несчастие и полная неудачливость и неспособность всех, с кем ему приходилось иметь дело, до того избаловали его, что ему все казалось легким, возможным и самым простым делом. Вчера Берлин покорно подносил ему свои ключи, третьего дня Вена, сегодня Вильна, завтра — эта la sainte Moskowa; все это так просто, так естественно, что нельзя было к этому не привыкнуть и не относиться с полным добродушием, все равно как будто бы это подносили ему его утреннюю чашку кофе.

— En bien! — промычал он ласково, взглянув на чудовище-ключ и с ключа перенося свои светло-серые, донельзя прозрачные глаза на бритые и усатые лица депутации города. — En bien! А я полагал, что Вильна обойдется мне в тридцать тысяч...

Увидав пожар и узнав, что это русские, отступив за реку, зажгли мост, Наполеон тотчас же, в сопровождении Мюрата, короля неаполитанского, Даву и других маршалов, поехал к Зеленому мосту, сопровождаемый восторженными криками толпы: «Нех жые! Нех жые!» Огонь с догоравшего моста перекинулся между тем на ближайшие к воде постройки и угрожал городу. Наполеон тут же распорядился немедленным тушением пожара, сошел с лошади и сел на брусья, сложенные на пристани. Маршалы и литовская знать полукругом, в почтительном отдалении, стояли, переминаясь на месте. Пройдя спокойным и ясным взором по рядам присутствовавших, император остановил его на графе Паце, в глазах которого больше, может быть, чем у всех остальных, светилась ребяческая, восторженная радость. Граф почтительно приблизился. Наполеон с улыбкой сказал:

— Говорят, Литва славится своим пивом, как Москва квасом — du kouass... а я, кстати, пить хочу.

Граф Пац стремительно, словно юный пахоленок, бросился в сторону, не отводя лица от лица Наполеона, метнулся к толпе знати и исчез, чтобы немедленно утолить державную жажду властителя судеб половины вселенной, и через несколько минут уже стоял перед ним с серебряным подносом, на котором массивный золотой кубок пенился пивом. Наполеон выпил и крякнул, как простой смертный, смакуя губами.

— Добрэ пиво! — произнес он по-польски с сильным французским акцентом.

Историческую фразу эту, эти два польских слова польские хроники с благоговением занесли на свои страницы. А графиня Шуазель-Гуфье, урожденная полька, панна Тизенгауз, в то время молоденькая и, если верить ее «Запискам», неотразимо очаровательная девушка, записав эту историческую фразу Наполеона, с горечью разочарования прибавляет: «И вот — в ту же минуту явились люди, готовые идти за него в огонь».

В то же время войска французские, итальянские, испанские, португальские и других всевозможных национальностей, а равно польские вступали в город всеми улицами, которые, украшенные флагами и махающими с балконов и окон «хустечками», словно открывали дорогим гостям свои объятия. «Полк князя Доминика Радзивилла, — говорит панна Тизенгауз в своих «Записках» или «Воспоминаниях», — прошел по нашей улице: то были польские уланы в своих прелестных мундирах с значками из польских цветов. Я стояла на балконе замка. Они с улыбкой отдавали мне честь. И в первый раз в жизни я увидела поляков! (Т. е. не литовцев, а настоящих поляков). Слезы восторга и радости полились из моих глаз — я сознала себя полькой! И эта минута была восхитительна, но как она была коротка!»

За польскими уланами Радзивилла шла неаполитанская гвардия герцога де-ла-Рокка-Романа, невиданного красавца, за эту невиданную красоту прозванного Аполлоном Бельведерским. Прелестная гвардия его шла точно на парад, на показ своего изящества всему миру: в великолепных ярко-малиновых гусарских куртках и в белых, тонкого сукна, словно женских, плащиках, мотыльками взвивавшихся на плечах красавцев юга — все это было восхитительно для Неаполя, для паркета, для южного солнца... А их ожидали московские снега и вьюги... Но кто об них думал!

Все радовалось и ликовало на улицах, на площадях. По лицам старых литвинов и молодых литвинок катились слезы умиления.

В тот же день Наполеон принимал во дворце все литовское дворянство. На лице его покоилось все то же добродушие довольства и удовлетворенности.

— Почему русские не захотели дать мне сражение? — спросил он скороговоркой, ни к кому не обращаясь. — Выгоды были на их стороне.

— Ваше величество внушаете им ужас, — отвечал стоявший впереди других старый конфедерат, сражавшийся когда-то с русскими под знаменами Костюшки.

При этом ответе Наполеон, говорят современники, «отскочил, как бы ужаленный осой». Он на опыте уже испытал, что не «ужас» на уме у северных варваров, а что-то другое, непонятное ему пока. Кучи невероятной бессмыслицы — говорят сами поляки, современники и очевидцы — пришлось Наполеону выслушать, пока он обходил ряды литовского панства. Только мимо одного польско-литовского магната, мимо графа Тизенгаузена, отца прелестной сочинительницы панны Тизенгауз, император прошел, не удостоив его ни одним словом: все заметили это и в то же время всем бросилась в глаза невиданная дотоле вещь — голубая, яркая, так и бьющая в глаза, так и кричащая своей обидной яркостью, — голубая лента русского Белого Орла на груди у дерзкого графа... Да, это небывалая дерзость перед лицом великого императора! За то он и не удостоил безумца даже кивком пальца, движением державных ресниц.

Тут же император изъявил желание видеть представленными ему «литовских женщин, которые умеют рожать таких бравых молодцов, мужественно сражавшихся под его знаменами в Германии, Пруссии, Италии, Испании, под палящими лучами солнца Сирии и Палестины, в тени пирамид Египта и среди тропической природы Сан-Доминго»... О! Маленький человек умел красно говорить... После всякого его красного словца поля и реки краснелись человеческою кровью. И теперь литовцы за это красное словцо сразу отдали ему бесповоротно и свою душу, и свою горячую кровь.

На женщин великий полководец смотрел специально с точки зрения поставки будущих рекрут — и только. «Вон идет прелестная мать будущего солдата», — говорил он обыкновенно при виде хорошенькой девушки. Как, по его словам, «каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл», так каждая здоровая девушка носит за пазухой по малой мере полдюжины рекрут. Поэтому он и желал взглянуть на литовских женщин, из которых одни уже народили ему бравых солдат, а другие должны народить, если не ему, то крошечному наследнику, королю римскому и будущему императору Европы.

Ночью же развезли по городу повестки, которыми «приказывалось дамам явиться во дворец для представления императору». Панна Тизенгауз в своих «Воспоминаниях» говорит, что ей, тоже получившей такую любезную повестку, словно от мирового судьи или околоточного, сильно не понравилась эта форма приглашения, «напоминавшая обычаи гауп-

твахты», и она решила не ехать. Но отец ее, старый придворный короля Станислава, не удостоенный уже, при общем представлении Наполеону литовского дворянства, кивком великого императора за голубую ленту, благоразумно напомнил девушке, что ее поступок может быть дурно истолкован, что их семейство уже и без того считают в числе приверженцев России и потому косятся и на них, и на других. Девушка согласилась, но на том только условии, что наденет свой фрейлинский шифр, пожалованный ей и некоторым другим литовским дамам императором Александром Павловичем во время последнего его пребывания в Вильне. Молодая графиня говорила при этом отцу, что при получении фрейлинского знака она хотя и не была нисколько этим обрадована, но теперь считала бесчестным не надеть его при таких обстоятельствах, какие им пришлось пережить: не надеть шифр перед Наполеоном — это значило или малодушно испугаться императора-пришельца, или оказать пренебрежение к своему законному императору в то именно время, когда он принужден был отступить перед своим противником.

Когда хорошенькая графиня явилась во дворец и дамы заметили на ней шифр, все пришли в смятение: шифр русской фрейлины во дворце великого Наполеона, идущего на Россию — это вызов, бунт...

— Он скажет вам какую-нибудь колкость, милая графиня, — с ужасом шептали польки, уже знавшие бесцеремонность великого человека по Варшаве. — О! Вы не знаете, что это за человек... Это, это, пани... О! Он скажет вам дерзость...

— А я ему отвечу, — храбро возразила хорошенькая графиня.

— О! Тише, тише, милая графиня! — прикладывала к своим пухлым губам палец пани Абрамович, бойкая варшавянка из еврейского шляхетства, ловко владевшая и языком, и пером, и потому служившая секретарем красавице Валевской в ее интимной переписке с Наполеоном. «О, дорогая пани! — говорила бывало при этом пани Абрамович Валевской. — Вы прекрасно владеете языком, не хуже мадам Сталь, но вы делаете орфографические ошибки от избытка чувств, а великий император не любит у других орфографических ошибок, хотя сам и делает их... Но ему позволительно все — он великий человек и законодатель: он может издать закон об орфографии, какой его величеству угодно...» — О! Не говорите этого, дорргогая ргафиня! — хрустела своим еврейским язычком пани Абрамович, останавливая храбрую фрейлину. — Здесь стены все слышат и передают *ему*...

Одна панна Тизенгауз оказалась с шифром — все остальные струсили.

К панне Тизенгауз испуганно подошел граф Коссаковский, ее дядя. Он был бледен и стоял как на иголках.

— Ты очень дурно поступила, надев *вот это*, — шептал он дрожащим голосом. — Я отступаюсь от тебя — ты мне не племянница.

— Я знаю, что делаю, — отвечала храбрая панна.

Но все-таки в душе она чувствовала страх, как после и сознавалась в этом. Она знала, что перед этим маленьким человеком дрожат даже старые, заслуженные маршалы; она знала, что для него не существуют никакие общепринятые человеческие правила; она одно чувствовала, что она, молоденькая девочка, «должна была предстать пред Наполеоном, который носил весь свет в своей голове и которому тесно было в старой Европе — он задыхался в ней». Но все-таки в девушке сидел какой-то инстинкт, который шептал ей, что все обойдется благополучно: инстинкт этот — сознание, что она хорошенькая, что она красивее всех литовских женщин. Откуда это она узнала — она сама не могла бы объяснить, но она это знала, чувствовала. Точно также неведомо откуда, но она узнала, что красоте все прощается, что даже зверь бессилен перед красотой. Она чувствовала это и теперь по тем милым взглядам — взглядам самой тонкой, прелестной зависти, которые украдкой бросали на нее прочие литовские дамы.

— Император! — возгласил вдруг камер-лакей в косую сажень, до того времени словно статуя стоявший у дверей.

Все невольно вздрогнули. У панны Тизенгауз, как ей казалось, сердце остановилось.

В то же мгновение в залу влетел или, вернее, вкатился, «как ядро», по выражению очевидицы, маленький, толстенький, коротенький человечек на широко расставленных ножках, в зеленом, с большою вырезкою на круглом брюшке и на груди мундире, в белом жилете, с большою, гладко обстриженною, словно точеною головою, с белым, бесцветным, пожелтевшего мрамора лицом, точь-в-точь как у античного бюста. Серо-прозрачные глаза его, казалось, разом видели всех, в зале находившихся, хотя, по-видимому, ни на кого не смотрели. За ним быстро, но чинно и как бы робко выступила, беззвучно шагая, целая свита старых и молодых маршалов.

Дамы стояли в каком-то нерешительном, томящем ожидании. Серо-прозрачные глаза на мгновение остановились на госпоже Абрамович, и она выступила несколько вперед, как бы приглашая взглядом стоявшую впереди других дам графи-

ню Коссаковскую. Та шевельнула и скрипнула лифом и зашуршала шелковым шлейфом, делая реверанс и заставляя искриться бриллианты, которыми были залиты ее грудь и шея.

— Графиня Коссаковская, — пропустила сквозь розовые губы панни Абрамович.

— Урожденная Потоцкая, — гордо добавила графиня.

— Которого из Потоцких вы дочь? Их так много, — скороговоркой спросил Наполеон, как бы щурясь от блеска бриллиантов.

— Сестра Владимира Потоцкого, ваше величество, — был ответ.

Она с умыслом не назвала имени отца, а упомянула имя брата. Владимир, брат ее, считался героем и был славой и гордостью рода Потоцких. В своих богатых родовых поместьях на Подоли он набрал целый полк из своих рослых, красивых хлопов-хохлов, одел их на свой счет молодцами-уланами, выучил, вымуштровал и повел во Францию под знамена Наполеона; и пошли рослые добродушные украинцы — Тарасы да Харьки, Петруси да Грицьки носить французских орлов и славу Наполеона в Египет, под пирамиды, в Сирию, в Италию, на Сан-Доминго, а теперь те из них, которые не полегли у подножия пирамид, не погибли от чумы в Сирии, не утучнили своею украинскою кровью плантации Сан-Доминго, — теперь эти Грицьки да Петруси были приведены под знаменем Наполеона в Вильну, чтобы идти на москаля, а вместе с тем и на своего брата Заступенка, да на старого Пилипенка, да на аккуратного курьера Кавунца.

Очередь дошла до хорошенькой панны Тизенгауз. Она совсем оправилась. Она чувствовала, что она... ну, одним словом, она не могла не чувствовать, как раза два это мраморное сфинксовое лицо с глазами без бликов останавливалось на ней как-то вопросительно, пытливо, но не зло... Она это глубоко чуяла, как собачонка чует, что не зло взглянул на нее ее хозяин.

— Графиня Тизенгауз, — почтительно процедила панни Абрамович, перенося глаза с молоденькой графини на императора и как бы кланяясь ему и глазами, и голосом.

Глаза без бликов уставились на фрейлинский шифр, потом впились в лицо, в щеки, в глаза девушки.

— Какой знак отличия надет на вас? — уронились слова с мраморного сфинксового лица.

— Фрейлинский шифр двора их величеств государынь императриц всей России, ваше величество, — прозвучал колокольчик, и щеки этого колокольчика медленно залились слабым румянцем.

— Следовательно, вы русская? — продолжал мраморный бюст.

— Нет, ваше величество, я только имею фрейлинский знак.

— У вас брат служит в легкой кавалерии?

— У меня, государь, два брата, но они еще нигде не служат.

— Нет, один служит — я знаю.

Ему не противоречили. Он скользнул глазами от лба до шеи девушки, перенес их на другое лицо.

— Пани Огинская, — поспешила пани Абрамович.

— А! Есть у вас толстые и большие дети?

— Есть, государь.

— Хорошо. Будут маршалами.

— Мадемуазель Гедройц, — хрустит пани Абрамович, перекликая женскую половину Литвы.

— А! Но ведь у вас также есть шифр? — Он уже заранее все знал. — Зачем же вы не надели его?

— Моя отчизна, государь... обстоятельства... я полька...

— Отчего же! Можно быть настоящей полькой и носить шифр.

И мраморный бюст, повернувшись на коротенькой шее, выразительно глянул на хорошенькую панну Тизенгауз и засмеялся, выказав ряд мелких великолепных зубов, белых, точно у молодой собаки.

Потом далее и далее, и все — «толстые и большие мальчики», «сколько детей», «скоро ли родите», «давно ли родили толстого мальчика», и все в том же роде.

— Император Александр очень любезный человек. Он вас всех очаровал. Настоящие ли вы польки? — заключил он.

Все молчали, кто наклонив голову, кто улыбаясь, кто краснея.

В один момент он исчез из залы. Все чувствовали, что были на какой-то странной, обидной выставке... Это не прием, а какой-то акушерский экзамен. Неловко как-то.

А делать было нечего!

IV

После сожжения Зеленого моста началось то непостижимое для современников отступление русской армии, которое навело ужас и оцепенение на всю страну. Никто не знал, никто не мог понять, что делается там, куда выставлен весь цвет населения, и эта неизвестность наводила суеверный страх

на всех. Даже сами войска, офицеры, генералы — и они не понимали, что делается, к чему все это идет, чем должно кончиться. Одно, что все испытывали одинаково с ужасом и стыдом, чего никто не мог заглушить в себе, это — глухое, щемящее сознание, что совершается поголовное бегство...

Более всех чувствовала это, как казалось ей самой, Дурова. Она не боялась за себя, но она боялась за все, что происходило кругом и что казалось непостижимым ей. Страх, общий страх, казалось ей, носился в воздухе помимо ее личного чувства. Чем же другим, если не страхом, думалось ей, можно было объяснить это бегство, бегство безостановочное, бегство день и ночь, по дорогам и без всяких дорог, по лесам и болотам? В этом бегстве она в первый раз поняла, что есть границы сил человеческих и человеческого терпения, — границы, дальше которых человек идти не может. Она изнемогала от какой-то и гнетущей, и режущей тоски, падала от сна и усталости, не видя конца бегству. На беду пошли дожди. Все платье ее было пробито холодным дождем до нитки. Вот уже двое суток, как ни она и никто не ел и не спал — день и ночь на марше, а если и явится остановка, то опять-таки не велят сходить с коней — все, по-видимому, ждут чего-то страшного, а если и не ждут, то сами не знают, что делают. А дождь и холодный ветер все нижут и нижут насквозь. Вследствие бездорожья уланы шли гуськом, по три в ряд, растянувшись в нитку, словно утки на водопой; но где попадалось препятствие на пути, там шли в два коня только, а то и по одному, и в таком случае одному взводу приходилось стоять и ждать. При всякой такой остановке, продолжавшейся несколько минут, Дурова вмиг слезала с лошади, тут же падала в грязь у самых копыт умного Алкида, и в ту же секунду теряла сознание — засыпала как мертвая. В ту же минуту взвод трогался, товарищи кричали ей, будили ее, и она, как безумная, вскакивала, карабкалась на лошадь, проклинала себя, свою слабость, свой пол, общее бегство и того невидимого демона, перед которым все бежало. Товарищи грозили ей, что бросят ее на дороге, если она будет сходить с лошади...

— Эх, Алексаша, Алексаша! — сказал ей с участием Бурцев, спеша куда-то с поручением и видя, как она, бледная, жалкая, поднималась с земли. — Ты, дружище, делай по-нашему: вон видишь — все дремлют и спят на лошадях, рыбу удят... Делай, братуха, и ты так... Эх, черт бы побрал!..

Кого — все знали... И вот Дурова крепится на лошади: дремлет, засыпает, качается, падает до самой гривы Алкида, с ужасом просыпается, думая, что летит в пропасть, — и сно-

ва качается и спит. Ей казалось, что она начинает мешаться в рассудке. Она знала, что смотрит, что глаза ее открыты, а предметы меняются перед ней, как во сне, как в горячечном бреду: уланы кажутся ей лесом, лес — уланами... Перед глазами то здания высятся, то пропасти чернеют, то река расстилается... Голова в огне, так от нее полымем и пышет, а самой холодно, вся дрожит, и чувствуется, как мокрая холодная рубашка то липнет к телу, то отдирается с болью, причиняя дрожь.

Третий день продолжается бегство, всей ли армии, или только некоторых ее частей — этого никто не знает. Но люди бегут куда-то день и ночь. На Дурову нападает ужас: а что, думается ей, как она окончательно изнеможет и сляжет? Ведь ее сведут в госпиталь, и там все может открыться. Надо во что бы то ни стало побороть эту слабость тела. Но как с нею бороться? Вон, остальные уланы, едва остановится полк на полчаса, успевают выспаться, набраться сил, а она не может. А тут перестает неустанно ливший дождь и начинает жарить солнце. Чем дальше идут, тем зной усиливается, жажда начинает палить внутренности. Это не простая жажда, а горячечная, жажда внутреннего огня. Есть вода, только дождевая, старая, зеленая, скопившаяся в придорожных канавках. Это какая-то зеленая плесень, попробовав которую, Алкид замотал головой и зафыркал. А надо пить. Дурова набирает в бутылку этой мутной зелени и везет с собою, не имея ни решимости бросить, ни мужества проглотить эту ужасную жидкость. Но жажда берет свое: несчастная кончила тем, что выпила, как сама признавалась, эту теплую «адскую влагу».

По ночам, на ходу, уланы роняют с голов каски. И солдату невмоготу! А начальство ругается — зачем люди дремлют? Но начальство и само дремлет. Даже Бурцев, попадающийся иногда на глаза во время остановок, смотрит таким хмурым. Только при виде Дуровой лица его немножко проясняется.

— А что, братуха Алексаша, устал? — спросил он на третью ночь бегства Дурову, когда на ровном поле и гусарские, и уланские взводы могли двигаться рядом. — Шибко устал?

— Да, Бурцев, я просто падаю с седла, — отвечала девушка, которая начинала в душе проклинать и войну, и свое безумство.

— А Дениска еще бранит людей, что дремлют... чертчертом стал — презлой... А видишь — вон сам рыбу удит.

Впереди действительно ехал Давыдов и крепко спал, клюя носом в гриву своего привычного коня. Поводья выпали у него из рук, плечи сгорбились.

— А вот посмотри, Алексаша, я его, подлеца, проучу, чтоб не лаялся.

И Бурцев, пришпорив свою лошадь, стремительно проскакал мимо Давыдова. Лошадь последнего шарахнулась, и надо было видеть изумление и торопливость, с какою сердитый начальник подбирал распущенные поводья, разбуженный так неожиданно.

— А! Это ты, ракалья! — процедил он сердито, догадавшись, чья это шутка.

— Не лайся, — пояснил Бурцев, — это тебе за лаянье.

К утру они настигли несколько пехотных полков, обозы, артиллерию. Тут только выяснилось Дуровой, что они не все бежали вперед, а делали какие-то обходные марши, чтобы стать на другом крыле армии, ближе к арьергарду и к неприятелю. Пехотные солдаты имели такой вид, как будто бы они шли на побывку: большею частью босиком, в рубахах и с сапогами, висящими то на штыках, то на плечах. Дела скорого, как видно, не предвиделось, и они шли вольно, вольготно, зная, что позади их еще есть свои, землячки, — не выдадут. У пехоты усталости на лицах не замечалось, а все как будто говорили: «Что ж — коли велено идти, так и надо быть идти — это ихнее дело, начальничков, — не наше...»

Бурцев опять подъехал к Дуровой — улыбается, щурит добрые глаза.

— Ну вот, Алексаша, скоро и отдохнем, а то мне на тебя смотреть жалко — ишь, как сбежал с лица, — говорил он участно. — Посмотри-ка на себя в зеркало.

Дурова слабо улыбнулась и показала на голое поле с вытоптанными пашнями: какое-де тут зеркало!

— Да зеркало при тебе, братуха, — истолковал ее мысль Бурцев.

— Как? — недоумевающе спросила девушка, вспомнив в то же время, что будь она дома, не в этих рейтузах, она давно полюбопытствовала бы видеть свое лицо в зеркале.

— А вот! — сказал Бурцев. — На — гляди.

И он вынул из ножен свою широкую блестящую саблю и поднес светлую ее полосу к лицу Дуровой. Девушка действительно увидела там отражение своего лица. Но что это было за лицо! Черно-бледное, с впалыми, потухшими глазами, с белыми, растрескавшимися от ветру и внутреннего жара гу-

бами. О! Как боялась она в этот момент, чтобы не узнали, что это — лицо женщины, молоденькой девушки...

Этот день назначен был для отдыха. День выдался не холодный и не жаркий. Земля после дождей просохла, и обмывшаяся зелень смотрела необыкновенно ярко и весело. Местом стоянки был избран всхолмленный, возвышенный берег, внизу которого протекала, извиваясь, как брошенный на дороге чумацкий длинный батог, небольшая голубая, поросшая у другого берега камышами и зеленым чаканом речка. За речкой шли ровные поля, кое-где перегораживаемые молодым ельником вперемежку с березами. Тут же, в стороне, вдоль речки, вытянулась небольшая деревенька с почерневшими крышами.

Полк Дуровой, а равно гусары Мариупольского полка и драгуны Новороссийского расположились по соседству. Солдаты тотчас же развели огни и копошились около них, тогда как другие их товарищи рассыпались в разные места — кто за травой и сеном для лошадей, кто — чтобы себе что-либо попромыслить.

Едва Дурова слезла с коня и осмотрелась, как Бурцев уже отыскал ее и тащил куда-то, схватив за обшлага. Он казался весел и доволен. Левый глаз по привычке комично подмигивал.

— Пойдем, пойдем Алексаша, — торопился он, — Дениска сегодня раскошеливается: чай будем пить с архирейскими сливками — уж он и бутылку вынул. А так как ты этих сливок не пьешь, то мы тебе достанем — ну, да уж хоть птичьего молока, а достанем... Подоим, брат, французского орла — вот у нас и сливки для тебя.

— Да постой, Бурцев, что ты меня тянешь? Точно в плен взял, — защищалась Дурова.

Бурцев подмигнул еще хитрее.

— И яйца будут, — пояснил он, — я уж послал на деревню парламентера.

Дурова обещала придти тотчас же, сказав, что она должна прежде всего позаботиться об Алкиде. И едва она подошла к денщику, который вываживал Алкида, как словно из земли вырос старый Пилипенко с своею неразлучною Жучкою, чуть не погибшею при сожжении Зеленого моста, и добродушно, как-то отечески улыбаясь, заговорил скороговоркой и со свистом: еще под Фридландом он сгоряча наткнулся, как сам выражался, на «веретено» — так называл он французский штык — и потерял два передних зуба; а коренные он давно потерял на службе, на гнилых, с закалом и с хрустом, т. е. с землею, сухарях.

— Ваше благородие! А я вам курочку раздобыл, — говорил он ласково и вынул из-под куртки курицу со свернутою головой.

Этот старый гусар, который недолюбливал молоденьких офицеров, барчат, матушкиных сынков, в первую кампанию косился сначала и на Дурову; но потом привязался к ней както отечески, как привязался давно и к своей Жучушке, и хотя Дурова перестала быть гусаром и пошла в «снегири» — так называли солдаты красногрудых уланов, — однако Пилипенко продолжал любить ее.

— Жирная, гладенькая курочка, — говорил он, выщипывая и раздувая перья своей жертвы, — желтая, как воск.

— Да где ты ее взял? — спросила Дурова. — На деревне поймал? Как же тебе не стыдно! Ведь это грабеж, мародерство...

— Какое, ваше благородие, миродерство! — добродушно оправдывался старый гусар. — Она, эта курочка, дикая — она ничья.

— Как ничья?

— Да ничья, ваше благородие: хозяева все попрятались... Да и то сказать — завтра ее, эту курочку, все равно француз слопал бы, так уж лучше не доставайся ему.

Дурова сообразила, что Пилипенко был прав. Не одни куры попадут в руки французов!.. Все еще с угрызением совести, нерешительно, она взяла курицу, тем более что только теперь, на покое, она почувствовала давно сидевший в ней голод, и вынула из кармана монетку, чтобы дать услужливому гусару.

— Зачем же, ваше благородие! За что обижать старика! — обиженно заговорил гусар. — Я не жид какой-нибудь — не торгую.

— Да как же, брат! А ты с чем же останешься?

Пилипенко улыбнулся и из-под другой полы вынул петушка.

— У меня кочеток, ваше благородие.

Девушка засмеялась, обняла старика и пошла разыскивать Давыдова и Бурцева.

У Давыдова уже была раскинута палатка, и к нему собралось довольно большое общество офицеров, между которыми по обыкновению особенно бурлил Бурцев. Он требовал, чтобы веселая компания непременно расположилась вне палатки, под открытым небом, на траве и на ковре — «кто любит бабиться», — вокруг «эскадронного костра», как он выражался. Костер этот усердно разжигал денщик Давыдова, Рахметка,

из сызранских татар, пренеутомимое узкоглазое чернолицее существо. Бурцев, горячась и споря разом со всеми, без фуражки, с всклоченною головою, рылся что-то в костре.

— Бурцев! А Бурцев! — смеялся дискантом массивный, хотя еще очень молодой, широкоплечий драгунский офицер, тщательно выбритый и щеголевато одетый. — Позволь, брат, припустить моего коня к твоей голове.

— А зачем тебе? — не поворачивая головы, отвечал Бурцев.

— Да у тебя столько набилось сена в волоса, что на корм моему коню хватит, — отвечал драгун.

Все засмеялись. Бурцев приподнялся, прищурил левый глаз и стал ощупывать свою голову.

— А ведь и в самом деле, черт побери, сколько тут сена! Прорва!

— Да оно у тебя растет там, — добавил драгун.

Бурцев, по-видимому, ощетинился. Оба глаза его прищурились, и он стал фертом, вызывающе глядя на Усаковского — так звали драгуна.

— Господа, послушайте! — возвысил голос Бурцев. — Мы с Усаковским меняемся головами: он берет мою с сеном в волосах, чтоб моим сеном накормить своего коня, а нам дает свою во щи... Ура! Господа, мы сегодня щи едим со свежей капустой.

Снова кое-кто засмеялся, но Усаковский не обиделся, да и некогда было: все обратились к Дуровой, которая принесла курицу.

— Ай да Алексаша! — торжествовал Бурцев. — Сегодня у нас щи и жаркое из курицы... Эй, Рахметка! Скуби и потроши курицу на жаркое. — Потом он покопал в костре и вынул оттуда пару печеных яиц. — Это тебе, Алексаша... Денискины — у него скрал, — говорил он шепотом, но так, что все слышали.

Давыдов, который в это время отдавал приказания фельдфебелю, только улыбнулся на слова Бурцева. «Это за то, что он ночью лаялся», — пояснил последний.

Дурова хотела было свести разговор на то, что ее занимало в настоящем деле, т. е. в каком положении находятся военные дела, что значит это отступление, когда будет дано сражение и т. п., но Бурцев остановил ее.

— Охота тебе, Алексаша, такими пустяками заниматься! Это дело штабных. А когда придет пора драться — будем драться.

— Да куда мы идем? — допытывалась Дурова.

— На богомолье, — процедил Давыдов, — к Смоленской Божией Матери.

— Верно, — пояснил Усаковский, — уж нас почти до Смоленска догнали.

Между тем поспел чай в походных чайниках. Рахметка, стоя над костром, в обеих руках держал по шомполу: на одном вздета была принесенная Дуровой курица, на другом — огромный гусь, раздобытый денщиком Бурцева. Нашлись и старые колбасы, еще виленские, «стара вудка» в плетенке, ром...

Вдруг невдалеке заревела корова... Все оглянулись и невольно расхохотались. Несколько гусар держали за рога неведомо откуда явившуюся корову — должно быть, бежала из лесу от хозяев, которые со скотом и имуществом спрятались в лесу, — а Бурцев, припав на корточки, усердно доил ее в жестяную манерку, постоянно ворча на гусар: «Да держите же, черти, дьяволы! — все проливаю...»

Через минуту он уже стоял перед Дуровой, держа манерку с парным молоком.

— Это Алексаше, сливки, — говорил он, щурясь левым глазом, — а нам Денискины сливочки, от египетской коровы.

Потом он взял стоявший на ковре ларец, достал из него самый большой стакан, положил сахару и развел сахар горячим чаем, налитым менее чем до половины стакана.

— Дружище, Усаковский, передай-ка мне сливки, — обратился он с самым добродушным видом к драгуну, с которым за несколько минут пред этим повздорил было.

— Какие сливки? — спросил тот недоумевающе. — Мы без сливок пьем.

— Да вон же молошник у тебя под носом стоит — экой ты, братец!

Усаковский догадался — перед ним стояла бутылка с ромом. Он улыбнулся.

— На, на, — говорил он, подавая бутылку, — не скислись ли только.

— Эти не скисаются, потому от библейской коровы. — И Бурцев долил свой стакан ромом.

Давыдов и сегодня казался не в духе. Он, сидя на ковре, крутил правый висок, что означало у него или волнение, или внутреннюю работу. Эти дни у него почему-то не шел из головы тот вечер, который он, пять лет назад, провел в Москве у Хомутовых, когда княгиня Дашкова вспоминала свою молодость... «А нам-то и вспомнить нечем будет нашу молодость, — досадливо говорило его сердце. — Так, канитель тянем... и нас после никто не вспомнит...»

— Это черт знает что такое! — сказал он, наконец, выпив залпом свой стакан.

Все посмотрели на него. Бурцев, мигая левым глазом, старался не смотреть на Дурову и пил свой пунш скромно, маленькими глотками. Дурова вопросительно смотрела на Давыдова: она давно заметила, что он скучает и часто, задумываясь, говорит что-то сам с собою.

— Так жить нельзя, господа! — продолжал Давыдов, теребя висок. — Что мы за коптители неба! Нас гонят, а мы даже и оглядываться не смей, не смей заглянуть в рыло тому, кто тебя гонит. Вон Фигнер — делает свое дело, и Сеславин начинает лакомиться французятинкой, и Платов с своими казачишками от почечуя лечится французскими красными каплями — guttae sanguinis... А мы...

Не успел он кончить, как уже Бурцев душил его в своих объятиях.

— Денисушка! Красавец! — теребил он своего друга. — Да ты, дьяволова душа, — гений! Ты нам всем в душу залез и увидел, что мы с голоду помираем — так французятины хочется.

— Ну, полно, полно, перестань меня душить, чертов ноготь! — отбивался Давыдов.

Бурцев, отскочив от него, повернулся к Дуровой, раскрыл руки, настежь развел их, как для объятий, и засеменил ногами.

— Алексаша! Друг! Ангел! Поцелуемся! — Потом, как бы опомнившись, он смешался и отступил назад, бормоча: — Эх, свинья я! От меня винищем несет...

— Слушайте, господа, — продолжал Давыдов, — мои ребята встретились недавно с казаками из атаманского полка — за фуражом ездили и по своему казацкому обычаю вынюхивали, нельзя ли чем поживиться. Так эти бестии-ищейки сказывали нашим, что недалеко отсюда заметили они обоз неприятельский, — обоз хороший, и прикрытия у него немного. Так вот я и думаю себе — не попытать ли счастья: обоз обозом, а то десяточек-другой и дичи настреляем, и полону себе захватим, да порасспросим: что и как? Как думаете?

Все согласились с радостью и порешили ночью же, вызвав охотников, отправиться в тайную экспедицию.

— Чэм болши блахам кусат, тэм менши будит грацузам спат, — одобрил общее решение Рахметка.

— Браво, Рахметка! — обрадовался Бурцев... — Да ты, черт побери, философ!

V

Дурова проснулась, когда уже было совсем темно. Когда она, сидя у «эскадронного костра», напилась чаю с парным молоком «бурцевского удою», как выражался силач Усаковский, потом подкрепилась виленской колбасой, курицей и гусем, отлично сжаренными на шомполах Рахметкою, ее охватил такой непобедимый сон, что она тут же, у костра, на соломе, положив голову на чье-то седло и прикрыв лицо носовым платком, что называется, в воду канула. Истомленная трехдневною бессонницею, усталостью, голодом и лихорадкою, она спала как убитая, не чувствуя, что день уже кончился, солнце село, солдаты и лошади отдохнули, и только один Бурцев бурлил, не переставая, нализавшись до икоты на радостях, что вот-де сегодня Дениска поведет их добывать французятины. Дурова не слышала даже, как Бурцев, который и во хмелю помнил, что с Алексашей надо обходиться деликатнее и беречь его, притащил откуда-то бурку и прикрыл ей своего Алексашу — «чтоб он, канальство, не простудился». Дурова и того не слыхала, как тут же, около нее, чуть не разыгралась кровавая драма. Разбушевавшийся Бурцев, вспомнив недавнюю свою сценку с Усаковским, снова стал задирать его. Тот посоветовал ему проспаться. Бурцев вспылил и обозвал Усаковского «маринованною головой». До того смирный и уступчивый, Усаковский пришел в ярость и, выхватив саблю, бешено закричал:

— Защищайся, пьяная рожа, а то я убью тебя, как собаку!

Бурцев посмотрел на него пьяными глазами, с трудом обнажил свою саблю и стал в позицию, икая и покачиваясь.

— Так на саблях?.. Отлично, черт побери... без секундантов... люблю, люблю — это по-гусарски... Ай да маринованная голова! — бормотал он.

— Защищайся!

Сабли скрестились, завизжали, скользя сталью по стали... Откуда ни возьмись — Давыдов.

— Стойте, черти, дьяволы! Что вы! Взбесились! — и он кинулся грудью на скрещенные сабли. — Я вас арестую... бросайте сабли!

Эта неожиданность смутила противников. Они опустили сабли. Усаковский стоял бледный...

— Да какое вы имеете право, господин Давыдов? — заговорил он, заикаясь,

— Какое право! Право друга... А ты, пьяная бутылка, — обратился он к Бурцеву, подступая к самому его носу, —

проси прощения у товарища... Ведь ты спьяну оскорбил его... Проси прощения — целуйся с ним.

Бурцев, которого гнев проходил скорее, чем хмель, тотчас же полез целоваться.

— Ну, прости, братуша... прости — больше не буду называть маринованной головой... Прости... а то Алексаша увидит... мне будет стыдно...

Усаковский, улыбаясь, обнял его...

— А все-таки у тебя на голове копна сена, — заключил он.

Когда Дурова проснулась, то сначала никак не могла сообразить, где она и что с ней. На ночь костры все были потушены, чтоб не привлекать внимания неприятеля, и кругом слышался глухой, неясный говор. Она приподнялась и осмотрелась — память воротилась к ней. Одного она не могла понять, откуда взялась эта бурка, которую она ощупала на себе. «Разве это добряк Пилипенко прикрыл меня?» — подумала она. Она припомнила весь день, все предшествовавшие дни, которые с самого выступления из Вильны прикрывались какою-то мрачною дымкою. На душе у нее стало опять тяжело, хотя, подкрепившись пищею и сном, она чувствовала себя здоровою и бодрою.

Она огляделась кругом, и ее поразили какие-то багровые полосы за западном горизонте. Она смотрела и не могла понять, что это такое. Заря, конечно, не может быть такою багровою. Это не заря — это что-то зловещее, невиданное: это зарево огня, зарево пожаров... Это далеко где-то горит, и горит не в одном месте, а на далеком расстоянии... Огни то дальше, то ближе...

«Боже! — она догадалась. — Это горят села, это горит покинутый нами край... — Что-то вроде тупого испуга охватило ее: то был испуг перед стихиею, перед неизбежным. — Пылает Россия... вот до чего мы дожили...»

Вслед за минутным испугом — испугом не лично за себя, а перед каким-то страшным, слепым и невидимым роком — в ней шевельнулось нехорошее чувство, чувство злобы к кому-то, но к кому — она этого сама ясно не сознавала. Одно сознавала она с болью, со стыдом, что во всем этом есть кто-то виноватый, виноваты многие, и ей казалось, что и она тут виновата. Она чувствовала, что этого, чего-то страшного, неотвратимого, могло бы и не быть; мало того — оно не должно бы быть совсем, а оно есть — вон оно, вон как пылает! А что же там, что они, эти, у которых все это делается, — что они чувствуют?.. «Ах зачем же! Зачем это! Чем они тут

виноваты!» — гвоздило и ныло у нее в душе. Нытье это было невыносимо. Это было далеко не то чувство, которое она испытывала в битвах при Гутштадте и под Фридландом: то было также скверное чувство, и горькое, и обидное, но там все это как бы скрашивалось шумом, грохотом, свистом, стонами, криками — криками кругом и в глубине души; там было какое-то движение, страстное чувство борьбы, ожидание, что вот-вот все это кончится, исчезнет, замолчит. А тут — это-то молчание там, где-то далеко, эта мертвая тишина там и это, такое же тихое, молчаливое, мертвое зарево — вот где ужас!.. «Господи! Да за что же? Зачем же?»

Она вскочила — и наткнулась на Бурцева, который шел, пошатываясь и бормоча что-то. Она даже пьяному Бурцеву обрадовалась. Он узнал ее и остановился.

— Ах, Алексаша, видишь, видишь, голубчик? — взяв девушку за руку, тихо, как бы шепотом, словно бы боясь, чтобы не услыхали его, заговорил он. — Видишь, Алексаша? — он указывал на зарево. — Это они... Зачем? За что же? Зачем же их-то!

Холодом обдало ее от этих слов. И он то же думает!.. «Зачем же? За что же!..»

— А я тебя, Алексаша, бурочкой прикрыл, а то холодно стало, — переменил свою мысль Бурцев.

— Спасибо, ты всегда такой милый.

— Не-не, Алексаша... я — я пьяная скотина... Ах, за что же это? — снова обратился он к зареву,

— А где Давыдов?

— Он там распоряжается, отдает приказания... Ведь мы, Алексаша, знаешь, — и Бурцев с таинственностью пьяного нагнулся к самому уху девушки, — мы сегодня ночью... тово... в гости к этим подлецам... Ух, и зудят же руки!

Дурова вспомнила, что в эту ночь предполагалось сделать нечаянное нападение на неприятельский обоз, и в ней зашевелилось чувство как бы ожидаемой какой-то удовлетворенности, успокоения от глухой, ноющей боли. Она тотчас же пошла к эскадронному начальнику заявить о своем намерении. Когда она подошла к эскадрону, то Алкид, узнав ее в темноте, сорвался с коновязи, подбежал к ней с радостным ржанием и, положив морду на ее плечо, так дохнул ей в лицо, что девушка отшатнулась и невольно ударила его по носу. «Противный какой! Как дышит!»

Одни из ее улан возились около коновязей, другие у седел, лежавших на земле. Тут же слышен был и голос старого Пилипенка: «Ни-ни, подлая, ни Боже мой! Тебя нельзя

брать — мы в секрет едем... А ты, дура, не утерпишь — залаешь».

Дурова догадалась, что это Пилипенко разговаривает с Жучкой. И мысль ее вдруг почему-то перенеслась далеко отсюда, к тем местам, где она провела последние годы своего детства: перед нею — широкая Кама, такая тихая, гладкая, а она, Надя Дурова, сидит на берегу Камы и думает о том, как она, Надя, будет воевать с Наполеоном — о том, вот об этом самом, что теперь она делает, но тогда не так это представлялось — о! далеко не так!.. Тогда она и Пилипенка не знала, и Жучки не знала: тогда она знала только своего кота Бонапартушку да Робеспьерку-волкодава, который чужих цыплят любил, да косматого Вольтерку, который не любил свиней... И добрый Артем конюх... А отец! «Милый, милый папа! Как он постарел, должно быть...» И она много пережила в эти пять лет: и Кама, и отец, и Артем постоянно вытеснялись другими лицами, другими картинами — Сперанский, Наполеон... Тильзит, Неман, Фридланд... Греков... Этот образ, кажется, и недосягаемее всех, и всех ближе. Где-то он!

— И с....н же ты сын, я тебе скажу, брат: я тебе, с....у сыну, надысь целую луковицу дал, а ты мне щепоти кирпичику не даешь... Видишь — бляхи почистить нечем, — говорил один улан другому.

— Рассказывай, черт, — луковица, что луковица! Попрекать едой грех... А кирпичику самому мне не хватит, поди... А то луковица!

— Ишь, черти, как жгут чужое добро, и жалости в них нету...

— Какая жалость! Ишь, горит... словно свечечка перед Господом...

— А то луковица!

— Ну и луковица — что ж! А тебе грех...

«Каждый о своем!» — подумала Дурова, и ей стало еще грустнее.

Эскадронный командир, которому она заявила о своем намерении принять участие в ночной экспедиции, сначала уговаривал ее не ездить, представляя ей все опасности такого рискованного предприятия; но когда перечисление опасностей на нее не подействовало, он стал было доказывать незаконность, с научно-военной точки зрения, такого казацкого, хищнического способа ведения войны, говоря, что регулярным войскам заниматься этим «неприлично», что «военная наука, в чистом ее значении, не одобряет этого», и другие «ученые» тонкости...

— Неприлично, господин ротмистр? — с дрожью в голосе возразила девушка. — А это прилично? — она указала на зарево. — Это ваша наука одобряет?

— Но это, господин Александров, злоупотребление законами войны...

— Законы войны! Война имеет законы! Да разве сама война не есть нарушение всяких законов — и божеских, и человеческих?

Ротмистр насмешливо, с видом глубокомыслия посмотрел на нее... «О, немецкая тупица!» — чуть было не сорвалось с языка девушки, и она бросилась отыскивать Давыдова.

Через час после этого отряд охотников перебрался вброд через речку и направился на запад, следуя на огни пожаров. Впереди ехал Давыдов, сгорбившись каким-то круглым комом на седле. Лицо его было серьезно и задумчиво. Дуровой казалось, что она видит другого Давыдова, — не того живого Дениску, который так часто «пылил» и накидывался на своего друга Бурцева. Его лицо, казалось ей, напоминало теперь выражения тех лиц, которые, стоя в церкви у амвона, перед сосудом с дарами, полушепотом и со страхом повторяют за священником: «Днесь, Сыне Божий, причастника мя приими, не яко Иуду, но яко разбойника»... Может быть, и в самом деле Давыдов молился теперь, как перед страшными дарами... В темноте фигура Усаковского казалась еще массивнее. Голова его была высоко поднята; он, казалось, хотел заглянуть теперь своими глазами дальше и глубже, чем куда может проникнуть глаз человеческий — проникнуть в невидимое и неведомое. На лице Бурцева и следа не оставалось того, что он недавно был шибко пьян. Сейчас только, когда уже седлали лошадей, Рахметка вылил ему на голову с полдюжины манерок воды, и он был теперь причесанный, чистенький, с добрым, детским выражением на лице, которое с любопытством заглядывало туда, в глубь ночи.

Дурова оглянулась на солдат. Они были все те же, какими она видела их, когда они ничем не были заняты, и, по-видимому, ни о чем не думали: «Работы никакой, едешь себе смирно, дело свое знаешь, начальство тебя не бранит — чего ж тебе еще!» — казалось, говорили эти лица. Только Пилипенко, как старый солдат, которого все называли «дяденькой», осматривал иногда своих «племянничков»: то вдоль по фронту поглядит, ровно ли идут кони, не зарывается ли который, то зорко глянет вперед. Лицо у него более строгое, чем обыкновенно, словно бы он в церкви стоит, и как ни старается уловить смысл того, что читает дьячок в паремии, все никак

не может уловить, хотя чувствует, что что-то глубокое, непостижимое, но душе понятное читается там.

Вот уже они много проехали. То ровным полем и вытоптанными пашнями проедут, то леском проследуют, то балкой потянутся несколько времени и снова выедут на открытое место. Пожарное зарево все ближе виднеется, а кругом мрак более и более сгущается. Все едут молча.

Давыдов на минуту поворачивает коня и останавливается.

— Ребята, не дремать, — говорит он тихо, но внятно. — Подобрать поводья, сабли прижать коленкой к седлу, чтобы звуку не было, друг с дружкой не сближаться, чтобы стремя о чужое не заговорило... Глядеть зорко, в оба — промаху чтобы не было!

Кто-то глубоко, во всю грудь вздохнул.

Давыдов разделил отряд на три части: одну он оставил при себе, другую поручил Усаковскому, остальную — Бурцеву. Пилипенко и Дурова остались при Давыдове.

Солдаты стали размещаться по партиям. Они это делали так же спокойно, как и на стоянке, словно бы собирались на водопой.

— А ты осади — что стал! Эй ты — который!

— Что! Не на твоей земле стал — али мало места?

— Так-то, братцы, лучше — в аккурате, потихоньку да полегоньку.

— А то на?.. луковица! Эх, человек тоже!

— А вы, полно, — успокаивал Пилипенко, — на всех хватит...

— А ты стремем не звони, черт!

— Не лайся — грех... Не приказано...

— А вже ж и бисив комарь! Укусив у саме око...

Разместились. Поводья подобраны. Все в струнку. «Смирно!» — командует Давыдов. Чего ж еще смирнее! Теперь и комар укусит, так не икнут: потому — смирно!

По распоряжению Давыдова, Бурцев с своею горстью должен был идти прямо. Сам Давыдов и Усаковский с своими людьми — зайти с боков.

Разделившись таким образом, партизаны тихо подвигались еще с полчаса под прикрытием небольшого леска, из-за которого виднелось небольшое пламя: это догорала деревенька. Затем Давыдов велел снова остановиться. Сойдя с коня и отдав его фланговому гусару, он знаком подозвал к себе жидка — так звали бойкого рябого гусара, выкреста из евреев, — и старого Пилипенка. Те тоже сошли с лошадей, и все трое тихо пошли лесною прогалинкой на огонь.

Ночь была тихая. В траве и в лесу трещали кузнечики, да по временам откуда-то издали доносился не то вой собаки, не то плач какой-то странный... Ночные звуки всегда так таинственны...

Дурова посмотрела на небо. Знакомые звезды... Давно когда-то, еще там на родине, она знала их. Теперь они едва мигают, бледнеют — время идет к утру. Вон и уланы, нет-нет да и перекрестят рот — зевают, хоть и выспались за день.

Как будто колокольчик — тонкий-тонкий — слышится вдали. Нет, это не колокольчик. Это все те же таинственные звуки ночи — не то они на земле, не то в небе, на воздухе, зарождаются и бесследно исчезают... Алкид насторожил уши — что-то сопит впереди, шуршит, это еж нюхает воздух — вон черный клубок прокатился в лес...

Из лесу вышел Давыдов с своими спутниками и быстро подошел к своим товарищам.

— Все хорошо... Спят что убитые... Мы их как мокрым рядном накроем, — говорил он торопливо. — За мной, ребята, справа заезжай — тихо, не звени... Уланы, пики наперевес... ты, Бурцев, ударь прямо на обоз, а мы с боков примем...

Дурова подобралась, укрепилась на седле и оглянула всех. Пилипенко, сев на лошадь, широко перекрестился. За ним перекрестились все. Даже Бурцев сделал крестное знамение.

«На сонных!» — шевельнулось что-то в душе Дуровой, и она вздрогнула. Но в то же время на далеком синеющем горизонте она увидела те же багровые полосы, что и прежде, с вечера видела, и она изо всей силы стиснула обнаженную саблю холодною как лед рукою... «Не от меня это — так тому и быть...» И в этот же самый момент ей так захотелось быть дома, там, около отца, что у нее невольно в глубине души выкрикнулось: «Папа! Папа мой!»

Дальше она ничего уже не помнит в последовательном порядке, это какая то страшная путаница: лошадиный топот, звяканье стремян, испуганные крики, стоны, какой-то рев; ее сабля ударилась о что-то, как бы упругое, и застряла там — она с трудом ее выдернула... Это был раздробленный ею череп... да, череп! Кто-то ничком упал, раскинув руки... О! Это в тысячу раз казалось ей страшнее, омерзительнее, чем под Фридландом... Там что-то величественное, грандиозное, шумное, а тут... Только крики какие-то неясные да стоны, да выкрики ужаса, да удары смешанные, железо на железо — вот что стояло в этой суматохе. Над всеми криками и выкриками этой адской ночи преобладал один: «les cosagues? cosagues! oh!..»

Свалка шла в ее растерявшихся глазах то какою-то нестройною кучею, то в одиночку что-то там делали, то ее Алкид — ей казалось, что это не она, а Алкид — бешено кидался между какими-то фурами, а она машинально махала саблей и за что-то задевала... Раз только она сознательно слышала, как над ее ухом внезапно раздался голос Бурцева: «Ай да Алексаша! Ловко рубанул!» Да после, когда уже почти совсем стало светло, она увидела, как мимо нее проехал Пилипенко, перекинув что́-то впереди себя через седло, — кажется, чья-то голова свесилась у него с седла и чьи-то руки хватались за гриву его лошади, и Пилипенко торопливо сказал ей: «Назад, ваше благородие, кончили, наша взяла... Назад пора»...

Окончательно она опомнилась, когда уже было совсем светло и все они рысью скакали по жнитву, и тут же ехали с ними какие-то фуры, обвязанные кожей, а сверху фур — привязанные веревками люди в синих и зеленых с красным мундирах. Это были пленные французы и отбитые у неприятеля фуры. Бурцев весело смеялся, показывая своему Дениске на нее, Дурову, пальцем.

— Алексаша чертом дрался, а теперь раскис, — говорил он, оскаливая белые зубы и подмигивая левым глазом.

И Дениска весело улыбался, и все уланы, и гусары, драгуны смотрели весело, словно бы они с ученья, только у иных были подвязаны руки, у кого голова повязана.

— Вот те и луковица, черт! Говорил — грех попрекать едой, вот тебя и поцарапали маленько, — говорил один улан своему соседу, который вчера не дал ему кирпичику почистить бляхи.

А Пилипенко ехал рядом с одной фурой, на которой лежал, раскинув руки, длинный, красивый, загорелый француз в рейтузах с желтыми лампасами и с такою же желтой грудью и тихо стонал.

Когда счастливые партизаны приехали к месту привала своих полков, со всех сторон окружили их солдаты — кричали, не слушая друг дружку, расспрашивали, смеялись, лезли к фурам с пленными, дивовались на них, словно бы это были с того света, развязывали их, ласково спрашивали, как кого зовут... «Эй, мусью! Не бойся!» — «Иди, иди смело, голубчик, — на нас кресты». — «Не пужай их, братцы!» «Сала-мала, сала-кала — эх ма!» — французил какой-то веселый уланик. «Эй, Рахметка! Поговори с ними по-собачьи!» — «Что пустое мелешь!»

Дико, испуганно смотрели пленные. Их было человек пятнадцать, по-видимому, люди разного оружия и разных полков. Были и старые, и молоденькие.

Пилипенко вместе с своим фланговым снимал с фуры раненого высокого француза с желтой грудью, постоянно цыкая на Жучку, которая, казалось, с ума сошла от радости.

— Да цыц ты, окаянная! Тише, тише, братику, полегоньку сымай, — говорил он фланговому, снимая с фуры раненого, которого он сам, добрый Пилипенко, в горячности первого натиска просадил в грудь пикою.

— Ой-ой! — слабо выкрикнул раненый француз. — Ой, болит! О-о, не рушьте мене...

У Плипенка и руки опустились. Солдаты ахнули, услыхав от француза такую речь.

— Братцы! Да это хохол — не француз... Вот история!

— А може, беглый, из наших...

Все обступили странного француза-хохла. Подошли и Бурцев и Дурова.

— Да он, бедный, кажется, в грудь ранен, — жалостливо сказала последняя.

— В груди, в правую, ваше благородие, — тихо сказал Пилипенко, силясь поддержать несчастного.

— Доктора! Доктора скорее! — кричал Бурцев. — Грудь ему расстегнуть надо — вон кровь.

Дрожащими руками Пилипенко стал расстегивать раненого. Бурцев помогал ему. Несчастного положили на землю. Разорвали рубаху на груди. Рана краснелась справа, почти у подмышки, и из нее текла кровь. Бурцев зажал рану рукою, силясь остановить кровь. Пилипенко припал на колени, бледный, безмолвный, дрожащий. На груди у раненого, мускулистой, широкой, на черном гайтане блестел большой крест, такой именно, какие продаются в киевских пещерах.

Увидав этот крест, взглянув на грудь и на лицо раненого, Пилипенко ударился головой об землю и зарыдал, как женщина.

— Ой-ой-ой!.. О-о-о-о-о! Я убил своего сына!.. О-о! Сынку мий! Грицю!... О-о! Сына убил, проклятый! О-о! Грицю! Грицю!

Все были поражены. Никто ничего не понимал. Собака, подняв морду к небу, жалобно выла.

— Тату, тату, — простонал раненый, — вы не вбили мене... я... я не вмер ще...

VI

Раненый не умер. Атлетическое здоровье пленного и задержание крови сделало то, что когда доктор, осмотрев и перевязав рану, заставил больного выпить стакан вина для возбуждения жизненности в теле, француз-хохол окончательно пришел в сознание и действительно признал в Пилипенке своего отца, равно как и Пилипенко вновь убедился, что это его любимый сын, Грицько Пилипенко, которого он так усердно, ночью, во время нападения на французский обоз, саданул пикою, что чуть не отправил на тот свет.

Но как Грицько, сын Пилипенка, попал в ряды французов и шел на Россию в числе «двудесяти язык»?

Удивительна историческая судьба украинца! То он, как плоть от плоти и кость от кости тех славян-полян, которые «имели стыдение к снохам», в то время когда другие славяне его не имели, возжигает в Киеве первый светоч человеческого развития и пересаживает на киевскую почву и новое учение веры, и старую культуру классической Греции, изображая из себя зерно, из которого выросло великое дерево русской земли; то он, попранный и поверженный Батыем, много веков бродит по развалинам своей милой Украины, в то время, когда, прикрытая басмою и ханским ярлыком, «собиралась» воедино московско-русская земля, — и на этих развалинах милой Украины снова созидает то, что было разрушено, — и мало того, что созидает разрушенное, а зажигает новый светоч жизни в то время, когда в «собираемой» московско-русской земле царил еще мрак, росли одни сорные травы знания и развития, пока украинец и в эту тьму не внес светоч новой жизни вместе с такими светлыми личностями, как Димитрий Ростовский-Туптало, Симеон Полоцкий-Ситианович, Епифаний Славинецкий; то опять он, этот украинец, после Батыева погрома подпадает под батыевщину насильственного окатоличения своими якобы союзниками, а в сущности панами-поляками; то, почувствовав эту новую батыевщину, он борется с панами и в то же время окуривает мушкетным дымом стены того города, откуда его предки, поляне, вынесли и свет нового учения, и культуру классической Греции; то он, доведенный до отчаяния панами, протягивает руку своему брату великоруссу, «собравшему» свою землю и окрепшему, и отбивается от панов; но его снова отдают панам, разорвав надвое, как ризу нешвенную, его дорогую Украину — и Пилипенка-отца берут в рекруты в московское войско и он честно сражается в течение двадцати пяти лет под русскими знаменами за сво-

боду и славу России, а Пилипенка-сына, Грицька, вместе с семейством и другими детьми Пилипенка-отца, в отсутствие этого последнего, пан Потоцкий из русских своих имений переселяет в подольские и берет его вместе с другими своими хлопами в польский легион, предназначенный служить Наполеону в его мировых завоеваниях и в воображаемом восстановлении старой Польши...

И вот с той поры пошел бродить по свету Грицько Пилипенко, молодой красивый украинец: и в Сирии-то он дрался бок о бок с старою гвардиею Наполеона, и на египетские пирамиды дивовался, вспоминая свою Украину, и в Испании-то воевал он, и в Париже-то, на площади, вместе с старою гвардиею и польскими, т. е. украинскими, уланами кричал во все украинское горло — «vive l'empereur!» Грицько и кричать по-французски научился, и ругаться, и песни петь, и говорить... И вот теперь, вместе с двудесятью языками, Грицька, Стецька и тысячи Грицьков и Стецьков повели на покорение России и затем якобы, чтобы восстановить Грицькову «ойчизну — матку Польску»... Бедные, глупые Грицьки и Стецьки!..

Но Грицько натыкается на отцовскую пику... «Сынку, сынку!» — плачет над ним старый Пилипенко, и даже об Жучке не вспомнит, которая вон в стороне присела на задние лапки и глядит такой жалкой сироточкой.

Да, удивительное было время и удивительна судьба Украины! Не менее удивительна судьба и Польши...

Если чья память должна быть священна для поляков, так это память императора Александра Первого. Целая армия польская сопровождала Наполеона в его мировых походах, а равно и в страшном походе двенадцатого года. А из кого состояла эта армия? Из украинцев, из Грицьков и Стецьков, взятых из имений польских панов, из имений, находившихся в России! Даже такая истая полька, как панна Тизенгауз, которая представлялась в Вильне Наполеону с фрейлинским шифром, говоря в своих «Записках» о польских панах, служивших в рядах наполеоновских войск, между прочим о Владимире Потоцком, о князе Доминике Радзивилле, полк которого первый вошел в Вильну, когда русские отступили и сожгли Зеленый мост, и о графе Паце, дававшем Наполеону и его маршалам роскошный до сумасбродства бал в то время, когда на улицах Вильны уже умирали с голоду, делает такое исторически верное замечание к концу своей тирады: «Владимир Потоцкий в родовых своих имениях в Подолии набрал целый полк людей, вооружил их на свой счет и присоединил к польской армии, служившей тогда во Франции. Глава этого

богатого рода, князь Доминик Радзивилл, поступил точно так же, как Потоцкий. Мой двоюродный брат, граф Пац, и еще несколько богачей из литовцев много лет уже находились на французской службе, сражались против русских, пользуясь своими доходами и не опасаясь, что их имения подвергнутся секвестру или конфискации. Таким образом мой двоюродный брат собрал миллион и поместил его на хранение в Америку. Вот как велись дела в благодушное царствование императора Александра Первого, Александра Благословенного!»

Так вот какими путями попал Грицько в Сирию, под пирамиды, в Испанию и, наконец, к родному отцу на пику.

От взятых в ночное нападение пленных французов узнали, что тою частью французской армии, к которой всего ближе находились русские полки — уланский Литовский, гусарский Мариупольский и драгунский Новороссийский, — командовали Мюрат, новоиспеченный Наполеоном король неаполитанский, и Иосиф Понятовский, «Баярд польской армии», как называли его поляки. В захваченных Давыдовым и Бурцевым фурах находились галеты, литовское сало, пшеничные сухари и большие запасы сахару и кофе. По снятии допросов, пленных, между которыми было два итальянца в белых накидках, одиннадцать французов и три поляка, тотчас же отправили внутрь России, а Грицька оставили в обозе до выздоровления, тем более что отец в ногах валялся у эскадронного, чтоб оставили при полку его сына. Это обстоятельство послужило для солдат источником многих удовольствий. Им чрезвычайно нравилось, что у них завелся «свой француз», и для них даже дядя Пилипенко стал чем-то вроде француза. Бывало часто, убирая лошадей или ведя их на водопой, солдатики фамильярно заговаривали с старым Пилипенком: «Ну, дядя, давай маленько покалякаем по-собачьи». И начнут бывало: «Саламала, ката-лафа, стрень-брень, чигирики-чок-чигири! — айда!» Смеху-то сколько, веселья! Чистые дети...

Дурову же это обстоятельство поразило необыкновенно. Она видела в этом непостижимую руку провидения. Ей казалось, что все они — и русские, и французы, и поляки — в каком-то ослеплении, неведомо кем руководимые, все идут против своих же братьев, отцов, сыновей, но только в слепом порыве безумия не узнают друг дружку. Ей представлялось даже, что во время ночного нападения и она разрубила череп своему младшему, любимому брату. А за что? Что он ей сделал? С этой ночи она возненавидела партизанское дело и даже как бы склонилась на сторону своего эскадронного командира, ученого немца, который утверждал, что партизан-

ская война нарушает законы войны, установленные наукою. К старому Пилипенке она с этих пор привязалась еще больше и часто навещала его больного сына, который медленно поправлялся.

Между тем она не могла не сознавать, что общее положение дел становится невыносимо тяжелым. Чувствовалось это как-то невольно, и чем дальше, тем мрачнее казалось будущее. Дни шли за днями, войска все двигались и двигались по какому-то неведомому ни для кого плану, ни офицеры не знали, что все это значит и к чему идут дела, ни солдаты, очень чуткие перед решительными моментами, не постигали своим чутким инстинктом сути того, что всех занимало. Одно понятно было всем, что кто-то другой хозяйничает в стране, только не русские; это поняли и солдаты, и не солдаты. Каким-то чутьем население края, по которому уходили, — что «уходили», это как будто в воздухе чуялось, — по которому уходили войска, давно угадало истину, ту страшную истину, что оно кем-то покинуто, и страна покинута, несмотря на то, что там, назади русской силы, двигалось, как говорили все, видимо-невидимо. Да, покинуто — это сознание носилось в воздухе... И вот вследствие этого население этих местностей, от Двины, Дриссы и Березины вплоть до Смоленска, покидало все, что имело и не могло взять с собой, и уходило куда-то дальше, к Смоленску, к Пскову, к Москве, или пряталось где-то, словно в землю уходило.

Особенно болезненно отозвалось в сердце Дуровой это сознание, когда полк их, вместе с другими полками отступая от Двины по направлению к Полоцку и Смоленску, проходил мимо того имения Кульнева, где Дурова четыре года назад часто гащивала и где, к несчастию, возбудила страстную любовь к себе молоденькой дочери этого помещика. Главные русские силы двигались несколько левее Кульневки, растянувшись на сотни верст от Динабурга до Могилева, с тайным, по-видимому, опасением, чтобы страшный неприятель не избрал для своего победного шествия северный путь — к Петербургу: этого именно хода — хода ферзью — особенно боялись, когда вместе с неопределенным страхом в воздухе носился слух, что Россия кем-то «продана» — и чем неопределеннее был этот слух, тем более страшным казался он. «Россия продана», «войска проданы» — кем? как? Этого никто не знал, а все знали, что для России настала гибель... Указывали даже имена продавцов-изменников, и в том числе Сперанского.

Полк Дуровой — уланский Литовский — проходил именно недалеко от Кульневки. Она узнала эту местность, вспом-

нила, что тут недалеко эта Кульневка, где жилось так привольно, где каждое после-обеда сам круглотелый добряк Кульнев закатывался спать часа на два, а крестьяне его для удовольствия барина «делали дождик» по наряду, выливая сотни ведер воды на крышу, которая от этого скоро загнивала и часто перекрывалась; где рыжий семинарист Талантов, учитель Мити Кульнева, корчивший из себя Сперанского, учил скворца петь божественные песни; где, одним словом, люди жили в свое удовольствие, словно в раю, как жили Адам и Ева до грехопадения, не ведая ни горечи, ни сладости «труда в поте лица», ни неизбежности смерти. Дуровой, после пережитых ею нескольких месяцев ада, ужасно захотелось заглянуть в этот маленький эдем, украшенный тополями и цветами, успокоить глаз на добрых, приветливых лицах, увидеть живых людей не на конях, не в палатках, не на сене, не на биваке, а в доме, на креслах, без этих сабель и пик, вдали от этой бряцкотни стремян и удил, от этого громыханья зарядных ящиков, вне гула криков — «стой-равняйся!», «заходи справа!», «смирно!», «куда лезешь, черт!», «эх, щец бы теперь!» и тому подобных, натерших душу до мозолей восклицаний. Да, она чувствовала, что у нее мозоли на душе, ссадины на сердце...

Отделившись от своего эскадрона, она поскакала по знакомой дорожке в гору, к кульневской роще, где у нее произошло роковое объяснение с бедненькой Надей Кульневой. Когда она выехала на пригорок, эдем открылся перед нею во всей красе. Яркое утреннее солнце золотою пеленою легло на крышу барской усадьбы. Видно было, что крыша — с иголочки, что называется, перекрыта заново и не дальше как, вероятно, этой весной. Зелень красивых тополей казалась особенно яркою.

Алкид, увидав знакомые места, тоже прибавил ходу. И у него в памяти сидел свой эдем — вот та просторная барская конюшие, где и овса, и ароматного сена вдоволь и где, в холодку, ни мухи, ни овода не жалят, как они, проклятые, жалят на походе, под жарким солнцем, да у коновязей на стоянках. Но Дурову сразу удивило нечто особенное в воздухе: тишина, отсутствие собачьего лая и какая-то мертвая пустота на поселке. Ее удивило и то, что барская усадьба стояла с закрытыми ставнями — и на дворе ни души: ни конюхов, ни собак, ни казачков, ни домашнего козла. Она въехала на двор, сама отворив высокую решетчатую калитку, и сошла с Алкида. Умный конь, с удивлением оглядываясь по сторонам, как бы не веря своим глазам, сам направился к

конюшне. Дурова вступила на крыльцо, звякнула шпорами и вздрогнула от этого единственного звука в мертвой тишине, которая охватила ее. Она остановилась: у дверей висел замок.

Болью сжалось ее сердце, слезы подступили к горлу. Из-под крыльца вылезла кошка и жалобно замяукала. «Так вот до чего довели они», — застонало у нее на сердце; но кто были эти «они», она едва ли могла бы сказать, хотя душой чувствовала их вину, как в ту ночь, когда она в первый раз увидала зарево пожаров. Постояв на крыльце, она машинально спустилась с него, невольно прислушиваясь к бряцанью своих шпор, и снова остановилась. У крыльца еще видны были следы лошадиных копыт, вдавленные в землю колесами колейки; но все это было как бы присыпано пылью, постарело, но постарело так, как стареет свежая рана, еще недавно и непрочно затянувшаяся. На галерее стояли все те же кадки и горшки с цветами; но видно, что их давно не поливали, и некоторые из них стали уже как-то съеживаться и засыхать; зато у крыльца, из-под самых почти ступенек пробивался молодой бурьян, который не боялся, что его вырвут и бросят за ворота. У крыльца же валялась разорванная картонка и перерванный надвое листок нот с уцелевшими на них словами романса:

Играй, Адель,
Не знай печали,
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.

«Странная игра рифмой, — подумала Дурова, — игра... целым миром и жизнью кто-то, как негодными рифмами, играет...»

Она обогнула дом, чтобы пойти к конюшням за Алкидом, и увидела, что Алкид стоит у запертой конюшни и тоже как будто предается печальным размышлениям. Завидев свою госпожу, он заржал тихо, каким-то скучающим голосом. Проходя мимо людской, девушка заметила, что из окна кто-то глядит на нее и крестится. Она подошла к окну. Нижняя шибка его поднялась, и оттуда выглянуло старое, радостно старчески улыбающееся лицо Захарыча, повара ветхого, того самого, которого четыре года назад в присутствии гостей Кульнев велел было окатить горячим супом из-за попавшего в него, по вине маленького барчонка, таракана.

— Батюшка-барин! Смоленская Богородица! Какими судьбами! — заговорил, едва не плача, старик.

— А разве узнал меня? — спросила Дурова, чувствуя что-то необъяснимое, как будто бы в могильном склепе она нашла одно живое существо.

— Как не узнать, батюшка! И там, — он указал на небо, — перед самим Господом, признаю вас... Вы вить, награди вас Бог, от кастрюли-то кипучей мою седую голову отвели тады...

Девушка стала расспрашивать, где господа, когда и куда уехали, что с ними было тут и кто в имении остался. Оказалось, что во всем имении и усадьбе остался он один, этот одинокий старик.

— Господа в Смоленской уехали, забрали с собой все, что под силу было поднять: и кареты, и коляски все, и лошадей, и у мужиков, почитай, все подводы с господским-то добром угнали...

— А давно?

— Да другая неделя, кажись, на исходе будет, как уехали.

— А в поселке что? И там никого нет?

— Никого, батюшка... Что мужики-то были, так с подводами в Смоленской угнали, а бабы да ребятишки с коровенками да собаками в лес ушли — хоронятся... А как тут от Господа хорониться? Господь все видит: видел, чу, Господь, как попущал, чтобы лихие люди русскую землю продали... как же от Господа-то схоронишься?

И тут говорят, что Россию «продали» — страшный глагол, облетевший всю потрясенную *им* страну! Общий слух, общая народная вера, что только проданная Россия не отстоит себя от целого мира...

— А как же ты-то остался тут один, дедушка? Или господа велели остаться?

— Нету, батюшка-барин, сам попросился у господ оставить меня тут — добро чтобы господское поприглядеть, коли Господь *ево*-то нашлет на нас за грехи наши... Да и то сказать правду вашей милости: хочу умереть здесь, на родной стороне, чтобы кости мои старые тута лежали — не ныли бы до страшного суда...

В это время над головой Дуровой что-то запело, но каким-то странным птичьим голоском, точно бы и не по-птичьи. Девушка подняла голову и увидела, что это над крышей, на старой скворешне сидит скворец и силится пропеть что-то, но все у него не совсем выходит это «что-то».

— Да вот и скворушка, — продолжал старик, выйдя из избы и еще кланяясь Дуровой, — вон и скворушка, мала пташка, неразумная, а не хотела вон оставаться на чужой сто-

роне... Барчонок увез его в Смоленской в клетке, а вон намедни он и прилетел опять сюда — как и дорогу-то нашел, Господи! А все домой, значит, и его, малую пташку, тянуло...

Скворец продолжал усердствовать — вывести что-то насвистанное ему, но еще не усвоенное вполне, — и не мог: все выходило не то.

«Не доучился, бедненький», — как-то грустно улыбнулась в душе девушка, глядя, как глупая птичка вытягивала шейку, раскрывала и закрывала ротик, стараясь голосом подражать господину Талантову и Мите, — и не могла.

— А как же вы, батюшка-барин, сюда попали теперь? — спросил Захарыч.

— Да наш полк тут недалеко проходит — я и заехал справиться, узнать о здоровье... да вот... никого и не нашел уж кроме тебя...

Она остановилась, не зная, что говорить: тяжело ей было.

— Так-так... А что же *он*-то... проклятый? — Старик сказал это тихо, оглядываясь, как бы опасаясь, чтоб *он* не услыхал. — Значит, вы идете с *им* стражаться, с самим?

Девушке и стыдно, и досадно стало. В своей земле человек боится громко говорить о *нем*, о чужом. Ей и за себя как бы лично стало стыдно.

— Может, и будем сражаться, — сказала она нерешительно, не смея взглянуть в глаза старику... «Вот до чего довели», — думалось ей снова, а кто довел, как — это было и для нее так же темно, как для Захарыча.

— Так-так-так... будете... помоги-то вам Бог.

В глазах старика светилось что-то такое, чего девушка не могла долее выносить.

— Помоги, помоги вам Бог... а уж мы думали — на вот, ишь ты — то-то бы, кажись... ан вот оно! А то на поди! Что сказали — продали... экое слово, Господи! Поди ж ты... ан вон еще есть люди... Продана матушка! Продана! — ан нет!

И старик, пискливо взвизгнув и замотав головою, заплакал как ребенок.

Девушка, вскочив на коня, без оглядки поспешила из этого места, где ей было и тяжело, и стыдно. Барская усадьба казалась ей гробом, а высокие, красивые тополя — это были печальные кипарисы, росшие на кладбище. Проезжая мимо рощи, она увидела, как какой-то мужичонко, с вилами на плечах, показался было из лесу, но, заметив всадника, юркнул в чащу словно испуганный заяц.

Взъехав на пригорок, она оглянулась на усадьбу. Видно было, что в воротах стоит Захарыч и что-то делает рукою.

Это старик в лице девушки крестил всех, от кого он ожидал спасения своей земле.

Девушка пришпорила Алкида и понеслась что было мочи. Вдали, над большой дорогой, стояло облако пыли, и из-за этой пыли блестели, переливаясь на солнце, серебряные иглы — то были штыки. Вскоре Дурова сама вступила в это пыльное облако. Шли пехотинцы, Бутырский полк. Лица солдат по обыкновению смотрели детски наивно, несмотря на усталость. Впереди шли песельники и залихватски, с выкрикиваньями, выгаркиваньями и высвистами, высоко-высоко выносили своими привычными к работе голосами что-то очень веселое. В то время, когда один худой, высокий и черный солдат как-то свирепо, по-лошадиному, ржал здоровою глоткою, другой, курносенький солдат, закинув вверх голову, самым высоким бабьим голосом отхватывал:

Эх, Маланья, эх, Маланья, отворяй-ка ворота!

А впереди песельников, оборотясь к ним лицом, красным, потным и запыленным, завернув полы шинели за пояс и присев на корточки, вприсядку шел на каблуках плясун, выделывая ногами и всем телом, кроме лица, — лицо было серьезно, — выделывая такие штуки, «что и черт его знает», как говорили солдаты.

Курносенького солдата с его «Маланьей» в свою очередь подхватывал и выносил в гору весь хор, дружно выкрикивая:

Я бы рада отворить — буйный ветер в лицо бьет!..

— Ты думаешь, Алексаша, им в самом деле весело, что вот поют-то и пляшут? Это нарочно, они врут — они два дни не ели, посмотри на них... Это колбаса приказал петь и плясать — чтоб люди-де веселыми и довольными смотрели. Продали нас!.. Вот я и запил опять — не стоит!

Это говорил Бурцев, шатаясь на седле и наклоняясь к Дуровой. Он был пьян. И его смутило страшное слово, облетевшее всю Россию.

VII

Всю весну и почти все лето русские войска, то быстро, не отдыхая ни дни, ни ночи, не кормя ни солдат, ни лошадей, точно гонимые по пятам невидимым врагом, то медленно и неправильно, как стада, потерявшие пастуха и собак и сегодня переходившие на то место, которое вчера ими же было вы-

травлено, а завтра топтавшиеся попусту на старом, еще более вытоптанном поле, по какому-то никому неведомому плану и неизвестно для чего, двигались от западных границ вглубь страны, ни неприятелю не предлагая генерального сражения, ни от неприятеля не принимая его и ограничиваясь отдельными, явно малоценными и ненужными, эпизодическими стычками, результатами которых были или несколько сот и тысяч наших трупов, бесполезно брошенных под копыта французских драгун, или несколько сот пленных французов, которых и отсылали еще дальше вглубь страны для прокормления, как живое доказательство того, что французы давно уже в России и, кажется, еще долго намерены в ней остаться. В Петербурге не знали, чем объяснить подобные действия главнокомандующих, и государь был глубоко озабочен и опечален таким положением дел, а Москва и вся остальная Россия стоном стонали о какой-то измене, о продаже страны и войска Наполеону, о конечной гибели России, которой ничего более не оставалось как выставлять рекрут за рекрутами, щипать корпию для раненых, плакать и молиться.

На дворе уже август, а войска наши, гонимые Наполеоном, готовы уже были и Смоленск оставить за собою, махнув и на него рукою, как они, казалось, махнули давно и на Литву, и на всю западную половину России, — и идти все глубже и глубже, до Москвы и за Москву, до Уральского хребта и за хребет, в Сибирь, в самую глубь Азии. Неудивительно, что в это тяжелое время государь мог сказать те знаменательные слова, что он «уйдет с своим народом в глубь азиатских степей, отрастит бороду и будет питаться картофелем», а не покорится воле Наполеона, — слова, которые служили выражением чувств, воодушевлявших всю глубоко потрясенную событиями Россию.

Но случилось, однако, так, что под Смоленском нельзя было не дать битвы...

— Эй ты, леший! Али все ведро вылакать хошь, черт, пра — черт!

— Что лаешься — который!

— Что!.. Другой ковш лопаешь — вот что!

— На, свинья!.. Который...

Это перекорялись между собой два улана, которые еще в начале кампании повздорили из-за луковицы и кирпичика, а теперь ссорились из-за квасу. Теперь они, во фронте, стоят под стенами Смоленска, недалеко от кирпичных сараев, с утра ждут дальнейших приказаний к предстоящей битве, а вдоль фронта ходят с ведром квасу баба в огромной головной по-

вязке и девочка лет десяти-одиннадцати. День жаркий, и сердобольная баба поит квасом «соколиков», отчасти по влечению собственного, мягкого, как ее полное тело, сердца, частью же по воспоминанию о том, что и ее «соколик» ушел тоже на войну и нету об нем никакой весточки.

— То-то, который! — перекорялись уланы.

— Кушайте на здоровье, соколики, — еще принесу, — успокаивала их баба, поднося упарившимся воинам ковш за ковшом и после каждого ковша кланяясь в пояс, так что при этом концы головного платка ее касались уланских стремян, а сзади короткая панева обнаруживала толстые красные икры.

— Эй, тетка! А нам-то что ж останется!

— Нам, тетенька, бедным пехотинцам! А то они, кобылятники, все слопают...

Это кричали с противоположной стороны солдаты Бутырского полка, который стоял обок с уланами, одним крылом упираясь в городскую стену, у ее изгиба.

— Им что, жеребцам, на четырех-то ногах, да на чужих, а каково нам-то на двух на своих отломать экую путину, — жаловались пехотинцы, естественно, завидуя счастливцам-кавалеристам.

— Мы что! Мы и тут в черном теле — и тетке-то веселее коло жеребцов, — говорил бутырец, плясавший когда-то на дороге впереди своего полка.

Баба слышала это и была задета за живое. Она вся покраснела и заметалась.

— Сичас-сичас, соколики, и к вам, — заторопилась она, суя ковш в руку девочки, — подноси ты, Кулюша, здесь из этого ведра, а я побегу туда.

И передав ковш девочке, баба с другим ведром и ковшом метнулась к бутырцам. Беловолосая и босоногая Кулюша, восторженно краснея, зачерпывала ковшом из ведра, вытягивалась на цыпочки, чтобы подать ковш следующему улану, и, подражая матери, кланялась в пояс, тоже обнаруживая худенькие икорки почти до самых колен.

— Спасибо, спасибо... Ай да девка! Замуж возьму — только молись, чтоб пуля в рот попала, а не в лоб — тады проглочу...

Вдруг что-то глухо грохнуло вдали, а потом как бы ударилось в городскую стену. Некоторые лошади и уланы вздрогнули, иные перекрестились.

В одно мгновение вдоль фронта поскакали офицеры — и молодые, и старые, толстые и тоненькие — откуда и взялись они!

— Смирно! Стр-р-р-ройся-я-я! — послышались резкие, с протяжением, командные слова.

То же повторилось и около пехотинцев. Грохнуло в тот самый момент, когда плясун-бутырец, с наслаждением вытянув полковша квасу, так что на щеках и на висках показались даже красные пятна от усилия, а в глазах слезы от ядрености квасу, собирался допить живительную влагу...

— Эх! И тут-то нам, пешим, заколодило, — заговорил было он...

— Давай, давай-ка мне, черт! — отнимал у него ковш сосед, курносый певец с бабьим голосом.

— Смир-р-рно! Стр-ройся-я-я! — раздалось и вдоль пехотного строя.

— Эй! Молодуха, молодуха! Уходи скорей отсюда — видишь, не до тебя теперь, — говорил бабе какой-то офицер, махая на нее рукой, чтобы шла вон.

Баба заторопилась, побежала было к уланам, наткнулась на скачущих офицеров, снова метнулась в сторону, бормоча в испуге: «Ай, Господи! Ай, Матушка Смоленска! Ай, светы мои!.. Кулюша! Акулька! Акулька!» — закончила она отчаянным голосом и исчезла.

Это начинался смоленский бой — первый крупный бой двенадцатого года, всецело потерянный русскими.

Вдали, по неровному полю с небольшими перелесками, то там, то в другом месте двигались какие-то кучки, продолговатые большею частью, то в виде изогнутых линий, так что простым глазом с трудом можно было различить, и то по догадке, что это были люди, а не просто темные пятнышки. Но те кучки, которые были ближе и которых было меньше, ясно изобличали, что это были войска, и между ними можно было отличать уже пехоту от кавалерии. Когда в первый раз грохнуло оттуда, то видно было явственно, как там, вдали, на одном пригорке, расстилался и медленно таял в воздухе белый шар, словно из взбитой ваты, и пока он еще не совсем растаял, то там же, рядом с этим тающим шаром, вздулся новый белый, как из ваты, шар, и снова грохнуло, а через несколько секунд эхо отгрохнуло от города, от стен, отгрохнуло, куда-то покатилось и как будто рассыпалось в разных местах. Затем белые шары стали вскакивать и на других возвышениях — и грохотать начало уже чаще и чаще, почти без перерыва. И воздух и земля, казалось, вздрагивали. Отсюда, от Смоленска, с русских батарей, тоже началось грохотанье, но не такое, как там, а более определенное, резкое, более как бы раздражительное. Что делалось там — этого отсюда не видно было,

а что делалось тут, у Смоленска, а особенно у кирпичных сараев — это было видно, и это видимое не казалось как будто особенно страшным со стороны: упадет что-то, неизвестно откуда, не то круглое, не то длинное, сыпнет не то землею, не то огнем — и несколько человек упадет на землю то там, то здесь, а другие люди стоят тут же и сдвигаются теснее, как будто бы им холодно под жарким летним солнцем, а какие-то третьи люди откуда-то подбегают к упавшим, поднимают их, торопливо кладут на что-то и куда-то уносят... А тут одни снова падают, другие теснее смыкаются, а третьи уносят упавших... и опять падают, и опять их уносит, и опять грохот и гул с той и другой стороны...

Ближайшие кучки, что виднелись *там*, становились все больше и больше, и ясно было, что они идут *сюда*: сплошные кучки превращались, уже совсем явственно, в людей, одетых во что-то синее и темное, над которыми развевались какие-то полотна, и темные, и золотистые. Начался какой-то свист и щелканье — словно тысячи бутылок откупоривали где-то *там* и двигавшиеся синие ряды покрылись дымом, а ряды, что стояли *тут*, у городских стен, как-то разом дрогнули, потеряли ту правильность линий, какую представляли до сих пор, потому что в этих стройных рядах сотни и тысячи рук разом, мгновенно, изменили свое прежнее правильное положение: одна схватилась за сердце, другая вытянулась вперед, иная закинулась кверху, схватилась за голову — и вместе с телом падали на землю впереди рядов или заваливались назад. Теперь на земле валялись, корчились и стонали, а то и тихо, неподвижно лежали уже не десятки, а сотни и, может, тысячи, так что те, которые прежде подбегали и поднимали падавших, уже не успевали этого делать... А лопанье ружей, свист и шлепанье *оттуда* пуль продолжалось с ужасающим возрастанием, и ему отвечало то же резкое, почти непрерывное лопотанье *отсюда*... Потом эти, что стояли у стен города, наши, страшно закричали разом, ряды их перегнулись вперед и с ружьями наперевес, штыком вперед, бросились туда, на синие ряды — и смешались с ними... Потом эти, наши, побежали назад, но уже не рядами, а беспорядочною кучею и в одиночку, кто кого перегонит, а те погнались за ними и били того, кого догоняли... Когда наши ряды воротились на прежнее место, к городу, то их уже убыло чуть ли не на половину...

Так, по крайней мере, казалось это бабе, которая недавно поила солдат своим свежим ядреным квасом. Она, отыскав свою Акульку, прошмыгнула в городские ворота, попотчевав кваском и сторожа, который и позволил ей пробраться по

лесенке на городскую стену и укрыться за каменным выступом, откуда все, что делалось под стенами, вблизи города, и далеко в поле, видно было как на ладонке.

Когда воротились сюда эти, пешие, которых она только начала было поить квасом, да помешали офицеры, тогда другие, что были на конях, те, которых и она и Акулька поили квасом, тоже громко закричали и поскакали на тех, дальних, синих; поскакали и из других мест тоже, должно быть, наши... Ну теперь — думалось бабе — наши прогонят их. Но в то время, когда они почти подскакали уже к синим, синие разом порасступались в разные стороны — «испужались, должно», — а из них, в прогалинах-то, разом как громыхнет чем-то — раз, да в другой, да в третий, да как сыпануло что-то, как прыснуло по рядам скакавших, шаркнуло словно веником, — так наши вместе с другими, тоже, надо полагать, нашими, что скакали на синих, — так окарачь, кажись, и стали, шарахнулись назад, врассыпную, а иные с коней долой, а то и с конями так и уложили землю — пластом полегли... Не выгорело и тут, значит... А те, идолы, синие-то, да с ними другие, в белых разлетайчиках, да еще другие с красными да желтыми грудями, да с перьями на головах словно удоды да потатуйки — так вот и прут, все ближе да ближе, да с их же стороны все больше и больше громыхает да стучит, да дымит, да посыпает чем-то, словно черным горохом, и со всех-то сторон валит да лопочет... А наши-то соколики опять кучатся, равняются, а там новые подходят — видимо-невидимо наших, — и те, что квас пили, и совсем новые... Ну, теперь, думает баба, набрались силы — Боже, помоги! — осадят синих дьяволов...

И баба крестится...

— Глянь-кось, глянь-кось, мама! — испуганно шепчет Акулька.

— Что ты? Где?

— Вон, маминька, ох как страшно! — Девочка показывала назад, внутрь города.

Баба оглянулась, посмотрела вниз. Там, направо от ворот, под внутреннею городскою стеной, все лежали на земле солдаты, иные корчились и кричали, другие лежали смирно, а к ним нагибались другие люди, то с платками и тряпками в руках, то с какими-то не то ножами, не то пилами, и что-то с ними делали... Один сидит и качается из стороны в сторону словно маятник. Другой обхватил свою голову и, кажется, хочет сам раздавить ее да не может...

— Ох, мамынька! Пилит... руку пилит... ох!

Баба сама видит, что пилят руку у длинного... Да это тот, что она квасом поила — он-он, — только зубы сцепил... Раз-два, раз-два, шаркает пила по правой руке, выше локтя...

— Упала!.. Отвалилась рука, мамынька!

Упала. Длинный открыл глаза. Что-то говорит, показывает левой рукой на отрезанную руку. Ему подают ее... Он смотрит на нее, что-то шевелит губами, крестится левой рукой, целует отрезанную в самую ладонь — а она так и валится... упала... и левая упала... и голова завалилась назад...

— Простился, соколик, с рученькой... Не работница уж она ему.

Когда баба снова оглянулась туда, где все *это* делалось, она увидала что-то новое. Синие и красногрудые были уже недалеко от кирпичных сараев, а влево от нее скакали через поле, к лесу, наши — она узнала их, они прежде стояли почти у самых сараев, и еще меж ними она тогда, когда поила улана с седыми усами квасом, заметила одного молоденького-молоденького офицерика, совсем мальчика, и он еще тогда шутил с черненькой собачонкой, Жучкой ее называл, а она все прыгала перед его лошадью на задних лапках... Теперь все они скакали по полю, а за ними скакали, на лошадях же, синие — вот-вот догонят... И баба ахнула со страху! Тот-то молоденький, что с собачкой играл, отстал, должно быть, от своих, от наших, а синие так вот и настигают его, так и настигают да саблями машут... Вот-вот догонят! А он, бедненький, как оглянется, да свою саблю назад за спину закинул, пригнулся ниже и ниже к лошади — а те все ближе, ближе...

— Ох, родимый, убьют! — невольно вскрикнула баба.

Нет, не убили — ускакал.

Этот молоденький, за которого боялась баба, был Дурова. Вот что сама она говорит в изданных Пушкиным в 1836 году в «Современнике» записках своих об этом случае: «Удерживая коня, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона, но, слыша близко за собою скок лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться. Любопытство мое было вполне награждено: я увидела скачущих за мною на аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При сем виде, я хотя не прибавила скорости моего бега, но сама не знаю для чего закинула саблю за спину острием вверх».

Баба, впрочем, уверена была, что наши не пустят их, синих, в город. Да и как это можно? В городе и губернатор, и архиерей, и все начальство. А утром на базаре чиновник го-

ворил: вы, говорит, православные, не бойтесь — чтобы, говорит, беспорядку никакого не было. Коли ежели что, говорит, до чего, Боже сохрани, дойдет, так владыка архирей, говорит, велит самое Матушку Богородицу поднять и с нею, Матушкою, сам, говорит, на городскую стену выйдет, так тогда не токмо что они нам ничего поделать не смеют, а и своих не соберут...

Но вышло не то.

Целый день под городом шла ожесточенная борьба двух, по-видимому, неравномерных сил. Десятки раз русские ходили на неприятеля и кавалерийскими атаками, и со штыковой работой, но всякий раз должны были отступать с большим уроном. В городе не знали положения дел, потому что судьба битвы решалась на пространстве нескольких десятков квадратных верст вне города, да и сами командиры не могли бы с точностью уяснить, где то место, где рвется страшная нитка; но что нитка рвалась, они это знали; и в городе также чувствовалось, что что-то трещит, что нитка не выдерживает...

Баба-квасница давно уже сошла с городской стены, успела побывать дома, управиться с хозяйством, вышла потом на рынок с полными ведрами свежего ядреного квасу с укропцем и со льдом, в ожидании, что вот «соколики» будут проходить рынком после того, как прогонят «синих», что захотят они, «соколики», испить, и тогда она, как раз кстати, тут как тут.

Уже и вечерни отошли, а там все громыхают. И с колоколен смотрели звонари, а все ничего разобрать толком нельзя: «то бытта наши их погонят, да назад скорехонько, то бытта они на наших вдарят, а наши как примут их, так те и наутек».

А там, уже к вечеру, от городских ворот разом повалили солдаты, да не в ногу, а так, как попало, да запыленные такие, с потными почерневшими лицами — идут торопливо, один другого опережают, никто никого не слушает. Напрасно офицеры и верховые командиры, тоже запыленные, почерневшие, кричат хриплыми голосами: «не расходись, ребята!», «стройся, канальи!», «куда, дьяволы!» Солдаты, кучась и толкаясь, запрудили весь рынок. Иной наскоро подбежит к бабе, торопливо крестясь и не глядя бабе в лицо, выпьет залпом ковшик квасу, крякнет — и убегает с прочими, с трудом придерживая тяжелое ружье, которое, по-видимому, оттянуло ему руку. Другой издали хрипло кричит: «Ах, тетенька! Испить бы — всю душу спалило», — и также, как и тот, не глядя в лицо, выпивает ковш и убегает. Там калашники с калачами, крестясь набожно, суют бегущим в руки по калачику, а те, не глядя — иной тотчас же калачик в рот, а иной за пазуху, — и бегут дальше.

Немного погодя, показались конные вперемежку с зелеными ящиками на высоких колесах, а там и пушки. Солдаты громко кричат на лошадей, что везут пушки, а один солдат, сидя на пушке, переобувается, обматывая ногу тряпкой и вытряхивая что-то из сапога.

За пушками и зелеными ящиками ехали густыми рядами знакомые бабе уланы, а впереди них бежала тоже знакомая собачка. Узнала баба и того молоденького, что скакал через поле. Он ехал, не поднимая головы.

Это была Дурова. Смутно сознавая, что случилось что-то непоправимое, она видела уже наступление конца всему. Но это *все* представлялось ей в таких неуловимых формах, и в то же время таким страшным, что она постоянно спрашивала себя: «Что же это такое? Что же случилось? Неужели все кончено? Что же все? какое оно?..»

Эскадрон их проехал рыночную площадь и пошел далее на улицу к противоположному выезду из города. Вся улица вплоть до домов занята была скучившимися рядами улан, так что Дуровой приходилось держаться почти у самых заборов и стен домов. Проезжая мимо одного каменного двухэтажного дома, она услыхала какой-то стон наверху и подняла голову: на балконе этого дома стояла — Надя Кульнева! По щекам ее текли слезы... «Господи! Господи!» — громко стонала она. Когда Дурова взглянула не нее, девушка, всплеснув руками, страстно заговорила: «О! Благослови вас Бог... Спаси — о! спаси ее, Господи!» — и она порывисто несколько раз перекрестила девицу-кавалериста.

Дурова, бледная, усталая, убитая горем, чувствовала, как краска стыда залила все ее лицо до ушей и потом снова сбежала со щек.

Что-то пролетело, свистя в воздухе, и с треском упало за забором... Послышался детский крик и чьи-то слабые стоны...

На конце улицы из дверей аптеки показалась чья-то обвязанная платком голова на гусарском теле — мундир мариупольца. Из-под платка круглое красное лицо гусара смотрит совсем бабьим, мещанским. Обвязанная голова бросается к Дуровой, со стоном хватает ее за стремя и припадает лицом к колену девушки...

— Алексаша! Что ж это, милый мой!.. О, Господи! О-о, все пропало!.. Наш полк перебит до половины... и Денис — милый мой! Денисушка! Пропал — а мы отступаем, бежим, ох, о-о-о!

Это был раненый в голову Бурцев. Он плакал как баба, припав к седлу Дуровой.

VIII

Известие о битве под Смоленском и о потере русскими этого города произвело сильное, хотя не совсем одинаковое впечатление на Москву и Петербург и вызвало в той и другой столице сильную, хотя опять-таки не совсем одинаковую патриотическую сенсацию и деятельность. И в Москве, и в Петербурге патриотическое движение проявилось жаром благотворительности и порывом приносить жертвы: в Москве — по обыкновению тулупами, валенками, сапогами, рукавицами и шапками в пользу раненых, хотя стояло еще жаркое лето, затем калачами и молебнами с колокольным звоном, в Петербурге — всевозможными увеселениями в пользу убитых и их семейств, концертами, публичными гуляньями с базарами и изгнанием из гостиных французского языка, причем это последнее было особенно большою жертвою для петербургского света, ибо в нем те, которые были необыкновенно умны и образованы по-французски, нередко оказывались набитыми дураками и дурами по-русски.

Много шуму наделало в Петербурге публичное гулянье и базар, устроенные после смоленского дела княгинею Елизаветою Александровною Волконскою, урожденною княгинею Белосельскою. Местом для гулянья и базара княгиня выбрала самую модную в то время в Петербурге местность, именно — Елагин остров, и, как скинию его, аристократический пуэнт — для базара, которым она главным образом и распоряжалась, хорошо зная, что в базарном буфете каждая грошовая рюмка водки в ее очаровательной ручке и при помощи ее волшебной улыбки превратится в десятирублевую, по малой мере, а каждый трехкопеечный пирожок, предложенный этою ручкой и пленительным взглядом, тотчас вздорожает на сто, на тысячу процентов.

На счастье, и день для гулянья и базара выдался великолепный, настоящий петербургский, августовский: хотя дождь принимался в этот день идти раза три или четыре, но дорожки острова так хорошо были утрамбованы и так густо посыпаны красным песком, что по ним безопасно можно было ходить, не рискуя, кроме флюса, насморка и кашля, ничего другого схватить — ни горячки, ни воспаления легких; а самый базар и буфет были устроены в безопасном от дождя месте — под клеенчатым навесом, отороченным красною и черною каймами, эмблемами крови и траура; хотя, с другой стороны, ртуть в термометре стояла немного выше нуля, но воздух был такой прекрасный и чисто летний, что достаточно было драпового

пальто на вате, чтобы не озябнуть, а для людей зябких буфет предоставлялся в полное распоряжение, конечно, за приличное случаю базарное вознаграждение. Зато зелень — роскошь: тоже настоящая петербургская — чистая, яркая, блестящая, не тронутая ни пылью, ни засухой, влажная и холодная, как лоб мертвеца.

Толпы гуляющих представляют несколько рядов живых стен, которые двигаются и извиваются по извилистым дорожкам, словно те черви-дождевики, которых так много на прекрасных елагинских дорожках, но которые в этот день все раздавлены мужскими сапогами и женскими ботинками гуляющих. Чего недостает между гуляющими и что особенно бросается в глаза — это отсутствие военных мундиров, которые так редки теперь в этой пестро-темной толпе гуляющих, словно летние цветы среди осеннего поля. Все эти живые стены направляются то к крытому, на самом тычке пуэнта, павильону, где происходит базар, то от павильона по расходящимся дорожкам, обставленным по сторонам полицейскими и жандармскими солдатами на гладких, гладко вычищенных и умно, иногда, кажется, умнее седока, глядящих на публику лошадях.

Гуляющие не все решаются прямо подходить к прилавкам с винами, закусками и безделушками, потому что за прилавками стоят и приветливо смотрят на толпу такие избранные красавицы Петербурга, как княгиня Волконская, центр и солнце базара, княжна Полина Щербатова, та, которая пять лет назад на этом самом пуэнте маленькой девочкой резвилась с Лизой Сперанской, Соней Вейкардт, Сашей Вельтманом, Вильгельмушкой Кюхельбекером и Сашей Пушкиным, неугомонным арапчонком, постоянно декламировавшим «стрекочущу кузнецу». За прилавком же стояли красавица-княгиня Салтыкова, урожденная княжна Долгорукая, петербургская или, скоре, «елагинская Калипсо», как ее называли; княгиня Долгорукая, урожденная княжна Гагарина, бледненькая, грациозная княжна Лопухина и роскошная красавица Нарышкина.

Одним из первых к буфету княгини Волконской подошел Тургенев, почти силой таща под руку Карамзина. Тургенев смотрел почти таким же молодым весельчаком, каким он был на этом же самом пуэнте пять лет назад, только немножко разве пополнел; зато почтенный историограф казался лет на пятнадцать старше против того, каким мы его видели тут же на пуэнте пять лет раньше: лицо его сделалось еще бледнее и желтее, а добрые глаза смотрели усталыми и часто щурились, лоб обнажился больше и характерный на нем хохолок как-то отодвинулся назад и полинял — линялостью седины.

— Что вам угодно будет выпить и скушать, почтеннейший Николай Михайлович? — с глубокой вежливостью, как по-заученному, спросила княгиня, обращаясь к Карамзину.

Историк медлил ответом. Ему, собственно, ничего не угодно было ни выпить, ни скушать.

— Николаю Михайловичу, княгиня, надо будет предложить что-нибудь пикантное, историческое, немножко архивное, — отвечал за него Тургенев. — Нет ли у вас в буфете, прелестная княгиня, старой, очень старой наливки, которую приготовляла еще сама Марфа-посадница? А если нет у вас исторических пирожков, приготовленных по «Домострою» Сильвестра, то не найдется ли хоть один из завалящих пирожков, которые, кушала «бедная Лиза»?

Княгиня весело засмеялась, показав ряд белых, маленьких и чистых, как у мышки, зубов.

— Вы все шутите, Александр Иванович, — добродушно улыбнулся историограф.

— Mais... mais — pardon... — Княгиня вспомнила, что теперь не принято говорить по-французски — не патриотично это, а по-русски, «на этом милом, простом, родном русском языке она говорить немножко затруднялась», но она скоро нашлась — сумела перевести французскую мысль на русский язык. — Но... но, согласитесь, — подбирала киягиня слова, перебирая пальчиками, словно отвечая русский leçon, — согласитесь, Александр Иванович шутит так... так... так грасиозно! — нашлась она наконец. — Что же вам угодно будет выпить и скушать, почтеннейший Николай Михайлович? — спросила она опять по-заученному.

— Я попрошу у вас, княгиня, рюмку лафиту, — снова улыбнулся историограф.

— Рюмку... рюмку лафит? — с грасиозным удивлением спросила красавица.

— Да, только рюмку-с, — подтвердил Карамзин.

— Наш историограф охотно выкушал бы и полный турий рог, если бы в вашем буфете, княгиня, находился этот исторический бокал, — продолжал шутить Тургенев.

— О, Александр Иванович! Vous... pardon... вы... вы — костик! — такого слова русский язык не имеет, — торжественно сказала княгиня и налила Карамзину рюмку лафиту.

Карамзин выпил и положил на блюдо червонец, с своей стороны княгиня подарила историографа рублем — очаровательным взглядом.

— А вам что угодно будет выпить и скушать? — подарила она тем же рублем с тою же заученною фразою Тургенева.

— Я бы, княгиня, выпил очищенной — самый патриотический напиток теперь, но не хочу приносить доход Злобину — он и без того на откупах вышел в Крезы... Английскую *горькую*, — горькую он подчеркнул голосом и гримасой, — пьет теперь наша армия — так лучше всего выпить зверобою...

— Зверобой... зверобой? — растерялась хорошенькая княгиня, оглядываясь назад за помощью.

Назади, в почтительном отдалении, стоял знакомый уже нам «малый», Гриша, великан-детина из трактира Палкина, большой патриот, готовый всякого «бить», на кого бы ему ни указали, хотя в душе добрейшее существо и любившее нянчиться с чужими детьми. Княгиня Волконская, устраивая базар с буфетом, просила Палкина, как буфетного специалиста, заняться этим делом, что он с радостью для княгини и для целей патриотических и сделал; а как княгиня не могла же знать названий всех водок и вин в буфете, то он и приставил адъютантом к княгине самого расторопного и честного из своих «малых» — детину, именно Гришу. Гриша для этого торжественного дня был одет с непременным условием «чисто по-русски» — в белую как снег рубаху и в желтые, ярко-канареечного цвета штаны; русая голова его была тщательно приглажена, на что пошла целая банка помады «резеда» и вследствие чего от головы Гриши так разило помадой, что Иван Андреевич Крылов уверял после и своих знакомых, и Гришу, что, отправляясь к пуэнту на базар, он еще с Каменного острова слышал запах Гришиной головы.

Когда княгиня обратилась к Грише со словами «зверобой... зверобой», Гриша по обыкновению метнулся, как ошпаренный кипятком, тряхнул волосами, словно собираясь спрыгнуть с пуэнта в Неву и плыть к Кронштадту; но потом вспомнил, что хозяин предупреждал его «не кидаться словно на пожар», засеменил ногами и, ступая точно по раскаленным угольям, достал требуемый графин и поставил его перед княгиней, не преминув мотнуть волосами и завонять «резедою» так, что княгиня должна была поднести надушенный платок к носу... Ей показалось даже, что и кружевной платок ее весь пропах «резедой».

Тургенев, выпив рюмку шикарной, в то время самой патриотической, чисто русской настойки (ее ввел в моду Иван Андреевич Крылов, рекламируя этот «русский» напиток в «русском» трактире Палкина), выпив «зверобою» — и самое название патриотическое: зверей, ворвавшихся в Россию, бить-де, — Тургенев поморщился и сделал гримасу, собираясь вновь острить.

— А закусить мне, княгиня, нельзя ли тартинкой из окорока вестфальского короля? — сказал он, бесцеремонно разумея под вестфальской ветчиной вестфальского короля Иеронима, брата Наполеона, злейшего врага России.

Съев тартинку и бросив на блюдо два червонца, он раскланялся с хорошенькой буфетчицей и увлек с собою Карамзина.

В толпе показалась плотная фигура Крылова, который протискивался к буфету. Нечесаная голова его накрыта была широкополой соломенной шляпой, которая превращала плотное, бритое и лоснящееся лицо российского славного баснописца в лицо немецкого колониста на пашне.

— Мой нижайший поклон княгинюшке, вашему сиятельству, — подошел он, приветствуя своими смеющимися, «воровскими» или «интендантскими», как он сам называл их, глазами хорошенькую буфетчицу и снимая свою шляпу. — Конечно, сия шляпа не по сезону, и я приехал сюда в меховой шапке, но из боязни господ газетчиков — а они народ презлой — оставил свою шапку у извозчика... А то, сами согласитесь, княгинюшка, завтра господа газетчики будут описывать ваш прелестный праздник, расхвалят, конечно, и прибавят, что сама природа радовалась патриотическому торжеству нашему, и погода была великолепнейшая, и солнце согревало всех своими патриотическими лучами — и вдруг Крылов в шапке! — это-де не патриотично, неблагонамеренно.

Княгиня сочла долгом мило улыбаться на шутливые речи «российского Лафонтена», которого она хотя меньше знала, чем французского, но слышала, что и Крылов тоже «очень-очень костик», и потому охотно показывала ему свои мышиные зубки.

— А что угодно будет вам выпить и скушать, почтеннейший Иван Андреевич? — повторила княгиня своего «белого бычка».

— О, княгинюшка, я готов весь ваш буфет и выпить, и скушать, особенно из таких прелестных ручек, как ваши...

«Малый», который с того самого момента, как увидал в толпе знакомую фигуру Крылова, постоянного посетителя их трактира, держал свой рот осклабленным до ушей, при последних словах Крылова о буфете чуть не прыснул со смеху и потому зажал нос кулаком.

— Зверобой угодно? — улыбнулась княгиня: она уже знала теперь, что «зверобой» — самое патриотическое вино.

— Зверобойцу, зверобойцу, княгинюшка! — обрадовался Крылов. — А... Гнедич! И ты за Рубикон стремишься? Что,

бишь, я? — чрез Фермопилы пробираешься? Браво, храбрый Леонид, достойный сын древней Эллады! — заговорил он весело, увидав в толпе высокого, чопорно одетого, выбритого, тщательно прилизанного мужчину, пробиравшегося к буфету.

Это был Гнедич, длинноликий, с длинным прямым носом, мужчина с украинским типом и выговором — знаменитый переводчик «Илиады» Гомера. Модный костюм его отличался безукоризненностью чистоты и покроя, которая особенно бросалась в глаза рядом с неряшливым, засаленным костюмом Крылова. Гнедич подошел к буфету.

— Имею честь рекомендовать древнего эллина, — продолжал болтать Крылов, который сегодня был особенно разговорчив, — настоящий грек, доложу вам, княгинюшка, «суть бо льстиви греци и до сего дни» — на язычок златоуст...

Речи из уст его вещих сладчайшия меда лиются...

— J'ai l'honneur... pardon... — заторопилась княгиня, поправляя себя, — я имею честь быть знакома с почтеннейшим Николаем Ивановичем.

Гнедич церемонно, совсем по-светски поклонился. Крылов в это время уплетал разом селедку и масло.

— Что вам угодно выпить и скушать? — последовал стереотипный вопрос.

— Ему, ваше сиятельство, как древнему эллину, рюмочку нектару и тартинку с амврозией следует, — отвечал Крылов за Гнедича, накладывая себе на блюдечко икры.

— Из ваших прелестных ручек все будет нектар и амврозия, — топорно ссалонничал переводчик «Илиады», расшаркиваясь.

— Он, ваше, сиятельство, воображает, что он ныне в Афинах, на Олимпийских играх присутствует и любезничает с прекрасною Аспазиею, а себя воображает прекрасным Алкивиадом, — бормотал Крылов, усердно уписывая второе блюдечко икры, совсем позабыв, что он не в трактире у Палкина.

В это время, лавируя в толпе, какой-то молодой человек, любезно изгибаясь и забегая вперед, не отставал от высокого сгорбленного старика, одетого в толстое на вате пальто со звездою.

— Ба, ба, ба! — подмигнул Крылов княгине и Гнедичу. — Да тут совсем Парнас у вас — извините, княгинюшка, за скверную рифму, — вон и сам российский разбитый на ноги Пиндар ковыляет в бархатных валенках, а за ним и парнасский сторож...

Он замолчал и уткнулся в свое блюдечко. К буфету, жуя старческими губами и шурша по мокроватому песку бархатными сапогами, подходил Державин. За ним вьюном вился, улыбаясь негритянскими губами, Николай Иванович Греч, молодой писатель, подающий надежды, хотя еще неизвестно какие...

Державин любезно поздоровался с княгиней, говоря с ней таким голосом и с таким выражением лица, с какими обыкновенно заигрывают с детьми.

— О, княгиня! Вот не знают, кого послать против Бонапарта — посылают одноглазого Кутузова... дело плохо... А вот послали бы вас, княгиня, с такими глазками: вы бы разом подстрелили ими корсиканца, — шамкал он беззубым ртом, улыбаясь слезливыми глазами.

— О! Вы большой ферлакур, Гаврило Романович! — засмеялась княгиня. — Mais... pardon, — поправилась она. — Вас, я думаю, труднее победить, чем Наполеона... Что вам угодно будет выпить и скушать? — села она разом на своего конька.

— Выпить и скушать, сударыня... — Он задумался, как будто забыл, что ему нужно было, а потом вспомнил: — Вот как блаженныя памяти императрица Великая Екатерина спросила меня однажды: чем тебя, говорит, Гаврило Романович, пожаловать — поместьем или звездой? Я отвечал: и звездой, матушка государыня, и поместьем, коли ваша милость будет. А она и изволит ответствовать с своею ангельскою улыбкою: я знала, говорит, что поэты любят звезды и сельскую природу с пастухами и пастушками — и пожаловала мне вот сию звезду и вотчину.

Услыхав в сотый раз этот рассказ, Крылов не успел даже икру стереть с губ, положил на блюдо золотой (он съел не меньше как на червонец по трактирным ценам) и, шепнув княгине: «Остальное доплатит Злобин», — затерся в толпе.

— Что ему, беззубому, тут кушать? — говорил он, пробираясь с Гнедичем дальше. — По его зубам тут ничего нет — ни даже манной кашки.

— А может, для старцев у хорошенькой княгини соска припасена, — заметил Гнедич.

И приятели затерлись в толпе. А жующего свои губы Державина и улыбающегося отвислыми губами Греча сменили у буфета великосветские франты, с которыми княгине было, конечно, веселее, чем с неуклюжими литераторами. В это же время подошел и Уваров, тогда еще не граф и не министр народного просвещения, а только попечитель петербургского

учебного округа, быстро делавший свою карьеру, благодаря своим способностям и такту. Он смотрел совсем еще молодым человеком. Под руку с ним шла девушка, уже знакомая нам по Москве, ученица Мерзлякова и тайная его страсть — Аннет Хомутова, барышня много развитее других своих светских знакомых и потому предпочитавшая общество ученых и литераторов. Заговорили тотчас о войне, о Наполеоне, о Смоленске, о том, кто убит, кто ранен, кто получил новое назначение. Выражали сомнение, чтобы Кутузов с его летами и ленью мог осилить такого борца, каков Наполеон.

— Не Кутузов осилит Наполеона, — заметил Уваров, стараясь выражаться точнее и потому медленно, как будто бы он говорил с кафедры, — у Наполеона нет в мире противника, равного ему. Но Наполеона осилит Россия, русский народ во главе с обожаемым монархом. Вот страшный для всемирного победителя противник. Делиль пророчит это великое дело нашему благодушному государю, говоря в своем прекрасном к нему обращении:

Sur le front de Louis tu mettras la couronne:
Le sceptre le plus beau...

— Ах, ах! — остановила его княгиня Волконская. — Mais... pardon... вы, Сергей Семенович, говорите французскую поэзию... но извините — французский язык... он... он изгнан теперь из... из... из порядочного общества, — с трудом договорила она по-русски. — Я вас... я вас... puni... я вас штрафоваю...

— Штрафую, княгиня, — поправил ее Уваров, — и я охотно плачу штраф... Сколько прикажете?

— Сколько... сколько... велико ваше... преступление! — она даже ножкой топнула, произнося такое трудное русское слово — «прес-ступ-пление!»

Но условия базара требовали, чтобы публика, в видах скорейшего опорожнивания ее карманов, не застаивалась долго у одного буфета или прилавка с дорогими пустяками, а успела бы обойти их все и везде оставить клок шерсти в руках хорошеньких продавщиц. Оштрафовав Уварова самым бессовестным образом и сорвав клочок шерстки с ученой овечки, с милой Аннет Хомутовой, княгиня Волконская отпустила их, чтобы продолжать доить и стричь других овечек и барашков своего патриотического стада.

В это время у прилавка показались двое юношей, совсем мальчиков, в новеньких лицейских мундирчиках. Один из них черный, с смуглым цветом лица, с черными блестящими, как бы совсем без роговой оболочки зрачками и белыми арапски-

ми белками, с курчавыми как у негра волосами и с большими припухлыми, как у негра же, губами, — ну совсем арапчонок. Другой высокенький, белобрысенький, с кроткими голубыми глазками, стройненький, как девочка, — ну совсем остзейский немчик. Это были юные лицеисты и закадычные друзья — Саша Пушкин, который пять лет назад на этом самом месте, где происходил базар, декламировал «стрекочущу кузнецу», обидел злым экспромтом Лизу Сперанскую насчет ее семинарского происхождения и постоянно тормошил свою любимую нянюшку, и Вильгельмушка Кюхельбекер. Хотя они и были закадычными друзьями, но уже и тогда, в лицее, Саша Пушкин доезжал своего скромного друга и уже в то время отзывался бывало о чем-либо скучном любимым своим выражением, облетевшим впоследствии всю Россию и обессмертившим безвестного Вильгельмушку Кюхельбекера:

И кюхельбекерно, и тошно...

Теперь Саша Пушкин хотя тоже был большой разбойник и любил декламировать Тредьяковского, но уже чаще и чаще стал задумываться над мягким, плачущим, задушевным стихом молодого Жуковского, изучил все, что было наиболее образного и грандиозного у дряхлеющего и телом, и духом, и стихом Державина, и начал пробовать крылья своей юной, смелой и мощной фантазии. В душе это был серьезный, с глубокими задатками мальчик, с честными порывами духа. Одно, что он сам в глубине своей честной и серьезной мысли презирал втайне и от чего не имел сил отрешиться потом всю жизнь — это запавшее в его характер в лицее, среди аристократической обстановки и напитанной барством атмосферы, поползновение — невольное, неуловимое поползновение к аристократическому фатовству. Вот и теперь, когда он подходил к прилавку княгини Волконской, в нем боролись два чувства — и чувство фатовства, тайное, глубокое, которое он скрывал от самого себя, и презрение к этому чувству, злость какая-то на себя самого и на других... «Зачем *оно* есть в жизни? А если есть, то надо и *его* испробовать... Но зачем *оно* побеждает меня? Ведь есть же такие сильные, которых *оно* не побеждает и которые *его* презирают, как презираю и я», — досадливо думала его упрямая головка. И несмотря на это, он все-таки подошел к прилавку, с досадой, чтоб только сказать потом товарищам-аристократикам, и сказать с презрением, что и он там был, как и все *эти* фаты...

Но, взглянув в глаза княгини, услыхав ее голос, с которым она обратилась к нему, предлагая «выпить и скушать» — он

все это забыл... Он только видел перед собою «чудо красоты», то чудо, о котором он мечтал под сказки старой няни... Он вспыхнул — арапская кровь так и прилила к его смуглым щекам, и хотя ничего не выпил, однако два сладких пирожка «скушал» и тоже бросил на блюдо червонец — последний, который у него был в кармане после каникул; но уже к другим хорошеньким продавщицам не подошел, хотя и видел между ними княжну Щербатову, с которою когда-то играл в мячик на этом пуэнте. Он все думал о Волконской... Уже много лет спустя, посвящая ей свою знаменитую поэму «Цыгане», он думал об этом базаре на пуэнте, когда писал ей это грациозное посвящение:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани:
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой...

Эти будущие звуки его лиры уже трепетали в его горячей головке, когда он ходил потом по Елагину острову с своим другом Кюхельбекером, ходил молчаливый, задумчивый и немножко злой...

Между тем к буфету княгини Волконской подошел, сопровождаемый чуйкою с кожаным мешком в руках, высокий старик в длиннополом купеческом сюртуке, в высоких бутылками сапогах, с строгим, умным профилем какого-то, если можно так сказать, старого иконописного пошиба, и с глазами, которые иначе никак бы нельзя было назвать, как глазами «читающими»: они буквально «читали» все, на что ни обращались, в особенности «читали» легко лица и глаза тех, на кого смотрели.

Подойдя к Волконской, старик снял картуз и поклонился, тряхнув волосами, которые были уже с сильной проседью. Княгиня догадалась, что это богатый купец.

— Что вам угодно будет выпить и скушать? — спросила она робко как-то, видя, что старик «читает» ее глаза, да так «читает», что княгине показалось, будто он знает ее всю, до

мелочей, прочел ее настоящее и прошлое, прочел даже то письмо, которое она вчера писала тихонько от мужа...

«Прочитав» княгиню от доски до доски и «закрыв» ее, как легкую, но умную и занимательную книгу, ужасный старик почтительно сказал:

— Хотя я русский человек, ваше сиятельство, но кроме квасу и воды ничего не пью-с... Ежели можно, стаканчик кваску-с?

Княгиня робко оглянулась на Гришу — тот метнулся, вспомнил, что это не на пожар и не бить кого-либо, осовел на секунду, вспомнил, где у них квас, поставил стеклянный кувшин с пенистым напитком на прилавок перед княгиней. Княгиня торопливо схватилась быстро своей маленькой ручкой за тяжелый кувшин, не подняла его, испугалась, взглянула робко в читающие глаза страшного старика, который глядел на нее с доброй, ласковой, совершенно отеческой улыбкой, — и окончательно растерялась. Ужасный старик, добро улыбаясь, сказал: «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — сам налил себе квасу, выпил, поставил стакан на прилавок и знаком подозвал к себе чуйку с кожаным мешком.

— Вынь тысячу червонцев! — тихо сказал ужасный старик чуйке.

Чуйка вынула массивный сверток с золотом. Страшный старик взял его и положил перед княгиней.

— Извольте, ваше сиятельство, на святое дело.

Поклонился и пошел к другому прилавку. Княгиня стояла немая, бледная, испуганная.

— Это Злобин — милеёнщик, — бормотал Гриша, не смея шевельнуться. — Тыщу лобанчиков за стакан квасу — н-ну!

IX

Злобин, «именитый гражданин» города Вольска Саратовской губернии, представляет собою исторически крупный тип русского практического деятеля. В детстве и молодости — крестьянин, потом волостной писарь, только изворотливостью своего гибкого и тягучего как золото ума спасший свою умную голову от виселицы, предназначенной ему Пугачевым; в средних летах — ловкий, юркий мужик, тот мужик, о котором давно сложилась пословица — «мужик сер, да ум у него не черт съел», серый мужичок, обративший на себя внимание такого милостивца и вельможи, как генерал-прокурор импе-

ратрицы Екатерины Алексеевны, неулыба князь Александр Алексеевич Вяземский; в зрелых и преклонных летах — откупщик, воротила на всю Россию и Сибирь, миллионер такого крупного пошиба, какие со времен именитых людей Строгановых на Руси и не виданы, — Злобин, наполнивший своим именем три царствования и с особого высочайшего соизволения сохранивший за собою уничтоженный в начале нынешнего столетия титул «именитого гражданина», этот самородок Злобин с читающими глазами был замечательным явлением своего века: находясь в теснейшей, можно сказать приятельской связи со всеми вельможами, государственными людьми и представителями ума и таланта, будучи отлично принимаем Москвою и Петербургом, радушно открывавшими свои палаты уму и богатству мужика из курной избы, — Злобин не покидал своего родного города, который стал как бы его резиденциею, ибо он украсил его истинно царскими зданиями, садами, парками, следы величия и красоты которых и теперь продолжают изумлять всякого, кто бывал проездом в Вольске, — и ворочал капиталами всей России из своего маленького Вольска, зорко глядя оттуда своими читающими глазами за ходом своей громадной откупной жнеи, как паук из центра своей сети следит за всею областью своей паутинной ловитвы. Но как «рыбак рыбака», он так же издалека увидал другую, себе под пару крупную интеллигентную личность, у которой под семинарским халатиком билось большое сердце — сердце государственного человека, которое если и сжато было после бюрократическою скорлупою и сузилось от этого, то лишь единственно по вине глубоких исторических причин, но из которого била ключом не бюрократическая кровь. Одним словом — Злобин был связан тесной дружбой с Сперанским, и не потому единственно, что, как ловкий человек, он искал дружбы любимца государя, дружбы, которая всегда могла ему пригодиться; нет — он был дружен с Сперанским и тогда, когда тот стоял у кормила правления, как «правая рука» царя, по собственным словам этого последнего, и тогда, когда Сперанский жил в Нижнем. Во время ссылки Сперанского один Злобин не отвернулся от него; он один продолжал поддерживать с ним, как это ни было трудно, тайную и явную переписку. Дружба Злобина с Сперанским истекала из чистого источника — из источника внутреннего сродства: и тот и другой проявляли широкие замашки духа, и если у кого у третьего в то время были такие замашки духа, хотя иного рода и притом титанические, так это у Наполеона. У всех у трех этих современников мы видим орлиный замах крыльев и одну и ту

же жажду владычества: у Наполеона — владычество грубой силы, у Сперанского — владычество силы ума, у Злобина — владычество капитала. Вот почему два последние питали глубокое удивление к первому и симпатию друг к другу.

Высылка Сперанского поразила Злобина более, чем если бы он узнал, что Наполеон завоевал всю Россию, как он завоевал Италию. Узнав об этом, Злобин поскакал в Петербург — на месте разведать источник и обстоятельства поразившего его события. Но в Петербурге он нашел, что на имя Сперанского наброшен непроницаемый покров таинственности, какой-то саван тайны, — никто ничего не знал... что-то было, что-то произошло, а может быть, и не было ничего, а так казалось, так кому-то думалось, что-то подозревалось... одним словом — никто, положительно никто ничего не знал.

Встретившись теперь на пуэнте с Державиным, Злобин воспользовался случаем попытаться узнать что-либо от него как от министра юстиции о своем опальном друге. Для этого он пригласил Гаврилу Романовича присесть к одному свободному столику, чтобы выпить бокал «донского» — шампанское патриотизм вытеснил и заменил донским цимлянским, — выпить бокал донского за здоровье «славного преследователя российского Наполеона».

— Так-так, — улыбался самолюбивый старик, трепля по плечу Злобина, — ты это меня величаешь славным преследователем российского Наполеона — Емельки Пугачева?

— Как же, ваше высокопревосходительство, я помню, как вы гнались за ним через нашу Малыковку, что ныне городом Вольском называется, — говорил Злобин, «читая» потухшие глаза отживающего поэта.

— Да. да, хорошее то было время, — бормотал Державин, качая головой, — я говорю хорошее не по отношению к России, а ко мне... молод я тогда был... а теперь...

— Да, точно — тридцать восемь лет прошло с той поры... много воды утекло в море... многонько... Я помню это так, словно бы оно вчера было: красивый гвардейский офицер...

— Это я-то... да, да, был красив, — шамкал старик, — а теперь...

— Вы и теперь бодры, ваше высокопревосходительство, — поправился Злобин, — духом все молоды и дело у вас из рук не вывалится...

— Да, да, дело... это так....

— И перо стихотворное...

— Да, да... и перо... и перо...

— У меня ваша ода «Бог» золотом отпечатана на аршинном лександринском листе — на стене за стеклом, в золотой раме...

— Да, да, как зерцало, — бормотал старик, и глаза его как бы оживали.

Но Злобина занимала не ода «Бог» и не то, как Державин когда-то «гнался» за Пугачевым (в сущности, молодой поэт от него сам улепетывал); это была припевка к делу, его занимавшему, и этой припевкой он хотел расшевелить дряхлого министра юстиции, напомнив ему о молодости и о стихах.

— А что слышно, ваше высокопревосходительство, о Михайле Михайловиче Сперанском? — спросил он как будто мимоходом, но не глядя на собеседника своими читающими глазами, а уставив их на свои сапоги, словно бы они представляли теперь особенно любопытное зрелище, любопытнее даже вида заката солнца с пуэнта.

При этом вопросе Державин немножко встрепенулся, отодвинул от себя недопитый бокал и исподлобья посмотрел на Злобина, который усердно созерцал свои сапоги.

— О Сперанском... да пока ничего внимания достойного не слышно. Выслан он на жительство в Нижний, и при сем тамошнему губернатору сообщено, что государю императору благоугодно, дабы оному тайному советнику Сперанскому оказываема была всякая пристойность по его чину.

— Так, так... вить государь у нас по доброте-то своей ангел во плоти, — тихо говорил Злобин, все еще созерцая свои сапоги с бутылочными голенищами. — Так, значит, он там не в стеснении...

— Надо полагать... Только надзор за ним строгий: губернатору вменено в неупустительную обязанность доносить Балашову обо всем замечательном касательно Сперанского и о всех лицах, с какими он будет иметь знакомство или частые свидания.

— Так-с... — И Злобин перенес свои читающие глаза с сапог на бокал Державина, долил его, пододвинул и как-то наивно глянул в глаза собеседника. — Так-с... знакомство, свидание... и поди, и переписка...

— Да, разумеется... письма его, а равно и к нему, от кого бы ни было, велено представлять в подлиннике к Балашову ж, для доклада государю.

При последних словах Злобин сделал такое движение, как будто бы у носа его завертелась муха и он от нее откинулся.

— Вот как-с!

— Да, осторожно... следят и за перепиской его служителей, родственников и иных лиц, дабы не было передачи ему и пересылки его писем под чужими адресами.

— Так, так... Что же известно, ваше высокопревосходительство, о его жизни там? Как он себя ведет? Вам, по вашему месту, все должно быть известно...

— Нет, это не мое дело — не дело министра юстиции... Балашов говорит, что он ведет себя скромно, тихо, но ни у кого не бывает.

— Удивления достойно!.. Просто не знаешь, что и подумать... Уж не Бонапарт ли этот замешался тут? — говорил Злобин, снова глядя в глаза Державина и «читая» их, но «вычитать» ничего не мог.

— Бонапарт... думают и это, думают и другое...

— Нет, ваше высокопревосходительство, коли бы Бонапарт, то есть какая ни на есть измена, не так бы поступили.

— А, Вася! Нимфа Эгерия в шлеме и латах! Что это значит? — послышалось восклицание позади Державина и Злобина.

Они оглянулись.

Восклицание сделано было Тургеневым, который за соседним столом сидел рядом с Карамзиным, а против них на чугунном решетчатом со спинкою стуле грузно помещался Крылов, завешенный салфеткою, как ребенок за обедом, и тыкал вилкою в огромный кусок какой-то рыбы с зеленью. Относилось же восклицание Тургенева к молодому человеку, одетому в только что появившийся тогда ополченский мундир — серый русский кафтан с красным широким поясом, шаровары в сапоги с высокими голенищами и картуз с крестом. В молодом человеке нелегко было узнать того цыгановатого, задумчивого и робкого юношу с черными глазами, которого мы видели на пуэнте пять лет назад — он значительно возмужал. Это был Жуковский, уже составивший себе известность элегиею «Сельское кладбище» и другими глубоко поэтическими, больше грустными и унылыми, чем оживляющими, но всегда очень сердечными стихотворениями. Смотрел он по-прежнему робко и задумчиво.

— Иди, иди, дай взглянуть на тебя, скромная нимфа, — продолжал Тургенев. — Что это ты?

Жуковский подошел и молча со всеми поздоровался, как с старыми знакомыми. Крылов, взглянув на него, так и остановился с недожеванным куском во рту.

— А я тебя нарочно ищу, — заговорил Жуковский, ласково и как бы грустно глядя в глаза Тургеневу. — Я приехал проститься — я тороплюсь ехать.

— Куда? Сейчас? — с изумлением спросил Тургенев.

— Да, сегодня же — в Москву.

— Да что с тобой? Ты точно на свидание с Нумой Помпилием торопишься...

Жуковский хотел улыбнуться, но не мог. Нижняя губа его как-то дрогнула.

— Я еду в ополчение — я не могу здесь оставаться... такое ужасное время... Наполеон к Москве идет...

— А Сила Богатырев на что? — уставился на него Крылов, глотая свою вкусную рыбу и облизывая губы. — Они с Ростопчиным шапками его закидают.

Крылов говорил как бы серьезно, но «воровские» глаза его зло над кем-то смеялись. Карамзин, напротив, с любовью смотрел, часто моргая глазами, на взволнованное лицо молодого поэта и как будто думал о чем-то другом, далеком, которое он ясно видел своими моргающими глазами, когда никто другой этого не видел.

— Да ты с ума сошел, Василий блаженный! — говорил Тургенев, насильно усаживая около себя молодого поэта и не выпуская его руки из своих рук. — Тебе ли соваться туда — тебе ли вступать в «злат стремен»? Твое дело — на Пегасе ездить, благо этого коня ты давно оседлал. А то на поди — кровь проливать за отечество? Поверь, друг, у иного чернила дороже для отечества, чем кровь героя... Погляди-ка на свои пальцы... Посмотрите, государи мои!

И Тургенев показал Карамзину и Крылову руку Жуковского, разжав его тонкие длинные, как у худощавого еврея, пальцы.

— Смотрите — у него чернила на пальцах, поди, новую элегию строит, а то и балладу, какого-нибудь этакого «Громобоя» — и вдруг на́! Да так и Николай Михайлович бросит свою историю, и свои архивы, и своего кота — виноват! академика Василия Миофагова — и пойдет против галлов, как его прадедушка, Цезарь-историк... Да и тот дурак был: сидел бы в Риме да строчил — эх, сколько бы написал хорошего!

— Да, — скромно заметил Карамзин, откидывая за ухо локон поседевшего виска, — но тогда бы он не написал своего «De bello gallico», а также «De moribus germanorum».

— А может, написал бы что-либо лучшее, — вмешался Крылов, освобождая подбородок от салфетки. Не люблю я этих войн, все это люди делают по глупости, точно нельзя иначе спеться... Ведь я же не дерусь с Палкиным, когда прихожу к нему завтракать: он меня накормит, а я ему заплачу — и дело в шляпе... А то на войне и поесть-то порядком не

дадут — как оголтелые какие-то! — все по глупости, резонту никакого не понимают...

— Именно, именно — резонту не понимают, — подтвердил Тургенев. — Ну и пусть дерутся те, которые этого самого резонту не понимают, их еще много, непочатый угол, и долго еще много их будет... А таких как ты у нас немного, ты этот самый резонт понимаешь, и с тебя, братец, того... взыщется: овому талант, овому два, овому шиш, а тебе — во! — И Тургенев расставил руки, какое большое «во» дано Жуковскому.

Жуковскии молчал, нервно, неловко и конфузливо теребя свой красный пояс.

— Однако, прощай, Саша, мне пора, — сказал он наконец с легкой дрожью в голосе. — Не забывай меня...

— Да что ты в самом деле! Я... я... — и Тургенев вспыхнул: — Это черт знает что такое!

— Так надо... так надо, — тихо, но настойчиво говорил Жуковский. — Дети идут *туда*, женщины идут... Пока мы здесь барствовали, за нас билась девушка — пойми ты! девушка — в этом аду...

— Знаю я, что есть там одна сумасшедшая девка — тем хуже, тем стыднее для нашего века... этого еще недоставало! — Девки воюют! Да мы совсем этак одичаем.

— Нет, мы будем щи варить, а девки за нас воевать, — хладнокровно заметил Крылов. — Не знаю, устояла ли бы великая армия этого корсиканца, если б против нее выслали этак тысячу-другую пышечек этаких, амурчиков в юбочках — наверное, передралась бы из-за этих цыпочек великая армия.

Тургенев засмеялся, хотя смех этот выходил каким-то насильственным.

— Иван Андреич сказал глубокую истину: рано ли, поздно ли, но победит красота, а не пушка — красота в обширном смысле, — заговорил он торопливо, обращаясь к Карамзину. — Не правда ли?

— Да, я то же думаю, — тихо отвечал историк — и еще более заморгал как бы от едкой архивной пыли. — Гармония вселенной победила довременный хаос, люди победили свирепых зверей, кроткие победят злых, правда убьет ложь, красота — безобразие... К тому идет мир... Придет время, когда слово человека будет сильнее его самого и всех его пушек — недаром «в начале бе Слово»...

— А теперь раки, — пробурчал Крылов, просматривая карточку кушаньям. — Эй, малый! Порцию раков! — мигнул он «малому». — Нет, подай парочку порций, да рачки бы покрупней...

— Я уверен, — улыбнулся на эти слова Тургенев, — что эта девка, которая там будто бы сражается и о которой кричат вот уже пятый год, но которой никто не видал, — я уверен, что девка эта, если только ее не сочинил сам приятель мой, Дениска Давыдов, а то, может, и Бурцеву спьяну пригрезилось, что он видел не гусара, а девку в рейтузах, — я убежден, что эта девка надела на себя рейтузы с отчаянья от своего уродства, что рожа у нее — анафемская.

Жуковский сидел так беспокойно, как будто бы ему неловко и тесно было в ополченском мундире, и будто бы сапоги жали, и будто бы жарко было и чего-то стыдно.

— Нет, Александр, ты ошибаешься, — по-прежнему тихо возразил он. — Панин, которого эта девочка — ей тогда, говорят, было не более семнадцати лет, — так Панин, которого она спасла от смерти в самом пылу битвы, говорил мне, что она очень миловидна, что небольшая рябоватость...

— Рябая форма! Вафельная доска! — в один голос протянули и Тургенев, и Крылов.

— Нет, нет, — защищался Жуковский, — маленькая рябоватость, говорит Панин, делает ее лицо еще милее, и самый загар ее красит, а глаза — дивные, невинные...

— Вот как у этого малого, — подсказал Крылов, глянув действительно в невинные, пустые глаза Гриши, который подавал раки и осклаблялся, что он всегда делал, с любовью прислуживая «доброму барину».

— Рачки-с первый сорт — галански...

— Галански... Сам ты гусь галанский, — передразнил малого неунывающий баснописец. — А вот как-то ты француза будешь кормить галанскими раками...

— Француза-с? Какого это? — встрепенулся малый. — Не того ли, что мы когда-то в Мойке кстили?

— Нет, не того... А вон *он* сам идет на Москву, а оттуда и к нам, в Питер, пожалует. Тогда и служи ему — корми раками.

От этих слов точно ожгло малого. Он отшатнулся назад, тряхнул своими напомаженными волосами, перекинул салфетку из подмышки на плечо и весь покраснел.

— Нет уж, барин, ни в жисть этому не бывать, чтобы я да этому... нет, дудки!

— Какие, братец, дудки! Придет и возьмет Петербург вместе с твоим Палкиным. Может, уже Москву-то и взял... Вот этот барин едет туда сражаться с ним...

Крылов указал на Жуковского, который хотел было встать, но его удерживал Тургенев. При последних словах

Крылова по лицу малого пробежала какая-то тень, потом лицо его побледнело, губы задрожали. Он оглянулся на буфет княгини Волконской, которая весело болтала с какими-то франтами, улыбалась, шутила. Потом Гриша окинул взором весь пуэнт, как бы ища в этой веселой толпе ответа на вопрос, ножом, казалось, полоснувший его по сердцу. «Да что ж это будет! Да как же это, Господи!»

И вдруг Гриша повалился наземь, головою к ногам Жуковского. Последний неожиданно попятился назад. Все изумлены, озадачены. Один Крылов поглядывал исподлобья своими плутовскими глазами, погрызывая клешню огромного рака.

— Что с тобой! Что с тобой! — бормотал озадаченный поэт, силясь приподнять малого. — Встань, Бога ради... чего тебе?

— Барин! Батюшка! Заставь вечно Богу молиться, — валялся малый у ног Жуковского.

— Да что с тобой! Говори...

— Возьми меня с собой! Возьми на этого — на проклятого...

Малого обступили со всех сторон. Подошли и Державин, и Злобин. Малый приподнялся с земли весь красный, стирая со лба сырой песок, приставший и к напомаженным волосам. Жуковский казался не менее его взволнованным.

— Так ты в ратники хочешь?

— В ратники, барин... Моченьки моей нету...

— Молодец, молодец, — бормотал Державин, — видный малый, постоит за себя...

— И за нас, — пояснил Крылов, принимаясь за новую клешню.

— Oh! Quel patriotisme! — всплеснула было ручками хорошенькая княгиня, но тотчас же прикусила язычок, увидав «читающие» глаза Злобина.

Последний мигнул этими глазами на чуйку, не спускавшую с него своего бойкого взгляда, и чуйка подошла с своим мешком.

— Вынь сто червонцев, — шепнул Злобин.

Чуйка вынула и подала тонкий продолговатый сверточек.

— Вот тебе, малый, на дорогу и на ратницкую одежу, — сказал Злобин, подавая сверточек оторопевшему Грише. — Ты больше всех нас жертвуешь на святое дело.

— Кто деньгами, кто собой, а я, беспутный, раками, — ворчал Крылов.

Гриша стоял истуканом, с недоумевающими, широко раскрытыми глазами, а глаза хорошенькой княгини как бы испу-

ганно спрашивали: «Что же я пожертвовала?.. Ох, он прочитает — все прочитает...» — И она зарделась стыдом. Она была необыкновенно хороша в эту минуту. Если б она знала, что стыд есть величайшее украшение женщины, то она постоянно прибегала бы к этому непокупаемому ничем косметику.

X

Уваров проводил Аннет Хомутову с пуэнта на Каменный остров, где Хомутовы занимали дачу, ту самую, на которой пять лет тому назад жил Сперанский.

В своей комнате на письменном столе Аннет нашла толстый пакет, запечатанный гербовой печатью, и по почерку адреса тотчас же узнала, что это письмо из Москвы, от лучшей ее приятельницы, Софи Давыдовой. Аннет давно ждала весточки от своего друга и потому очень обрадовалась толстому пакету. Она вперед предвкушала сладость чтения послания от особы, с которою давно жила как бы одною внутреннею жизнью, знала все ее мысли, все движения ее сердца, и которой сама поверяла все мысли и чувства, которые требовали раздела, поддержки, дружеской оценки и понимания. Как это часто бывает у людей, желающих продлить и усилить наслаждение, Аннет несколько времени помучила себя тем, что не тотчас же приступила к чтению письма, — она отложила это наслаждение до ночи. Она знала, что то, что принесет ей большую радость, теперь уже у нее в руках, что оно не уйдет от нее — и потому она маленькими глотками решилась пить эту радость, чтобы пить дольше.

Только уже простившись на ночь с отцом, отпустив горничную спать и оставшись совершенно одна, Аннет вынула из ящика письмо, придвинула поближе свечи, вскрыла пакет и, не утерпев, чтобы не сосчитать, сколько в послании почтовых листиков, — оказалось шесть и притом некоторые исписаны крест на крест, что составляет особенную прелесть при чтении, — только после всего этого Аннет начала читать.

«Дорогая Аннет! Так как мы условились с тобой вести переписку изо дня в день, в форме дневников, то я и начинаю теперь исповедь моей души и моего сиротства без тебя, мой незаменимый друг. Ты, я думаю, знаешь, что из двух расстающихся и одинаково любящих друг друга существ всегда бывает несравненно тяжеле тому, кто остается, а не тому, кто уезжает. Уезжающий за потерю друга вознаграждается хоть переменой места, новыми впечатлениями, каковы бы они ни

были, даже новыми заботами, а остающийся — *только теряет* и ничего, ничего, кроме тоски о потерянном, не получает. Первые дни после твоего отъезда, милый друг мой, я находилась в положении этого последнего: с утратою тебя я ощутила какую-то томительную пустоту в сердце и в мыслях. Странное дело! Я не только ощущала пустоту в своем сердце, но мне казалось, что и вся Москва как-то опустела, обезлюдела и казалась мне чужою. То, что прежде, при тебе, имело для меня интерес, занимало меня, так или иначе наполняло незанятые тобою и моими мыслями уголки души моей, — с твоим отъездом как будто выцвело, полиняло, и точно со всего сбежали живые краски. Я разом почувствовала себя в положении отжившей и заживо умершей княгини Дашковой — помнишь тот вечер у вас, в 1807 году, когда она развертывала перед нами некоторые полинявшие и пожелтевшие листы своей жизненной книги: о своем знакомстве с Вольтером, Дидеротом, о своей славе, о своей дружбе с императрицею Екатериною II, и как потом еще я разревелась из жалости к этой бедной старушке? И что еще особенно странным казалось мне после разлуки с тобою, так это то, что свет, вся вселенная как-то перевернулась в моих глазах. Я не знаю только, поймешь ли ты это, а если не поймешь, то по обыкновению скажешь: «Мечтательница, философка — и больше ничего!» Так слушай же, моя дорогая. Прежде, когда ты жила в Москве, мне казалось, что все, что лежит от меня к югу, — ведь ваш дом лежит на юг от нашего, — так все, что было от меня к югу, было ближе, роднее моему сердцу, и я больше любила юг, южное солнце, южную природу и больше думала обо всем южном, а север меня почти совсем не занимал. Теперь же, когда ты уехала на север, в Петербург, юг опустел для меня, и моя мысль, мое сердце, даже мои глаза постоянно тянутся к северу, думают о нем, воображают — у меня ведь мысль не отделяется от сердца, — воображают себе этот север, этот Петербург, где живешь ты, и кажется мне, что вся жизнь переселилась на север, оставив юг сиротствующим и безжизненным. Понимаешь ты меня, друг мой?»

Аннет, оторвавшись от письма и откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза.

— Милая! Какая у нее душа глубокая, — шептала она сама с собой. — Да, кажется, я понимаю ее...

И она вспомнила, что давно когда-то, когда она в самый первый раз была влюблена, и именно в своего двоюродного брата, в поэта Козлова, ей тоже казалось, что та часть Москвы, у Пречистенки, где жил Козлов, была для нее роднее и

дороже остальной половины Москвы, а когда после Козлов жил на Басманной, то мысли и симпатии ее повернулись к этой половине Москвы, и даже когда она, бывало, зимой каталась с гувернанткою, то как только сани поворачивали по направлению к Басманной, ей становилось веселей, а лишь только лошади поворачивали в противоположную от Басманной сторону, катанье теряло для нее всякий интерес, и она скучала... Как это, однако, давно было!..

Открыв глаза, она продолжала чтение письма.

«Быть может, такое душевное настроение мое помогло мне глубже почувствовать то ужасное положение, какое переживает теперь Россия. О, мой друг! Только общее бедствие, только вид страдания русских и сознание того глубокого бедствия, в которое вверг Россию безжалостный рок, заставили меня со всею страстью чувствовать и сознаться, понять, что я — русская всем моим духом, каждым моим дыханием и каждою каплею моей крови. Боже! Какие же еще новые напасти ожидают нас! Уже и так мы дожили до той горестной минуты, когда, исключая невинных, еще немыслящих ничего детей, никто не знает радости — радость укатилась куда-то, уплыла с водами вешними. А еще что ожидает нас — это никому неведомо: может быть, страшная будущность. Сначала мы ничего не знали, в каком положении дела там, в той страшной дали, куда ушел весь цвет нашего мужественного населения. Граф Ростопчин торжественно уверял Москву, что наши завели будто бы французского ученого медведя в западню и приняли зверя на рогатину, что нам бояться и падать духом нечего, а главное — не верить вздорным слухам. А между тем, слухи ходили страшные, и что день, то страшнее и правдоподобнее казались они: то говорили, что Наполеон — о! жестокое исчадие ада! чего еще жаждет его ненасытимая кровью душа! — что этот изверг силится прорваться мимо Дриссы к Петербургу, и едва ли наши удержат его в этом стремлении; то уверяли, что главная цель его — Москва, это сердце России, на которое ему хочется наступить жестокою пятою, чтобы остановить кровообращение во всей Русской земле. Наконец, по Москве потянулись обозы с ранеными, и — Господи! — каждый день, с утра до ночи, мы видим эти бледные лица, слышим стоны страдающих. Целые горы корпии, кажется, нащипали мы, я все свое самое тонкое белье извела на корпию, облитую моими слезами, и все это Москва сносила в отведенный Ростопчиным склад. И что же, друг мой! Сколько же надо нанести России ран, чтобы не хватило этих тюков корпии, которые поставила одна Москва! Сколько

надо было пролиться крови, если в России не хватает рук, чтобы зажимать раны страдальцев и останавливать их драгоценную священную кровь! А теперь пришло еще более ужасное известие: мы разбиты! Я затрепетала и едва не лишилась чувств, когда из-под Смоленска прискакал сюда курьер — еще я его видела нередко с моим кузеном Дени, — прискакал с известием, что под Смоленском мы проиграли битву и что Смоленск уже во власти Наполеона. Я весь день ходила как убитая. Народ толкует о каких-то изменниках в войске, и все уверяют, что нас продали немцы. Конечно, я этому не верю. Всего скорее я соглашусь с мнением Дениса, который и прежде говорил, что нас побеждает не Наполеон, а наши собственные полководцы: они в постоянной вражде друг с другом. А наш милый Козлов — представь себе, мой друг, он неузнаваем, лишился прежней своей веселости и хочет поступить в ополчение. Господи! Как это страшно! Скоро, кажется, все уйдут *туда*, в это ужасное *туда*! Так Козлов говорил, что все наши беды происходят от того, что у нас нет умного полководца, что все они школьники перед Наполеоном, ничему они не учились, ничего не читали, ни о чем, кроме выправки и маршировки, понятия не имеют, а между тем противник их, этот страшный Наполеон, он учился с детства, он весь военный опыт свой добыл пóтом и кровью, и только разве наш незабвенный Суворов мог сравниться с ним в знаниях, уме, опытности.

Видишь, друг мой, я ни о чем другом теперь не могу ни говорить, ни думать, кроме как об этой проклятой войне и ее жертвах. Скольких уже не стало из тех, кого мы с тобою знали, с кем танцевали в счастливую пору общего мира! Одних уж нет и больше мы не увидим их на этом свете, а других этот бич Божий превратил в калек: у кого руки нет, у кого ноги. Вчера привезли сюда Бурцева — помнишь, кутила, забияка и неразлучный спутник нашего Дениса? Он ранен под Смоленском и теперь лечится здесь. Я была у него, чтоб порасспросить о Денисе и обо всем, что там делается. Что пришлось мне выслушать и как при этом я страдала — одному Богу известно. И Бурцев говорит то же, что Козлов: людей нет, а если и есть, говорит, Ермоловы да Коновницыны, так «чином не вышли». И представь себе, милый друг, я тут только узнала, что за прелестное сердце, что за дивная душа у этого Бурцева — «еры и забияки», как его назвал Денис в стихах. С каким благоговейным умилением говорил он о настоящих героях войны — о простых солдатах! Они, говорит, в одно и то же время и дети, и — боги. А какую

нежную боязнь за какого-то своего друга Алексашу он высказывал. «Ах, Алексаша, Алексаша, — жаловался он, бедненький. — Убьют они его у меня! Да ведь это, — говорит, — будет святотатство. Алексаша — это чистое, невинное дитя, около которого, я, — говорит, — я, грязный пьяница, очищался душой и не смел пить. И его убьют! Я, — говорит, — не выдержу этого леченья — я тихонько убегу к войску, хоть ползком доползу до моего Дениски и Алексаши — я лучше умру около них чистым, чем валяться здесь негодной ветошью, а потом от тоски с кругу спиться». Это ему, бедненькому, жаль какого-то молоденького улана-офицерика, Александрова.

Вчера же, в церкви, я встретила *твоего* милейшего бакалавра, Мерзлякова. Он был с своей хорошенькой, с золотистыми волосами и черными глазами, племянницей, которую называет «Иринеем блаженным». Спрашивал о тебе. В лице его, в выражении глаз, в голосе я прочла многое *нечто*, касающееся тебя, мой милый друг. Даже хорошенький Ириней, по-видимому, догадывается о чем-то и жалеет своего дядю. Но и у нее, бедненькой, я тоже прочла *нечто* в глазах, когда заговорили о войне, о раненых, убитых — а разве же можно теперь говорить о чем либо другом! Верно, и у Иринея есть что-то *там*, в этом ужасном *там*, что-то свое, дорогое. Да и у кого его нет! И Мерзляков говорит, что был у нас один умный человек, по плечу Наполеону, хоть и не полководец, но и того сделали изменником.

Но, Боже мой! — тяжело все это, как тяжко убеждаться в том, что самое лучшее и божественное, что дано нам провидением — любовь — становится для нас источником невыразимых страданий, и именно в то время, когда наиболее говорит в нас этот священный пламень. Я, кажется, только теперь вполне почувствовала, как глубоко люблю и тебя, мой гений-утешитель, и Россию, и это именно как раз теперь, когда тебя я не могу видеть, а бедной, терзаемой России ничем не могу помочь и ничего не могу ей дать кроме моих слез и кроме моих жалких, беспомощных молений. Теперь же я более чем когда-либо чувствую, что еще ношу в себе зерно спасительного утешения, это — моя вера в провидение, вера, которая не дает мне впадать в отчаяние, а это непременно случилось бы, если б я полагалась на силы и гений жалкого человечества, если б не верила, что есть какая-то высшая сила, которая и эти миры бросила в пространство, и нас из ничтожества привела в эту юдоль плача, а подчас и неизреченного счастья, и этого бедного мотылька привела к роково-

му пламени моей свечи вместо света солнца, и он, обманутый, погибает теперь от своего неведения. О, если бы и тот изверг, которого провидение, как мотылька на свечу, повело на Россию, нашел в ней свою гибель!

С того самого дня, как здесь получена была ужасная весть о потере Смоленска и о том, что наши войска отступают, Москва потеряла надежду на спасение. Все, кто имеет возможность двинуться в неведомый путь, чтобы хоть вне милой России, хоть в Сибири, за Уралом искать убежища, — все двинулись из Москвы, и все больше по направлению к востоку — к Нижнему, к Казани, к Симбирску, к Перми, к Вятке. Мы тоже думали было выезжать в наше симбирское имение, но приехавший оттуда конторщик наш говорит, что теперь там везде идет набор ратников и что мы не вынесем этого раздирающего душу зрелища. Он говорит, что народ ведет себя прекрасно, геройски, как и солдаты. Мужики не только не ропщут, что их отрывают от полевых работ в самое горячее, страдное время, но, напротив, говорят, что они теперь готовы все идти на врага, что готовы поголовно ополчиться, только бы повели их и указали им супостата. «У себя дома, — говорят они, — только Бог сильнее нас». Но зато бабы наполняют воздух рыданиями, и этот плач ужаснее всего, эти вопли не выносят даже такие привычные люди, как наборщики ратников.

Сегодня я особенно поражена была одним зрелищем, которое видела первый раз в жизни, и оно, признаюсь тебе, мой друг, нагнало на меня суеверный страх — опасение, что на нас грядут еще новые, неведомые бедствия. Я одно вижу во всем том, что поразило меня сегодня, это то, что природа, которая окружает нас и тайн которой мы постигнуть не можем, и люди, а равно все живые существа, на земле обитающие, находятся между собою в тайном духовном общении и им самим неведомыми путями идут к какой-то, тоже им неведомой, цели, руководимые тою же единою таинственною силою, которая целые миры гоняет по начертанным ей в небесном пространстве стезям и которая сегодня вечером гнала целые стаи птиц на запад, а куда? зачем? — это объяснил мне старый садовник своим простым, непосредственным умом, живущий в непосредственном общении с природою и с тою таинственною силою, которая приводит нас в благоговейный трепет в порыве ветра, в блеске молнии, в ударах грома. Вечером мы с Козловым сидели в саду — помнишь ту скамейку под дубом, с которой еще так хорошо виден величественный Кремль? — сидели и большею частью молчали, прислушива-

ясь как бы к веянью наших собственных грустных мыслей. После душного дня вечер был дивный. Закатившееся за Кремлем солнце золотило только маковки некоторых церквей, а западная окраина неба горела бледно-розовою зарею. Я думала о тебе. Козлов казался особенно грустным, и мне тут же припомнился тот вечер — помнишь? — все тот же, с княгинею Дашковою, рассказывающею о Вольтере и постоянно забывающею, что она хотела сказать, — помнишь, когда мы потом с тобою, Денисом и Мерзляковым вышли на террасу и услыхали за кустом голос Козлова, который спрашивал у вашего Якова: «Разве тебе никогда не было скверно, так, чтобы в петлю хоть — так в пору?» Таким он казался и сегодня в саду. Вдруг я вижу, что наш Мироныч, старый садовник, который помнит еще Бирона, а у Пугачева руку целовал, за что у него потом и отрезали одно ухо под виселицей, — стоит, опершись на заступ, смотрит на небо и качает своею лысою, точно отполированною головой. Я тоже взглянула на небо. По густо-голубому фону его тихо, плавно, изредка лишь глухо вскаркивая, тянулись вереницы птиц, следуя через Кремль по направлению к западу, к той полосе неба, на которой медленно погасала вечерняя заря. Никогда не видала я, мой друг, такого множества птицы, летящей куда-то, все в одном и том же направлении. Летящие странники, казалось, не торопились; они точно уверены были в неизбежном достижении того, чего они ищут в своем воздушном странствии. Я заметила при этом, что и те вороны, которые сидели на кремлевских стенах, снимались со стен и присоединялись к тем стаям, которые летели, по-видимому, издалека. Страшно мне чего-то стало при виде того, чего я не понимала. Я точно сердцем угадала что-то нехорошее, зловещее в этом птичьем перелете. «Что это такое, Мироныч?» — спрашиваю я. «К худу это, барышня, — отвечает он. — Так было и в пугачевщину, как *он* шел от Казани к Симбирску да к Саратову». И старик объяснил нам, что *там* где-то или идет сражение, большое, очень большое, или оно недавно было, и птица узнала об этом и летит туда питаться мертвыми телами. Так, говорит он, и в падежные годы: за сотни верст узнает птица, что в таких-то местах падеж, и летит туда кормиться падалью. Боже милостивый! До чего мы дожили: это нашими-то братьями, отцами, женихами летят кормиться хищные вороны. Это шлет их туда та неведомая сила, которая навела на русскую землю и Наполеона с его полчищами. Я так и жду теперь новых вестей, еще более страшных чем те, которые всю русскую землю повергли в уныние и трепет.

Много шуму наделал здесь этот богач вольский, Злобин. Он пожертвовал на ополчение какие-то громадные суммы. Ростопчин прославил его за это по всей Москве и говорит, — ведь ты знаешь, какой у него язык, — Козлов говорит, что царь-колокол потому не звонит, что Ростопчин украл у него язык и носится с ним по Москве, — так Ростопчин говорил в собрании дворянства, что в Злобине воскрес дух Косьмы Минина и что нам недостает только Пожарского, чтобы спасти Россию от иноплеменников. Так кто-то в собрании и сказал, что Ростопчин-то и есть сам Пожарский. Признаюсь, мой дружок, все это мне как-то не понравилось: не до того теперь, чтобы рисоваться и выставлять себя напоказ, когда другие молча умирают. И Злобин этот произвел на меня нехорошее впечатление. Я видела его, когда он приезжал к папа́ по какому-то делу. В глазах у него как будто постоянно сидит кто-то со счетами и соображает, глядя на вас в упор: сколько из этого человека можно сделать рублей. Ведь богатства, и особенно такие, как у него, добром не наживаются: миллионы, наполняющие его сундуки, были когда-то рублями в руках бедных людей, а теперь у многих из этих бедняков не осталось и куска хлеба. Не думай, мой друг, что я осуждаю Злобина, но меня не приводит в умиление то, что из своих сундуков, набитых миллионами, он выбросил несколько тысяч только для того, чтоб они звякнули на всю Россию и разнесли по ней славу его имени.

Другими глазами, друг мой, я смотрю на подвиг Новикова — помнишь того кроткого, прекрасного старика, которого мы раз видели у Глинки и еще назвали благообразным Иосифом? Я потом перечитала все его журналы, книги и даже «Древнюю Российскую вивлиофику». Ведь уж кем его ни называли — и якобинцем, и мартинистом, и масоном, и безбожником! А у этого безбожника оказалась такая прекрасная душа, что ей поклоняться нужно. И недаром так благоговеет перед ним милый Алексей Федорович — учитель твой, Мерзляков, да и Козлов его глубоко уважает. Так этот безбожник Новиков устроил теперь в своем имении, в Авдотьине, лазарет для раненых, отдал под это заведение весь свой дом, снабдил его всем нужным, ухаживает за больными, как отец родной, а сам помещается в избушке своего пчелинца, на пчельнике. Вот это я называю подвигом человеколюбия; это бо́льшая, мой друг, жертва, чем сто тысяч, оторванные от миллионов и привешенные к звонкому языку графа Ростопчина.

Но, Господи! — до чего довело меня горе общее, бедствие народное! Я открываю в себе постыдное качество: во мне

начинает сказываться злоязычие. В самом деле, за что я обижаю Злобина, за что я так злословлю Ростопчина? Ведь я их осуждаю. Но не ошибаюсь ли я сама в моих суждениях? Что я сама сделала, чтоб иметь право говорить так о других? Пожертвовала несколькими тряпками на корпию? Но, Боже мой! — что же я могу еще сделать? Что! А что сделала та необыкновенная девочка, которая от далекой Камы дошла, одинокая, в казачьем или уланском одеянии, от всех скрывая свой пол, — дошла до границ русской земли, мало того — перешла эти границы вместе с прочими войсками, билась лицом к лицу с этим страшным апокалипсическим зверем и, может быть, теперь ее нежное тело лежит, бездыханное, где-нибудь в поле, и вот эти птицы, что сегодня летели через Кремль *туда куда-то*, завтра утром начнут клевать его, и непременно с глаз: говорят, что птица всегда с глаз начинает клевать мертвого человека. Ах, Аннет, как все это страшно, как безотрадно все это!

Сегодня я кормила в саду своих кроликов и вспомнила тебя и Дениса. Помнишь, когда весной он приезжал сюда из армии по какому-то спешному делу и застал нас с тобою в саду около этих кроликов, которых мы кормили только что пробивавшеюся из земли травкою, — он так весело и самоуверенно сказал нам: «Смотри же, кузина, и вы, барышня, постарайтесь, чтоб к нашему возвращению из похода кролики были так откормлены травкой и капусткой, как Наполеон человеческим мясом, и тогда мы с Бурцевым позавтракаем их мясцом после хорошей выпивки». Да — бедный Бурцев, бедный Денис! Может быть, вашим телом скоро позавтракают хищные птицы, а невинные кролики будут поданы к столу изверга рода человеческого... Но, Боже мой! Боже мой! Что за мрачные мысли у меня! Прости меня, мой нежный друг, — вместо письма-дневника, который бы развлек тебя, я написала что-то очень горькое и печальное. Прости меня, но видит Бог — темна душа моя, темна, как могила. Я нигде, ни в чем не нахожу себе успокоения — все думаю, думаю, думаю! Сегодня даже мама журила меня за мое уныние: она говорит, что я очень, очень похудела.

А тут и Козлов хочет уходить в армию. Что ж это будет такое! Ах, душечка Аннет, я боюсь сама себе признаться, а, кажется, это так, и это открытие принесло мне новые муки: я, кажется, люблю Козлова. Понимаешь ты это? Я сама поняла весь ужас моего положения только тогда, когда он сказал, что поступает в ополчение и понесет свою «беспутную голову туда, где каждый день падают благородные головы».

Я теперь чувствую, что я, лично я, теряю все, все — и Россию, и его! Не оттого ли и страдаю я так, что страдаю лично? О, какая же я низкая!..»

Аннет не дочитала письма. Она плакала.

XI

— Это что за село, братцы?

— Бородино называется.

— Бородино! А поди, привал будет?

— Должно, будет. Вот поспим! Страх спать хочется.

— Да и пожрать бы чего мокренького — ух, хорошо бы!

— А как под Смоленским она, чинёнка эта, упадет коло нас, да как завертится, а мы все наземь, а она как — у! — сыпанет землей, а Типка наш как чихнет с испугу — что смеху было!

— А они в то время огурец ели — большой такой, так и не доели, обех скосило...

— Ну, и с..... же ты с..., после этого...

Дурова машинально прислушивалась к бессвязной, по-видимому, но для нее теперь имеющей глубокий смысл болтовне своих улан, тихо покачиваясь на седле впереди своего взвода, в то время, когда полк их подходил к какому-то селу, которое солдаты называли Бородиным. То, что она вынесла, пережила, передумала и перестрадала вместе с этими безответными, непостижимо выносливыми людьми в течении пяти лет и в особенности в эти последние страшные месяцы, придавало этим словам значение, познать цену которого можно было только в школе, пройденной ею и ими. Это желание чего-нибудь «мокренького» после длинных переходов под августовским солнцем, когда пыль набивалась в глаза, и в рот, и в легкие; эта надежда на то, что поспать можно будет наконец, этот смех над осколками разорвавшейся гранаты, этот огурец, не доеденный потому, что... э! да это целая история отечественной войны, наша грустная «Илиада»... Дурова не надеялась уже ни на что, как никто, кажется, не надеялся, и у нее оставалось только одно желание — поспать, забыться. Назначение главнокомандующим Кутузова подняло было дух войска, но когда увидели, что положение дел от этого не изменилось ни на волос к лучшему, всеми овладела какая-то досадливость. Даже солдаты начинали скучать и злиться, неизвестно за что, по-видимому, друг на дружку, на лошадей и на окружающие предметы. То и дело слышались неизвестно

к кому относившиеся возгласы: «эй ты, черт!», «а, да провались ты! не до тебя!», «эй, который!»; «который» особенно казалось бранным словом.

В особенности Дурову поразила сцена, на которую она наткнулась при въезде в Бородино. У крайней избы, на завалинке, сидел Давыдов (он не был убит под Смоленском, как это сгоряча показалось Бурцеву), а около него терся об локоть серенький котенок, грациозно выгибая спинку. Против Давыдова стоял старый Пилипенко и не то улыбался котенку, не то показывал вид, что хмурится на него, — не мешай-де начальству, не до тебя. Давыдов казался сердитым, но не просто сердитым, а как бы с похмелья, словно бы он сердился на самого себя.

— Ну, а Егоров? — лаялся он как-то по собачьи, косясь добрыми глазами на котенка.

— Убит, ваш-скородие, — казенно отвечал Пилипенко, тоже покашиваясь на котенка.

— А Гладкой?

— Убит, ваш-скородие.

— Ну, а Пташкин там?

— Убит, ваш-скородие.

— Да что ты, старый черт, заладил — убит да убит!.. Ну, пошли там кого другого — кто из унтер-офицеров, который остался...

— Слушаю-с, ваш-скородие.

Давыдов взял на руки котенка, чтобы скрыть слезы, которые готовы были брызнуть: накануне его отряд, прикрывая движение пехоты, несколько часов держался против втрое сильнейшего неприятеля и был вторично перебит наполовину. Дурова знала это, и собственным переболевшим сердцем угадала, что двигало рукою гусара, гладившею котенка в то время, когда в ушах его раздавалось ужасное «убит, убит и убит»: и сердцу, и глазам, уставшим смотреть на убивающих и убиваемых, хотелось отдохнуть на других картинах, отвести душу на невинном личике ребенка, забыться вдали от этой области ужасов, смерти и страданий. Люди казались такими страшными, такими злыми и беспощадными, что рука, уставшая губить других и безжалостно защищать свою собственную жизнь, невольно тянулась погладить шелковистую головку ребенка, приласкать косматую собачонку, глупого, беззаботно мурлыкающего котенка.

Только что Дурова хотела было поздороваться с Давыдовым, как услышала церковное пение, простая, но задушевная мелодия которого глубоко проникала в душу и, как по

свежим ранам, проходила по притомленным, болезненно усталым нервам. С горки, по московской дороге двигалась процессия, во главе которой колыхалось что-то блестящее, далеко отбрасывавшее от себя лучи полуденного солнца, освещавшего бородинское поле и окрестные возвышенности, зеленевшие редким кустарником и лесом. То была большая икона, несомая солдатами. Из-за серебряного с золотым венцом оклада выглядывал темный лик Богородицы. Большие, заметно выделявшиеся на темном фоне лика глаза Богоматери, казалось, строго глядели туда, вдаль, на те зеленевшие лесом возвышения, откуда с часу на час ожидалось появление того страшного чудовища, которое неустанно гнало русские войска от границ к самому сердцу страны. Что-то рыдающее слышалось в дребезжащих голосах сопровождавшего икону духовенства. На усталых, вспотевших лицах носильщиков покоилась уверенность во всемогуществе совершаемого акта и глубокое благоговение. Солдаты, работавшие у возводимых на ближайших холмах насыпях для установки орудий, бросали заступы и лопаты, друг за дружкой бежали навстречу иконе; некоторые при ее приближении бросались ниц на землю, среди самой дороги, для того чтобы через них прошла несомая по войскам святыня. Детскою, умилительною верою светились глаза солдатиков при взгляде на Богородицу; руки, на минуту оставившие ружье или лопату, широко и размашисто вскидывались в воздухе, чтобы перекрестить тело, которое не сегодня-завтра, может быть, будет раздроблено, раздавлено, искалечено; пересохшие и потрескавшиеся от солнца и пыли губы шептали молитвы, в которых часто ничего другого не слышалось, кроме «Матушка Богородушка».

Навстречу иконе, вдоль линии возводимых укреплений, выступал эскорт всадников, большею частью в генеральских мундирах всех оружий. Несколько впереди всех, на массивном с толстыми ногами и густою гривою коне, плавно покачивалось и тихо вздрагивало не менее массивное, ожиревшее тело с несколько приподнятою лысою головою, покоившеюся на жирной, с двойным подбородком шее. Все это тело, начиная от большого, свисшего к седлу живота и кончая толстыми обвисшими руками и ногами, плечи, опустившиеся книзу, толстые обвисшие щеки — все это казалось старчески дряблым, ожиревшим, осунувшимся. И выражение лица гармонировало с остальным телом: один глаз смотрел как-то сонно, апатично, как это часто видится у стариков, а другой казался совсем мертвым, остеклелым.

В этом осунувшемся на седле старом теле Дурова сразу угадала Кутузова, которого прежде не видала и на которого теперь вся Россия должна была возлагать свои надежды. Что-то острое шевельнулось в сердце девушки при виде главнокомандующего. В уме ее мелькнул образ другого — с лицом сфинкса под странной, единственной в мире треугольной шляпой и с неразгаданными глазами на этом бледном египетском лице... А этот осунувшийся?.. «Нет, не такого бы теперь надо», — невольно заныло в ее сердце.

Почти рядом с ожиревшим лицом Кутузова плавно покачивалось на длинной шее длинное, сухое, с длинным прямым носом, остробородое лицо, которое тоже, казалось, с сожалением искоса взглядывало иногда на жалкую старческую фигуру главнокомандующего и щурилось, косясь на кувыркавшихся перед процессиею солдатиков, казавшихся такими жалкими детьми. Этот длиннолицый был Барклай-де-Толли, командовавший Первою армиею. Рядом с ним — уже давно знакомое нам энергическое с сильным восточным типом лицо Багратиона, командира Второй армии: по этому бесхитростному лицу пробегала добродушная улыбка всякий раз, как глаза его встречались с широко раскрытыми, почтительно и наивно-изумленными глазами солдатиков. Далее, за плечами и по бокам этих трех главных полководцев виднелись лица второстепенных вождей — молодое лицо Ермолова, Дохтурова, Коновницына, Кутайсова и сухоносый, загорелый более других облик Платова.

Ввиду приближения иконы Кутузов несколько своротил в сторону и остановил свою лошадь. Остановилась и вся его свита. В кучках солдат, подбегавших к образу и кланявшихся в землю, произошло движение; иные попятились назад, одни вытянулись, другие еще усерднее стали креститься. Кутузов долго, с трудом, слезал с лошади, налегши тучным животом на гриву и перетаскивая свою толстую, неповоротливую, точно чужую ногу через высокую луку седла. Коновницын, успевший соскочить с своего коня, поддержал старика.

— Спасибо, голубчик... Вот кто нас всех поддержит, — указал он на икону, которая остановилась.

Кутузов, давно снявший свою белую фуражку, неловкими шагами, переваливаясь и торопясь, подошел к иконе и, припав сначала на одно колено и упираясь рукою в землю, упал потом на оба и лысым высоким лбом приложился к земле. Старческая фигура его представляла что-то невыразимо жалкое и как бы младенческое. Поднявшаяся затем с земли голова тряслась, губы и глаза подергивались, как бы собираясь плакать.

При помощи Коновницына он встал на ноги и поцеловал руку иконы.

По серебру оклада пробежала слеза и спряталась под жемчужными подвесками. Стоявший у самой иконы поп с крестом усиленно заморгал глазами и затоптался на месте. Солдаты громко вздыхали, как будто бы кругом не хватало воздуху. Издали, из-за покрытого лесом взгорья, доносились неясные звуки рожков, а иногда слышался какой-то смутный гул, волнами проносившийся над тем же взгорьем: Дурова догадалась, что это там, по закрытому лесом взгорью, французские войска приветствуют своего императора. А тут было тихо: русские войска собирались молиться... После Кутузова другие генералы также подходили к образу и кланялись в землю. Ветерок, дувший от Бородина, тихо шевелил церковными хоругвями, которые как-то жалобно поскрипывали. Низко, почти над самыми обнаженными головами солдат проносились ласточки и испуганно шныряли в сторону. Слева, с возвышенного, но полого бугра, доносились поскрипыванья колес: то скрипели тачки, на которых солдаты подвозили землю, укрепляя редут Раевского или правые флеши.

Началось молебствие. Солдатики, не слыша привычного возгласа начальников «смирно!» — понадвинулись стеной и усиленно замахали руками, торопливо перемахивая сложенными пальцами со лба на живот да на плечи. Скрипучий голосок священника как-то особенно скрипел по душе, и Дуровой, при виде голубого неба, по которому пробегали облака, казалось, что и эта тихая, робкая молитва, и эти сдержанные, в виду начальства, солдатские вздохи несутся прямо туда, ввысь, до самого голубого неба. Кутузов стоял, нагнувши голову, точно дремал, и только иногда качал тихонько этою большою головою в такт молитв священника.

А гул со взгорья доносился то явственнее, то глуше, иногда он смолкал совсем, то вдруг прорывался, словно бы то была далекая стрельба... «Это он, — думалось Дуровой, — заряжает французские сердца... Быть чему-то страшному...»

Кончилось молебствие. Все сыпнули к кресту и к водокроплению. Кутузов со свитою поехал вдоль линии войск, по направлению к редуту Раевского и к багратионовым флешам, темневшимся черными дулами пушек впереди поселка Семеновского: это был ключ позиции русских — жалкие, наскоро сделанные крепостцы, все утыканные пушками и защищаемые не стенами, которых не было, а живым мясом, которое вон как закопошилось, издали увидавши «дедушку». Икона с процессией также двинулась перед войсками, расположенными в

первой позиции, в той, которая первою должна была принять на себя ожидаемые удары неприятеля.

В это время между солдатами, сопровождавшими икону, произошло какое-то движение. Все поднимали головы и указывали на какую-то огромную птицу, которая, медленно махая крыльями, летела через бородинское поле по направлению к флешам Багратиона.

— Смотри-тко, братцы! Смотри, какая птица!

— Ай-ай! Да это, никак, баба-птица... Уж и крылья же саженные — ну!

— И впрямь баба! Вот птица!

— Како баба? — орел!

— Орел и впрямь!.. Орел... Ай-ай!

Дурова, следовавшая за процессией, видела все это и слышала, и сердце ее болезненно сжалось. Она заметила, что когда орел пролетал над Кутузовым и его свитой, там тоже увидали редкого пернатого странника и указали на него главнокомандующему. Старик поднял голову, снял шапку и перекрестился. Над рядами, мимо которых проезжал главнокомандующий, пронеслось громогласное «ура». Испуганная птица метнулась в сторону, торопливо замахала своими огромными крыльями и взмыла в виду изумленных войск. Дуровой припомнилось, что она где-то читала, как появление орла над войсками, готовящимися к бою, римляне считали предвестником победы. Ей самой хотелось верить этой примете, но почему-то не верилось. Она видела, что орел летел оттуда, с того таинственного взгорья, по которому проходил неясный гул голосов: орел, значит, и там пролетал, над *ними*, а может быть, он *их* же голосами и был где-нибудь вспугнут. Но вернее ей казалось, что этот неожиданный пролет орла — нерадостная примета: или этот орел чует скорую поживу, или он давно сопутствует войску, может быть, уже несколько лет совершает походы вместе с Наполеоном, зная, что где он — там и трупы, пир горой для всякой хищной птицы. Недаром в казацких думах, которые так глубоко трогали ее душу, когда она гостила когда-то в Малороссии, постоянно упоминаются около умирающего казака «орлы сизокрыльцы» и «волки сероманцы». Дрожь пробежала у нее по телу, когда, при виде этого орла и этих детски наивных, обращенных на него глаз солдат, она невольно заглянула в таинственное «завтра», может быть, даже «сейчас», тогда как здесь, казалось, ничто еще не было готово для встречи врага, хотя все были готовы для встречи смерти: многие из солдат уже сегодня утром надели чистые рубашки, у кого таковые были, как бы готовясь к причастию.

Между тем икона останавливалась то там, то здесь, смотря по расположению частей армии, и всякий раз около нее кучились солдаты, как дети около матери. Обнесли Богородицу и вокруг люнета Раевского. Скоро потом риза ее заискрилась и на высотах флешей Багратиона: Багратион сам встретил Смоленскую святыню и вместе с солдатами вынес ее на самый высокий редут, как бы желая этим сказать неприятелю: «Смотри — вот где крепость русского народа: ее ты не победишь ни пушками, ни всеми легионами старой гвардии»...

И Наполеон действительно смотрел в это время с высоты взгорья, с возведенного им за ночь у Шевардина редута, смотрел в зрительную трубу, положенную им на плечо Мюрата, и не мог понять истинной причины необыкновенного движения русских в этом пункте, именно на высоте флешей Багратиона: он видел только, как в одном пункте что-то блистало и искрилось, и около этого искристого пункта, около светлой точки толпились московиты; он догадался, что это носили по войскам и укреплениям русскую святыню и понял, что в этих именно местах он и встретит самое стойкое сопротивление со стороны этих досадливых варваров.

Кутузов с своей стороны хотел также, по-видимому, осмотреть позиции неприятеля. Подъехав к багратионовым флешам, он сошел с лошади с той же неожиданной помощью Коновницына, бросил поводья как-то не глядя, потоптался около ординарца, который мигом завладел его лошадью, посмотрел, щурясь, на процессию, повернувшую во вторую линию войск, и, пыля ногами, поднялся на возвышение редута. Присев на дышло зарядного ящика, он долго щурился на возвышение у Шевардина, где стоял Наполеон, окруженный свитою.

— Дай, голубчик, — сказал он, отыскивая кого-то глазами и протягивая руку.

Коновницын тотчас же снял висевшую у него через плечо на перевязи зрительную трубу и подал ее главнокомандующему. Кутузов раздвинул ее, долго наводил по направлению к шевардинскому редуту, жевал что-то губами. Руки его, видно было, тряслись. Некоторые из генералов свиты молча переглядывались, косясь на старика, который с сдвинутою на затылок белою фуражкою походил на кормилицу в кокошнике.

Впереди редутов, по равнине, по направлению к левому крылу армии, двигались казацкие полки. Увидав главнокомандующего, они дружно выкрикнули «ура». Крик их подхватили ближайшие колонны войска, и «ура» пошло по линиям. Един-

ственный здоровый глаз старика замигал, и зрительная труба еще более заходила в руках.

От казаков отделился кто-то в красной фуражке, съехавшей на затылок, и подскакал к флешам.

— А! Вот моя зрительная труба! — с улыбкой сказал Кутузов, глядя на подъехавшего.

Подъехавший был Платов. За пять-шесть лет, как мы его не видали, лицо его еще более покоричневело и лицевые мускулы заметно почерствели. Соскочив с коня, он быстро взошел на редут и приблизился к Кутузову. Старик ласково посмотрел на него.

— Вот где мои глаза — глаза русской армии, — с улыбкой обратился старик к Платову. — Ну, что видели мои глаза, что разузнали?

— Имею честь доложить вашей светлости, что в сию ночь к утру расположение неприятельской армии изменено: против Бородина, за речкою Калочею, выдвинут корпус вице-короля, который и составляет левое крыло армии; на правом фланге — корпус Понятовского к старой смоленской дороге; в центре, от Шевардина до Калочи — Мюрат с корпусами Нансути, Монбрюна и Латур-Любюра. Главная квартира — в Шевардине. Казаки мои видели, что французы возводят укрепления против Бородина и вон там прямо, — Платов показал вперед на взгорье, куда Кутузов сейчас безуспешно наводил зрительную трубу, — у Шевардина.

— Я так и знал, — как бы отвечая на свою мысль, сказал главнокомандующий. — Спасибо, мой друг.

Риза Богородицы между тем поблескивала уже далеко, переносимая от одной части войск к другой, которые в свою очередь двигались то в ту, то в другую сторону, занимая позиции, указанные им распоряжениями командовавших армиями. За этими передвижениями и день прошел. Дурова с своими уланами и с гусарами Давыдова очутилась позади багратионовых флешей, как раз у поселка Семеновского.

Солдаты дождались наконец того, чего так долго не имели: и привал, и «мокренькое» — накануне битвы.

«Ребята! Водку привезли! Ступай к чарке!» — кричали по рядам квартирьеры, когда наступил вечер.

— Не к тому готовимся — не такой завтра день, — отвечали некоторые из солдат, вынимая из ранцев чистые рубахи.

— Не до водки теперь — к Богу, может, позовут сичас... а то водка...

— Рубаху чистую — это так: к Богу идем...

Другие шли к чарке. Выдавали всего двойную порцию, чтоб подкрепились люди.

Вечер становился сырым и холодным. То там, то здесь замигали бивачные огни, но как-то недружно: солдаты, видимо, неохотно разводили их — не то на душе было. Зато там, через равнину, по туманному взгорью ярко пылали огни французской армии.

Когда совсем стемнело, Дурова, отдав коня денщику, пошла пешком к багратионовым флешам, которые возвышались впереди ее полка. У самого среднего редута толпились защитники этой главной укрепленной позиции — гренадеры сводной дивизии. Одни из них, усевшись вдоль окопов, тихо, неохотно перекидывались словами; другие, сидя кружками на земле, хлебали что-то деревянными ложками из больших деревянных же мисок; иные лежали, укрывшись шинелями, и не то спали, не то думали молча. С другой стороны редута, под защитою земляной насыпи, горел небольшой костер и освещал то лицо, то профиль, то вооружение стоявших около костра: то были офицеры сводной гренадерской дивизии. Они о чем-то говорили. «Наше счастье, господа, — говорил один голос, в котором Дурова узнала голос графа Воронцова, командира сводной дивизии, предназначавшейся защищать флеши, — у *того* известная тактика — всею тяжестью обрушиться на центр неприятельской армии, чтобы потом бить ее по частям... Мы, господа, лихо примем этот удар»... Металлический голос говорившего звучал как-то странно в ночном воздухе; у Дуровой сжалось сердце от этого голоса.

Она искала Давыдова, но не находила, и воротилась к месту своей стоянки, к Семеновскому. В овражке, по которому протекал ручей, около воды в темноте копошились солдаты, позвякивая манерками. То там, то здесь фыркали лошади, звеня мундштуками. Кое-где раздавались понуканья, сердитые покрикиванья то на лошадей, то друг на дружку. В самом Семеновском, в некоторых избушках, мелькали огоньки, то и дело заслоняемые двигавшимися в темноте тенями. Иногда раздастся конский топот скачущего в темноте ординарца или вестового, донесется неясный вопрос: «которой дивизии?», «где командир?» — хлопнет быстро затворенная дверь, звякнет щеколда, нерешительно залает собака.

Дурова нашла своего денщика у одного из костров, вокруг которого сидели офицеры ее полка, закусывали на ночь, запивали и говорили о предстоявшем утре. Она присела тут же, отказалась от предложенного ей угощения, потом, пригретая

огоньком, улеглась на земле, закутав голову шинелью, и под говор товарищей уснула как убитая.

Сон перенес ее далеко от костра. Виделись ей картины детства. Она играла с собаками на берегу Камы. На горе стояла Наталья, горничная, и звала ее чай кушать. Артем, конюший, вел Алкида на водопой. Увидав свою барышню, избалованный конь заржал, да так громко, что земля задрожала — и девушка проснулась...

XII

Действительно, земля задрожала и разбудила спавшую у потухшего костра Дурову.

Она вскочила, не понимая, что с ней и где она. Перед ней стоял денщик и держал в поводу ее лошадь. Солнце только что выглянуло из-за лесу и тумана. Эскадрон строился рядами.

Скоро она все поняла. Страшные залпы оттуда, из-за долины, и такие же встречные залпы с редутов Багратиона и со всех ближайших батарей буквально потрясали и воздух, и землю. Казалось, само небо гремело.

Эскадрон Дуровой выстроился на возвышении, левее Семеновского. Оттуда видно было, что делалось впереди. По сторону ложбины, тянувшейся от возвышений, на которых возведены были Багратионовы флеши, до противоположных возвышений, подходивших к Шевардину, оставалось никем не занятое пространство, разделявшее русских от французов на несколько сот сажен. Обе грани этого свободного пространства — русская и французская — дымили по всей линии и сверкали брызжущим огнем: это были какие-то огненно-дымные коймы, изрыгавшие адский огонь и неумолкаемо грохотавшие. Скоро такой же грохот начался и гораздо правее, против Бородина, и против самого центра. Дым относило вдоль этих огненных окаймлении к югу, и заволакивало лес, раскинувшийся за деревней Утицей.

Скоро огненно-дымные коймы с той стороны, от французов, не переставая грохотать и застилать небо дымом, а еще усиливая эту дьявольскую грохотню, как бы разорвались на несколько частей, и из-за дыма выдвинулись стройные массы, сверкая оружием. Это неприятель повел атаки на флеши Багратиона и на Бородино. Живые стены двигались по свободной от дыма долине как на парад. Живые стены двинулись и с нашей стороны; нога в ногу шли солдаты, колыхаясь целыми колоннами.

Вдруг среди грохота пушек раздалось какое-то лопотанье, сначала залпом, а потом неумолкаемою дробью. Это задымили из ружей живые, двигавшиеся одна на другую стены. И с той, и другой стороны поднимались кверху руки и вместе со всем телом опрокидывались назад или падали ничком вперед, падали почти целыми колоннами, а другие, шагая через упавших, тотчас смыкались в такие же стены и шли вперед. Французы явно давили наших — вот они уже, опрокидывая наши колонны, взбираются к самым редутам...

Дрогнуло сердце у Дуровой. Рука, невольно схватившаяся за саблю, дрожала... «Воронцов был прав, — колотилось у нее в сердце, — на его редуты смерть идет...»

— В атаку! С места марш-марш! — грянул чей-то голос.

И Дурова пришла в себя только тогда, когда увидела, что вместе с своими уланами, с гусарами Давыдова и новороссийскими драгунами она врезалась в неприятельские ряды и саблей била по направленным на нее штыкам.

— Маршал Даву упал! — закричал кто-то у нее сбоку. — Убит!

Там, со стороны французов, в толпе, которая явно расстроилась, среди криков, стонов и лязга сабель, послышался какой-то стон испуга. Французы дрогнули. Багратионовы флеши были удержаны.

Почти не сознавая ничего, что вокруг делается, Дурова, так сказать, огляделась только тогда, когда эскадрон их снова занял прежнюю позицию на возвышении. Из отрывочных фраз солдат и офицеров, из слов команды и из самого положения позиции она поняла, что атака французов на флеши была отбита, хотя с огромным уроном с нашей стороны, что под маршалом Даву убита лошадь и сам он упал, должно быть убитый, что видели, как упало еще несколько французских генералов, а что там, на правом крыле, дело плохо: французы опрокинули наших через речку и заняли Бородино... Дуровой почему-то при этом страшном известии вспомнился тот серенький котенок, который вчера терся на руках у Давыдова... Вместе с тем она как бы в тумане видела, что та свободная ложбина, которая отделяла русские войска от французских, уже несвободна: вся ложбина была чем-то застлана, чем-то черным и серым с красным; в иных местах лежали целые кучи, а меж ними беспорядочно двигались люди... То валялись убитые и раненые, люди и лошади, а меж ними двигались люди с носилками, подбирая некоторых, а остальных бросая в ложбине. Так как команда из-за ложбины и с наших редутов умолкла, то слышалось что-то еще более страшное: стоны и крики

раненых не только людей, но и лошадей... Все это и виделось и слышалось тут, точно в полусне... По всем направлениям скакали офицеры — это летели вести и приказы во все концы, просились подкрепления, отыскивались разрозненные части, собирались беглые сведения об уроне.

А между тем Дурова видела, что из-за тыла их эскадрона и с боков, с задних линий, подвигались новые силы к передним линиям, и новые массы орудий втаскивались на возвышения. Иные пушки солдаты тащили на себе, падали, снова поднимались и тащили. Из зарядных ящиков образовался целый табор.

По рядам снова прошли командные крики. Снова задымились окраины ложбины; но эти окраины так сблизились одна с другой, что видны были лица французских артиллеристов, пока эти лица не заволоклись дымом. Скоро дымные окраины превратились в огненные линии. Снова из-за огня артиллерии вынеслись страшные живые стены, и, после убийственных залпов, со штыками наперевес, пошли вторично в атаку. Первые наши ряды, защищавшие багратионовские флеши, были быстро сломлены и смяты. Все смешалось и дрогнуло по сю сторону редутов, натиск нападения оказался слишком стремительным, и французы ворвались в левую флешь. Дурова, которой эскадрон стоял теперь во второй линии, видела несколько минут, как на левой флеши сверкали палаши наших гренадер; но скоро гренадеры все полегли. Несколько минут еще слышен был на правом редуте металлический голос Воронцова (она опять узнала его издали), но скоро и его, бледного, окровавленного, покрытого разорванным и окровавленным знаменем, пронесли на носилках мимо улан не свои гренадеры, а чужие: его дивизия вся полегла на месте — Багратионовы флеши были в руках французов.

Дурова оглянулась на своих улан. Лица сосредоточенные и бледные, большею частью пепельные; казалось, у каждого зубы стиснуты, как от нестерпимой боли. И Дурова стиснула зубы, потому что чувствовала, как ходенем ходила ее нижняя челюсть — ее била лихорадка.

Со второй и третьей линии опять надвигалась пехота. Это Багратион, пораженный потерею своих редутов, послал в дело свежие войска. Пехота шла в ногу, под задорную, но строгую дробь барабанов. И лица солдат смотрели строго: казалось, они идут в церкви прикладываться ко кресту или к чудотворной иконе — вчера они так подходили к образу Смоленской Богородицы. Все ближе и ближе подходят к редутам, над которыми они же вчера мозолили руки, укрепляя их и обводя окопами; и сегодня эти редуты не их уже, а французские: вон

из-за дыма поблескивают наполеоновские орлы на древках, точно собираются лететь на новую добычу.

Редуты брызнули огнем и загремели; между редутами — тот же брызжущий тонкими полосками огонь; но пехота, падая и смыкаясь снова, продолжает выбивать такт на своей собственной могиле; ложатся целые ряды этих серых строгих лиц, но колонны, уменьшаясь в числе, все двигаются вперед. И с той стороны прибывают свежие силы. Впереди конных егерей, несущихся на нашу пехоту, Дурова явственно различает картинную фигуру Мюрата, которого она видела еще в Тильзите.

Но скоро все смешалось — пехота, егеря, кирасиры, драгуны, уланы... Когда эскадрон Дуровой, заскакав сбоку пехоты, за правый редут, вместе с кирасирами и драгунами опрокинул мюратовых егерей и когда они поворотили влево, Дурова увидела, что на флешах вместо французских орлов опять треплется в дымном воздухе наше тяжелое знамя и блестят знакомые кирасы: флеши были опять отбиты, но ненадолго.

Наша пехота была почти вся перебита. Промежутки между редутами были завалены трупами. Хотя к Багратиону подходили новые, не бывшие в деле дивизии, хотя редуты были в наших руках, и свежие полки, словно подвижные щиты или шанцы, по выражению очевидца француза, сверкая сталью и пламенем, атакуемые конницею, опять заполняли собою утерянное их мертвыми товарищами пространство у редутов, — однако брызнувшая из сотен огненных глоток картечь уложила и эти полки почти все на месте. Уланы Дуровой понеслись по трупам навстречу французской кавалерии, топтавшей остатки нашей пехоты; но их также встретил чугунный дождь. Дурова инстинктивно закрыла глаза, как человек закрывает их при порыве ветра с пылью, только тут вместо пыли в воздухе визжала картечь. Когда она открыла глаза, многие уланы и лошади бились уже на земле. Под иным раненый конь одыбился и бился на месте; иного унесло вперед; там всадник, откинувшись на седле назад и расставив широко руки как бы для объятий, несколько мгновений мчался через трупы и сам падал на них; иной, уткнувшись лицом в гриву коня, опустив руки, как плети, умирал на седле; третий, завязнув ногой в стремени, волокся за лошадью и колотился головою о головы мертвых товарищей, о ружейные приклады, о трупы лошадей.

А канонада с обеих сторон уже превратилась в какой-то сплошной гул и рев, от которого дрожали и земля и небо. Ни команды, ни криков, ни стонов уже не слыхать. В двух-трех шагах от себя Дурова увидела проехавшего Багратиона, который отдавал ехавшему с ним рядом адъютанту приказания и,

по-видимому, кричал громко, хотя хрипло, но Дурова за ревом орудий не могла расслышать его слов: она только видела его насупившееся покрасневшее и вспотевшее лицо и закушенные губы, из-за которых вылетали отрывочные, как бы бранчливые фразы...

Но вдруг он пошатнулся на седле, быстро поднял левую руку, словно боясь потерять равновесие, и упал грудью на гриву лошади. Адъютант и Коновницын, бывший тут же, бросились поддержать его. Он приподнял голову, что-то, по-видимому, сказал, и опять уткнулся носом в гриву. Около него тотчас столпились, сняли его с седла, и четыре гренадера понесли его на руках, как носят убитых...

Унесли Багратиона. Он уже не видел, как его флеши, за удержание которых он заплатил жизнью, оглашаясь криками атакующих, беспрерывно дымясь и сверкая огнем, заваленные трупами, подбитыми и опрокинутыми пушками, ружьями с изломанными штыками и прикладами, переходя из рук в руки, то от нас к французам, то от французов к нам, буквально залитые кровью сверху и подтопленные снизу, — наконец, к полудню, окончательно остались за французами.

Русские были отброшены к Семеновскому, за овраг, где накануне ночью Дурова слышала копошившихся и звеневших манерками солдат, и расположились на высотах по обеим сторонам селения.

День прошел только наполовину, а часть поля была уже проиграна русскими, и не только проиграна, но укрыта трупами лучших частей армии, цветом молодежи, еще вчера так усердно молившейся чудотворной иконе и сегодня утром встречавшей солнце с тою же мольбою о спасении. Нет, ничто не спасло. Вон лежат по равнине и около редутов по всему скату до оврага распластанные тела — кто запрокинув голову и уставив остеклевшие глаза к этому солнцу, которое, словно безмолвные укоры, бросает на мертвые лица свои негреющие лучи; кто, уткнувшись носом в кровавую землю и расставив руки, как бы целует эту безжалостную мать сыру землю; кто раскинулся поперек трупа своего врага, а кого и не распознаешь — человек ли это, или что-то ужасное...

Но французы не думали кончать дела; им было мало того, что они сделали. Им надо было отнять у нас и Семеновское, как они отняли Бородино. Они выдвинули теперь свои ужасные батареи к самому семеновскому оврагу, за которым опять густыми колоннами выстроилась наша пехота, та, которая уцелела, и та, которая подошла вновь. Опять застонала земля от орудийных залпов. Клубы дыма вместе с огнем, ядрами и кар-

течью неслись через овраг. Чугун опять рвал свежепостроенные ряды пехоты. Жертвы валились, как трава под ветром, и вдруг среди этого ада с обеих сторон, с боков, обрушились на нас массы кавалерии Мюрата, которая обошла русскую армию и выше, и ниже Семеновского. Наполеоновские железные кирасиры — hommes de fer — обошли наши войска даже с тылу, и гибель русской армии казалась неизбежною. Сдавленные словно клещами, справа, слева, сзади обсыпаемые картечью в лицо, уже давимые по краям копытами железных всадников, громимые ружьями с седел, рассекаемые палашами, пробиваемые копьями — русские искали последнего спасения в сомкнутых каре, среди которых, как за живыми крепостными стенами, укрылись генералы. Ощетинясь штыками, русские целыми каре, разом, сыпали в неприятеля, давившего их, градом пуль, а потом с разряженными ружьями ходили в штыки на кавалерию, пробивая в грудь коней, сшибая прикладами с седел всадников, добивая их чем попало...

Но все-таки и Семеновское было потеряно нами. В то же самое время и редут Раевского пал, как пали багратионовы флеши. Все было потеряно — и поле битвы, и укрепления, и села, и армия, бывшая в деле — все!

Где же в это время был Кутузов? Что делал маститый главнокомандующий, когда у нас все погибало?

А вот он. Ровно за четыре версты от главного поля битвы, у сельца Татаринова, на выезде, старик сидит на солнышке и, пригретый его плохо греющими старую кровь лучами, кушает, обгладывая легонько, куриное крылышко. Высокий лоб его с лысиной светится над тучным, нагнувшимся над тарелкой лицом, покрасневшим от усилия — чище обглодать беззубым ртом жесткое крылышко. Жирный, пухлый, как у ребенка, подбородок свесился на салфетку, обвязанную, тоже как у ребенка, вокруг его жирной шеи и прикрывающую его белый жилет и тучный живот.

В таком виде увидела его Дурова, когда, вся дрожащая, с перекосившимся от ужаса, отчаяния и боли лицом, она вместе с Каховским, в качестве его ординарца, прискакала к главнокомандующему, чтобы доложить ему об отчаянном положении дел на обоих крылах армии и в центре и просить последних, оставшихся в резерве подкреплений. Едва дыша, она осадила шатающуюся лошадь, и, шатаясь сама, чуть не падая, стала на землю, которая и здесь, казалось, все еще дрожала. Она увидела около Кутузова много других генералов и адъютантов, тоже прискакавших с поля и докладывавших о своем поражении. Тут же, по обеим сторонам

главнокомандующего, сидевшего на деревянной скамье у деревянного, покрытого скатертцею столика и позади его толпились целые кучи штабной знати — все в новеньких, с иголочки, мундирах, с блестящими украшениями, не тронутыми ни пылью, ни кровью, все эти маменькины и батенькины сынки, срывавшие, не шевеля ни мозгами, ни пальцем, ордена и розы жизни, когда другие срывали ее шипы, раны, увечья и смерть, — все это беззаботно между собою шушукалось, переглядывалось, иногда над чем-то и над кем-то подсмеивалось. Стыд и злоба шевельнулись в сердце Дуровой, когда она, сразу, сгоряча, вся охваченная острым ужасом только что ею пережитого вместе с прочими, увидала все это...

А Кутузов продолжал обсасывать крылышко, как бы стараясь не слушать того, о чем ему надоедали. Ведь тысячи раз он уже слышал это, и думал об этом, и давно видел все это — и в Турции за Дунаем, и в Крыму у Алушты, где ему глаз выстрелили, и под Аустерлицем — все это он давно знает и все это давно ему надоело, и думать ему обо всем этом противно...

Не вынимая из рта куриной косточки, он поднял от тарелки насупившееся, досадливое какое-то и лоснящееся лицо. Но лицо оказалось добрым, и единственный здоровый глаз старика светился не то теплотой и лаской, не то слезой. Вынув изо рта крылышко, он пожевал сальными губами, обвел взором стоявших вокруг него, как бы с недоумением остановился на Дуровой, на ее бледном, запыленном, с засохшими на щеках грязными каплями пота лице, остановился как-то добро, участливо, с сожалением, моргнул, словно смахнул с ресницы слезу, и обратился к хмуро стоявшему в стороне молодому генералу. Дурова узнала Ермолова.

— Голубчик! Посмотри — нельзя ли там что сделать, чтоб ободрить войско, — сказал старик ласково, обращаясь к Ермолову словно к ребенку.

У Дуровой от сердца отлегло. Если *он*, этот дедушка всей России, говорит так спокойно, значит, не все потеряно. В этот момент Дурова готова была бы броситься на шею старику и расцеловать его лоснящиеся щеки, лысину, руки.

Ермолов, не говоря ни слова, тотчас же сел на лошадь и поскакал, щуря глаза и окидывая с возвышения взором двигавшиеся в отдалении, по-видимому, в полном беспорядке, полки, колонны, эскадроны, батареи, обозные ящики, больничные фургоны. Над всем полем стояли клубы пыли и целые облака дыма. Каховский и Дурова поскакали за Ермоловым.

Подъехав на недалекое расстояние к кургану, на котором был редут Раевского, он увидел там необыкновенное смяте-

ние — все бежало, падало и катилось вниз, поражаемое картечью французов, которые уже кишели по всему редуту и по кургану. Все казалось потерянным. Барклай-де-Толли, командир всей этой половины несчастной или Первой армии, спешенный, покрытый пылью и кровью, с саблею в одной руке и какою-то тряпкою — обрывком знамени — в другой, сам карабкался на курган навстречу своим падающим и умирающим солдатам и сам, по-видимому, искал смерти. Он что-то бессвязно кричал и махал саблей. Тут же через курган и трупы упавших бешено неслась лошадь Кутайсова, вся в крови и с кровавым седлом, а самого Кутайсова уже не было.

Ермолов спокойным, но резким и твердым криком заворотил две уходившие куда-то конные роты и, приказав ближайшей, еще неподбитой, батарее открыть огонь по редуту, повел эти роты прямо на курган. К нему примкнули другие, третьи — и целою толпою, в образе колонны, ринулись на неприятельские батареи и на самый редут. Началась буквальная резня — колка людей как баранов. И кололи же рассвирепевшие и немного оправившиеся драгуны и пехотинцы!.. «Коли и перекалывай проклятых!.. Так их! Так их!» — «Oh! oh, pardon!» — «А! Пардону просишь! Вот тебе!»

— Je suis roi de Naples! — кричит отчаянный голос. — Oh!

— Стой, братцы, не коли! Это король политанский! Мюрат это ихний! — слышит Дурова знакомый голос — это голос старого Пилипенка, который рядом с Грицком, сыном, недавним французом, уже поправившимся от раны, колол французов, как бывало они калывали когда-то в Малороссии кабанов на сало.

— О! Згода! Згода, панове москали!..

— А! Згода, проклятый полячишка! Так вот же тебе — н-на!

Дурова, повернув коня, с ужасом ускакала из этого ада кромешного. Но и там были ужасы. Она наткнулась на полки принца Вюртембергского Евгения, шедшего на подкрепление Ермолову. Полки невольно разомкнули строй, чтобы пропустить раненого или убитого — Дурова не разобрала; она одно разобрала, что на ружьях, через которые был перекинут плащ в виде носилок, солдаты несли — Ермолова!.. «Голубчик, — заныли в душе ее ласковые слова, — голубчик — посмотри...» Она не в силах была смотреть на эту сцену — и отвернулась. Но и там не лучше. К принцу Евгению подскакал красивый юноша с черными блестящими глазами и осадил лошадь. «Ваше высочество требует к себе генерал Милорадович», — торопливо сказал юноша. «Где генерал?» — спро-

сил принц, невольно останавливаясь. Юноша указал рукою — но не успел: рука улетела вместе с оторвавшим ее ядром. Кровь застыла в жилах Дуровой. Но юноша, у которого унесло руку, удержался на седле. Мало того — он поднял другую руку и показал куда ехать: «Туда! Спешите!» Но и принцу Евгению не на чем было спешить: под ним тотчас пала лошадь, пораженная ядром, и сам он упал навзничь.

В тот же момент Дурова почувствовала всем своим существом, как что-то невидимое ожгло ей ногу и срезало, словно клубком, несколько солдат в ближайшей колонне. Огонь прошел по телу, в глазах потемнело и все крутом как бы зашаталось... «Убита... ранена», — промелькнуло в мозгу. Картина боя стала еще смутнее. Она видела только, и долго, казалось, видела, как с тыла, из-за возвышений нахлынула конница, целые волны конницы, как они сшибались с другою конницею и пехотою, как падали кони и лошади, как гремели орудия со всех сторон. Казалось ей, что и она принимала участие в этой бешеной скачке, слышала крики, и особенно один крик поразил ее: «Пропало все!» Что пропало — она не понимала... Она видела только, что солнце было низко — не то оно всходило из-за дымных облаков, не то садилось... Утро это или вечер?..

Она окончательно опомнилась, когда ехала уже по дороге, чувствуя невыносимую боль в правой ноге, к которой, казалось, привешена была тяжелая гиря. Жажда палила внутренности. Кровавое солнце спускалось к дымящемуся взгорью. Рядом с ней ехал Пуд Пудыч, придерживая за повод ее лошадь. Дорога запружена была телегами, в которых стонали люди, пушками, зарядными ящиками, на которых тоже виднелись искаженные лица. Попадались носилки не то с мертвыми, не то с ранеными. Сзади все еще гудели орудия, а впереди виднелась деревенька. Навстречу ехали какие-то всадники, и остановились у мостика, чтобы пропустить зарядный ящик и носилки, с брошенным на них, по-видимому, мертвым офицером, голова которого закинулась острым подбородком кверху и виднелись подошвы сапог, колотившиеся одна о другую. Переднего всадника узнала Дурова — это был Кутузов. За ним — его штаб. Какой-то всадник, держа руку под козырек, что-то говорил ему. Дурова расслышала только: «...неприятель овладел всеми важнейшими пунктами позиции... войска наши совершенно расстроены...»

— Как вы смеете, милостивый государь, говорить мне такие вещи! — вспылил на него Кутузов. — Ход сражения мне известен как нельзя лучше... Неприятель отражен на всех пунктах... Завтра погоним его из священной русской земли!

Старик говорил громко — он просто кричал, весь покраснев. Но Дурова уже не верила ему: она верила тому, что видела сама.

Скоро она очутилась у берега небольшой речки, в стороне от селения. Весь берег укрыт был палатками и просто навесами из парусины. Виднелись окровавленные столы, валялась на земле кровавая одежда, сновали люди. Весь берег и пространство у навесов были заняты ранеными и мертвыми, которых не успели еще убрать. Это был перевязочный пункт. В некоторых местах слышны были отчаянные крики или слабые стоны. К Дуровой подошел солдат в окровавленном фартуке и помог ей сойти с коня. Она чувствовала ужасную боль в ноге, но ступать на нее могла слегка: нога не была перебита.

Солдат в фартуке повел ее к ближайшему навесу, где на невысоком деревянном столе она увидела чьи-то голые белые ноги, а над ними нагнувшуюся седую голову...

Но что она увидела рядом с этим столом, на земле! На разостланной бурке лежал казак — она узнала это по красным лампасам, но лица, которое было слишком запрокинуто назад, она сначала не узнала. Что-то, казалось, ножом резануло ее по сердцу. Она рванулась вперед, к этому запрокинувшемуся лицу казака. Другой казак, стоя около него на коленях, отводил ото лба лежавшего пряди черных волос и старался закрыть его мертвые глаза непослушными веками...

В бледном застывшем калмыковатом лице Дурова узнала Грекова...

XIII

Бородино не остановило Наполеона. Вырвав из рядов русской и своей непобедимой армии до девяноста тысяч молодых жизней, он продолжал гнать русских по пятам. Не успеют они передохнуть, как казаки арьергарда начинают уже перестрелку с авангардами Мюрата, который вечно на коне и вечно впереди всех. В битве под Бородиным, при вторичном отнятии Ермоловым редутов Раевского, в то время как русские, овладев укрепленным курганом, начали колоть французов, кто-то закричал, желая спастись: «Je suis roi de Naples»; но это был не Мюрат, а прикрывшийся от острой пики Грицька Пилипенка именем неаполитанского короля генерал Бонами. Мюрат остался целехонек, несмотря на свою безумную отвагу и на фантастический костюм, который невольно привлекал к себе взоры и пули неприятеля. Но ни одна пуля не

попадала в этого заколдованного, странного безумца: с развевающимся на шляпе высоким, из разноцветных перьев, султаном, в своем пестром, напоминающем костюм паяца ментике и в красных либо желтых сапожках, он был постоянно впереди французской армии с своими неутомимыми драгунами, постоянно, так сказать, на хвосте у наших казаков и постоянно беспокоил русскую армию. Не успеют солдаты усесться кучками, развести огни и заварить кашицу (чем ближе подходили к Москве, тем плотнее наедались солдатики, потому что матушка Москва с избытком отправляла навстречу своим ратникам хлеб, крупу, мясо, водку, а офицерам еще чаю и вин), не успеют солдатики заварить себе кашки, а господа офицеры вскипятить чайники для чаю, как уж позади начинают постукивать казацкие винтовки, а солдатики ворчат: «Ишь его носит, петуха проклятого, — «петух проклятый» — это пестрый Мюрат, — и угомону ему нет, аспиду: попить-поесть не даст людям...» Но это было так часто, что солдаты обтерпелись и уже не обращали внимания на задние перестрелки и на пули, попадавшие иногда в кашу. «Ишь аспид — грудку нетолченой соли вкинул в кашку; мотрите братцы, жуйте — не подавитесь», — шутят солдатики, немножко повеселевшие оттого, что хоть корм-то есть; о том, что их каждый день бьют, они и тужить перестали. «Так-де Богу угодно, а отойдет *его* линия — мы свое у *него* на спине отобьем...» «Ай-ай! — невольно вскрикивает молодой ополченец, которых недавно пригнали из Москвы. — Пуля никак!» — «Что ж пуля! На то она и есть пуля, а ты ешь — хлебай себе...»

Вот и теперь, на четвертый день после Бородина, русская армия расположилась на ночлег в поле между Можайском и Москвою. Солдаты развели костры, варят кашу и греются, тем более что ночи становились все свежее и свежее. Там кучка гусар, там уланы, там драгуны, а то и вперемежку, особенно где костер большой. У одного костра виднеются уланы. На первом плане Пилипенко, угрюмо свесив седые усы, разминает на ладони корешки табаку. Около него сидит на задних лапках Жучка и глаз не сводит с своего любимца: у Жучки свое маленькое горе; в собачьем привязчивом сердце с некоторых пор поселился червячок ревности — это с тех пор, как Пилипенко нечаянно нашел своего сына Грицька и обратил на него всю свою нежность. Тут же и Грицько, и другие гусары — кто курит, кто сушит онучи против огня, кто, сняв с себя рубаху и скрутив ее жгутом, держит над костром, а рубаха, развертываясь и раздуваясь от теплоты, производит очень знакомые солдатам потрескиванья... «Ну, брат, накопил ты их», — подсмеиваются товарищи. «На-

копишь, коли с самой Вильны не сымал рубахи — заели, проклятые: и под Бородиной все чесался», — отвечает полуголый гусар, выпаривающий рубаху. «А жарко было». — «Где не жарко!» — «Ну, скоро отдохнем». — «Знамо, отдохнем, да не скоро». — «А что?» — «А Москва-то? Али так им отдадим матушку? Вон она — кормит нас: с коих мест хлеба не видали, а теперь — на! И говядинку жрем». — «Это точно — вон и Жучка отъелась. — Жучка навостряет уши и виляет хвостом. — Вон, подлая, какая гладкая стала». Жучка лезет целоваться с тем, который назвал ее подлой.

По другую сторону дороги, тоже у костра, сидят офицеры, сошедшиеся из разных соседних полков. Давыдов, полулежа и полузакрыв глаза, покуривает из своей коротенькой трубочки и иногда встряхивает головой, как бы силясь отогнать неотвязчивую мысль. Дурова — необыкновенно бледная и как бы позеленевшая, — вытянув раненую ногу (под Бородиным ее контузило ядром), не сводила глаз с огня, в белом блеске которого она, по-видимому, искала или видела чей-то образ: эта запрокинувшаяся назад мертвая голова, эти милые калмыковатые губы и широкие скулы, этот бледный лоб с упавшею на него прядью черных волос и эти глаза, померкшие, холодные, которые плачущий казак силится закрыть непослушными веками мертвеца, — вот все, что осталось в ее памяти из того, что было — и так не долго — самым дорогим в ее жизни. Казалось, вся эта жизнь превратилась в мертвеца и имела для нее только интерес воспоминания, но такого горького, такого обидного... По глазам ее видно было, что она недавно плакала. Около нее сидел, насупившись, Бурцев и иногда исподлобья поглядывал на нее, не решаясь, по-видимому, заговорить. Он уже оправился после раны, полученной им под Смоленском, но досадовал, что не успел попасть под Бородино. Он пододвинулся к Дуровой и положил ей легонько на плечо руку... «Ты все, Алексаша, об *нем*... Полно, душа моя», — сказал он тихо и нежно.

К костру подошел Усаковский с чайником в руке и с сумкой. Он смотрел весело, казался таким красивым, чистеньким. Под Бородиным он отличился с своими драгунами у багратионовых флешей, и Кутузов при всех поцеловал его в голову, сказав: «Спасибо, голубчик: и дело сделал, и целою вынес из огня эту красивую голову — она нам нужна».

— А я, господа, к вам чай пришел пить, — весело проговорил он, ставя на землю чайник. — Кто со мной?

— Вот еще какие затеи! — отвечал кто-то, лежавший в стороне от костра. — До чаю ли теперь! Может, через час будешь корчиться на этом самом месте, где стоит твой чайник.

— Тогда то и будет, а теперь мы все-таки напьемся, — беспечно отвечал Усаковский.

— Верно, братуха, и я хвачу, а то мухи в голову лезут, — сказал и Давыдов, встряхивая головой.

— И Алексашу напоим, а то вон он какой, — пробурчал Бурцев.

Дурова ласково, хотя болезненно улыбнулась и пожала Бурцеву руку...

— Какой ты славный, — тихо сказала она.

— Пьяницы все такие, — отшутился тот.

Чайник приятно журчал. Трубка Давыдова посапывала. От соседнего, потухающего костра слышался солдатский говор: «А он как сыпанет картечью, как сыпанет...» — «Уж и каша же, братцы! — а-ах!» — «А как придет это Иван-царевич к железным вратам, да как вдарит мечом-кладенцом...» — «Богородицу-то несут, а орел как махнет крыльями...» — «Уж и с... же, с... стрелять — страх!..»

Вдруг по направлению цепи, где стояли часовые, послышались выстрелы. Забили тревогу. Давыдов первый вскочил на ноги.

— Мундштучь! Садись! Стройся!

Не успел строй сомкнуться и выстроиться в линию, как перед фронтом и по кострам заскакали ядра, никого не задев, однако. Один Усаковский покончил свою молодую жизнь: с полминуты он, с расшибленной, еще так недавно красивой головой, корчился на том самом месте, где надеялся напиться чаю, и потом вытянулся во всю длину.

Нечаянное нападение было отбито тотчас же, и неприятель, думавший напасть на наших врасплох, открытый во-время и встреченный казаками Платова, немедленно скрылся во мраке.

Кружок офицеров снова собрался у костра, где лежал труп Усаковского. Бурцев стал перед ним на колени и целовал его еще теплую руку, не смея прикоснуться к обезображенному лицу, облитому кровью и мозгом. «Прости меня, друг мой! — шептал он. — Я же, подлец, смеялся над твоей прекрасной головой... а теперь... вот она...» — И он горько махнул рукой.

Нечаянная тревога и весть о смерти Усаковского собрали к костру массы солдат и офицеров из других, ближайших частей арьергарда. Подъехал и Платов, покончивший с преследованием бежавшего врага. Тут виднелось и бесстрастное кошачье лицо Фигнера, и насупившийся Сеславин. Красный свет огня придавал особое выражение лицам, словно бы на всех этих лицах отражалась кровь того, кто лежал на земле.

Порешили тут же, где он пал, выкопать ему могилу. И могила была выкопана быстро. Копали ее сами офицеры не лопатами, а саблями, в знак особого сочувствия к покойнику. Завернули его в плащ всего — с раздробленной головы до ног, — не его первого, не его и последнего хоронили так на походе. Засыпав свежую могилку землей, снова по-прежнему уселись тут же вокруг костра и припомнили все, что кто помнил хорошего из жизни покойника, а потом скоро перешли и на другое: не такое было время, чтоб долго вспоминать про убитых товарищей — на это смотрели как на разлуку, и быть может, ненадолго... «Всякий вечер, — читаем в дневнике Дуровой из этого времени — мы сходимся к огню, все, кто уцелеет в продолжение дня. Если кого уже не станет в кругу нашем, о том поговорим, пожалеем с четверть часа, а там опять разговор наш весел. Теперь не то время, чтоб долго сожалеть о потере друзей, потому что всякий имеет надежду или опасение последовать за ним на другой же день, если еще не в эту ночь... В теперешней жизни нашей нет ничего так обыкновенного и так мало обращающего на себя внимания, как смерть. Здесь ее владычество и здесь именно никто об ней не думает, не боится и в грош ее не ставит. «А где такой-то?» — «Убит». — «Ну, так позови ко мне того-то». — «И он убит». — «Ну, глупец! Затвердил — убит, убит!.. Пошли, кто там остался в живых...» И приказания, и вопросы, и ответы делаются так хорошо, так покойно, как бы дело шло о людях куда-нибудь посланных, а не отправившихся на вечной покой. Все, что мы видим, слышим, испытываем каждый день, теряет в разуме нашем: хорошее — все то, что в нем было хорошего, дурное начинает казаться дурным вполовину, а иногда и с примесью хорошего».

Так было и тут, когда закопали Усаковского. Отыскали его чайник, в котором вся вода давно выкипела, налили его вновь, усилили костер, приставили чайник Усаковского, вместе с другими принесенными, к костру, достали вина, в изобилии присланного из Москвы, и стали править тризну по милым товарищам, павшим в бою. Разговор оживился. Серебряный кубок Давыдова переходил из рук в руки. В дружеском кружке виднелись новые лица, в том числе и молодое задумчивое цыгановатое лицо Жуковского в ополченском костюме.

— Господа! — торжественно произнес Бурцев, который успел с горя хватить больше других и был в возбужденном состоянии. — Господа! Сегодня на привале, толкаясь меж московскими ратниками, я набрел на следующую картину: под кустом, закрытый от солнца тенью березы, сидит некий мо-

лодой витязь и, положив к себе на колени записную книжку, строчит... И что же бы вы думали он строчил? Угадайте!

— Что? Стихи, — отозвалось несколько голосов, и все обернулись к Давыдову.

Давыдов с удивлением смотрел на Бурцева.

— Ты, брат, перепил, кажись.

— Нет, я не перепел, — скаламбурил Бурцев, — да ты, брат, и не туда попал... Строчили под кустом такое, я вам доложу...

И он коварно, подмигивая и щурясь, взглянул на Жуковского. Жуковский давно сидел как на иголках.

— Строчили, господа, вот что, — продолжал Бурцев, — «*Певец во стане русских воинов*».

— Кто же это? — спросил Давыдов.

— А вон — наша красная девушка, — указал Бурцев на Жуковского.

Жуковский, который совсем покраснел, хотел было уйти, но его стали упрашивать прочесть стихи, говорили, что нехорошо таиться от товарищей, что они все теперь — одна семья. Жуковский говорил на это, что его стихи не кончены, что это только наброски, задуманные, но не исполненные картины, что в них нет связи, не везде отделан стих, но ничего не помогло: его просили прочесть хотя отрывки. Нечего делать: он полез в карман, вынул оттуда небольшую темно-малинового бархата книжечку, вышитую разноцветными бисерами и светло-русыми, словно лен, женскими волосами (подарок перед разлукой), подсел ближе к костру и несмелым, дрожащим голосом начал:

— На поле бранном тишина,
Огни между шатрами,
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.

Приступ был удачен. Все слушали, затаив дыхание. Давыдов сидел глубоко задумчивый: он чутьем поэта сразу ощутил мастерство стиха: он чувствовал веянье таланта. Бурцев с благоговением смотрел на цыгановатое, робкое и скромное лицо поэта и не шевелился. Дурова сидела бледная, несмотря на красноватый отблеск костра. Все ждали — даже в темноте виднелись лица солдатиков, на которые падал огонь от костра, — и они слушали. Жуковский, у которого дрожали руки, как и голос, продолжал с большей силой:

— Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.

Он взглянул на то место у костра, где недавно зарыли Усаковского; у Дуровой вырвался из груди глубокий вздох, словно стон, — все взглянули на нее, но Жуковский с силой продолжал чтение:

— Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О, всемогущее вино,
Веселие героя!

Он остановился. Ропот одобрения был единодушный. Бурцев не усидел и бросился целовать поэта, восторженно повторяя:

— Бесподобно! бесподобно! «Кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя!» Божественно! «О, всемогущее вино, веселие героя!» Пребожественно! Выпьем же, Вася, друг, цыпочка! — И он душил бедного поэта; тот защищался, краснея еще более.

— Перестань, Бурцев, — ты задушишь его, — вмешался Давыдов.

С трудом усадили забияку и просили Жуковского продолжать. Тот снова отговаривался, что далее у него не все выправлено, но его просили — и он, повернув листок, начал:

— Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки, —
Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая,
Какое солнце не дрожит,
Тебя благословляя?

От этих последних стихов, казалось, действительно все задрожали. Голос читавшего перешел в какой-то молитвенный тон, отзывавшийся и плачем, и восторгом. На лицах слушавших горело и дрожало умиление. Дурова, спрятавшись за Бурцева и закрыв лицо руками, вздрагивала всем телом — она глухо рыдала. Все были так глубоко потрясены и мелодиею голоса читавшего, и прелестью и музыкою стиха; мысль, положенная в этот стих, до того глубоко выражала душевное настроение каждого; всем, пережившим ужасы последних дней за эту именно родину, до того она казалась теперь дорогою с ее полями и родными холмами, политыми кровью их товарищей; этот милый свет родного неба, эти знакомые потоки, замутившиеся от родной же

крови, и «златыя игры первых лет и первых лет уроки» — все это теперь, и именно теперь, до того стало дорогим и святым, до того наполняло душу каждого, что гармонические строфы, прочитанные гармоническим, полуплачущим голосом, вызвали какой-то стон восторга. Никто сначала не заметил за общим потрясением, а когда заметили, то не поверили, что Бурцев, этот всесветный повеса и пьяница — горько плакал, сидя на корточках и мотая всклокоченною головою, как это обыкновенно и невольно делают люди, когда плачут о чем-либо безнадежно. Никто не заметил и того, что из-за спин и застывших от внимания лиц солдатиков, которые подвинулись к костру и, держась несколько в отдалении, в тени, жадно вслушивались в каждое певучее, знакомое их сердцу слово читавшего и как-то по-детски моргали глазами, боясь шевельнуться и громко дохнуть, как на смотру, — что из-за спин солдатиков выглядывало худое, морщинистое и загорелое лицо с седыми, нависшими на маленькие, глубоко сидевшие подо лбом глаза бровями лицо Платова, которого хотя солдатики и узнали и посторонились было от него, но он знаком показал им, чтоб они не трогались и стояли бы по-прежнему смирно, не обращая на него внимания.

Долго не могли прийти в себя слушатели; но когда первый немой восторг прошел, все шумно начали хвалить молодого поэта, благодарили его, жали ему руки, придвигались к нему все теснее и теснее. У Давыдова лицо подергивало — так поражен он был неслыханною задушевностью и неслыханною же мелодиею стиха. Все начали просить: «Дальше, ради Бога, дальше!»

Ободренный неожиданным успехом, Жуковский стал смелее перелистывать свою книжку.

— Это еще не кончено — не совсем гладко, — разве это? — тихо говорил он как бы сам с собою. — Вот это, кажется, кончено — это...

Хвала наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь:
Они лишь к лесу — ожил лес,
Деревья сыплют стрелы,
Они лишь к мосту — мост исчез,
Лишь к селам — пышут села.

Солдаты заворошились и оглянулись. Сквозь их кучку протискивался, торопливо и нервно дергая себя за седой ус, Платов: по лицу старого атаманя текли слезы, и он громко, как-то сердито сморкался, шагая через ноги сидевших у костра офицеров и пробираясь к Жуковскому. При виде атамана произошло общее смятение, многие с изумлением вскочили с мест.

— Сидите, пожалуйста сидите, господа! — торопливо успокаивал старик. — Я к вам тоже... я вот к ним... не знаю как имя-отечество...

И старик порывисто обнял молодого, окончательно смутившегося поэта, который узнал Платова.

— Не сто́ю этого, мой друг, не сто́ю, — говорил расчувствовавшийся атаман, — я совсем не сто́ю... Спасибо — похвалили, хоть и не заслужил, ей-Богу, не заслужил...

Жуковский бессвязно бормотал что-то; Давыдов вежливо подошел к старику и попросил не побрезговать их кружком — выкушать с господами офицерами стакан чаю или чару хорошего вина. Старик благодарил, жал руки, утирал глаза, сморкался все так же громко и быстро, как быстро он все делал. Ему очистили место около Давыдова, который казался хозяином в этой импровизированной гостиной у костра.

— Что прикажете, ваше превосходительство, вина?

— Винца, винца, мой друг, спасибо... Погреюсь у вас и послушаю вот их...

Ему отрекомендовали Жуковского. Старик кой о чем спросил его, снова благодарил за лестные стихи, которых он не заслужил... Старик сегодня утром был огорчен замечанием главнокомандующего, что будто бы он, Платов, недостаточно распорядительно действовал при удержании неприятеля после выступления из Можайска наших главных сил; старика грызло это замечание, не давало ему покоя — и вот эти стихи росой пали на его огорченную душу.

Когда смятение улеглось и Платов высморкался в последний раз так энергически, как будто бы посылал свой нос на штурм, Жуковский снова завел своим певучим голосом:

— Хвала бестрепетным вождям!
На конях окрыленных
По долам скачут, по горам
Вослед врагов смятенных;
Днем мчатся строй на строй; в ночи
Страшат, как привиденья;
Блистают смертью их мечи,
От стрел их нет спасенья;
По всем рассыпаны путям,

Невидимы и зримы,
Сломили здесь, сражают там,
И всюду невредимы.
Наш Фигнер старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи;
Как тень прокрался вкруг шатров,
Все зрели быстры очи...
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул —
А он уж, витязь, на коне,
Уже с дружиной грянул.
Сеславин — где ни пролетит
С крылатыми полками,
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.
Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый,
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы...

Давыдов сидел бледный, глубоко потупившийся; рука, в которой он держал давно погасшую трубку, дрожала. Старческие светлые глаза Платова радостно смотрели на него. И вдруг Бурцев, словно сорвавшийся с петли, забыв и Платова и все окружающее, бросился на своего друга и стал душить его в своих объятиях.

— Дениска! Дениска, подлец!.. Денисушка мой, ведь это ты, ракалья! — пьяно бормотал он, теребя озадаченного друга. — У, подлец, какой ты хороший!..

Офицеры покатились со смеху. Даже солдаты прыснули. Но в этот момент вдали бухнула как из пустой бочки вестовая пушка — и все схватились с мест. Надо было торопиться в поход, поспешать к Москве, которая была уже недалеко.

XIV

Старый Мироныч был прав, говоря Софи Давыдовой, пораженной необычайным перелетом через Москву на запад птицы, что там где-то или идет сражение, большое, очень большое, или оно недавно было, и птица узнала об этом раньше человека и летит туда питаться мертвыми телами. Через несколько дней по Москве разошлись смутные, неясные, но тем более пугающие вести, что под Можайском, у какого-то села Бородина, происходила кровопролитная битва, а чем кончилась — никто достоверно не знал, как это всегда бывает в подобных случаях: одни говорили, что наша

взяла, другие — что ничья. Поэтому с раннего утра 27 августа Софи видела, как народ валом валил на Лубянку, где жил Ростопчин: ожидали, что там будут афиши — «ростопчинские пачпорты», как их называл народ, необыкновенно вдруг пристрастившийся к чтению политических известий, и особенно известий о сражениях.

С утра Лубянка представляла какой-то необычайный канал, набитый сермягами, синими чапанами, красными и пестрыми рубахами парней из Охотного и Обжорного рядов, кузнецов, суконщиков и слонявшихся без дела приказных, — и все это волною валило то в ту, то в другую сторону, толкалось и ругалось, наполняя воздух то бранью, то вздохами. Особенное оживление замечалось у стены, облепленной афишами, к которым, собственно, и стремились толпы. У самой стены, энергически размахивая руками, ораторствовал знакомый нам Кузьма Цицеро. Он что-то доказывал высокому малому без профиля. Малый, водя указательным пальцем правой руки по обмозоленной, как верблюжья пятка, ладони левой, в чем-то урезонивал Кузьму «Так вот и написано — «фараон»-де»... — «Какой там фараон!» — «Знамо какой — водяной, с руками, чу, да с рыбьим плесом, вот что!» — «Вздор!» — «Не вздор! А ты прочти-ко вот на ей самой, на этой на афишке, что ли!» — «А ты впрямь прочти!» — возвышаются голоса.

— «В субботу французов хорошо попарили — видно, отдыхают!» — громко читал Кузьма одну из афиш.

— Это не та! Эту мы слыхали! — раздались голоса. — То было в субботу, а ноне вторник... Махни другую — вот эту слева.

— Ладно... «Вы знаете, что я знаю все, — начал снова чтец, — что в Москве делается, и что было вчера — нехорошо, и побранить есть за что: два немца пришли деньги менять, и народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы, а для этого допросить должно — это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату русскому. И что за диковинка — ста человекам прибить костянова француза или в парике окуреного немца! Охота руки марать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда думаете, кто шпион, ну — веди ко мне, а не бей — не делай нарекания русским. Войска-то французские должно закопать, а не шушерам глаза подбивать. Сюда раненых привезено — они лежат в Головинском дворце, я их осмотрел, напоил, накормил и спать положил. Вишь, они за вас дрались — не оставьте их, посетите и поговорите. Вы и колод-

ников кормите, а это государевы верные слуги и наши друзья — как им не помочь!»

— Знаем и эту! — слышали!.. Это на наш счет, братцы, как мы тады двум поджарым ребра посчитали... Собаке собачья и смерть! — отозвались молодцы из Охотного ряду. — И напредки тоже будем делать — на то закон! У нас закон крепок!

— Читай другую — вон эту, большую, — загалдела толпа. — Садони-ко ее духом — послушаем: может, в ей вся сила, какая она есть, — наяривай, дядя, эту!

— Добро, слушай! — И Кузьма, откашлявшись начал: — «Слава Богу! Все у нас в Москве хорошо и спокойно. Хлеб не дорожает и мясо дешевеет. Одного всем хочется, чтоб злодея побить, — и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас пред Богом заступники: Божия Матерь и московские чудотворцы, пред светом — милосердый государь наш Александр Павлович, и пред супостаты — христолюбивое воинство. А чтоб скорее дело решить, государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, а они рады с вами жить и умереть. Когда дело делать — я с вами, на войну идти — перед вами, а отдыхать за вами. Не бойтесь ничего — нашла туча, да мы ее отдуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пьяниц да дураков; они распустя уши шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идет; а его дело кожу драть: обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим золотые горы, народу свободу; а всех ловит за виски да в тиски, и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут. А для сего и прошу: если кто из наших или из чужих станет его выхвалять и сулить и то, и другое, то какой бы он ни был — за хохол да на съезжую: тот кто возьмет — тому честь, слава и награда; а кого возьмут, с тем я разделаюсь, хоть пяти пядей будь во лбу; мне на то и власть дана и государь изволил приказать беречь матушку Москву; а кому ж беречь мать, как не деткам! Ей-Богу, братцы, государь на вас, как на Кремль, надеется, а я за вас присягнуть готов. Не введите в слово. А я верный слуга царской, русской барин и православный християнин».

Нет, не то, не то: все это давно слышано и переслышано, все это знают наизусть, а все ждут — не вырвется ли из уст чтеца какое-нибудь новое слово, все не спускают с него глаз, следят за его глазами, как они медленно ходят по строкам, за губами его следят: вот-вот вырвется из-за желтых пенькова-

тых зубов это самое слово, неслыханное, которого все ждут... А слова этого нет — не напечатано такое слово... И лица становятся сумрачнее... Все это не то, все это слова. А вон не слова: по улицам тянутся обозы с ранеными — и конца им нету: кто тихо стонет, кто так лежит, а может, и за стуком колес не слыхать его стонов. Да недаром и господа все, и их жены и дети, и богатые купеческие семьи покидают Москву: по заставам от карет, колясок и телег со всяким добром проходу нет; по пустым барским дворам собаки воют; у присутственных мест только сторожа на крылечках остались, а бумаги и казна, говорят, повывезены... Так что ж он говорит, что «слава Богу!» Сомнение закрадывается в народ... «Что ж *они*, в самом деле, а? Али у нас силы нету! Али нас продали! Что ж это такое! Али *они* шутить вздумали!» Это уже начинает сердиться народ, ворчит Охотный ряд — это не даром: на ком-нибудь должна сорваться давно накипевшая, хотя неведомо на кого, злоба... *Они* — миф какой-то, фараоны с рыбьим плесом, «выдра» стоглавая; и вот руки зудят...

В это время на крыльце дома, перед которым особенно толпился народ, — то был дом Ростопчина, — показался полицмейстер. В руках у него была толстая пачка афиш. Народ зашевелился, понадвинулся. Все сняли шапки. На всех лицах ожидание. Тихо — хоть бы вздох.

— Слушай, братцы! — громко выкрикнул полицмейстер. — Вот что пишет вам его сиятельство: «Два курьера, отправленные с места сражения, привезли от главнокомандующего армиями следующие известия. Вчерашний день, двадцать шестого, было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощью Божиею русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против него. Завтра, надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться. Потеря неприятеля несчетная; он отдал в приказе, чтоб в плен не брать, — да и брать некого, и что французам должно победить или погибнуть. Когда сегодня с помощью Божиею он отражен еще раз будет, то злодей и злодеи его погибнут от голода, огня и меча. Я посылаю в армию четыре тысячи человек новых солдат, на пятьдесят пушек снаряды, провианта. Православные! Будьте спокойны. Кровь наших проливается за спасение отечества, наша готова, и если придет время, то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле русской!»

Последние слова полицмейстер особенно выкрикнул — от усилия он даже попунцовел. Последние слова, казалось, всем

понравились: положит-де кости свои... Только когда еще положит?

— А теперь, братцы, ступайте по домам — занимайтесь своим делом, да и его сиятельству не мешайте, — сказал полицмейстер, садясь в поданные ему дрожки, и помчался вдоль по Лубянке.

Народ, почесывая в затылках и перетолковывая по-своему слышанное, стал расходиться — кто по домам, а кто по кабакам.

Прошел вторник, среда, четверг. Москва смотрела все зловещее. Дома пустели, все убегали, а на место бежавших город наполнялся ранеными: казалось, и конца не будет обозам с ранеными! Это везли бородинцев; день и ночь скрипели телеги, раздавались голоса погонщиков, больничной прислуги, стоны раненых... Скоро народ начал подозревать что-то очень страшное: как ни таилось начальство, но народ пронюхал, что приказные и полиция, по ночам, точно воры, вывозили казенное имущество. Значит, *там* хуже, чем говорят. То там то здесь по казенным домам, в глухую ночь, бегают огни и из ворот выезжают нагруженные возы. А там за городом стали строить, тайно от народа, какой-то огромный шар: кто-то хочет лететь на этом шаре под небеса. А кто? зачем? — этого никто не знал, и еще страшнее становилось. Одни говорили, что Иверскую к небесам подымут и она, Матушка, оттелева всех громом поразит супостатов. Другие сказывали, что царь-пушку к облакам подымут на шаре, да как шарахнут с облаков-то по ем, по фараонтию, — так только мокренько станет. А то были и такие неверующие, что сказывали, будто на этом на самом шаре начальство в Питер утечи собирается... И народ опять кучится на Лубянке. Опять подавай им афишку. И Ростопчин поневоле должен успокаивать расходившихся политиков Охотного ряда.

«Здесь мне поручено от государя, — объявлялось в новой афише, — сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, и по ветру и против ветра, а что от него будет — узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или после завтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели».

— Вон она штука-то какая! — радовался политик из Охотского ряда. — Я говорил, братцы, что Иверску в небесы — она на мое и вышло: именно — ее, Матушку, да преосвященного Платона митрополита, да архирея — чу, да пятьдесят протопопов подымут с святой водой да кропилом, да как покропят на фараонов, так они и рассыпются аки прах.

— А мы звонить во все колокола станем — такого звону напустим до неба, что *он*, проклятый, ужахнется и лопнет, — пояснили другие.

А *он* все не лопался. Мало того — говорят, гонит наших по пятам, Можайск прошел, к Москве двигается. Народ свирепеть начинает. В пятницу толпа молодцов из Ножовой линии, под предводительством Хомутовского лакея Яшки, оставленного господами стеречь дом и спившегося с кругу, того самого Яшки, который ораторствовал о «стоглавой выдре», — метнулась к парикмахеру Коко, побила у него окна и хотела было заставить несчастного французика проглотить целую женскую косу, красовавшуюся у него на окошке, да увидала, что народ бежит на Лубянку читать новую афишу, бросила помертвевшего со страху француза и метнулась к дому Ростопчина. Яшка с подбитым глазом и с оторванной в единоборстве с беспрофильным ямщиком, что говорил о фараоне с рыбьим плесом, штаниной, шел впереди всех и неизвестно к кому кричал: «Подавай ружье и штандарт!» Пьяных попадалось все больше и больше. При виде толпы полиция чаще и чаще стала прятаться.

У дома Ростопчина действительно нашли новую афишу. Так как в толпе на этот раз не нашлось ни одного грамотного, то метнулись к ближайшему богомазу. Самого богомаза не нашли, а привели ученика — мальца, что охру трет. Мальца с перепачканным охрой лицом посадили, по малости его роста, на саженные плечи одного детины, и малец пискливым голосом начал, водя пальцем по афише:

— «Светлейший князь, чтоб скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему идут отсюда сорок восемь пушек с снарядами, а светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться...»

— Ружье! Подавай ружье и штандарт! — неистово заорал Яшка, засучивая рукава и угрожая кому-то в пространстве.

Малец чуть не упал с испугу. Яшку оттащили в сторону, но тот все кричал: «Подавай ружье и штандар», пока ему рот не зажали.

— Читай дале, что там! Все выкладывай! — кричали другие.

— «Вы, братцы, — продолжал читать малец, — не смотрите на то, что присутственные места закрыли — дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов, и городских и деревен-

ских: я клич кликну дни за два, а теперь не надо — я и молчу! Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржанова. Завтра после обеда я подымаю Иверскую в екатерининской госпиталь к раненым. Там воду освятим, они скоро выздоровеют, и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба!»

«Го-го-го! — заревела вся толпа. — Молодцов зовет — и городских и деревенских! Вилы тройчатки, ребята, припасай! В железный ряд за вилами!..» «В скобяной — не в железный! — «А топоры!..» — «Топоры не надо!.. Вилы тройчаты!» — «Подавай ружье и штандарт!..» — «Коли ежели ево да вилами!..» — «Не пущай, братцы!..» — «Иверску подымай!»

Застучали колеса, и в воротах показалась коляска. В ней, положив руку на плечо кучера, стоял во весь рост *сам*. Народ узнал его. Он пришелся по душе ему: такой же, как и народ, горластый крикун, словно колокол на Иване Великом, краснобай.

— Ур-р-р-ра-а! Ур-р-р-ра-а! — завопила толпа, увидав этого кровного потомка Чингис-хана, из татарина превратившегося, как Ростопчин сам выражался, в «русского барина и православного христианина».

— Здорово, ребята!

Стоном застонала Лубянка от этих слов. Ростопчин махнул бумагой, что была у него в руке: это была новая афиша. Народ притих. Яшка продирался к самому экипажу, гордый и пьяный.

— Братцы! — громко начал Ростопчин, глядя в бумагу. Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество, не впустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она нас кормила, поила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли русской. Вооружитесь кто чем может, и конные и пешие, возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом, возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трех-Горах: я буду с вами — вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговариваться станет!

Он остановился. Мертвая тишина превратилась в бурю. Толпа обезумела, бросаясь под лошадей, хватаясь за колеса... «Ваше сиятельство! Я господ Хомутовых... мне бы ружье... штандар... пушку! — орал Яшка, спотыкаясь и падая, когда коляска двинулась. — Штандар! Ружье!» Толпа ринулась вслед за удалявшимся экипажем, потрясая воздух неистовыми

криками. «Звони в колокола!.. Подымай хоругви из церквей!.. *Сам* велел!.. Попов сюда!.. где попы?» — «Зачем попы!.. к митрополиту, братцы!..» — «Бей сполох!.. Без сполоху нельзя!» — «Зачем сполох!.. Не горим-ста!..» — «А ты не ори!..» — «Да я не ору!..» — «Стой, братцы! Зачем драка!..» — «А! Я те сворочу рыло!..» — «Сунься!.. я те салазки выверну!..» — «На Три-Горы идем, ребята!.. Хлеба на три дни!..» Все кричали, никто никого не слушал...

Откуда ни возьмись — Кузьма Цицеро. Заметив его, толпа невольно остановилась, озадаченная видом старого приказного. Вид был действительно необыкновенный. Одет был Кузька все в тот же потертый полукафтан, но на плече у него блестело ружье — со штыком, а у пояса болталась кавалерийская сабля. Подьячий против обыкновения был не пьян, а напротив — лицо его поражало какой-то спокойной решимостью и серьезностью. Он казался бледным, в глазах горел лихорадочный огонь. В руках у него виднелась последняя ростопчинская афиша. Его обступили.

— Братцы! Народ православный! — начал старый подьячий дрожащим голосом. — Не такое теперь время, чтобы кричать и ссориться. Слышали, что вот в этой бумаге прописано? Злодея, как видно, не удержать нашим, сюда идет — Москву нашу хочет взять себе, храмы Божьи осквернить... Мало он крови выпил! Так и этого мало ему! Надо над Москвой натешиться еще... Так не бывать этому! Сами спалим матушку, а ему не дадим — никому-де не доставайся!.. А допреж того не пустим его в Москву — идем на Три-Горы. Идите, братцы, за мной: там в арсенале оружие раздают православным — вон и мне дали. А вооружился — тогда и с Богом...

— Ладно! Ладно! Веди нас! — загудела толпа и двинулась к арсеналу.

Весь этот и следующий день, воскресенье, шла раздача оружия из арсенала. Кузька Цицеро неожиданно очутился во главе народного ополчения. В воскресенье все свободные московские молодцы, приказные без мест и бродяги, мясники и водовозы, бочары и разносчики, парни сидельцы изо всех рядов, особенно из Охотного и Обжорного, всегда отличавшиеся острым сангвинизмом, под предводительством Кузьки двинулись в Успенский собор и требовали отслужить напутственный молебен. Они требовали также, чтобы митрополит поднял Иверскую и шел вместе с ними на Три-Горы, но оказалось, что преосвященный Платон еще утром уехал в свою пустынь — в Вифанию.

Оголтелые толпы, то кучась в одну массу, преимущественно на Лубянке, то разбиваясь на отдельные кучки, бродили

и кричали до ночи. Они все ждали, что их поведет сам. Но Ростопчин исчез. В субботу он выбросил, так сказать, последний свой патриотический кусок для голодной толпы, и замолчал. Кусок этот был следующего содержания: «Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело, доделаем и злодеев отделаем». Прошел и обед, а его нет. Настала и ночь с воскресенья на понедельник, с 1 на 2 сентября.

Ночью уже ясно стало, что Москвы не удержать. Сама полиция, казалось, обезумела: всю ночь таскали из арсенала и бросали в Москву-реку пушки — более полутораста пушек бултыхнуло в воду, — и толпа при этом только ахала да крестилась. Потом стали таскать охапками и тоже швырять в воду ружья, пистолеты и сабли, и почти загатили этот московский Тибр оружием. К утру же начали туда же в воду сваливать кули с провиантским добром — с сухарями, крупой и солью, так что утром в понедельник Москва-река представляла буквально длинное, гигантское корыто с тюрей; историческая тюря эта обошлась, однако, русскому народу в два с половиною миллиона рублей: на эту сумму утоплено было в Москве-реке провиантских запасов для войска, не считая стоимости брошенных в воду 80 тысяч ружей и пистолетов и более 60 тысяч штук холодного оружия. Все это потом присыпали двадцатью тысячами пудов пороху! Казалось, Москва-река превратилась в чернильную реку, если б по ней не плавали, как массы черного снега, миллионы черных самих по себе и от пороху сухарей. Это было что-то ужасное и поражающее. Собаки при виде черной реки неистово выли, лошади не могли пить насыщенную порохом воду и ржали.

Когда все это было сделано, полиция бросилась разбивать бочки с вином на винном дворе и жечь барки с казенным и частным имуществом. При этом присутствовал народ и окончательно безумел от опьянения. Яшку Хомутова нашли утонувшим в бочке спирту. Когда бросились в лодки, чтобы ехать зажигать барки, лодки не могли плыть по реке, запруженной сухарями. «Уж и тюря, братцы!» — смеялся, но смеялся как-то зло, опьяневший народ.

Запылали наконец и барки. То там, то здесь огненные языки тянулись к небу. День был тихий, и суда горели ровно, словно свечи теплились перед иконами. «Пущай никому не достается», — тихо, как бы про себя бормотал Кузька Цицеро, задумчиво глядя на красное пламя. Все эти дни он ничего не пил и

молился. Потом, обратясь к толпе, громко выкрикнул, перекрестясь на колокольню Ивана Великого, которая высоко торчала из-за кремлевских стен: «Молитесь, православные! Последний час настал!» Все сняли шапки и перекрестились, даже пьяные, которых было больше, чем трезвых. «Идем, братцы, к графу! — продолжал народный оратор. — Он обещал сам вести нас на злодея — пущай ведет: мы готовы положить свои головы за матушку Москву да за Русь святую!» Громкое, необузданное «ура!» было ответом на эту краткую речь. Толпа двинулась на Лубянку. Там улица была уже запружена народом. Вновь прибывшая толпа заставила первых понадвинуться вперед, и часть вооруженных и невооруженных москвичей ворвалась потоком на двор к Ростопчину. Слышны были возгласы: «Батюшка наш! Веди нас на злодеев! Мы все готовы помереть с тобою!»

Другая часть, с Кузькою Цицеро впереди, шумно направилась к Дорогомиловской заставе. У Красной площади они натолкнулись на обозы и на войска: это наша несчастная армия, гонимая по пятам Мюратом, спешила пройти Москву, чтобы укрыться от неприятеля за Коломенской заставой.

За теснотою и за беспрерывно тянувшимися обозами с ранеными и боевыми запасами, войска должны были постоянно останавливаться. Солдаты старались не глядеть в глаза ни изредка попадавшимся, растерянным и изумленным москвичам, ни друг другу. Иные, глядя на церковь и на Кремль, крестились и плакали, прощаясь с ними.

Через Красную площадь проходил московский гарнизонный полк. Впереди его шли музыканты и играли с необыкновенным оживлением:

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый росс.

Все с удивлением смотрели на этих «храбрых и веселых россов», когда кругом все или плакало, или терзалось горем и отчаяньем — молча. А гарнизонные продолжали наяривать, хотя и их лица были мрачны и бледны. Кругом слышался ропот: «Кто радуется нашему несчастию?»

В это время во весь опор подскакал Милорадович, весь красный, взбешенный и прямо обратился к генералу Брозину:

— Кто приказал вам идти с музыкой? — закричал он на всю площадь.

Брозин остановился и, увидав старшего генерала, ловко отдал ему честь.

— Если гарнизон при сдаче крепости получает позволение выступить свободно, то выходит с музыкою, — вежливо, но гордо отвечал он как по писанному.

— Кто вам это сказал, милостивый государь! — с запальчивостью снова крикнул Милорадович.

— Так сказано в регламенте Петра Великого, — был ответ, по-прежнему гордый и спокойный, как бы озадачивающий противника.

— Да разве есть в регламенте что-либо о сдаче Москвы! — с яростью уже и бешенством закричал Милорадович. — Прикажите замолчать вашей музыке!

Музыка смолкла. Ее сменила другая музыка, более соответствующая обстоятельствам: Москва узнала, что те, на кого она возлагала все свои надежды, оставляют ее на произвол судьбы — войска не останавливались в городе, чтобы защищать его, а уходили неведомо куда. Начался такой вопль, повсюду слышалось такое отчаяние, такой ужас написан был на лицах несчастных москвичей, что у солдат и офицеров кровью обливалось сердце и они готовы были, казалось, остаться в Москве, чтобы победить или умереть, лишь бы не видеть этих растерявшихся и обезумевших лиц, не слышать этих воплей. При неожиданном известии о сдаче Москвы произошло то, что происходит разом, особенно ночью, когда вдруг послышатся отчаянные возгласы: «Горим! Батюшки, горим! Спасайся, кто может!» Тут растерянность, неожиданность и страх доводят людей до безумия. Сначала все стоят ошеломленные, как бы не понимая в чем дело, а потом с воплем и отчаянием все бросаются — кто спасать деньги, и вместо шкатулки с деньгами схватывает шапку и ищет ее же, кто укладывать серебро и дорогую посуду — и бьет ее вдребезги, кто выносит заспавшихся детей, и вместо детей уносит собачонку, кто выбрасывает на мостовую с четвертого этажа зеркала, фарфор... То же было и с москвичами: один искал спасти то, что у него было самого дорогого и ценного, и не мог вспомнить, что именно у него самое ценное, и метался как безумный; другой плакал, отдавая последний поклон дому, в котором родился, и не зная, где будет ночевать эту ночь; кто вел за рога корову, которая упиралась и испуганно ревела; из кабаков неслись неистовые крики, и ни одной песни; из других выходили такие личности, которым уже ничто не было страшно — и кому-то грозили.

Когда гусары и уланы проезжали мимо лавок с панским товаром и галантереею, Дурову поразило то, что она увидала. Из лавок выбегали купцы и со слезами зазывали к себе солдат: «Берите, родимые, наше добро, берите, что кому нужно! Готовили деткам — не привел Бог: так пускай не достается злодеям». Один, седой, благообразный старик, хватал Дурову

за стремена, приговаривая: «Батюшка, родной! Бери все, что в моей лавке есть дорогого, — только бы ворогам не доставалось...» Дурова отвернулась, чтобы скрыть слезы, которые падали на малиновые отвороты ее сюртука... Бурцев ехал красный, сильно выпивший и неистово ругался, то и дело повторяя: «Это черт знает, что такое!»

Не доезжая до Яузского моста, Дурова увидела, что из одного глухого переулка, сопровождаемый только Коновницыным, выезжал Кутузов. Он велел провезти себя через Москву так, чтобы его никто не видел, и потому они принуждены были пробираться глухими улицами. Да и сам старик, казалось, ничего вокруг себя не видал и ни на что не смотрел. Глаза его сосредоточенно уставились в гриву коня, и Дурова заметила, что по обвисшим щекам старика текли слезы.

Так покинута была русскими Москва — в первый и единственный раз со времени ее основания...

А в этот самый момент, когда Кутузов пробирался по Яузскому мосту и утирал следы слез, чтобы их никто не заметил, Наполеон, окруженный штабом, взъехал на Поклонную гору и как вкопанный, пораженный невиданным, волшебным зрелищем, которое представилось его глазам, казалось, прикипел на седле, тогда как сфинксовые, немигающие глаза его в первый раз забегали, как глаза ребенка перед игрушечной лавкой. Эти сфинксовые глаза расширились и потемнели как бы от ужаса, брови, вскинутые строго и прямо, поднялись, плотно сжатые губы дрогнули и разжались, чтобы захватить в рот и в легкие больше воздуху, которого не хватало в груди. И блестящий штаб стоял немного поодаль в немом изумлении. У Мюрата даже перья на шляпе трепетали.

— La voilà donc enfin cette fameuse ville!.. Il était temps! — невольно вырвалось у Наполеона.

А Москва тихо искрилась на солнце своими бесчисленными главами. Мрачные стены Кремля, причудливо изогнутые и кольцом охватывающие какую-то таинственную, как Наполеону казалось, святыню, холмообразные, волнистые линии невиданных темных и цветных крыш, зелень, как бы проросшая сквозь вековые здания московитов, невиданные и причудливые для европейца формы построек, и — что всего поразительнее — церкви, церкви без конца!.. И все это — этот город великой пустынной страны, это гнездо и сердцевина жизни многочисленного, захватившего полмира народа — все это у его ног...

Город казался тихо спящим, как всякий город издали. Только южные и восточные окраины, казалось, дымились.

Наполеон догадался, что это пыль от удаляющихся войск побежденной им страны. Никогда во всю свою кровавую жизнь, ни в палимой солнцем Сирии, ни под мрачными пирамидами, он не испытывал такого трепета восторга и какой-то неуловимой боязни — боязни не в меру громадного, подавляющего своим величием торжества, — какой испытывал в эту торжественную и суровую минуту, в виду, как ему казалось, поверженного в прах и униженного священного города московитов. И как всегда это бывает в минуты раздумья, тревожная, хотя торжествующая мысль перенесла его за десятки лет назад, в то золотое время, когда он еще был юношей и перед ним расстилалась таинственная, светлая панорама жизни... Ничего подобного он и представить себе не мог, что видел он теперь и что бесконечной лентой, перевитой кровавыми битвами, небывалыми победами и небывалым торжеством, тянулось позади его...

Он подал знак — и грянула вестовая пушка. Войска точно дрогнули: и они слишком долго ждали этого торжественного момента.

Как боры великие, с отдельно высившимися величественными дубами, сорвавшись со своих основ, двинулись войска к городу, потрясая воздух криками: «Vive l'empereur!» От скока кавалерии застонала земля. Пехота бежала с ревом, как на приступ. Знамена и значки трепались в воздухе, как крылатые змеи. Артиллерия, скакавшая что было мочи у лошадей и немолчно громыхавшая всеми своими тяжелыми металлическими частями, довершала эту адскую музыку, мелодичнее которой не было для этого кровавого человека, снова принявшего неподвижно-сфинксовый образ. Солнце померкло от пыли, поднятой сотнями тысяч ног, копыт и колес.

У Дорогомиловской заставы Наполеон осадил своего коня. Он огляделся кругом и чего-то ждал. Впереди, на пыльных улицах города, сколько ни окидывал глаз, не виднелось ни души. Город казался вымершим. Окна домов были закрыты ставнями, а в кое-где открытых не виднелось ни одного лица. По улицам бродили только куры, да изредка на дворе выла собака.

По лицу Наполеона пробежала тень нетерпения. Он ждал депутацию от покорного города, ждал «бояр» — «les boyards» — с золотыми ключами на блюде; но бояре не являлись — и он начинал сердиться.

Он долго ждал, слишком долго для такой решительной минуты. А «бояр» все не было... Свита начинала чувствовать неловкость положения... Становилось — этого француз никогда не сможет простить, — становилось смешно!

Из Москвы успели воротиться некоторые маршалы, уже проникшие туда с другими частями войск, и, робко подъехав к императору, о чем-то тихо ему докладывали...

— Moscou déserte! — с изумлением откинулся он на седле. — Quel événement invraisemblable! Il faut y pénétrer... Allez et amenez moi les boyards!

Опять поскакали маршалы по пустым улицам, а он все ждет... Бледное лицо его начинает перекашивать судорога. Зубы стиснуты. Глаза словно застыли... Наполеон дожидается... Он, который раздавил Европу как ореховую скорлупу, принужден ждать, словно проситель в передней у вельможи... И он разом почувствовал стыд, да такой жгучий стыд, какого он никогда в жизни не испытывал, — и он почувствовал также, что первый раз в жизни покраснел, покраснел до корней волос... В тот же момент в душе его шевельнулась адская, пожирающая злоба...

Воротились маршалы и вместо бояр привели наскоро нахватанную кучку французов, испокон века живших в «Моску» — парикмахеров, портных, парфюмеров... Как самый представительный на вид, впереди всех выступал мосье Коко, завитой и раздушенный...

Наполеон глянул на них, резко отвернулся, не удостоив ни словом, ни кивком головы, и поехал в город, остро чувствуя, что он вступает в покинутый город как... как воришка в пустой дом...

О! Он этого никогда не простит варварам московитам!

XV

Через день после отступления от Москвы русские войска расположились на ночевку. Пехота была сильно утомлена усиленными переходами и потому требовала отдыха. Кавалерия прикрывала тыл армии и также сделала привал.

Ночь с 3 на 4 сентября выдалась сухая, хотя ветреная. Солдаты, поставив ружья в козлы по обеим сторонам рязанской дороги на расстоянии нескольких верст, занялись собиранием дров для костров, отысканием для лошадей фуража по соседним деревням и, при случае, добыванием приварка, а то и простой ботвы: все же вкуснее, чем железный сухарь с хрустом да «холостые щи», попросту — вода.

Бивачная жизнь закипела живо. Несмотря на совершившееся страшное событие, несмотря на прежние поражения и подчас тупое отчаяние при виде каждодневных неудач, не-

смотря, наконец, на общее горькое сознание, что они бегут, солдаты почему-то стали смотреть бодрее вперед, чем смотрели они до Москвы, особенно же до Бородина. Каждым сердцем как-то чувствовалось, что хотя совершилось нечто ужасное, но что это ужасное было — последнее, что хуже и ужаснее этого уже быть не может, и что с этого именно ужасного должна пойти «другая линия»... «Не та теперь, братцы, музыка начнется, — говорил старый, общий дядька Пуд Пудыч, тертый калач, который бывал и в кольях и в мельях, изведал и полон, и бегство из полону, и говорил нарочно громко, чтоб его услыхал вон тот его бывший ученичок, когда-то жиденький юнкеришка Дуров, а теперь офицер и георгиевский кавалер, обласканный самим государем и с царских-де уст получивший почетную фамилию Александрова, и вот уж с коих пор нос повесивший. — Да, да — другую песню запоют поджарые... Запоют —

«Ах ты матушка родима,
Почто на горе родила?»

Старому дядьке жаль стало своего бывшего питомца, которого он давно полюбил, первое — за скромность, за то, что он словно бы красная девушка, а второе — за его храбрость и ласковость. Суровый дядька видел своего ученика и под Фридландом, и под Смоленском, и под Бородиным, и всегда, что называется, на самом припеке, в самой как есть квашне рукопашной... А теперь — на́ поди — закручинился...

Дядька стоял у костра, тянул дымок из своей носогрейки — спасибо московским табашникам, сунули-таки в ранец горстку-другую доброго кнастеру, — тянул дядька дымок из носогреечки, сплевывал через губу в сторону и, косясь на Дурову, которая, опустив голову, проходила мимо, направляясь к гусарам, продолжал к товарищам: «Да, запоют теперь кургузые — почто на горе родила...»

Дурова слышала это, грустно улыбнулась и пошла далее, опираясь на саблю и прихрамывая, так как нога ее, контуженная под флешами Раевского, у Бородина, продолжала ныть. Она скоро отыскала «войсковый клуб», как они называли тот костер, который Рахметка, неутомимый татарин, всегда делал на привалах для Давыдова и у которого по ночам любили собираться офицеры всех оружий. Давыдова все любили за его ум, мягкость, радушие и какие-то, так сказать, сближающие по душе качества. Много значило присутствие в этом кружке, в качестве непременного завсегдатая, неугомонного Бурцева. Кроме Давыдова и Бурцева, Дурова застала у костра Фигнера и Жуковского, которого

также все необыкновенно полюбили за его «голубиную душу».

— А ты все, Алексаша, хромаешь, — сказал участливо Бурцев, увидав Дурову. — Экой упрямец, ничего с ним не поделаешь: не хочет дать доктору осмотреть ногу, — обратился он к прочим офицерам. — Я хотел сам снять с него рейтузы, поглядеть, что там — так ни-ни, ни Боже мой! К себе не подпускает, и сапога даже не хочет снять.

— Я сам снимал — так, ничего, пустяки, красноватость одна, — нехотя отвечала девушка. — А заметили вы, господа, вчера, как главнокомандующий плакал, когда проезжал через Москву?

— Да, плакал! — проворчал Давыдов. — Не то бы было, если б жив был Багратион... эх!

— На совете в Филях, говорят, когда Бенигсен требовал дать битву под Москвой — не пускать злодеев в город, главнокомандующий, говорят, отделался простой остротой: je sens, говорит, que je payerai les pots russes, — тихо заметил Фигнер, ни на кого не глядя.

— «Разбитые горшки!» Каково! Наши головы он считает горшками! — вскипятился Бурцев.

— Что ж! Горшки, да еще пустые, — пробурчал Давыдов.

Жуковский молчал и задумчиво глядел на огонь. Разговор как-то вообще плохо вязался, и все были более обыкновенного задумчивы. Можно было сразу догадаться, что все думали о Москве.

— Что-то в Москве теперь? — не вытерпел Давыдов, вспомнив, как весной он хвастался своей кузине Софи, что как только пошабашут с Наполеоном — все весной думали, что дальше Дриссы он не дойдет, что там ему и капут, — так как только пошабашут с Наполеоном, то он, Денис, с своим другом Сивкой Буркой явится к ней, кузине, в Москву и закусят воспитанными ею кроликами отличнейшую выпивку; а вот тебе и выпивка!

— Да, поди, кутят, ракальи, на наш счет! — огрызнулся, облизываясь, Бурцев. — Вина все из погребов выглохтят, анафемы.

И опять умолкли — о Москве думают.

«А казаки — ишь, кобылятники востропузые, какие кострищи развели», — слышится в стороне говор солдат. «И впрямь, братцы, костры аховые... Поди, небу там жарко». — «Где не жарко! Страсть!» — «Уж и подлец же народец — только охнешь». — «Где не подлец! Голова народ, ум-

ный». — «Это точно — на все скоропостижный». — «Да это, братцы, не казаки». — «Как не казаки?» — «Казаки не там — их биваки вон где». — «И то правда... Что ж это, братцы? Где это огонь?» — «Да это бытта в Москве — мы оттоле шли». — «Точно оттоле... это, братец ты мой, горит». — «Ой ли! а и точно, что горит... Ишь полымя... Это не костры...» — «Не костры и есть — это пожар...»

Послышалось: «Москва горит». Все поднялись на ноги. «Москва горит», — повторяли голоса то там, то здесь. Иные испуганно крестились.

«Москва горит», — послышалось и среди офицеров. Весть эта пронеслась по всему стану.

Действительно, северная окраина ночного неба багровела, словно из-под горизонта выползали огненные тучи и тихо, зловеще плыли на восток. У подножия этих огненных облаков вздымались иногда отдельные багровые тучки среди как бы горящего дыма, и пламя это передавалось верхним облакам, двигавшимся по небу, так что казалось, пожар переходил от земли к небу и само небо воспламенялось и горело. Масса огня, хотя далекого, была так велика, что раскинула багровый свет на десятки верст, осветила весь необозримый стан русской армии и окружающие его предметы; горели недоумевающие и испуганные лица солдат и офицеров; фосфорическим светом искрились лошадиные гривы и волосатые с настороженными ушами морды; искрились красным светом группы ружей и штыков, поставленных в козлы; красный свет скользил по холодным дулам орудий; ярко-красным заревом горели вершины леса, с которого осень уже срывала листья или окрашивала их в бледные, чахоточные краски. От этой массы далекого света побледнели и как бы сузились в объеме огни костров, а в соседних кустах и за спиною каждого солдата темень стала еще непрогляднее. То там, то здесь изумленно ржали лошади.

«Москва горит», — нервно дрожал голос то в одной, то в другой группе.

Дурова видела, как Жуковский дрожащими руками теребил свою ополченскую шапку, которую он невольно снял, как перед образом или проносимым мимо покойником. И Дуровой показалось, что действительно несут покойника. С дрожью в теле она перекрестилась на зарево, как крестились и многие солдаты. У Фигнера бесстрастное лицо дергалось судорогой.

В это время на дороге, около которой стояла Дурова с другими офицерами, показались два всадника, освещаемые багровым заревом. Дурова узнала Кутузова и Коновницына.

Багровое полымя так освещало ожиревшее лицо первого, что казалось, щеки старика горели... Он ехал как бы ничего не видя кроме этого зарева, и вдруг остановился. Перед ним вытянулся кто-то, отдавая честь: то был Фигнер. Он говорил что-то Кутузову, но такое, чего старик, казалось, не понимал, и иногда взглядывал то на Коновницына, то на говорившего вопрошающими глазами. Фигнер показывал на зарево.

— Хорошо, голубчик, — явственно послышались слова Кутузова, — зайди ко мне пораньше.

Во всем стане в эту ночь никто не спал. Заснули только тогда, когда побелевший восток заставил побледнеть зарево, которое все более и более затушевывалось клубами дыма. Потемнели и красные всю ночь облака.

Через день после этого, утром, когда солнце только что разогнало туман, а придорожная, большею частью помятая и вытоптанная зелень блестела каплями росы, к Москве по рязанской дороге подъезжали две телеги, на каждой из коих, на переднем облучке, сидело по мужику. По всему видно было, что мужики ехали на базар, потому что передняя телега, которою правил седой старик в бараньей шапке, вся наполнена была мешками с картофелью, репой и морковью, а в задней, на которой сидел молодой человек или, скорее, мужик средних лет в гречушнике, видны были мешки с мукою. Задний мужик в гречушнике и в драном бараньем полушубке смотрел мельником, потому что он был весь в муке, начиная с верхушки гречушника и кончая истоптанными лаптями: мукою было выпачкано и лицо, и брови, из-под которых светились серые плутоватые глазки, и рукавицы, которые по своей необычайной величине, по-видимому, не держались у него на руках.

Только кого же могло в такое время понести в Москву на базар, если только не дозарезная нужда выгнала из села в несчастный город, который явственно, на глазах у всех, горел вот уже вторые сутки? И мужики заметно поражены были картиной, которая им представлялась. Из-за почти сплошного пламени торчали только церкви да мрачные стены Кремля, тоже закоптевшие от дыма. То там, то здесь вместе с черными клубами дыма взлетали к небу огненные столбы, брызжущие искрами, словно тысячами ракет: это обрушивались стены домов, из которых, когда разгоняло дым и пламя, высовывались черные великаны-трубы и словно бы с жалобою тянулись к небу. В иных местах слабо дымилось; видно, огню

там уже нечего было делать — все горючее было съедено и вылизано огненными языками.

Чем ближе мужики подъезжали к городу, тем чаще виднелись то там то здесь невиданные люди в невиданных одеяниях, то пешие, то конные. У Яузского моста мужики были замечены часовыми и остановлены.

— Qui vive! — послышался какой-то птичий оклик.

Передний мужик снял шапку и низко поклонился. Один из часовых подошел к телеге и стал осматривать ее, а потом весело взглянул на старика.

— На базар, батюшка кавалер, едем: картошку везем продавать, репку, морковку, да вон мучицы, — говорил мужик, моргая и учащенно кланяясь.

Француз, взглянув в лицо старика, добродушно расхохотался: должно быть, уж слишком забавным показался ему этот московитский старый медведь. Но смешливый француз разразился еще более неудержимым смехом, когда к нему, тоже кланяясь, подошел задний мужик, испачканный мукою до самых глаз.

— Oh, quel monstre, sapristie! — так и схватился француз за бока.

А мужики все кланялись.

— Пропустите, кавалеры, дайте квиток, сделайте Божескую милость... — и мужик показывал на ладони, какой ему «квиток» дать. — Бумажку эдаку — ярлычок.

— Que ça — irlichoque — ir-li-choque?

— Ярлычок, батюшка... квиток...

— Kui-toque? oh!

И француз снова расхохотался, толкнув добродушно мужика в плечо и показав рукой, что они-де свободно могут ехать в город, что им даже будут там очень рады, как гостям, да еще с съестными припасами.

Мужики еще ниже поклонились и, не надевая шапок, тронули свои телеги и поплелись рядом с ними.

— Ах, сволочь! — не вытерпел молодой мужик, когда уже не стало видно французов, и лицо мужика приняло серьезное выражение, серые глаза блеснули фосфорическим светом, как у кошки.

А старик, глядя на горящий город, жалобно качал головой и крестился на церкви. Целые кварталы стояли испепеленными и только слабо дымили, другие же были объяты пламенем. Чем ближе мужики подъезжали к пожарищу, тем явственнее становилось им, что французы старались остановить разливающееся пламя. Целые взводы окружали иные богатые дома и энергиче-

ски отстаивали их от пожирающей соседние дома стихии. Но в то же время нельзя было не заметить, что по глухим переулкам и захолустьям шел грабеж: то француз юркнет в калитку уцелевшего дома при стуке колес, то русский оборвыш прячется где-нибудь с добычей за полуобгорелым забором. Со всех сторон несло гарью. Гул стоял над городом ужасный. Испуганная и голодная птица — голуби, галки, воробьи, потеряв свои пристанища, метались в воздухе с криком и еще более делали страшною, пугающею взор и воображение картину разрушения.

Скоро телеги повернули в уцелевший от огня переулок и остановились у ворот одного невысокого каменного одноэтажного домика с садиком. Окна дома были закрыты ставнями, ворота заперты.

Младший мужик постучал кнутовищем в калитку. На дворе залаяла собака, как-то робко, испуганно. На стук никто не откликался. Мужик постучал еще сильнее, позвенел в щеколду. Нет отклика. Собака лаяла пуще прежнего.

— Михей! А Михей! Ты где? — закричал мужик.

— Кто там? — отвечали со двора, и послышались шаги к калитке.

— Отопри, Михеюшка, свои — не злодеи.

— Ох, Владычица! Кажись, голос баринов, — испуганно заговорили со двора.

Завизжал засов. Звякнула щеколда, и калитка отворилась. В калитке показалась лысая голова старика, в казакине старинного покроя, с сморщенным лицом и давно небритым, щетинистым подбородком. Увидав мужиков, «щетинистый подбородок» с испугом отступил назад.

— Ох, батюшки!.. а мне послышалось...

— А, не узнал, старина! — сказал улыбаясь младший мужик. — Это я в маскарад собрался.

«Щетинистая борода» всплеснула руками.

— Батюшка барин! Ох, Владычица! Что с вами!

— Ничего, Михеюшка, как видишь: приехал к вам в гости — пускай на постой.

Михеюшка засуетился, торопливо, спотыкаясь и ахая, отворил ворота, сам ввел во двор телеги и, обращаясь к старому мужику, наивно спросил:

— И вы тоже барин будете?

— Нет, милый человек, мы господски, — отвечал старик.

— Ну что, Михеюшка, ваш двор Бог помиловал? — спросил тот, кого называли барином.

— Помиловал, батюшка барин, весь наш порядок, надо благодарить Бога, уцелел.

От изумления и неожиданности Михей казался совсем растерянным и в то же время, казалось, радовался, что среди ужасов и разрушения видит живых соотечественников. Он топтался около того, кого называл барином, заглядывал ему в глаза, улыбался.

— Уж и чудно́ же вы, барин, нарядились: из себя как будто вы мельник.

— Точно, мельник — крупы привез злодеям на кашу. Только вот что, Михеюшка: возьми ты вон там, под сеном, мешок и принеси его в комнаты. Пора мне перестать быть мельником: скорей хочу кашу заварить.

Михей достал из-под сена чистый мешок, не запачканный мучною пылью, и принес в дом. За ним последовал и таинственный мельник. Михей скоро вернулся из дому на двор и вместе с приехавшим стариком занялся уборкою и кормом лошадей, которые были поставлены в пустую конюшню, а телеги — в каретный сарай, тоже почти ничего, кроме старых дрожек и городских саней, в себе не заключавший.

Не далее как через полчаса вышел из дому тот, которого называли барином. Он действительно смотрел теперь барином, и притом довольно франтоватым: синий фрак с золотыми пуговицами, черная пуховая шляпа, голубой галстучек, сиреневые перчатки, лакированные с пряжками башмаки на серых фильдекосовых чулках, толстая трость с серебряным набалдашником, на руке плащ; но если б кто-нибудь засунул руку в карман плаща, то ощупал бы там увесистый шестиствольный пистолет, а если бы повернул набалдашник у трости и потянул его кверху, то вынул бы из сердцевины палки блестящий трехгранный стилет, достаточно длинный, чтобы проколоть насквозь хотя бы такое раздобревшее тело, как круглое тельце человека с единственною в мире по своему фасону шляпою на голове, — все это так и отдавало шиком французского щеголеватого комми с Кузнецкого моста или из Гороховой. Только в глазах у него сидел не комми, а что-то другое...

Сказав Михею и старику, чтоб его не ждали, таинственный комми вышел за ворота. Он разными переулками вышел на Тверской бульвар и направился к тем кварталам, которых не коснулся пожар. Видно было, что Москва ему была хорошо знакома. Иногда он останавливался перед каким-нибудь сгоревшим зданием, задумчиво глядел на его останки, осматривал окрестности и шел далее. Как ни беспечна казалась его наружность, но в глазах его блестел нехороший фосфорический свет. Поравнявшись с уцелевшими кварталами, он остановился против одного дома, взглянул на

вывеску парикмахера и улыбнулся. Вывеска гласила: «Louis de-Koko, coiffeur de Paris».

На крыльце парикмахерской стоял сам Коко, завитый и разряженный, и смотрел на дымившийся вдали город. Таинственный комми подошел к нему и раскланялся.

— Bonjour, monsieur de-Koko, — на *де* сделано было особенно вежливое ударение.

Мосье Коко радостно встрепенулся, ответил еще более любезным гортанным приветом и выразил живейшее желание знать, с кем он имеет честь говорить.

Щеголеватый пришлец назвал себя перчаточником Фроманто из Петербурга, сказал, что только вчера приехал в Москву с своим товаром, что никого здесь не знает, но что от всех слышал, каким заслуженным почетом пользуется здесь во всей Москве, и особенно среди своих соотечественников и покорителей этой варварской Московии он, мосье де-Коко, и потому счел первым долгом явиться к нему, чтоб засвидетельствовать ему свое удивление и просить его высокого покровительства.

Мосье Коко окончательно растаял, принял любезно-петушиную позу, милостиво жал мосье Фроманто руку, говорил, что рад оказать ему свое скромное покровительство, что хотя он не желал бы хвастаться перед своим соотечественником, но не может в то же время скрыть, что когда его императорское величество, непобедимый повелитель всего мира, победоносно въезжал в Москву, то на его, мосье де-Коко, долю выпало величайшее счастье и, можно сказать, историческое призвание явиться во главе депутации, которая повергала к ногам величайшего человека древнюю столицу московитов и свои верноподданические чувства. При этом мосье Коко прибавил, что его величество изволил милостиво подать ему, мосье де-Коко, руку и удостоить лестными словами, как представителя Москвы.

Догадливый читатель, а еще более догадливая читательница без сомнения давно узнали в неуклюжем и смешном мельнике, а теперь щеголеватом перчаточнике Фроманто старого знакомого, страшного партизана Фигнера, которого когда-то вместе с Давыдовым и Бурцевым нередко брил и завивал мосье де-Коко, а теперь, ослепленный своим величием и милостями великого Наполеона, не узнал.

Оставим, однако, Фигнера с его таинственными замыслами в Москве и посмотрим, что делают те, которых мы давно не видали, увлеченные общим ходом роковых событий двенадцатого года.

XVI

Мерзляковы оставили Москву только накануне прихода в нее французов. Оставались они в Москве так долго по разным причинам. Ириша, которая, как говорится, могла вить из мягкого дяди веревки, упорно отказывалась покинуть Москву, поддерживаемая тайною надеждою, что наши войска, отразив «злодея», воротятся в столицу, а вместе с ними прибудет и тот, чье имя, вырезанное в саду на коре березы, давно потрескалось и расползлось от пятилетнего роста дерева, так расползлось, что буква «К» — Константин, Костя, превратилась в какого-то паука, а из буквы «И» — Истомин, вышли не то грабли, не то Маврины руки. Каждый день Ириша томилась ожиданием, и все грустнее и грустнее ей было глядеть на исковерканные временем буквы его имени, а о следах на песке, в той сиреневой аллейке, и думать было нечего. Даже та прядь ее «русявенькой с краснецой» косы, которую она так усердно отхватила для него и которая когда-то спасла его от пули, давно отросла и сравнялась со всею остальною косою, да чуть ли и не длиннее ее стала.

И сам бакалавр тоже неохотно собирался покинуть Москву, потому что хотя у него и не оставалось никаких букв на березе, однако он все надеялся, что Хомутовы воротятся из Петербурга и он увидит свою... При этом Мерзляков досадливо махал рукой и тихо затягивал «Среди долины ровныя...»

Наконец, судя по афишам Ростопчина, что Москве несдобровать, они решились уехать в Авдотьино, тем более что старик Новиков давно ждал их к себе и извещал, что Иришиным ручкам предстоит немало работы в уходе за ранеными, которыми наполнена была не только его усадьба, но и все Авдотьино. Мавра наотрез отказалась покинуть свои ухваты, горшки, сковородки и прочие сокровища своих владений, уверяя, что она «*их* примет ухватом по-русски». Ямщик был тот же, который возил их в Авдотьино пять лет тому назад, и все также называл своих лошадей то «мухова кума», то «боговы», но только он уже не пел дорогой: «Что ты тра... что ты тра... что ты тра-а-а-вонька...» О «фараоне» же с рыбьим плесом расспрашивал всю дорогу, чем особенно заинтересовал старушку, мать бакалавра, которая по-прежнему любила все «божественское» и чудесное, и только о том сожалела, что нет с ней теперь ее любимой странницы Авдевны.

Чем ближе подъезжали к Авдотьину, тем более Ириша чувствовала, что ей овладевает беспокойство. Конечно, это происходило от сознания того, что она скоро увидит раненых:

с одной стороны, ей представлялось ужасным видеть страдания больных, с другой — она чувствовала, что каждого раненого она будет отожествлять с тем, кого она и в Москве ждала напрасно и образ которого мучительно наполнял всю ее молодую жизнь. И вдруг — ведь все может быть — и при этом лицо ее то бледнело, то вспыхивало, — вдруг между ранеными, среди страданий и горя, она увидит его! При этом пальцы ее холодели, а в виски стучало молотками.

Но вот и плотина, где дедушка Новиков змею дразнил, а она «клевала» его в палку. Вон и пруд, в котором жили ученики Новикова — караси да окуни, наученные им по часам кушать и узнававшие его в лицо. Вон и пчельник виднеется, где она когда-то ночью подслушивала, как плачет пчелиная матка. А вон и усадьба. На дворе виднеются две фигуры... Так и ест! — это сам Николай Иванович с корзиною в руках, а за ним его «правая рука» — беловолосый Микитейка, который уже вытянулся в порядочного парня... Неужели они опять идут кормить рыб? Нет, он шел навещать своих больных и доставить каждому из них либо лекарство, либо чего кисленького, либо чего сладенького — выздоравливающим, а Микитейка тащил за ним кое-какие необходимые припасы.

Старик очень обрадовался, увидев приезжих. За пять лет он еще постарел и сгорбился. Белая борода сделалась, казалось, еще мягче, еще как бы красивее, хотя приняла отчасти цвет волос Микитейки. Особенно старик был рад Ирише: вид постоянного страдания больных, разговоры с доктором то о безнадежности одного, то об ухудшении положения другого, приготовления к похоронам третьего, и смерть, кругом смерть — все это так истомило его душу, что старик искал присутствия детей как целительного лекарства; если б не тяжелый долг, который он сам на себя наложил, он целые дни проводил бы с деревенскими детьми, смотрел бы на их игры в лошадки, сам бы, казалось, готов был играть с ними, потому что только в них, в глупых детях, он видел непочатый угол того счастья, того блаженного неведения, которое люди сами у себя отнимают вместе с чистотою детства. Такою чистотою неведения, казалось ему, светились глаза Ириши, когда она, обняв его и гладя рукою его шелковую, холодную, словно серебро (на дворе стояло свежо), бороду, ласково говорила: «Ах, дедушка, как я соскучилась об ваших глазах — какие у вас глаза добрые!» А его глаза в это время светились такою нежностью, что готовы были, кажется, расплакаться... Вот где, вот на чьем невинном лице он может успокоить свою усталую мысль и свое упавшее воображение, переполненное картинами страданий и смерти.

Когда Мерзляков заговорил о Москве, о том, что ее, вероятно, мы потеряем, что это будет величайшее несчастие, старик горячо прервал его.

— Вы все там изростопчинились и потеряли головы! Ростопчин всех вас с ума свел — станьте-де все разбойниками и деритесь с разбойниками; да этак люди бы совсем загрызли друг друга... Вы говорите, что потеря Москвы — величайшее несчастие, а я утверждаю, государь мой, что это — величайшее счастье и спасение России. Я сначала думал, когда Кутузова назначили главнокомандующим, что он поймет это — ведь он человек старый, почти мне ровесник: мне шестьдесят девятый, а ему шестьдесят восьмой, — так думал, что поймет; а он не понял и вступил с Наполеоном в битву при Бородине... Не трогай он Наполеона, не показывайся ему даже на глаза с своей армией, отдай ему без выстрела Москву — и тогда Наполеон пропал бы.

И Мерзляков, и Ириша смотрели на него с недоумением. Мерзляков, впрочем, знал своего друга, знал его оригинальный, самостоятельный взгляд на все явления жизни, взгляд, всегда противоположный ходячей, обыденной философии века, — и ждал разъяснения.

— Вас удивляют мои слова, — продолжал тот задумчиво, — да, они странны. Но я повторяю: я признаю Кутузова гениальным полководцем и философом века, если он без бою сдаст Москву. Я бы на месте Кутузова не дал бы ему ни одного сражения, я бы не пожертвовал для него ни одним солдатом, и он все-таки остался бы в дураках. Я бы принял такую тактику: тот за мной — я от него; тот хочет взять Москву — бери, а сам я ухожу дальше, положим, к Твери. Он соскучится сидеть в Москве и опять за мной, а я опять от него... Тот захочет в Петербург — иди, я не удерживаю; но в Петербург он уж сам бы не пошел за мной. Вы спросите, почему? А вот почему, государи мои. Когда бы Наполеон сидел в Москве, дожидаясь или битвы или покорности и мира, он бы все съел вокруг себя; а привозу бы не было ниоткуда — мужичок бы не повез туда ничего, дело понятное... Хорошо, государи мои: Наполеону стало кушать нечего и взять негде — ведь из Франции ни сена, ни овса, ни французской булки не привезешь; вот как нечего бы стало кушать, он бы опять погнался за мной; а я, знамо дело, идучи от него, утекая, все корма поприел — и сено, и овес, и хлеб, а скотину мужик угнал далеко, либо я же у него ее съел с солдатиком... И я бы Наполеона измором взял — это самая лучшая военная тактика. А то — Господи Боже мой! — сколько молодых жизней погибло!

Старик остановился, у него блеснули слезы на глазах. Ириша в душе сочувствовала ему и бросилась к нему на шею... «Дедушка! Вы святой!» — шептала она, ласкаясь к нему. Старик нежно улыбнулся.

— Ах ты моя сладкая! Ах ты моя чистая! — говорил он дрожащим голосом. — Да за всю Москву я бы не отдал жизни одной роты, не пожертвовал бы десятью сыновьями бедных матерей, десятью женихами плачущих девушек, потому что все равно, рано ли, поздно ли, Наполеон погибнет со всею своею армиею. Москву если б он и взял у нас, то долго не удержал бы: повторяю — его великая армия умерла бы с голоду. Одно зло, которое он может сделать — это разрушить Москву. Это будет большое горе, но все же меньшее, чем если бы мы защищали ее с оружием в руках. Разрушенную Москву мы можем опять построить, а погибших человеческих жизней не воротим... Я долго об этом думал, государи мои, и умру с этим убеждением...

В это время на двор въехала телега, запряженная парой. Лошади все были в мыле и тяжело дышали. Из телеги вышел средних лет мужчина, не то приказный, не то военный писарь.

— Что, Ардунин, — спросил Новиков, — ты, кажется, очень торопился? Вон лошади как упарились.

— Ах, батюшка, Николай Иванович! В Москве несчастье! Не успел я ни лекарств, ни инструментов купить — насилу сам ноги унес.

— Что случилось? — тревожно спросил Новиков.

— Москву злодеи взяли...

— Как!.. Было сражение?

— Нет, так наши бежали... все ругают Кутузова: от старости, говорят, от своей испужался злодеев.

Новиков встал (они сидели на крыльце), снял шапку и набожно перекрестился.

— Слава Тебе, Боже великий и милостивый! Мы спасены, Россия восторжествовала... Теперь я вижу, что Кутузов — гениальный полководец.

Ардунин — он был фельдшер — смотрел на старика глубоко изумленными глазами.

— Так поди и доложи Петру Андреичу, что ты воротился ни с чем... Надо будет спосылать в Рязань, — говорил старик, что-то обдумывая. — Да, в Рязань... Вот, други мои, что случилось... Слава Богу, слава Богу!..

Фельдшер прошел в дом. Там лежали больные и раненые.

— Только при больных не говори о сдаче Москвы, — предупредил его старик, — вызови Петра Андреича и скажи тихонько.

Скоро и сам он с своими гостями, с Мерзляковым и Иришей — старуха Мерзлякова ушла к попадье, — вошел в дом. В зале поставлено было шесть кроватей, но Ирише показалось их несчетное множество: у нее в глазах помутилось при виде этих белых простынь, белых подушек и лежащих на них, вытянутых и бледных, белых людей — точно все это саваны и мертвецы... У Ириши и руки похолодели, и сердце, казалось, остановилось...

Но скоро Ириша разглядела, что около одной кровати что-то делал какой-то курчавый большеголовый человек, который, увидав Новикова, весело его встретил. Веселость так и играла на лице и в глазах молодого человека. Казалось, он находился в самом приятном месте. Белые зубы его так и светились из-под улыбающихся губ.

— Ну что — как у вас? — спросил Новиков.

— Отлично, Николай Иванович, все молодцами смотрят, — громко и весело отвечал молодой человек.

— Спасибо, мой друг, вы просто золото.

— Только вот сей юный Марс начинает капризничать, — продолжал молодой доктор, указывая на бледное, добродушное лицо юноши, лежавшее на подушке, — не ест кашки — сладенького захотел.

— Я и сладенького принес, — отвечал Новиков, вынимая из корзинки банку с вареньем.

Ириша начала приходить в себя от симпатичного, казавшегося беззаботным голоса юного эскулапа. Она с участием взглянула в лицо больного, выцветшее от долгого лежанья, и как бы бескровное. Тот тоже не спускал с нее глаз.

— Что у него? — тихонько спросила она у Новикова.

— Ножку отпилили... под Смоленском еще...

У Ириши точно кто рукой сдавил сердце. Такой молоденький — и уже без ноги!.. Она стояла спиной к другим кроватям и не видела, как на следующей койке полнолицая Сиклитинья в качестве сестры милосердия, повязанная белым платочком, пухлыми, засученными выше локтей руками кормила чем-то из ложки другого больного.

Это был плечистый мужчина, с широким и, казалось, упрямым, как обух, лбом, с широкими костлявыми скулами, с круглыми, навыкате, мягкими глазами и смуглым лицом. Высокая, покрытая черными волосами грудь виднелась из-за расстегнувшейся белой рубашки и там же, на смуглой груди,

блестел образок на розовом гайтане. На столике, стоявшем у самой койки, лежали и искрились два беленьких крестика — два Георгия, по-видимому, ни разу не надеванные.

Когда Ириша обернулась вместе с прочими к этому больному, Сиклитинья как раз в этот момент подносила к его рту ложку с кашкой. Глаза больного точно брызнули светом, и сам он весь задрожал, поднимаясь на подушке и протягивая обе руки, которые обе... были отрезаны по локоть!.. Но несчастная девушка не заметила этого: она увидала лицо, голову, глаза — и, вскрикнув, задыхаясь, бросилась к койке.

— Ирина Владимировна!

— Константин...

Девушка увидела руки — не руки, а колодки... Несчастная припала к раненому, тот обхватил ее ужасными колодками, силясь обнять и прижать к себе... Ноги девушки подкосились, она сползала с койки все ниже и ниже — и грохнулась на пол... Голова раненого также завалилась на ту сторону койки, и колодки упали вдоль тела...

— Проклятие! — невольно вырвалось у Новикова.

Мерзляков и Сиклитинья возились около бесчувственной Ириши.

— Се есть носопихательное вещество, изящного вкуса фруфта.

— Да ты, чертова перешница, разводы не разводи, а дай понюхать.

— И сидит в ней бобок — веселит он глазок...

— Тьфу ты, дьявол!

— На-на! жри!

И Кузька Цицеро, в ополченском кафтане и с медным крестом на шапке, пощелкав указательным пальцем в крышку тавлинки, подал ее старому Пуду Пудычу.

— С бобком, дядя московской.

— И не жисть, братец ты мой, а масленица.

— Привезли это нам картошки — уж и ядреная же, братец ты мой.

— Только этот самый Фигнев и нарядись истопником, да, значит, к ему к самому во дворец, к Напалиону... Вот и стал у ево печки топить это, ну и топит кажин тебе день, а сам норовит, значит, тово, как бы, значит, самово злодея...

— Уж и пройдин же сын! А-ах!

Так от скуки болтали солдаты, вот уже сколько времени расположенные лагерем у Тарутина и от бездействия успев-

шие себе даже, как дети без игры, брюха́ поотрастить... «Не жисть, братец ты мой, а масленица!»

Дурова с каждым днем тосковала все более и более, да и кругом была такая мертвая пустота, которую девушка особенно испытывала с того страшного момента, когда после бородинского погрома она на перевязочном пункте застала, как плачущий казак силился закрыть мертвые глаза Грекова мертвыми застывшими веками. Хотя девушка давно присмотрелась к смерти, однако последняя смерть как бы загасила в душе ее светоч жизни, и мрак упал на прошедшее и на будущее. Какая смертная тоска! Какая пустота и в душе, и кругом! Бурцев с самого начала стоянки у Тарутина пил без просыпа и на глаза не показывался Дуровой. «Дениска ушел куда-то разбойничать», — как выразился сам Бурцев о своем друге. Девушка стала какой-то раздражительной и из-за пустяков крупно повздорила со своим начальником, который прикрикнул было даже на нее, что прикажет ее расстрелять за несоблюдение субординации. Вся ее жизнь стала казаться ей ошибкой. Зачем она шла на смерть, зачем сама убивала? Часто, сидя одинокая у костра и обхватив руками больную ногу, она думала теперь обо всем этом. И, как это часто бывает с людьми в период рокового, поворотного, так сказать, жизненного раздумья, все краски и рельефы ее жизни както передернулись, стали не на своих местах: геройство утратило свою яркость, и смерть, какова бы она ни была, явилась во всей своей мрачной наготе и безобразии. Вон какие славные, живые, беззаботные и добрые солдатики, когда они отдохнули, когда смерть не скачет по их рядам и не сгоняет с их лиц вот эти детские улыбки. А какие страшные и жалкие были они там, у флешей Багратиона под Бородиным, у кирпичных сараев под Смоленском — именно жалкие и безумные какие-то. Так думалось ей теперь, и все ярче и ярче выступали перед ней контрасты жизни и смерти. Разве же можно винить Кутузова за то, что он не велел бросить под огонь ружей, под огненные брызги картечи вот эти простодушные лица, заливающиеся искренним смехом над тем, как Жучка, вертясь у костра, ловит свой собственный хвост, вероятно, кусаемый блохой? Разве отступление без боя от Москвы не великий подвиг человечности?.. «Я, — говорит, — отвечаю за разбитые горшки»... Да, он за все отвечает; но ведь потеря и погибель Москвы в сравнении с потерею десятков тысяч жизней — это, в самом деле, потеря разбитого горшка... Он прав, один он прав...

И девушка снова почувствовала страстную нежность к этому «старичку», который в самый опасный момент бородинской битвы сосал куриное крылышко.

— Нет! Дальше от смерти! — вслух громко сказала она, и поднялась с земли вся красная (она за бледностью давно уже не краснела).

В этот же вечер она уехала в главную квартиру, в Леташевку. Кутузов помещался в простой крестьянской избе. Сильно билось сердце девушки, когда она, опрошенная ординарцем главнокомандующего, стояла в сенях избушки, занимаемой русским полководцем, и ждала возврата ординарца из самой избушки. Но вот дверь отворилась — маленькая такая, черная, низенькая дверца, — вышел ординарец, громко сказал: «Войдите», — и сердце, бившееся усиленно, разом упало... Хоть бежать, так впору!.. Она переступила через порог, ничего не видя и не помня, и остановилась как вкопанная: только теперь поняла она, какую дерзость сделала...

— Что тебе надобно, друг мой? — вдруг прозвучал над ее ухом добрый старческий голос.

Она подняла голову; глаза ее встретились с ласковым глазом старика, все лицо которого, казалось, говорило: «Бедный ребенок! И он ищет смерти! И его не пощадили!» Как очарованная, словно на образ смотрела она без слов на доброе лицо старика, и, вероятно, ее собственное лицо в этот момент было так наивно, так детски глупо, что старик невольно улыбнулся.

— Что тебе, мой дружок? — сказал он еще ласковее, и девушке в его голосе послышалась такая ласкающая нота, как бы он говорил маленькому ребенку: «Агунюшки — агу, глупое дитятко».

— Я... я желал бы... иметь счастье быть ординарцем вашей светлости во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости, — отрапортовала она.

Вот тебе и на! Старик еще более улыбнулся... «Ну можно ли сердиться на такого дурачка, можно ли взыскивать с этой глупой рожицы! — говорило, казалось, старое доброе лицо... — Ведь это совсем ребенок, даже усики ни одним волоском не пробиваются, а щеки и губы — совсем как у девочки...»

— Какая же причина такой необыкновенной просьбы? — Старик, видимо, даже трунил над глупой рожицей просителя. — А еще более способа, каким предлагаете ее, государь мой?

— Я... я не могу там оставаться... меня оскорбили... меня хотели расстрелять ни за что... А я этого не заслужил. — Она захлебывалась от своих слов. — Я родился и вырос в лагере, я любил военную службу со дня моего рождения, посвятил ей мою жизнь, готов пролить всю кровь мою, защищая

пользы государя, которого чту как Бога, и имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаем смертью...

Она совсем захлебнулась и покраснела, как вареный рак, заметив выражение добродушной насмешливости на лице главнокомандующего при слове «храброго офицера». Она спохватилась.

— В прусскую кампанию, ваша светлость, — зачастила она, — все мои начальники так много и так единодушно хвалили мою смелость, и даже сам Буксгевден назвал ее «беспримерною», что после всего этого я считаю себя вправе назваться храбрым, не опасаясь быть сочтенным за самохвала.

Кутузова, видимо, поразила эта речь. Он даже отступил назад.

— В прусскую кампанию! Да разве вы служили тогда? Который вам год? Я полагал, что вам не больше шестнадцати.

— Нет, ваша светлость, мне уж двадцать третий год... В прусскую кампанию я служил в конно-польском полку.

Кутузов как бы припоминал что-то. Лицо его вдруг стало серьезно.

— Как ваша фамилия? — поспешно переменил он тон.

— Александров, ваша светлость.

Слова эти произвели странное действие. Доброе лицо старика осветилось радостью и он протянул вперед руки, как бы желая благословить девушку. Но он сделал не то — он обнял ее.

— Так ты Александров! — нежно говорил он, заглядывая ей в смущенное лицо и поворачивая его к свету. — Так это вы... Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас, давно... Останьтесь у меня, если вам угодно, мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных.

Он, отойдя от нее, опять подходил к ней и клал на плечо руку, ласково оглядывая ее.

— Так это вы, — повторял он. — А! Кто б подумал!.. Рад, очень рад... А что касается до угрозы расстрелять вас, то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу: это были пустые слова, сказанные в досаде.

Он остановился, отошел, снова подошел, хотел что-то спросить, но, услыхав шаги в сенцах, остановился.

— А! Александров, — повторил он как бы про себя. — А теперь вот что, дружок: подите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем.

Девушка брякнула шпорами, отдала честь, повернулась и пошла. Взор старика следил за нею.

— Что это! Вы хромаете? Отчего?

Девушка опять вытянулась в струнку перед главнокомандующим. Грудь ее подымалась высоко, не по-мужски, и беленький Георгий трепетал на ней. Старик глядел на юного уланика с нежностью и сожалением.

— Вы не ранены?..

— Ранен, но легко, ваша светлость: я получил контузию от ядра.

— Контузию от ядра! И вы не лечитесь! Сейчас скажите доктору, чтоб осмотрел вашу ногу.

Девушка сказала, что контузия очень легкая и что раненая нога почти не болит. «Говоря это, — пишет она в своем дневнике, — я лгала: нога моя болит жестоко и вся багровая».

Несколько дней спустя у нее записано в дневнике: «Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу как осиновый лист. Меня посылают двадцать раз на день в разные места. На беду мою Коновницын вспомнил, что я, быв у него на ординарцах, оказалась отличнейшим изо всех тогда бывших при нем. «А! Здравствуйте, старый знакомый!» — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим, и с того дня не было уже мне покоя: куда только нужно послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне», — и бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и из одного крыла армии к другому».

Эта, как выражался Бурцев, «измена» его Алексаши своим товарищам наделала-таки беды: Бурцев запил в мертвую голову, бранил весь свет, лез к каждому с кулаками и вообще буянил так, что не знали даже, что с ним и делать. Иногда видели, как он издали грозил кулаком той избушке, в которой помещался главный штаб, бормоча: «Это они украли у нас Алексашу». А когда, бывало, проспится после нескольких дней безобразия, то непременно раздобудет где-нибудь бутылку сливок и смиренно тащит ее к «подлецу Алексаше».

Через несколько дней Кутузов велел позвать к себе Дурову. Она вошла, звякнула шпорами и вытянулась свечечкой. Старик улыбнулся и быстро подошел к ней, так быстро, как только позволяли старые, развинченные ноги.

— Ну что, мой друг, — он взял девушку за руку — рука была холодна, как у мертвеца, — покойнее у меня, чем в полку? Отдохнул ли ты? Что твоя нога?

Она молчала, чувствуя, как холодная рука ее дрожит в теплой пухлой руке старика. Старик взял обе руки девушки, как бы стараясь отогреть их в своих руках.

— Что же, дружок, отдохнул?

— Нет, ваша светлость: нога болит, каждый день у меня лихорадка... я только по привычке держусь на седле, а сил у меня нет и за пятилетнего ребенка.

— Бедное дитя!

Старик притянул ее к столу и посадил насильно на лавку.

— Бедное дитя! — повторил он, качая головой. — Ты, в самом деле, похудел и ужасно бледен... Это безбожно... Поезжай немедленно домой — отдохни там, вылечись и приезжай обратно.

И вдруг, при этих словах, страх напал на сумасбродную девушку... Бросить все, отказаться от того, что она лелеяла в себе с детства, с чем срослась, сроднилась родством страданий...

— Ваша светлость! — в голосе ее дрожали слезы. — Как же я поеду, когда ни один человек теперь не оставляет армии?

— Что ж делать, дружок, — ты болен! Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! Теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь.

Потом, взяв со стола одну бумагу и ткнув в нее пальцем, он как-то странно засмеялся.

— Да, да, непременно уезжай, дружок!

Он взял со стола сверток и подал его девушке, с любовью следившей за его движениями.

— Вот тебе деньги на дорогу — поезжай скорее... Если что нужно, пиши прямо ко мне — я все сделаю... Мне и государь говорил о тебе... Уезжай же скорей, а то... — старик нагнулся к самому лицу девушки, — Бенигсен донес государю, что мы, — он подчеркнул *мы*, — с тобой тут сибаритничаем и что ты — моя любовница, переодетая улаником...

Девушка вспыхнула, вскочила, глаза ее чуть не брызнули слезами.

— Да-да, донес государю, только не назвал твоего имени, а наш ангел, государь, прислал этот гнусный донос ко мне...

Девушка не выдержала: из глаз ее брызнули слезы.

— Ну полно, полно, дружок! — утешал ее главнокомандующий и нежно, словно ребенка малого, взял за подбородок и приподнял плачущее лицо. — Не плачь, мой друг!.. И это воин! Противник Наполеона! Ах!

И старик так сжал и приподнял ее трясущийся подбородок, что девушка невольно, сквозь слезы, улыбнулась.

— Ну так вот на же! Пусть недаром говорят, что ты моя любовница, — на же!

И он, не отнимая руки от ее подбородка, поцеловал ее сначала в губы, а потом в лоб.

— Ну, а теперь прощай, дружок!

Девушка бросилась целовать его руки и заплаканная, ничего не видя, воротилась в штаб, который помещался в одной из соседних крестьянских избушек. На пороге она столкнулась с Бурцевым, у которого из шинельного кармана торчало горлышко бутылки со сливками.

— Вот тебе, Алексаша...

Девушка как-то порывисто обняла его и снова заплакала.

— Прощай, Бурцев, прощай, мой добрый и честный друг! Я еду домой, в отпуск...

Бурцев задрожал и выпустил из рук бутылку, которая стукнулась об порог и разбилась.

Прошло еще несколько дней.

Глухой осенний вечер в далеком прикамском захолустье. Из мрака чуть выглядывает разбросанное по горному берегу Камы жалкое жилье. Хоть бы фонарик на улице! Это — город Сарапул.

В одном небольшом домике на берегу Камы светится огонек. Войдем туда. Огонь только в одной комнате. За столом сидит старик в халате и молча курит длинную чубучную трубку: тип старого гусара на покое. Тут же, облокотившись обоими локтями на стол, мальчик лет четырнадцати что-то читает вслух: «Злодеи не пощадили храмов божиих...»

— А где-то теперь Надя? — обрывает мальчик чтение.

Старик молчит, только трубка энергически засопела.

— Я, папа, пойду на войну — мне перед Надей стыдно, — продолжал мальчик.

На дворе залаяли собаки... «Цыц, Вольтерка!» — слышится голос на дворе. «Артем, это ты?» — другой голос, незнакомый. Что-то застучало в сенях. Шаги в зале — это звяканье шпор... «Кто бы это?» Кто-то уже на пороге. Свет от свечей падает на лицо: это Дурова.

— Папа! Милый папа!

У старика вываливается трубка из рук. Он вскакивает бледный, дрожащий, и обхватывает дочь, повисшую у него на шее.

«Папа!..» — «Надя! Надечка!..» — «Папа мой!..» — «Ангел! Дочушка!»

Плачут и обнимаются, обнимаются и плачут... Подошел и мальчик:

— И меня, Надя! — Обнимают и целуют и его. — Ах, какой мундир! Сабля! Малиновые отвороты! Шпоры! Ах, Надя!

— Господи! Казанска!.. Барышня наша! — раздается еще голос.

И Артем, и старая Наталья — все ахают да крестятся... Мальчик весь красный...

Старик отец отошел в сторону, смотрит, молитвенно смотрит, губы его дрожат от счастья, нижняя челюсть трясется...

— Улан... офицер... с Георгием... Господи! — бормочет он. — Да что ж это!.. Надя! Надька! Улан!.. Да иди ж ты ко мне на руки, как прежде хаживала — иди, иди, дитятко!

И он сел и привлек к себе на колени дочь. Она уселась и страстно обхватила руками шею отца.

— Хороший мой! Старенький... Седенький...

— Вот она, Надька — и в рейтузах... улан у меня на руках...

И он то обнимал ее, прижимал к себе, отстранял от себя, разглядывал ее лицо, руки, грудь, Георгия, то трогал ее ноги в жестких рейтузах и кавалерийских высоких сапогах, то целовал лицо и руки, будто совсем рехнувшись от радости.

А ее капризная память переносит на берег Двины, далеко-далеко на запад... Она так же, как теперь здесь, сидит на коленях и обнимает и целует калмыковатое лицо... А потом это лицо — мертвое, под Бородиным, мертвые веки надвигаются на мертвые глаза...

Все, все невозвратное воротила шальная память, и бедный уланик, уткнувшись носом в плечо отца, тихо, безутешно заплакал...

Эта же шальная память в одно мгновение поставила перед нею целые картины пережитого, незабываемого, незабываемые образы, речи, голоса: Бородино, Москва в пламени, плачущий Бурцев, милый профиль мертвого калмыковатого лица...

— О, проклятый, проклятый год! — невольно вырвалось у нее из груди. — Никогда я его не забуду!..

Не забудет никогда этого года и история — этот скорбный лист хронического безумия человечества.

Замурованная царица

РОМАН ИЗ ЖИЗНИ
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

I. ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО ФАРАОНА

В стовратных Фивах, в столице фараонов, торжество.

Массы египтян всех возрастов и полов толпятся около гигантского с причудливыми исполинскими колоннами и пилонами храма Аммона-Горуса. Нил запружен лодками: это народ стремится с заречной, с правобережной стороны Фив переправиться на левобережную, чтобы видеть готовящееся торжество. В воздухе стоит невообразимый гул и говор. Только длинная и широкая аллея сфинксов, ведущая к храму, свободна от толпы, потому что ее оберегают от наплыва любопытных вооруженные длинными копьями «мацаи» — нечто вроде полицейских и сыщиков; гранитные великаны-сфинксы, протянув перед собою львиные лапы, безмолвно глядят своими гранитными очами в неведомое пространство. К людскому говору присоединяются звонкие крики орлов, стаи которых с Ливийских гор постоянно налетают к шумной столице фараонов и спиралями кружатся над нею в голубом, как бирюза, небе.

— Дедушка, — говорила маленькая, десяти- или одиннадцатилетняя девочка с бронзовым личиком и курчавой головкой, указывая на резные изображения на пилонах храма,— кого это бьет по головам вон тот страшный человек?

Девочка обращалась к старику, державшему ее за руку.

— Это, дитя, сам фараон поражает своих врагов, — отвечал старик, гладя курчавую головку девочки. — А то — видишь, влево — великий Аммон подает ему боевую секиру.

— А что там, дедушка, написано? — любопытствует девочка.

— А то, дитя, начертаны слова самого бога. Аммон-Горус говорит фараону: «Сын мой, происшедший из чресл моих, ты, которого я люблю, господин двух миров, Рамзес! Я привожу

к тебе вождей южных стран с детьми их, сидящими на спинах их»...

— Да, да, дедушка, смотри — вон они на спинах, да все маленькие, — лепетала девочка.

— Такие же, как и ты, дитя, — улыбнулся старик.

— Зачем же бог Аммон привел их к фараону?

— А вот зачем, дитя: бог говорит фараону: «Пощади жизнь тех, которых ты изберешь из среды их; убей из них столько, сколько ты найдешь нужным».

— Ах, дедушка! Слышишь музыку?

— Идут! идут! — пронесся говор по аллее сфинксов.

Мацаи торопливо стали приводить народ в порядок, махая копьями.

В конце аллеи сфинксов, противоположном храму, показалась процессия.

Впереди шли ряды музыкантов и хоры певцов. Воздух огласился дикою музыкою барабанов, труб и флейт. Это был военный марш великого Рамзеса-Сезостриса, марш, под ужасную мелодию которого он покорил весь тогдашний мир, залив его реками крови. Музыка сменялась хорами. В этой новой мелодии было что-то еще более ужасное: в ней слышалось и рыкание львов, и плач крокодилов Нила, и клекот орлов пустыни.

Так открывалась величественная процессия венчания на царство фараона Рамзеса III, или Рампсинита.

За музыкантами и хорами певчих выступали в богатых одеяниях, блестя золотом и пурпуром, родственники и приближенные фараона с верховными жрецами в полном облачении.

За ними — высоко в воздухе покачивались с метрической плавностью носилки и трон самого фараона, предшествуемые старшим сыном Рамзеса, который сожигал перед царственным отцом благоухания земли Пунт.

Величественно-напыщенная фигура Рамзеса хорошо видна была для всей собравшейся толпы. Украшенный всеми знаками царского сана, он сидел на золотом троне, а голову его осеняли своими крыльями изображения правосудия и истины. Там же, у трона — золотые фигуры сфинкса и льва — эмблемы мудрости и мужества. Лев, казалось, грозно смотрел на толпу, охраняя трон монарха земли фараонов. Длинные из красного и черного дерева носилки, украшенные золотом и драгоценными камнями, покоились на плечах двенадцати «эрисов», или военачальников, которых головы украшены были страусовыми перьями. Носилки и трон окружали прелест-

ные мальчики-дети из жреческой касты, которые несли скипетр фараона, футляр его лука, колчан со стрелами и другие знаки царского достоинства.

Но что особенно поражало зрителей — это громадный лев, который шел рядом с носилками, постоянно поднимая свою косматую голову вверх, чтобы взглянуть на Рамзеса. Это был его любимый, прирученный с детства лев Смам-Хефту — «раздиратель врагов», которого вел на золотой цепи маленький внук верховного жреца Аммона, смуглолицый мальчик лет двенадцати. Лев привык к своему маленькому вожатому, играл с ним и позволял даже ездить на себе верхом.

Вокруг всей этой группы — вокруг носилок с троном, фараоном, вокруг эрисов, жреческих детей и льва — кольцом обвивались сановники, которые своими блестящими опахалами навевали прохладу на своего повелителя, насколько мог дать прохлады знойный воздух тропиков при мертвой тишине, не колеблемой даже ни малейшим дуновением ветерка с Нила.

Вслед за носилками шли восемнадцать царевичей — детей Рамзеса (старший шел впереди носилок, куря благовониями земли Пунт). Они шли по два в ряд. У младших из них, еще не достигших возмужалости, от висков спускались на щеки черные как смоль «локоны юности» — признак принца царской крови.

За царевичами, тоже по два в ряд, выступали начальники войск, а затем уже колонны воинов с луками и колчанами за плечами.

Недалеко от храма, на площади, обведенной полукругом из сфинксов, процессия остановилась. Носилки были поставлены на землю, и Рамзес сошел с трона, поддерживаемый эрисами.

Площадь и толпы народа, казалось, дрогнули от испуга. Они увидели бога!..

Это был белый, как горный снег, молодой бык — Апис. Добродушная морда животного, кроткие, огромные, несколько выпученные глаза, бессмысленно глядевшие на блестящую процессию, — все это как то не вязалось с понятием о грозном и всемогущем божестве. Но такова сила человеческой глупости: все, исключая жрецов, и то немногих, верили, что это — бог, Апис-Озирис. Все упали на колени, кто воздевал руки к божеству, кто распростерся ниц.

Впереди Аписа шел жрец, куря фимиам перед священным животным. Бык шел послушно: он знал, куда его ведут. Богу

долго не давали есть, он проголодался, но хорошо знал, что если верховный жрец идет впереди с курильницей, то, значит, скоро богу дадут кушать. Вслед за Аписом двадцать два жреца несли на драгоценных носилках в форме паланкина саму статую божества, Аммона-Гоpуса, из чистого медианитского золота, а другие жрецы богатыми опахалами и ветками олеандров в цвету навевали свежесть на это золотое божество.

Рамзес присоединился к этой священной процессии. Возложив на голову один венец — венец «нижней страны», он пошел вслед за Аписом. За ним понесли статую Аммона-Горуса, окруженную жрецами, из которых один громко возглашал предписанные на этот случай молитвы, другие девятнадцать жрецов несли разные священные предметы, а еще семь выступали с небольшими золотыми изображениями предков и предшественников Рамзеса, которые символически, в вещественных образах, принимали участие в торжестве своего дальнего потомка.

Миновав пилоны, священная процессия с быком и фараоном во главе вступила во внутренний двор храма, с одной стороны обставленный колоссальными колоннами, капители которых украшены полураспустившимися лотосами, с другой — пятью массивными каменными пилястрами, к которым прислонены такие же колоссальные статуи фараонов с атрибутами Озириса.

Но здесь процессия не остановилась. Она прошла этот двор и другие пилоны с изображениями побед Рамзеса и вступила во второй, еще более обширный двор, окруженный галереями с богатыми скульптурными изображениями и статуями царей.

Вступив на этот двор, Рамзес поднял голову. Глаза его остановились на западной галерее, и смуглое лицо фараона просветлело. Оттуда смотрели на него его дочери и жена, царица Тиа. Всех царевен было четырнадцать, из которых иные смотрели еще очень юными: их невинные личики и разгладили суровое чело фараона.

Увидев Аписа, царица и царевны благоговейно преклонили колени.

Но вот фараон уже в храме, перед жертвенником Аммона-Горуса. Его встречает первенствующий верховный жрец с амфорой помазания и елеем в одной руке и с двойным венцом в другой. Это венец «верхней и нижней страны» — Верхнего и Нижнего Египта,

Апис, стоящий рядом с фараоном, начинает изъявлять нетерпение, беспокойство. И причина понятна: проголодавшийся

бог видит на жертвеннике сноп зеленой, сочной, с налитыми колосьями пшеницы и около снопа — золотой серп. Бык очень хорошо понимает, для чего все это приготовлено: его сейчас будут кормить этою прелестною пшеницею, и глупый, недогадливый бог, словно простой смертный деревенский бычок, протягивает к снопу свою добродушную морду. Но догадливый, продувной жрец кадит у него под самой мордой благоуханиями, которых бык терпеть не может — и он пятится назад от снопа. Ах, как ему надоели эти курения! А ничего не поделаешь — надо терпеть, а иначе есть не дадут. И наученный горьким опытом бог молчит и только тихим мычанием изъявляет свою волю на венчание Рамзеса III венцом обоих Египтов — от моря и Мемфиса до пределов «презренной страны» Куш-Ефиопии. И первенствующий верховный жрец, совершив обряд помазания на царство, умастив голову фараона благовонным елеем, возлагает на него двойной венец.

А Апис все ждет... И когда все это кончится!.. Как противен для него запах этого елея! Как противен дым курений!.. То ли дело зеленая сочная пшеница — эти налитые молоком колосья!.. А надо ждать...

После этого венчанный царь совершает возлияние божеству, Аммону-Горусу.

Тогда начинается обряд «четырех птиц». Из внутренней части алтаря, из святилища, недоступного для смертных, выносят четыре золотые клетки с священными птицами — ибисом, кобчиком, вороном и орлом. Верховный жрец поочередно вынимает их из клеток и выпускает на все четыре стороны света — на север, на восток, на юг и на запад: эти птицы, гении бога Озириса, должны поведать во все концы мира, что Рамзес III, следуя примеру Аммона-Горуса, венчался символами его владычества над всею вселенною.

А Апис все ждет, следя своими добрыми, изумленными глазами за полетом птиц... Зачем это они делают? А затем, чтобы потом дать ему вон те удивительные колосья... Он это хорошо понимал — он хорошо помнит, что то же самое проделывали с ним жрецы, когда несколько лет тому назад венчали на царство фараона Сетнахта-Миамуна... И тогда дали ему вот эти удивительные колосья... А где же девался этот Сетнахт-Миамун? Бык ничего не понимал — и терпеливо ждал...

Наконец-то!.. Рамзес протягивает руку, берет золотой серп и срезывает полную горсть пшеницы. Жрец с противным курением отступает в сторону, и Рамзес дает Апису порядоч-

ный пучок колосьев... Ах, как вкусно! С каким наслаждением он жует эту прелесть и снова протягивает свою морду к снопу.

Тогда с верхней галереи сходит царица Тиа с царевнами и начинается трогательная сцена: юные царственные египтянки обступают Аписа и благоговейно, с любовью гладят мягкую, шелковистую, чистую шерсть священного животного, суют ему в рот колосья, а он их жует и жует с наслаждением, поглядывая на девочек своими кроткими глазами.

В это время Аммон-Горус, сопровождаемый половиною жрецов, удаляется в свое святилище[1].

II. «СВЯЩЕННАЯ ДЕВОЧКА»

Когда кончился, таким образом, обряд венчания на царство Рамзеса III, жрецы Аписа двинулись в обратный путь с своим богом, в храм Аписа-Тума, находившийся недалеко от Рамессеума великого Сезостриса. И на этот раз впереди священного быка шел жрец и на золотом блюде сожигал благовония.

При приближении Аписа к крайним пилонам храма Аммона-Горуса, где была особенно многочисленна толпа зрителей, старик, который в предыдущей главе разъяснял своей маленькой внучке изображения и надписи на пилонах, видимо обнаруживал знаки величайшего волнения. Он то прижимал руку к сердцу, как бы стараясь удержать его биения, то поднимал глаза к небу.

Теперь он, при виде Аписа, нагнулся к девочке как бы затем, чтобы пригладить ее волосы.

— Так все помнишь, дитя? — спросил он шепотом.

— Все помню, дедушка, — отвечала девочка.

— Что ж ты скажешь? — продолжал старик.

— Я скажу про себя: великий бог Апис-Тум! Освети мою невинную душу божественным лучом очей твоих: дай мне, чистому ребенку, твою силу для доброго дела, — пролепетала шепотом девочка.

— Хорошо, дитя... Только не забудь взглянуть ему в глаза.

— Не забуду.

Сказав это, девочка, гибкая и тоненькая, как пальмочка, вьюном проскользнула вперед к самим мацаи, охранявшим по-

[1] В изображении обряда венчания Рамзеса автор главным образом придерживался Шампольона и Мариетт-бея.

рядок шествия. Старик лихорадочно следил за ее движениями. При виде бога толпа снова дрогнула, и кто упал на колени и протягивал руки к божеству, кто распростерся ниц. В этот момент девочка, юркнув мимо мацаев, очутилась как раз пред Аписом и упала на колени, скрестив руки. Черные глаза ее с боязнью уставились в изумленные глаза священного животного. Бык остановился на минуту. Мацаи, было, бросились к девочке, но жрец, возжигавший курения, остановил их.

— Не отгоняйте детей от лицезрения бога, — сказал он повелительно, — сам великий Аммон принимает невинных детей на свое лоно.

Бог уже нагнул было голову, чтобы бодаться — ему одного маленького снопа было недостаточно — он был еще голоден, как девочка уже юркнула в толпу.

— Она священная... девочка священная теперь, — прошел шепот удивления по толпе.

Все старались взглянуть на нее, подойти ближе, заговорить. Она сама теперь чувствовала, что совершила что-то необыкновенное. Она это видела в глазах других, слышала это в шепоте удивления окружавших ее, замечала это в том благоговейном удивлении, с каким глядели на нее женщины. В ней заговорила бессознательная радость-гордость совершенного подвига. Она, казалось, преобразилась — выросла в один момент, возмужала. Хорошенькое смугленькое личико ее стало еще прелестнее.

Шествие между тем продолжалось. Апис уже подходил к колоссальным статуям фараона Аменхотепа III, которые до настоящего времени слывут ошибочно под именем колоссов Мемнона.

Фараон Аменхотеп III был царем Египта восемнадцатой династии, около 1680 лет до христианской эры. В Каире, в Булакском музее, можно доселе видеть статую строителя этих колоссов, надпись на которой, между прочим, говорит от лица этого строителя: «Возвысил меня царь Аменхотеп III в звание верховного строителя. Я увековечил имя царя, и никто с древнейших времен не сравнялся со мною в работах моих. Для царя создана была гора песчаника — он есть наследник бога Тума (заходящего солнца). Я действовал на основании собственных вычислений, когда под моим руководством высекались из хорошего крепкого камня две статуи в этом великом здании (в храме Аменофиум). Оно подобно небу. Ни один царь не сделал ничего подобного со времени, когда солнечный бог Ра владел страною. И так я наблюдал за изваянием этих изображений — его, царя, изображений: они удивительны и

по ширине, и в высоту, по вертикальному направлению; фигура их в оконченном виде делала ворота храма низкими — сорок локтей мера их... Я приказал построить восемь кораблей. Статуи на них отвезены и поставлены в его великолепном здании. Они будут вечны, как небо»[1].

И гениальный скульптор колоссов не ошибся: от стовратных Фив, от храма Аменофиума, от дворцов и храмов Рамзеса II — Сезостриса и Рамзеса III — Рампсинита, от всех богов Египта остались только обломки на месте Фив, обломки камней, мусор да колонны полуразбитые; имя фараона Аменхотепа III, чью личность изображали эти колоссы, давно забыто в истории; а колоссы все стоят в грозном величии вот уже почти 4000 лет и будут еще стоять долго-долго на удивление последующим поколениям...

Старик и девочка между тем затерлись в толпе.

— Кто эта девочка? — спрашивали любопытствующие. — Чья она?

— Неизвестно... Слышали только, что старик назвал ее Хену.

— А кто этот старик: отец ее или дедушка?

— Это знает только бог Хоремху всевидящий[2]: он освещал своими лучами ее детскую колыбель.

А между тем те, о коих говорили в толпе, пробирались к берегу Нила, выше Мединет-Абу. В густых тростниках их ожидала небольшая лодочка, которую можно было с трудом отыскать. Но старик, по-видимому, хорошо знаком был с местностью. Он без труда отыскал лодку, привязанную к толстому стволу тростника, отвязал ее и взял лежавшие на дне ее весла.

Девочка с легкостью котенка вскочила в лодку.

— Дедушка, — сказала она, — дай мне одно весло, я буду грести.

— Хорошо, дитя, — с улыбкою отозвался старик, — только ты не сумеешь.

Он оттолкнул лодку и сам в нее вскочил с легкостью юноши. Лодка вышла из тростников и направилась к другому берегу Нила. Девочка гребла усердно, стараясь брать в такт с дедом.

— Отчего же, дедушка, Апис — бог, а другие быки не боги? — спросила она, видимо, находясь под впечатлением недавно испытанного.

---

[1] «История фараонов» Бругш-бея, стр. 393.

[2] Хоремху — это Хорус, или Горус «в солнечном блеске».

— Оттого, дитя, что в Аписа вселилась душа Аммона-Горуса, — отвечал старик.

— А как же узнать, в какого быка она вселилась?

— Это узнают только святые отцы, дитя... Когда прежний бог Апис, жития которого было двадцать шесть лет два месяца и один день, отправился в прекрасную страну запада и был погребен в гробничном подземелье, на покое, при великом боге Озирисе, при Анубисе и при богине подземного мира на западе, в вечном доме своем, то нового бога Аписа долго искали по всему Египту и нашли только в низовьях Нила, и тогда верховный жрец торжественно, при всем народе, ввел его в храм Пта — отца богов.

— Дедушка, — перервала его рассказ девочка, — а когда ты был начальником стад фараона, в твоих стадах ни разу не появлялся бог Апис?

— Нет, дитя, появлялся, — отвечал старик с дрожью в голосе, — последний Апис, который был перед этим, вырос в моих стадах и родился от моей коровы.

Девочка задумалась, усердно работая веслом.

— А что теперь со мной будет, дедушка? — спросила она вдруг. — Он взглянул мне прямо в глаза... Я чуть не крикнула от страху.

— Тебе богов бояться нечего — ты невинное дитя, — сказал старик.

— Так что ж со мною будет, дедушка? — снова спросила девочка.

— Ты теперь стала священная — ты сподобилась великой милости бога, и теперь все, о чем ты попросишь у отца бога Аписа, у великого Пта — все исполнится.

— А когда я вырасту большая, тогда что со мною будет?

— Все для тебя будет достижимо, дитя, если ты не утратишь своей святости.

В это время лодка поравнялась с длинною песчаною отмелью, тянувшеюся вдоль Нила до острова. На отмели виднелись какие-то черные колоды, в которых девочка, обитательница берегов Нила, тотчас узнала страшных владык водных пределов священной реки. Это были два огромных крокодила. Они лежали на отмели, разинув свои чудовищные пасти, а в них, среди огромных, словно пилы, зубов, безбоязненно возились какие-то маленькие птички: это были знаменитые «трохилосы», о которых говорит Геродот. Маленькие птички эти — друзья крокодилов. Когда нильские чудовища выходят из реки на берег, большею частью на илистые и песчаные отмели, и отдыхают, раскрыв пасти для того, чтобы

ветерок освежал их, то трохилосы забираются к ним в пасти и, ничего не боясь, отыскивают и поедают там разных паразитов, вроде пиявок и водяных жучков, которые беспокоят крокодилов. Чудовищам это нравится и они щадят своих маленьких благодетелей, тем более что трохилосы криком своим пробуждают спящих крокодилов, предупреждая их об опасности.

— Смотри, дедушка, вон крокодилы спят, — сказала девочка, увидав чудовищ, — вон и птички у них во рту бегают — и не боятся.

— Чего ж им, дитя, бояться? Они для крокодилов то же, что ты для меня — их утеха, — заметил старик.

— А говорят, крокодил тоже бог. Да, дедушка?

— Да, дитя, только у нас ему не ставят храмов. А в Нижнем Египте, в земле Таше, крокодилы имеют свои храмы: в крокодиле обитает божество Сет[1] — страшное, разрушительное божество.

— А недавно, вон у того берега, крокодил утащил одну девочку — я сама видела.

— Она, должно быть, близко подошла к берегу?

— Да, дедушка, она водила на водопой осла и стояла у самой воды, а крокодил как ударит ее хвостом — мы и не заметили, как он показался из воды, — девочка упала в воду, он и утащил ее... А мы играли дальше от берега.

Но вот и берег. Тени от гигантских пальм, стоявших недалеко от Нила, ложившиеся утром длинными полосами поперек реки, теперь укоротились так, что, казалось, гигантские деревья потеряли способность бросать тень, и только зонтикообразные вершины их несколько оттеняли раскаленную землю у стволов исполинов африканской растительности.

В то время, когда старик и девочка выходили на восточный берег Нила, в западной части Фив, за Нилом, во дворце Рамзеса, в помещении, занимаемом старшим его сыном принцем Пентауром, происходил таинственный разговор между этим царевичем и его матерью царицею Тиа.

— Ты слышала, матушка, что он на завтра объявил поход против презренной страны Либу, — сказал Пентаур, сердито сжимая рукоять меча.

Это был египтянин с типическими чертами фараонов: широкий, низкий, как у льва, лоб, подвижность пантеры,

[1] Тифон.

стройность и подвижность членов этого животного, широкие ноздри и мясистые, как у негра, губы обнаруживали пламенный темперамент. Пентауру было уже лет под тридцать.

— Да, — тихо отвечала его мать, женщина лет под сорок, смуглая, с продолговатыми, как у сфинкса, глазами, — я слышала, сын мой.

— И знаешь, кого берет с собой в поход?

— Конечно, сын мой, тебя: ты его преемник.

— Нет! Он берет мальчишку Ментухи начальником конницы и колесниц, а Рамессу — начальником пехоты.

— Да, я знаю — это его любимцы, — тихо, как бы про себя, проговорила Тиа, поправляя на голове золотой обруч с изображением змея «уреуса», царского змея.

— А Меритума торжественно объявил великим жрецом Ра, бога солнца, в Уакоте (Гелиополис), а Хамуса — великим жрецом бога Пта-Сокара (Озирис) в Мемфисе, — продолжал Пентаур еще с большим раздражением.

— А тебя, сын мой, кем он назначает? — чуть слышно спросила царица.

— Меня — бабой! Я как женщина должен оставаться дома и принимать подати дуррой и полбой и ссыпать их в магазины. Так не быть же этому! Я велю Бокакамону принимать и ссыпать полбу, а сам уеду охотиться на львов пустыни.

— Не волнуйся, сын мой, — все также тихо заметила ему Тиа, — за нас с тобой, и в особенности за меня, за женщину, великая богиня Сохет, мать богов! Мы еще посмотрим, сын мой, что скажет ее супруг, великий Пта, отец богов.

III. НАЧАЛО ЗАГОВОРА

Вечером этого же дня царица Тиа, возвратясь в отделение женских палат дворца фараона, велела приближенной рабыне, сняв с нее некоторые украшения, обычные при торжественных выходах, подать и надеть более легкие ткани.

Накинув на госпожу короткую без рукавов белую тунику из тонкого финикийского виссона, рабыня поправила ей прическу, обвила низкий лоб царицы золотым обручем с змеем-уреусом, надела на шею массивную золотую цепь с священными жуками и на руки драгоценные браслеты, когда в дверях показалась хорошенькая, завитая прядями головка с ясными глазами.

— А, это ты, Снат? — ласково сказала царица. — Нитокрис?

— Я, мама! Посмотри, что мне подарил великий жрец Аммон-Мерибаст! Какая прелесть!

Это говорила молоденькая тринадцатилетняя царевна, одна из четырнадцати дочерей Рамзеса III, хорошенькая Нитокрис, названная так в честь царицы Нитокрис, знаменитой красавицы «с розами на ланитах», которая царствовала за 3000 лет до нашей эры и которой приписывают третью из больших пирамид на «поле мертвых» в Мемфисе.

— Золотой кобчик, — сказала Тиа, рассматривая подарок великого жреца с ласковой улыбкой, — это добрый знак, дитя мое.

— Да, мама, от святого отца — все доброе, — серьезно сказала юная дочь фараона.

— Это правда, милая Нитокрис; но кобчик от служителя бога Аммона — это знамение.

— Какое же, милая мама?

— А такое, плутовка, что ты скоро, подобно этому кобчику, улетишь от нас.

— Как, мама? Куда я улечу? — недоумевала хорошенькая Нитокрис.

— А разве ты не знаешь, какой удел предназначен всякой женщине матерью богов, великою Сохет, супругою Пта?

— Не знаю, мама.

— Быть сосудом на жертвеннике божества, дающего жизнь, творящего, созидающего.

Юная дочь фараона все еще не понимала намеков матери.

— Тебе уже тринадцать лет, — продолжала Тиа, — а я тринадцати лет была уже матерью Пентаура.

— Ах, мама, я не хочу замуж! — вспыхнула Нитокрис.

Но в это время вошел евнух царицы и поклонился до земли.

— Ты что, Сагарта? — спросила Тиа.

— Господин женских палат Бокакамон желает лицезреть твою ясность, — отвечал евнух.

— Пусть войдет, Бокакамон, — сказала царица.

Евнух почтительно удалился.

— Поди и ты к себе, милая Нитокрис, — сказала Тиа дочери, — мне нужно поговорить с Бокакамоном о делах дома нашего.

Нитокрис горячо поцеловала мать.

— А все-таки я не улечу от тебя, как не может улететь этот золотой кобчик, — сказала она, уходя из помещения царицы.

В это время вошел тот, о ком докладывал евнух. Это был мужчина лет шестидесяти, бодрый и прямой, как юноша, с седыми волосами и совсем черными бровями. На смуглой шее его была золотая цепь с тремя рубиновыми пчелами на ней, подарок предместника Рамзеса III, фараона Сетнахта. Бокакамон, так звали вошедшего вельможу, был начальником женских палат фараона, «недремлющим оком» царя, «стражем сада наслаждений» своего повелителя.

— Великая Сохет да хранит вечно красоту твоей ясности, рассыпая розы на твои ланиты, — высокопарно приветствовал свою госпожу Бокакамон, подобострастно кланяясь и прижимая черную и жилистую руку к сердцу.

— Пусть Горус из светового круга вечно освещает твои прекрасные седины, — с тою же напыщенною любезностью отвечала царица. — Сядь на место свое.

Бокакамон сел против Тии и молчал из уважения к своей повелительнице. Жена фараона огляделась кругом.

— Ты знаешь, что объявлен поход против презренной страны Либу[1]? — сказала она тихо.

— Знаю, царица: презренные либу под начальством царей своих Цамара и Цаутмара — да поразит бог Монту дерзких своим огненным мечом! — наступают на границы Египта, и великий Рамзес — да хранит его великий Ра! — хочет поразить их своим гневом.

— А знаешь, кого он назначил военачальниками?

— Это ведомо, великая царица, на всех стогнах стовратных Фив.

— А Пентуар, мой первенец? Он оскорблен публично!.. Я оскорблена в его лице! — с страстным жестом прошептала Тиа. — И ты, мой верный Бокакамон, я знаю, давно носишь скорпиона в своем сердце — ты оскорблен раньше меня — это ведомо не только Фивам, но всему Египту.

Как ни было смугло лицо Бокакамона, но и оно заметно покрылось бледностью.

— Да, скорпион тут, в сердце, — прижал он руку к груди

Тиа придвинула к нему ближе свое легкое из красного дерева седалище, окованное золотом, и положила руку на плечо Бокакамона. От этого прикосновения он весь вздрогнул.

[1] Ливия.

— Ты знаешь, я всегда была к тебе благосклонна, — чуть слышным шепотом начала Тиа, — но моя рука никогда не касалась твоего плеча... Теперь моя рука на тебе... Я знаю твое сердце... Твои глаза давно мне это сказали... Если ты поможешь мне в задуманном мною, тогда... ты положишь руки на мои плечи... Я...

Как ни был выдержан в притворстве этот старый царедворец фараонов, но и он растерялся от такой неожиданности. Он не знал, что делалось в сердце Тии. Он знал одно, что в ней оскорблена царица-мать. Но он не знал, что сердце женщины сложнее и неуловимее сердца мужчины. Если бы он мог теперь проникнуть в сердце Тии, то увидел бы, что вместо скорпиона там сидит и жалит больнее, чем сто скорпионов, хорошенькое личико с типом хеттеянки... Этот скорпион — Изе, ласкательное слово от Изиды, юная дочь хеттеянского царя, семитка с дальнего востока. Эта с светло-каштановыми волосами Изида, годная во внучки фараону, вытеснила Тию из его сердца. Он брал теперь ее с собою в поход, эту юную семитку, вместе с тремя старшими дочерьми (что было тогда в обычае)[1], а старшего сына оставлял в Фивах, словно слабую женщину. Она, Тиа, очень хорошо понимала, почему фараон не брал с собой Пентаура: эта светло-каштановая Изида чаще и охотнее засматривалась на сына, чем на отца.

Ни о чем этом не догадывался ошеломленный Бокакамон. Он только чувствовал на своем плече горячую руку Тии, и у него закружилась голова... Эта Тиа, которую он видел каждый день, как страж гарема Рамзеса, давно не давала ему спать. Ее красота была источником его тайных страданий... И вдруг эта гордая царица, это божество!.. Что она сказала!

Бокакамон выпрямился.

— Великий Аммон свидетель, — сказал он задыхающимся голосом, — если ты повелишь мне низвергнуть колоссальные изображения Аменхотепа — я найду в себе достаточно силы, чтобы опрокинуть их ниц к твоим стопам!

— Нет, милый Бокакамон, — с ласковой улыбкой прошептала жена фараона, — *он* легче изображений Аменхотепа, и мы с тобой опрокинем *его*... Ты знаешь Пенхи, бывшего смотрителя стад фараона?

— Знаю, царица.

---

[1] Доселе можно видеть изображения битв, где дочери фараонов на колесницах лично участвуют в битвах.

— А слышал ты, что его внучка, маленькая Хену, сегодня во время священного шествия бога Аписа удостоилась получить от него божественный огонь?

— Да, великая царица, мне говорили, что какая-то девочка остановила священное шествие бога, и Апис принял ее просьбу. Так эта девочка — внучка Пенхи?

— Его внучка, Хену... А у Пенхи — ты сам знаешь — тоже скорпион в сердце.

— Я знаю это, царица; я знаю больше: у него крокодил в сердце.

Тиа взяла Бокакамона за руку и посадила на прежнее место.

— Слушай же, мой верный друг, — продолжала она шепотом, — страшная опасность грозит нам, всему Египту и нашим бессмертным богам. Ты знаешь хеттеянку Изиду, для которой отведено особое помещение во дворце?

— Знаю, царица: она, как и все женщины дворца фараона, в моем ведении.

— Знай же и следующее: она, этот светлоликий хамелеон, не верит в наших богов. Она поклоняется «единому солнечному диску». Мне достали ее молитву к этому богу — вот она.

Тиа нажала пружинку в ручке своего сидения и из потайного ящика достала небольшой клочок папируса.

— Вот ее молитва, — сказала она, развернув папирус. — «Солнечный диск, о ты, живой бог! Нет другого, кроме тебя!» Понимаешь? «Нет другого»!

— Понимаю, царица.

— Слушай же: «Лучами своими...» — продолжала она читать, — «...ты делаешь здравыми глаза, творец всех существ! Восходишь ли ты в восточном световом кругу неба, чтобы изливать жизнь всему, что ты сотворил — людям, четвероногим, птицам и всем родам пресмыкающихся на земле, где они живут, они смотрят на тебя; когда ты заходишь — они все засыпают»[1]. Такова ее вера. Но это бы еще ничего. А вот что ужасно, вот где гибель для Египта и его богов: она, этот светлоликий хамелеон с дальнего востока, склоняет к своей вере *того, о ком* мы говорим, не называя *его* по имени... Она — семя того народа, который страшен для Египта: этого народа не мог осилить даже великий Рамзес-Сезострис.

---

[1] Эта молитва приводится у Бругш-бея. «История фараонов», с. 411.

— Да, это потомки Иосифа, который когда-то правил Египтом, и того страшного Моше, который поразил Египет голодом, язвами и песьими мухами, — подтвердил Бокакамон. — Дело это серьезное: в нашей стране могут повториться времена проклятого фараона Хунатена, который променял истинных богов на этот «блеск солнечного диска». Что же мы должны предпринять, чтобы отвратить бедствие от страны?

— Надо прибегнуть к помощи богов, — отвечала Тиа. — Спросим великую мать богов — ясноликую Сохет.

— Да будет так, — торжественно проговорил Бокакамон. — Я завтра же переговорю с почтенным Ири, великим жрецом богини Сохет: пусть он спросит богиню, и ответ ее я тотчас доложу твоей ясности.

— О, Хунатен, Хунатен! — проговорила как бы про себя Тиа. — Да сохранят боги Египет от повторения времен Хунатена.

Хунатен был одним из фараонов восемнадцатой династии египетских царей. Он представлял собою необыкновенное явление во всей истории страны фараонов. Сын знаменитого фараона Аменхотепа III, колоссальные статуи которого, известные под именем колоссов Мемнона, до сих пор стоят на развалинах Фив как бы стражами развалин великого города и дивными реликвиями, как и пирамиды, великого народа, Хунатен является чем-то загадочным в истории Египта, каким-то сфинксом-фараоном. Историки думают объяснить это тем, что он родился от матери не египтянки, которая исповедывала веру в «единого бога»: это был единый «световой» бог. Мать Хунатена была не царской крови, даже не была дочерью кого-либо из родственников фараонов. По-видимому, она происходила от того народа, который вместе с своим вождем и пророком Моисеем оставил Египет при таких потрясающих событиях.

В доме этой-то чужеземной матери, говорит историк фараонов, молодой наследник Аменхотепа III, любимый отцом, хотя уже тогда ненавидимый жрецами как плод незаконного брака, воспринял учение о едином световом боге и, проникнувшись этим учением в юности, сделался горячим его приверженцем, когда достиг возмужалости. Хунатен, сделавшись владыкой Египта, приказал на всех памятниках фараонов с помощью резца и молота истребить, изгладить, выбить совсем имена бога Аммона и его супруги богини Мут. Жрецы, а за ними и народ открыто восстали против царя-святотатца. Тогда Хунатен бросил столицу праотцев и основал новую резиден-

цию вдали от Фив и Мемфиса, на восточной стороне Нила, и назвал ее своим именем — «город Хунатен» (то же сделал впоследствии, почти через 4000 лет, далеко от Египта, почти на крайнем севере другой великий царь, бросив старую столицу с ее старыми жрецами и основав вдали от нее город своего имени). Скульпторы-художники, каменщики, простые рабочие были согнаны со всего Египта, чтобы с величайшею поспешностью строить новый храм по начертанному самим Хунатеном плану и огневые жертвенники в честь бога-солнца, храм, совершенно не похожий на древние египетские храмы. Сановники же — «носители опахала», и гордые жрецы должны были надзирать за ломкою камня в горах и нагрузкою его на суда. Это ли не унижение, это ли не насмешка над вековечными преданиями Египта!

Вот имя этого-то Хунатена и стало страшилищем во все последующие века истории земли фараонов. Его-то и упомянула теперь Тиа, воскликнув: «О, Хунатен, Хунатен!»

IV. У БОГИНИ СОХЕТ

На другой день Рамзес III с отборным войском выступил в поход против царей Либу, как называлась тогда Ливия, — против Цамара и Цаутмара. Похода этого давно ожидали в Фивах, и войска выступили по первому же слову нового фараона.

Рамзес выступил из своей столицы северными воротами, окруженный военачальниками. Рядом с ним на таких же золоченных, как и у отца, колесницах ехали его два сына и три дочери в военных доспехах. С ними же была и светло-каштановая хеттеянка Изида, облеченная в панцирь и шлем. Ручной лев Смам-Хефту выступал у левого колеса колесницы фараона. Дикая музыка труб и барабанов потрясала воздух.

Когда последние звуки боевой музыки смолкли в отдалении, у пилонов храма богини Сохет показалась знакомая нам стройная фигура Бокакамона.

— А! Сама богиня посылает мне навстречу своего служителя, — воскликнул он, увидев показавшегося в воротах храма жреца.

— А! — в свою очередь воскликнул старый тучный служитель богини Сохет. — Страж тайных наслаждений фараона! Добро пожаловать. Богиня ждет тебя. О себе пришел просить или о вверенных тебе сокровищах, которые, и не по-

хищая, можно похитить у их владыки? — спросил жрец с лукавою улыбкою.

— Не о себе, а о всей земле египетской, — отвечал Бокакамон.

Жрец сделал большие глаза. Плутоватое лицо его продолжало улыбаться.

— О всей египетской земле? — притворно удивился он. — Разве ты думаешь, что ее, как и твоих красавиц, не похищая, могут похитить презренные цари Цамар и Цаутмар?

— Нет, хуже того... Ее может похитить тот, кто ей владеет, — загадочно отвечал Бокакамон.

— Как! У самого себя похитить!

— Не у самого себя, а у других.

— Великая богиня Сохет, мать богов! — патетически воскликнул жрец. — Вразуми слугу твоего. Я ничего не понимаю: то, чем я владею, я похищаю у себя — не понимаю!

— Похитить у вас, — почти шепотом сказал Бокакамон.

— У нас, у жрецов богини Сохет?

— И у вас, и у богини Сохет, и у всех богов египетских.

— Как же это так? — развел руками жрец. — Мы поменялись ролями? Прежде боги нашими устами вещали смертным свою волю, а теперь оракул Аммона и богини Сохет, кажется, переселился в храм тайных наслаждении фараона.

— Да, я пришел к тебе от царицы, — еще тише сказал Бокакамон.

— От которой? — с прежней иронией в голосе спросил жрец.

— У нас одна царица, — отвечал Бокакамон.

— И у нас одна, — по-прежнему загадочно говорил жрец, — только, может быть, у вашей не то имя, что у нашей.

— Имя нашей — царица Тиа.

— Гм... Послушай, друг Бокакамон, — жрец понизил голос, — у меня есть две пары сандалий; одна пара — вот эта, что ты видишь у меня на ногах; другая пара с протертыми подошвами валяется под моим ложем, в пыли, в забвении, и когда я говорю своему рабу: подай мои сандалии, раб подает мне вот эти... Понимаешь?..

— Понимаю, — начал догадываться Бокакамон.

— Так войдем лучше в мою келью, — сказал жрец, взяв Бокакамона за руку, — а то здесь неудобно говорить о сандалиях...

Они прошли во внутренний двор, где на гранитном пьедестале покоилось сидящее изображение богини Сохет —

женщина с головою льва, украшенная солнечным диском. И жрец, и Бокакамон преклонились перед статуей богини.

— Великая мать богов *все* мне поведала, — таинственно сказал жрец.

Они вошли в келью жреца. Это была обширная комната, в которую свет проникал сквозь отверстия в потолке, затянутые прозрачным, как стекло, сплавом из белого финикийского песка, в виде дани получаемого ежегодно от царей земли Цаги (часть прибрежной Финикии). На столиках из гранита и на пьедесталах стояли золотые и бронзовые изображения богов, сковородки для курений в храме, жертвенные блюда и систры — род металлических трещоток, употреблявшихся при богослужениях.

— Я знаю больше, чем *та*, которая прислала тебя ко мне, — сказал жрец, усаживая своего гостя. — Великая богиня все мне открыла... Тот, кто хочет похитить у нас Египет, идет оттуда, с той стороны света, где встает Горус. Он забыл благодеяния Египта и его богов. Когда, по исходе из нашей священной земли, он сорок лет скитался в пустыне, оставленный нашими богами, то отчаяние заставило его вспомнить о них, вспомнить о священном Аписе. Но в их стадах Апис не появлялся, и тогда они сделали себе золотого Аписа и поклонялись ему. А теперь, вероятно, и его забыли — своего бога нашли, какого-то «единого».

Жрец говорил порывисто, страстно. Куда девалась его скептическая улыбка! Старое, пухлое лицо оживилось, глаза блестели.

— Они называют себя единственным «народом божиим» и забывают, как их поражали фараоны, — продолжал жрец. — А теперь они подослали нам красивого хамелеона, который ослепил очи *того*, кого я не хочу называть по имени. И этот хамелеон уже превратился в ихневмона, который хочет пожрать яйца великого нильского крокодила. Но великая Сохет не допустит до этого, не допустит!.. Это говорит ее устами ее верховный жрец Ири!

Бокакамон был поражен. Он не ожидал такой страстности от ожиревшего жреца. В последние годы он видел Ири только при богослужениях и торжественных процессиях, когда лица жрецов бывают непроницаемы и бесстрастны, как лица сфинксов.

— Ты знаешь Пенхи, бывшего смотрителя стад фараона? — спросил он, когда жрец умолк.

— Я ли не знаю его?! — с прежней страстностью воскликнул Ири. — А ты знаешь его внучку, маленькую Хену?

— Слышал о ней... Говорят, что она удостоилась получить из очей великого бога Аписа божественный огонь?

— Да, получила, — отвечал жрец. — Но этого мало.

— Как мало, святой отец! — удивился Бокакамон.

— Это еще не все, что нужно для нашего дела... Что нам нужно?

— Спасти Египет от врага.

— А кто его враг?

— Ты сам знаешь, святой отец, — уклончиво отвечал старый царедворец. Имени *его* я не назову.

— Имя *его* — нильский крокодил, живущий на суше: я уже назвал *его*.

— Так что нам нужно, чтобы... сделать *его* зубы безвредными?

— Нам нужна та девочка — Хену.

— Но она наша: у ее деда Пенхи и у Бокакамона — одно сердце, и в том сердце сидит скорпион.

— Крокодил! — поправил его жрец.

Бокакамон вздрогнул. Неужели этот страшный служитель Сохет слышал его разговор с царицей Тиа? Или эту тайну сообщила ему сама богиня? Ведь вчера Бокакамон прямо сказал жене фараона, что у Пенхи в сердце крокодил.

Хитрый жрец заметил смущение своего собеседника.

— Не бойся, — сказал он, — крокодил и у меня в сердце... Я сказал не все: божественная девочка вооружена только огнем очей Аписа; но это не все.

— Чего же ей недостает, святой отец? — спросил Бокакамон.

— Апис дал ей свое творческое семя, но не дал поля, где посеять это семя, чтобы оно дало плод, — загадочно отвечал жрец.

— Кто же может дать это поле?

— Великая богиня Сохет: она, которая родила всех богов, даст это поле, даст сосуд для оплодотворения семени бога Аписа. Ты знаешь, где живет Пенхи? — спросил жрец.

— Знаю, святой отец: на восточном берегу Нила, за верхнею группою пальм Аммона.

— Пришли же его ко мне, но только не теперь.

— Когда же, святой отец?

— Когда золотые рога месяца обратятся от запада к востоку.

— Теперь по ночам на небе стоит полная темь, — как бы соображая что-то, проговорил Бокакамон. — Дней через семь?

— Он сам это сообразит — Пенхи человек сведущий в небесных кругах.

— Что же мне теперь сказать пославшей меня? — спросил Бокакамон.

— А то, что я тебе сказал от имени богини Сохет.

— Хвала ее жрецу, великому Ири! — сказал Бокакамон, вставая.

— Да, — как бы спохватился жрец, — не забудь, Пенхи должен придти с божественной, священной девочкой.

V. ПОБЕДА

Прошло семь дней.

В стовратных Фивах снова такое же оживление, какое было в день венчания на царство Рамзеса III. Народ снова толпился у храма Аммона-Горуса. Музыка играла торжественный марш. Из храма показалось несомое жрецами изображение божества. Впереди шел верховный жрец Аммон-Мерибаст, держа в руках сверток папируса.

По знаку жреца музыка стихла. Тогда Аммон-Мерибаст показал народу папирус.

— Смотрите! — громко провозгласил он. — Вот слово великого фараона: он извещает свой народ о дарованной ему богом Монту[1] победе над презренными царями земли Либу.

Радостные клики огласили воздух.

— Слава великому богу Монту! Слава пресветлому Аммону-Горусу!

Верховный жрец снова поднял над головою папирус.

— Слушайте, сыны земли фараонов! — громко сказал он и развернул свиток.

Водворилась тишина. Слышен был только клекот орлов в синем небе.

Верховный жрец читал:

— В месяц епифи, в 9-й день, в первый год царствования царя Рамзеса III, выступил фараон с войском в презренную землю Либу против презренных царей Шамара и Шаутмара. Хорошая охрана над фараоном находилась в стане на высоте к югу от города Тхамху злого. Вышел фараон из своей палатки, как только взошло солнце, и возложил на

[1] Бог войны.

себя военный убор отца своего, бога Монту. С ним были и сыновья его, принцы Рамессу и Ментухи, и дочери его, принцессы Нофрура, Ташера и Аида. Взошед на воинские колесницы, они пошли далее вниз и прибыли к югу от города Тхамху злого. И встретились фараону два презренных либу и говорили фараону так: мы братья и принадлежим к старшинам племени своего Либу, которое находится под властью царей Цамара и Цаутмара; мы хотим быть слугами дому фараонову, дабы могли отделиться от царей Цамара и Цаутмара. Теперь сидят они к северу от города Тхамху злого, ибо они боятся фараона. Так говорили два презренные либу; но слова, которые они говорили фараону, была гнусная ложь: презренные цари Цамар и Цаутмар подослали их, чтоб выведать, где находится фараон, дабы не приготовило им войско фараоново засады. Ибо презренные цари Цамар и Цаутмар пришли со всеми царями всех народов, с конями и всадниками, которые и стояли в засаде сзади города Тхамху злого. И фараон не уразумел смысла их ложных слов и поверил им. И пошел фараон далее вниз, и пришел в местность, лежащую на северо-запад от Тхамху злого, где и предался отдохновению на золотом ложе. Тогда прибыли соглядатаи фараона и привели с собой двух лазутчиков царей Цамара и Цаутмара. Когда их привели пред фараона, он сказал им: кто вы такие? Они сказали: «Мы принадлежали царям Цамару и Цаутмару, которые послали нас, чтобы высмотреть, где находится фараон». Говорит к ним фараон: где пребывают презренные цари Цамар и Цаутмар? Ибо я слышал, что они находятся к северу от города Тхамху злого. Они говорят: «Смотри — презренные цари Цамар и Цаутмар стоят тут, и много народу с ними, который они привели с собою в великом количестве из всех стран, что лежат во владениях презренных царей Цамара и Цаутмара. У них много всадников и коней, которые везут воинские снаряды, и их более, чем песку морского. Смотри — они стоят там в засаде, позади города Тхамху дурного». Тогда приказал фараон призвать пред себя князей своих, чтобы они слышали все слова, которые сказали два лазутчика презренной земли Либу, находившиеся налицо. И говорит к ним фараон: взирайте на мудрость князей земель дома фараонова! Каждый день они говорили фараону: презренные цари Цамар и Цаутмар бежали от лица фараона, как только услышали, что идет на них фараон с войском. Теперь слушайте, что я узнал сейчас от этих двух лазутчиков. Презренные цари Цамар и Цаутмар прибыли со многими народами, с конями и всад-

никами, многочисленными, как песок пустыни. Они стоят там, за городом Тхамху злым. Значит, ничего не знали наместники и князья, которые правят землями дома фараонова. Им надлежало сказать: те, которых ты ищешь, пришли. Тогда говорили князья, бывшие пред фараоном, так: «Велика вина, которую совершили наместники и князья дома фараонова, что не распорядились выведать, где находились презренные цари Цамар и Цаутмар, чтобы каждый день докладывать о том фараону». И когда они говорили это, показались несметные полчища презренных царей Цамара и Цаутмара с конями и всадниками. И когда увидел их фараон, то пришел в великую ярость и сделался подобен отцу своему, богу Монту. Он возложил на себя воинский убор, все свои воинские доспехи и явился как бог Ваал. И вступил он на колесницу свою и ускорил быстрый бег свой рядом со львом своим Смам-Хефту, который радостно ревел, потрясая гривой. И вместе с фараоном ринулись на врагов сыны его и дочери его на своих колесницах, в воинских доспехах своих. Фараон бросился в середину неприятельских полчищ и поражал и убивал их. Ибо радость его есть принять битву и наслаждение его — броситься в нее. Удовольствие его сердцу доставляют только потоки крови, когда он срубает головы неприятелям. Минута битвы с мужами любезнее ему, чем день наслаждения с женщинами. Он разом убивал их и никого не щадил между ними. Все они плавали в крови своей. А в то время презренные цари Цамар и Цаутмар стояли полные страха; мужество покинуло их. Они бежали скорым бегством и оставили свои сандалии, свои луки, свои колчаны впопыхах позади себя и все, что при них было. Они, в теле которых не было трусости и тело которых оживлялось мужественным духом, они бежали, как женщины. Тогда взяли воины фараона все, что оставили презренные цари Цамар и Цаутмар — их деньги, их серебро, их золото, их железную утварь, уборы их жен, их седалища, их луки, их оружие, и все, что было у них. Все это принесено было к палатке фараона вместе с пленными. Многое множество погибло презренных либу и их союзников».

При последнем слове верховный жрец поднял глаза к небу. Из этой необычайной ярко-синей бездны глядел на него сам Аммон-Ра — знойное африканское солнце. Оно обливало своим невыносимо жгучим светом нестройную толпу, собравшуюся у храма верховного бога, гигантские гранитные колонны других храмов, целый лес колонн, целые аллеи молчаливых сфинксов, стройные иглы обелисков, ис-

полинские статуи фараонов, группы таких же исполинских пальм, тихие мутные воды Нила, а там, дальше — ливийские скалы с гробницами прежних фараонов... Величавая картина, как величаво все прошлое Египта — этой заколдованной страны!

Аммон-Мерибаст, видимо, проникся тою же мыслью. С священным волнением он глядел и на этот лес колонн, и на аллеи задумчивых полногрудых женщин-львов, и на возносившиеся к небу, к самому Аммону-Ра, обелиски... Папирус в руке его дрожал.

Народ молча ждал, что будет дальше. Все то ужасное и отвратительное, что было ему прочитано верховным жрецом, эти потоки крови, отрезанные руки не смущали его; напротив, радовали его национальную гордость... Ведь это было еще тогда, когда не было даже Рима, когда еще не влачили по земле труп Патрокла, когда жива была Гекуба, когда еще Гектор не прощался с Андромахой и Троя стояла во всей красе своей... Чего же было тогда требовать от народа!

Аммон-Мерибаст видел это по лицам слушателей: они ждали еще чего-то. И он не обманул их ожидания. Он снова перенес свой взор на папирус.

— «А это трофеи победы великого фараона над презренною страною Либу и ее презренными союзниками, — продолжал читать верховный жрец, — живых пленных — 9364; жен презренных царей Цамара и Цаутмара, которых они привели с собой, живых женщин — 12; юношей — 152; мальчиков — 131; жен воинов — 342; девиц — 65; девочек — 151. Другая добыча: оружия, находившегося в руках или отнятого у пленных — медных мечей — 9111; других мечей и кинжалов — 120214; парных колесниц, возивших презренных царей Цамара и Цаутмара, их детей и братьев — 113; серебряных кружек для питья, мечей, медной брони, кинжалов, колчанов, луков, копий и другой утвари — 3173 штуки. Все это отдано в награду воинам фараона. Затем огонь был пущен на лагерь презренных царей, на все их кожаные шатры и на все их узлы».

Жрец кончил и, обратясь к изображению божества, поднял руки.

— Слава светоносному Аммону-Горусу! — воскликнул он. — Слава великому богу Монту, даровавшему победу своему сыну, фараону!

— Слава Аммону-Горусу! — подхватил народ. — Слава Монту!

Казалось, заговорили колоннады храмов, гигантские пилоны, гордые обелиски. Только сфинксы глядели молчаливо и загадочно своими гранитными очами.

Поддерживаемое жрецами изображение божества скрылось за колоннами храма.

— Где же богиня Сохет? — спросила знакомая нам «священная» девочка Хену своего деда, по-видимому, не разлучавшегося с своей маленькой внучкой.

— Ее здесь нет, дитя: она в своем храме, — отвечал старик.

— Когда ж мы к ней пойдем?

— Когда Горус скроется за горами Либу, в пустыне, а за ним будут наблюдать с неба два рога нарождающейся луны.

— А кто эта луна, дедушка? Божество?

— Божество, дитя.

— Ах, дедушка! Сколько он убил людей!

— Кто убил, дитя? — спросил старик, видимо, занятый своими мыслями.

— Да фараон, дедушка, что вот читал жрец.

— Много, дитя, всего 12535 человек[1].

— А я сегодня ночью, дедушка, слышала плач крокодила. О чем он плачет? — продолжала болтать невинная девочка, не подозревая в себе «божественности». — Кого ему жаль?

— Он не плачет, дитя, он обманывает.

— Кого, дедушка?

— Доверчивых людей и животных: он заманивает их к реке; крокодиловы слезы опасны.

По Нилу скользили лодки то к восточному берегу, то обратно. Вдали виднелись паруса, чуть-чуть надуваемые северным ветерком: то шли суда от Мемфиса, от Цоан-Таниса, любимой столицы Рамзеса-Сезостриса.

На набережной кипело оживление. Пленные из страны Либу и Куш (Нубии), черные, как их безлунные ночи, выгружали на берег глыбы гранита и извести. Несмотря на ужасающий зной, они пели заунывные песни своей родины.

Пенхи на набережной зашел в лавку, где продавались восковые свечи и воск. Там он купил несколько мна (фунтов) воску.

— На что тебе воск, дедушка? — спросила Хену.

---

[1] Бругш-бей. «История фараонов», с. 566.

— Узнаешь после, дитя, — отвечал старик, — ты же мне и помогать будешь в работе.

— Ах, как я рада! — болтала девочка. — Что ж мы будем делать?

— Куколки... Только ты об этих куколках никому не говори, дитя, понимаешь?

— Понимаю, дедушка, — отвечала Хену, гордая сознанием, что ей доверят какую-то тайну.

VI. ВОСК ОТ СВЕЧИ БОГИНИ

Наступил, наконец, ожидаемый вечер. Солнце, безжалостно накалявшее в течение дня и гранитные колонны храмов, и головы молчаливых сфинксов, и глиняные хижины бедняков, нижним краем своего огненного диска коснулось обожженного темени высшей точки Ливийского хребта, когда в воздухе пронесся резкий крик орла, спешившего в родные горы, и вывел из задумчивости старого Пенхи.

— Пора, дитя мое, — сказал он внучке, — скоро на небе покажется то, чего мы ждем.

Они пошли по направлению к гигантским статуям Аменхотепа, которые отбросили от себя еще более гигантские тени до самого Нила и далее. Скоро солнце выбросило из-за гор последний багровый свет в виде рассеянного снопа лучей, и над Фивами легла вечерняя мгла. В то же мгновение на небе над Ливийскими горами блеснул золотой серп нарождающегося месяца. Он так отчетливо вырезался над бледнеющим закатом, что, казалось, висел в воздухе над самыми горами пустынной Ливии. В воздухе зареяли летучие мыши.

Улицы и площади города, за несколько минут столь шумные, быстро начали пустеть, потому что около тропиков ночь наступала почти моментально, и движение по неосвещенному городу являлось более чем неудобным.

Но вот и пилоны храма богини Сохет.

— Где начало вечности? — спросил чей-то голос наших путников.

— Там, где ее конец, — отвечал Пенхи.

Это был условленный лозунг. От одного из пилонов отделилась темная фигура.

— Следуйте за мной — богиня ждет, — сказал тот, кто стоял у пилона.

— Верховный жрец богини, святой отец Ири, — пробормотал Пенхи в смущении.

— Я его младший сын и посланец.

Они все трое вошли во внутренний двор храма. Хену испуганно схватила старика за руку.

— Богиня глядит, — прошептала она.

Действительно, из мрака тропической ночи выступала, отливая фосфорическим синеватым светом, львиная голова странного божества. Голова, в самом деле, глядела живыми львиными глазами. Пенхи невольно упал на колени: он еще никогда не видел ночью богини Сохет. Пенхи суеверно молился страшному божеству. Хену стояла с ним рядом и дрожала.

— Божество милостиво: только чистому существу оно открывает свой светлый лик, — сказал тот, — который назвал себя младшим сыном верховного жреца Ири. — Встань, непорочное дитя, иди за мною.

— Я с дедушкой, — робко проговорила Хену.

— Конечно, с дедушкой. Идите — верховный отец наш ждет Пенхи и его внучку, Хену.

Все трое пошли направо, где находилось помещение верховного жреца. Оно было ярко освещено массивными восковыми свечами в высоких канделябрах. На небольшом бронзовом треножнике курилось легкое благовоние.

Верховный жрец встретил пришедших ласково.

— Какое прелестное дитя! — сказал он, подходя к Хену. — Как тебя зовут, маленькая красавица? — ласково спросил он, гладя курчавую головку девочки.

— Хену, — отвечала она, нисколько не сробев: старый толстяк показался ей таким добродушным дедушкой.

— А сколько тебе лет?

— Двенадцатый, а потом пойдет тринадцатый.

— Ого! Как торопится расти, — рассмеялся жрец, — это пока до семнадцати лет, а там начнет расти назад и убавлять свои года. А есть у тебя мать?

— Нет, мама умерла: она там, в городе мертвых, — печально отвечала Хену.

— А отец?

Девочка молчала; за нее ответил дед:

— Он давно в плену, святой отец! Его взяли финикияне в морской битве при устьях Нила, у Присописа, и продали в рабство в Троиду.

— В Троиду! О, далеко это, далеко — на далеком севере, — проговорил старый жрец. — Я знаю их город — Трою; я был там давно с поручениями от великого фараона Сетнахта, и царь Приам принял меня милостиво. Я там долго

пробыл — и старика Анхиза знал, и Гекубу... А теперь, слышно, Трою разрушили кекропиды из-за какой-то женщины... О, женщины, женщины![1].

Старик разболтался было, но скоро опомнился: ведь он верховный жрец, и притом богини — женщины...

— Бедный Приам! — сказал он, как бы про себя. — Сын мой, — обратился он к младшему жрецу, приведшему к нему Пенхи с внучкой, — поди, приготовь все в святилище богини.

Младший жрец вышел. Ири также удалился в соседнюю комнату, чтобы надеть на себя священную цепь и мантию.

Хену, оставшись одна с дедом, с жадным любопытством и боязнью осматривала помещение верховного жреца. Изображения божеств внушали ей суеверный страх, зато опахала из страусовых перьев, украшенные золотом и драгоценными камнями, приводили ее в восторг.

Скоро появился и Ири в полном облачении. В руке он держал блестящий бронзовый систр, который при сотрясении издавал музыкальный звук, похожий на треск цикад.

— Дитя мое, — обратился Ири к Хену, смотревшей на него большими изумленными глазами, — ты смотрела в священные очи бога Аписа?

Девочка не знала, что сказать, боясь ответить невпопад. Она посмотрела на деда.

— Отвечай же, дитя, — сказал старик. — Тогда, во время священного шествия бога Аписа, ты упала перед ним на колени и видела его глаза?

— Видела.

— А что чувствовала ты, когда бог взглянул на тебя?

— Я испугалась.

— Это священный трепет — в нее вошла божественная сила, — пояснил верховный жрец. — А теперь идем.

Ири взял длинный посох с золотою головкою кобчика наверху, и они вышли на двор. В темноте снова выступила голова льва, освещенная как бы изнутри фосфорическим огнем.

— Богиня благосклонно открывает тебе свое божественное лицо, — сказал жрец Хену, снова оробевшей.

Преклонив колена перед статуей матери богов, они прошли дальше и вошли в самое святилище. И там было изображение Сохет рядом с изображением Пта. От жертвенника синеватою струйкою подымался дым курений. Толстые, как

[1] Рамзес III был современником осады и разрушения греками Трои (около 1200 лет до Р. Х.)

колонны, восковые свечи в огромных подсвечниках освещали жилище богини.

Верховный жрец, преклонившись перед божеством и опираясь на посох, правою рукою сделал движение в воздухе, потрясая систром. Раздались тихие музыкальные звуки, словно бы они исходили из огромной бронзовой головы матери богов. Голова невнятно, глухо проговорила несколько слов, которые жрец повторял за нею:

— Пта, Сохет, Монту, Озирис, Горус, Апис...

За жертвенником послышался странный звук, точно шипение змеи. И действительно, из-за жертвенника выползала большая серая змея. Увидев жреца, она свилась спиралью, и только плоская голова ее дрожала и вытягивалась, выпуская черное, раздвоенное жало-язык.

Жрец стукнул посохом, и змея поползла к Ири, к его посоху. Он еще стукнул, и пресмыкающееся, коснувшись головой посоха, обвилось вокруг него и стало спиралью подниматься вверх, к руке жреца.

— Священный уреус благоволит принять жертву из рук чистого существа, — проговорил Ири, потрясая систром.

Тогда из-за завесы, скрывавшей дверь позади жертвенника, вышел младший жрец. Он держал в руке какую-то маленькую птичку.

— Хену, чистое дитя, возьми жертву, — сказал Ири, обращаясь к девочке, которая, казалось, застыла в изумлении и ужасе.

Младший жрец передал ей птичку, которая даже не билась в руках. Змея, держась спиралью на посохе, повернула голову к птичке. Глаза пресмыкающегося сверкали.

— Дитя, отдай жертву священному уреусу, — сказал Ири.

Девочка не двигалась — она не спускала глаз с змеи.

— Пенхи, сын мой, подведи девочку, — сказал жрец старику.

Тот повиновался и подвел девочку к посоху, к самой змее. Змея потянулась к птичке.

— Пусть отдаст, — сказал жрец.

Рука Хену автоматически потянулась вперед, и змея моментально схватила птичку.

— Ой, дедушка, страшно! Она глотает птичку! — вся дрожа, проговорила девочка, цепляясь за старика.

— Жертва принята, — торжественно произнес верховный жрец, вставая.

Змея быстро соскользнула с посоха и уползла за жертвенник. Тогда Ири подошел к Хену и, желая ободрить ее, стал гладить и целовать ее голову.

— Испугалась, девочка? Ничего, ничего, крошка, теперь все кончилось, — говорил он нежно.

Услыхав, что все страшное кончилось, Хену несколько ободрилась.

— Теперь птичка умерла? — спросила она.

— Нет, дитя, она переселилась в божество. И ты некогда была такою же птичкою, и вот теперь боги превратили тебя в хорошенькую девочку.

— Так и меня змея съела? — спросила Хену, совсем ободрившаяся. — Кто ж меня ей отдал?

— Такая же, как ты, чистая девочка, — лукаво улыбнулся жрец. — А теперь подойди вот к этой свече, что пониже.

Хену подошла. Свеча, толстая, как ствол молоденькой пальмы, горела выше головы Хену.

— Можешь ее задуть? — спросил Ири, положив руку на плечо девочки.

— Могу, — отвечала последняя.

— Так да погаснет свеча жизни тех, чьи имена мы носим в сердце, — торжественно сказал верховный жрец. — Дуй же, дуй сильней.

У Хену были сильные, молодые легкие. Она собралась с духом, дунула, и массивное пламя свечи моментально погасло; одна светильня зачадила.

— Да свершится воля божества! — торжественно проговорил жрец. — Как чадит эта светильня, так пусть чадит постыдная память тех, чьи имена мы носим в сердце. Сын мой, подай священный серп, — обратился он к младшему жрецу.

Тот взял с жертвенника золотой серп и подал Ири. Святой отец, взяв серп, отпилил верхнюю часть загашенной свечи, длиною вершка в три, и подал Пенхи.

— Возьми этот священный воск, — сказал он, — и сделай из него то, что повелено тебе свыше: Пта, Сохет, Монту, Озириса, Горуса и Аписа. Ты слышал повеление божества?

— Слышал, святой отец, — отвечал Пенхи.

— Ты их изображения знаешь?

— Знаю, святой отец.

— Хорошо. А из простого воску сделай изображения тех, чьи имена мы носим в сердце.

— Будет все исполнено, святой отец.

— Помни, что она, — жрец указал на Хену, — должна во всем помогать тебе: пусть она месит воск своими руками, согревает его своим дыханием, но только не тот, не простой воск, а этот, священный. И делай так, чтобы Аммон-Ра не видел твоей работы, чтоб солнечный луч не досягал туда, где будешь формовать фигуры, и чтоб, кроме Хену, никто этого не видел — никто! Это величайшая тайна божества.

Ири взял потом Хену за руку и подвел к южным дверям святилища, где в большой глиняной кадке она увидела лотос с распустившимся цветком.

— Сорви этот цветок священного лотоса и укрась им свою головку, — сказал жрец.

Девочка не заставила долго ждать: она искусно отделила цветок от стебля и ловкими пальчиками — на что девочки большие мастерицы — вдела пышный цветок в свои черные густые волосы.

— Идет ко мне? — весело спросила она.

— Очень идет, — улыбнулся старый жрец.

Молодой месяц давно зашел за темные вершины Ливийского хребта, когда Пенхи и Хену вышли из ворот храма Сохет. На небе высыпали мириады звезд, которых яркость и красота особенно поразительны в тропических странах. В воздухе веяло прохладой. Во мраке ночи огромные колонны храмов и аллеи сфинксов казались чем-то фантастическим. Редко кто попадался на опустевших улицах и площадях сонного города.

Проходя мимо колоссальных статуй Аменхотепа, Хену боязливо жалась к деду.

— Они, кажется, дышат, — шепотом проговорила девочка.

— Я не слышу, дитя, — отвечал Пенхи.

— А как же, дедушка, говорят, что утром, при восходе солнца, они тихо плачут.

— Да, я сам слышал, — подтвердил старик.

— О чем же плачут они?

— Кто это может знать, дитя! Может быть, они не плачут, а жалобно приветствуют бога Горуса, просят, чтобы он возвратил им жизнь.

Когда наши путники переезжали через Нил, им послышался в тростниках тихий плач, словно детский.

— Опять плачет крокодил, слышишь, дедушка?

Плач умолк, и только слышен был шорох в тростниках Нила.

VII. ТРОЯНСКИЙ ПЛЕННИК

Утро следующего дня застает нас в Нижнем Египте, у Мемфиса, на поле пирамид.

От Мемфиса по направлению к большим пирамидам шли два путника: один, старик, в обыкновенной одежде египтянина из жреческой касты, другой своим фригийским колпаком и некоторыми особенностями в одеянии скорее напоминал северного жителя из Фригии или Трои. Последнему было лет под пятьдесят или несколько меньше.

— Так ты говоришь, около десяти лет не был в Египте? — спросил старший путник.

— Да, почти десять, — отвечал младший.

— Где же это ты мыкался?

— В неволе был, добрый человек.

— У презренных шазу[1] или в Ханаане?

— Нет, я все время провел в неволе в Трое.

— В Трое! Слышал я об этой стране много любопытного — богатый город Троя!

— Да, был когда-то; а теперь от Трои остались только камни да груды пепла. Жаль мне этого города; я в нем помирился было и с неволей.

— Кто же его разрушил? — спросил заинтересованный старик.

— Данаиды, которых называют также и кекропидами, и эллинами. И все вышло из-за пустяка — из-за женщины. Видишь ли, сын троянского царя по имени Парис сманил у одного эллинского царя жену, по имени Елену, женщину большой красоты. Эллины и вступились за честь своего царя, приплыли к Трое на кораблях и осадили город. Почти все время, что я пробыл в Трое, длилась осада. И небольшой, правду сказать, был город, не то что наши Фивы или Мемфис, — маленький городок, а много выплакал слез! Я жил при дворе самого царя Приама, так всего довелось видеть и слышать.

— Боги, надо полагать, отвратили лицо свое от несчастного города, — заметил старик.

— Видимое дело, что боги покинули их, — подтвердил его собеседник. — Да у них и боги свои, не наши всесильные боги: вместо Аммона-Ра и Пта — у них Зевс и Гефест, вместо бога Монту — у них Арес.

— А великая Сохет, матерь богов? — спросил старик.

[1] Кочующие бедуины.

— Юнона у них; Вакх еще, Нептун, Гелиос, Афродита, Хронос — много богов...

— Много богов, да помощи мало, — глубокомысленно заметил старик. — Наши боги не то что их — Египет победить некому. Разве можно разрушить такие твердыни! — Он указал на пирамиды, которые высились у них перед глазами какими-то грозными гигантами. — Тысячи лет стоят, и простоят еще миллионы.

В голосе старого египтянина звучало гордое сознание своего величия — величия народа, его богов, его титанических построений.

— Есть что-нибудь подобное этому в мире? — Он указал на исполинскую голову «великого сфинкса», которая вместе с плечами и грудью шириною в несколько сажен выступала из засыпавших ее песков пустыни. — А наши храмы, наши сфинксы! Пока земля стоит на своих основах, пока наши боги будут бодрствовать за нас — будут и они стоять на своих местах в великой земле фараонов! Они перестоят весь мир!

Бедный энтузиаст не подозревал, что пройдут тысячелетия, и весь мир, именно *весь мир* растащит, расхитит его гордость — его памятники, гробы, мумии царей и жрецов, всех богов Египта, его сфинксов, его обелиски, колонны, свитки папирусов, священные систры, жертвенники, доски с иероглифами, с гимнами, вырезанными на стенах храмов, — *все это весь мир* растащит, безбожно разграбит, не оставит камня на камне и поставит у себя на площадях обелиски, в музеях, в кабинетах, и в каждой столице мира, в каждом более или менее значительном городе будут открыты «египетские музеи», где праздные бродяги с гидами и каталогами в руках будут равнодушно проходить мимо этих священных реликвий удивительной страны, мимо этих немых свидетелей глубочайшей древности человечества, свидетелей его гордой, померкшей славы, его радостей, страданий, слез... А что останется не расхищенным, то засыпят пески пустыни... И уцелеют, как укор богам, на которых возлагалось гордыми фараонами столько надежд, как укор человечеству, ничего не щадящему, — уцелеют одни пирамиды, да и то памятники не египетского народа, не его гения, а памятники народа еврейского, вечного несокрушимого народа, как несокрушимы и вечны пирамиды[1].

---

[1] Многие ученые держатся того мнения, что пирамиды построены не египтянами, не по повелению фараонов-египтян, а народом-пастухами, народом, который владел Египтом задолго до Иосифа. Прототип пирамид — Вавилонская башня.

— Да, наши боги не то что жалкие боги какой-нибудь Трои или Финикии! — продолжал энтузиаст. — А с нашими пирамидами своею древностью может поспорить разве одна земля да это бесконечное голубое небо!

Он поднял к нему руки.

— О, светоносный Горус! О, Аммон-Ра, отец богов!

Старик упал на колени и восторженно молился. Это успокоило его волнение.

— Так нет больше Трои? — спросил он, продолжая путь.

— Нет... Одни груды камней да пепел, разносимый ветром... Бедная Кассандра, бедная Гекуба! Как тени они проходят предо мною... Это прекрасное тело Гектора, голова которого колотится о камни... Бедная Андромаха... Я все это, кажется, вижу теперь...

— А как же ты уцелел? — спросил старик.

— Я ушел вместе с сыном царя дарданов Анхиза, с Энеем... Ушло от общей гибели несколько сот троянцев, и море спасло их. Я был вместе с ними. Долго носились мы по морю, пока боги не сжалились над нами: я увидел берега родной Африки.

— К Египту привели вас наши боги? — спросил снова старик.

— Нет, далеко, туда, на запад, где великий Ра опускается на покой. Мы пристали к чужому городу — название его Карфаго. Там царствовала тогда добрая царица — Дидона... Бедная!

— А что? Чем бедная?

— Ее уж нет на свете.

— Умерла? Отошла на вечный покой?

— Нет, хуже того: она сожгла себя на костре.

— Живою сожгла себя?

— Живою... И такая еще молодая, прекрасная.

— Это оскорбление божества! — воскликнул старик. — Где же теперь ее душа?

— Она не могла пережить своего несчастия: она полюбила Энея, она отдавала ему свое царство, а он покинул ее, хотя и любил.

— Зачем же покинул, когда ему, бездомному скитальцу, отдавали целое царство?

— Он не мог ослушаться своих богов.

— Своих богов? — с старческою запальчивостью воскликнул египтянин. — А что сделали его боги с его Троей? Несчастный, неразумный человек — верит своим богам!

— Да, он продолжает верить; боги внушили ему, что он должен основать где-то там, далеко на западе, сильное царство, которое покорит весь мир.

— Как весь мир! — вскипел снова старик. — А Египет, а наши боги?

— И Египет будто бы покорит и отомстит эллинам, которые разрушили его Трою.

— Это кощунство! Это наглая ложь! Его боги — презренные лгуны! Они такие же, как боги необрезанных, презренных сынов Либу. И ты ему не сказал прямо в глаза, что он несчастный безумец?

— Нет, я только тайно ушел от него, когда он отплывал в Уат-Ур[1].

— И хорошо сделал, сын мой... Безумец! Он смеет надеяться, что когда-нибудь Египет будет побежден кем-либо! Никогда! Пока стоят вот эти пирамиды на земле, а по небу ходит вот этот великий Аммон-Ра и светоносный Горус — царство фараонов не исчезнет, как исчезла его Троя.

Пирамида Хуфу, или Хеопса, оставалась уже несколько вправо, блестя на солнце своею гладкою гранитною облицовкой. Против них уже высилась пирамида Хафра, или Хефрена, а ближе к ним — чудовищная голова сфинкса Хормаху («Горус в сиянии»). Путники шли прямо на сфинкса. Скоро открылись его полузасыпанные песком лапы и грудь с прислоненною к ней гранитною доскою, тоже полузанесенной песками пустыни.

— Безжалостная пустыня! Она даже великого Хормаху не щадит — засыпает своими песками, — сказал старик, подходя к сфинксу и падая перед ним на колени. — И доску засыпает с священною надписью фараона Тутмеса IV.

И младший путник упал на колени.

— О, великий, жизнь дарующий Хормаху! — сказал он с благоговением. — Тебе я молился в плену, в далекой Трое, и ты услышал мою молитву — сподобил меня снова увидеть родную страну и питающий ее многоводный Нил. Я прежде никогда не видел твоего светоносного образа, а теперь я сподобился лицезреть тебя, великий Хормаху!

Старик также молился.

— А что это за надпись? — спросил тот, что был в плену у троянцев, когда старик кончил свою молитву. — Тут упоминается имя фараона Тутмеса IV.

---

[1] «Великие зеленые воды», как называли египтяне Средиземное море.

— Да, это его начертание. Вот уже два с половиною века, как сделано это начертание, а оно совсем не выветрилось, только песок засыпает его.

— «Однажды, — читал младший путник, — занимался царь метанием копий, для своего удовольствия, на земле мемфисского округа, по направлению сего округа к северу и югу, стреляя в цель медными стрелами и охотясь за львами в «долине газелей». Поехал он туда на своей двуконной колеснице, и кони его были быстрее ветра. С ним было двое, сопровождавшие его. Ни один человек не знал их. Настал час, когда он давал отдых своим слугам. Он сам воспользовался этим временем, чтобы принести на высоте богу Хормаху, близ храма Сокара, в «городе мертвых»[1], и богине Ранну жертвоприношение, состоящее из цветочных семян, и чтобы помолиться великой матери Изиде, госпоже северной стены и госпоже южной стены, и богине Сохет Ксоитской, и богу Сету. Ибо великое чарование лежит на этой местности от начала времен даже до местности владетелей Вавилона, вдоль по священной дороге богов до западного светового круга Он-Гелиополиса, ибо образ сфинкса есть изображение Хепра, весьма великого бога, живущего на этом месте, величайшего из всех духов, существа более всех почитаемого, которое покоится на этой местности. К нему жители Мемфиса и всех городов, состоящих на местности, ему принадлежащей, воздымают руки, чтобы молиться пред лицом его и приносить богатые жертвенные дары. В один из этих дней случилось, что сон одолел царским сыном Тутмесом...»

— Значит, он тогда еще был только наследником, — заметил старик.

— Вероятно.

— Ну, читай дальше, а я это начертание знаю наизусть: я жрец бога Хормаху.

Младший путник продолжал читать:

— «...когда он, после своего странствования, прибыл во время полудня и лег, чтобы отдохнуть в тени великого бога. В самую ту минуту, когда солнце стояло в высшей точке своей, он увидел сон, и ему представилось, как будто этот прекрасный бог говорил собственными устами своими, как говорит отец к сыну своему, и сказал он: «Взгляни на меня, смотри на меня, сын мой Тутмес. Я есмь отец твой Хормаху, Хепра, Ра, Тум[2]. Тебе дано будет египетское царство, и ты

[1] Некрополис.

[2] Хормаху — «солнце полудня», Хепра — «полуночи», Ра — «востока», Тум — «солнце запада».

будешь носить белый венец и красный венец на седалище бога земли Себа, младшего из богов. Твой будет мир в длине своей и в ширине своей, везде, где освещает его блестящий глаз господина всего мира. Полнота и богатство будут у тебя — лучшее земли сей и богатые дани всех народов. Дадутся тебе долгие годы для времени жизни твоей. Лицо мое милостиво к тебе и сердце мое принадлежит тебе: дам я тебе наилучшее...»

Старый жрец не вытерпел.

— Вот какие наши боги! — воскликнул он. — Они не лгут, это не боги Трои. О, великий, прекрасный бог Хормаху! А читай дальше, что бог сказал Тутмесу.

Собеседник его читал:

— «Засыпан я песком страны, на которой я пребываю. Обещай мне, что ты сделаешь то, что я желаю в моем сердце, тогда я познаю, что ты сын мой, помощник мой. Подойди, да будем мы с тобою в единении». После сего проснулся Тутмес и повторил все эти слова и уразумел смысл слов сего бога и оставил их в своем сердце, говоря сам себе: «Я вижу, как жители города чествуют храм этого бога жертвоприношениями, не думая освободить от песка произведение царя Хафра, то изображение, которое сделано было богу Тум-Хормаху»[1].

Чтец остановился — дальше доска была засыпана песком.

— Вот, — сказал жрец, — пока я был в Фивах, опять занесло, и никто не позаботился откопать заносимое песком божество. Я нарочно за тем и пришел сюда теперь, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Да, надо велеть снова откопать.

Путники уселись в тени сфинкса. Перед ними, к востоку, высились башни и храмы Мемфиса. Кое-где виднелись группы пальм, между стволов которых просвечивали воды Нила. Вправо и влево — большие и малые пирамиды, пирамиды жен и дочерей фараонов. За ними — бесчисленные ряды гробниц, постоянно заносимых западными песчаными волнами.

— Куда же ты теперь, сын мой? — спросил жрец бога Хормаху. — В Фивы?

— В Фивы, святой отец.

---

[1] Эта надпись, переведенная только в 1877 году, доказывает, что «великий сфинкс», высеченный из скалы при фараоне Хефрене в 3666 г. до Р. Х., при Тутмесе IV, в 1533 г. был уже занесен песком до половины. Я же видел его в 1881 г. занесенным песком до самых плеч.

— Что ж, есть там у тебя кто-нибудь? Родные?

— Были и родные, была и семья: отец, жена и дочка по третьему году, да не знаю — живы ли.

VIII. «ПРЕЖДЕ ОСЛЕПИТЬ ЛЬВА...»

В это время из-за пирамиды Хефрена показались две парные колесницы. Они, по-видимому, возвращались из пустыни, из «долины газелей». На каждой колеснице было по два воина. Они прямо направлялись к великому сфинксу. По одежде можно было заметить, что там были и невоины.

— Это, должно быть, охотники, — сказал, заметив их, старый жрец. — Там много газелей, и эти воины, по примеру покойного царя Тутмеса, — да веселится он вечно в жилище отца своего, бога Хормаху! — вероятно, охотились на этих невинных животных.

Колесницы все приближались. Жрец оттенил рукою глаза, чтобы всмотреться в лица незнакомцев.

— Да это, если глаза меня не обманывают, мои приятели, ближайшие слуги дома царицы — Пилока и ливиец Инини, — сказал жрец.

— Как! Пилока и Инини, уроженец Либу? — обрадовался путник, который был в рабстве у царя троянского Приама. — Я их когда-то хорошо знал.

Колесницы приблизились совсем.

— А! Да это святой отец Имери в гостях у своего бога, — сказал один из подъехавших, что был не в одеянии воина, а в остроконечной шапке с длинными воскрилиями и без панциря.

Это был чернокожий ливиец Инини. Тип другого, не воина тоже, был чисто египетский. Воины в шишаках и кожаных панцирях с медными круглыми бляхами тоже изобличали египтян. Остановив лошадей, все четверо сошли с колесниц. Воины остались при конях, а Пилока и Инини подошли к жрецу и его спутнику.

— Вот счастливая встреча, — сказал Пилока, худой и загорелый египтянин лет тридцати пяти. — Не даром нам бог Хормаху помогал и на охоте.

— А что? — спросил жрец.

— Да мы убили отличного, громадного льва и несколько газелей, — отвечал Пилока, пристально, хотя как будто украдкой всматриваясь в незнакомца в фригийском колпаке,

— Ты не узнаешь меня, Пилока, и ты, Инини? — сказал этот последний.

— Адирома! — воскликнули оба в один голос. — Откуда ты? Из царства мертвых? О, боги!

— Да, — улыбнулся тот, кого назвали Адирома, — истинно из царства мертвых.

— Но ведь говорили, что ты утонул в битве при Просописе, вместе с кораблем и всеми воинами, — сказал Пилока.

— Да, сначала погрузился в море, а потом вынырнул, совсем обессиленный, — меня и подхватили финикияне на свой корабль, — отвечал Адирома.

— А вот я так не узнал тебя, — обратился жрец к Адироме, — стар становлюсь.

— А я сам боялся признаться тебе, святой отец, хотя и узнал сразу, — сказал Адирома, — думал, что я так изменился на чужбине и в рабстве, что меня и родные мои не признают за своего.

Начались расспросы: где он был, что это за Троя такая, далеко ли за великим морем Уат-Ур, какова была его жизнь в рабстве, похожи ли тамошние цари на египетских, какие там боги и храмы, как пала Троя, кто были ее героями и как спасся он сам? На все это ответил им Адирома, хотя сам не успел да и боялся задать им вопрос — единственный вопрос, который всего труднее сходил с уст. Но он подошел к нему окольным путем.

— А что в Фивах? — спросил он наконец.

— В Фивах, сын мой, новый фараон, Рамзес III, — отвечал жрец.

— Я это слышал в Мемфисе, — сказал Адирома. — А что мои там — жена, дочь, отец? — спросил он нерешительно.

— Отец твой, благодарение богам, здравствует: бодрый старик; а из дочки твоей вышла славная вострушка, любимица богов.

— О, великий Хормаху! — с благодарною мольбою поднял Адирома глаза на сфинкса. — А жена?

— Мудрые боги взяли ее в свои обители — их на то воля была, — отвечал жрец, поднимая глаза к небу. — Решения их — тайна для смертных. Когда в Фивы дошла весть, что ваш корабль погиб при Просописе и все воины с ним, тогда, сын мой, жена твоя, убитая горем, поболела душою с год, а потом отошла в область бога Озириса, на запад, за великую реку, и погребена в своем вечном жилище.

Адирома закрыл лицо руками.

— Не скорби, сын мой, не нам судить веления богов, — сказал жрец наставительно, — она была оплакана в продолжение семидесяти дней плача по закону наших богов.

Зная, что утешения для Адиромы были бы теперь бесполезны, Пилока и Инини старались свести разговор на другую почву. Они велели своим воинам-возницам подъехать ближе.

— Полюбуйтесь нашей добычей, — сказал Пилока.

На одной колеснице лежал, прикрепленный к ней ремнями, огромной величины мертвый лев; на другой — несколько газелей.

— Как вы могли осилить такое чудовище! — удивился жрец, подходя и осматривая льва.

— Мы молились богу Монту, и он помог нам, — отвечал добродушно Инини.

— Бог Монту и опытность нашего друга Инини совершили это чудо, — сказал Пилока. — Вот этими медными стрелами, — он снял с плеч колчан и положил на колесницу, где лежал лук, — нечего и думать сразу положить на месте этого фараона пустыни, — он указал на льва. — А не сразу его одним ударом, тогда сам прощайся с жизнью — прямо отправляйся к Озирису. Вот Инини и говорит, чтобы победить сильнейшего врага, надо его прежде ослепить: так у нас, говорит, в Ливии и Нубии, в стране Куш, побеждают крокодилов и бегемотов, — ослепим, говорит, и мы льва. И вот, помолившись богу Монту, мы приступили к делу. Мы раньше разведали, что лев каждое утро ходит на водопой к «великому озеру»[1] Таше по одной и той же тропе, чрез прибрежные высокие тростники. Тогда, оставив колесницы и коней с возничими у дальней пирамиды Менкаура[2], мы взяли с собой одну убитую газель и пошли с нею в тростники, окружающие с той стороны «великое озеро». Достигнув «тропы льва», мы положили на самой тропе газель так, как будто бы она спала, а сами впереди ее, ближе к озеру, засели в тростнике, я по правую сторону тропы, а друг Инини — по левую, и условились так: известно, что лев при восходе солнца всегда приветствует восхождение бога Ра громким рыканием; услыхав этот рев, мы догадались, что лев идет, и сказали друг другу: он будет идти по этой тропе и, увидав нечаянно спящую газель, удивится и остановится, чтобы приготовиться к прыжку; он будет пристально глядеть на нее; тогда по знаку, по лег-

[1] Меридово озеро.

[2] Микерина.

кому свисту, мы разом должны спустить натянутые тетивы, и наши стрелы должны вонзиться ему в глаза — моя в правый глаз, его — в левый. Мы так и сделали. По шороху и треску тростника мы догадались, что лев приближается. Скоро мы увидели его, и он моментально остановился, увидев впереди себя, не более как на один прыжок, спящую газель. Глаза его сверкнули зеленым огнем, он пригнулся, чтобы сделать прыжок... Свист — и стрелы вонзились ему в оба глаза! Надо было слышать его рев, его стон, надо было видеть его страшный прыжок вверх! Он упал навзничь и стал лапами выбивать стрелы из глаз... В этот момент мы разом метнули в него свои тяжелые медные копья — и они угодили ему под левую лопатку, рядом, копье к копью и прямо в сердце... Лев задрожал весь и в судорожных конвульсиях вытянулся. Он был мертв, он был наш!

Адирома тоже подошел к мертвому льву.

— Так это я его рев слышал сегодня на заре, — сказал он задумчиво.

— Вероятно, его, — отвечал Инини. — Но какая величина! Знаешь, друг, что мы сделаем с этим львом? — обратился он к Пилоке.

— А что?

— Мы его шкуру подарим нашей доброй царице, госпоже Тии.

— Правда, мысль хорошая: пусть она топчет своими ногами шкуру фараона...

Он не договорил и лукаво взглянул на жреца.

— Да, шкуру фараона... пустыни, — добавил Имери тоже не без лукавства. — Так прежде надо ослепить врага? — многозначительно взглянул он на Инини.

— Ослепить... а потом — в сердце, — отвечал тот.

— Но прежде надо газель убить, — добавил Пилока.

— Да, да... и положить ее на тропе к водопою, — согласился Инини.

— Ну, газель не легко убить, — заметил старый жрец.

— Нет, отчего же? Нам нетрудно... пробраться в стадо газелей, — загадочно проговорил Пилока, обменявшись с Инини мимолетным взглядом.

— Да, правда, на то мы записные охотники, — согласился последний.

Адирома не понимал, о каком «враге» идет речь и что это за «газел», которую следует убить. Ясно, что они говорили намеками и все трое понимали друг друга. Очевидно, у них была какая-то тайна, и вероятно серьезная, если в нее, по-ви-

димому, посвящена такая почтенная личность, как старый жрец бога Хормаху. Да и Пилока, и Инини занимали очень солидные места в государственной иерархии Египта: первый был советником и секретарем казнохранилища фараонов, а последний — советник двора царского. Вероятно, что-нибудь затевается при дворе, что-то похожее на заговор. Неужели против Рамзеса? Недаром они говорили о льве, как о «фараоне пустыни». Не он ли «враг»? Только кто же его противник? И кто эта «газель»? Адирома так долго находился в отсутствии, что для него совершенно неизвестно было настоящее политическое состояние Египта. Очевидно, в стране образовались партии, и одна партия что-то замышляет против Рамзеса.

Адирома, однако, не высказал своих подозрений, тем более что при нем говорили намеками, загадками, не посвящая его в свою тайну, хотя для заговорщиков и говорили слишком откровенно. Без сомнения, они не боялись Адиромы или уверены были, что он сделается их союзником.

— Когда же ты в Фивы, сын мой? — спросил его жрец.

— Сегодня, святой отец, — отвечал Адирома. — Нынче к вечеру отходит туда судно очень удобное, поместительное.

— О, да, — сегодня отходит в Фивы большой корабль — «Восход в Мемфисе», — заметил Пилока. — На нем и мы отправляемся.

— Тем лучше, — сказал Инини, — значит — все вместе. А ты, святой отец?

— И я тоже еду, — отвечал Имери, — у меня есть дело до верховного жреца богини Сохет.

— Это Ири? Достойный старец, — заметил Пилока, — он наш разум и свет.

IX. ЛАОДИКА, ДОЧЬ ПРИАМА

Через несколько часов после этого и жрец Имери, и Адирома, а равно и Пилока и Инини были уже на пристани, на берегу Нила. Медная корабельная труба кормчего уже два раза прозвучала в воздухе, возвещая о скором отплытии корабля. Матросы густились около снастей и парусов, перекидываясь остротами и бранью. По сходням толпились пассажиры и рабы, нубийцы, финикияне, фригийцы, пафлагоняне, ахеяне и данаи, таская на корабль тюки с товаром, отправляемым в Верхний Египет, в Фивы и в попутные по Нилу города. Пронесли туда же и шкуру убитого утром

около Меридова озера льва, а равно пожитки старого жреца, Пилоки и Инини. За пожитками и сами они последовали на корабль.

В это время к корабельным сходням подъехали две колесницы, с которых сошли, с одной — молодой египтянин в богатом одеянии с золотыми обручами на голых кистях и такою же цепью на шее, с другой — старая негритянка, обитательница земли Куш, а с нею молодая стройная девушка под прозрачным покрывалом; негритянка несла за ней опахало из страусовых и павлиньих перьев, которое и держала над девушкой, как щит от солнца.

— О, боги! Неужели это ты, добрая Херсе? — воскликнул Адирома при виде негритянки.

— Адирома! — воскликнула, в свою очередь, последняя в величайшем изумлении.

Девушка под покрывалом вздрогнула при этих возгласах и остановилась.

— Кто с тобой, добрая Херсе? — спросил Адирома, глядя на девушку.

Последняя несколько приподняла покрывало с лица, и на изумленного египтянина глянуло прелестное личико с золотистыми волосами Ганимеда.

— О, Горус! — еще с большим изумлением воскликнул египтянин. — Богоравная Лаодика, дочь божественной Гекубы и Приама!

Но в третий раз прозвучала медная труба кормчего, и надо было торопиться на корабль. Молодой египтянин с золотой цепью на шее повелительным жестом приказал негритянке и той миловидной девушке, которую Адирома назвал Лаодикой, дочерью Приама и Гекубы, следовать за собою на корабль. За ним рабы несли тюки и связки с пожитками.

— Кто эта белая девушка? — спросил у Адиромы Пилока, тоже спеша на корабль,

— О, друг Пилока, — грустно отвечал Адирома, — какая превратность судьбы! Это младшая дочь троянского царя Приама — да будет чтима его память во веки! Но как юная царевна попала в Египет вместе с своей няней-рабыней — я, видят боги, не постигаю... Я помню только тот ужасный час, когда по Трое разнеслась весть, что из деревянного коня, из его утробы, неожиданно вышли данаи — Одиссей, Менелай, Неоптолем, сын Ахилла...

— Из какого деревянного коня? — спросили и жрец и Инини.

— Да, вы ничего не знаете, — спохватился Адирома. — Десять лет данаи напрасно осаждали Трою; много храбрых мужей пало с той и с другой стороны — Патрокл, Гектор, Ахилл; напоследок коварные данаи, по совету хитроумного Одиссея, царя Итаки, соорудили огромного деревянного коня и в утробу его пустую, с потайной дверью, посадили несколько сот своих храбрейших витязей и, оставив коня у ворот Трои, сами сожгли свой стан, показывая вид, что совсем снимают осаду, и отплыли от Трои, чтобы поблизости укрыться со своими кораблями. Тогда троянцы, видя деревянного коня, оставленного врагами, и думая, что это — жертва богам, имели неосторожность ввести это чудовище в стены города...

— Боги их ослепили, — заметил жрец, — боги их безумны, как и они сами.

— Что же было дальше? — спросил ливиец Инини.

— Так когда ввели в город этого деревянного коня, — продолжал Адирома, — то, едва настала ночь, спрятанные в утробе коня данаи тотчас вышли из своей засады, и тогда началось ужаснейшее дело: Троя запылала со всех концов; данаи нападали на обезумевших от неожиданности и страха троянцев, беспощадно убивали их, а сокровища их и женщин выносили за город, куда уже подоспели с кораблями и другие, скрывавшиеся поблизости, их союзники. Это была страшная ночь! Пламя пожара освещало соседние горы и море, кровь в городе лилась потоками, стоны и вопли доходили до самого неба... Кто мог спастись — убегали в другие ворота, обращенные к горам... Я видел, как на моих глазах один за другим падали доблестные защитники Трои. Везде при зареве пожара сверкали медные шлемы, копья и щиты сражавшихся. Я видел, как погибли все шестьдесят сынов Приама и все мужья его дочерей-царевен.

Корабль между тем отчалил от берега. Северный ветерок надувал парус, и «Восход в Мемфисе» тихо шел вверх, словно гигантская птица, рассекая грудью мутные воды Нила. Высившиеся вправо на горизонте пирамиды, казалось, медленно двигались на север.

— А это его же дочь? — спросил Пилока, указывая на Лаодику. — Царевна?

Лаодика сидела на палубном возвышении у ног молодого египтянина с золотой цепью на шее. Над ними рабы держали опахала в виде зонтиков, для защиты от солнца. Негритянка Херсе заботливо навевала прохладу своим опахалом на юную царевну.

— Царевна — это младшая дочь Приама и Гекубы, — отвечал Адирома.

— А что сталось с стариком Приамом? — спросил жрец.

— Не ведаю, святой отец, — отвечал Адирома. — Я видел только, как увлекали в плен его двух дочерей — Кассандру-прорицательницу...

— Прорицательницу? — перебил его Имери.

— Да, святой отец: она имела дар пифии — она предрекла гибель Трои из-за Елены.

— А кто была эта Елена? — спросили Пилока и Инини.

— Елена была жена могущественного царя Менелая, красавица; но ее пленил один из сыновей Приама — Парис, и она убежала с ним от мужа в Трою. Так вот из-за нее-то и возгорелась война между данаями и троянцами.

— О, красота женская! — вздохнул старый жрец. — Сколько в ней есть пагубного.

— Что ж, отец святой, — возразил Пилока, — красота — создание богов; вечные боги знали, для чего сотворили красоту: без красоты род бы человеческий прекратился, и некому было бы молиться и приносить жертвы богам... Красота — великий дар земли бога Аммона-Ра и богини Сохет.

Жрец грустно покачал головой: он вспомнил, что и в его жизни красота женщины играла роковую роль...

— Так Елену отняли у троянцев? — спросил Инини.

— Отняли — я видел, как ее уносили из пылавшей Трои вместе с царевной Лаодикой.

— Вот этой самой?

— Да.

— Боги! Как она прекрасна! — тихо проговорил Пилока. — Но как она попала сюда и кто этот молодой богатый египтянин? Вероятно, он купил ее где-нибудь.

— Не знаю, — отвечал Адирома.

— А кто эта старая негритянка, с которою ты говорил и которая, по-видимому, знает тебя? — спросил снова Пилока. — Она назвала тебя по имени.

— Это рабыня царя Приама и воспитательница Лаодики: она ходила за маленькой царевной с колыбели. Херсе — так зовут негритянку — наша, египтянка, из племени Куш, и была взята в плен финикийцами лет тридцать тому назад и продана в Трою. Там она взята была ко двору царя Приама, где я с нею и познакомился, будучи рабом в этом же царском доме. Херсе научила говорить по-египетски и свою питомицу-царевну, а теперь это очень пригодится царевне, раз что она попала в Египет, — сказал Адирома.

Молодой богатый египтянин, с своей стороны, по-видимому, расспрашивал черную рабыню, кто этот Адирома, который заговорил с нею, потому что и египтянин и Херсе часто поглядывали на него и на его собеседников.

Наконец молодой египтянин встал и направился в сторону последних. Подойдя к ним, он сказал всем обычное ходячее приветствие и обратился к Адироме.

— Боги да даруют тебе здоровье и счастье, благородный Адирома! — сказал он. — Моя рабыня говорит, что она была в чужих странах вместе с тобою и что ты взят был в плен при Просописе в морской битве?

— Она сказала правду, — отвечал Адирома.

— А на каком корабле ты сражался? — снова спросил египтянин.

— На корабле «Ибис», — был ответ.

— О, боги! — воскликнул молодой египтянин. — Значит, ты знал моего отца.

— А кто твой отец? — спросил Адирома.

— Он был начальником корабля «Ибис» в морской битве при Просописе: имя моего отца — Аамес.

— Я знал благородного Аамеса, — сказал Адирома, — он был моим начальником.

— Но «Ибис» был потоплен финикиянами?

— Да, это было ужасное наказание, посланное нам немилосердным богом Сета, грозным сыном Озириса.

— И мой отец погиб тогда, утонул?

— Не знаю, мой молодой друг, — отвечал Адирома.

— Но как же ты спасся? — спрашивал молодой египтянин.

— Великий Озирис сжалился надо мною: меня выбросила морская пучина, и я взят был пленником на финикийский корабль, — отвечал Адирома.

— Но, быть может, великий Озирис помиловал и моего отца? Быть может, что и он взят был в плен? — продолжал спрашивать молодой египтянин.

— Не знаю, сын благородного Аамеса, — отвечал Адирома, — я его потом нигде не видел.

Сын Аамеса постоял, подумал и хотел было уйти; но остановился.

— Так ты, благородный Адирома, знавал и мою молодую рабыню? — спросил он.

— Да, знал, — был ответ.

— И действительно — она дочь троянского царя Приама?

— Да, она царевна из несчастной Трои. А как она тебе досталась?

— Я купил ее на рынке в Цоан-Танисе вместе с старой негритянкой: она мне понравилась своей красотой — таких белых кошечек у нас в Египте нет... Любопытно иметь наложницей такую беленькую кошечку, — цинично сказал сын Аамеса, скаля свои белые зубы.

Глаза Адиромы сверкнули гневом; но он сдержал себя.

— Юная царевна достойна лучшей участи, — сказал он, — боги велят нам уважать несчастие.

— Какое же это несчастие — разделять ложе с сыном славного Аамеса? — высокомерно возразил молодой египтянин.

— Но прелестное дитя могло бы быть и женой, — заметил как бы про себя жрец, все время молчавший, — женою царя.

— Да, святой отец; но кувшин без воды, как бы ни был хорош, все же пустой кувшин, — возразил сын Аамеса, — а жена без придачи — тот же пустой кувшин.

Жрец пожал плечами. Молодой египтянин хотел было уйти, но опять остановился в нерешительности.

— Я не знаю, как же быть с гробом отца? — сказал он, глядя на Адирому.

— А что? — спросил тот неохотно.

— Да вот в чем дело: отправляясь в поход из Цоан-Таниса, отец мой заказал там для себя, по обычаю предков, гроб, и продиктовал сам мастеру искусства изображений знаков Аммона то, что именно он должен был вырезать на гробе. Его воля была исполнена; но он с похода не воротился — быть может, утонул или взят в плен. Теперь, согласно договору отца с мастером, я должен был взять гроб — он давно был готов, — и вот везу его с собой в нашу родовую усыпальницу, в город Нухеб. Как же мне быть с этим гробом, если отец не воротится из плена, чтобы снизойти в подземный мир в нашей усыпальнице, или если его тело не будет отыскано? — вопросительно обратился молодой египтянин к жрецу.

— А где этот гроб? — спросил Имери.

— Вон там стоит под пологом.

Жрец, а за ним и другие пошли к кормовой части корабля, где они и увидели богатый гранитный саркофаг, весь испещренный красивыми иероглифами.

— А прочитайте, какие подвиги совершил мой отец? — хвастливо проговорил молодой египтянин.

Жрец стал читать вслух:

— «Умерший начальник корабельного экипажа Аамес, сын Абана, говорит так:

«Я говорю к вам, всему народу, и объявляю о почетной награде, мною полученной.

Я восемь раз был одарен золотым даянием перед лицом всей страны, и рабами, и рабынями в великом множестве.

Я владел многими полями земли. Наименование «храброго», которое я заслужил, никогда не забудется в этой земле.

Я провел свою молодость в городе Нухебе. Отец мой был военачальником покойного царя Рамзеса II Миамуна.

И сделан я был начальником на его место на корабле «Телец» во время господина земли Минепты II Хотепхимы.

Я был еще молод и не женат и опоясан одеждой молодежи. Но после того как я приготовил себе жилище, я был взят на корабль «Север», потому что я был силен.

Должность моя была сопровождать великого господина — жизнь и счастье и здоровье да будет его уделом — пешком, когда он ездил на колеснице.

Обложили город Аварис. Служба моя была пребывать пешком перед его святейшеством.

Тогда я был переведен на корабль «Восход в Мемфисе»...

— Этот самый, на котором мы плывем, — пояснил молодой египтянин.

Жрец продолжал читать:

— «Сражались на воде, на озере Пацетку, близ Авариса. Я сражался врукопашную и взял одну руку. Это было сказано докладчику царя. Мне дали золотой дар за храбрость.

Потом возгорелся на этом месте новый бой, и я снова сражался врукопашную и взял одну руку. Мне во второй раз дали золотой дар.

Сражались при местности Такем, на юг от города Авариса. Здесь я взял живого пленного, взрослого человека. Я влез в воду, и ведя его, чтобы остаться в стороне от пути, ведущего к городу, шел я водою, держа его крепко. Обо мне сказали докладчику царя. Тут я получил еще раз золотой дар.

Взяли Аварис. Я взял там пленных — взрослого человека и трех женщин, всего четыре головы. Его святейшество отдал мне их в собственность, как рабов.

Обложили город Шерохан. Его святейшество взял его. Там я взял добычу — двух женщин и одну руку. Мне дали золотой дар за храбрость. К тому отданы были мне пленницы, как рабыни.

После того, как его святейшество искрошил сирийцев земли Азии, поехал он вверх по Нилу в Хонт-Хоннофер, чтобы разбросать горных жителей Нубии. Его святейшество весьма много поразил между ними. И я там взял добычу: двух женщин, двух живых взрослых людей и три руки. И мне снова дали золотой дар, к тому дали мне двух рабынь.

И его святейшество поехал вниз по реке. Сердце его было радостно по храбрым и победоносным делам. Он взял во владение земли юга и севера.

Тогда пришел враг с юга и приблизился. Его преимущество заключалось во многочисленности его народа. Божества юга были против его силы. И его святейшество нашел его при воде Тент-та-тот. Его святейшество увел его в плен живым. Все люди царя возвратились с добычей. Я увел двух молодых людей, отрезав им отступление от корабля. Мне дали пять голов, кроме удела в пять мер пахотной земли, которые дали мне в моем городе. То же самое дали и экипажу корабля.

Тогда пришел тот же враг — имя ему Тетаан (имя вождя?). Он собрал около себя шайку злых людей. Его святейшество уничтожило его и слуг его, так что не стало их. Тогда были мне даны трое людей и пять мер пахотной земли в моем городе.

Я вез водою покойного царя Сети II Минепту, когда он ехал вверх по реке против Куша, чтобы расширить границы Египта. Он поразил нубийца в среде его воинов. Загнанные в теснину, не могли они бежать. В замешательстве стояли они, как будто они были ничто. Я тогда стоял впереди наших воинов и сражался, как следовало. Его святейшество удивлялся моей храбрости. Я взял две руки и принес их к его святейшеству. Разыскивали жителя нубийца и его стада. Я привел живого пленного и привел его к его святейшеству.

Я привез его святейшество в два дня в Египет от верхнего колодца Хнум-хирт. Тогда подарили мне золотой дар. Тогда я привез двух рабынь, кроме тех, которых я привел перед его святейшество. И я был возвышен на степень *витязя царя*.

Я вез покойного царя Сетнахта-Мерер-Миамуна, когда он ехал водою в Хент-Хоннофер, чтобы подавить распрю между жителями и чтобы отразить нападение со стороны суши. И я был храбр перед ним на водах. При нападении на корабли было нам плохо вследствие перемены ветра. Я был возвышен на степень начальника корабельных экипажей.

Снова встали презренные жители страны Куш. Тогда возгорелся гневом его святейшество как пантера, и он бросил свою первую стрелу, которая осталась в теле неприятеля, который упал без чувств перед его царским венцом. И тогда произошло великое поражение неприятеля, и увезли весь народ в плен живыми.

И поехал вниз его святейшество. Все народы были в его власти. И этот презренный царь нубийских народов был привязан к носу корабля его святейшества и выложен на землю, в городе Фивах.

После того отправился его святейшество в страну Рутенну, чтобы охладить жар своего мужества на жителях страны той. И достиг его святейшество земли Нахараина. Его святейшество — да будет жизнь, счастье и здоровье его уделом! — нашел этих неприятелей. Он назначил порядок битвы. Его святейшество нанес великое поражение им.

Бесчисленно было множество живых пленных, которых его величество увел победами своими. И вот я был впереди наших воинов. Его святейшество удивлялся моей храбрости. Я взял и увел военную колесницу с конями и того, который на ней находился, живым пленным и представил их его святейшеству. Тогда я был одарен золотом».

— Здесь он велел оставить место для будущих дел своих и подвигов, — заметил молодой египтянин.

— Да, — иронически вставил слово Инини, — здесь придется вырезать: «При Просописе я погиб вместе с своим кораблем».

Но сын храброго Аамеса не понял иронии.

— А вот конец надписи, — показал он внизу гробовой доски.

— «Я сделался высокоуважаемым, — прочел жрец, — и достиг старости. Со мной будет то, что есть удел всех людей на земле. Я снизойду в подземный мир и буду положен во гробе, который я для себя сам велел сделать»[1].

Жрец кончил и задумался.

— Кого же ты положишь в этот богатый гроб, если твой отец съеден акулами Великой зеленой воды Уат-Ур? — спросил он сына Аамеса.

---

[1] Эта замечательная эпитафия — не измышление автора. Ее до сих пор можно видеть в Верхнем Египте, в Эль-Кибе, в гробничном покое Аамеса. Это целый некролог, и некролог хвастливый, от своего лица. А разве «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» — не то же самое? Не то говорят надписи на памятнике Гамбетты в Париже, против Лувра.

— Не знаю, святой отец, — отвечал молодой египтянин.

— Надо будет положить его изображение, исполнив над ним все похоронные обряды бога Озириса, — сказал жрец.

X. ВОСПОМИНАНИЕ О ТРОЕ

Юная Лаодика между тем с глубокою тоскою смотрела, как корабль все более и более удалялся от тех мест, которые, казалось ей, омываемы были ее родным морем. Эти мутные воды реки, так не похожей на родной Ксанф, или Скамандр, эти пугающие ее гиганты-пирамиды, высившиеся к незнакомому небу, эти молчаливые звери-люди, сфинксы, эти храмы чудовищные, непохожие на родные храмы ее богов, отвернувших от нее лицо свое, эти выжженные солнцем горы с мрачными в них пещерами-гробницами, хранилищем старинных мумий, эти гигантские пальмы, так непохожие на милые лавры и мирты ее родины, — все это еще больше заставляло ее мысль и ее изболевшее сердце тянуться к милому северу, к грустным теперь, опустошенным берегам бедной Трои, к ее задумчивым рощам, к озаряемой родным солнцем, а теперь затуманившейся облаками Иде, к священному Илиону.

Милое, золотое, невозвратное детство, когда она с братьями и сестрами и с этим обломком ее прошлого, с доброю, черною нянею Херсе бегала по берегу родного моря! Никого из них не осталось. Нет и Кассандры, которую она видела последний раз в эту ужасную ночь — жива ли она? Может быть, подобно ей, томится в неволе, в чужой стороне. И никого-то не пришлось ей оплакать, как оплакала она когда-то доброго Гектора — милого Гектора, который ее, маленькую Лаодику, часто носил на руках или пугал ее, надев свой страшный, косматый и блестящий шлем, как в последний день своей жизни он испугал этим шлемом своего маленького Астианакса. Никого не осталось!

А милый родной дом — дворец ее отца? Что с ним: остался ли он цел или сгорел в эту ужасную ночь вместе с остальною Троей?

Лаодика глянула туда, где сидел Адирома с своими спутниками и где был теперь ее господин — господин Лаодики, любимой дочери царя Приама, а теперь рабыни!

При виде Адиромы на нее повеяло чем-то родным, милым. Ведь столько лет она видела его в своем дворе, в числе рабов своего отца. Когда она была много меньше, Адирома часто делал ей игрушки — лепил из глины сфинксов и бога

Аписа, или пел египетские песни. Как он спасся из Трои, когда все там погибло? Как он попал в Египет? Может быть, он знает что-нибудь о судьбе ее отца, матери, братьев и сестер.

— Надо бы поговорить с Адиромой, няня, — сказала Лаодика своей черной Херсе, — он такими добрыми глазами посмотрел на меня.

— Да, милая царевна, я постараюсь поговорить с ним, — отвечала старая рабыня.

— Поговори — он добрый.

— Да, он, может быть, знает что-нибудь о Трое.

— О, всемогущие боги! — тихо вздохнула девушка. — За что вы послали на нас гнев свой? Разве мы мало приносили вам жертв? Разве не часто бедный, милый отец мой возжигал вам костры с целыми гекатомбами? А не я ли сплетала вам венки из лавров и миртов? Не я ли курила перед вами благовониями Востока? О, безжалостные боги!

Слезы тихо струились по щекам обездоленной жертвы неумолимого рока.

— Не плачь, дорогая, светлая царевна, не тумань своих ясных глазок: боги милостивы, они воротят тебе и родину, и родной кров, — утешала ее старая негритянка. — Вот я давно уж и забывать стала свою горную страну, свою жаркую Нубию и этот Египет, куда я вывезена еще девочкой, а вот боги, хоть я уж и не просила их, а опять привели меня в страну солнца, к пирамидам, к моему великому богу Горусу.

— Нет, добрая няня, сердце мне говорит, что не видать уж мне больше священного Илиона, — грустно говорила Лаодика. — Как перелететь через эти безбрежные моря?

— Не говори этого, милая царевна: наши боги всесильны, и если ты будешь молиться матери богов, великой Сохет, то она обратит тебя в ласточку, и тогда ты перелетишь через все моря, сядешь на кровлю родного дома и защебечешь: все тебя сейчас узнают.

— Э, няня! Это сказки для малых детей. Для меня уж нет возврата: я так умру здесь рабыней.

Рабство — удел женщины древнего мира, раз что она взята в плен победителем или пиратом и потом продана на рынке как товар. И вот прелестная Лаодика, царевна священного Илиона, Лаодика, которую впоследствии Гомер воспевает в своих наивных рапсодиях, эта Лаодика, по словам творца «Одиссеи», «миловиднейшая дщерь Гекубы», теперь рабыня, невольница сластолюбивого египтянина.

— Ну, а если боги не превратят тебя в ласточку, то все же ты не будешь рабыней: наш теперешний господин, Абана, сын Аамеса, сделает тебя своей женой; а Абана из знатного египетского роду, — утешала ее Херсе.

— Я не хочу быть и женой его, — проговорила Лаодика.

— Отчего же милая, царевна? Он такой красивый, молодой, богатый.

Лаодика отрицательно покачала головой: она охотнее желала бы быть женою троянского пастуха, чем египетского сановника. Абана казался ей таким грубым и, несмотря на свою молодость и статность, физически противным.

— Нет, няня, если уж боги не судили мне вновь увидеть священный Илион, то уж я лучше желала бы скорее сойти в область Аида: там я увижу милого Гектора, моих добрых братьев Полидора, Ликаона... Их милые тени скитаются теперь, быть может, по берегам Леты или Стикса и Флегетона... О, няня! Для меня роднее и любезнее Лета или Ахерон, чем этот чужой Нил; я бы охотнее помогала Сизифу катить на гору его заколдованный камень, чем быть царицей Египта.

Херсе не могла без сердечной боли слышать эти слова своей питомицы и госпожи. Старая рабыня за все время, как нянчила Лаодику, с самой ее колыбели, страстно привязалась к этому милому, нежному ребенку. Сама одинокая, никогда не имевшая ни детей, ни родины, она сосредоточила в Лаодике весь свой мир, всю страстную, пламенную любовь негритянки. Так, вероятно, только львицы ее родины и пантеры любят своих детенышей: она действительно превращалась в разъяренную львицу, когда, бывало, ей казалось, что кто-либо обидел ее маленькую царевну. В такие моменты, бывало, Гектор называл ее Медузой, у которой волосы превращались в змей, и выражал шутливое сожаление, что нет более Персея, который бы отрубил голову этой Медузе. В последнюю ужасную ночь, когда, при свете зарева пожара, она увидела, что сын Агамемнона, Орест, схватил Лаодику, чтобы нести к себе на корабль, Херсе змеей обвилась вокруг ног Ореста и до тех пор не выпускала его из своих цепких клещей, пока он не обещал, что возьмет ее вместе с своей юной пленницей, Лаодикой.

Теперь, поставленная злым роком на одну доску с своей царевной, будучи такою же вещью молодого египтянина, как и Лаодика, она продолжала считать себя рабынею исключительно этой последней. Для нее она готова была бы с радостью опять покинуть Египет. Что ей Египет! Она его забыла,

она привыкла к той жизни, в далеком Илионе. А с Лаодикой она хоть на край света так пошла бы охотно.

А Лаодика, глядя на эти мелькающие по берегу Нила храмы и дворцы неведомых городов, вспоминает, как когда-то слепой певец, Креон, воспевал их дом в Трое, их милые «палаты, обиталище счастья»:

Все лучезарно, как в небе, в палатах царя Илиона,
Старца Приама, богов олимпийских любимого сына:
Солнце и месяц и звезды в палатах его обитают.
Солнце-то сам он, Приам богоравный, а ясный там месяц,
Ночь превращающий в день — то Гекуба, богиня средь смертных;
Яркие звезды — сыны их и милые дщери и внуки.
Рай в тех палатах: там медные стены идут от порога,
Сверху ж увенчаны светлым карнизом лазоревой стали;
Входные двери из чистого золота ходят на петлях
Медных — Гефест их ковал в своей кузнице молотом тяжким.
Аргусы — псы из чистейшего золота денно и нощно
Дверь охраняют; внутри же там — лавки богатой работы,
Крытые тканями яркого пурпура...

Вспоминала Лаодика и сад свой, где она так любила играть с своими братьями и сестрами и с этою преданною Херсе, — «сад, обведенный высокой оградой». Росло там, в этом родном саду, «много дерев плодоносных — яблонь, и груш, и гранат, отягченных золотыми плодами». Все было в этом дивном саду: «сладкие смоквы, маслины круглый год, и в знойное лето, и в зиму холодную зрели на ветках...»

В это время к ним подошли Абана и Адирома.

— Да хранят тебя вечные боги, богоравная дочь Приама! — сказал почтительно Адирома.

Он заговорил на родном языке Лаодики, и грустное лицо девочки прояснилось. Уже одно присутствие здесь, в чужой стране, этого человека, которого она с детства видела около себя в родном доме, теплом повеяло на ее душу.

— Боги да наградят тебя за твою доброту, Адирома, — сказала с чувством Лаодика. — Расскажи нам, как ты попал сюда и что ты знаешь о последующей судьбе всех близких мне и об участи, постигшей священный Илион?

— О, богоравная дочь Приама и Гекубы! — с грустью отвечал Адирома. — Не отрадны будут для тебя мои вести. Вот все, что я знаю: когда тебя и провещательницу Кассандру силою увлекли злодеи данаи и когда уже нельзя было сомневаться, что пылающая Троя стала добычею ее врагов, мы все, кто еще остался жив, решились спасаться бегством и вышли из города северными воротами, которые не были заняты врагами. Оттуда дорога шла в горы, по

направлению к Дарданосу. С ближайших высот мы увидели, что Троя вся объята пламенем; пылал и ваш прекрасный дворец, некогда подобный Элизию — жилищу богов. Кто погиб от меча врагов и от всепоглощающего пламени, мы не могли знать; мы знали только немногих спасшихся, между которыми был и Эней, сын Анхиза, доблестный вождь храбрых из Дарданоса...

— Эней! — тихо сказала Лаодика, и не то вздох, не то стон вырвался из ее груди.

— Да, Эней, богоравная дочь Приама, — продолжал Адирома, — он на плечах своих вынес из пылающего города престарелого отца, Анхиза, а старая, немощная Креуза несла за ними своих пенатов.

— Кто же еще спасся с вами? — спросила Лаодика.

— Вместе с Энеем спаслись еще Палинур, Энтелл...

— А из моих братьев никого с вами не было?

— Никого, богоравная Лаодика. Может быть, они вышли другими воротами.

— Бедные, бедные! — прошептала Лаодика. — Что же Эней?

— Эней, увидев, что для города нет уже спасения, собрал нас всех и повел прямою дорогою в свой родной город Дарданос. Там мы наскоро снарядили корабли и морем бежали от злосчастных берегов священного Илиона... Мы издали видели, как он дымился, догорая.

Лаодика плакала: она оплакивала гибель своего родного города и всего, что ей было дорого.

— А Эней? Что с ним сталось? — спросила она, стараясь подавить рыдания. К Энею юная Лаодика питала нежное чувство: она давно его любила пламенно; он первый разбудил в ней, почти ребенке, спавшую женщину, и она полюбила его со всею беззаветностью первой пробудившейся страсти. Но об этом чувстве никто не догадывался: ласки, которые она давала Энею в своем саду, в ночь перед его единоборством с Патроклом, видели с темного неба только молчаливые звезды...

— Эней, — отвечал на ее вопрос Адирома, — долго скитался с своими кораблями по бурному морю, преследуемый жестоким Посейдоном, пока нас не прибило к берегам Африки.

— Сюда, в Египет? — встрепенулась Лаодика. — Так Эней здесь?

Казалось, что мгновенно мрачная пелена спала с ее глаз, и это чужое небо, сдавалось, глянуло на нее приветливо, лю-

бовно; Нил не казался таким мутным; высокие пальмы стали красивее, гранитные, задумчивые сфинксы не такими строгими.

— Да, богоравная Лаодика, почти в Египет, только туда западнее, ближе к Атланту, где этот гигант держит на своих плечах свод небесный, — отвечала Адирома, — мы пристали к городу Карфаго, где царицей была прекрасная Дидона.

— Дидона? — неожиданно вмешалась в разговор Херсе, которая до сих пор все молчала. — Она, должно быть, внучка нашего бывшего ливийского царя Дидо, которого разбил фараон Минепта II. А каких она лет, добрый Адирома?

— Лет около двадцати-девятнадцати.

— Так это она: я видела ее мать еще совсем ребенком, она опоясывалась тогда еще поясом младенчества. О, боги! Как быстро обращает великий Озирис колесо времени! И у нее уже дочь царица? — говорила старая Херсе, качая поседевшею головою.

— Где ж теперь Эней? — с сдержанным нетерпением спросила Лаодика.

— Не знаю, богоравная дочь Приама, — отвечал Адирома.

— Что же Дидона? — снова спросила Лаодика. — Она приняла вас?

— Не только приняла, но она отдала Энею и себя, и свое царство

Заметная бледность разлилась по миловидному личику дочери Приама.

— Себя отдала Энею? — спросила она чуть слышно.

— Да, и все царство.

— И он взял ее? — Адирома только по движению побледневших губ Лаодики мог прочесть ее беззвучный вопрос.

— Нет, не взял. Он следовал велениям богов: они повелели ему отплыть в землю италов, к самому краю земли.

— И он отплыл?

— Отплыл, царевна.

— А Дидона? — голос Лаодики срывался

— Дидона сожгла себя на костре.

— Как?! Что?! — Лаодика привстала, вся дрожа.

— Дидона полюбила Энея и не могла перенести разлуки с ним.

Краска медленно возвращалась на бледные щеки Лаодики

Вечерело. На землю, на Нил, на горы спускались тени ночи. В вечернем воздухе прозвучал медный голос трубы кормчего, и «Восход в Мемфисе» стал поворачивать к берегу, на ночлег.

XI. ПОХИЩЕНИЕ ЛАОДИКИ

«Дидона полюбила Энея и не могла перенести разлуки с ним». Эти слова неотступно теперь преследовали Лаодику. А она, Лаодика, разве не любила его, не любит? Он вытеснил из ее сердца все — родину, отца, мать, братьев, сестер. Для него забыты боги, храмы, их алтари, жертвенники... Она помнила только одно божество — Афродиту. Ее покровительства она просила, когда накануне единоборства Энея с Патроклом шла ночью в сад на свидание с сыном Анхиза. И Афродита послала ей свою милость. Разве теперь Лаодика может забыть, что было тогда в эту божественную ночь, когда только безмолвные звезды могли видеть с темного неба их ласки, их объятия, ее счастливые слезы.

Неужели же эта африканка, эта царица Карфаго, Дидона, любила его больше? Да, больше, больше! Она не задумалась пойти на костер, когда его не стало, когда он покинул ее по повелению богов: Дидона не перенесла разлуки. А она, Лаодика, которая любила его больше своей жизни, она не была убита разлукой: она не пошла на костер. Нет! Не может быть, чтобы Дидона больше любила! Эта гордая африканка погибла оттого, что он ее бросил, отверг ее любовь. Это ясно. Значит, она говорила Энею о своем чувстве? Он слушал ее?

Болью отдался в сердце Лаодики этот вопрос. Значит, любовь Дидоны к Энею не была тайной — все знали об этом? Да, конечно, и Адирома знал, и все знали.

Эти мысли не давали спать Лаодике в то время, когда весь корабль погружен был в сон. Лаодика лежала под наметом из белого финикийского виссона и не могла сомкнуть глаз. Намет был полуоткрыт, и в отверстие Лаодика видела темное небо, усеянное звездами. Эти звезды и тогда смотрели на них, когда Эней так безумно ласкал ее.

Уже одно сознание, что он жив, наполняло сердце Лаодики благодарностью к богам. Он жив, он думает о ней. И в неведомой земле италов он вспомнит о своей Лаодике.

Нил тихо журчал у киля корабля. На берегу, медленно потухая, иногда вспыхивал огонек, с вечера разведенный мат-

росами. За Нилом, в каменоломнях, слышался по временам крик ночной птицы.

Где же эта таинственная земля италов? И неужели можно перелететь через море ласточкой?

В темноте Лаодике показалось, что полог ее намета шевелится. Она стала вглядываться. Скоро полог несколько раздвинулся.

— Это я, милая царевна, — послышался осторожный шепот старой негритянки.

— Что тебе, Херсе? Разве ты не около меня спала? — также осторожно спросила Лаодика.

— Тише... Богиня Гатор посылает тебе спасение.

— Что ты, няня!

— Богиня Гатор покровительствует молодости и красоте... Твоя красота растопила сердце доброго божества: богиня хочет спасти тебя от Абаны, которого ты не любишь.

— О, боги! Но как она спасет меня?

— Вставай и иди за мною: пока всевидящее око Аммона-Ра глянет на землю, мы будем уже далеко — Абана не догонит нас.

Вся дрожа от волнения, Лаодика встала. Верность свою и глубокую преданность старая Херсе так много раз имела возможность доказать, что Лаодика верила ей слепо. Она знала, что Херсе желает ей добра.

— Сандалии на тебе? — спросила негритянка.

— На мне, няня.

— А вот тебе плащ — закутайся им плотнее.

Лаодика повиновалась. Оставив намет, беглянки тихо пробрались мимо спавших рабов своего господина. В темноте они дошли до сходней и никем не замеченные вышли на берег.

В темноте, словно из земли, выросла еще одна тень.

— Это я — не бойся, богоравная дочь Приама, я — Адирома; следуйте за мной.

Беглянки удалились от берега. Невидимая тропинка вела через пальмовую рощу. В темноте послышалось фырканье лошадей.

— Вот мы и дошли, — сказал Адирома.

В темноте вырисовывалась группа коней и неясные очертания людей. Ночной сумрак и таинственность наводили на Лаодику невольный страх, хотя она и уверена была в добрых намерениях Херсе и Адиромы.

— Боги нам покровительствуют, — послышался в темноте чей-то голос.

Это был голос Имери, старого жреца бога Хормаху. С ним было еще несколько человек, и тут же стояли две парные колесницы. Жрец подошел к Лаодике.

— Благородная дочь Приама, — сказал он ласково, — пусть боги вселят в твою юную душу мужество! Я, жрец великого бога Хормаху, желаю тебе добра. Несчастье твоего дома предало тебя в руки и в рабство недостойному человеку. Ты не заслужила этой участи, и боги внушили мне благую мысль. Я хочу избавить тебя от того, кто называется твоим господином. Я и мои друзья, слуги царицы Тии, благородные советники фараона, Пилока и Инини, — мы хотим, чтобы ты и твоя верная Херсе сейчас же, не дожидаясь, пока солнце пошлет свой первый луч на землю, отправлялись на этих колесницах прямо в Фивы. Эти мужественные воины, — он указал на молчаливые фигуры, стоявшие у лошадей, — будут сопровождать и охранять вас. В Фивах вы явитесь к начальнику женского дома, к Бокакамону, который и доложит о вас царице, — жизнь, счастье и здоровье да будут ее уделом! Вот тебе золото на дорогу, благородная отроковица. — Жрец подал Лаодике кошелек. — Мы же сейчас воротимся на корабль, чтобы сын Аамеса, когда утром обнаружится ваше исчезновение, не заподозрил нас в чем-либо.

— Я скажу Абане, недостойному сыну Аамеса, — прибавил с своей стороны Адирома, — что тебя, богоравная царевна, и добрую Херсе похитил твой бог Гермес.

Лаодика со слезами целовала руки старого жреца.

— Да наградят тебя боги, святой отец, — шептала она.

— А тебя, милое дитя, пусть хранит великий Хормаху и всемогущая Сохет, мать богов, — сказал жрец, целуя ее в голову.

Лаодику и Херсе усадили в одну колесницу на мягкие шкуры газелей и велели их вознице не жалеть коней. В другой колеснице поместились три воина, служившие под начальством Пилоки и Инини. Им же принадлежали и колесницы с конями.

Скоро беглянки исчезли во мраке тропической ночи, а жрец и Адирома воротились на корабль, где никто и не заметил их временного отсутствия.

Лаодика очень удивилась, когда, проснувшись утром под ласкающими лучами солнца, она увидела себя в незнакомой местности. Все совершившееся ночью казалось ей сном.

— Где мы, няня? — спросила она.

— Мы на дороге благополучия, — лаконически отвечала старая негритянка.

Лаодика тотчас вспомнила события предшествовавшего дня: рассказ Адиромы, Эней, Дидона на костре, земля италов, неведомое море...

— Ах, няня, как бы я хотела быть ласточкой! — прошептала она.

XII. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕГО

Прошло около десяти дней. Рамзес все еще не возвращался из похода; но в Фивах его и не ждали скоро. Говорили, что он предпринял поход далеко на север.

Солнце только что опустилось за Ливийские горы, окаймлявшие у Фив долину Нила с запада; но Фивы были все еще так же шумны, как и днем. Обыватели, которых вечер застигал вдали от своих жилищ, спешили по домам. Буйволы, коровы, ослы и козы с пастбищ возвращались в свои хлева и закуты. Их сопровождали крики пастухов и лай собак.

В этот час, в задней половине дома Пенхи, в восточной, занильской части города, сквозь небольшое окошко, выходившее на Нил и завешенное изнутри полосатою занавесью, едва заметно просвечивал огонек.

Войдем внутрь дома старого Пенхи. Хозяин и его внучка Хену находились в задней половине дома, в той именно комнате, из маленького окошка которой просвечивал слабый луч огонька на Нил. Это была довольно просторная комната, освещенная висячею бронзовою лампою с четырьмя горелками в виде наклоненных цветков лотоса. На столе стояли две свечи в бронзовых же шандалах с изображениями филинов. Тут же лежали куски воска, ножи и лопаточки из пальмового дерева.

Старик Пенхи, наклонившись над столом, усердно лепил из воска какую-то фигурку в виде женщины, но с головою льва. На другом конце стола маленькая Хену тоже лепила какие-то фигурки, вся углубившись в свое занятие.

Подняв голову и взглянув на работу деда, она радостно захлопала в ладоши.

— Ах, дедушка, настоящая богиня Сохет! — воскликнула она, подходя к старику. — Ах, как хорошо!

— Да, дитя, она удалась мне, — задумчиво сказал старик, — сама богиня помогла.

— Она еще лучше, чем Озирис, — сказала девочка, подходя к нише и вынимая оттуда другую восковую фигурку. — А разве ты меньше молился Озирису?

— Нет, дитя, я усердно и ему молился.

— А посмотри, что я тебе покажу.

Хену подбежала к другому концу стола и взяла слепленные ею восковые фигурки.

— Смотри, дед: это — бог Апис, а это — я!

И девочка весело, звонко расхохоталась: ее смешили сделанные ею безобразные фигурки.

— Видишь, какая я? Ха-ха!

Старик добродушно улыбался, рассматривая произведение своей шалуньи-внучки.

— А какой Апис! Какие рога! Вот он сейчас меня забодает.

И девочка снова заливалась, прыгая вокруг стола.

— Постой, дед, я теперь слеплю самого фараона, — говорила она, принимаясь за воск.

В это время с берега Нила донесся резкий звук медной трубы.

— Это корабль откуда-то пришел, — заметил Пенхи.

Затем и старик, и девочка снова углубились в свои работы. Слышно было, как на дворе переговаривались рабыни, которые доили коров и коз. С Нила доносился неясный гул голосов: это шла спешная разгрузка прибывшего в Фивы корабля.

— Не будет ли каких вестей о фараоне? — проговорил про себя Пенхи.

— Может быть, он еще победил какого-нибудь царя в земле Либу, — заметила Хену.

На дворе послышался лай собаки.

— Не чужой ли кто-нибудь? — заметил про себя Пенхи. — Надо бы все это спрятать.

Но вслед за тем собака залаяла радостно, отвечая на чей-то призыв. В то же время раздался не то радостный, не то испуганный возглас старой Атор, верной ключницы Пенхи и няньки Хену.

— О, всемогущий Озирис! Кого я вижу! Ты ли это? Из подземного царства Озириса?

— Нет, добрая Атор, я не был в подземном царстве, — отвечал чей-то знакомый голос.

— Кто бы это? Чей это голос? — удивился Пенхи.

— А как боги милуют отца? Что маленькая Хену? — послышался тот же голос.

— Обо мне спрашивает! — с удивлением воскликнула Хену. — Кто это?

Пенхи как-то задрожал и весь вытянулся, превратившись в слух. Дрожащими руками он стал собирать и прятать куски

воска, фигурки восковые, лопаточки. Лицо его сначала вспыхнуло, потом побледнело.

— Не может быть! — прошептал он. — О, боги!

— Кто, дедушка? — спрашивала Хену, схватив деда за руку.

— Я не знаю, дитя... Мне почудилось... Он говорит — что отец...

— О, великая Гатор! — слышался радостный голос рабынь на дворе. — Наш господин!

— Где отец? Где моя Хену? — снова говорил тот же знакомый голос.

— О, боги! Это он! Это мой сын! — проговорил старый Пенхи и бросился к двери. — Это твой отец, дитя. Он воротился из подземного царства!

Пенхи быстро отворил дверь. Там, в соседней комнате, стоял Адирома.

— Адирома! Сын мой! Ты ли это! — воскликнул Пенхи, протягивая руки.

— Отец мой! Отец! Я опять тебя вижу!

И отец, и сын бросились друг другу в объятия. Одна Хену стояла в каком-то оцепенении, словно забытая. Но в это мгновение в комнату с радостным визгом влетела собака Шази и бросилась лизать лицо девочки.

— Хену! Дитя мое! — нагнулся к ней Адирома, освободившись от объятий отца. — Ты не узнаешь меня? Я твой отец! Какая ты большая выросла! О, Гатор, она у меня красавица!

Девочка, пораженная неожиданностью, совершенно растерялась. Давно освоившись с мыслью, что ее отец погиб в море, что его давно нет на свете, привыкнув думать о нем, как о каком-то нетленном духе, превращенном, как ей казалось, в орла или в ястреба, она не могла теперь сразу освоиться с мыслью, что этот большой мужчина, который обнимает и целует ее, и есть ее отец. Она представляла его себе каким-то божеством, непохожим на людей, и потому как бы чуждым ей, и вдруг он — сильный, высокий, красивый мужчина.

А между тем Адирома поднял ее и, держа под мышки, то подносил к себе ее раскрасневшееся личико, то отдалял.

— Девочка! Красавица! Вылитая мать! Моя Хену, моя крошка! — повторял он.

Эта пламенная нежность сообщилась девочке. Хену страстно обхватила шею отца.

— Так ты мой отец? Да, отец? Ах, как я люблю отцов, — лепетала она.

— Отцов? — невольно рассмеялись и Адирома и Пенхи.

— Отца! Тебя люблю! И деда люблю!

— Вот она и права, говоря, что любит «отцов»: она любит тебя, своего отца, и меня, твоего отца, — поспешил поправить свою внучку Пенхи.

Старая, сморщенная Атор стояла в дверях, и слезы умиления текли по ее смуглым щекам. Из-за нее выглядывали другие рабыни: их всех трогала эта нежная семейная сцена — трогала до слез. Каждая из них, может быть, думала, что, если б и ей удалось когда-либо воротиться на далекую родину, куда-нибудь в горную Ливию, или в милую приморскую Финикию, или в знойную Нубию, то, быть может, и их встретили бы родные с такими радостными слезами... Но где уж бедным рабыням думать о возврате! Они все здесь, в неволе, в стовратных Фивах, сложат свои кости и рабынями перейдут в подземное царство.

Только дворовая собака Шази была довольна и счастлива за всех: она раньше всех, раньше даже старой Атор узнала бывшего своего господина, который столько лет пропадал где-то. Она узнала его по глазам. Вот почему теперь она суетилась и бегала от одного к другому.

— Но, дитя, дай же нам поговорить, — сказал Пенхи внучке, которая теперь поместилась на коленях у отца и не позволяла ему шевельнуться.

— Слушай: сам бог Апис глядел мне в глаза, — болтала она.

— Ой ли? И ты не испугалась? — улыбнулся Адирома.

— Сначала испугалась, а потом нет.

— Да постой же, сиди смирно, дай отцу слово сказать, — говорил Пенхи, стараясь унять расходившуюся внучку. — Но расскажи, что с тобой было, как ты спасся от смерти, где находился все эти почти десять лет? — спрашивал он сына.

— Боги были милостивы ко мне, — отвечал Адирома, лаская голову девочки.

Он рассказал все, что нам уже известно, а потом прибавил:

— В Мемфисе, по воле богов, я встретился с почтенным Имери, жрецом бога Хормаху, а также с почтенными Пилокой и Инини, с которыми и прибыл сюда на корабле «Восход в Мемфисе», и они познакомили меня со всем, — на слове «всем» он сделал ударение, — что происходило в мое отсутствие в Египте и в Фивах и что совершается теперь... О, великий Аммон-Горус!

Пенхи, ничего не сказав, велел старой Атор и другим рабыням приготовить ужин для дорогого гостя.

— А где теперь Лаодика? — спросила Хену. — Ах, как бы я хотела ее видеть!

— Она теперь, милая дочка, должна быть уже в доме царицы, в женской палате, — отвечал Адирома.

— Бедная Дидона! — продолжала болтать девочка. — Зачем же она сожгла себя?

— С печали по Энею, девочка.

— Вот глупенькая! Я б никогда не сожгла себя.

И дед, и отец рассмеялись. Они видели, что пока Хену не уснула, она не даст поговорить им о деле. Она болтала без умолку; но о том, что считала она секретом, о том, что они с дедом для чего-то лепили из воска фигуры богов, фараона и царевичей, она даже отцу не заикнулась. И Пенхи хорошо знал с этой стороны свою умненькую внучку: то, что велят ей хранить в тайне, она никому не выдаст.

— А кто лучше — Дидона или Лаодика? — спросила она, соображая что-то.

— Лаодика лучше, — отвечал Адирома, — Лаодику я знал такою же маленькою, как ты.

— А какие у нее волосы? Черные, курчавые?

— Нет, милая дочка, у Лаодики волосы золотистые.

— Как золото? Вот прелесть! А у Дидоны?

— У Дидоны черные, как у тебя.

— Пхе! Я не люблю черные.

И опять она рассмешила и деда, и отца. Последний начал гладить и целовать ее.

— А вот я так люблю черные, такие, как у тебя, — говорил Адирома, перебирая курчавые пряди своей девочки.

— А глаза какие у Лаодики? — спрашивала Хену.

— Такие же хорошенькие, как у тебя.

— А знаешь, когда я упала на колени перед Аписом и он поглядел мне в глаза, так все сказали, что я священная девочка.

— Да ты и так священная, — улыбнулся Адирома.

— Отчего священная?

— Оттого, что ты невинная.

— А Лаодика тоже священная?

— Да, и Лаодика священная.

— А Дидона?

Адирома рассмеялся.

— Ну, едва ли она священная.

— Да перестань, дитя, болтать глупости, — заметил Пенхи, — ты сегодня совсем с ума сошла, должно быть, от радости.

— А разве от радости с ума сходят? Вот ты, значит, не рад моему отцу, ты совсем не сошел с ума.

Пенхи только рукой махнул, а Адирома еще нежнее стал ласкать болтунью.

— Вот я так тоже схожу с ума, — сказал он, — из Трои да в Фивы!

XIII. ЛАОДИКА В СЕМЬЕ РАМЗЕСА

Рамзес III Рампсинит был уже далеко не молод, когда вступил на престол своего отца, Сетнахта Миамуна II, которому, еще при жизни последнего, он помогал управлять Египтом.

Как выше было замечено, Рамзес III имел уже восемнадцать сыновей и четырнадцать дочерей. Конечно, это были дети не одной царицы Тии, его законной жены, но многие прижиты им от других женщин его гарема, называвшегося просто «женским домом фараона». Хотя все эти дети считались принцами и принцессами крови и хотя все они содержались одинаково, как дети фараона, однако, в силу господствовавшего в Египте «утробного права», не все были равны перед законом и перед страною.

«Утробное право» состояло в том, что первая, законная жена фараона пользовалась особым значением и ей воздавались почести, отличные от других: она являлась преимущественною представительницею законного престолонаследия. Обыкновенно женатый на принцессе-наследнице фараон возводил на престол для совместного с собою царствования малолетнего сына своего, как бы упрочивая и узаконяя его именем, соединенным со своим именем, все свои действия и распоряжения перед народом и страною. При назначении фараонами удельных князей и наместников обыкновенно наследником удела считался внук царя, рожденный от дочери его, но не сын его и не сын сына его. Таким образом, закон лежал на стороне «женской утробы». Геродот говорит даже, что в обычае египтян было возлагать попечение о престарелых и дряхлых родителях на дочерей, а не на сыновей.

В утро, следовавшее за прибытием Адиромы в Фивы, вся многочисленная семья Рамзеса находилась в саду, примыкавшем к женскому дому и обнесенном высокою каменною ог-

радою. Стройные пальмы, сикоморы и громадные бананы давали достаточную тень саду, хотя солнце подобралось уже довольно высоко. Младшие члены семьи фараона, мальчики с локонами юности на щеках и девочки с золотыми обручами на головах в виде змея-уреуса, затеяли шумную игру, соответствовавшую ходячим интересам своего века: они изображали две воюющие стороны, из которых одна сторона представляла собою египтян, а другая — презренных обитателей страны Либу. Некоторые девочки-принцессы плакали, когда на их долю выпало быть презренными либу, и жаловались своим черномазым статс-дамам, что мальчики-принцы хотят отрезывать у них руки по праву победителей.

Сторону обиженных сестренок приняла хорошенькая Снат, или Нитокрис. Она сказала, что превращать египтян и египтянок в презренных либу может только богиня Изида.

— Где же, милая Снат, мы возьмем Изиду? — спросила самая маленькая принцесса, Гатор, названная так по имени богини красоты и любви.

— Я буду Изидой, — отвечала Нитокрис. — Принесите мне цветок лотоса и несколько колосьев пшеницы.

Маленькие принцессы бросились исполнять приказание старшей сестры и скоро явились с цветком лотоса и колосьями.

Шалунья Нитокрис приняла на себя важный вид богини.

— Становитесь на колени перед божеством! — сказала она повелительно.

Девочки тотчас же исполнили приказание богини; но некоторые юные принцы заупрямились, боясь превратиться в презренных либу. Однако Нитокрис продолжала свою роль.

— Начинаю с младших, — сказала она. — Гатор! Выбери себе один колос.

Юная принцесса дрожащею рукою вынула один колос из общей связки.

— Теперь отрывай от колоса одно зерно за другим и говори: Египет — либу, Египет — либу, так до последнего зерна. Если последнее зерно будет Египет, то значит ты египтянин; если же последнее зерно будет либу, то и ты будешь презренным либу.

Девочка со страхом начала отрывать зерно за зерном. Руки ее дрожали.

— Египет—либу, Египет—либу, — шептала она.

Все фараонята собрались вокруг и с жадным любопытством следили за процессом отрывания от колоса зерен, повторяя вслух: «Египет—либу, Египет—либу».

— Египет—либу, Египет—либу, Египет...

Гатор вся вспыхнула от неожиданности, от счастья: последним зерном у нее было — Египет.

— Милая Снат! — закричала она радостно. — Я — египтянин!

Она вся светилась восторгом, глазки ее блестели. Это заинтересовало и мальчиков.

— Теперь я! Теперь мне! — приставали они к важной Изиде.

Нитокрис всех отстранила повелительным жестом.

— Теперь тебе, Рамзес-Горус, — сказала она, протягивая руку с колосьями младшему братишке.

Юный принц не без страха вынул колос.

— Египет—либу, Египет—либу, Египет—либу, — шептал он, отрывая зерно за зерном.

Интерес зрителей возрастал все больше и больше.

— Египет—либу, Египет—либу, Египет...

— Либу! Либу! — захлопала в ладоши счастливица Гатор.

— Либу! Либу! — повторили другие девочки. — Ты — презренный либу! Либу!

— Я не хочу! Я не либу! — обиделся юный принц и бросил свой ощипанный колос.

Все юные фараоны пришли в волнение. Начались протесты. Девочки держали сторону Изиды.

— Теперь кому вынимать колос?

— Теперь Миамуну-Аммону.

— Нет, теперь Путифаре — она моложе Миамуна.

— Неправда! И мне восемь лет, и тебе!

— Мне восемь лет было давно — я старше!

— Нет, я старше: я из утробы царицы, а ты из утробы рабыни.

— Неправда! Моя мама тоже была царевна.

Дети слышали от старших об «утробном праве», и теперь препирались о старшинстве не по возрасту, а по праву рождения.

Но в это время в саду показалась сама царица Тиа в сопровождении своего первенца, Пентаура.

— А, мама! — радостно проговорила Нитокрис, сбрасывая с себя всю напускную важность богини. — А с нею и Лаодика!

— Лаодика! Лаодика! — взволновались юные принцессы, а за ними и юные принцы, и все бросились навстречу царице и Лаодике.

Последняя по-прежнему смотрела задумчиво и грустно, хотя в выражении лица замечалось менее тоски и подавленности. Жена Рамзеса, когда Бокакамон представил юную дочь Приама ко двору, приняла ее очень ласково, совершенно с материнской нежностью: грустная судьба молодой девушки и несчастья, постигшие царство ее отца, расположили сердце царицы Египта в пользу бедной сиротки. Самая наружность Лаодики очаровала всех. Красота ее являлась чем-то невиданным под знойным солнцем тропиков, где лица почти так же смуглы, как и лица нубийцев, между тем как юная троянка была беленькая и с таким цветом волос, который казался чем-то необычайным черноволосым египтянам.

На мужчин дома Рамзеса Лаодика произвела еще более сильное впечатление, чем на женскую половину двора фараона. Пентаур, которому нравилась светло-каштановая хеттеянка Изида, теперь был до безумия очарован белолицею и золотистоголовою троянкою. Он готов был не отходить от нее, ловил каждый ее взгляд, жадно любовался ее плавными, грациозными движениями и восхищался нежной мелодией ее голоса. Он уже мечтал, что если сбудется то, что он задумал с матерью, то Лаодика будет сидеть с ним рядом на престоле Аммона-Горуса, украшенная двойным венцом и змеем-уреусом.

Красавица и любимица матери, юная Снат-Нитокрис, точно также смотрела на задумчивую и грустную троянку, как на божество. Ничего подобного, ничего прелестнее Лаодики она не видала в жизни. Вся страсть пробудившейся в ней женщины обратилась на Лаодику: она полюбила ее первою любовью пламенной дочери знойного африканского юга.

Она теперь первая подбежала к ней.

— Лаодика! Милая Лаодика! Дай мне поцеловать тебя! — говорила она, ласкаясь к троянке. — Я тебя сегодня не целовала... Я всю ночь видела тебя во сне: мы с тобой рвали на берегу Нила цветы лотоса, и сама богиня Гатор, в виде белой голубки, принесла тебе лучший цветок. Ах, я забыла, как у вас называется богиня Гатор, — болтала Нитокрис, не давая никому сказать слова.

— У нас она называется Афродита, милая Снат, — отвечала Лаодика.

— А Горус?

— Горус — Феб, солнце.

Юные принцы и принцессы окружили Лаодику, и все старались наперебой заговорить с ней, приласкать ее. Она стала

какой-то игрушкой в семье фараона. Ее хватали за руки, с любовью гладили ее шелковистые волосы, заглядывали в глаза.

Более взрослые юноши из сыновей Рамзеса выражали свой восторг сдержаннее, но все же видимо любовались ею. Особенно пленила она сердце молодого Меритума, который уже считался великим жрецом солнца в Гелиополисе, хотя этому юному жрецу предстояло еще много учиться жреческой мудрости. Он уже ревновал Лаодику к старшему своему брату, к принцу Пентауру, любимцу матери-царицы, и в сердце его уже закрадывалось недоброе чувство по отношению к сопернику, тем более что он не мог тягаться со старшим братом, который был вдвое старше его: на Меритума все еще смотрели как на мальчика, да и локон юности, висевший у него на смуглой щеке, обнаруживал его предательский возраст.

— Когда ж тебя повезут, наконец, в Уакит[1] учиться быть жрецом? — высокомерно спросил его Пентаур, заметивший бросаемые Меритумом на Лаодику страстные взгляды.

Меритум вспыхнул — он почувствовал оскорбление.

— Когда? — вызывающе посмотрел он на брата. — А тогда, когда ты все наши житницы наполнишь дуррой и полбой.

Это был оскорбительный намек на то, что Рамзес не взял с собою Пентаура в поход против неприятеля, а приказал ему наблюдать за поступлением податей в казну фараона.

— Этого тебе пришлось бы долго ждать, — сердито сказал Пентаур, — до того времени твой локон юности успеет поседеть.

Это значило, что «ты еще молокосос — нечего тебе заглядываться на троянку».

Женское чутье подсказало Лаодике, из-за чего горячатся братья, и она подарила Меритума ласковым взглядом, от которого юноша вспыхнул еще больше, но вспыхнул уже краской счастья. Лаодике стало жаль его, между тем как грубость Пентаура возмущала ее кроткое сердце.

И Нитокрис с своей стороны оказалась союзницей младшего брата, Меритума; юная египтянка тоже уловила женским чутьем причину ссоры между братьями и приняла сторону младшего, потому что и она ревновала Лаодику к грубому гиппопотаму, как она в душе называла иногда Пентаура.

Зато мать-царица осталась верна своему любимцу.

---

[1] Гелиополис.

— Вы бы, дети, пошли играть хоть «в крокодила», — сказала она юной ватаге, — и ты, Меритум, иди с ними.

— Я уже вырос из этой игры! — гордо отвечал великий жрец солнца. — Я — жрец бога Горуса!

— Но ведь ты еще не вырос из локона юности, мальчик, — заметила Тиа.

— Ах, мама! Все же он большой, — заступилась за брата своенравная Нитокрис, — ему уж пора охотиться на львов, а не играть «в крокодила».

— Нет, мама, мы будем играть не «в крокодила», а в войну, — залепетала самая младшая дочка Рамзеса, Гатор, — мы будем играть в египтян и в презренных либу. Знаешь, мама, меня богиня Изида уже сделала мальчиком-египтянином.

Эта удивительная новость всех рассмешила, и даже Лаодика не могла удержаться от смеха: так наивно все это было сказано.

В это время одна из рабынь доложила царице, что ее желает видеть господин женского дома, Бокакамон, и Тиа воротилась во дворец.

XIV. «Я ВОССТАНОВЛЮ ТРОЯНСКОЕ ЦАРСТВО»

— Верь мне, прекрасная дочь Приама, что я возвращу тебе потерянную Трою, я сам с тобою буду на твоей родине, восстановлю троянское царство и отомщу всем врагам твоего отца, — говорил Пентаур, продолжая, по-видимому, прерванный с приходом в сад разговор.

Сын Рамзеса, увлеченный красотою Лаодики, задумал обширный план — план покорения Финикии, Фригии, Киликии и Пафлагонии и всех стран, лежавших на восточном берегу «великих зеленых вод» (Средиземного моря) вплоть до Трои и Дарданоса — царства Анхиза и сына его Энея.

В этом молодом льве Африки давно пробудились инстинкты его великого прадеда, Рамзеса II Сезостриса, и поддерживаемый любовью честолюбивой матери, а с другой стороны, возбуждаемый явною нелюбовью к нему отца, он обдумывал в душе рискованное дело, сущность которого он не мог, конечно, доверить юной Лаодике, а потому говорил ей общими местами.

— Ты видела в Рамессеуме, в доме моего прадеда Рамзеса II, изображения четырнадцати царей, которых по-

бедил он? — спросил Пентаур, когда они удалились вглубь сада.

— Да, мне показывал их Бокакамон, — отвечала Лаодика.

— Только я не буду воевать ни землю Куш, ни землю Либу; я пойду на север; часть моих войск будет следовать берегом «великих зеленых вод», чтобы покорить Финикию, Идумею, Амморею и Фригию до твоей родины, а другая часть воинов пойдет морем прямо до Трои и Дарданоса, чтоб оттуда идти на врагов твоего отца, — с воодушевлением продолжал Пентаур. — Я уже говорил сегодня утром с великим жрецом богини Сохет, который знает Трою и все тамошние страны.

Лаодика была поражена последними словами царевича.

— Как! Неужели здесь есть кто-нибудь, кто бывал в Трое? — невольно вырвалось у нее.

— Есть, милая Лаодика: это — Ири, верховный жрец богини Сохет. Он был в Трое.

— Давно? — спросила Лаодика, вся взволнованная.

— Больше десяти лет тому назад.

— Значит, до осады данаями нашего милого города?

— Вероятно, до осады: он был у твоего отца послом от моего деда, фараона Сетнахта Миамуна.

— О, боги! Как бы я хотела видеть этого человека.

— Ты его увидишь, милая девушка. Он помнит твоего отца, твоих братьев и сестер и, вероятно, видел тебя маленькую на руках у твоей доброй Херсе.

За это одно известие она готова была полюбить Пентаура, как он ни был для нее несимпатичен по многим причинам, а главное, потому что он добивался ее взаимности, когда все помыслы ее принадлежали одному, которого она, казалось, навеки потеряла.

И неужели этот Пентаур исполнит свое обещание? Неужели она опять увидит родные места — берег родного моря, знакомые горы, рощи и на горизонте — острова, которые она видела с детства? Кого найдет она там в живых? Не найдет только Энея! Он далеко-далеко, где-то в земле италов.

— Да, я отмщу врагам твоего отца — твоим врагам! — увлекаясь собственною мыслью, говорил сын Рамзеса III. — Я в цепях приведу в Фивы всех царьков, о которых ты говорила моей матери-царице — Агамемнона, Ахилла, Одиссея, Нестора, Аяксов, Неоптолема, Ореста. Я помещу изображения их рядом с изображениями царей земли Куш, Либу, Цита и других, которых ты видела в Ремессеуме.

Лаодика невольно поддалась честолюбивым мечтаниям своего собеседника. Вера его в свои силы вливала и в ее юную душу уверенность.

— А ты знаешь, благородный царевич, где земля италов? — робко спросила она.

— А на что тебе, милая Лаодика? — в свою очередь спросил Пентаур.

Лаодика несколько замялась: не могла же она выдать ему своих чувств, которые глубоко хоронила в своем сердце.

— Туда, в землю италов, после разорения Трои отплыл лучший друг моего отца, Анхиз, престарелый царь Дарданоса, — отвечала покрасневшая девушка, умолчавшая об Энее.

— Этой земли, милая Лаодика, я не знаю, — сказал Пентаур, — но я спрошу у Ири — он исполнен всевозможных знаний.

Лаодика немного помолчала. Ее, видимо, подмывало еще что-то спросить. Наконец она решилась.

— А в городе Карфаго ты бывал, царевич? — спросила она.

— Это где царствует женщина?

— Да, Дидона.

— Знаю. Я там был в третьем году с победоносными воинами моего покойного деда, фараона Сетнахта Миамуна, — жизнь, здоровье и счастье да будут ему вечным уделом в подземном мире!

— И видел царицу Дидону?

— Видел, прекрасная дочь Приама: царица Дидона повергласъ в прах, принося дань моему деду и прося пощадить ее жизнь, так как она была союзницей презренных либу.

— Она, говорят, прекрасна, как Афродита-Гатор, — с дрожью в голосе сказала Лаодика.

— Кто так говорит, тот не имеет глаз, — сказал Пентаур.

Этот лаконический ответ был по душе Лаодике; но она умолчала о том, что слышала от Адиромы о том, что из любви к Энею Дидона сожгла себя на костре.

— Отец, вероятно, пройдет с войском и до Карфаго, чтобы получить вновь дань от Дидоны, — прибавил Пентаур.

Как ни заманчивы, однако, были обещания Пентаура — восстановить царство Илиона, отмстить всем врагам Трои и дать Лаодике возможность воротиться на родину, как ни самоуверенны были речи об этом наследника египетского пре-

стола, только Лаодике казалось все это едва ли возможным. Для нее непонятно было многое из того, что вокруг нее происходило. Чуялось присутствие какой-то тайны во дворце фараона, собственно на женской половине двора Рамзеса, и во главе этой тайны, по-видимому, стояли сама царица Тиа и ее любимец Пентаур. Что-то похоже было на заговор, и притом против самого фараона, все еще находившегося в отсутствии. Это сквозило из намеков, из недосказанных речей. Часто упоминались имена Бокакамона, Пенхи, какой-то девочки Хену, верховного жреца богини Сохет и многих других: о них говорилось, как о «недовольных» кем-то, как о «своих». Упоминались еще какие-то «восковые изображения». Что все это означало?

Лаодика верила после всего того, что она видела в Египте, что этот всемогущий Египет со своими фараонами может восстановить Трою, что он в силах уничтожить всех врагов Илиона, что силы этих Агамемнонов, Ахиллов, Аяксов ничтожны перед силами одного фараона; но захочет ли этого сам Рамзес, которого Лаодика представляла себе каким-то страшным крокодилом?

Лаодика, слушая своего собеседника, не решалась, не смела задавать ему прямых вопросов. Она могла остановиться на единственной мысли: если боги были так милостивы к ней, к ничтожной единице священного Илиона, то отчего милость их не может снова излиться на всю бедную Трою? И отчего орудием этой милости не избрать всемогущих фараонов?

— Но захочет ли его святейшество, великий Рамзес, помочь бедной Трое? — проговорила как бы про себя Лаодика.

Пентаур сделал энергичное движение.

— Не захочет! Боги повелят — и будет исполнено, — сказал он загадочно.

В это время из-за ствола ближайшей пальмы выступила молодая, красивая женщина. Глаза ее с каким-то особенным блеском остановились на Лаодике.

— Ты что, Атала? — недовольным голосом спросил Пентаур.

— Я пришла сказать господину, что царский кобчик, бросив одну добычу, устремился за другой: я боюсь, что стрела охотника поразит жадного кобчика, — таинственно отвечала молодая женщина.

— Скорее кобчик поразит охотника, — гордо сказал Пентаур.

Молодая женщина что-то пробормотала и удалилась. Лаодике показалось, что она сказала какую-то угрозу, да и кра-

сивые глаза ее смотрели недружелюбно. Сердце или инстинкт подсказали юной троянке, что она должна остерегаться этой красивой египтянки.

— Кто эта женщина? — невольно спросила Лаодика.

— Это одна из девушек дома царицы, — неохотно отвечал Пентаур.

— А о каком кобчике и каком охотнике говорила она?

— Смысл этих слов дочь Приама узнает после, — был неопределенный ответ.

Из него Лаодика поняла только, что в женском доме и при дворе Рамзеса затевается что-то неладное.

Атала была дочь начальника гарнизона в Фивах, Таинахтты, и состояла при женском доме Рамзеса в качестве почетной девицы — нечто вроде современной фрейлины. Она отличалась от прочих почетных девиц женского дома красотою и всеми, если можно так сказать, африканскими качествами — огненным темпераментом, подвижностью молодого тигренка и резвостью. Эти качества очаровали сердце наследника престола, и Пентаур перед всеми оказывал ей предпочтение, которое и перешло скоро в бурную страсть. Ему отвечали тем же.

Но с тех пор, как при дворе Тии появилась Лаодика, Пентаур, видимо, охладел к своей страсти, и Атала уже не раз втайне изливала слезы перед изображением богини Гатор в виде иносказательной жалобы, что «сердце ее осиротело, а постель ее не согревается солнцем ее души». На беду Пентаура, Атала была посвящена в тайну придворного заговора, потому что это был преимущественно «женский заговор».

Впрочем, Пентаур вполне надеялся на свои силы, а главное — на союз некоторых влиятельных жрецов, которые всегда были всесильны в Египте, до того всесильны, что все фараоны заискивали перед ними, осыпая их богатствами под видом жертвоприношений божествам. На стороне Тии и Пентаура находились такие жрецы, как Аммон-Мерибаст, верховный жрец Аммона-Горуса, Ири, верховный жрец богини Сохет, и Имери, верховный жрец светоносного Хормаху.

В это время стремительно, как вихрь, подбежала к Лаодике хорошенькая Нитокрис.

— Ах, милая Лаодика! — заторопилась она. — Ветер твоего севера шепнул мне в ухо хорошую новость для тебя.

— Какую, милая Снат? — удивилась Лаодика.

— А что ты мне дашь, если я тебе скажу?

— У меня, милая, ничего нет, чтобы дать тебе, — у меня есть только сердце, которое я уже отдала тебе с первого дня, как узнала тебя.

— Нет, Лаодика: еще есть что-то у тебя.

— Что же? Я не знаю.

— А твои губы — дай мне их

— Возьми.

Плутовка не заставила себя просить: она жарко прильнула своими губами к губам Лаодики.

— Ах, как сладко! Теперь скажу: вчера в Фивы приехал кто-то, кто носил тебя на руках.

Эти слова удивили Лаодику и встревожили: в несчастии люди всегда ожидают скорее дурных вестей, чем хороших.

— Кто же, дорогая Снат? Меня Херсе носила на руках.

— Нет, это мужчина. — И плутовка коварно посмотрела на своего брата: она хотела мстить ему хоть чем-нибудь за то, что он отнимает у нее Лаодику.

— Кто же? — снова недоумевала последняя.

— Сын старого Пенхи, Адирома из Трои! — почти крикнула шалунья.

— Да? Я очень рада... Боги наградили его свободой за то, что он добрый, — серьезно сказала Лаодика, у которой в душе при одном имени Адиромы шевельнулось и встало все прошлое, далекое, невозвратное, встало как живое.

Но тут же она вспомнила своего господина, Абану, сына Аамеса, у которого ее похитил Адирома с помощью того старого, доброго жреца, которого и имени она не знала.

Неужели Абана не разыскивает ее? А если узнает, где она?

XV. ОТВЕРГНУТАЯ НИЛОМ ЖЕРТВА

Между тем в Фивах распространился слух, что фараон возвращается с войском из похода. Возвращение это было неожиданно. Говорили, что в походе на север, после поражения войск Цамара и Цаутмара, опасно заболела старшая и любимейшая дочь Рамзеса, прекрасная Нофрура.

Это было действительно так. В один из переходов по знойной степи Ливии Нофрура почувствовала сильные недомогания. К ночи она лежала уже в жару. Тотчас же призваны были находившиеся при войске врачи и искуснейшие «хирсешта» — учители таинственных наук, которые и приступили к лечению юной царевны. По совету их, один из находивших-

ся при войске жрецов Изиды обвязал пылавшую голову больной намоченной в священной воде лентой от покрова Изиды, произнося заклинание: «Свяжу я злой недуг семью узлами бога Шу, сына великого Ра; я свяжу его силу, его дела, его злобу страшными узлами мрачною ночью, пока не глянет на землю светлый лик великого Горуса».

Больная металась на постели и умоляла, чтоб ее бросили в Нил: видно было, что внутренний жар пожирал ее, и оттого ей казалось, что прохладные воды Нила исцелили бы ее.

Отец и сестры не отходили от больной. Рамзес, который без содрогания видел вокруг себя тысячи смертей, которому доставляло несказанное наслаждение смотреть на горы отрезанных у неприятелей рук и членов, возвышавшиеся у его походной палатки, этот железный человек при виде страданий своей любимицы плакал, как ребенок.

— Это презренные либу наслали на нее огневой недуг, — шептал он, чувствуя свое бессилие.

К утру жар у больной несколько уменьшился, и Рамзес решился немедленно возвратиться в Фивы под покровительство своих богов и их служителей.

Больную царевну уложили в покойную колесницу, запряженную восемью мулами. Нофрура лежала в колеснице под богатою тентою из белого финикийского виссона, затканного золотом, а четыре рабыни, находившиеся с нею в колеснице, беспрестанно махали над больною опахалами из страусовых перьев. Сам Рамзес, его сыновья, дочери и Изида-хеттеянка следовали за колесницею больной в своих походных колесницах. Не слышно было ни военной музыки, ни воинственных возгласов, потому что войска фараона с своими военачальниками и тысячами пленных двигались поодаль от царского кортежа.

— Сестра недаром просила бросить ее в Нил, — говорила вторая дочь фараона, стройная и большеглазая Ташера, сидя в своей колеснице рядом с Изидой.

— А что, милая Ида-Ташера? — спросила последняя.

— Это ей, конечно, боги внушили, — заметила третья дочь Рамзеса, Аида.

— Что же они ей внушили? — недоумевала хеттеянка.

— Боги внушили ей, что Нил требует жертвы, чтоб исцелить больную, — отвечала Аида.

— Какой жертвы? — снова спросила Изида.

— Человеческой. А разве ваша священная река не требует жертв? У вас какая река священная, в вашей стране? — спросила Ташера.

— У нас священная река Иордан, — отвечала хеттеянка. — Когда наши предки с пророком Моисеем и Иисусом Навином возвращались из Египта, то Иордан сам расступился перед израильским народом. Но наш Иордан меньше Нила. Только я не знаю, у нас, кажется, не приносят жертв Иордану, а только одному Иегове, и то не человеческие жертвы, а только овнов и тельцов.

— А у нас и Нилу приносят, — сказала Аида.

— Каким же образом? — спросила хеттеянка.

— Жертву Нилу приносят по указанию священного бога Аписа: на какую невинную девочку он укажет, ту отдают Нилу.

— Как же? Ее топят в Ниле?

— Нет, бросают ему в объятия.

На четвертый день наконец показались и Фивы, и Нил.

Больной не было легче. Печальный кортеж тихо приближался к роскошной столице фараонов. Гонцы Рамзеса давно принесли печальную весть о болезни царевны и о возвращении фараона. Население Фив было извещено об этом через мацаев, которые строго наказывали жителям столицы соблюдать тишину при вступлении в город печальной процессии, под опасением жестокой смертной казни

Возвращение Рамзеса с дочерью, пораженною тяжким недугом, встречено было всеми жрецами Фив. Они вышли за северные ворота с изображениями богов, которых несли в золотых ладьях. К небу поднимались целые облака курений.

Вышла и Тиа навстречу больной дочери. По-видимому, Нофрура не узнала матери. В горячечном бреду она бормотала невнятные слова... «Все руки, руки... кровь засохла...»

В тот же день во дворец фараона созваны были главные верховные жрецы всех богов Египта и главные «хир-сешта», мудрецы египетской земли: «учители таинственных наук», «учители тайн неба», «учители тайн земли», «учители тайн бездны», «тайн глубины» и «учители таинственных слов». На общем совете положено было принести жертвы для умилостивления богов и в то же время принести «живую жертву» Нилу.

На следующее утро и совершился самый обряд выбора этой «живой жертвы». Процесс выбора совершился следующим образом.

Едва первые лучи солнца, поднявшегося за холмами восточного берега Нила, позолотили вершины Ливийского хребта, от храма Аммона-Горуса двинулась процессия жрецов.

Служители этого бога несли его изображение — Горус с головою кобчика — на золотой ладье. У ног божества помещались золотые изображения царей Нила-крокодила и гиппопотама. Процессия под дикое завывание медных труб двигалась к священной реке.

В тот момент, когда шествие достигло колоссов Аменхотепа (колоссы Мемнона), солнечные лучи озарили головы этих гигантов, которые под влиянием этих лучей издали протяжный, как бы жалобный стон.

Печальное завывание труб всполошило население города. Все спешили взглянуть на процессию, хотя никто не знал, что она означала и по какому поводу предпринята. Догадывались только, что процессия имеет что-то общее с болезнью старшей дочери фараона, о чем слух со вчерашнего дня наполнял все Фивы.

Впереди процессии шел верховный жрец Аммон-Мерибаст, куря перед божеством благовония священной земли Пунт и зорко поглядывая на прибывавшую толпу.

— Первый дар божества, — вдруг сказал он, указывая на смуглую хорошенькую девочку лет одиннадцати-двенадцати, которая с свойственным ее возрасту любопытством смотрела на процессию своими блестящими глазками, держась за руку взрослой девушки, вероятно, своей сестры, несколько выступившей из толпы.

Вслед затем выступавшие рядом с Аммоном-Мерибастом два жреца подошли к этой девочке.

— Дитя, — сказал один из них, взяв ее за руку и ласково гладя по головке, — иди, тебя призывает бог!

Девочка смутилась и не знала, что ей делать.

— Иди, дитя, не бойся, — повторил жрец.

— Иди же, Ина, — подсказала взрослая девушка, — так надо.

Девочка повиновалась и последовала за жрецами. Ее подвели к Аммону-Мерибасту. Верховный жрец взял один из цветков лотоса, находившихся в золотой ладье Горуса, и подал его девочке.

— Светоносный Горус благословляет тебя, дитя, — сказал он, — иди со мною.

Процессия двинулась дальше. Девочка, и испуганная, и обрадованная, пошла рядом с верховным жрецом, поглядывая то на толпу, то на цветок лотоса.

— Второй дар божества, — снова произнес Аммон-Мерибаст, указывая на толпу, где виднелась другая девочка одного возраста с первою.

Жрецы подошли и к этой. Девочка хотела было убежать, но ее кто-то придержал сзади.

— Не бойся, дурочка, тебе ничего не будет. Видишь, вон той девочке дали священный цветок, и тебе дадут.

— Да, да, милое дитя, — подтвердил жрец.

И эта девочка позволила себя увести. И ей верховный жрец подал цветок лотоса. В толпе зрителей чаще стали показываться такие же девочки: их, видимо, привлекало любопытство, а также и зависть — всем хотелось играть роль в торжественной процессии, получить цветок лотоса и обращать на себя всеобщее внимание. Этот возраст едва ли не тщеславнее взрослых, по крайней мере, наивнее и искреннее и, во всяком случае, правдивее.

— Третий дар божества, — продолжал между тем провозглашать верховный жрец.

Взяли и третью девочку, которая с детской гордостью посматривала на толпу.

Трубы между тем продолжали завывать: зловещая мелодия их покрывала смешанный гул от сдержанного говора зрителей.

— Четвертый дар божества.

Последние слова относились к нашей знакомой Хену, дочери Адиромы и внучке Пенхи, которая с жадным любопытством протискалась сквозь толпу, сверкая своими оживленными глазками и всем своим прелестным личиком.

— Пятый дар божества.

Хену, торжествующая и гордая, тоже присоединилась к процессии, держа в руке цветок лотоса.

— Шестой дар божества... Седьмой и последний дар божества.

Но в этот момент в толпе произошло смятение. Какая-то женщина протискивалась сквозь сплошные массы зрителей, с ужасом повторяя: «О, моя Аи, моя маленькая Аи! О, боги!»

Ей удалось протискаться сквозь толпу, которая с удивлением расступалась перед нею. С отчаянием на лице она бросилась было к девочкам, выступавшим в процессии с цветками лотоса, но, по знаку верховного жреца, мацаи удержали ее. Это была еще молодая египтянка. Она силилась вырваться из рук державших ее мацаев.

— О, отдайте мне мою девочку! Отдайте! О, боги! О, всемогущий Горус! — вопила несчастная.

Одна из девочек с лотосом рванулась было к ней, но жрецы удержали ее.

XVI. ИСПУГАННЫЙ БОГ АПИС

Человеческие жертвоприношения Нилу совершались очень редко, да и то в исключительных только, в необыкновенных случаях, когда Египет посещало какое-либо страшное бедствие, как, например, всеобщий голод, когда, вследствие неизвестных причин, скрывающихся в каких-либо неведомых атмосферических явлениях где-то там, далеко на юге, под экватором, у истоков Нила, эта священная многоводная река не совершала своего обычного периодического разлития и страну постигал неурожай. Тогда только Нилу, этому живому и все оплодотворяющему богу, приносились человеческие жертвы для умилостивления всемогущего божества. Но это случалось, может быть, раз в одно или два столетия, и потому последующие поколения египтян забывали об этом, и редко кто знал о существовании страшного и внушительного по своей обстановке обряда приношения «живой жертвы» Нилу. Знали об этом, конечно, только жрецы.

Теперь настал для Египта такой исключительный случай. Это не был всеобщий голод — Нил в этом году разливался с обычным многоводием. Напоенная им земля дала стране фараонов обильную жатву. Великое бедствие постигло не Египет, но лично самого фараона: его любимая дочь Нофрура лежала на смертном одре. Для спасения ее решились прибегнуть к последнему, страшному испытанию — принести Нилу «живую жертву».

Для этого жрецы, не оповещая заблаговременно население Фив о принятом решении, чтобы не навести страх на египтянок-матерей, неожиданно устроили торжественную процессию шествия Горуса к Нилу. Во время шествия жрецам предстояло взять семь невинных девочек, каких первыми встретит Горус на своем пути к священной реке: это — указание самого божества, его дары. Из этих семи жертв жребий должен был пасть на одну, избранную самим Аписом.

Итак, семь чистых девственниц взяты и с цветками лотоса в руках сопровождают шествие божества. Но в толпе зрителей никто не знает, что ожидает их. Узнала случайно одна египтянка: ее маленькая дочь Аи, тайно прижитая от одного из жрецов бога Аписа, случайно, по недосмотру матери выбежала взглянуть на процессию Горуса и была взята в число семи жертв. Мать знала, чем должна была кончиться процессия, и потому, увидав, что

ее девочка убежала из дому, бросилась за нею; но было уже поздно. Маленькая Аи шла в процессии с цветком лотоса в руке.

— Отдайте мне мою девочку! — кричала несчастная мать; но мацаи, предупрежденные жрецами, схватили ее и, зажав рот, увели подальше от процессии, где и заперли в доме заключения.

Скоро процессия приблизилась к берегу Нила. Там ее ожидали другие толпы народа, привлеченные к священной реке таинственными приготовлениями. С раннего утра из храма Аписа с помощью нескольких десятков рабов этого храма привезена была и спущена на воду большая лодка с позолоченным возвышением на носовой части, украшенная разноцветными яркими флагами и лентами, убранная пальмовыми ветками и цветами лотоса. Спуском на воду этой священной лодки распоряжались жрецы Аписа; у некоторых из них в руках были небольшие снопы свежей, зеленой, только что выколосившейся пшеницы.

Жрецы Аписа встретили процессию Горуса пением священного гимна. Процессия остановилась. Тогда верховный жрец Аммон-Мерибаст раздал каждой из семи девочек по снопу пшеницы, бывшей в руках жрецов Аписа, и поставил их в ряд лицом к западу, так что Нил находился у них позади.

В это время невдалеке раздалась другая музыка, еще более, казалось, дикая и раздирательная. Толпы зрителей колыхнулись.

— Апис! Апис! — послышались испуганные и радостные возгласы. — Сам бог идет!

Это двигалась к Нилу от храма Аписа другая процессия. Между рядами жрецов, которые махали в воздухе опахалами, шел Апис. Ему предшествовал главный жрец, возжигавший перед четвероногим божеством курения из благовоний священной земли Пунт. Бык шел, по-видимому, беспокойно: расширенными ноздрями он усиленно вдыхал в себя воздух, который теперь казался особенно знойным и душным, как перед грозой. Поравнявшись с изображением Горуса, который в своей золотой ладье покоился на плечах жрецов, Апис остановился, как бы ища чего-то. Глаза его упали на пучки зеленой пшеницы, и бык, радостно замычав, двинулся прямо к лакомому корму: он был голоден, потому что его мучители, жрецы, со вчерашнего дня морили свое кроткое и глупое божество голодом.

Апис направился прямо к стоявшим рядом семи девочкам с пучками сочной пшеницы. Девочки невольно дрогнули и попятились.

— Не бойтесь, священные дети, — громко сказал верховный жрец, — бог к вам милостив.

Случилось так, что храбрая Хену, когда девочки со страху попятились, очутилась несколько впереди прочих. Апис шел прямо на нее...

— Избранница, счастливая избранница! — послышался говор среди жрецов.

Хену стояла неподвижно, хотя, видимо, руки ее дрожали, а на миловидном личике отразился испуг, хотя она и старалась его скрыть.

Подойдя к ней, Апис с видимым наслаждением стал жевать сочные колосья.

— Бог сподобил избранницу! — громко возгласил верховный жрец. — На нее пал выбор божества. Слава всемогущему Апису.

— Слава! Слава! Слава! — повторили хором жрецы.

— Слава! Слава! — подхватила бессмысленная толпа.

Апис между тем ел жадно, и скоро от небольшого пучка, бывшего в руках Хену, не осталось ничего.

— Готовьте жертву! — обратился Аммон-Мерибаст к другим жрецам.

Некоторые из них подошли к Хену, держа в руках разноцветные ленты и золотые обручи, а священное животное, покончив с одним пучком пшеницы, обратилось к другим девочкам и продолжало утолять свой голод. Девочки сделались смелее и сами совали в морду богу лакомое кушание.

Хену между тем украсили лентами и золотыми обручами, а Аммон-Мерибаст вылил на ее курчавую головку несколько капель благовония. Девочка, казалось, светилась удовольствием и гордостью. Толпа напряженно следила за всем, что происходило перед ее глазами. Слышались возгласы, вопросы, наивные замечания.

Аммон-Мерибаст подал знак, и воздух огласился дикими звуками труб и соединенными хорами жрецов. Пели торжественный гимн Горусу.

Между тем с востока, из-за Нила, приближалась гроза. Синее, как лазурь, небо до половины затянулось черною, зловещею тучей. Послышались глухие, далекие раскаты грома, и Нил принял зловещий вид.

Верховный жрец взял Хену за руку и повел к лодке, стоявшей у берега с гребцами, которые держали весла наготове.

Девочка не понимала, что с нею делали, но уже, видимо, начинала чего-то бояться. Трубная музыка и хор жрецов завывали все громче и неистовее.

Верховный жрец, вступив на лодку, провел свою невинную жертву на позолоченное возвышение в носовой части и поставил ее у самого края помоста.

Лодка отчалила от берега и, отплывя несколько сажен к средине реки, повернулась носом к зрителям, любопытство которых, смешанное с невольным страхом, достигло крайнего напряжения.

Зрелище было странное, пугающее воображение. Многие начали догадываться, в чем дело.

А Хену, вся убранная цветными лентами и золотыми обручами, и высокий жрец в белом одеянии, стоявший с нею рядом и державший ее за руку, казались издали каким-то видением, чем-то фантастическим. Все напряженно и испуганно глядели туда, на это видение.

Жрец поднял к небу руки — и вдруг в воздухе мелькнуло что-то...

В толпе послышался крик ужаса... На золоченом возвышении священной лодки высилась одна только фигура жреца... На поверхности Нила мелькнули яркие ленты — и исчезли под водой...

— Он столкнул ее в Нил!.. Он утопил ее!..

Но в этот же момент что-то сверкнуло в воздухе. Раздался страшный, какой-то металлический треск, от которого земля и Нил дрогнули. Это была молния, упавшая с неба на Фивы: привлеченная металлическим изображением Горуса и его ладьей, она, казалось, на секунду остановилась на них — и в одно мгновение золотой бог расплавился от небесного огня... И ладья Горуса, и поддерживавшие ее жрецы упали на землю...

Все замерло в ужасе...

Апис, оглушенный ударом грома, обратился в бегство, подняв кверху свой священный хвост и спеша спастись в своем храме — в стойле...

Все бросилось бежать, крича и толкаясь...

Мокрая голова Хену показалась над водою. К ней кто-то плыл на помощь: это был ее отец, Адирома.

— Боги не приняли жертвы, — весь бледный и растерянный сказал верховный жрец, поднимая руки к небу. — О, всемогущий, гневный Аммон-Ра! Ты поразил своего сына, Горуса... Горе, горе нам!

XVII. ПОХОРОНЫ ДОЧЕРИ ФАРАОНА

Нофрура не перенесла тяжкого недуга — на девятый день она скончалась. Ни все боги Египта, ни могущество и богатство фараона — ничто не спасло его любимой дочери от смерти.

Естественная смерть юной царевны, в силу простой случайности, казалась чем-то страшным, ужасающим: воображению египтян представлялось, что это не простая смерть, а какое-то роковое предзнаменование.

Да и в самом деле: для умилостивления богов приносится небывалая почти в летописях страны жертва — и боги не принимают ее. Мало того, какая-то высшая сила посылает на землю небесный огонь, повергает в прах изображение Гоpуса, превращая его силою небесного огня в безобразную, бесформенную массу; жрецы и сам великий бог Апис поражены ужасом!

Нет, это не простая смерть — это какое-то страшное знамение, знамение гнева богов. Но на кого они излили свой гнев? На самого фараона! За что? За какие преступления?

Все Фивы в тревоге. Весть о страшном событии облетает весь Египет.

А юная покойница лежит на своем богатом смертном ложе, окруженная многочисленною семьею своею, братьями, сестрами. Смерть придала ее прекрасному лицу выражение глубокой, кроткой задумчивости и покорности воле богов.

Теперь для семьи фараона и для всего его многочисленного двора наступили «дни плача» — семьдесят дней плача вплоть до самого погребения отшедшей на лоно Озириса юной царевны.

Еще не успело остыть тело умершей и первые слезы горя не успели высохнут на щеках окружавшей ее семьи, как во дворец явился Аммон-Мерибаст с целым сонмом других жрецов и богатыми погребальными носилками из храма Озириса, чтоб взять новую жертву подземного мира и приготовить ее к переходу в этот таинственный мир. Надо было торопиться с началом бальзамирования, потому что после неожиданной грозы, разразившейся над Фивами в тот день, когда приносилась «живая жертва», настали вдруг дни знойного самума, и тело умершей должно было быстро подвергнуться разложению.

Под пение погребальных гимнов, среди курений фимиама и общего плача тело умершей, покрытое дорогим виссоном, было положено на носилки и в сопровождении несметной тол-

пы народа, под звуки печальной музыки направилось к храму Озириса, где в особой лаборатории, обставленной глубочайшею тайною, совершалось обыкновенно бальзамирование умерших.

За печальными носилками шел сам Рамзес в траурном одеянии, без меча и без всяких украшений, с открытою головою, посыпанной пеплом с жертвенника Озириса, и с распущенными волосами в знак глубочайшей скорби. Его окружало все его многочисленное семейство. В ближайшей группе придворных женщин, следовавших непосредственно за семьею фараона, шли Изида-хеттеянка и Лаодика. Воздух оглашался рыданиями — все Фивы плакали! Это было что-то потрясающее.

Близ храма Озириса, вдоль широкой аллеи сфинксов расположены были войска. Военные музыканты и воины при приближении печального шествия огласили воздух трубными звуками и ударами копий о щиты в знак отдания последней чести усопшей перед вступлением ее в царство подземных сил.

У внутренних пилонов храма Озириса носилки с телом царевны были опущены на землю для последнего целования тела перед его «преображением», когда оно должно было превратиться в мумию с невидимым для смертных лицом.

Прощание было трогательное, раздирающее душу. Трудно было предположить, чтобы у сурового Рамзеса оказалось столько нежности и любви: с искаженным от душевного страдания и слез лицом он страстно припадал к холодному лицу дочери, обливая его слезами, гладил и целовал голову, покрывал поцелуями руки. Более сдержанна в своей печали была мать умершей. Тиа нежно отерла лицо дочери, смоченное слезами фараона, и поцеловала ее в бледный лоб и закрытые глаза.

Из сестер умершей больше всех плакала хорошенькая Снат-Нитокрис.

— О, милая сестра! Зачем я не пошла вместе с тобой в загробный мир, в прекрасную страну запада, в Ливийскую пустыню! Ты бы не скучала там одна... Но подожди — и я приду к тебе, милая сестра! — плакала Нитокрис, припадая к груди умершей.

Лаодика плакала тихо, молча: столько смертей проносилось в ее памяти, столько дорогих теней. Ее милые братья — Гектор, Полидор, Ликаон — все убитые ужасным Ахиллом... А где другие?.. Где тот, дорогие черты которого она носит в своем осиротевшем сердце?

Наконец все простились с умершей, и жрецы, подняв носилки, унесли мертвую царевну в очистительную палату, куда, кроме них, никто не смел вступать и откуда через семьдесят дней должна выйти прекрасная Нофрура в виде нетленной мумии для погребения ее в семейном склепе фараона Рамзеса Третьего.

Фараон и все провожавшие умершую двинулись обратно. Теперь не слышно было ни музыки, ни потрясающих воздух ударов копий о щиты. Казалось, Фивы потеряли нечто большее, чем любимую дочь Рамзеса, — так все казалось мертво кругом.

Приближаясь вместе со всеми ко дворцу, Лаодика нечаянно взглянула на стоявшую около первых пилонов толпу и вздрогнула: среди других знатных египтян, почтительно ожидавших прохода во дворец фараона и его семейства, она узнала своего господина, Абану. Ей стало страшно. Неужели он потребует ее к себе? А Пентаур? Неужели он отдаст ее?

Боясь встретиться с его взглядом, Лаодика быстро опустила глаза. Но ей оставалось неизвестным, видел ли ее Абана. Может быть, и нет. По крайней мере, когда она его нечаянно заметила, он смотрел не на нее, а на самого фараона.

С чувством тревоги Лаодика вместе со всей семьею Рамзеса вступила во дворец, где, ей казалось, она менее была подвержена опасности снова попасть в рабство к ненавистному сыну Аамеса.

С этого момента начались во дворце фараона «дни плача». Это был обрядовый плач: каждый день слышны были причитания женщин, с плачем восхвалявших красоту умершей царевны, ее доброту, ее набожность; в загробном мире ей обещалось блаженство, счастье, вечная жизнь.

В то же время по повелению Рамзеса придворные скульпторы, или, как они назывались, «скульпторы с жизни», т. е. живой натуры, изготовляли богатый саркофаг для мумии Нофруры, украшенный резными изображениями самой царевны и выдающихся эпизодов ее жизни: поход на колеснице в Ливию, битва ее с презренными либу, где Нофрура изображалась в военных доспехах, на боевой колеснице, рядом с колесницею отца, поражающая своим копьем неприятелей, и т. д.

Наконец, прошли эти томительные семьдесят «дней плача»: все готово к погребению — и мумия, и саркофаг.

Снова собрались несметные толпы перед храмом Озириса, от которого в две линии растянуты были войска вплоть до

самого озера Харона, или озера мертвых, через которое должна была переправиться мумия царевны в жилище вечного упокоения. Озеро Харона, или Ахерон, отделял Фивы от «города мертвых», от великого фивского кладбища, находившегося у подошвы Ливийского хребта.

Рамзес вместе со своим семейством и высшие сановники страны у преддверия храма ожидали выноса мумии. Наконец распахнулась таинственная завеса храма, и жрецы под заунывное пение хора показались с носилками, на которых покоилась мумия Нофруры, обвитая драгоценными тканями. Золотая цепь с священным жуком украшала ее грудь

При виде мумии воздух снова огласился рыданиями.

Шествие двинулось к озеру мертвых. Рамзес и теперь шел в траурном одеянии с распущенными волосами. За ним следовала его семья, высшие сановники и почти все население Фив.

Скоро блеснули воды Ахерона. Процессия остановилась. На берегу этого священного озера должен был происходить суд над умершей.

Носилки поставили на земле так, чтобы лицо мумии обращено было к озеру и к грозным изображениям судей подземного царства, которые возвышались на берегу Ахерона в виде огромных гранитных статуй. Далее, на воде, у самого берега виднелась лодка Харона.

Статуи изображали собою Истину и Правосудие. За ними утверждены были весы, на одной чашке которых изображены были добрые дела умершей в виде символа богини Правосудия, на другой — злые дела в виде глиняного сосуда.

— А кто это около весов? — спросила Лаодика стоявшую около нее Нитокрис.

— Это божества: то, что с головою ястреба — это Горус, а с головою шакала — это Анубис, — отвечала Нитокрис, утирая покрасневшие от слез глаза.

— А что они делают, милая Нитокрис?

— Они смотрят на стрелку весов, какая чашка перевесит — с добрыми делами или с злыми... Ах, бедная сестра никому не делала зла! — еще сильнее расплакалась Нитокрис.

Действительно, едва верховный жрец Аммон-Мерибаст поднял к изображению Правосудия руки, как чашка весов с добрыми делами моментально опустилась.

В толпе пронесся радостный шепот: «Боги принимают ее! Озирис к ней милостив!»

Торжественный хор жрецов огласил воздух.

Скоро лодка Харона приняла мумию вместе с носильщиками-жрецами и отплыла к тому берегу озера мертвых.

XVIII. ЛАОДИКА ОТКРЫТА

Едва лодка с мумией царевны отчалила от берега, как верховный жрец, приблизившись к изображению Озириса, произнес краткую молитву: он благодарил этого всемогущего владыку подземного мира за правый и милостивый суд над умершей. Потом Аммон-Мерибаст, а с ним вместе Рамзес и вся его семья вошли в другую, более поместительную лодку и отплыли вслед за лодкой с мумией Нофруры. Вместе с ними отплыла и Лаодика, которая принята была в семье Рамзеса как родная, потому что, несмотря на свою скорбь об умершей дочери, фараон заметил Лаодику, красота которой и печальная судьба тронули сердце повелителя Египта.

На том берегу Ахерона мумия Нофруры, при мрачном пении жрецов, была внесена в фамильный склеп Рамзеса и после трогательного прощания с родными положена была в богатый саркофаг и накрыта гранитной крышкой с высеченным на ней изображением усопшей.

Весь этот погребальный обряд произвел на Лаодику глубокое впечатление. Она вспомнила, как погребали ее брата Гектора, убитого Ахиллесом. О! Какое это было страшное погребение, какая страшная ночь, предшествовавшая последнему моменту! Всю ночь троянцы сооружали громадный костер из соснового леса, который рубили в соседних горах и свозили к Трое. Наутро костер был готов, и на него возложили бездыханное тело ее брата. Как ярко вспыхнуло ужасное пламя, пожирая зеленые иглы сосен и дорогое тело Гектора! И скоро от милого тела остался только серый пепел с обгорелыми и перетлевшими костями, которые и собраны были в урну.

Где теперь эта урна с дорогим прахом? От нее, как и от всей Трои, не осталось, вероятно, и следа.

А здесь не то. Тело Нофруры осталось нетронутым — и его не коснулось ужасное пламя.

Так думала Лаодика, возвращаясь с похорон дочери фараона. А между тем молодые мечты ее забегали вперед. Слова и обещание Пентаура глубоко запали в ее сердце, жаждавшее того, что обещал сын фараона. Неужели для нее возможно возвращение на родину? Он ведь говорил так уверенно. Да

и отчего не исполниться этому? Она не могла не видеть, как велико могущество фараонов. Что значила маленькая Троя перед громадным, многолюдным Египтом! Она видела, сколько войск возвратилось из похода вместе с Рамзесом. Одни Фивы обширнее всего царства троянского. А Мемфис, а Цоан-Танис! А все эти города на берегах Нила!

Если ее милая Троя и разрушена, уничтожена пламенем, то все же она желала бы взглянуть хоть на ее развалины, на священный пепел священного Илиона, на его небо, на море, омывавшее ее родную землю. А может быть, она и найдет там кого-либо из своих, кого пощадила смерть или стрела и меч данаев.

А земля италов? А милый образ того, кто ей дороже всего на свете?

Но когда же Пентаур исполнит свое обещание? Когда объявлен будет поход?

Вдруг она вздрогнула и невольно ухватилась за руку Нитокрис, с которой шла рядом.

— Что с тобой, милая Лаодика? — спросила юная дочь Рамзеса.

— Я так испугалась, милая Снат, — отвечала Лаодика, сжимая руку Нитокрис.

— Чего, милая?

— Его — моего господина

— Какого господина? Твой господин — мой отец, фараон Рамзес.

— Мой бывший господин — Абана, что купил меня на рынке в Цоан-Танисе и от которого мы бежали вместе с Херсе. Я его увидела вон там, среди носителей опахала фараона.

— Чего ж тебе его бояться?

— Он узнал меня — он возьмет меня к себе, о боги!

— Он не посмеет взять! — гордо сказала юная дочь Рамзеса. — Ты моя сестра.

— Да хранят тебя боги, милая Снат! — с чувством сказала Лаодика, пожимая руку Нитокрис. — У тебя доброе сердце, а доброе сердце — лучший дар богов.

— А покажи мне, где он? Видно его теперь? — спросила Нитокрис.

— Видно; но я боюсь взглянуть на него... Вон он — около седого воина в панцире.

— А, это Таинахтта, вождь гарнизона, отец нашей Аталы! Ты ее знаешь?

— Знаю, милая Снат... Я ее боюсь...

— Почему? — удивилась Нитокрис.

— Не знаю. Она меня, кажется, не любит.

— О, понимаю: она ревнует тебя к брату, к Пентауру. Да и я тебя к нему ревную, — наивно говорила хорошенькая царевна. — Так который же Абана?

— Тот, что с золотою цепью на груди и с тремя кольцами у предплечья.

— А, какие злые у него глаза! Какой нехороший. Он что-то говорит Таинахтте и показывает сюда.

— Он показывает на меня.

— Ничего, не бойся.

— Милая Снат! Как же мне не бояться? Я так виновата перед ним.

— Чем, дорогая?

— А как же! Ведь я — воровка.

— Что ты! Как?

— Я же бежала от него и увела с собой свою старушку Херсе. А ведь он нас купил: значит, я украла у него цену двух рабынь.

— А сколько он заплатил за вас?

— За меня десять мна, а за Херсе пять кити серебра[1].

— Пустяки, милая Лаодика: мы ему заплатим вдвое.

Лаодика недаром опасалась: Абана действительно узнал ее сразу.

Когда, проснувшись утром на корабле «Восход в Мемфисе», он узнал, что за ночь исчезли и Лаодика, и старая Херсе, он пришел в ужасную ярость. Никто на корабле не мог сказать ему, что с ними сталось; никто не видел их бегства, потому что все спали. Рабы, которым поручено было стеречь их, также ничего не могли сказать о беглянках, и на них обрушился весь гнев молодого египтянина. Несчастные рабы подверглись жестоким истязаниям, но и истязания их ни к чему не привели: они говорили только, что злые духи нагнали на них мертвый сон, и они ничего не слыхали, что делалось ночью.

Естественно, что в исчезновении Лаодики Абана должен был подозревать Адирому, но последний отрицал свое участие в их бегстве; в противном случае он не оставил бы их одних, беззащитных женщин. Адирома, напротив, высказал предположение, что Лаодика и Херсе, не желая оставаться в рабстве, бросились в Нил и погибли в его волнах. Он считал это тем более правдоподобным, что гордая дочь троянского царя ни в каком случае не могла помириться с участью рабыни и сама прекратила свое горькое и унизительное существование;

[1] Мна — фунт серебра, кити — унц.

дочь Приама, богоравная Лаодика, не могла быть рабынею сына Аамеса!

И вдруг Абана видит ее среди дочерей фараона! Она не утонула в Ниле — она бежала.

— Это она, клянусь Озирисом! — невольно воскликнул он.

— Кто она? — удивился стоявший около него Таинахтта, вождь гарнизона в Фивах.

— Моя рабыня, дочь троянского царя Приама.

— Где? Которая?

— Та, что идет рядом с царевною Снат. Я купил ее на рынке в Цоан-Танисе, и на дороге от Цоана, выше Мемфиса, она ночью бежала с корабля, воспользовавшись оплошностью моей стражи.

— Так это Лаодика? — в раздумье заметил Таинахтта. — Мне о ней много говорила дочь моя, Атала, которая состоит при женском доме его святейшества, фараона Рамзеса: эта рыжеволосая троянка всем там головы вскружила; и неудивительно — она так прекрасна.

— Но она моя рабыня! — с негодованием сказал Абана. — Она беглянка — я должен взять ее к себе, как собственность.

— Ну, — заметил Таинахтта с улыбкой, — львы не уступают никому своей добычи.

— Но как она попала ко двору его святейшества?

— Ее представил ко двору Ири, верховный жрец богини Сохет.

Известие это еще более поразило Абану.

— Но откуда он ее достал? — спросил он.

— Ее прислал к нему Имери, верховный жрец великого бога Хормаху.

— А! Имери! — воскликнул сын Аамеса. — Теперь я понимаю: эта старая лиса...

— Не говори так о служителе божества, сын Аамеса! — прервал его Таинахтта.

— Но он — вор! Он похитил у меня рабыню! — горячился Абана. — Это он похитил ее с корабля «Восход в Мемфисе» и отправил к Ири. А где замешаются жрецы, там не жди добра. Я понимаю теперь, почему Имери еще там, на корабле, узнав, кто такая эта рабыня, сказал: «Прелестное это дитя могло бы быть и женою царя».

— Что ж удивительного? — возразил Таинахтта. — Она — дочь славного царя, и боги судили ей быть царицей. Верховный жрец великого Хормаху, вероятно, и действовал по внушению богов.

Но эти доводы не убедили Абану. Подумав несколько, он спросил:

— Что говорит о ней твоя дочь, достойная Атала?

Вождь гарнизона пожал плечами.

— Разве женщина может говорить что-либо хорошее о женщине? — отвечал он. — Скорее крокодил пощадит свою жертву, чем женщина другую женщину, красоте которой она завидует.

Этот ответ, по-видимому, понравился Абану — это можно было прочесть у него в глазах. Он, видимо, что-то замышлял.

Но ни Лаодики, ни Нитокрис уже не было видно: Рамзес и его двор скрылись за пилонами дворца.

XIX. СМЕРТЬ ЛАОДИКИ

После похорон Нофруры прошло несколько дней. Над Фивами только что забрезжило утро. В саду при женском дворе фараона слышен чей-то говор.

— Посмотри, Неху, что я нашла!

— Что это?... Меч?.. Да какой красивый. Где ты его нашла, Урза?

— Вон там... Я поливала цветы лотоса, и вдруг что-то блеснуло в земле. Я нагибаюсь и вижу — что-то золотое. Я начинаю откапывать — и вытащила вот этот меч.

— Ах, Урза, милая! Да он в крови.

— И точно в крови — и кровь свежая! Великая Изида! Что ж это такое?

— Брось его, милая Урза, забрось.

— Я боюсь...

Вдруг воздух огласился страшным, раздирающим душу криком какой-то женщины.

— О, боги! Что это?

Урза, уронив на землю меч, и Неху (это были рабыни, поливавшие цветы в саду при женском доме Рамзеса) бросились по направлению крика, который исходил из помещения, занимаемого с недавнего времени Лаодикою. Это кричала старая Херсе, которая металась у входа помещения Лаодики и рвала на себе волосы.

— Ее убили! Ее зарезали! — кричала она. — О, вечные боги!

— Кого зарезали?

— О, мое сокровище!.. Мое дитя!.. Мою госпожу!

Херсе бросилась внутрь комнаты и, упав на пол, билась в судорогах.

На высоком позолоченном ложе, покрытом белыми тканями, лежала мертвая Лаодика: в широко раскрытых глазах ее выражался ужас — это был ужас смерти, так нагло постигшей ее. Под левым сосцом ее чернелась продольная рана, кровь из которой окрасила белый покров ложа и стояла запекшейся лужей на полу.

Вопли Херсе разбудили все население женского дома. Все бежали к тому месту, откуда неслись эти вопли. На лицах видны были растерянность, испуг. Все толпились у входа в помещение Лаодики, и никто, по-видимому, ничего не понимал. Да и как понять! Ничего подобного никогда не случалось в царских покоях. Убита невинная девушка, любимица царицы, гордость женского дома, дочь славного царя Трои. Кто убил? Какой изверг мог решиться на такое злодеяние, когда ни один мужчина, исключая детей фараона, не смел переступить порог этого святилища, состоящего под покровительством богини Сохет?

Вопли Херсе достигли и покоев царицы.

— Что это? — спросила Тиа свою постельную рабыню. — Что случилось?

Испуганная рабыня не смела сказать страшной истины

— Что же? — повторила жена фараона. — Говори!

— О, святейшество! Я боюсь поразить твои уши страшными словами, — отвечала рабыня

— Говори же! Я повелеваю! Мои уши раскрыты для доброго и злого, — говорила Тиа, сама встревоженная.

— О, госпожа! У нас в доме убийство.

— Убийство! Кто убит?

— Троянская царевна Лаодика.

— О, боги! Кто ее убийца?

— Не знаю, госпожа, никто не знает, — говорила рабыня, поспешно одевая царицу.

Тиа торопливо вышла в сад, куда выходило помещение Лаодики. Ей попалась навстречу вся заплаканная Нитокрис.

— О, мама! — вскричала юная царевна. — Вот меч — он в крови.

— Какой меч, дитя?

— Я нашла его в саду, на земле, он в крови... Это кровь Лаодики... О, мама, мама!

Тиа с содроганием взглянула на меч. Это было изделие изящной работы: тонкий, длинный клинок с золотою рукояткой, изображавшей какое-то неведомое божество — женщину

с львиной головой, стоящую на колеснице, запряженной двумя конями.

— Это не египетский меч, — сказала жена фараона, — в нашей земле нет таких.

Тиа взяла меч.

— Его надо сохранить, — сказала она, — меч укажет нам убийцу... О, боги!

— Мама! Пойдем взглянем на нее — я одна боюсь, — говорила Нитокрис, вся обливаясь слезами.

У входа в помещение Лаодики толпились придворные женщины и рабыни, выражая сожаление об ужасной смерти юной троянской царевны и общее недоумение, кто мог быть убийцей такого прелестного, невинного существа, и притом в доме, охраняемом богинею Сохет.

Лаодика лежала на своем ложе, как мраморное изваяние. Золотистые волосы ее, разметавшись, покрывали собой белую подушку из тонкого финикийского виссона. Около ее изголовья с глухим стоном причитала обезумевшая от горя Херсе, покачиваясь, словно автомат, из стороны в сторону.

— Я убила тебя, божество мое! Я достойна смерти, — хрипло причитала она, — я не доглядела, я заспала!

Завидев приближение Тии, все расступились. Говор и шепот смолкли. Слышны были только причитания старой Херсе.

— Не на своей милой родине нашла смерть ты, мое божество... Далеко от праха Гектора будет покоиться твое чистое тело... Слезы родных не оросят твоего прекрасного лица... О, всемогущие боги!

Весь запыхавшись, смущенный, растерянный, торопился к месту ужасного происшествия Бокакамон, управляющий женским домом Рамзеса: в его доме, в доме его ведения совершилось это страшное, неслыханное дело.

— О, святейшество! — поднял он руки к небу при виде жены фараона, своей повелительницы. — Какие немилосердные боги судили мне это несчастие!

— Вот меч, которым совершено злодеяние, — сказала Тиа, подавая меч пришедшему. — У этого железа есть язык — он назовет нам злодея. Допроси железо!

Рука Бокакамона дрожала, когда он брал протянутый к нему клинок с пятнами крови.

— Это меч не египетской работы, — с удивлением заметил он. — Как он попал сюда?

— Его сейчас подняла в саду Нитокрис, — отвечала Тиа. — Но как он попал в мой дом помимо стражи? Не сам он,

конечно, вошел сюда — его внесла чья-нибудь злодейская рука, но чья?

— Только не рука мужчины — я в этом ручаюсь, великая царица, — отвечал Бокакамон.

— Так рука женщины?

— Женщины, царица.

Тиа и Нитокрис молча приблизились к ложу, на котором лежала мертвая Лаодика. Утренний свет, падавший сверху на лицо убитой косою полосою и отражавшийся бликами в широко раскрытых глазах умершей, придавал застывшему лицу ее выражение изумления, смешанного с ужасом, точно то, что она видела там, в загробном мире, внушало ей этот ужас. С глубокою скорбью глядела на это милое мертвое лицо жена фараона, и слезы текли по ее смуглым щекам. Нитокрис плакала, припав к плечу матери.

Вдруг Херсе перестала причитать и, несмотря на присутствие царицы, нагнулась близко к лицу умершей.

— Я вижу ее... я вижу убийцу! — с ужасом проговорила она.

— Где? Кто? — с удивлением спросил Бокакамон.

— Вон она... в глазах у нее... Смотрите! Смотрите! — говорила старая негритянка, впиваясь глазами в открытые, уже остеклелые глаза Лаодики. — Я вижу ее.

С изумлением и страхом все смотрели на старуху, полагая, что рассудок ее помешался от горя. Но Бокакамон приблизился к ложу и тоже взглянул в глаза умершей.

— Видишь, господин? — глухим шепотом спросила его Херсе, как бы боясь спугнуть то, что она видит. — Тебе известно, господин, что когда кто убивает другого и тот, кого убивают, видит убийцу, то лицо убийцы, словно в зеркале, навсегда остается в глазах убитого... Убийца стоит в ясных очах моего божества, моей Лаодики... Вон она... это женщина... я узнаю ее.

— Кто же она? — с суеверным страхом спросили Бокакамон и Тиа.

— Я не знаю ее имени... но я видела ее здесь, в этом доме.

Все с изумлением и страхом посмотрели друг на друга.

— И ты узнаешь ее? — спросил Бокакамон.

— Узнаю... Она такая красивая... злая... глаза василиска...

— Посмотри, нет ли ее здесь, — сказал Бокакамон.

Женщины этого дома, столпившиеся сзади царицы и жадно прислушивавшиеся к бессвязным словам старой негритянки, при словах Бокакамона с ужасом попятились назад. А что, если безумная старуха укажет на которую-либо из них?

Херсе отвела глаза от мертвого лица Лаодики и лихорадочным взором стала осматривать присутствующих. Все невольно потупляли глаза под ее пытливым взором.

— Видишь ее? Она здесь? — спросил Бокакамон.

— Не я! Не я! О, боги! — вдруг закричала одна из рабынь, дрожа всем телом.

Это была Урза, которая на заре, поливая цветы лотоса, заметила в земле конец рукоятки предательского меча и вынула его, а потом показала другой рабыне, ливийке Неху.

Крик Урзы произвел общее смятение. Все глядели на нее, сторонясь с испугом. Бокакамон приблизился к ней.

— Говори, что ты знаешь? — грозно спросил он.

— О, благородный господин, — трепеща всем телом, заговорила рабыня. — Я встала рано вместе с Неху, и мы пошли поливать цветы на заре Я поливала вон там цветы лотоса... Вдруг вижу — что-то блестит в земле... Я нагнулась... Вынимаю из земли... Это, вижу, меч... в крови... И показываю его Неху... Вдруг она закричала, — указывает на Херсе, — я испугалась... — Она замолчала.

— Ну, и что же? — спросил Бокакамон.

— Я испугалась... я уронила меч... мы побежали сюда... О, великие боги!

Ломая руки, она замолчала, все еще вздрагивая. Бокакамон обратился к Херсе.

— Это она? — спросил он, указывая на Урзу. — Узнаешь ее?

— Нет! Нет! Не она... Та молоденькая, красавица... Вон она, — и Херсе опять уставилась в глаза умершей. — Глаза василиска... О, не гляди так... я, я твоя злодейка, я не доглядела... я заспала... О, мое божество! Я недостойна служить тебе в загробном мире!

Скоро весть об ужасном происшествии в женском доме облетела весь дворец фараона. Прежде всех явился в помещение Лаодики царевич Пентаур, который был глубоко очарован красотою несчастной дочери Приама и мечтал сделать ее царицей Египта.

Вид мертвой Лаодики произвел на него потрясающее впечатление. Он не верил, чтобы это была та Лаодика, которая еще накануне мечтала с ним о возвращении в Трою, о восстановлении царства предков.

— Убита! Убита! О, боги! — вырвался у него крик отчаяния. — О, прекрасный, нежный цветок лотоса! Кто сорвал тебя? Где тот злодей? О, вечные, безжалостные боги!

Он бросился к матери и заплакал.

— О, матушка! Ты ее так любила...

— Дорогой мой! Ты видишь — я сама плачу, — говорила Тиа, прижимая к себе голову сына.

— Но кто же решился убить ее?

— Боги то ведают... Вон меч, а чья рука направила его в сердце — никто не знает.

— Какой меч? Где?

Бокакамон подал Пентауру меч.

— Его нашли здесь, в саду.

— Это меч мужчины, — удивился царевич. — Как мог мужчина попасть в дом женщин!

— Нет, царевич, я головой ручаюсь, что мужчина не мог попасть сюда, — робко возразил Бокакамон, — меч внесен в этот дом рукою женщины, и эта же рука злодейски поразила несчастную дочь Приама.

— Женщина, женщина убила мою голубку чистую, — словно автоматически повторяла старая негритянка. — Она сидит в ее глазах, она смотрит оттуда...

— Что она говорит? — спросил Пентаур.

— У нее, кажется, помутился рассудок, — тихо отвечал Бокакамон. — Она убита горем: говорит, что лицо убийцы всегда отражается, как в зеркале, в глазах убитого. Старуха видит там убийцу.

Пентаур робко подошел к ложу Лаодики и нагнулся к ее неподвижному лицу.

— О, боги! Я не могу видеть этих глаз! — с ужасом отшатнулся он от мертвой.

— Его святейшество идет! Фараон! Фараон! — послышался шепот среди женщин.

Все с боязнью расступились. Рабыни упали ниц. Это шел сам Рамзес.

XX. ВЕРХОВНОЕ СУДИЛИЩЕ

В тот же день Рамзес приказал нарядить строжайшее следствие по делу о таинственном убийстве троянской царевны. Преступление казалось таким загадочным, что для раскрытия его призваны были высшие следственные и судебные власти столицы фараонов. Во главе их стоял хранитель царской казны Монтуемтауи. В помощь ему придали носителя опахала Каро, царского переводчика Пенренну, знаменосца гарнизона Фив — Хору и несколько фараоновых советников.

В именном повелении, данном следователям, между прочим выражено было: «Виновные и прикосновенные к неслыханному злодеянию в самом сердце моего дворца должны приять смерть от собственной руки своей; да обрушится их преступление на главу их». И добавлялось в конце: «Я есмь охрана и защита всего навеки и есмь носитель царского символа справедливости пред лицом царя богов, Аммона-Ра, и пред лицом князя вечности — Озириса».

В этот же день начались допросы. Следователи открыли заседание в палате суда, в самом дворце Рамзеса, перед изображением божеств высшего судилища — Горуса с головою кобчика и Анубиса с головою шакала, между которыми находились весы правосудия. Изображение князя вечности и судии вселенной, Озириса, помещалось на троне; в одной руке его был скипетр, а в другой бич для злых и преступников; тут же на жертвеннике находился цветок лотоса, стерегомый чудовищами, символами владык Нила — крокодилом и гиппопотамом.

Следователи и судьи помещались на возвышенных седалищах.

Первою вызвана была к допросу Херсе, которая неразлучно находилась с Лаодикою и спала всегда в преддверии помещения юной царевны. Убийца мог проникнуть к ложу Лаодики только через тело старой негритянки.

— Я убийца моего божества, солнца очей моих, — каялась Херсе перед следователями. — Пусть меня поразит своим бичом великий Озирис. Я не уберегла мое сокровище, я потушила свет очей моих — я заспала царевну, дочь богоравного Приама.

— Отвечай на вопросы, — остановил ее Монтуемтауи, поправляя на груди золотую цепь с изображением священного жука. — Ты сама готовила ложе царевне вчера на ночь? — спросил он.

— Сама, господин. Я никого не допускала к ее чистому ложу, — был ответ.

— А что делала царевна с вечера? С кем была?

— Под вечер, когда светоносный лик Горуса уже клонился к закату, а тени от пальм теряли свой конец за Нилом, ее ясность Лаодика ходила по саду с ее ясностью царевною Снат — да будет счастье и здоровье во веки ее уделом! — и рассказывала ей о своей родине, о священном Илионе, о том, как его осаждали данаи и атриды, о смерти брата своего Гектора, — говорила Херсе.

— А после того? — перебил ее Монтуемтауи.

— После того пришел его ясность царевич Пентаур и его ясность царевич Меритум, и царевич Пентаур спрашивал ее

ясность Лаодику о вожде данаев Агамемноне и о храбром Ахиллесе, и о том, как брат ее ясности Лаодики Парис поразил насмерть в пятку Ахиллеса, — продолжала свое показание Херсе.

— А ты что делала в то время? — спросил главный следователь.

— Я заплетала венок из цветов, чтоб украсить им головку ее ясности.

— И царевна при тебе легла потом на ложе сна?

— Я ее и уложила и повеяла над нею опахалом, пока она не заснула.

— А сама когда легла спать и где?

— Я легла у ее порога, утолив жажду из своего кувшина водою Нила, и тотчас же заснула как мертвая... О, великий Озирис! — всплеснула вдруг руками старая негритянка. — Меня опоили водою сна! Я теперь все поняла: кто-нибудь влил в мой кувшин сонной воды... Это так, так! Оттого я и заснула как мертвая, чего со мною во всю жизнь не было... О, боги, это верно, верно!.. Я всегда, бывало, так чутко сплю, что слышу, кажется, всякое дыхание ее ясности, каждое ее движение на ложе сна... А тут я не слыхала, как умирала она, как истекала кровью... О, праведные боги!

Следователи молча переглянулись между собой.

— Так ты думаешь, с умыслом кто-нибудь усыпил тебя? — спросил Монтуемтауи.

— С умыслом — я теперь вижу: оттого и вода показалась мне на вкус какою-то странною.

— Кого же ты подозреваешь в этом?

— О! Это та, которую я видела в мертвых зрачках моей голубицы, ее ясности Лаодики.

— В мертвых зрачках царевны ее видела?

— Да, в зрачках, как в зеркале.

— И то была женщина?

— Женщина — красивая, с глазами василиска.

— И ты можешь назвать ее имя?

— Не могу... не знаю... но я ее видела.

— Здесь, в женском доме?

— Должно быть, здесь — больше негде.

Тогда Монтуемтауи предложил заседавшим с ним судьям: не предъявить ли пред лицо этой допрашиваемой всех женщин дома фараона? Все изъявили согласие.

Решение это тотчас же было объявлено в женском доме высочайшим именем фараона, и Бокакамону приказано было вводить в палату верховного суда поодиночке сначала бли-

жайших рабынь, имевших право ночевать в женском доме, а потом почетных женщин и девиц.

Эта поголовная очная ставка не привела, однако, ни к чему. В некоторые лица вступавших в палату суда женщин, особенно в молодые и красивые лица, Херсе всматривалась пристально, настойчиво, как бы пожирала их глазами; но потом в отчаянии повторяла: «Нет, нет... не та... не то лицо... не те глаза»...

От одного лица она долго не могла оторвать глаз — от прекрасного лица Аталы, к которой, видимо, охладел Пентаур с той минуты, как увидел Лаодику. Атала была бледнее обыкновенного, когда предстала пред судилищем; глаза ее были заплаканы, и она, казалось, избегала взгляда старой негритянки. Херсе вздрогнула, когда увидела ее, и отступила назад. Она давно замечала, как Атала недружелюбно смотрела на обожаемую ею дочь Приама. Чутьем женщины старая негритянка угадала, что Атала ревнует Лаодику к Пентауру, и сама стала недолюбливать гордую дочь Таинахтты. И вот обе эти женщины с глазу на глаз перед страшным судилищем... Не она ли убийца? Не у нее ли глаза василиска, что отпечатались в мертвых зрачках несчастной дочери Приама?.. Лицо прекрасное, но не доброе, такое, какое поразило ее в мертвых зрачках... Херсе вспомнила эти безжизненные, остеклелые, когда-то прекрасные глаза, вспомнила это мертвое юное личико, вспомнила счастливое детство Лаодики, потом печальную судьбу ее родного города, ее семьи, свою неволю, с которою она давно сжилась...

— О, боги! Помогите мне! — простонала она.

— Ну, что же? Говори! — напомнил Монтуемтауи.

— Кажется... она... кажется, — прошептала допрашиваемая.

— «Кажется» — не имеет силы утверждения: говори без «кажется», — повторил Монтуемтауи.

— Не знаю... не знаю... о, боги!

— Атала, дочь Таинахтты, может удалиться от лица суда, — сказал Монтуемтауи. — Так и запиши показание допрашиваемой: не дано обвинения, — обратился он к писцу палаты суда.

Атала, шатаясь, удалилась. Херсе провожала ее долгим, каким-то растерянным взглядом.

По окончании повальной очной ставки вызваны были к допросу, одна за другой, рабыни Арза и Неху, первыми нашедшие предательский меч в саду. Но и от них не узнали ничего более, кроме того, что было уже известно.

С своей стороны Бокакамон с помощником своим Аххибсетом допросили всех женщин дома, не заметили ли они ночью,

чтобы кто-либо ходил в саду или около помещения троянской царевны; но и это ни к чему не привело: все спали по своим местам и никто ночью не в урочный час не бродил по саду.

Тогда стали призывать к допросу привратников женского дома: кто сторожил в эту ночь ворота дома и не было ли впущено в дом постороннее лицо.

И тут все под страшною клятвой подтвердили, что никто из посторонних женщин, не только мужчин, ни в эту ночь, ни днем и никогда — никто не входил в женский дом, в это недосягаемое для постороннего глаза святилище богини Сохет.

Где же искать преступника?

Когда следователи остались одни после произведенных ими допросов, Монтуемтауи взял в руки меч преступления, лежавший перед ним на столе.

— Живые люди ничего нам не открыли, — сказал он, глядя на меч, — так все откроет это мертвое железо.

— Правда, правда, — подтвердили прочие следователи, — допросим железо.

— Это меч редкой работы, дорогой меч, — сказал медленно Монтуемтауи, — он будет дважды, сугубо красноречив в опытных руках: во-первых, это редкий меч; он не египетского изделия, таких я не видал в земле фараонов, да и божество на рукоятке меча — не египетское; я полагаю, что это — финикийское божество, из северной страны Рутен, это богиня Астарта, как мне кажется; это — один язык нашего меча; во-вторых, такое драгоценное оружие могло принадлежать только богатому, знатному лицу, которое бывало в походах если не само, то его отец, его предки; но быть может, меч этот куплен и в Египте — у кого? — это второй и самый красноречивый язык.

— Хвала твоей мудрости! — воскликнули следователи. — У тебя глаза и ум бога Хормаху.

— Как же мы допросим это железо? — продолжал риторически Монтуемтауи. — Как развяжем ему язык? А вот как: вызовем сюда, пред лицо судных божеств, всех продавцов оружия и всех оружейных мастеров города Фив — они развяжут язык железу.

Мнение председателя было принято, и на другой день все оружейники Фив были вызваны в суд.

Меч долго переходил из рук в руки, но ни один продавец не мог сказать, чтоб это дорогое оружие было куплено у него или сделано в Фивах: такого меча в столице Египта никто не видал. Только один старый мастер долго рассматривал клинок и рукоятку меча и, по-видимому, что-то соображал.

— Это меч финикийской работы, — сказал он наконец, — рукоятка его изображает богиню Астарту.

— Так я и говорил, — заметил Монтуемтауи. — Но как он попал сюда?

— Он куплен в Мемфисе или в Цоан-Танисе; последнее вероятнее, — отвечал старый мастер. — В Цоан-Танисе я сам видел такие мечи.

На основании этого показания решено было тотчас же отправить носителя опахала Каро в Мемфис и в Цоан-Танис. Там он должен был предъявить роковой меч всем продавцам оружия и узнать, кому и когда был продан финикийский меч.

В Цоан-Танисе Каро, действительно, напал на след того, что ему поручено было разыскать. Один оружейник этого города узнал предъявленный ему меч. Он сказал, что это дорогое оружие досталось ему по наследству от отца и хранилось в его лавке вместе с прочим оружием, но что несколько месяцев тому назад зашел к нему молодой египтянин и, увидав меч, который ему очень понравился, купил его за весьма дорогую цену.

— Кто же был этот молодой египтянин? — спросил Каро с затаенною радостью, которую боялся обнаружить перед продавцом. — Он здешний? Из Цоан-Таниса?

— Нет, господин, он приезжий и, как я узнал, отправлялся отсюда в Фивы, — отвечал торговец.

— А имя его? — спросил снова Каро.

— Имени его, господин, я не спрашивал; знаю только, что он купил здесь на рынке двух рабынь — одну молоденькую, а другую старуху из племени Куш.

— А молодая из какого племени?

— Этого не умею сказать, господин; а говорили, будто она из царского рода

— А какая она из себя?

— Очень красивая и с золотистыми волосами; говорили, что она привезена из-за зеленого моря.

— А какой из себя египтянин, который купил ее?

— Высокий и красивый и, должно быть, из знатного рода — с золотой цепью на груди.

Больше этого ничего не мог узнать Каро от продавца оружия. Тогда он обратился к торговцам невольниками. Здесь след того, чего он доискивался, выяснился еще более. Один из работорговцев припомнил, что несколько месяцев тому назад он продал одному знатному молодому египтянину из Фив двух рабынь — одну юную красавицу из северных стран, дочь царя, город которого был разрушен и сожжен врагами, а дети его, дочери, отвезены в разные места; одна из них с

своею рабынею и была отбита на море финикийскими пиратами и продана в Цоан-Танис.

— А не знаешь, как звали этого царя, ее отца? — спросил Каро.

— Не помню, господин, — отвечал работорговец. — Старая ее рабыня из страны Куш называла имя этого царя и их город, но я забыл.

— Не Троя ли этот город?

— Так-так, господин, именно Троя.

— А царь назывался Приам?

— Кажется, что так; но наверное не помню.

— А как звали эту дочь его, что купил у тебя знатный египтянин?

— Я ее звал просто «царевной» или «золотой царевной», потому что у нее волосы такого цвета, как золото священной страны Пунт.

Для Каро не оставалось теперь никакого сомнения, что это была несчастная Лаодика, дочь такого же злополучного Приама, а купивший ее знатный египтянин — Абана, сын Аамеса.

С этими сведениями он и поспешил воротиться в Фивы.

Всю дорогу его мучили вопросы: неужели Абана зарезал Лаодику? А если он, то как он мог пробраться ночью в женский дом? Но старая негритянка утверждает, что Лаодику зарезала женщина, но только мечом, принадлежавшим Абане.

Нет сомнения, думал Каро, что Абана, злобствуя на Лаодику за ее бегство, подкупил одну из женщин дома фараона зарезать невинную девушку: пусть же не достается никому другому, если не досталась ему. Но в таком случае, зачем отдавать свой меч для совершения убийства? Меч этот — прямая улика. Разве нельзя было найти другой меч или простой нож? Подкупленная убийца могла совершить свое гнусное дело всяким острым ножом, которые всегда находятся под рукой в женском доме. Зачем же понадобился именно меч Абаны и притом такой редкий и заметный?

Эти вопросы так и остались не разрешенными в голове Каро.

XX. УБИЙЦА ЛАОДИКИ

В тот же день, когда Каро воротился в Фивы, Абана, под наблюдением мацаев, был приведен в палату верховного суда. Появление в его доме мацаев сначала встревожило его, но он тотчас же ободрился и смело явился в суд. Он даже

держал себя высокомерно, зная, каким уважением в стране и лично у фараонов пользовался его отец.

— Абана, сын Аамеса! — торжественно обратился к нему Монтуемтауи. — Пред лицом Озириса говори только правду. Скажи, что ты знаешь о дочери троянского царя Приама, Лаодике, которую ты купил несколько месяцев тому назад в Цоан-Танисе вместе с ее рабынею?

— Я знаю только то, что обе они на пути от Мемфиса к Фивам, пользуясь темнотою ночи и оплошностью моих рабов, постыдным образом бежали с корабля «Восход в Мемфисе», — гордо отвечал Абана.

— И ты их потом не мог найти?

— Не мог.

— И не знал где они?

— Не знал.

— И никогда больше не видел Лаодики?

— Не видел.

— Абана, сын Аамеса! — возвысил вдруг голос один из судей, знаменосец гарнизона, Хора. — Ты говоришь неправду в лицо Озирису — ты видел царевну Лаодику.

— Абана, сын Аамеса, ты сознаешься, что сказал неправду в лицо Озирису? — спросил Монтуемтауи.

— Не сознаюсь, — был дерзкий ответ, — я сказал правду.

— Уличи же его во лжи, знаменосец Хора! — сказал председатель суда.

— Вот как это было, — начал Хора. — Когда после отбытия ее ясности царевны Нофруры в загробный мир, в прекрасную страну Озириса, его святейшество фараон Рамзес со всей своей благородной семьей возвращался с похорон царевны во дворец и царевна Лаодика шла рядом с ее ясностью царевною Снат-Нитокрис, ты, Абана, сын Аамеса, стоял рядом с моим начальником, с вождем воинов гарнизона, Таинахттою, а я, знаменосец гарнизона, Хора, стоял позади вас, и ты, Абана, говорил Таинахтте: «Она, царевна Лаодика, моя рабыня и беглянка, и я возьму ее обратно к себе, как мою собственность». Вот что говорил ты, Абана, сын Аамеса.

Абана не ожидал удара с этой стороны и растерялся; но скоро обычная дерзость воротилась к нему, и он презрительно сказал:

— Судьи также могут говорить ложь в лицо Озирису: того, что на меня взводит знаменосец гарнизона и мой судья Хора, я не говорил и Лаодики, после ее бегства, не видал.

— Ты утверждаешься на этом пред лицом Озириса? — строго спросил Монтуемтауи.

— Утверждаюсь, — был ответ.

Монтуемтауи сдернул со стола свиток папируса, которым прикрыт был предательский меч.

— А это что такое? — вдруг спросил он.

— Меч, — сказал отрывисто допрашиваемый и чуть заметно вздрогнул.

— А чей он?

— Не знаю.

— А не был он прежде твоим?

— Не был.

Такие дерзкие ответы возмутили судей; носитель опахала Каро даже привстал с негодующим видом и сверкающими глазами.

— Абана, недостойный сын благородного Аамеса, ты снова солгал пред лицом Озириса, — сказал он резко. — Ты купил этот меч в Цоан-Танисе, у торговца оружием Аади, в лавке на невольничьем рынке.

— Сознаешься в этом? — спросил Монтуемтауи.

Улики были слишком подавляющего свойства, и Абана оторопел. Ему сразу представилось, что его подозревают в убийстве Лаодики. Пропасть открывалась под его ногами, и он понял, что надо спасать свою шкуру.

— Сознаешься? — повторил вопрос председатель.

— Сознаюсь — меч мой, но его у меня украли.

— Давно?

— Недели две тому назад.

— Почему же ты не заявил в свое время о покраже? Это такое редкое и дорогое орудие.

Абана молчал. Он чувствовал, что более и более запутывается; судьи, по-видимому, знали больше, чем он предполагал, и больше, чем сами высказывали.

— Приблизься к столу, — сказал ему Монтуемтауи, — взгляни на меч — видишь на нем следы крови?

— Вижу, — хрипло отвечал Абана.

— Это кровь дочери троянского царя Лаодики: она зарезана твоим мечом. Кто ее зарезал?

— Не знаю, — чуть слышно отвечал Абана, дерзость которого уступила место страху.

— Как же твой меч очутился в женском доме фараона, его святейшества Рамзеса?

— Я подарил его Атале, дочери Танахтты.

Слова эти разом пролили свет на все, что казалось доселе темным. Атала, эта прекрасная девушка, в лицо которой так пристально всматривалась старая Херсе. Неужели Атала

убийца? Неужели она усыпила старую негритянку в ночь убийства? А что побудило ее к этому злодеянию? А то, чем единственно живут женщины: чувство, страсть, ревность... Ревность! Вот где разгадка всему. Атала, вероятно, неравнодушна к этому долговязому сыну Аамеса и, боясь, что прекрасная Лаодика опять будет возвращена ему, как его собственность, и может пленить его сердце, что было очень возможно с ее красотой, решила отделаться от опасной соперницы и выпросила у Абаны меч, которым и поразила бедную, невинную жертву. Так думал Монтуемтауи, пораженный этим неожиданным открытием. Но быть может, Абана, по злобе на беглянку, сам подговорил Аталу убить Лаодику, чтобы она не досталась другому?

— А твоя воля участвовала в убиении троянской царевны? — спросил после небольшого размышления Монтуемтауи.

— Как? — как бы очнулся допрашиваемый.

— Ты велел или советовал Атале убить Лаодику?

— Нет, не я... — с запинкой отвечал Абана.

— И ты на этом показании утверждаешься?

— Утверждаюсь.

— Уведите допрашиваемого в комнату ожидания, — сказал Монтуемтауи, обращаясь к писцам.

Абану увели в ближайшую комнату.

— Теперь надо подвергнуть допросу Аталу, — продолжал председатель, когда закрылась дверь за Абаною.

За Аталой недалеко было ходить, так как она жила во дворце, в женском доме, и через несколько минут прекрасная девушка стояла пред судьями.

— Атала, дочь Таинахтты, вождя воинов гарнизона! — торжественно обратился к ней председатель. — Отвечай истинную правду на все вопросы, которые будут заданы тебе пред лицом великого Озириса. Что тебе известно по делу об убиении дочери троянского царя Приама Лаодики?

Атала стояла спокойно, но лихорадочный блеск ее глаз обнаруживал внутреннюю тревогу. Она молчала, нервно сжимая руки.

— Отвечай на вопрос, — подтвердил Монтуемтауи.

— Я узнала о смерти Лаодики только утром, — отвечала девушка глухо.

— Может быть... А ночью ты не была в ее опочивальне?

— Нет, я спала.

Председатель показал допрашиваемой роковой меч.

— Тебе знакомо это оружие? — спросил он.

— Да, я видала его в руках смотрителя дома, Бокакамона, в утро смерти Лаодики.

— А прежде этот меч не был у тебя в руках?

— Никогда не был!

— Введите сюда Абану, сына Аамеса, для очной ставки, — обратился председатель к писцам.

При этих словах на прелестном лице девушки выразился ужас.

Ввели Абану. Трудно изобразить взгляд, которым моментально обменялись допрашиваемые: сколько в глазах каждого было тревоги и взаимного недоверия.

— Атала! — сказал председатель. — Абана показывает, что он подарил тебе этот меч. Как же ты утверждаешь, будто он никогда не был у тебя в руках? Абана! Ты подтверждаешь свое показание?

— Подтверждаю, — был ответ.

— Атала, говори правду, — настаивал председатель. — Великий Озирис обнаружил твою ложь.

— Да... он подарил мне свой меч, — чуть прошептала девушка.

— На какое употребление?

— Так... мне понравился меч.

— А что ты с ним сделала?

— Ничего... Его у меня украли...

— Ты говоришь ложь! — возвысил голос председатель. — В ночь убийства Лаодики видели, как ты вышла из ее опочивальни и зарыла меч в саду под кустом лотоса.

Как громом поразили эти слова прелестное создание. Она зашаталась и упала на колени.

— О, великая Сохет! Ты покарала меня!.. Вселюбящая Гатор! Спаси меня!.. Любовь заставила меня сделать это... Я так любила Пентаура, а он изменил мне для Лаодики... Великая Гатор! Во имя твое я это сделала... Чужая девушка похитила у меня любовь и душу царевича... О, боги!

Так рыдала Атала, предаваясь отчаянию. Но председатель продолжал допрос.

— Для чего же ты взяла его меч, когда могла убить твою жертву простым острым ножом? — спросил он.

— О, великие боги! — рыдала девушка. — Я взяла этот меч потому, что Абана говорил, что острие его ядовито и от одной царапины человек может умереть, не вскрикнув... А простой нож... О, великая Гатор! Зачем ты отступилась от меня?

Но вдруг она вскочила на ноги. Какая-то новая мысль внезапно озарила ее.

— Я должна была убить ее! — заговорила она особенно страстно. — Я убила ее, чтобы спасти от смерти его святейшество фараона Рамзеса.

Председатель даже приподнялся на своем сиденье. Тревога охватила остальных судей.

— Спасти от смерти его святейшество фараона Рамзеса, сына Аммона-Ра? — почти шепотом проговорил Монтуемтауи. — Что ты сказала, несчастная!

— Я сказала правду, — отвечала Атала, дрожа всем телом. — *Они* решились погубить его святейшество!

— *Они*, ты говоришь? Кто *они*?

— Царица Тиа, царевич Пентаур, Лаодика...

— Остановись, несчастная! — тихо, но с силой сказал председатель. — Хула на ее святейшество, на царицу, на наследника престола!

— Да, да, да! — точно в исступлении твердила убийца Лаодики. — Царица, царевич, Лаодика, Бокакамон, Пенхи, Адирома, Ири... все, все!

Можно было подумать, что она лишилась рассудка, что она говорит в бреду. Между тем она продолжала с прежнею страстностью:

— Лаодика... ее полюбил Пентаур и бросил меня... Ее полюбил и его святейшество фараон и хотел взять на свое ложе, в жены... Она была чаровница — околодовала всех злыми чарами... *Они* велели ей лишить жизни его святейшество, когда бы он взял ее на свое ложе... Я это знала, я знаю *все* — и я убила ее, чтобы спасти фараона.

Дело принимало оборот, которого никто не ожидал, и замять его было невозможно.

— Безумная! — воскликнул председатель. — Чем ты подтвердишь твой ужасный извет?

— Я еще не все сказала... Спрашивайте их... Я еще многое скажу...

Атала не могла больше говорить — она лишилась чувств.

XXII. НАПАЛИ НА СЛЕД

Когда Атала пришла несколько в себя, то продолжение допроса оказалось немыслимо.

Поддерживаемая одним из писцов, старичком Маи, она говорила как бы сама с собой, в каком-то горячечном бреду, повторяя бессвязно и, по-видимому, бессмысленные слова: «восковой фараон... боги из воску... старый Пенхи сделал во-

сковых богов... маленькая Хену... Апис глянул в очи Хену... воск от свечи богини Сохет... жрец Ири дал воск... фараона Рамзеса лишат души, а фараон Пентаур меня посадит рядом с собой на престоле... Лаодика чаровница... фараон не любит царицу Тиу... Изида хеттеянка украла сердце фараона... единый бог...» и тому подобное.

Но этот болезненный бред ясно обнаруживал, что существует какой-то заговор, и заговор против самого фараона. Дело принимало страшный оборот, и судьи не могли не видеть всей опасности своего положения: они нечаянно открыли чудовище, и это чудовище могло поглотить их самих. Надо было разобраться во всем этом, обдумать, взвесить и решить — что предпринять. Было несомненно, что они ощупью напали на след государственного заговора. Но след этот терялся в безумных словах потрясенной до потери рассудка молодой девушки.

Приказав увести ее домой и отослав под стражу Абану, судьи начали обсуждать положение, в котором они очутились. Положение было критическое.

Многое стало теперь для них ясным. Они, да и многие в Фивах, давно замечали, что между фараоном и царицей Тией существует холодность. Тайно поговаривали в городе и при дворе, что Рамзес слишком приблизил к себе белокурую, с светло-каштановыми волосами хорошенькую Изиду хеттеянку (еврейку) и, видимо, оттолкнул от себя Тиу и ее любимца-сына, царевича Пентаура. Эта немилость к наследнику престола еще более огласилась в самый день венчания на царство Рамзеса: в этот день он назначил младших сыновей — принца Рамессу начальником всей пехоты, принца Прахиунамифа — главным начальником военных колесниц, юного Меритума — великим жрецом солнца в Гелиополисе, и, объявив поход в Либу, взял их с собою на войну, равно и трех царевен — Нофруру, Ташеру и Аиду, а также еврейку Изиду, тогда как Пентаура оставил в Фивах для наблюдения за поступлением государственных податей, за ссыпкою в царские магазины полбы, дурры и других припасов.

Вырвавшееся в болезненном бреду Аталы упоминание о старом Пенхи, бывшем когда-то начальником стад фараона и удаленном от должности по доносу, о «восковом фараоне», о «богах из воску» и проч. — имело также глубокое тайное значение. Это намек на страшное колдовство, на смертоносные чары. Маленькая его внучка — Хену, которой в очи глянул бог Апис, — и тут дело идет о страшной таинственной силе. Бред Аталы о том, будто Пентаур обещал посадить ее с собою на троне фараона — это не бред, а указание на новую тайну.

Очевидно также, что заговору этому причастен и Бокакамон, под ведением которого находилось все женское население дворца фараона. Несомненно, что и убийство Лаодики находилось в связи с заговором! Выгораживая себя в этом преступлении, Атала давала знать, что она действовала по внушению других лиц.

А при чем тут Ири, верховный жрец богини Сохет? Атала и его имя упомянула. Какое отношение имеет к заговору Адирома? Впрочем, он сын старого Пенхи и отец этой девочки Хену. Он же был и в плену у троянцев и жил во дворе отца Лаодики. Все это так сложно и запутанно. Нити заговора, по-видимому, разбросаны широко. А в руках судей только одна ниточка — это Атала, хрупкое существо, которое окончательно может потерять рассудок, и тогда нитка эта окончательно порвется — клубок, ядро заговора, к которому можно было бы добраться с помощью этой нитки, совсем укатится, пропадет из виду. Остается разве Абана? Но он, может быть, и не причастен к заговору.

Вообще судьи находились в большом недоумении. Тревога отражалась на лице каждого. В этой тревоге, в той неожиданности, с которой Атала поставила их лицом к лицу с таинственным и, по-видимому, обширным заговором, они не заметили одного странного обстоятельства. Когда Атала заговорила о какой-то опасности, угрожавшей будто бы жизни Рамзеса, на лице одного из судей выразилось глубокое волнение, скорее даже ужас. Это был именно Хора, знаменосец гарнизона, который уличил Абану в том, что он видел Лаодику во время возвращения процессии с похорон царевны Нофруры и говорил о бывшей своей рабыне с вождем воинов гарнизона, с Таинахттою, отцом Аталы. Когда эта последняя в припадке отчаяния сказала, что «они решились погубить его святейшество фараона Рамзеса», Хора задрожал и побледнел. Вероятно, он знал что-нибудь о заговоре, даже, быть может, принимал в нем участие, и вдруг он — член верховного судилища!

Рассуждая о неожиданном, поразившем всех открытии, судьи, однако, не могли не видеть противоречий в словах и действиях Аталы. В самом деле, если существовал заговор в женском доме — а что оттуда именно исходили его нити, в этом они не сомневались, — то какое отношение к этому заговору могла иметь Лаодика, совершенно чужое лицо и притом почти девочка, недавно принятая в женский дом? А главное — какое отношение к заговору имело убийство Лаодики? Ведь нельзя же было верить словам Аталы, будто бы Лаодика готовилась стать орудием гибели фараона. Тут нет

истинной логики; логика тут чисто женская — ревность, и по этой логике надо было избавиться от соперницы. В самом деле, если Лаодику кто-то предназначил быть орудием погибели Рамзеса, то ближе всего и естественнее было выдать с головой это самое орудие или его руководителей — и фараон спасен. Для чего же убивать?

Остановившись на самом вероятном предположении, что Лаодика сделалась жертвой женской мести из ревности, судьи неизбежно должны были придти к такому заключению. Атала, получив от Абаны меч, напитанный смертельным ядом, убила свою соперницу; преступление открылось; преступница видит свою гибель — все кончено! Преступление ни к чему не привело, Атала чувствует, что тонет. И вот тут-то в ней проснулась чисто женская логика — инстинкт не умеющего плавать: она хватается за других. Атала ухватилась за тех, кто участвовал в известном ей заговоре: пусть же все тонут! А если они не утонут, то и она спасена.

Теперь оставалось передопросить Абану, не найдется ли в его показаниях той нитки, которая с болезненным припадком Аталы ускользнула из рук судей.

И Абану вновь ввели в палату суда.

— Абана, сын Аамеса! — снова начал Монтуемтауи. — Ты видел и понял, что многое открылось пред лицом Озириса из того, что ты хотел скрыть от нас и от всевидящего божества. Теперь скажи, что тебе известно из того, что открыла пред очами суда Атала?

— Я все сказал, что знаю, — отвечал Абана.

— Да, ты признался в том, что скрывал пред нашими очами и в чем тебя уличили, а уличили тебя в том, что ты видел Лаодику уже в Фивах и для убийства ее дал свой меч Атале. А что ты знаешь о том, будто ее подвинули на убийство, кроме тебя, еще и другие? Кто они?

— Я не знаю.

— Какие твои отношения к женскому дому?

— Никаких: из всего женского дома я лично знал Аталу, с которой познакомился в доме ее отца.

— А какие твои отношения были к ее святейшеству царице Тии?

— Никаких: я видел ее только издали, в священных процессиях.

— А с начальником женского дома Бокакамоном?

— Никаких.

— А с Пенхи, бывшим смотрителем стад фараона?

— Никаких: я его совсем не знаю.

— Скажи еще, Абана, сын Аамеса, какое участие в убийстве Лаодики мог принимать верховный жрец богини Сохет Ири? Его имя также упомянула Атала, твоя сообщница. Признавайся.

— Я ничего не знаю — больше мне не в чем сознаваться, — угрюмо отвечал Абана, видимо, утомленный и физически, и нравственно.

Монтуемтауи помолчал несколько. Из ответов Абаны он мог заключить, что этот преступник или упорно отмалчивается, или изворачивается, или же совсем непричастен к заговору, а замешан в одном лишь убийстве Лаодики. По крайней мере, по отношению к заговору его ни в чем нельзя было уличить или поймать на противоречии, на сбивчивом показании.

И Монтуемтауи снова приказал отвести его в комнату ожидания.

Но надо же было что-нибудь предпринять для раскрытия заговора. Но что предпринять? Атала указала на таких лиц, что даже страшно было подумать о привлечении их к следствию. Тут замешаны супруга фараона, наследник престола, верховный жрец богини Сохет и начальник женского дома.

Необходимо об этом страшном открытии доложить Рамзесу.

— Но имеем ли мы какие-либо основания заподозрить ее святейшество? — решился возразить Хора.

— Это правда, — согласился Монтуемтауи, — но имеем ли мы право скрыть что-либо от его святейшества фараона?

— А если Атала говорила все это в болезненном бреду? — снова возразил Хора. — Или еще хуже: если она думала свое преступление взвалить на плечи таких особ, о которых нам и думать страшно?

— Как же быть? — спросил носитель опахала Каро.

— Мне кажется, — отвечал Хора, — надо прежде потребовать от Аталы доказательств, фактов.

— Но уж и без фактов слова ее слишком важны.

— Потому нам и следует быть еще более осмотрительными, — настаивал на своем Хора, — надо Аталу допросить обстоятельнее; в ее показании я не вижу смысла. Девчонка убила соперницу из ревности, и вдруг к своему личному делу припутывает священные имена.

— Мне также кажется, что докладывать об этом теперь же его святейшеству — преждевременно, — заметил еще один из судей, худой и сморщенный, как финик, по имени Пенренну, занимавший должность царского переводчика.

— В таком случае надо допросить Аталу, — сказал председатель. — Пригласите сюда Бокакамона, смотрителя женского дома, — обратился он к писцам.

Вскоре в палату суда вошел Бокакамон. При входе он обменялся с знаменосцем Хорой быстрым тревожным взглядом.

— Суд Озириса снова требует пред лицо свое девицу Аталу, дочь Таинахтты, — сказал пришедшему председатель.

— Дочь Таинахтты не может явиться пред лицо Озириса, — отвечал Бокакамон.

— Почему?

— Боги помешали ее рассудок.

— Что ж она — заговаривается?

— Да, говорит несообразности... Полное безумие...

— Какие же несообразности? — допытывал председатель.

— Говорит речи, противные богам, — уклончиво отвечал Бокакамон.

— Какие же? Все относительно убийства дочери троянского царя?

— И другие речи, которых я не смею повторить.

— Отчего же? Пред лицом Озириса мы обязаны все говорить.

— Но она бредит.

— Мы, смертные, бредом называем иногда то, что устами смертного говорит само божество; боги говорят к смертным иносказательно, таинственно, и мы должны разгадывать скрытый в этом таинственном смысл — волю божества. Что же Атала говорит? — настойчиво спросил Монтуемтауи, следя за выражением лица Бокакамона. — Мы должны все знать — такова воля его святейшества, носителя царского символа справедливости пред лицом царя богов Аммона-Ра и пред лицом князя вечности Озириса, священное изображение которого глядит теперь на тебя и ждет твоего ответа.

Бокакамон с тревогой взглянул на изображение Озириса.

— Она говорит о каких-то восковых фигурах, о богах из воску, о маленькой девочке, которой великий бог Апис передал, через очи, свою божественную силу, — говорил Бокакамон в глубоком смущении.

— Она говорила это и здесь пред лицом Озириса, — сказал Монтуемтауи, — это не бред, это в ней говорил дух божества. А что еще говорит она?

— О богине Сохет и ее верховном жреце Ири... а потом о Пенхи, об Имери...

— Об Имери! О верховном жреце бога Хормаху?

— Да, о нем... Упоминала и о советниках его святейшества — о Пилоке и о ливийце Инини, что участвовали в похищении у Абаны дочери троянского царя Лаодики...

В это время страж, стоявший у двери суда, тревожно воскликнул:

— Сюда жалует его святейшество фараон Рамзес!

Минута была критическая. Как должны поступить судьи?

XXIII. ПРОВОДЫ ТЕЛА ЛАОДИКИ

Смерть Лаодики многих поразила своею неожиданностью и глубоким трагизмом. Думала ли несчастная дочь злополучного Приама, сестра Гектора и Кассандры после всех пережитых ей и ее бедною родиною ужасов найти смерть в далеком Египте от руки убийцы? Действительно, печальнее участи, какая постигла Приама и весь род его, едва ли найдется другой пример в истории.

Даже Рамзес, для которого ничего не стоило опустошать целые страны, вырезывать или забирать в плен их население, их царей, жен и дочерей, даже Рамзес-Рампсинит был глубоко огорчен трагической кончиной юной дочери Приама, нежная красота которой так очаровала его, что он готов был для нее пожертвовать не только своею законною женой, царицею Тией, но и прелестной Изидой, обворожившей его своею иудейскою красотою. Но неутешнее всех были юная Снат-Нитокрис и царевичи Пентаур и Меритум. Для них после потери сестры Нофруры начались новые «дни плача», как и для старой Херсе.

Едва Рамзес увидел мертвым прелестное личико Лаодики, как тотчас же приказал жрецам приготовить ее тело к погребению с царскою пышностью, а придворным зодчим и другим мастерам изготовить для нее богатый саркофаг из красного порфира, а равно вырубить в своем семейном склепе погребальную камору рядом с каморою недавно погребенной дочери своей Нофруры и деревянную резьбу каморы приготовить из лучших пород деревьев — из драгоценного кета, из красного и черного дерева и из сикомора.

В самый день смерти Лаодики, когда во дворец явились с своими носилками жрецы храма Озириса, чтобы отнести тело убитой в очистительную палату этого храма, Херсе едва могли оторвать от трупа ее любимицы. Неутешно плакала и юная Нитокрис, следуя за телом безвременно погибшей си-

ротки, к которой прелестная дочь фараона успела так горячо привязаться. Почти как и за телом Нофруры, за носилками Лаодики следовала толпа народа.

Внимание всех обращала на себя также одна маленькая, горько плакавшая девочка.

— Чья это девочка, что так горько плачет? — спросил Инини, тот энергический ливиец, которого мы видели под Мемфисом, когда он и друг его Пилока возвращались из «долины газелей», где они охотились на льва, а потом в тени храма Хормаху, под гигантским сфинксом встретили жреца этого храма Имери и Адирому, возвращавшегося из троянского плена, вернее, из города Карфаго после отплытия оттуда Энея. — Как плачет бедненькая!

— Это дочка Адиромы, — отвечал Пилока.

— А, это того, что был около десяти лет в Трое?

— Да, который, помнишь, когда мы в Мемфисе садились на корабль «Восход в Мемфисе», узнал эту бедную дочь Приама и помогал нам и жрецу Имери похитить ее у Абаны, сына Аамеса.

— Девочка, вероятно, от отца узнала печальную судьбу Лаодики и вот теперь плачет о ней.

— Конечно. Вон отец старается утешить ее, но и сам плачет.

И в толпе многие узнали маленькую Хену.

— Вон та священная девочка, которой бог Апис передал небесный огонь, — говорила одна молодая египтянка с голеньким черненьким мальчиком на плече.

— Где? — спросила старая египтянка.

— Да вон прямо, плачет так.

— Да, да! Я помню, как она упала на колени перед Аписом... Ах, как страшно было!

— А еще страшнее было, когда ее хотели принести в жертву Нилу.

— Ах да! Я никогда не забуду этого... Стоят это семь девочек с пучками зеленой пшеницы в руках...

— И с цветками лотоса, — поправила молодая египтянка.

— Да, да, и с цветками лотоса... И вдруг Апис идет прямо на них... Все испугались...

— Только одна не испугалась, вот эта, — снова поправила молодая.

— Да, да, только одна не испугалась, вот эта... И Апис стал жевать ее пшеницу.

— А еще страшнее было, когда повезли ее на лодке топить, — вмешалась третья египтянка. — Как грянет гром...

— Это не гром, — поправила и эту молодая египтянка, — это сам Аммон-Ра, который поразил своего сына, бога Гоpуса, так и верховный жрец сказал.

— Да, да... И огонь Аммона-Ра растопил золотого Гоpуса, а девочку вытащили из Нила.

Это говорили о Хену, которая шла за телом Лаодики и плакала. Отец, действительно, рассказал ей все о печальной судьбе дочери Приама, говорил об осаде Трои, об единоборстве Гектора с Ахиллом, о смерти прекрасного и мужественного брата Лаодики, о разорении ее родного города, и впечатлительная девочка всею душою полюбила ту, которую несли теперь в храм Озириса. Еще недавно она видела ее живою, такую нежную и прекрасную, когда она, рядом вон с той, плачущей теперь царевной Нитокрис, возвращалась с похорон Нофруры.

В толпе, следовавшей за телом Лаодики, шли разнообразные толки о таинственной смерти несчастной чужеземной царевны. Молва об этом событии быстро облетела все Фивы: убийство в женском доме фараона — да, это, действительно, событие изумительное. Многие придавали этому мистическое, сверхъестественное значение. Но женщины в этом отношении более проницательны, чем мужчины. Египтянки хорошо знали, какую роль в жизни человеческой играет чувство, особенно чувство женщины, существа, менее свободного в деле выбора привязанности, и оттого ревность ее является более подавляющим чувством, чем ревность мужчины.

— Ее непременно убили из ревности, — говорила старая египтянка, качая головой, как бы в укоризну по адресу ревнивых.

— Да, наша сестра не любит делиться лакомым куском, — соглашалась младшая с ребенком на плече.

— Кто любит! А все ж приходится делиться.

— Но вот с этой, с чужеземной, не поделились.

— Ох, дела, дела! И у самого фараона не могут поделиться.

— Что ж, и поделом — не отбивай.

— Да кто тебе сказал, что она кого отбивала? Знаешь мужчин — иного не хотела бы, так сам вяжется, пристает. Может, и с ней так было.

— А как царевна-то плачет! Так и разливается.

— Да, молоденькая еще — не зачерствела.

— Ну, не говори: вон как старуха разрывается.

— Она ее, говорят, на руках выносила, как вон и ты же своего. Что ж, боги и у нас, старых, не отнимают сердца, и мы умеем любить.

Между тем шедшие за телом Лаодики Пилока и Инини несколько иначе объясняли смерть несчастной дочери Приама.

— Это дело рук Абаны, — говорил Пилока, — не хотел, чтоб красавица досталась другому.

— Но как он мог проникнуть в женский дом? — возражал Инини.

— Да он, конечно, не сам ее зарезал, а подкупил убийцу.

— Да, от него станется: такое грубое и высокомерное животное, — согласился Инини. — А как жаль! Такое прелестное существо, и боги не пощадили.

— Как не жаль! Вон и царевна Снат так плачет.

— А Пентаур? Тот, говорят, разъярен, как лев, на неизвестную убийцу.

— Но чей меч, которым ее зарезали? Говорят, дорогой меч.

— Да, вероятно, все того же Абаны.

— Но неужели же боги до того ослепили его, что он отдал убийце свой меч? Ведь по этому мечу непременно доберутся до него.

— Конечно: боги всегда ослепляют тех, кого хотят погубить. Так мы с тобой и льва ослепили в «долине газелей», а потом и убили его.

— Да, правда. Но мы еще не ослепили другого льва.

— Ослепим, хотя для этого другого мало двух стрел.

— О, не беспокойся, мой друг: наш главный охотник говорит, что в нашей облаве на льва примут участие почти все Фивы — главные советники и казнохранители.

— А святые отцы?

— Конечно: это опытные псари и ловкие стрельцы, хотя и стреляют не стрелами ядовитыми, а словами.

За внутренними пилонами храма Сераписа носилки с телом Лаодики были поставлены на землю.

Прощание с невинной жертвой ревности было так же трогательно, как и прощание с Нофрурой; но только старая Херсе и Адирома, видевшие когда-то Лаодику в другой среде, среди иных людей, могли чувствовать всю трагичность этого последнего прощания, последнего целования.

Скоро бездыханное тело несчастной дочери Приама скрылось за глухою дверью очистительной каморы.

XXIV. ОБЫСК И АРЕСТ

Над Фивами стояла ясная лунная ночь. Полный месяц обливал молочным светом всю громаду колоссальных храмов и дворцов царственного города фараонов, которые бросали от себя короткие, совершенно черные тени. Особенно фантастич-

ны были тени, которые ложились у подножия колоссов Аменхотепа.

Тихо катившиеся струи Нила отражали в себе длинную полосу растопленного серебра, а прибрежные гигантские тростники, казалось, о чем-то шептались, словно рассказывая друг другу о том, что означал доносившийся по временам с далекой отмели тихий плач крокодила, точно плач ребенка.

В эту позднюю пору, когда все Фивы погружены были в сон, к дому старого Пенхи приблизилась небольшая группа людей, на медных шлемах которых и на остриях копий отражался свет месяца. Люди эти приблизились к дому тихо, словно крадучись, и окружили его со всех сторон.

Скоро в ворота кто-то громко застучал, и на стук раздался хриплый лай старой собаки Шази, любимицы маленькой Хену. Стук повторился еще сильнее.

— Кто там стучит в часы сна и покоя? — послышался голос старой рабыни Атор.

— Именем его святейшества фараона, отоприте! — раздался повелительный возглас, в котором можно было узнать голос Монтуемтауи.

— А кто смеет говорить именем его святейшества? — отозвалась мужественная Атор, стараясь заставить умолкнуть лаявшую неистово собаку.

— Я, Монтуемтауи, хранитель казны фараона и председатель верховного судилища, — был ответ.

Старая Атор не откликалась больше, и только собака продолжала лаять и скрестись в ворота.

Стук и лай собаки подняли на ноги весь дом. Слышались голоса рабынь, стук отворявшихся и затворявшихся дверей. В одном окошке дома показался огонь.

— Отоприте! Или ответите перед лицом закона за сопротивление воле фараона! — снова повторил свое требование Монтуемтауи.

— Отпираю, — был ответ изнутри.

Запор щелкнул, и дверь растворилась. Это был Адирома, который вышел встретить нежданных гостей.

— Дом Пенхи открыт по слову его святейшества, — сказал Адирома, впуская во двор Монтуемтауи, носителя опахала Каро и несколько вооруженных воинов и мацаев.

Адирома был бледен, но спокойно встретил сыщиков.

Монтуемтауи, поставив у ворот стражу, вместе с Каро и Адиромой вошел в дом. У порога их встретил старый Пенхи, лицо которого было холодно, но с легким оттенком презрения.

— Я открываю мой дом силе, но не закону богов, — сказал он гордо, — где закон?

— Вот он! — холодно отвечал Монтуемтауи, показывая перстень с картушем фараона.

— А зачем фараон прислал в мой дом свои глаза и свои уши, и притом тогда, когда все люди и звери вместе с богом Хормаху предаются покою? — спросил Пенхи.

— Такова его воля, а воля фараона — воля богов, — был ответ.

— Что же ищет фараон? — снова спросил Пенхи.

— То, что ты сотворил тайно на пагубу фараону.

— Что же именно?

— Восковые изображения, — грозно сказал Монтуемтауи, — я прислан за ними — покажи их.

— У меня нет того, что ты спрашиваешь, — отвечал Пенхи.

— Где же они? — спросил следователь.

— Не знаю — спроси у богов, — был ответ.

Тогда Монтуемтауи и Каро, взяв в руки светильники, начали обыск. Они тщательно перерыли весь дом, осматривали каждый угол, каждую нишу. В одной глубокой продолговатой нише, закрытой легкой завесой, они увидели спящую Хену. Свет от светильни упал на прелестное личико девочки, которая спала, разметавшись и подложив одну руку под голову. Улыбающиеся губки ее что-то шептали во сне. Свет заставил ее открыть глаза.

— Милое дитя, где восковые изображения? — ласковым голосом неожиданно спросил Монтуемтауи.

— В храме богини Сохет, — отвечала не вполне проснувшаяся девочка.

Пенхи вздрогнул и побледнел.

— А где дедушка? Дедушка! — громко позвала Хену, приходя в полное сознание.

— Я здесь, дитя, — отвечал Пенхи дрожащим голосом.

Хену вскочила с своего ложа, стараясь натянуть на плечи сползшую на грудь рубашонку.

— Устами младенца возгласило божество, — сказал Монтуемтауи, отходя от ниши, — мы теперь знаем, где искать то, что мы ищем.

Хитрый царедворец и рассчитывал на то, что девочка спросонок проговорится. Он и спросил ее неожиданно, хотя ласково, точно о самой обыкновенной вещи. И Хену, никем не предупрежденная, выдала тайну деда и отца. Она, впрочем, и не догадывалась об ее важности и сопряженной с нею опасно-

сти: ей сказали, что восковые изображения делались по повелению божества, и она думала, что это так и должно быть. А для чего они изготовлялись — она не знала. «На великое и святое дело», говорил ей дедушка, и этого с нее было довольно. В последние месяцы с девочкой случилось столько непонятного, что она и не старалась в нем разбираться. Встреча с Аписом во время процессии в день венчания на царство Рамзеса; испуг Хену при виде наступавшего на нее священного быка; эпитет «священной девочки», приданный ей после этого случая; ночное посещение храма богини Сохет, таинственный свет, исходивший во тьме от изображения этой богини, непонятная беседа с ее жрецом Ири, таинственное происшествие в алтаре богини: эта страшная змея, пожиравшая хорошенькую птичку; потом — изготовление восковых богов и людей; наконец — эта последняя процессия на берегу Нила, когда ее, Хену, бросили в Нил, а в это время разразился страшный гром, от которого со страху бежал сам бог Апис, а золотое изображение Горуса расплавилось от небесного огня, — все это спутало в голове девочки представления о понятном и непонятном, о том, что естественно и что выходило за пределы естественного и возможного. Вероятно, все так и должно было быть, думалось ей. Она видела только, что ей предназначено было играть какую-то роль в том, что совершалось вокруг нее; а что это было такое — об этом знал дедушка, а дедушка, даже при отце, был для нее — все: она выросла на его руках.

— Нить найдена, — сказал Монтуемтауи, отведя Каро в сторону, — теперь надо добираться до клубка.

— Я так и подозревал, что клубок в руках святых отцов, — тихо сказал носитель опахала.

— И я то же думал, да их трудно взять, — отвечал на это Монтуемтауи, — они прячутся за спины божества.

После этого он тотчас же приказал всем собираться.

— И ты, милая девочка, пойдешь с нами, — сказал он, глядя на Хену, которая теперь стояла с широко раскрытыми глазами.

— Куда? — спросила она.

— Куда зовут тебя боги, — отвечал Монтуемтауи.

— И с дедушкой?

— Да, и с дедушкой, и с отцом, — отвечал коварный следователь, ласково улыбаясь.

— А няня Атор?

— Это старая рабыня?

— Да, добрая Атор.

— И она пойдет с нами.

— А другие рабыни?

— Те пока останутся здесь, милое дитя.

Наивные вопросы девочки, видимо, забавляли сурового судью, и он любовался прелестным, смелым ребенком, который так много помог им в их деле. Старый слуга фараонов готов был расцеловать ее.

Оставив караул при доме Пенхи, следователи вместе со своими арестантами и небольшим конвоем отправились на другую сторону Нила, на западную, где расположены были дворцы фараонов.

Ночь была все та же — ясная, лунная. Месяц стоял в зените и освещал спящий город и Ливийский хребет фантастическим светом. Все шли молча, как бы очарованные таинственностью тропической ночи.

— Дедушка, — заговорила вдруг Хену, держась за руку деда, — бог Апис спит теперь?

— Не знаю, дитя, — отвечал Пенхи, сжимая маленькую ручку девочки, — вероятно, спит.

— Вам нельзя теперь разговаривать друг с другом, милая, — остановил Монтуемтауи Хену, положив ей руку на плечо.

— Отчего нельзя? — удивилась девочка.

— Вас разделяет теперь божество, — уклончиво отвечал Монуемтауи.

— Нет, не разделяет, — наивно возразила Хену. — Меня дедушка держит за руку.

Монтуемтауи невольно рассмеялся. Он был в хорошем расположении духа, потому что порученное ему Рамзесом следствие началось так удачно, что обещало скорую развязку, а потому наивная болтовня Хену только забавляла его. Притом же он надеялся узнать от этой болтливой девочки еще что-нибудь посущественнее. Надо только ласковее обращаться с ней, не запугивать: маленькая заговорщица сама шла в пасть крокодила, словно птичка в силок.

— А с отцом можно разговаривать? — спросила она.

— С отцом можно, — отвечал Монтуемтауи, стараясь не рассмеяться.

— А отчего же с дедушкой нельзя?

— Теперь можно и с дедушкой.

Монтуемтауи махнул рукой. Он видел, что болтунью не остановишь, а между тем своей болтовней она могла выдать что-нибудь важное для дела.

— О чем же ты хочешь говорить с дедушкой? — сам заговорил Монтуемтауи.

— О месяце, — она указала на блестящий диск луны. — Он тоже бог?

— Бог, — отвечал Монтуемтауи, совсем не того ожидавший.

— Отчего же он не всегда круглый? Вон солнце — оно всегда круглое.

— И месяц всегда круглый, а только его иногда нельзя всего видеть.

— Отчего? — не унималась Хену.

— Оттого, что когда он не весь виден, то значит, что он прикрыт завесой бога Себа, который есть сын бога Шу и внук бога Ра, а сам есть отец Озириса.

— Зачем же он прикрывает его своей завесой, этот бог Себ?

— А чтобы он шел на покой, и когда его не видно совсем, то, значит, — он на покое; а солнце — бог Ра — отходит на покой ночью, с вечера до утра.

— А, понимаю, понимаю! — радостно заговорила Хену. — Значит, когда солнце спит, тогда месяц должен не спать и стеречь землю, как наша собака Шази.

И Монтуемтауи, и Каро не могли не рассмеяться при этом сопоставлении месяца с дворовою собакой.

— Верно, верно, — согласился Монтуемтауи.

— А кто же стережет землю, когда месяц спит? — снова допытывалась Хену.

— Тогда стерегут звезды.

— А звезды — кто они?

— Звезды — дети бога Ра, внучки бога Пта, как ты — внучка Пенхи.

Но вот и дворец Рамзеса.

XXV. ПОКАЗАНИЯ «СВЯЩЕННОЙ ДЕВОЧКИ»

Утром начались допросы. Это уже было новое следствие — следствие об обширном придворном заговоре на жизнь самого фараона Рамзеса. Новое дело как бы вытекало из дела об убийстве Лаодики. Следственные чины оставались прежние, только отсутствовал Хора, знаменосец гарнизона, да к прежним судьям, по повелению Рамзеса, было придано еще несколько приближенных советников.

На предварительном совещании решено было прежде всех допросить маленькую Хену, которая по детской наивности

могла выдать многое, чего нельзя было бы добиться от опытных подсудимых. Она могла навести на след — дать новые нити в руки. Поэтому на ночь она помещена была отдельно от отца и деда вместе с одною из служительниц женского дома, на которую не падало никакого подозрения.

Эта женщина и поставила маленькую заговорщицу пред верховное судилище. Девочка, очутившись в обширной палате перед сонмом чиновников, сначала смутилась было, но, когда к ней подошел Монтуемтауи и с ласковой улыбкой потрепал ее по пухленькой смуглой щечке, Хену, по природе смелая, сразу приободрилась. Ее уже ничто особенно не поражало: она знала только, что «так должно быть», а к чему все это — она не задавалась этим замысловатым вопросом.

— Ты знаешь, милое дитя, чье это изображение? — спросил Монтуемтауи, показывая на статую Озириса.

— Знаю, это бог Озирис, — бойко отвечала Хену, — его дедушка сделал из воску.

Судьи переглянулись.

— Так он и воскового Озириса сделал? — поторопился спросить Монтуемтауи, многозначительно взглянув на товарищей-судей.

— Да, и его сделал — очень похоже.

— А для чего, милая?

— Для великого и святого дела.

— Для какого же именно?

— Не знаю, для великого и святого.

Судьи снова переглянулись. Они поняли, что девочка едва ли знала что-либо о сути и цели заговора.

Монтуемтауи сел на председательское место и начал формальный допрос.

— Ты умная и хорошая девочка, Хену, — сказал он с прежнею ласковостью, — пред лицом великого Озириса ты должна говорить только правду, о чем бы тебя ни спросили. Будешь говорить правду?

— Буду, — отвечала маленькая подсудимая, — дедушка не велел мне никогда говорить неправду. Он всегда говорил: никогда не лги — всегда говори правду; если же почему-нибудь не можешь сказать правду — смолчи, но никогда не лги.

Судей невольно подкупала эта наивная, бойкая речь прелестной девочки, которая всех очаровала.

— Твой дедушка хороший человек, что так учил тебя, — сказал Монтуемтауи, — оттого и ты вышла такая хорошая девочка.

Хену была польщена в своем детском тщеславии и теперь готова была болтать без конца.

— Я священная девочка, — сказала она со скромностью, за которой звучала плохо скрытая гордость.

— Да?.. Священная? — выразил на своем лице притворное удивление председатель суда.

— Да... Мне бог Апис глядел в глаза во время процессии.

— Правда: это тогда, когда он отдавал тебя в жертву Нилу? — спросил Монтуемтауи.

— Да, и тогда, и еще раньше, когда фараон венчался на царство: я упала пред ним на колени, а он глянул мне в глаза... Я не испугалась... И тогда мне сказали, что я священная девочка.

— Так, так, — подуськивал Монтуемтауи. — Скажи же теперь, священная девочка, как и для чего твой дедушка делал богов из воску?

— Он и фараона сделал, — поправила Хену.

— И фараона?

— Да... Мы раз вечером пришли с дедушкой в храм богини Сохет... У нее огненные глаза... А верховный жрец повел нас к себе...

— Жрец Ири?

— Да, он такой добрый.

— Ну а потом?

— Потом он облачился, взял в руки систр и повел нас в храм... Там змея съела птичку... Я эту птичку сама ей отдала — жрец велел... А мне ее так было жаль... А змея такая страшная.

Хену даже вздрогнула.

— А дальше что было? — допрашивал Монтуемтауи.

— Дальше — жрец отрезал священным ножом огромный кусок воску от свечи богини и велел дедушке сделать из этого воску богов.

— А фараона?

— Фараона он велел сделать из простого воску.

Судьи опять молча переглянулись.

— Я и свечу богини задула — жрец велел, — продолжала Хену, — а потом жрец дал мне цветок лотоса.

— И дедушка сделал из воску богов и фараона?

— Сделал — очень хорошо.

— А потом?

— Потом ночью отнес их в храм богини Сохет.

— Зачем?

— Для великого и святого дела.

Больше от нее ничего нельзя было добиться. Она знала только внешнюю сторону дела; но и то, что она открыла, было очень важно для суда. Судьи теперь знали, что заговором руководил верховный жрец богини Сохет, лукавый Ири, а что изготовление волшебных фигур из воска принял на себя старый Пенхи; царица Тиа и царевич Пентаур были те лица, в пользу коих совершался преступный заговор.

— А отец твой делал богов? — спросил далее Монтуемтауи после непродолжительного раздумья.

— Нет, он не делал... Он недавно воротился из Трои, где был в плену... Он там на руках носил Лаодику, когда она была маленькая. — Потом, как бы желая похвастаться, Хену сказала: — И я делала богов из воску.

— Ты, дитя?

— Да, вместе с дедушкой... Я разминала воск в руках — так велел верховный жрец.

— А кто бывал у дедушки, когда он делал богов? — снова спросил Монтуемтауи.

— Приходил Бокакамон из женского дома, жрец Имери, советники Пилока и Инини... Многие приходили.

— Кто ж еще?

— Не помню... забыла.

— А о чем они говорили с дедушкой?

— О великом крокодиле Египта. Они говорили, что его надо прежде ослепить, а потом убить.

— Какой же это великий крокодил Египта?

— Не знаю... Должно быть тот, что плачет по ночам... Он еще съел одну мою знакомую девочку — она играла на берегу Нила, у самой воды.

— А о фараоне говорили?

— И о фараоне говорили.

— Что же именно, припомни, девочка хорошая, ведь тебя зовут Хену?

— Да, Хену.

— Припомни же, милая Хену, что они говорили о фараоне?

— Они говорили, что его наказал Аммон-Ра, что Аммон-Ра сердит на фараона — отнял у него любимую дочь Нофруру, что Нил не принял его жертвы.

— А говорили, за что на него сердит Аммон-Ра?

— За то, что он молился чужому богу — еврейскому, и хочет еврейку Изиду сделать царицей.

Показания Хену принимали более определенный характер; ясно было, что предметом заговора был сам фараон Рамзес,

что его подозревают в измене богам Египта; а это подозрение могло исходить, конечно, от жрецов; они же и руководители заговора. А Бокакамон? Он доверенное лицо царицы. Тиа, видимо, ревнует фараона к Изиде, к красавице еврейке... И здесь женская ревность. Теперь понятными становились смутные показания Аталы, тоже из ревности зарезавшей Лаодику: она прямо называла и Тиу, и Пентаура... Несомненно, Пентаура прочили, вместо отца, на престол фараонов.

В воображении Монтуемтауи да и всех остальных судей рисовалась теперь картина обширного государственного заговора. Допросы и показания Пенхи, Адиромы, Бокакамона, жрецов Ири и Имери, советников Пилоки и Инини должны, конечно, указать на массу других лиц, участвующих в заговоре. Но как привлечь к допросу царицу? Ее должен допросить сам фараон.

XXVI. ЕГИПЕТСКИЕ КАЗНИ

Последствия подтвердили верность предположений Монтуемтауи и его товарищей по суду.

Заговор принимал угрожающие размеры, и если б роковая смерть Лаодики не обнаружила самого мельчайшего зерна в этом деле — участия в заговоре Аталы, то в Египте совершился бы кровавый переворот.

Следствием было раскрыто, что сторону царицы Тии и старшего царевича Пентаура приняли высшие сановники земли фараонов и многие из военачальников. Решено было или убить Рамзеса, или извести его с помощью колдовства, посредством восковых изображений, которые изготовил Пенхи из воска священной свечи богини Сохет по благословению ее верховного жреца Ири.

Заговором руководил Бокакамон с двумя помощниками по управлению женским домом, или гаремом фараона. В число заговорщиков вступили: семь ближайших советников Рамзеса, семь писцов, семь землемеров женского дома, четыре военачальника, из них один вождь гарнизона столицы фараонов, вождь иноземного легиона Куши Банемус, сестра которого была наперсницею Тии, один государственный казнохранитель, два верховных жреца, знаменосец гарнизона Фив и смотритель стад фараона. Все это были самые влиятельные лица в государстве. Надо заметить, что советники, «абенпирао», стояли у самого кормила правления; они были ближе к фараону, чем «великие князья» или наместники царя в обла-

стях; таким «абенпирао» был когда-то еврей Иосиф, сын Иакова. «Писцы» также играли важную роль в управлении Египтом: это были ученые законники, имевшие огромное влияние на народ.

Таким образом, все, казалось, готово было обрушиться на Рамзеса, и только смерть прелестной дочери Приама открыла глаза фараону.

Главных заговорщиков постигла страшная казнь. Сохранился папирус, находящийся ныне в Турине и прочитанный французским ученым Th. Deveria: «Le papyrus judiçiaire de Turin», на котором записан был судебный приговор по делу наших героев — царицы Тии, царевича Пентаура, Бокакамона и их соумышленников.

Приговор, между прочим, гласит следующее:

«Сии суть люди (это заговорщики), которые приведены были за великое свое преступление пред седалище правосудия, чтобы быть судимыми казнохранителем Монтуемтауи, казнохранителем Панфроуи, носителем опахала Каро, советником Пибесат, писцом канцелярии Маи и др., и которые были судимы и найдены виновными, и к которым применили наказание, дабы искуплено было их преступление.

Главный виновник — Бокакамон. Он был управляющим домом. Он был приведен за фактическое соучастие в деяниях госпожи Тии и женщин гаремного дома. Он с ними заключил клятвенный союз и переносил их словесные поручения из дома к их матерям и сестрам, с целью уговаривать людей и собирать противников, чтобы совершить злодеяние против их господина (Рамзеса). Поставили его перед старейшими судилища, и они нашли его виновным в том, что он таковое делал, и он был совершенно уличен в своем преступлении. Судьи применили к нему наказание. Они положили его на месте, где он стоял, перед судилищем. Он умер сам».

Какой это род казни — Бругш-бей не объясняет, равно не объяснил его и Деверия. Бругш-бей по-немецки переводит текст папируса так: «Sie legter ihn nieder, wo er stand. Er starb von selber». Совершенно непонятно! Неужели должен был сам себя убить обвиненный? Но как? Чем?

А вот приговор, постигший других наших знакомых, Пилоку и Инини, которые так ловко убили в «долине газелей» страшного льва, предварительно ослепив его, и хвалились, что таким же способом покончат и с Рамзесом:

«Главный виновник — Пилока. Он был советником и писцом казнохранилища. Он был приведен за фактическое соучастие за Бокакамона. Он слушал его сообщения, не донося

о том. Он был поставлен перед старейшими судилища; они нашли его виновным и положили на месте, где он стоял. Он умер сам.

Главный виновный — ливиец Инини. Он был советником. Он был приведен за фактическое соучастие за Бокакамона. Он слушал его сообщения, не донося о том. Поставили его перед старейшими судилища. Они нашли его виновным. Они положили его на месте, где он стоял. Он умер сам».

Брат наперсницы Тии, вождь иноземного легиона Банемус погиб тою же ужасною смертью. Папирус говорит о нем:

«Главный виновный — Банемус. Он был вождем иноземного легиона Куши (Ефиопии). Он был приведен за послание, полученное им от сестры его, которая была на службе в женском доме, чтобы он уговаривал людей, которые были противниками царя: «Иди соверши злодеяние против господина своего». Он был поставлен пред судилище. Его судили и признали его вину. Они положили его руками своими, где он стоял. Он умер сам».

И верховных жрецов Ири и Имери не спасли их божества: первого — богиня Сохет, второго — бог Хормаху. «Судьи положили их руками своими, где они стояли. Они умерли сами».

Та же участь постигла и царевича Пентаура: вместо венцов обоих Египтов, Верхнего и Нижнего, и вместо любви Лаодики, которую он погубил своим вниманием, возбудив ревность Аталы, старший сын Рамзеса не удостоился даже погребения.

Самые тяжкие обвинения обрушились на старую голову дедушки Хену — на Пенхи. Приговор над ним сохранился на двух клочках папирусов, попорченных временем, на папирусах Lee и Rollin.

Сохранившийся отрывок папируса Lee гласит: «... всем людям этого места, в котором я (кто это я?) пребываю, и всем жителям земли. Тогда говорил к нему Пенхи, бывший смотрителем стад: «Если бы я только имел писание, которое давало бы мне крепость и силу». Тогда он (кто он? Бокакамон? или жрец Ири? или Имери?) дал ему писание из книжных свертков Рамзеса III, великого бога, господина его. Тогда на него нашло божественное волшебство, очарование для людей. Он проник до женского дома и в другое то великое и глубокое место. Он создал человеческие фигуры из воска, имея намерение, чтобы они были внесены рукою Адиромы, чтобы совратить одну из служанок и чтобы навести очарование на других. Внесены были некоторые разговоры, вынесены

были другие. Тогда, однако, был он взят к допросу ради их разговоров, и открылось тогда его участие во всякой злобе и всяких дурных делах, которые он имел намерение сделать. И все оказалось правдою, что он все это сделал в союзе с другими главными виновными, которые, как и он, были без бога и без богини. Это были тяжкие, смерти достойные преступления и тяжелые грехи на земле, которые он соделал. Он был обличен в этих тяжелых, смерти достойных преступлениях, кои он совершил. Он умер сам. Ибо старейшины, которые были перед ним, познали, что он должен умереть сам от себя (von selber, по Бругш-бею), с другими главными виновными, которые, как и он, без бога солнца Ра были, сообразно тому, как таковое высказали священные писания, что с ним совершиться должно». Темный перевод папируса!

В отрывке же папируса Роллена приговор над дедушкой Хену передан так:

«Он (Пенхи) сделал некоторые магические писания, чтобы отвратить бедствие; он сделал некоторых богов из воска и некоторые человеческие фигуры, чтобы обессилить одного человека (Рамзеса?), и отдал их в руки Бокакамона, без позволения на совершение сего от бога Ра ни ему, управляющему домом, ни другим главным виновным, ибо он (жрец Ири, передавший фигуры Бокакамону) говорил: «Да возможете вы проникнуть сим, дабы вы приобрели основание в них проникнуть». И так он пробовал привести в исполнение постыдные дела, которые он приготовлял, но солнечный бог Ра не разрешил им исполниться. Его взяли к допросу, и открыта была сущность дела, состоящая из разных преступлений и всяких дурных дел, которые сердце его изобрело, чтобы исполнить их. И это была истина, что все это он имел намерение исполнить в союзе с главными виновными, которые были как и он. И было этими тяжкими, смерти достойными преступлениями и тяжкими злобами для земли то, что он сделал. Но они (судьи) познали тяжкие, смерти достойные преступления, которые он соделал. Он умер сам»[1].

Подобная участь постигла более тридцати сановников. Менее важные преступники подверглись сравнительно легкой каре: им отрезаны были носы и уши.

Но главная виновница заговора — Тиа?

---

[1] «Летописи и памятники древних народов. Египет. История фараонов» Бругша. Перевод И. К. Властова. Спб., 1880 г., стр. 582—584. Язык переводов Бругш-бея очень темен; не яснее и язык г. Властова.

Ученые законники Египта не нашли в «священных книгах» указания, какой казни должна была подвергнуться царица. Надо было обратиться к богам.

Истолкователем воли богов явился верховный жрец Аммона-Горуса всемогущий Аммон-Мерибаст.

— Кто тебе была провинившаяся пред тобою женщина? — спроси Рамзеса великий жрец.

— Она была моя жена, — отвечал фараон.

— Ея дети — чьи создания? — продолжал Аммон-Мерибаст.

— Мои, — был ответ.

— И они также и ее: их плоть — ее и твоя плоть, их душа — ее и твоя душа?

Рамзес согласился.

— И ты намерен лишить ее жизни, изгнать из нее душу в пустыни Ливии? — продолжал жрец.

— Да, я хочу ее казнить, — упрямо отвечал Рамзес.

— Но в ней частица твоей души — ты передал ей свою душу, соединяясь с ней: как же изгонишь ты и свою душу в пустыни Ливии? — допрашивал жрец.

Рамзес не знал, что отвечать.

— Что же мне делать, святой отец? — спросил он смиренно.

— Отдать ее на волю богов, — отвечал Аммон-Мерибаст.

— Как же? Оставить ее свободной?

— Нет, пусть злые боги сами вынут из нее душу и бросят в пустыни Ливии, где бродят только львы и шакалы: пусть и она бродит вечно.

— Как же это сделать?

— Замуровать ее живою.

Глаза Рамзеса сверкнули радостной злобой.

— О! Я это исполню: я прикажу вырубить в моем погребальном Рамессеуме обширный склеп для нее, — заговорил он быстро. — Этот склеп я велю вырубить рядом со склепом моей дорогой Нофруры... Пусть она бьется головой в своей могиле о стены, о гранит, пусть стонет там так, чтобы стоны эти слышала ее родная дочь, моя дорогая Нофрура! О, я исполню волю богов!

Когда исполнилось семьдесят «дней плача» после смерти Лаодики и ее стройненькую, обвитую богатыми тканями мумию торжественно хоронили в царственном склепе Рамзе-

са III, рядом со склепом его любимой дочери Нофруры, среди печального погребального пения жрецов слышны были иногда глухие стоны, исходившие из одного места гранитных стен усыпальницы фараона. Это были стоны Тии, замурованной царицы Египта.

Скоро Рамзес женился на прекрасной хеттеянке-еврейке Изиде, родное имя которой было Хемароцат, и светло-каштановая правнучка Аарона сделалась царицею Египта.

Безутешная Нитокрис долго оплакивала замурованную мать, сестру и сиротку Лаодику.

Любимицей и наперсницей ее стала маленькая Хену, тоже осиротевшая: в женском доме фараона все полюбили эту «священную девочку».

Старая Херсе до самой смерти оплакивала свою питомицу — «богоравную дочь Приама», и с любовью вспоминала о своей бывшей неволе — о жизни в Трое до ее грустного конца.

ЭПИЛОГ

Летом 1881 года я посетил Египет.

После восхождения на пирамиду Хеопса, с вершины которой я долго созерцал расстилавшееся перед моими очарованными глазами это мрачное «поле пирамид» и мутный Нил с исполинскими стволами пальм, а взволнованная мысль моя, казалось, переживала бесконечные тысячелетия удивительной истории этой удивительной страны, этой колыбели знаний последующих поколений человечества, — я после того посетил и египетский музей, что в Булаке, под Каиром.

Директор этого музея, знаменитый египтолог Масперо, только что воротился из своей ученой экскурсии из Верхнего Египта, где он открыл гробницы фараонов и их мумии, в том числе мумии Рамзеса II Сезостриса и Рамзеса III Рампсинита. При мне эти драгоценные сокровища расставлялись в музее и приводились в порядок.

Меня сопровождал по музею один из второстепенных помощников Масперо, родом грек, любезно показывая мне все достопримечательное и объясняя непонятные для меня иероглифические изображения.

— А это — самая драгоценная для нас, современных потомков Перикла, реликвия, — сказал он, останавливаясь перед изящным саркофагом из порфира.

— Почему же? — спросил я.

— В этом саркофаге покоится тело Лаодики, одной из дочерей Приама, — отвечал грек.

— Как! Каким образом? — не доверял я.

Г. Масперо, открыв гробницы Рамзесов, нашел в их усыпальнице этот саркофаг с мумией Лаодики, а недалеко от нее, в замурованном склепе, скелет царицы Тии, первой жены Рамзеса III.

Он приказал служителям приподнять крышку с саркофага, и я увидел там мумию.

— Почему же вы знаете, что это Лаодика? — спросил я с недоверием.

— Это говорит папирус, который г. Масперо нашел на груди мумии, — отвечал грек.

Я долго смотрел на это почерневшее высохшее тело, обвитое темными, как бы просмоленными тканями... Столько веков пролетело над ним!

И это Лаодика, «миловиднейшая дщерь Приама и Гекубы», как называл ее Гомер, это сестра Гектора, Париса, Кассандры!..

В каком-то благоговейном умилении я думал: «Что мне Гекуба и что я Гекубе», но меня душили невыплаканные слезы, и я готов был разрыдаться.

Я поспешил уйти из музея.

СОДЕРЖАНИЕ

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД
Исторический роман
в трех частях
5

ЗАМУРОВАННАЯ ЦАРИЦА
Роман из жизни
Древнего Египта
441

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14 ТОМАХ

ТОМ 3

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Сайко

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова, В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 20.09.95.
Уч.-изд. л. 34,72

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Scan Kreyder - 30.09.2018 - STERLITAMAK

Д.Л. МОРДОВЦЕВ